



Григорий



ДАНИЛЕВСКИЙ

Княжна Тараканова



Княжна Тараканова // Эксмо, М., 2006
ISBN: 5-699-16377-8
FB2: "Miledi", 2008-11-17, version 1.0
UUID: 0a597bbb-0624-102c-99a2-0288a49f2f10
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Григорий Петрович Данилевский
**Княжна Тараканова
(сборник)**

В книгу вошли наиболее известные произведения Григория Данилевского (1829—1890) – «Беглые в Новороссии» (1862), «Княжна Тараканова» (1883) и «Со-жженная Москва» (1886).

Содержание

Беглые в Новороссии	0005
Часть первая Перелетные птицы	0005
Часть вторая В силках	0220
Княжна Тараканова	0456
Часть первая Дневник лейтенанта Концова	0456
Часть вторая Алексеевский рavelин	0565
Сожженная Москва	0682
Часть первая Нашествие Наполеона	0682
Часть вторая Бегство французов	0909

**Григорий Данилевский
Княжна Тараканова
(сборник)**

Беглые в Новороссии

Часть первая Перелетные птицы

I Левенчук и Милороденко

В конце апреля, по пути к азовскому помещику, из старых украинских губерний пробирались глухими тропинками, оврагами и одинокими степными лесками двое пешеходов. Оба они были молоды, измождены усталостью, в потертой одежде и с палками в руках. Ночевали они под стогами, пили редко из колодцев, а более из не высохших еще снеговых озерков, ели что бог даст и торопились-торопились. Младший из них, тип чистого малоросса, немного мешковатый и вялый, шел как будто нехотя, пугливо оглядывался по сторонам, вздрагивал при малейшем звуке в степи, ранее старшего сворачивал в сторону, едва завидев на пути одинокий постоялый двор, хутор или проезжую смиренную тележонку. Зато старший шел смело и

даже весело. На нем был зеленый жилет с ключом на веревочке, серая барашковая шапка и ветхие плисовые шаровары. Он бойко говорил по-русски, хотя был родом малоросс.

– Ты, брат Хоринька, смотри у меня, не дурри, не кручись: я уж в пятый раз бегаю. А что? – сходит! ровно, миленький, ничего. В первый раз-таки, как поймали и привели, скажу тебе, вспороли напорядках. Исправник был выжига, пятью червонцами не откупился. А зато места-то, места какие! Батюшки мои светы! Ты в резонт то ись не возьмешь, что это за край, эта поморская сторона! Уж недаром же я веду тебя туда, братец! Там тоже поселки есть, да не чета нашей треклятой «панщине»; сказано – волюшка: вот как птицы вольные, там и земля вольная! Разные тебе языки, сбоку сплошь донщина, а там наши города и море! Жизнь, жизнь, родимый! Денег заработаешь вдоволь, пачпортник тебе выхлопочут. Паны там не то, что у нас: всё уха-ри-молодцы и по-кавалерски тебя содержат. Значит, не то что у нас, по старым господским хуторам, в месячину тебе толоконце одно отпускают, значит дерть собачью, жито попо-

лам с ячною мучицей по пуду на душу. А там тебе и сало, и масло постное греческое, прямо с порта, в богоспасенные дни. Ешь-кушай да трудись, душа. Сказано, вольница! Захочешь жены – и жинку тебе справят новую. Пять раз я бегал и пять раз все новых шамшурок доставал! Такое уже заведение было; коли ты лакомка – не нахвалишься, ей-богу!

Младший на эти слова тихо вздохнул, продолжая семенить босыми пятками, держа сапоги через плечо и изредка потирая тряпичей разболевшиеся от ветра глаза.

– Ну, что вздыхаешь, Хоринька? Слушай, Харько! Эти твои оханья да вздохи – только одни пустяки. Ну, куда мы идем, а? Слышал ты про азовски лиманы, про донски гирла и камыши? Ну? Глуп ты есть, человек, и только! Говорю тебе: приведу тебя в такие места, что ахнешь. Бос ты – обуют тебя, наг ты – оденут, гладен – накормят, пьяница – пить дадут, баб любишь – предоставят тебе таких, что ума помраченье! Волюшка, волюшка, Харитон!.. Кто ее не любит? Бежал я, братец ты мой, впервой сдуру, от блажи, понятия еще не имел, значит, о живодере Петилье, у которого

после трижды в наймах бурлаком жил, – там такой шельма-французик под Бердянском степи держал, – а и то, что со мною случилось! Вышел я, братец, наработамшись и намучимшись вдоволь, в дождь да в студеную непогоду пробирался, как и мы теперь, свинными дорожками, по захоlustьям. Да как вышел я за Днепр, как повидел, что это уже не наша панская Украина, а вольная со светосоздания царина, значит, божья степь, где, куда ни глянешь, все поле да поле, ковыль расстилается да коршунье летает, – всполз я, избитый и усталый, на курган и поглядел этак вперед себя. Голова, брат, и закружилась, а глаза чуть не ослепли от свету, простора да сверканья всякого. И смотрел я, Хоринька, с кургана того от утра вплоть до вечера; упал и заплакал с радости. Так бы, кажись, и пошел на все четыре стороны разом... Волюшка, воля! Пстой, и ты не то заговоришь, как увидишь ее! Сказано, рай! Знаешь бурлацку песню:

*Эх ты, степь моя, степь бердян-
ская!..*

Жизнь постыла, неволя панская!

Веселый вожак, выйдя из глубокого оврага, по дну которого шел с товарищем, несмотря на усталость, звонко запел, потом вдруг засмеялся и замолчал.

– Харько! – сказал он, плетясь в гору.

– Что?

– Ты Левенчук по прозвищу?

– Левенчук.

– Ну, тебя же мы, как придем, окрестим иначе. Вот я Милороденко по прозвищу, там на хуторе, дома, значит, по ихней панской ревизии: а в бурлаках я, братец, повсегда Александр Дамский, и имени уж теперь ни в жисть не меняю; так меня все кавалеры там, значит, помещики, и знают, потому что пачпорта теперь уж мне не нужно, – и без него я знаю, как обойтись. А вот тебе пачпорт на первый раз нужен. Слушай, Харько...

– Что, Василь Иваныч? – грустно отозвался, вздыхая, новичок.

– Как придем мы на границу, до ногайских степей, береги ты меня, душа Хоринька. Покажешь тебе. Непьющ я сызмальства, а как доберусь до воли – себя не помню: пять раз в шинке у Лысой Ганны пропивался, как собачий

сын, до нитки. Береги меня, Харько, как свою душу; не давай мне сразу простору; ублажай меня, уговаривай, да поделикатней при людях, – потом, пожалуй, и свяжи, даже поколоти, обругай самую скверною бранью, а водки много не давай. Хоть просить буду, хоть бить тебя буду, не давай водки, не давай и денег.

Граница уж близко; вот тебе вся моя казна, – возьми и спрячь... Не силен я тут против соблазна... Ох, не силен! Сказано, воля!

Милороденко действительно остановился, присел на траву, снял сапог, достал оттуда в грязной ветошке какую-то сумку, вынул три замасленные ассигнации, посмотрел на них на свет с вниманием и как бы с сожалением, похлопал по ним и отдал их товарищу.

До желанных мест крайнего юга оставалось недалеко. Туда стремились новые товарищи, как стремятся и стремились искони, по неодолимому влечению, сотни и тысячи других, им подобных беглых русских людей, с перелетными от севера птицами, ища новой пищи и новой доли.

Два-три перехода – и они были наконец на рубеже того непочатого или мало еще почато-

го края Новороссии, где Милороденко пророчил у господ кавалеров своему товарищу такое счастье и богатство, каких он и во сне не видывал.

Овраги и лесистые балки стали попадаться реже. Стоги, под которыми они ночевали и прятались на отдыхе от дождей и солнца, исчезали вовсе. Пошла сплошная, необозримая степь, заросшая густыми цветущими травами. Сел и хуторов не было видно вовсе. Кое-где только мелькали в стороне, чернея длинными шестами, со вздетыми на них пучками ковыля, одинокие овчарни. Да иной раз, пробираясь чуть видною в траве колеєю проселка, натыкались они на пустынный колодезь, до того глубокий, что не было видно его дна, как туда ни смотри. Встречные чумацкие обозы они обходили, а к одиноким пахарям в степи приближались. Подойдут, особенно вечером, к огоньку, Милороденко поклонится, подсядет на корточки к маленькому костру, заговорит, посмеиваясь и смотря по своему обычаю в ладони, перебросит с руки на руку уголек, закурит трубочку, и сейчас начинаются у него расспросы и шутки.

– Что, от панов? Панские? – спросят его.

– Панские! – скажет и зальется смехом Милороденко, передавая анекдоты о хуторских невзгодах.

Но Левенчук шел печально и мало принимал участия в веселых проказах и рассказах товарища.

В одном месте Милороденко, угощенный кем-то на перепутье, говорил товарищу, сильно вздыхая:

– Как будем мы идти близко к морю, там речка Мертвые Воды есть. Так-то! Впервые, как я убежал, жил я в косарской артели; шли мы с заработков от одного барина и наткнулись на злое дело. В другой артели не то косарь, не то черт его знает кто, зарезал нашего же, должно быть, беглого брата, старика лакея, а лакей этот шел к морю с дочкой, маленькою девочкой. Убивца, чтоб ему пусто стало, старику перехватил глотку сонному, деньги отнял и убежал. Были, говорят, у него деньги небольшие, дрянь. Так девочка привела отца, еще полуживого, на Мертвые Воды: тот стонал с перерезанным горлом, упал на пороге там какой-то хатки и, говорят, умер, а

на месте не мог назвать, значит, убийцы своего. Скверное это было дело. Мы сейчас сбежались, жалели; ходили смотреть и на девочку, и на умирающего, а у него были такие бакенбарды белые, так и торчали с телеги, как его повезли в город; сам худой да лысый. Страшный такой! Девочка не могла рассказать, откуда они убежали, и ее взял кто-то в приемыши.

В другом месте Милороденко беседовал:

– Да ты мне скажи, Харько: и вправду ты думал утопиться, как я тебя увидел на плотине и сманил? – Это было уже на последнем привале, ночью, в кустах дикого терновника, где они расположились понежиться уже повольнее и даже сами решились развести огонек.

Левенчук ничего не отвечал. Его серые, широкие, задумчивые глаза, при черных курчавых волосах, печально смотрели на догоравшие уголья, тогда как карие, веселые, наигранные, как у кошечки, и подвижные глаза Милороденко так и смеялись.

– Вылез я из камыша, – продолжал, хохоча, веселый жожек, – вылез, смотрю – человек си-

дит над водоспуском, плачет, охает, все озирается и хватается за голову. Шапку снял и уж ноги свесил над омутом... Ждал я, что будет, а ты все ближе к омуту, ближе да плачешь. «Тю-тю, дурный!» Ты и остановился. Расскажи же, брат, как это ты задумал, когда жену-то твою порешили, топиться в панской речке?

– Что ж, дядько, – начал Левенчук, – скажу тебе. Я ходил за овцами у пани; ну, ходил и ходил! скука там смертная была. Раз и зовет меня старая пани: «Харько, я тебя женить хочу!» – «Воля ваша, говорю, пани». – «Да ты не знаешь, на ком?» – «Не знаю». – «На Варьке, на дочке Петриковны! хочешь?» – «Воля ваша!» – говорю, – а у самого сердце так и обдало! А Петриковна была ключницей у нашей барыни, проворовалась, ее и сослали на птичню. Пила запоем, с горя, эта старая мать Варькина. Повенчали меня с ее дочкой в числе других шести пар, разом. Барыня наша уж эти свадьбы всегда справляла зауряд, осенью, перед филипповками. Не знали мы и ни разу до свадьбы с Варькой, не говорили ни слова. Известное дело, я пас овец, все в степи и редко домой наведывался. Повенчали нас, поса-

дили за стол, а потом спать положили...

Харько помолчал.

– Ну, дяденька, скажу я прямо: так стыдно было мне на свою жену глядеть, что больше году мы и вместе жили, и за стол есть садились, и уже любить-то я ее начал, а говорить еще по душе не говорили и не глянули друг другу в глаза прямо; все больше молчишь или перекинешься так, пустым словом, да и глаз от земли не поднимая. И рассмотрел я ее, правда, уж через год. Пас я, как всегда, овец отару; бежит ко мне соседская девочка: «Дядько Харько! – кричит, – тетка Варька сына тебе родила!» Не помню я, как допас овец до вечера; напоил их, загнал их в сарай, вбежал в хату, а в хате ладаном накурено, соседи чинно сидят, люлька висит у потолка, а Варька, лежа, качает с лавки ребенка. Я кинулся к люльке, она приподнялась. «Харитон! – говорит шепотом, – это наше дитя!» Мы взглянули через люльку друг на друга прямо и, склонясь над дитятею, заплакали и тихо поцеловались. С той поры мы на людей уж стали похожи. Люди радовались, и мы радовались. Да не довелось пожить счастливо. Съездила наша па-

ни в город и купила новую молотилку, такую машину, с чугунным барабаном. А в прошлом году у нас сильная пшеница уродилась. Привезли эту машину, поставили на току в сарае и стали молотить лошадьми, а бабы солому отгребали. Мазали эту машину дегтем. Раз и моей Варьке загадали с другими идти до той молотилки; а сама наша пани всегда при работах стоит. Пока запрягали коней, пока пани от горниц приплелася, бабы и давай на выдумки. Та на коня верхом лезет, та в снопах перекидывается, а моя и говорит: «Где, бабы, мазница с дегтем? Давайте себе сапоги помажем!» – «Вон, говорят, под колесом!» Она и полезла. Подставила один сапог, смазала; стала и другой мазать. А тут кричат: «Пани идет, пани!» Машинист у нас кривой, подлец такой был, со злобы, что ли, повернул барабан, лошади дернули, колеса завертелись, а Варька рукавом и попала под чугунное колесо. Бабы кричат: «Стой, стой!» А он кричит на погонщиков: «Бей, гони коней! барыня идет! мы стоим ничего не делаем». А Варька боится крикнуть, притаилась... Машина пошла... Ох, дядько! И вспомнить страшно... Застонала

она, что-то захрустело... Прибежала опять ко мне в степь та же соседкая дочка. Орет-голит на всю степь: «Ты тут овец все, дядько, пасешь, а там уж твоей Варьки на свете не стало!» Бросил я овцу и прибежал на хутор. «Где, говорю, где?» – «На панском дворе!» Прибежал я в самую панскую горницу, а она-то, моя Варька, на полу лежит, и сама старая пани простоволосая над нею мечется... Куда тебе! Руку оторвало, и всю потрощило ее, мою сердечную, в куски! Ох, дядюшка, страшно!.. Я как глянул, так и сам упал... Отлили водою меня... Похоронили ее, голубочку, а мне свиту новую справили. И впрямь: пани тут, пожалуй, сама и не виновата. Да уж я, как встретился с машинистом, глянул на него, а он глаза понурил, стал и говорит мне: «Иди своею дорогою, не смотри на меня: ты, как собака, злой». Зашел я в шинок как-то. Кучер наш гулял. Перепоил нас. Тут и машинист храбрился. Я и задумал недоброе. Уж не смог я эту овцу в степи больше пасти. То, бывало, ходишь день-деньской по жару, печешься, есть-пить хочется, вода в баклаге теплая, прогнившая, овца собьется в кучу... Сядешь; кругом ни ду-

ши, – одно марево огнями переливается да овражки свистят. Скука... руки бы на себя наложил! Делать, работать не хочется; да и что сработает, ходючи без устали? Разве ложку какую выдолбишь! А все прежде жилось. Вечер-то, вечер! хата! – так и манят. Придешь, и все забыл. Ляжешь возле нее, прижмешься к ней, а в хате чисто, травами сухими пахнет, постель белая; она смеется, шепчет тебе сладким шепотом – и до утра иной раз не спишь! Ну, меня и повело, как Варьку порешили. Ох, дядько... боюсь! Не допытывай меня... Ну, что же?.. так-то вот раз нашли машиниста под селом убитого; волки уж и голову ему объели. Порешить себя тут задумал и я... Сперва удавиться хотел, а потом утопиться. Люди меня усовещивали; суд допытывал. Это я уж в третий раз над омутом-то сидел! Грешное дело: и спасибо тебе, Василь Иваныч, что ты меня избавил!.. А все как-то жутко еще, и мерещится все недоброе... Без руки лежит, вся потрощенная, кровавленная на панской молотилке... А собаке – собачья и смерть! Не я его убил. Должно быть, чужой кто. Он все шатался по любовницам по ночам. Ну, а тут уж прямо ме-

ня подозревать стали, люди начали обходить меня. Затаскали по допросам. Пани в солдаты погрозилась отдать. Я и сам стал как неживой. Как собака голодная мыкался. Много наших разбрелось из хутора в разные годы, а сам не решился. Все думал: как уйти? И в голову не прибиралось.

– Вот постой, постой, Хоринька, как придем да как помещу я тебя в неводчики, при рыбных ловлях или в какую косарскую артель, – добром помянешь, любезный человек! А вот я так иначе бегал...

– Как же ты, дядюшка, бегал? – спросил уже несколько спокойнее, как бы облегча душу, Левенчук, помолившись вслух на восход солнца впотьмах и ложась спать у окончательно потухшего костра.

– А вот как я убежал впервые, – начал Милороденко, весело закидываясь навзничь и потягиваясь под кустом, – моя сказка, простой ты человек, короче. Видишь ли, ты еще теперь настоящий хохол, а я уж и тогда был натертее, – в лакеях, значит, обретался и по-господски говорил как следует. Ну, скажу тебе по правде, ничто меня всегда так не манило, как,

выходит, крупичатый хлебец, то есть, значит, бабье дело. Ну, простота, черт меня и попутал до конца! Прошлялся по Таганрогу; а тут и изловили меня полицейские на базаре; домой переслали, вздули, брат, это меня опять по всем порядкам. А тут опять душа пить попросила... Влюбилась в меня, до побегу еще значит, племянница самого барина... да!

– Что ты? Ах, братец ты мой! – даже вскрикнул с испугу в темноте Левенчук и вспрыгнул на корточки.

– Эх, дурачина ты, брат, дурачина! Ну, чего смотришь так? Вот то-то и дело, что ничего! – продолжал, вольготно потягиваясь, Милороденко, – это почти то же самое дело, никакой разницы нету, кроме опчей, значит, чистоты... Просто, ровно ничего! Сперва я хаживал к барышне в окошко; в саду видалися; воду, зонтики ей туда носил; а там дело узнали, заперли меня; барин в кандалы хотел заковать, сослать задумал; да увезла она меня к своей матери: там в приживалках у какой-то енеральши мать эта жила. Выкрала меня барышня из амбара. Выли, выли старухи хором, совещались, душечка ты моя, с разными госпо-

дами и чиновниками и решили нас, братец, попросту, тоже повенчать. Да! чего ты это смотришь? именно повенчать; мне выхлопотать обещали вольную. А барин и заартачился. «Не дам, говорит, она наш род опозорила, с холуем повязалась, так пусть останется моею холопкою-крестьянкою, коли венчаться хочет!» Ну, нас не повенчали. Так мы и остались. Зажили это мы с нею, не скажу весело, а сносно. По богомольям ездили; я в манишках, в перчатках, как следует, хожу; трубку при господах курю, даже фрак мне справили! Только и стала меня ревновать эта моя барыня-подруга. И не буду я тебе, душа, много рассказывать. Один-таки пьяный поп нас повенчал. Любовью да ревностью задала тогда мне моя жена за год такой копоты, что я и придумался. Оно, конечно, я спал на пуховиках, ел сытно; наш же Сережка, с которым я прежде в бабки играл, кушать нам подавал. Я ему кричу: «Э-эй, малый, трубку!» А он ни гугу; в сенях только иной раз кулак, шутник, покажет. Жили мы в городе, на краю, на квартире у дьяконицы. Иной только раз заваляшься в кабачок и закутишь с мещанами и с

мужичьем; деньги были. Я вакштаф курил, говорю тебе, в карты в прифиранец с чиновниками вывчился, в халате сидел по целым дням. А она все меня целует да мучит ревностью. «Ты, говорит, Матрену нашу прежде любил, с Парашкой знался! Правда это? Признайся, говорит, признайся!» Да все грызет и плачет. Опротивела она мне; стал я и бивать ее подчас. А люди добрые, мошенники городские, и посоветовали: «Обокрадь ее, да и убежи!» Ну, красть я не крал, а бить, – отпорол единойды в спальне нагайкою; сказано, опротивела мне, так за косы ее и таскал, бимши. Она ничего, стала тише, руки мне целует... А тут я и получил из Таганрога записочку от одной красотки: там в модницах жила, и мы в бегах знались. Взманула меня опять волюшка. «Эх, – подумал я, – бес вас заberi, похувики да супы, да лежанье одно, да панские рассказы!» Стал я больно суров... У! натерпелась она тогда от меня! А на втором году я и дал тягу, уж окончательно, да с той поры ее и не видел.

– Что же, дядько, а она где теперь стала?

– Умерла, говорят, братец, в скорости, без

меня! Ведь это давно было. Я холост уж вот четвертый год.

Возвращался к барину. Да уж в другой раз не поладили. Сильно я ему грубил и досаждал. Барин повестки обо мне разослал, как я бежал. Ловили меня, приводили снова раз к нему; жены я не застал уж тогда. Соседи советовали ему: «Дай вольную Ваське!» Не дал! Ну, а я уж, душечка, подумай, покурил вакштафу, – домой-то, значит, к пану своему больше и не хотелось. Ну, с той поры по сей день, четвертый год, и состою в бегах. Детей, видишь ли, не произвел, не осталось. Родня женина срамится, должно быть, и вспомнить меня. Хоть и мне страшно вспомнить это их всех. Скверные, братец, люди! Да я-то теперь уж разбогатеть хочу, показать себя им всем, что я за человек! Что ж, что я холоп, так и не венчать? Пан вольной не дал, ну, и стеснил тем нас. А будто трудно было подмахнуть бумагу? Ну, я же им это покажу, и без них обойдемся! Разбогатею вот как! Сторона это такая, что только трудись, – золото лопатами тут все загребают...

Оба товарища на этом заснули. Ночью Ле-

венчуку все казалось, будто что-то шелестело в степи, точно конь близко где-то силился оторваться от привязи, оторвался и, фыркая, все бегал впотьмах. Раз он открыл глаза. Над ним висело темное-темное, усыпанное звездами небо. Голос какой-то птицы уныло охал вдали. Кузнечики трещали. А в мыслях его было смутно. Глаза горели, в висках стучало. Покинутая родина и чужая даль сжимали бедное, напуганное сердце.

Разбудили их песни жаворонков и все крылатое население степи, сверкавшей под каплями крупной утренней росы. Голубые туманы переливались вдали. Слева шли волнистые зеленые косогоры. Справа синело не то море, не то та же бесконечная, будто в гору идущая, степь. Что-то отдавалось уже не украинскими, простыми и тихими картинами, а чем-то иным...

– Видишь эти пустыри? – допытывал Милороденко, – много я тут помыкался! В Москве теперь я пожил два года, а сколько уже здесь перемены. Вон, видишь, уж хуторок лепится над балкою, садик разводят, пруд мигом вырыли, мельницу-ветряк ставят, панские гор-

ницы строят. А два года назад тут одна степь была. Теперь и дорогу туда протоптали. Так и при запорожцах тут заимки занимали. Вся наша и земля тут старозаимочными хуторами стала. Наши предки с тобою тоже сюда пришли и закрепостились. Ну, а мы с тобою уж теперь вольные...

Миновав еще два-три пустынных аула, пешеходы вошли в область разнообразных новороссийских колоний и под вечер очутились у знаменитого порубежного в крае шинка Лысой Ганны, которого так боялся Милороденко. В шинке и кругом шинка, близ байрака, сновали какие-то люди. Фургоны стояли, волы паслись, верблюды шагали к водопою. Мелькали татары в бараньих шапках. Двери в шинок были распахнуты настежь. Волынка и две скрипки брэнчали у крыльца. Музыканты были слепые нищие. Старший из них затягивал под музыку песню: «Ой, фортуно, фортунонько! де до тебе стежка?» Милороденко ввел Левенчука в шинок, ткнул пальцем на бородатого жида-шинкаря, сказав: «Вот это ж и Лысая Ганна!» – узнал двух-трех соседних знакомых и заметался.

– Всечестнейшая и преблагородная компания! – сказал он, – целуйте меня, я Александр Дамский и опять между вами. Лейба, шельма, водки!

– А! это ты, Дамский? – отозвались его приятели из посетителей Лейбы, все народ мрачный и бедовый. – Где был? откуда пожаловал?

– Из Киева, антихристы, из Киева; а был и в Москве, милочки. Дважды нажился в это время и дважды продулся! Да меж вами доносчиков нет?.. Тронь меня, я и ножом теперь пырну – не замай! жить хочется, жить давайте мне – я теперь вольный человек! Пришел это мимоходом к барину к своему на хутор, говорю: «Полно биться, будем мириться». А он, как положил, и всыпал мне двести. Я опять тягу.

Чего только не делал тут Милороденко. Помня зарок приятеля, Харько сперва было воспротивился просьбам его дать денег. Но уже Александр Дамский хлебнул горькухи и преобразился. Про розги и свидание с баринном он врал для щегольства. Из веселого и кроткого человека – это стал зверь: ноздри раздулись, лицо побледнело. Он свистал, пры-

гал, давал приятелям пинки, кричал: «Воля, воля! Я ведь вольный!»

– Ах ты хохол-свинопас! – крикнул он на всю хату Левенчуку. – Слышите, добрые люди, денег не дает! – И ни слова дальше не говоря, попотчевал спутника страшною затрециной, дал пинка в спину, а потом в живот... Со сверкающими глазами, со скрежетом зубов и растрепанный, отнял он под вечер у перепуганного и избитого Харько все свои деньги и пустил пир во все заставки.

Левенчук ждал два дня, наконец выпросил у шинкаря кусок хлеба и пошел куда глаза глядят. Событие с ним никого не удивило. Его насмешливо обходили как новичка.

Приставши безмолвно к первой партии косарей, он обрадовался, что его ни о чем не спрашивали и ему ничего не говорили, и прокосил у какого-то колониста более недели. Потом его направили по соседству, к помещику, полковнику Панчуковскому.

Левенчук пошел указанною дорогой, скоро нашел на Мертвых Водах Панчуковского, увидел среди степи его новый красный кирпичный дом, кругом которого возводили высо-

кую каменную ограду, а в стороне кирпичную с фронтонами и под железною крышею огромную овчарню. Вся усадьба, как видно, только что обзаводилась и напоминала скорее ирландскую или саксонскую ферму, чем украинский заднепровский хутор. Левенчук пришел прямо к панскому крыльцу, где уже дожидались другие. Вышел господин молоденький, с белокурыми усиками, франтовато одетый.

– Здравствуйте, ребята – сказал он бойко, по-военному. – Много вас пришло?

– Шестьдесят, ваше высокоблагородие.

– И все больше нашего поля люди? – спросил и весело подмигнул полковник.

– Точно так.

Полковник, уверявший всех, что тот не хозяин, кто не вырос под крепкою командой и сам не выучился повелевать, умел-таки владеть приходящими к нему.

– Ну, милые люди, будьте же гостями! Завтра сенокос за речкой; у кого пачпорта нет, тому цена полтина ассигнациями в день; у кого есть – полтина серебром. Ступайте в контору, выпейте по чарке водки и пока

марш на ток молотить!..

– Рады стараться! – гаркнули пришедшие и пошли в контору, хваля ласковость и бойкость умелого господина.

Левенчук в конторе записался на месяц. Взволнованный и все еще в тумане от небывалой новой жизни, он очутился с хозяйским цепом в руках на току, стал постукивать по снопам, глянул в сторону и обомлел... Милороденко! Он глазам своим не верил. В какой-то дырявой нищенской свитке, с бледным испитым лицом и потускнелыми глазами, брошенный в шинке Лысой Ганны неделю назад, его вожак и товарищ был уже тут и также тыкал цепом в снопы, в двух шагах от него. Улучив минуту, Харько поровнялся с ним и шепнул, подсмеиваясь и вместе пугливо поглядывая на него:

– А что, дяденька, и вы тут?

– Тут, – отвечал тот со вздохом и, тихо повернувши тусклые и испитые глаза за клуню, кивнул туда головой. Оттуда неслись хлопаныя кнута и крики. Кого-то секли, а полковник, громко считая удары, приговаривал в антрактах наставления, то сердясь, то весело

причитывая прибаутки.

– Кого это, дядюшка? – спросил пугливо Левенчук.

– Товарища там нашего одного; я угомонился, видишь ли, а тот и сегодня пьян напился, и барину здешнему нагрубил на работе, да и с приказчиком тут не поладил...

– Так и здесь, дядюшка, секут? Тут же мы на воле?

– Ох, и тут! порядки эти и здесь заводятся, видишь! Давно я тут не был; ну, без меня оно так и стало. Да ты на то не смотри: полковник добрый человек; отчего же и не посечь дурака, нашего брата? хуже, как в стан явит, а ты беглый!

– По чем же вы стали? – спросил Левенчук.

– По гривеннику...

– Отчего так мало?

– Среди недели, видишь ли, пришел и одежду еще хозяйскую занял. Что делать! И на это тут иные порядки на беглых стали. Прогорел я; ну, да авось поправимся скоро!

– Вы же толковали про мед да сало, дяденька? Где ж те горы и места, что кормят и поят вдоволь, и где та воля живет и сама промежду

людьми ходит? И тут, как у нас на панщине!

– Э, подожди, не все разом! А пробовал, Хоринька, борщику с салцем или с свежей таранью? Тут поблизости и ловят эту рыбу. А?..

– Пробовал.

– А что, вкусна?

– Рыба вкусна, да и работа вкусна; у нас дома так рано не встают и поздно не ложатся. Тут все построже. Загляделся – и гонят. А рыба вкусна...

– То-то же, голубчик Хоринька! Да слушай: как бы опохмелиться? Откажись сегодня от порции своей для меня... Я тебя отблагодарю; а с завтрашнего дня уж я ни-ни... ни капли! Ведь ты знаешь, что я только тогда пью, как сюда на волю вырвусь! Прости ты и мои побои в шинке. Сказано: человек дорвется до безопасности, паном стал сам, ну, и пропадай душа!

Хоринька отказался от своей порции, и Милороденко опять повеселел, хотя цепом стучал по снопам до вечера молчаливо и никого не смешил и не озадачивал своими шутками.

Дни потекли незаметно. Вся почти артель

полковника, человек до двести, состояла из беглых; они часто менялись, уменьшались в числе. Были из них и постоянные, нанятые по годам и более. Тут был значительный риск. Они жили в особых избах и землянках. Пури-танские чистые нравы этого народа не допус-кали на работе никаких споров и ослушания. Все шло, как на ученье рекрут и на глазах са-мого свирепого командира. Ночевали летом работники под открытым небом, где-нибудь поблизости в овраге; прятались в току или в овчарном сарае. Становой, купленный здесь недешево, очевидно, нарочно сюда не загля-дывал. Но жизнь беглой артели была вечною тревогою, вечным ожиданием. Вот налетят – в кандалы, по этапу – и марш обратно в по-стылые хутора, на работу!.. Расплачивались с бурлаками еженедельно по субботам. Зато в воскресенье было уже их время. Иные и тогда работали за половинную цену, другие расхо-дились по соседним и дальним шинкам по-пить и побалагурить с наплывными же, бег-лыми девушками.

– Да! – говорил какой-то рябой в красной рубахе богатырь, также из беглых, нанявший-

ся у Панчуковского, – вы вот, ребята, спокойны: полковник – человек-огонь, и начальство свое, должно быть, для нас ублажает! А вот я намедни у немца за Мертвою молотил, слышим – звенит колокольчик. Немец вбежал, кричит: «Кто бродяга, марш в поле!» Мы, бурлаки, по-за скирдами да в ров. А становой за нами, всех перевязал... Насилу откупился немец: пятьдесят червонцев, сказуют, дал. У моего пана на Ворскле я кучером был, уж тот за нас так не потратился бы...

– Ну нет! – беседовал, в свой черед, покуривая трубочку, Милороденко, – как им, чиновникам, не разыскать нас, коли б сами пань не думали откупиться за нас! не то что людей с собаками, – собак людьми отыщут, коли захотят! Чутье уж у них такое! – Толпа захохотала.

– Как так? Расскажи...

– А вот как. Был у нас не тут-то, на вашей вольной земельке, – а у нас, в панской нашей Расее, был в уезде судья, отличный, распредобреющий и еще молодой человек, и жена у него писаная красавица; наехали раз к судье гости, значит, ближние и чужие дворяне, и в

скорости пропала у него, после их съезда, пара лучших собак, – а он был завятой охотник. Не было тогда судьи дома. Кто украл? – «Кто-нибудь из гостей, значит, побаловал!» – «Ну, красть дворянам не полагается!» – думала судыха; да, долго не думав, выследила через людей дорожку в соседнюю губернию, куда увели собак, велела запречь карету, села сама молодочка, да и покатила туда. Уговорила тамошнего исправника, подъехала к тому господину, попросту, значит, укравшему собак, сама остановилась на селе, а исправник пошел к нему да и накрыл собак, в самой, то есть, спальне у пана, там – под его брачную кроватью; первое время он там держал собак – погони боялся. Взяла тогда барыня собак, посадила их с собою в каретку, отблагодарила исправника и поехала. Так-то!.. Не унесут тебя ни лисьи хвосты, ни собачьи пятки, коли тут тебе сами кавалеры не помогут... Этакая судыха, хоть кого найдет!

В первое же воскресенье Левенчуку удалось быть близ одной соседней приморской зажиточной слободки, в одинокой заимке, на песчаной косе, на свадьбе одной девочки, вы-

ходившей за неводчика, как видно, из беглых. Отец ее тоже был напывной, из беглых. Левенчук не верил своим глазам. Невеста и ее подружки, соседние вольные крестьянские девушки, сидели в кисейных французских платьях. Молодая венчалась в шелковом канаусе и в наколке из бархатной синели. На свадебном столе стояли тарелки с конфетами из Таганрога. Гостям разносили кизлярское, а бродячие музыканты играли польку и кадрили из самоновейшей оперы Верди, завезенной прямо из Тосканы в Одессу.

– А-а? ведь все из вольных, либо из бурлаков! – шептал Милороденко очарованному Левенчуку, когда они протерлись в толпу смотреть на молодых, – посмотри, все девки сидят в перчатках, а молодой при часах!.. Это, друг, не чета нашей хохландии, где потом пахнет от каждой, братец, девки, как от козла!

На крыльце же, на свежем воздухе, в толпе усердных слушателей, какой-то тщедушный, загнанный старикашка рассказывал, какой у них в селе, возле Тамбова, генерал был: «Как подашь ему это, бывало, либо трубку в пыли,

либо воды теплой напиться, – так и пустит в тебя чем попало, трубку, стакан ли, тарелку ли, что держит, так в рыло и угодит тебе. Мне морду раз окровавил так, что стыдно было в люди показаться!»

– Скоро воля будет, пачпортов не будет, – мрачно говорил другой, – не будет неволи, и пачпортов не будет.

– Ну да, в Нахичевани теперь и то их всякому продают! – откликнулся на это кто-то, – значит, воля близко!

– Э, братцы! – говорил возле долговязый парень из толпы, в нанковом жилете и пальто, купленном у какого-то жидка на торгу, – как затеял бежать я сюда, наша барыня будто подопрела; вот сущее слово, подопрела, точно снежок по весне подалась. Старосте чай стала давать, нам водку на работе! Да нет, теперь уж шабаш!.. Шабаш, не пойду!

Музыканты заливались. Скрипки весело пиликали. Разносился пунш с кизляркой. Пьяный соседский повар, накормив всю компанию, с важностью барина пыхтел и курил трубку из длинного армянского чубука, развлясь у крыльца, на травке.

– Медам, медам! пермете-с ангаже[1], – полька! – говорит кто-то, взяв смазливую горничную под руку и идя с нею сквозь толпу. Толпа на эти слова громко захохотала. Левенчук посмотрел – Милороденко.

– Ты и по-иностранному знаешь?

– Знаю! Супруга вывчила.

И долго шли танцы под вербами.

Месяц осветил двор хаты и ряд крыш слободки. Толпа прогуливалась. Девушки хихикали. Милороденко, натанцевавшись польки, утирал пот с лица.

– Да вы бы, сударь, трепака ударили! – говорили ему зрители.

– Нельзя, я барином два года был: трепак – холуйское дело.

Поздно ночью он нашел товарища.

– Что, Харько, все о своей Варьке думаешь? Чего осовел? – свирепо спросил он Левенчука, – глянь, какое веселье! А ты все о Варьке своей, о бабе покойной убиваешься, – а?

– Нет, не о Варьке, а так – скучно!

– Глянь-ка на молодую: что за красивая бабенка! хочешь, и тебе сматерим? – спросил Милороденко. – Тут только мигни, можно!

– Нет, скучно мне, – ничто не манит! Да ты и смелее меня; а мне все как-то жутко...

– Ну, так поцелуемся!

И приятели обнялись.

– Так будем трудиться, чтоб разбогатеть; богат – значит, волен!

– Будем. Надо устроиться, а то все страшно – стало строже все...

– Спасибо за дружбу! – добавил Милороденко, – а за уступленную порцию – тогда, помнишь? – вдвое спасибо! Я не забуду тебе этого, Хоринька. Кликни только, встретимся ли, нет ли: удружу и я тебе! Помни! А теперь дам совет: хочешь на лиманы, на Дон, к морю?

– А что?

– Там скорее деньгу теперь зашибешь: там контрабанду теперь свозят.

– Нет, погоди; огляжусь прежде здесь... Ты смелее меня – ты дока на все...

– Ну, как знаешь. А за водку спасибо. Не забуду тебя. Я же, брат, прощай! Товарищи передали, зовут к неводам, в гирла донские. У меня, коли тихое житье, скучно; я уж попорченный. Мне давай такую волю, чтоб хмелем прошибало, чтоб дух от нее захватывало. Там

и страшно, да зато же и заработок хороший. А мне уж пора и на старость что припасать; нору свою завести. Хоть бы так, зернышка какого, как зайцы на зиму припасают да суслики... Недаром же я теперь навеки бросил и барина, и всех своих! Хочу остепениться, земли после куплю.

II

Беглецы высшего полета

Прошло три года.

Была прелестная степная майская пора. По дикому и пустынному пути между Днепром и Мелитополем быстро скакал в колясочке, на четверне добрых лошадок, видный и веселый блондин в широкой соломенной шляпе, с бородкою и в светлом пикейном сюртучке. Его можно было принять за горожанина-афериста или помещика. Он рассматривал виды по сторонам дороги. Фу, какая глушь! Ногайско-татарская степь шла вправо и влево, изредка только волнуясь и склоняясь погорелыми от зноя травами, камышами и песчаными косами к синему, ярко горевшему морю. Здесь по приземистой траве мелькали высокие светло-желтые, синие и красные цве-

ты, сплошь заливая собою необозримые поляны. Как бы вы ни смотрели, куда бы ни кинули напряженный взор – одни поля, голубые холмы у небосклона да мелкие, в огненной лазури потопленные, облачка. Кое-где только темнеют вдали, по сторонам, одинокие овчарни, откуда, завидя редкого путника, вдруг кинутся стаей громадные пастушьи собаки, темными черточками вытянутся по степи и вот-вот, кажется, настигают вас. Но расстояние так далеко, что они скоро остановятся и, свернув свои косматые хвосты, возвращаются назад. Белыми пятнами ходят бесчисленные дрофы по диким, плугом не тронутым, пустырям. Коршуны высоко плавают в небе. Пестрые флегматические аисты сторонятся от дороги, чуть не задеваемые колесами, да широко раздаётся во все стороны вечный свист, стон и шорох степи.

– Самусь! это будто едет кто нам навстречу? – спросил барин кучера. Седой как лунь кучер наставил ладонь к глазам.

– Бог его знает, что оно такое! не то колонист на телеге, не то коров гонят! Тут его никак не разберешь, что оно в степи.

Скоро путник разглядел в мерцающей дали известный зеленый, на железных осях фургон колонистов и в нем ездока и возницу. Фургон остановился, путники что-то в немправляли.

– Что, обломались? – спросил господин из коляски, приблизясь к фургону.

– Чека соскочила, – ответил колонист, – с кем имею честь говорить?

– Полковник гвардии в отставке Владимир Алексеевич Панчуковский. А вы кто, позволете узнать?

Колонист снял шапку и ответил, отчетливо выговаривая по-русски и улыбаясь:

– Колонист, Богдан Богданыч Шульцвейн, из-под Орехова, из колонии Граубинден, коли знаете; еду теперь из-за Ростова.

– Очень рад познакомиться. Не курите ли? Вот вам сигара, Богдан Богданыч, чистейшая кабанас...

– Нет, я вот сарептский; я нюхаю-с! Это – табачок очень тоже ароматный. Мы его сами и сеем в колониях наших-с.

– Что нового на море? Что хлеб?

– С пшеницей вяло, с льном крепко; сало

идет вверх, фрахтовых судов мало, конторы жмутся.

– Ай! это не совсем хорошо!

Сели путники на травку, достали кое-какую закуску. Кучера тоже познакомились, закурили тютюн и повели беседу.

– Куда вы, собственно, ездили? – спросил небрежно Панчуковский, не смотря на простоватого, засаленного собеседника и покрывшая хорошенькие русые усики. Он устал от дороги. У его товарища между тем, хотя уже пожилого человека, румяное полное лицо так и отливало густым молоком менонитской, некогда питавшей его, кровной коровы; фланелевая фуфайка была чистейшего табачного цвета, синяя куртка вся в пятнах, а синие штаны были засунуты в высокие купеческие сапоги, не без аромата дегтя.

– По делам-с, господин полковник, – известное дело, мы минуты свободной не имеем: либо дома мозолим руки, либо по степям оси трем на своих фургонах.

– Какие же у вас дела? – спросил еще небрежнее полковник. – Все, я думаю, насчет картофеля? «Картофель унд пантофель»[2],

как мы говаривали еще в школе надзирателям из вашей братьи?

– Как какие? всякие. Мы народ торговый-с.

– Значит, и овощами торгуете, и салом, и табаком?

– Торгуем всем! Всем, либер герр[3], всем!

Колонист встал помочь кучеру перепрячь лошадей. Полковник прилег на траве, поглядывая с улыбкою на уходившие пятки товарища, подкованные медными гвоздями, и помышляя: «Вот стадо баранов! Я думаю, женился в семнадцать лет, и жена его теперь тоже на овцу похожа, – ест индеек с медом, чулки даже во сне вяжет!»

– Что же у вас за дела, скажите? – опять спросил он колониста, подсмеиваясь.

– Да что, батюшка, – на днях купил я землю, вот что неподалеку от Николаева, близ поместья герцога Ангальт-Кеттен: съездил потом на Дон принанять степи для нагула овец, да не удалось – надо подождать, когда снимут сено; а теперь еду купить, коли придется, с торгов, в Николаеве наши бывшие батареи, то есть разный хлам с севастопольских батарей: дерево, обшивку, брусья, а пожалуй, и чу-

гун. Наше дело коммерческое: что попадет под руку, всем торгуем. Ничем не пренебрегаем и времени не упускаем. Вы знаете нашу пословицу: морген, морген, унд ниht хёйте...

– ...Заген алле фауле лёйте?[4] Как не знать! Но скажите, зачем вам еще степи за Доном? Где, позвольте, у вас собственная-то земля? Извините, я не расслышал...

– Мейне эйгене эрде[5], моя собственная земля есть и под Граубинденом, и в других округах, да места стало уже нам, колонистам, мало. Так-то-с, не удивляйтесь! Наши кое-кто уже в Крыму ищут земель, на Амур послали депутатов присмотреться насчет занятия земель под колонии. Засуха – ну, и надо перегнать часть овцы на лето за Дон.

– Сколько же у вас овечек? – спросил Панчуковский, пощипывая усики и смотря на это кроткое, румяное лицо, и зевнул. – Да не хотите ли масла, колбаски? Вот вам масло, вот хлеб! Я совсем устал от дороги. Не хотите ли? вот ножик. Я тоже все хлопочу, строюсь...

– Благодарю! – ответил кудрявый колонист, оправляя свои белокурые, с проседью уже, немецкие пейсы, выбивавшиеся из-под

барашковой шапки, и принимаясь за масло, – у меня овцы довольно, о, очень довольно...

– Сколько же?

– У меня семьдесят пять тысяч голов овцы в разных местах-с...

Панчуковский приподнялся на локте.

– Что-о-о? Как-с? Сколько? Я не расслышал! – сказал он и заикнулся, подобно незабвенному Манилову, некогда пораженному сказочной профессией Чичикова по покупке мертвых душ.

– Семьдесят пять тысяч голов-с мериносов! – ответил опять смиренный собеседник и стал копаться в котомке, укладывая остатки провизии. – Но, мейн либер герр, как здесь ни хорошо, а скучновато; все в Германию тянет... Мы здесь чужие!

Дух захватило у Панчуковского. Мигом в его голове мелькнули соображения: «Если у него семьдесят пять тысяч мериносов, то сколько же он должен получить дохода? На худой конец по целковому с головы, итого семьдесят пять тысяч рублей серебром. Двести пятьдесят тысяч рублей ассигнациями, четверть миллиона в год!»

И он окинул взглядом колониста с головы до ног, как бы соображая, как такое засаленное существо могло владеть таким богатством, и прибавляя про себя: «А ведь все-таки, наживясь, уйдет в Германию! сколько волка ни корми, улизнет в лес...»

– Да вы не шутите? – сказал он и сел.

Колонист засмеялся. Белые зубы, напомнившие корову, так и осклабились до полных загорелых ушей.

– Нет, не шучу!

Панчуковский, летевший из Петербурга в степи за наживой, бросивший для барышей модный свет, щегольских товарищей, оперу, Невский проспект, французские водевили и комфорт всякого рода, – невольно вздохнул, придвинулся к собеседнику, вертевшему в грубых руках замасленную барашковую шапку, и сказал:

– Вы колонист, и я колонист. Мы оба Колумбы и Кортесы своего рода, или скорее бродяги и беглецы из родных мест за наживой. Мы колонизаторы дикого и безлюдного края. Нам тесно стало на родине, на севере – ну, мы и бежали сюда. Ведь так?

Колонист аккуратно и громко высморкался.

– Э! что тут говорить! Как ни говори, а немцы вам нужны. Вот, мы первые здесь овцеводы. Земля тут прежде гуляла, а теперь не гуляет. Наши колонии садами стали, мы вам леса разводим, оживляем ваши пустыни...

– Сколько же у вас земли? – допытывал полковник.

– Около тридцати тысяч десятин собственной; а то еще арендную у соседних ногайцев и у господ дворян. Фриц, достань мне табачку и табакерку! – крикнул он кучеру, – на дорогу свеженького подсыплем. Так-то-с!

Долговязый Фриц принес кожаный мешочек и стал сыпать табак в табакерку хозяина.

Колонист, между тем, еще присел, опять намазал масла на хлеб, присыпал зеленым сыром и сказал:

– А вы здешний? Зачем вы службу бросили? Вам уже скоро и генералом бы легко быть!

– Я тут тоже теперь кое-чем маклакую. Хутор устраиваю, землю купил, хлебопашество наймом веду. Ведь я тоже, повторяю вам, ко-

лонист, бродяга; бросил старый скучный север.

– Ну, так будем же знакомы. Мы одного поля ягода! Ваша правда-с! Только станет ли у вас столько-с охоты и труда? У меня и свои корабли теперь тут есть. Два года уже, как завел. Сам на своих судах и шерсть с своих овец прямо в Бельгию отправляю.

– Ах, как все это любопытно! Позвольте: у вас, значит, и свои конторы есть в азовских портах, в Бердянске, в Мариуполе, в Ростове?

– О нет! Это все я сам! – говорил колонист, чавкая и добродушно жуя хлеб с маслом. – Зачем нам конторы? Я поеду и отправлю хлеб или шерсть; потом опять поеду и приму заграничный груз. А то и моя жена поедет. О, у меня жена добрая!

– Как, и она? ваша жена тоже коммерцией занимается?

– Да; вы не верите? вот зимой из Николаева она мне на санках сама привезла сундук с золотом; я хлеб туда поставлял. Так вот, запрягла парочку, да с кучером, вот с этим самым Фрицем, моим племянником, и привезла. Зачем пересылать? Еще трата на почту...

Полковник посмотрел на Фрица: рыжий верзила тоже смеялся во весь рот, а колонист, как на товар, приглядывался на щегольской наряд красавца полковника, на его перстни, пикейный сюртучок, лаковые полусапожки, узорные чулки, белую соломенную шляпу и первейшей моды венский фаэтончик. Два давнишних противоположных полюса русских деловых людей, эти два лица сильно занимали друг друга.

– Вы отлично говорите по-русски, – сказал полковник, – давно ваша семья переселилась, или, так сказать, бежала из родной тесноты в Россию? Извините, это меня сильно интересует; повторяю вам снова, я тоже ваш собрат, переселенец, а по нашим русским понятиям – беглец! Мы теперь тоже за ум беремся, да уж не знаю, так ли? Что-то в нас много еще дворянского; может, оттого, что мы беглые по воле, с паспортами.

– Мой дед, видите ли, переселился при графе Сперанском, около сорока лет назад; мы пешком пришли сюда, с котомками, дед и отец мой несли старые саксонские свои сапоги за плечами, а отец мой после него еще два-

дцать пять лет был у нашего же земляка Фейна простым пастухом. Я тоже в юности-с долго был при стаде вашего Абазы. Земля, правду сказать, тут обетованная, не тронутая еще; многих еще она ждет. Раздолье, а не жизнь тут всякому; ленив только русский человек! Эх, гляньте, какая дичь, какие пустыри: бурьян, вечная целина, – ни косы, ни плуга не знала. Люблю я эти места: будто и бедные, а троньте эту землю – клад кладом.

Полковник спросил:

– Какой же секрет в том, что вы так скоро, так страшно разбогатели?

– Секрет? никакого секрета! Даже трудно сказать, как. Как? просто трудились сами, и все тут.

«Сами трудились! – подумал Панчуковский. – Врет, шельма, немец; должно быть, фальшивые ассигнации в землянках делали, да ловко и спускали!»

Просидели еще немного новые знакомцы. Степь молчала, вечерело. Не было слышно ни звука. Одни лошади позвякивали сбруей, да несло тютюницем от новых друзей-кучеров.

– Я и не спросил вас, – сказал на прощанье

Панчуковский, – вы ездили за Дон; были вы у нас на Мертвых Водах, за сороковой болгарской колонией? Как понравился вам наш околоток? Можно ли ждать чего хорошего от этой местности?

– На Мертвых Водах? На Мертвых... Пойдите! Да! Точно, я там неделю назад ночевал... у священника... Пойдите, погодите...

– У отца Павладия?

– Так, так, у него именно! Что за славный, добрый старик! и какой начитанный! Нашего Шиллера знает; еще такая у него красивая воспитанница. Сам он ее грамоте учит, и она при мне читала и писала. Как же можно, – хорошие места!

– Как? воспитанница? – возразил, краснея, полковник, – что за странность! Это премило! Я живу от отца Павладия в семи верстах, а не знаю.

– О-о, полковник! так вы волокита! – засмеялся, влезая в фургон, колонист и погрозился. – Смотрите, напишу отцу Павладию и предупрежу его!

– Нет, я не о том; но меня удивило, как я живу так близко и ничего не знаю! В нашей

глуши это диво. А вы будто бы и не охотник приударить за иною гребчихой, в поле?

– Э, фи! У меня своя жена красавица, полковник.

Новые знакомцы будто сконфузились и помолчали.

– До свидания, полковник.

– До свидания, герр Шульцвейн!

Лошади двинулись.

– Не забудьте и нас посетить: спросите хутор Новую Диканьку, на Мертвой.

– С удовольствием. А где он там?

Лошади колониста остановились. Полковник к нему добежал рысцой и рассказал, как к нему проехать.

– Есть у вас детки? – спросил полковник, став на подножку и свесясь к колонисту в фургон.

– Есть две дочери: одна замужем, а другая еще дитя.

– За кем же замужем ваша старшая дочь, герр Шульцвейн?

Колонист покачал головой и прищурил голубые глаза.

– Вы не ожидаете, я думаю?

– А что?

– За пастухом-с. Я выдал дочь мою за старшего моего чабана, Гейнриха Фердинанда Мюллера, и, либер герр, нахожу, что это – сущая пара. Отличный, добрый зять мне и знает свое дело; пастух и вместе овечий лекарь. Живут припеваючи, а дочка моя все двойни родит!

Полковник похлопал его по руке и по животу.

– А ваш Гейнрих откуда?

– Он подданный другого Гейнриха. Гейнриха тридцать четвертого, герцога крейцшлейц-фон-лобен-штейнского: тесно им у герцога стало, он и переселился сюда.

– Не забудьте же хутор Новую Диканьку, недалеко от большой дороги, – сказал полковник, смеясь титулу тридцать четвертого Гейнриха крейц-шлейц-фон-лобен-штейнского и кланяясь вслед уезжавшему интересному фургону.

– Поклонитесь отцу Павладию от меня! – прибавил в свой черед, улыбаясь, колонист.

Пыль опять заклубилась по дороге.

– А ну, говори мне, скотина, что там за та-

кая воспитанница живет у нашего попа, на Мертвой? – спросил кучера полковник Панчуковский.

Самуилик ничего не ответил. Он был под влиянием вежливой беседы с Фрицем.

– Ну, что же ты молчишь, ракалия, а? Не тебе ли я поручал все разведать, разыскать? И в семи верстах, а?

Кучер приостановил слегка лошадей, снял шапку и обернулся. Глуповатое и старческое его лицо было осенено мучительною, тяжелою мыслью.

– Барин, увольте...

– Это что еще?

– Не могу...

– Что это? Ты уже, братец, рассуждать?

– Не будет никакого толку, ваше высокоблагородие, от этих ваших делов. Мало их через мои руки у вас перебывало! Эх, барин, предоставить-то не штука, да жалко после. А вы побаловали, да и взашей?

– Скверно, брат, и подло! не исполнил поручения...

Самуилик еще что-то говорил, но полковник уже его не слушал. Лошади бежали снова

вскачь. Бубенчики звенели. Картины по сторонам дороги мелькали. Вечерело.

А в голове полковника-фермера, полковника-коммерсанта, строились планы горячих, дерзких, небывалых еще на Руси, в среде его сословия, предприятий. То водопроводы он мыслил в каком-то городе затевать; то шумную аферу по закупке всего запаса какого-то хлеба в одном из портов думал сделать; то школу хотел где-то тайно открыть в столице и потом пустить о ней статью «от неизвестного» в газеты; то какому-то ученому заведению мыслил разом купить и поднести в дар большое собрание картин. Недавно, по соседству, сманивали его на выборы. «Нет, не те времена! – глубокомысленно ответил он, благодаря дворян, – теперь нам пора подумать и о материальном счастье на земле; оно, может быть, еще выше духовного!» Так он стал думать, прочтя что-то вроде этого в Токвиле. А теперь у него из головы еще не выходил невероятный колонист с его полумиллионными доходами, собственными кораблями по Азовскому морю и с такою же, вероятно, как он, румяною и белокурою супругой, возящей по сте-

пям на паре сундуки с золотом супруга. Задумался барин и о питомице священника... Панчуковский поспешал в свой хутор, Новую Диканьку, где на другое утро, на неизменный праздник дня своего рождения, он ожидал гостей.

III

Новозаимочный хутор Новая Диканька

На другой день к полковнику действительно съехалась куча гостей. Подъезжая к его красивой усадьбе, все приятно изумлялись, глядя на выраставшие почти ежемесячно новые каменные и кирпичные постройки. «Вот ловкий господин! – говорили они. – А эта Новая Диканька – суцкая американская ферма!» Новозаимочный хутор полковника в самом деле очень изменился с тех пор, как приходили в него наниматься бежавшие от старосветских хуторских невзгод, из старой Украины, приятели Левенчук и Милороденко. Хотя кругом его была по-прежнему одна скучная во многих отношениях степь, но благоустроенная заимка, колония гвардейского коммерсанта и земледела, уже значительно пополнилась. На склоне пологого косогора стояла

красивая усадьба. Двухэтажный, под красный кирпич, домик, во вкусе швейцарских или скорее французских деревенских мыз, глядел из-за высоких каменных стен, с крепкими дубовыми воротами. Часть обширного двора была занята молодым садом. Отличные конюшни, огромные амбары для ссыпки хлеба, сараи для овечьей шерсти и хозяйственных машин, флигель для дворни, – все было кирпичное, не штукатуренное еще, как и дом, и под железными крышами. Кухня, на голландский манер, с изразцовыми стенами и асфальтовым полом, была возле. Издалека и с большим трудом привезенные тополи были посажены вокруг дома, подросли и отлично скрадывали пустынную степную наружность остальной усадьбы. За домом в полуверсте был ток с хлебною клуней, а еще в стороне и ближе к дому – каменные сараи для овец и избы для батраков, то есть разного беглого люда. По двору, под стенами ограды, стояли разные земледельческие орудия, еще новые и свеженькие, покрашенные голубою или красною краскою: плужки, бороны, сеялки, конные грабли, веялки и большая новость в

крае – жатвенные машины. В клуне, очевидно, работала уже паровая молотилка, потому что небольшая железная труба, как на фабриках, торчала оттуда, изредка венчаясь облачком серого дыма. Паровой локомобиль иногда подвозился к колодцу; к нему приправлялась мельница, и обозы с соседних хуторов мигом скоплялись возле за помолом. Близ овчарни был устроен над оврагом кирпичный завод, также с машиною для лепки кирпича. Ни реки, ни пруда не было вблизи усадьбы. Вода доставалась из глубоких колодцев. Не было и деревни. Тут все шло наймом. Через два соседних оврага, разъединявших поля, были перекинуты красивые чугунные мостики. У конторы на столбе был укреплен колокол для зова рабочих.

Экипажи загромождали двор. В отворенные окна дома неслись громкие разговоры. Все двери были настежь. Слуги шныряли из кухни в дом и обратно. Гости, мужчины, сидели за утренним кофе в обширном угольном кабинете хозяина, на мягких диванах, между кучами цветов и шкапами с книгами. Тут были и старики, и молодые, в сюртуках и в бай-

ковых пальто или в простых домашних куртках. Иные сияли нежнее майского утра в своих пикейных сюртучках и белом, как снег, белье, и от них пахло духами, только что прибывшими через Таганрог из Марселя. Другие, кажется, никогда не мыли рук, не чесали головы, не стригли копытообразных ногтей, и от них пахло овцами и коровьим навозом. Сидела тут с длиннейшею трубкой и какая-то барыня, по фамилии мадам Щелкова, из казачек, вечно кашляющая, с загорелым лицом, как у стонщика или мелкого рассыльного хлебной конторы, но в то же время в лентах и в шелковом платье. Она, очевидно, приехала с коротким визитом и попала в мужскую компанию в кабинет за делом, мяла платок в руках подобострастно и, утирая слезы, заглядывала всем в глаза, оправдываясь иногда, что трубку курит от какой-то болезни, все как будто торопилась кончить какие-то печальные дела и соображения, подсаживалась с богатырскою трубкой то к одному, то к другому кружку, слушала со слезами на глазах толки о близкой будто бы эмансипации и повторяла: «Ах, боже мой! Ах, господи! А я-то гребли не

кончила, свай не набила; хлеба сколько насеяла... Кому убирать его, кому убирать! пойдём мы по свету!» Читатель, разумеется, может знать, что эмансипация тогда еще не угрожала ни гребле, ни сваям, ни хлебу этой барыни. Остальной женский пол, очаровательные новороссийские дамочки, разодетые азиатскими бабочками, во французских кисеях и шелках, сидели в гостиной и ходили по зале. Сам хозяин, холостяк, удостоенный визитом дам, был сильно в духе. Ему все льстили, все ахали, рассматривая его дом, картины, хозяйство, машины. Все гуртом сходили на ток, в овчарни, и в рабочие избы. Барыня Щелкова, подоткнув шелковое лионское платье (она тоже не отставала от моды), также сходила и в овчарни и на ток, удивляясь полковнику и хваля его хозяйство. Карие глаза полковника сияли волей и счастьем; усики, загнутые кверху, были надушены. На всех он смотрел с удовольствием. Все были веселы.

– Мы, господа, беглые, то есть в европейском смысле – колонисты; это я вчера Шульцвейну говорил. Вы слышали про него?

На эту тему стал ораторствовать Панчуков-

ский и говорил весь день.

Под общий шум разговоры свелись на хозяйство каждого, и все расхвастались. Тот превозносил своего чабана и свое стадо тонкорунных мериносов. Другой прославлял себя за громадное увеличение запашки. Третий уверял, что скупит в портах все бельгийское железо и повезет его в Полтаву и в Харьков в подрыв сибирскому. Другие говорили о машинах. «Нет! – говорил соседний арендатор, ныне уже русский помещик и душевладелец, а еще недавно эстляндский булочник, Адам Адамыч Швабер, – все эти машины чепуха! Лопнет котел, искра вылетит на скирд, и пропал целый ток хлеба. Где тут этим скотам еще ходить за паровыми котлами!» Кто-то хвастал собственной ловкостью, как он товарища надул баранами. И товарищ тут сам сидел. «Нет, что товарищи! – возражали другие, – в Петербурге слышно о преобразовании полиции. Телеграф сюда ведут. Ростов газом думают освещать. Французы едут сюда угольев искать. Газета, слышно, в Таганроге будет...» – «Как бы денег больше было, – заметил кто-то на это, – лучше всего было бы! Не из-за скуки же здеш-

ней жизни бросили мы с вами, господа, свои северные родные места!»

Уже под вечер к Панчуковскому подсел юноша – студент одесского лицея, учитель детей соседнего купца и вместе салотопенного заводчика Шутовкина.

– Владимир Алексеич!

– Что вам угодно?

– Я слышал о вашей доброте... Дайте мне триста целковых взаймы, пока до получки жалованья с моего хозяина. Я вам возвращу с благодарностью, через месяц.

– Зачем вам?

– До зарезу нужно. Мы с хозяином едем завтра после обеда в город. Брат его подбивает на риск. Хочется недаром проехаться в город, а проживя там с неделю, сделать одну аферу. Тут все аферируют. Говорят, лен падает в цене, фрахтовых судов мало, а дней через пять-восемь, думаю, поднимется. Ну, я хочу сорвать барыш. Тут вон дети даже ажиотируют; жидки-ребятишки намедни в Мелитополе подвезенные мешки с орехами на базаре скупили и перепродали с барышом, в праздник... Неужели же нам все с книгами сидеть! Право.

Помогите! как бы хотелось недаром тут пробыть на вакациях.

Панчуковского в это время кто-то позвал из другой комнаты.

– Извините! – сказал он студенту и вышел.

Студент сидел, рассматривая картины по стенам, потом подошел к роялю, открыл его и стал играть. Страстные звуки шопеновской мазурки огласили дом и двор, на месте которых еще пять-шесть лет назад гулял один пустынный украинский сирокко-суховей да качались громадные бурьяны. Студент, малоросс и музыкант в душе, играл с чувством, слегка склонив к клавишам Эрара свою белокурую красивую голову. Думал ли он о Шопене, о какой-нибудь недоступной красавице или о затеваемой афере со льном, – трудно было решить. В этом новом и странном крае как-то все это мешалось вместе.

Полковник воротился.

– Извольте, – сказал он опять студенту. – Я вам денег дам, но вы подождите, пока уедут другие гости. У меня есть к вам дело...

Студент встал, потрянул волосами и, с чувством пожавши ему руку, сел опять играть.

Его окружили дамы; он был их любимец.

– А правда ли, что на беглых облавы у нас везде скоро будут? – кто-то крикнул от карточного стола хозяину.

– На каких это, на нас? – спросил шутливо Панчуковский.

– Нет, на беспаспортных.

– Да, слышал я от Подкованцева, исправника: вас и меня это в особенности, Адам Адамович, касается! – сказал полковник арендатору Шваберу. – Тогда просто хоть лавочку закрывай. А я, признаюсь, мало верю в ожидаемое переселение народов с севера. И признаюсь, открыто передерживаю изредка беглую Русь! Все подличают против своих ближних исподтишка; отчего же мне открыто иной раз не купить станового и не пользоваться бродягами?

Полковник тоже сел играть в банк, высыпав кучу золота. Взоры всех просияли. Поставлена первая карта; она дана. Банк занял все общество. Подошли и дамы. Они также приняли участие в азартной игре направо и налево. Одна капитанша, урожденная гречанка, подбоченившись, стала, вынула из колоды

карту, подумала и поставила на нее свои брильянтовые серьги, а потом золотую брошь. Муж стоял возле и улыбался, ожидая, чем кончится счастье жены. Южные сердца бились горячо.

Обедали поздно. После обеда, перед вечером, все вошли во двор. За воротами сошлись батраки и батрачки поздравить полковника. Явилась скрипка. Разносили угощения. А полковник, расстегнувшись и выказав свою шелковую канаусовую рубаху, пустился с негритянками, как он выражался, трепака плясать. Дамы хохотали. Мужчины хвалили его за особое умение быть популярным. Потом все пошло снова наверх и уселись на обширном балконе антресолей пить чай.

– Расскажите, ради бога, – спросил меланхолический студент, просивший денег у хозяйина, – что за название этой речки здесь Мертвые Воды и как населялся этот околоток?

– Да, – ответил хозяин, – история заселения моей земли и вообще этих окрестностей любопытна. Мы читаем записки о колонизации Канады, Новой Зеландии, Перу и Колумбии, а допытывался ли кто-нибудь до недавних со-

бытий заселения наших былых запорожских земель, нашего азовского поморья или хоть бы одного здешнего уезда? Это целая поэма во вкусе Купера и Вашингтона Ирвинга, да-с, не шутите с нами.

– Видите ли вон те холмы? Туда верст пятнадцать будет, да в противную сторону отсюда, до того вон кургана, столько же почти. Ну-с, эта вся земля, это немецкое-с почти великое герцогство, наша сказочная завоевательница Запорожья и Крыма, Екатерина, долго не думая, взяла да за каким-то завтраком и подарила одному беглому греческому митрополиту из Турции, упавшему перед нею с челобитной на колени. Ему была дана эта земля в подарок, с тем чтобы он тут устроил странноприимный дом и населил землю. Митрополит умер, ничего этого не сделав. Кто-то из здешних тогдашних чиновных провладел этою землею, без всякого права, лет двадцать, потом ее опять взяли в казну и велели продать с торгов. Покупщиков долго не являлось. Странствовала с прошениями об этой земле некоторое время в Петербург полусумасшедшая старушка, из переселенных сюда побли-

зости далматок, надоедала всем министрам, требуя отдачи этой земли, по завещанию Екатерины, ей – на устройство странноприимного дома. Ездил одна из степей в Петербург в одноколке, на маленькой пегашке, носившей имя Манички. Многие министры, посмеиваясь на безумные искательства старушки, знали эту Маничку и на просьбы ее хозяйки: «Если не отдаете мне земли, то дайте хоть сена моей лошади!» – отпускали с своих сиятельных конюшен ей сена. Я, еще служа в гвардии, видел и старушку, и ее конька, уже совершенно дряхлых. Тогда земля эта была уже за другим, и старушка собиралась ехать в Европу просить заступничества других дворов. Двадцать пять лет назад, – говорю я, – эти степи, где еще укрывались тогда по камышам и балкам дикие лошади, были проданы с аукциона. Все четырнадцать тысяч десятин этой земли купил через поверенного один польский граф, богач, – он в нашей гвардии служил и я его знал, – сын виленского аристократа, чахоточный и никуда не выезжавший. За глаза куплена степь, снят план, составлен проект переселения туда крестьян из одной

северной губернии. Эти насильные переселения были тогда в моде. Проект утвержден, и поверенный стал вести дело переселения. Выведены плугом черты громадной деревни, свезен материал, стали строиться превосходные избы, на все отпускались деньги щедрою рукою, а поверенный был питерский бюрократ и все любил вести на щегольскую ногу. Выхлопотал он у епархии и священника в будущую деревню. Это и есть наш вселюбезнейший отец Павладий, о котором мы с вами поведем речь особо! – прибавил Панчуковский, обращаясь к студенту, подмигивая и потирая его по колену.

– Любопытно! очень любопытно! – говорил студент, следя с балкона голубыми задумчивыми глазами за уходившею в вечерние сумерки окрестностью, о которой шла речь.

– Так моя поэма не скучна, господа?

– О нет, нет, кончайте, пожалуйста.

– Вот-с, – продолжал хозяин, – как уже избы стали кончать, а строения возводили все каменные, отец Павладий, тогда еще юноша, приехавший с молодою чернобровою супругой, и начал говорить поверенному: «Что вы

делаете? строите село на безводной степи; отведите его версты за две влево, к балке; там ключи в овраге бьют самородные, пруды можно устроить хорошие». – «Как можно, – говорит строитель, – село выведено на большую дорогу, и планы уже утверждены, мы выроем тут колодцы». – «Ну, как знаете, – говорил поп, – а я себе жилище буду строить у балки, да и церковь уж позвольте там построить; я буду там сад возле нее разводить». Церковь разрешено строить у балки, в видах обещания даром устроить сад, а люди, дескать, и за две версты дойдут в праздник. Церковь построена, построился и отец Павладий, конечно и деревня. Иначе не хотели переселять людей. Как можно! Надо, чтоб все было готово. Нанял строитель землекопов, выкопал колодцы, расплатился и уехал с докладом в Петербург, что все готово: даже в каждой хате стол стоит, образ привешен, вся утварь припасена и от замков на каждой двери ключ в конторе ждет хозяев. Тремстам семействам загадан выезд из России на новокупленную степь. Поехали переселенцы с кибитками и скотом. Прибыли на место, разведены по хатам. Отец

Павладий молебен отслужил, все освятил, и зажили переселенцы. Вспахали под озимь, посеяли, а пока питались готовым запасом. Не нарадуется поверенный, пишет письмо в Петербург. Только и ударила гнилая, бесснежная зима. А еще до того всю осень народ прохворал. Что за притча! Кто ни напьется из колодца – и заболел. Да что долго говорить: до весны вымерла половина деревни, хватились переводить в другое место, запретили пить воду из колодцев, – куда вам! Эпидемия хватила такая, что к Петрову дню другого года из трехсот-то семейств, господ, осталась в живых одна кривая старуха.

Панчуковский помолчал и опять стал говорить:

– Да, все погибло и вымерло; умерли дети, старики, отцы и матери, умер и поверенный, умерла и жена отца Павладия. Некому было и могил копать! Как узнали об этом в Петербурге, ужас напал на владельца – отказался вовсе от этой земли и до конца жизни тут уже не был. Скоро он сам умер, и земля перешла к его племяннице. Остался один отец Павладий с церковью и молодым садом у балки. Развел

он действительно хорошенький сад, даже рощу, устроил пруд. Соседние и дальние колонисты, бывшие еще без церквей, болгары, сербы и даже греки стали его прихожанами, а те-то опустелые дома бурлаки по камню растащили. И теперь там от бывлой деревни только видны плугом обведенные места дворов и улиц да крест огромный на кладбище стоит. Так легли переселенцы все до едина. Умерла скоро и последняя старуха. Ну-с, часть этой земли, именно пять тысяч десятин, я сперва взял у новой владелицы в аренду, а потом, как видите, купил, а другую арендуют по частям, как знаете, кто хочет. Чумаки-то (как была еще там большая дорога, о которой все хлопотал строитель, и были еще не заброшены роковые колодцы), видя страшный крест, и прозвали прежде безыменную, протекающую тут по соседству речку, а потом и всю здешнюю землю Мертвыми Водами. Вот почему наш околоток так и зовется, хотя, как видите, он цветет и красуется не хуже какого-нибудь Висконсина, Элебэмы или Порт-о-Пренса, населенных заморскими колонистами.

Студент встал, сошел вниз в залу, сел за рояль и начал играть чудный *marche funébre*[6] Шопена.

– Однако же как недурно он играет, – сказал, прислушиваясь, кто-то из гостей.

– Да, очень даровитый человек! – ответил другой голос из среды слушателей.

Помолчали минут с десять. Снизу летели пленительные звуки.

– Так у отца Павладия, должно быть, пре-авантажный теперь уголок? – спросил, громко чихнув, Швабер.

Сумерки уже так сгустились, что все на балконе сидели, почти не видя друг друга, будто на воздухе в облаках.

– Да, – ответил задумчиво Панчуковский, – место там прелестное, называется Святодухов Кут, на ключах; большой сад, душистая густая роща, пруд отличный; церковь вся в кустах сирени, акаций и в тополях, весной просто рай. Я, однако, редко, признаюсь, там бываю...

– Отчего же?

Панчуковский помолчал.

– Вы хотите знать, отчего?

– Да.

– Извольте: два медведя в одной берлоге не уживутся! Я аферист, и отец Павладий аферист; он хлопочет о наживе, и я: ну, мы и соперники – вот как две торговки шашлыком на базаре...

Слушатели рассмеялись.

– Хороши соперники! Вы ворочаете чуть не сотнями тысяч, а это бедняк, сельский священник...

– Да! посмотрите, что это за священник!

– А что у него за воспитанница там есть? – спросил, сопя и зевая, Швабер.

– Право, не знаю! – ответил рассеянно полковник, – я три года уже у него не был, поссорился на одном деле. Разве подросла в это время. А человек он добрый и умный, корыстолюбив только, как латинский поп.

– Да будто уже нашим и денег не нужно?

– Это еще вопрос...

– А где ваша кухарочка? – спросил опять хозяина, сходя с лестницы, тяжеловатый Швабер и толкнул его, шутя, под бок. В это время двор, крыльцо и ограда осветились разноцветными фонарями импровизированной иллюминации.

– О! бог знает, что вы вспомнили, камрад, – кухарку! Я ее прогнал давно взащей. Пожалуйста, этого не вспоминайте. Теперь у меня на уме не пустяки. Я тысячу десятин пшеницы на это лето засеял и думаю убирать наймом; это не шутка!

Начались танцы. После ужина все стали разъезжаться. Кучера дремали. Месяца не было видно, но ясная звездная ночь делала поездку безопасною. Уже многие юноши уехали. Дамы оставили Новую Диканьку, превознося хозяина за угощение. Уехали и старики. А на крыльце у подъезда шла крупная словесная перепалка двух немецких соотчичей, арендатора Адама Адамовича Швабера и колониста, конского заводчика Карла Иваныча Вебера. Оба немца были после ужина сильно выпивши и спорили по-русски о достоинствах своего родича, богача Шульцвейна. Вебер говорил, что слава и гордость их колоний, Богдан Богданыч Шульцвейн, скоро будет русским графом и князем и всю губернию заберет в руки; что ему и орден какой-то прислали и что он в своей колонии затевает гимназию и газету. А Швабер кричал во все горло: «Врешь,

врешь! Шульцвейн шельма, и ты шельма! Такого осла хвалить. Он грубиян и ты эзель[7]! Врешь! А-а! Так ты хвалить? у него табачная голова и полный карман мошенничества: он севастопольский воловий парк обокрал! Ты, Карл, ты, Карлуша, можешь надувать русских; а для нас – слушай, брат, вот тебе кулак, а вот и другой, – он овечья голова, шафс-копф, и больше ничего! Молчать! Ну!»

Зрители этого петушьего боя наконец разняли спорщиков, уложили каждого порознь в его зеленый, с клеенчатым верхом, немецкий фургон и погнали кучеров. Но взъерошенные и красные, как после бани, бюргеры Швабер и Вебер, едучи рядом за воротами, еще долго ругались из фургонов и где-то даже будто бы опять на дороге выходили на траву, спорили и ругались и даже хватали друг друга за виски. Так говорила молва.

Уехали все, остались одни: хозяин и студент.

– Погодите, оставьте вашу фуражку, – сказал Панчуковский.

– Владимир Алексеевич, надо ехать. Ведь я верхом, а до нашей усадьбы двадцать верст

будет.

– Да разве завтра у вас уроки? кажется, завтра праздник!

– Но ведь я вам сказал, что мы после обеда едем в город...

– Ах, извините, точно: сейчас я вам дам деньги; только остались бы вы у меня переночевать, – а утром и доедете...

– Нельзя, право нельзя: хозяин наш человек строгий, из донских; вы их знаете?

– Как не знать! Скажите, однако, это он, что ли, гувернантку свою, московскую институтку, поколотил, и она пешком ушла к ногайцам, лет пять назад?

– Кажется... Может быть... я, право, не знаю!..

– О, еще скрываете! Он с кнутом гнался за нею, с мезонина в сад, и расшвырял по полю все ее книги и вещи; говорят, не сдалась на его искания! Ну, да не в том дело; пойдете в кабинет.

Они пошли.

– Извините, ваше имя и отчество?

– Михайлов, Иван Аполлоныч, – ответил, поклонясь, хорошенький студент.

– Ну-с, Иван Аполлоныч, я вам триста рублей дам, а вы мне сослужите службу!

Михайлов поклонился.

– Я бы вам сам дал денег; и вот они, – недалеко за ними ходить! Но вот в чем дело: вы слышали сегодня о священнике, отце Павладии? У него есть воспитанница, – понимаете, друг мой? У меня на нее есть виды, – поняли?

Студент покраснел.

– Ну-с, вы к нему, под предлогом займа денег, и поезжайте; он падок к хорошим процентам и даст.

– Но он меня не знает.

– Я напишу поручительство.

– Отчего же вам самим к нему не съездить, насчет этой-то его девочки, если уже вы...

Студент не договорил и опять покраснел.

– Нельзя; я уже имел с ним ссору за одну девочку, а на людей моих плоха надежда. Они мне помогут после. А тут нужно только узнать, что у него за приемыш этот и стоит ли она внимания? Вы как-нибудь устройте так, чтобы ее увидеть; если нужно, то и заночуйте; да уж лучше всего поезжайте сейчас. Дело денежное, само себя оправдывает.

– А далеко это?

– Да верст семь будет, девять, не больше.

Студент посмотрел на часы.

– Теперь уже девятый час, не поздно ли будет?

– Чтоб ехать сейчас? и отлично, поезжайте! Я вам дам своего коня, а ваш отдохнет. Отец Павладий много читает и поздно ложится спать. Поезжайте. Только вы оттуда ко мне заверните и разбудите меня, хоть за полночь будет. Я положусь на ваш вкус, только посмотрите.

– Извольте: очень благодарен, и если увижу вашу незнакомку, то к свету еще ворочусь к хозяину, а вам все расскажу в подробности.

Письмо полковником к священнику написано, лошадь оседлана, дорогу рассказали, и при взошедшем месяце легкоподъемный юноша поскакал тропинкой в Святодухов Кут. Будущий коммерсант не думал об усталости, не помышлял, что в одну ночь, с поездкой за деньгами, ему придется сделать верхом верст за тридцать. Он скакал и скакал, рисуясь перебегающею тенью по росистым холмам и лоцинкам.

Святодухов Кут, жилище священника

Скоро мелькнул перед студентом овраг, перешедший потом в глубокую балку, лесок, золотая маковка церкви и белый домик на склоне оврага. Повеяло сыростью от невидимого пруда. Высокий плетень, утыканный терновником, окружал домик... Все здесь как будто уже спало, когда подъехал студент; но скоро свет мелькнул из низенького, кустами и деревьями окутанного домика. На топот коня сам священник показался на крыльце и со свечкой встретил Михайлова.

– Здравствуйте; от кого вы?

– От Панчуковского, с письмом.

– От Панчуковского? Пожалуйста!

– А я думал, что вы уже спите.

– О нет, вечер отличный, я только что воротился с поля, гулял. Вы кто-с?

– Студент одесского лицея Михайлов. Вот вам письмо Владимира Алексеича.

Вошли в комнату. Священник прочел письмо, посмотрел на гостя, потом опять на письмо и сказал: «Очень хорошо-с!» – и засуетился. Зажег в главном углу приемной комна-

ты, у лампадки перед киотом, другую свечку, поставил на стол и вышел. Студент стал осматривать комнату. Груды книг лежали по дивану, стульям и на лежанке. К обыкновенной смеси запаха ладана и воска, встречающей у нас каждого в жилище священника, здесь примешивался еще чудный запах белых акаций, склонившихся цветущими ветвями с надворья к раскрытому окну. И вдруг, в темноте кустов, у самого уха гостя загремел так чудно и дерзко соловей, что у Михайлова сердце екнуло. Священник вошел, принес табак для папирос и бумаги и, сказав: «А? како-с поет?» – поставил и опять ушел. Вслед за ним также неожиданно вошла в комнату статная, будто еще не совсем на возрасте, но уже совершенно развитая девушка с подносом в руках и поставила на стол чашки к чаю. Она ушла. Михайлов успел разглядеть ее полные руки, сочные губы и темные брови, белое лицо, подобранные венком русые косы и красную ситцевую юбку. Звякая монистами, она гордо и смело повернулась, гордо взглянула на гостя, сдвинула густые брови и ушла, помахивая полными круглыми локтями.

«Верно она!» – подумал новый Лепорелло и с замирающим сердцем сел в углу, осматривая комнату. Все студенту казалось таинственным. Вошел священник и, тихо шелестя рясою, также сел. Студент рассмотрел его больше: это оказался совершенно круглый, приземистый и тучный старичок с отекистым лицом, красноватой мясистой лысиной, едва прикрытую прядями седых волос, с утлою косичкой, перевязанною полинялою ленточкой, и в камлотовом сером подряснике, под гарусным стареньким кушаком. Он сел в кресло против Михайлова и посмотрел на него.

– Вы здешний? – спросил он с улыбкой.

– Нет, я родом из Одессы, на летних кондициях...

– У купца Шутовкина?

– Точно так-с. А вы почему знаете?

– Слышал, про вас говорили мне, что вы способны на все руки-с...

Михайлов покраснел.

– Вы давно знакомы с господином Панчуковским?

– Второй раз его вижу; я с ним познакомился у нашего хозяина.

– А! извольте-с. Деньги я вам сейчас дам. Он пишет, что ручается за вас и что вы завтра же рано едете в город. На что же это вам деньги?

– На одно нужное дело. Я хотел бы на них кое-что заработать...

Священник встал и, сказав за дверь: «Оксана, скорей самоварчик!» – опять тихо сел.

– Извините; я вижу, вы действительно торопитесь; но позвольте мне, дикарю, за одолжение вас деньгами, хотя полчаса побеседовать с вами. Что нового-с в свете, в литературе? Вы давно из Одессы? Мы так редко видим людей, способных носить имя людское...

– Месяц назад.

Священник взял пачку книг с дивана.

– Вы не думайте, чтоб мы, здешние священники, были чужды света. Вот вам Гоголь, вот Пушкин: на последние деньги справил-с. Вот и «Космос» Гумбольдта. Скучновато в степи, особенно зимою. Мы и коротаем время, чем можем. Позвольте-с... Вы читали изданную за границей книгу о сельском духовенстве в России?

Студент хотел удержаться, но сильно по-

краснел. «Каков? – подумал он с досадой, – живет в глуши, а все знает; ну, что же? и я недюжинный человек! Но, впрочем, об этой-то книге я где-то что-то слышал; кажется, нападки на духовных!» И он бойко ответил:

– О, как же! Читал. Галиматья, пасквиль на Россию, вздорная брань!..

Священник тихо крякнул, придвинулся к столу и, перебирая листики журналов, ласково возразил:

– Э нет, молодой человек! не грешите! что пользы всем нам обманывать друг друга? Много правды в этой беспощадной и резкой книге. Верите ли, я плакал, читая ее. Ни «Коперфилд» Диккенса, ни «Шинель» Гоголя, над чем я зачитывался уже теперь, на старости лет, – ничто меня так не трогало... Поднят и наш забытый вопрос!.. Пора, о давно-с пора!

Опять вошла девушка, внесла самовар, сурово взглянула на стол, степенно все уставила; но при плавном выходе ее студенту показалось, что она уже ласковее, хотя украдкой, смотрит на него из-под напряженных густых бровей.

«Ишь, плутовка! – подумал он, – а какая

степенница! таковы ведь все здешние степнячки-поморянки! Да какая же она хорошенькая! Что за стан, что за плечи и брови! а щеки – как персики в пушку!»

– О, – говорил между тем, ахая и неподдельно увлекаясь, священник, подслеповатыми, припухшими глазами ища на столе ложечку, тыкая ее дрожащими пальцами в сахарницу, настаивая чай и торопливо его разливая, – что я испытал, читая эту книгу! Мое детство, мое загнанное и грязное детство, порочная и праздная юность, мои жалкие товарищи, общий обман, насилия и невежество, – все мелькнуло вновь передо мною! Вы читали в наших журналах ответы?

Михайлов покраснел, уже как рак, взмахнул неловко волосами и на этот раз признался, что не читал. Священник вздохнул.

– Жаль, молодой человек, очень жаль; учитесь! Кто у вас профессора?

Студент ответил.

– Нет у меня ни детей, ни жены! всех я тут похоронил, как вымерла наша колония. Слышали? – спросил печально отец Павладий.

– Да, слышал; говорят, ужасы произошли в

вашей колонии! правда?

– У! жутко приходилось тогда; да господь вынес. Извольте, извольте, однако, получить-с деньги!..

И он подал ему из шкатулки деньги.

Стали пить чай. Оксана прислуживала чаще и долее не выходила из комнаты.

– Гм! позвольте... Пуркуа регарде? пуркуа [8] на нее? – спросил вдруг священник студента, оставя чай и неожиданно заговорив коверканным французским языком.

– Мне ли не смотреть на таких хорошеньких девушек! – ответил несколько обидчиво и также по-французски студент. – Вы забываете, что мне не шестьдесят лет.

– Оксана, выйди! – резко сказал Павладий и, когда она вышла, обратился к Михайлову. Священник был бледен и встревожен.

– Извините меня и за невежливый вопрос, и за непрошеную беседу на языке, который я так плохо и самоучкой кое для каких книжек изучил, но этот вопрос сорвался у меня невольно. Скажите... извините меня... вам ничего не говорил на этот счет полковник?

– Нет, ничего. Вот вопрос! Даже обидно...

– Ах, боже мой! Я верю вам, верю! Господи!.. Но позвольте, вы так молоды еще, так мало еще знакомы с Владимиром Алексеичем. Остерегайтесь его. Вы не поверите, что это за опасный человек. Он богат, счастлив по-своему, всеми любим; все ему завидуют. Но что за извращенный это человек! Я с ним, открою вам, сперва поссорился за одну соблазненную им колонистку, мою прихожанку; года три назад я опять повел с ним войну за украденную им неподалеку, из дворни градоначальника, кухарку-мещанку. И откуда он сорвался? Точно зверь с цепи сюда явился. Не пропустит ни одной девушки на гребовице или при уборке хлеба. Поверите ли, сущий разбойник! Как кого увидел, наметил, так и соблазнил. Это какая-то чума в своем роде. А какой тихий, светский: воды не замутит, говорит, как девушка! И между тем, тут в околотке нет мужа, брата, отца, которые бы на него не плакались. Он на меня первое время страх наводил. И все ему как с гуся вода! Много на него выходит жалоб. Заманит, а потом еще иной раз со срамом и прогонит. Поверите ли, эту последнюю мещанку держал более года,

водил ее в шелках, в кабриолете в город пускал, какое-то тоже ее побочное дитя в кафтанчиках водил, а потом взял да и дал ей на дорогу сто розог... Это он называет: выпить бутылку и об пол! Изверг, ей-богу-с, изверг! Наезжают они теперь из России, как коршунье, в наши места; кидаются в аферы, спекулируют... Это еще бы ничего, да бога забывают-с, вертепы разврата позаводили! Что французские конторщики в портовых городах, что наши спекулянты-помещики здесь! А еще гвардии полковник!.. Срам!..

Михайлов засмеялся.

– Вот, право, не ожидал, а какой порядочный кажется человек!

– Не ожидали? Смейтесь себе, смейтесь! А это сущий разбойник, ей-богу! Я и сам, коли хотите знать, его люблю за ум и за даровитость. До тридцати лет получил чин полковника гвардии; повеяло новыми стремлениями, вышел в отставку, стал хозяйничать – ему повезло. Тут бы себя подельнее обставить, а он развратничает, как последний купчишка на уездной ярмарке, как армейский юнкеришка с цыганками! Тьфу! За этим ли он ехал

из столицы в такую глушь? Да, вы меня спросили о моем приеме...

– Да-с, прехорошенькая! уж извините, попросту сказал...

– Эх, вам все красота на уме! А ее, скажу вам, судьба прегорькая. Должно быть, отец ее был из беглых, из помещичьих лакеев. Шла она с ним из России сюда; на ночлеге, в степи, отцу ее какой-то бродяга, не то косарь, не то дворовый бурлак, перехватил ножом глотку. Прибежал он с нею сюда ко мне во двор, истекая кровью, и упал у меня, бедняк, на пороге. От умиравшего только слышали какое-то имя; его отвезли в Таганрог; тогда уже наступила война, госпитали смешались, и я не мог добиться толку, где умер старик и умер ли? Да не мог же он вылечиться. Бумаг при нем не было; ну, его, верно, и похоронили так, без отметки. С той поры я ее и вскормил; сам учил кое-чему и пока держу ее в услужении. Да надобно свезти в город, отдать хоть сестре моей: все-таки там будет спокойнее. А то тут пока еще замуж выйдет, хорошего человека найдет, – не совсем безопасно. Сказано: выставь сахарок такой на окне, как раз мухи облепят:

хе-хе!.. Уж извините меня, молодой человек!

И отец Павладий сам от души засмеялся, помахивая старою лысою головкой и моргая красноватыми, припухшими глазками.

– Вы же вон первый заметили ее! – продолжал он, – а жаль девку; точно добрая. Моя дьячиха только за нею и приглядывает. Да извините, что вас задержал: скучновато на безлюдье. Вы получили деньги, напишите же теперь расписку. Да уж, извините, включите, что на месяц там, по первое, положим, июля, по три процента, – вы их и включите в капитал.

Михайлов поднял брови.

– Что вы, отец Павладий! по три на месяц?

– Да уж извините. У нас уж так. Я хлопочу о церкви; но хлопочу, пожалуй, еще больше и о себе; жалованье нам плохое, страна тут коммерческая, время горячее, деньги нужны всякому, ну, и риск бывает. Я и даю на риск; ведь я человек также, или нет? А вы, верно, тоже на дело берете?

– На дело.

– Ну, и рассчитайте: стоит ли брать? Тогда и берите. А я свое сказал; так-то-с.

Священник, держа деньги, смотрел на студента.

Михайлов, недолго думая, взял деньги, как берут их все молодые кандидаты в аферисты, не соображая даже, выручит ли он ими хоть заемные проценты. Он быстро отмахал священнику расписку. Отец Павладий надел очки, прочел два раза расписку вслух, попросил еще написать сбоку словами, а не одними цифрами, что взято триста и девять рублей серебром, и простился с гостем. Михайлов вышел. Серый конь Панчуковского быстро домчал его в Новую Диканьку.

– Ну что? – спросил Панчуковский, с газетой и с сигарой лежа на постели. – Я вас поджидал!

И он протянул ему небрежно руку.

– Дал поп, да за то и проценты взял, по три на один месяц...

Полковник громко расхохотался на весь дом.

– Ну, так я и знал! Ай да попик! Современный! Это уж, извините, он тоже не отсталый человек; и, я думаю, книгами хвастал, а?

– Хвастал, – робко сказал Михайлов.

Захохотал еще громче прежнего полковник, и от его смеха огласились все комнаты пустого холостого дома.

Поговорили еще. Маятник одиноко стучал где-то из нижних комнат.

– Итак, покорнейше вас благодарю, Владимир Алексеевич, за ручательство.

– Не стоит благодарности. Что за пустяки! Ну-с, а насчет нашей красавицы?

– Да, – сказал студент, вертя фуражку, – вы поручили узнать насчет той сироты?

– Ну, что же-с?

– Она дочь убитого беглого.

– Беглого! А! Значит, она отцу Павладию принадлежит так же, как и моему, положим, Абдулке...

Студент рассказал подробно историю убийства ее отца.

– Ее взял священник, когда отца ее зарезали, и с тех пор она у него в услужении. Он ее грамоте стал учить два года назад; читать и писать выучил и очень любит.

Панчуковский зевнул.

– Он, должно быть, задумал выгоднее выдать ее замуж, выкуп взять...

– Девочка прехорошенькая! – твердил студент с чувством, – просто прелесть! Я редко встречал такие лица – и строгие, и соблазнительно-увлекающие! Полная, пышная, здоровая... Знаете, этот бьющий в глаза пыл здоровья... Знаете...

– Человек, лошадь барину! – крикнул Панчуковский с постели. – Вы когда же опять у меня будете?

– Когда деньги привезу отдавать.

«Жди теперь тебя!» – подумал полковник и любезно простился с гостем.

Студент опять поскакал по стемневшей степи. Близилось утро. Было уже перед рассветом.

Между тем как студент еще выходил от священника, с ним на пороге впотьмах столкнулся какой-то человек, не то мещанин, не то рядчик из города, статный малый, с узлом в руках, который он, очевидно, нес к священнику. Когда отец Павладий проводил гостя и, не затворяя за собою двери, вошел и остановился в освещенной еще по-парадному комнате, пришедший с узлом ступил из сеней в приемную.

– А! Левенчук! откуда бог несет? Что это?

Пришедший поклонился в пояс.

– Это, батюшка, уж примите; это вам свежая рыба с тони да часть дичинки: сам стрелял.

– Спасибо, спасибо; Оксана, возьми! – крикнул священник в сени. – Я это люблю, спасибо!

Но Оксана не явилась. Левенчук помолчал и опять поклонился.

– Батюшка!

– Что тебе?

– Как же насчет того-с?

– Чего?

– Да насчет обещания вашего?

– Какого?

– А про Оксану...

Отец Павладий отошел и выставился из комнаты в окно, в которое еще громче несло пение соловьев.

– Видишь ли, брат, – сказал он, не оглядываясь, – ты человек добрый, и я тебя узнал, да ты беглый, значит – ничто. Ну, как тебе поверить душу человеческую? Ты беспаспортный, бродяга, ведь так?

– Так...

– А я тебя покрываю?

– Покрываете...

– Ну, значит, и ты преступник, и я. Придут, потащут тебя, раба божьего, – и пропала девка.

– Батюшка! Что хотите, возьмите, а отдайте ее за меня; другой год вас прошу, молю; отдайте, не загубите моей души... Богом-господом молю!

– Ну, слушай, вот тебе мой зарок: принеси сто целковых на церковь да сто целковых на выкуп твой, – напишу к твоей госпоже; авось, дадут тебе волю... Тогда и бери Оксану-то. Что, согласен? Хочешь, сяду и напишу твоей барыне; прямо скажем все.

– Нет, батюшка! Бог весть, как еще дома посмотрят теперь на мое бегство; обвиняли же меня за машиниста нашего! Берите двести целковых на церковь, а уж на выкуп у барыни моей не требуйте, не пустит меня теперь барыня. Знаю я, что не пустит. Смилуйтесь, батюшка, обвенчайте так... Мы за Кубань, мы в Молдавию убежим...

Священник подошел к столу, погасил све-

чи, стал к окну и высунулся опять в него по пояс, глядя на освещенную месяцем росистую окрестность, по которой раздавались соло-вьиные крики. Из сеней вошла и тихо стала у косяка двери Оксана. Она плакала; плакал и Левенчук.

– Ну, – сказал священник, оглядываясь на них, – перевидал я тут немало вас, горемычных! Бог вас благословит! Венчаю!

Левенчук и Оксана поклонились ему в ноги.

– Когда хочешь, приноси только деньги; значит, ты порядочный человек, достаточный, надежный; ну, значит, тогда и бери. А я, собственно, не себе беру, ни-ни! Что ее в самом деле держать? я и сам думаю. Еще что скажут! Но ей-же-ей, господи, желал бы я, чтобы ты ей принес счастье, горемычной сироте. И где ее родина, и откуда она – не знаю.

Левенчук вздохнул.

– Ну, вот вам, батюшка, семьдесят пять целковых, а остальные, может, и все к Троице отдам.

Он вынул из конца затасканного платка деньги и отдал.

– Ты где был это время и где теперь стоишь?

– Был на неводах и в конторе хлебной был, а теперь опять всю весну при неводе. Там и дичинки вам набил...

– Контрабандой занимался?

– Случалось.

– Нехорошо, Харитон, поганое дело! отвечать будешь! брось! Ну, ступай же, бери свою Оксану. Чай, под ракишкой побеседовать рветесь. Ступайте же, целуйтесь себе, мои пташечки! Только далее... ни-ни... Чуешь ты, Харько?

– И, батюшка, будто мы уже какие антихристы? закон отцов знаем.

– А твой Милороденко где? Давно он меня шутками не смешил.

– Бог его весть, где он. Хотел покаяться, остепениться, а про то не знаю...

– Ну, ступайте же. Да накорми его, Оксана, борщиком, – чай, голоден; там и каши спроси у дьячихи. Навиделся я вас, несчастных! Это ты сегодня с моря, а? Должно быть, пешедралом?

– Да, пехтурой; где нам, ваше преподобие,

иначе! Еще с утра вышел, ни крохи во рту не было...

И Левенчук пошел с Оксаной.

А в то время, как студент, исполненный самых пылких надежд на аферу с занятыми деньгами, летел по степи и ему навстречу загоралось приморское утро, дымясь, свежая и освещающаяся всякими блестками, Панчуковский призвал в спальню своего Самуyliка, уже знакомого нам старого кучера, и сказал ему:

– Во-первых, проснись, скотина, и слушай в оба; во-вторых, без нравоучений, иначе – плети; а в-третьих, изволь с завтрашнего же дня собрать мне все справки о поповой воспитаннице! Слышишь ли? собрать, да самые верные!

Самуyliк хотел что-то сказать, но только махнул рукою и мрачно и молча вышел. Он знал, что барин иногда с ним шутит, а иногда и не шутит, да и больно не шутит.

Уж солнце всходило, когда студент свернул влево и для краткости пути поехал через небольшую безыменную речонку, отделяющую землю купца Шутовкина от проезжей дороги. На речонке был хутор и водяная мель-

ница. Спустившись шагом на плотину, студент увидел толпу мужиков, забивавших пали у водоспуска. Барыня в лентах и под зонтиком стояла тут же и, куря длинную трубку и порой покашливая, жалостно и суетливо покрикивала на рабочих и распорядилась.

– Здравствуйте! – сказал студент, узнав в барыне вчерашнюю знакомку, Щелкову, бывшую у Панчуковского.

– А! это вы, мусье! – печально отозвалась вслед уезжавшему знакомцу мадам Щелкова. – Вы вот катаетесь, а мы труженики-бедняки, уже на работе! эскюзе![9]

Студент приударил по лошади и скоро вошел на крыльцо еще сонного сельского купеческого дома.

А в гущине ракитника и ясенков, разведенных над ключевым прудом отцом Павладием, короткий конец майской чуткой ночи коротали, забыв весь свет, Левенчук и Оксана.

V

Наши Кентукки и Массачуссетс

«Что такое, однако, эти беглые в Новоросси?» – спросит заезжий в эти места. «А что такое беглые? – ответят ему туземцы, – из-

вестно что: беглые да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачуссетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их – ничего бы и не было: ни Донщины, ни Черноморья, ни преславной былой Запорожской земли, ни всей этой вековечной гостеприимной царины, к которой стремятся с севера и из других мест за волею и люди, и звери, и птицы! Все тут беглые: Ростов, Мариуполь, Таганрог, все беглые. Эти портовые богачи, купцы и мещане, эти Шелбановы, Пустошневые, Катальманьевы, Безродные, – пойдите в преданиях их, какова их история? Недавние предки их – крепостные, выходцы из России, либо помещичьи, либо казенные беглые!» Так вам ответят туземцы. А сами присмотритесь на беглых – люди как люди! Что же их сманивает сюда? Приволье земель и работ, только трудись; на всех труда станет...

Со всех концов России, а с севера в особенности, шли огромными артелями наемщики на юг. Они шли по большим и малым дорогам, с косой за плечами, парни и девки, нанимаясь по пути в косари и гребцы. Целые села,

гуртом выходя из тесных околотков, шли по дорогам в пыли и духоте, босиком и впроголодь, в ожидании тяжелого труда. Отдельные артели сливались в отряды, становясь к делу на крайнем юге и то там, то тут начиная белеть своими рубахами и сверкать потертыми косами и серпами. Было тут немало и вольных крестьян с билетами, и помещичьих с паспортами; но в каждой артели было еще более беглых. Труд нужен, труд дорог: рук мало, дело кипит, трава сохнет, пшеница зреет, горит, наливается, осыпается; сотни и тысячи рублей готовы погибнуть: как тут не принять беглых, господа юристы? Милости просим! Хотя и опасно, да кто их усчитает в этой неоглядной степи? Есть где поработать, есть где и спрятаться. Спрячет их свой брат земляк, спрячет и помещик, когда налетит гроза в виде исправника или станowego, стан которого здесь величиной чуть не с ганноверское королевство. Станowego тут купит всякая депозитка; он и смотрит сквозь пальцы. Чуть зазвенел, однако, жадный полицейский колокольчик – бурлаки прячутся в бурьяны, байраки, стоги или в камыши или в глазах самой вла-

сти бегут через границу ее уезда. А помещику и колонисту без беглого нет житья. Беглые – народ смирный, трезвый, усердный; чисто ливерпульские пуритане в душе. Берет беглый за работу меньше вольного; ну да и обсчитать его легче: не пожалуется!.. Поплачет разве только, либо выругает за околицей хутора не по-человечески, и только. Потому-то здесь все шито и крыто. Беглые идут на линию, за Кубань, в Крым и в приморские степи на юг, как домой, из всяких суровых и тесных уездов севера. Пуританизм их удивительный. Известно следствие в окрестностях Нахичевани, открывшее, что партия беглых ночевала в степном байраке у какой-то лесничихи, как при этом один из беглых украл у хозяйки ведро и как за это товарищи его сперва высекли, а потом, недолго думая, повесили на дубу: «Не срами, дескать, хороших людей!» Так-таки и повесили.

Точки соединения всего этого летнего захожего люда в степях, притон их отдыхов и наймов, их увеселительные клубы, это – шинки зажиточных слобод и одинокие постоялые дворы с громадными, уже известными чита-

телю, степными колодцами.

Эти шинки – вещь любопытная. Кто их здесь не знает, за рекою Богатырем, Джемреком, в селах Большой Янысель и Старый Керменчик и вдоль по рекам Кобыльной и Волчей, а равно в апухтинских и черниговских хуторах, в молоканской слободе Астраханке и в немецкой колонии Красный Трактир? Во-первых, такие шинки приносят огромный доход. В обширной слободе они непременно устроены на главной улице или на площади, близ церкви. Это, по праздникам, своего рода лондонская биржа. А хотите знать, как нанимаются беглые летом и как ажиотируют этими белыми неграми наши южные плантаторы? Извольте. Подъезжая в праздник к месту их сходки, вы еще издали усматриваете небывалую толкотню и слышите громкий говор народа. Толпа стоит перед шинком вплоть до церкви, как на торгу. Отдельные кучки стоят по соседним переулкам, сидят под плетнями или идут решать дело еще далее на выгон, за село, чтобы не было свидетелей. В общей толпе и перед этими отдельными кучками прохаживаются помещики, кавалеры средней ру-

ки и приказчики богачей, нанимая артели, выслушивая торги и последние цены, сбивая упорных разными шутками и друг у друга, у своего же брата, сманивая небольшою надбавкой нанятых уже рабочих. Иной приказчик в синем кафтане и в синих шароварах, подпоясанный красным кушаком, ходит-ходит, торгуется, надседается, сошелся, нанял, выставил ведро водки на магарыч, сосчитал свою артель и спешит домой; а по пути, иногда у самых ворот его, встречает артель приказчика другого помещика, надбавляет рабочим ничтожную плату и уводит их с собой. Бывают при этом и свалки наемщиков и нанятых.

Случается, что ловкий соглядатай от одного помещика явится в степь прямо на работу к нанятым другого с целью сманить их разными льготами; а другой-то хозяин еще ловче, подглядит его штуки да тут же в степи его и высечет. А старики новичкам говорят: «Вы тому не удивляйтесь, что этот пан высек ключника того пана: так было и в старину, как наши степи селились и еще люди тут ходили незакрепленные, как запорожцы». При-

дет Юрьев день, – являются верховоды, кричат: «На Кильчень!» либо: «На Самару!» Одно село выселяется, а другое идет ему навстречу в иное место. По мостам и по плотинам идут обозы с детьми, добром и стариками; идут ба-траки и бабы, прощаются с родичами; во-лы ревут, возы скрипят, а паны заезжают друг перед другом, спорят, сманивают к себе наше-го брата и рубятся саблями, а иногда и пища-ли, бывало, хлопают. Оно так всегда тут бы-ло!.. Тот пан, бывало, при проезде обоза, хва-лит свое, а этот свое; говорит: «Идите ко мне, люди добрые! дам вам и степи вдоволь, и хо-рошей воды, и лесу, и хат, и скота!» А уж что соврет, то соврет, лишь бы ему сманить их, вот как и теперь... Есть предание, как один свирепый командир, преследуя здесь беглых, налетел где-то на артель неводчиков и гарк-нул на них: «Где ваши паспорта?» Те перегля-нулись. Генерал был без конвоя, с одною сви-тою. «На барке, ваше сиятельство!» – ответи-ли те и пошли по доскам, один за другим, за паспортами. Взошли на барку, оттолкнули ее от берега и показали ему оттуда что-то вроде шишей, со словами: «Вот наши пашпортики!»

И эти слова стали с той поры здесь поговоркою. В праздник, до начала торга, в слободе, где нанимаются косари и гребцы, в церкви обыкновенно служитя обедня, и все чинно стоят и молятся, слушая отца Прокопа или отца Дороша. Дым густо стелется, дьячок басит, а из дыма глядят все черноволосые и русые чубатые головы, будто сейчас вышли с картин Шевченко, Трутовского и Соколова. Обедня кончилась: наполняется площадь и шинок. В одном из таких шинков долгое время в наймах, под Керменчиком, был беглый повар какого-то генерала из Калуги, который держал отличную простую кухню и, постукивая ножом навстречу входившего загорелого люда, выкрикивал: «А кому угодно котлеток а la метрдотель, бламанже, суперфлю и все что угодно!» Никаких утонченных диковинок жид —содержатель шинка не мог, разумеется, по его вызову, предложить гостям; но прибавки повара приманивали толпу, и шинок был не внакладе, справляя иногда, впрочем, свадебные пирушки для соседних поселян и беглых с такими угощениями, что хоть бы и в городе. Про беглых тут ходят и плоские изби-

тые анекдоты, рассказы о том, как они венчаются вокруг полевых кустиков или обходя одинокий стог три раза. Обошли – вот и муж и жена, пока снова разойдутся. Такие же ходят толки и о крестинах. Это уже область местного юмора. Пора работ кончилась. Беглые с полей переходят к неводам. Здесь осенью вся беглая, разбившая свои оковы Русь... Уходя из шинков, косарские артели поют особые местные песни, с сочиненными намеками на соседних помещиков, отдавая им похвалы за милосердие или остря над их скаредностью и стеснениями, вроде этого:

*Чужи паны, як пугачи,
Держут людей до пивночи,
А наш соловейко
Пускае раненько;
Дае водки и грошей —
Спаси его, боже!*

Такие песни пелись в косовицу и на Мертвых Водах, на полях купца Шутовкина, братьев Небольцевых, близ поместьев Панчуковского, Швабера, Вебера и на церковной земельке Святодуховского хутора. «Отчего иные бегают?» – спросите вы у станового. «По омер-

зительной привычке», — ответит он вам и начнет доказывать. Хатка у такого бегуна сплетена из камыша, примазана глиной; в хатке ни стола, ни лавки порядочной, а во дворе плетень камышовый. Придет свинья необрядная, толкнет, чесавшись, и повалит весь хлам. Толкнет с досады и сам хозяин хату ногою, повалит ее и пойдет в бродяги. Ему и жены не жалко, и детей. Так по десяти и по двадцати лет шляются. Видно, дома солоно. А иной проворовался, ограбил, убил. Есть и бежавшие от страха наказания за покражу лоскута холста, сальной свечки. И ходят в бродягах годы. Думали переводить беглых, оцепляли города, села. Прибыл в эти места лет двадцать назад, между прочим, другой, подобный упомянутому выше, свирепый начальник и вызвался искоренить тут всех беглых. А подначальник был у него человек обстрелянный и знал, как это легко говорится и как трудно делается. Захотел этот первач свой край объездить. Ездит и ездит, совсем замучил помощника. Ужас навел на беглых своими выходками и жестокостью. В кандалы перековал целые тысячи, остроги ими перепол-

нил по всему взморью. А помощника совсем выбил из сил. Вот и подвел штуку помощник. Проморил как-то владыку в степи, а все везет его далее, все далее. Уж тот и животик стал потирать и поглядывать из коляски: что за бесов край! хоть бы корчма или деревушка какая, а до города еще верст двадцать. Остановился первач. «Ну, говорит, как бы чего закусь?» Кинулись к свите – ничего нет. А это уж помощник так подвел. – «Нет ли хоть корочки черного хлеба? Нет ли тут постоянного двора где-нибудь?» – спрашивает первач. «Куда вам, ваше сиятельство! У нас ли этому быть в этой голой и пустой стороне! А вот постоит: тут в стороне, на берегу моря, неводок, кажется, есть; беднячок один держит артель. Угодно-с? может, разживемся чем-нибудь?» – «Вези, братец, вези! просто умираю с голода!» Его привезли. «Здравствуйте, ребята!» – гаркнул первач на рабочих, выходя из коляски. «Здравствуйте, пане!» – «Давайте есть; что у вас имеется?» – «Что же у нас будет, пане? мы люди бедные; хлеб-соль, да разве рыбки вам поймать?» – «Давай». И закинули невод. Уж тогда ли поймали, или было

приготовлено заранее, только неводчики и устроили ему закуску: уху из самой первой-шей рыбы, с бездною молок и потрохов; в ноздри душистый пар так и ударил; икры свежей вывалили ему целый бочонок; а горячий хлеб да голодный зуб, главное помните. Наелся генерал до отвалу: едва поворотился. Кинул неводчикам червонец, благодарит помощника: «Ну, брат, такого обеда и цари не едят!» Отъехал поезд в степь, скрылось море и коса с неводчиками. Помощник и говорит: «А знаете, ваше сиятельство, у кого мы обедали?» – «Нет, не знаю». – «У беглых!» – «Быть не может!» – «То-то-с; переведете их, так и рыбы такой тут некому будет поймать...» Генерал задумался и больше не козырился, стал как и все мы, грешные...

А плантаторы между тем не дремали. Громадные ватаги косарей и гребцов, человек в триста и в четыреста, расхаживали по быстро косимым степям. Сами велемочные господа кавалеры из-под Ростова, Бердянска, Мариуполя и Мелитополя, кто верхом, в широкой бердянской или одесской, а иногда прямо панамской шляпе, или пешком, с плеткой

усердно расхаживали среди артелей, пеклись с утра до ночи на страшном солнцепеке и обращали свои лица в подобие желтого земляного угля. Двигаясь медленными точками и белея своими шляпами, они, как коршуны, стоявшие в небе над ними, зорко поглядывали по сторонам, подмечая либо заленившегося косаря, либо накидывая жадным и плотоядным взглядом смазливую гребчиху с греховным помыслом приласкать ее вечерком, в прохладе одинокой степной пустки, за стаканом пуншика и глотком коньяку или водки. «Эй, хлопцы! эй, дивчата! – покрикивали степные поморские плантаторы, с бойкостью яростных, настоящих янки помахивая на куцых кляч плеткой и верхом ведя свои ватаги по пылающим в зное равнинам, – а нуте, постарайтесь! а нуте, разом, разом, разом! дружнее! Котел каши с салом; два ведра водки лишних на магарычи! А нуте, нуте, нуте!» И сотни обеленных бурьянами кос дружно и мерно сверкают; сотни грабель взвивают и складывают в копны душистый чай наших степей, мягкое и нежное зеленое сено. Среди полян стоят косарские и гребовицкие таборы.

Косовица во всем ходу, в полном разгаре. У привала дымится из навозного кирпича костерок. Громадная арба с полотняною крышею в виде гроба без устали открывается и закрывается, подвозя на волах или верблюдах крупу, соль и рыбу от хозяев. Несколько бочек едва успевают подвозить к таборам из дальних колодцев воду. Выпекается в хозяйских хуторах, в особенных печах, и в сутки съедается по триста и по четыреста хлебов, на одном поле, у одного хозяина. Из Мариуполя и Таганрога подвозятся мешки и мешочки на тысячи и более рублей серебром мелочи. Нанимаются артели в десятки и сотни человек понедельно. Расплата производится по субботам. Наморившиеся, загорелые и запыленные девки и бабы сидят в тени, где-нибудь под амбаром или под конюшнею, не распевая песен и не шутя, в ожидании расчета. Косари без шапок стоят кучами по двору или у крыльца. А сами гостеприимные господа-плантаторы сидят у крылечка, перед столиком и расчет ведут. Этой партии триста целковых, этой – сто тридцать пять, той – двести. Кости на счетах звонко выщелкивают красные куши. Пе-

ро тут же записывает сказочные летние новороссийские расходы. Хозяева в эти минуты не видят перед собою ни живописных типов украинских косарей, ни хорошеньких, подгорелых на ветре и присмаженных на солнце гребчих. Они видят одно сено, копны, стоги, свои стада и барыши. «А! вон и сам пан полковник выехал! – говорили иногда соседские приказчики, из мещан и вахмистров, видя, что Панчуковский выехал к гребцам или к косарям на красивом сером или буланом жеребчике, – ну, это уже недаром! верно, старый хрыч Самуйлик смастерил ему какую колонистку, либо из наших девок какую припас полакомиться. Ишь ты! какой молодой орлик, летает и плавает перед рядами. Вон остановился; шутит, видно, сигарку закуривает... Эх, житье этим господам, право! Денег – куры не клюют; спят себе вволю, пьют, едят, книжки читают – тьфу! А ты трудись... а девок им и отбою нету!.. Как те салтаны проклятые турецкие проживают!..»

Так говорили приказчики, разумеется, от зависти.

Оксана и ракитник

В одной из таких беглых артелей был и Левенчук. Он был в наймах недалеко от Святодухова хутора; часто под вечер мелькала в яру и в ракитовой роще его смурая барашковая шапка. Как же полюбились Левенчук и Оксана? Э, господа! Как любятя птицы небесные, зверки полевые? Уж, разумеется, очень просто, как любитя все привольное, дикое население степей века и десятки веков, нарождаясь и сменяя друг друга.

Без вздохов, без лишних слов, просто и даже очень просто полюбились и жили своею любовью Левенчук и Оксана. Левенчук окреп на воле в эти три года, возмужал и ревниво берег издали свою Оксану, нанимаясь то в невода, то в поденщики у окрестных колонистов и везде высматривая ее и следя за нею. Их встречи были кратки. Тихая и степенная красавица без него никому не спускала, кто бы ее ни затронул. Возясь и работая в кухне, в огороде, на дворе и в доме священника с утра до ночи, она и дитя кривой дьячихи закачает, и полы вымоет, и птиц накормит, и часто поет-поет, как жаворонок заливается. А сойдет

ночь, скрипнет валежник в ракитнике, она молча и покорно идет к Левенчуку, покорно ластится и жаркими-жаркими объятиями нежит его. Слов как-то нет у нее; все бы глупо молчала да нежилась, как кошечка, возле него. Соберутся к святодуховскому пруду соседние гребчихи за водой, полощутся в кустах, припасают ведра воды, умывают загорелые лица, запыленные руки и плечи, и Оксана выйдет из поповой хаты. Наслушается всего, поможет одной-другой воды набрать, подаст ведра на коромысло, придет домой и все рассказывает дьячихе. «Ты только молчи, Оксана, – говорит на это дьячиха, – ты лучше всех, а только молчи! Я уж тебе найду жениха сама!»

«Да, держи карман! – думает Оксана, – и без тебя знаем, где что получше, покрасше!» Сама разденется для работы, затопит печь, засучит рукава, поставит горшки, лук крошит, пшено толчет, обед готовит, – а сердце так и колотится. «Вот, думает, девки полагают, что я такая недотрога, никуда ногой не хожу, ни в наймы в степь, ни в гости ни к кому, а я-то... а ночи?.. а ракитник?.. Да и тетка Горпина так

же думает!..» Пойдет на пруд днем, белье может. Обнаженные ноги с кладочки в воде рисуются, солнце пышет в лицо. И все ей жалко кого-то. Сама боится глянуть в сторону. «Глянь, – шепчет ей что-то, – глянь! в кусты орешника, в темные ясени, в ракиты глянь: вон там на берегу, по тот бок пруда, стоит кто-то – глянь!..» И весело ей, и тяжело, и совестно, и страх как хочется посмотреть. «И чего я гляну! – думает Оксана, стуча вальком по белью, – теперь полдень, он косит где-нибудь или невод тянет...» Подняла глаза и обомлела: на берег вышел из байрака Левенчук и давно машет ей, зовет ее. А вечер придет... Давно она не видела Харько. Постлалась на лавке, в кухне, помолилась, три поклона положила и крестится, ложась спать. Помнит все, что было днем: как она дитя дьячихи Горпины колыхала, как вечером корову доила, а сама все смотрела опять в сторону, дура, и ждала, что вот-вот кто-то из-за угла покажется. Уже заснула Оксана, спит, а ночью чувствует, что покраснела; совестно ей подумать, как это она выйдет замуж и в люди покажется... Лучше бы так просто подольше жить и тихо лю-

бить!

Не помнит Оксана ни отца, ни матери; даже не знает, кто были ее отец и мать и где ее близкие. Слышала, что отца ее зарезали и что с той поры ее взял в приемыши отец Павладий. И с особою любовью ходит она за дитятею тетки Горпины, нежит его, поминутно с ним возится и поет ему степные малорусские колыбельные песни.

Худое и слабое дитя иной раз без меры расплачется. Оксана не даст матери укачать его. Не отходит от него и поет, не переставая. То на руки его возьмет, пойдет с ним на выгон, в лес, опять положит дитя в колыбель и поет.

Как познакомилась Оксана с Левенчуком, трудно и сказать. Был он как-то в церкви, стоял там такой печальный да жалкий; тихо крестясь, приложился к кресту, когда отец Павладий отпущик с обедни дочитывал. Потом косил он в косарях на церковной степи у отца Павладия, а она воду косарям носила. Только и знакомства. А как потом она ему всю душу отдала, стала ходить и бегать к нему, через плетень прыгая, лисичкою в кустах выступая, — этого она и не расскажет. Стала вдруг она и

более заботливая: хлопочет и старается по хозяйству, будто собирается куда, будто последние дни для нее настали. А сама похудела, точно измученная чем, но еще более с тех пор похорошела. Русая коса, как шелк, вычесана, темные брови еще темней стали; а слегка впавшие тоскующие глаза не по летам так и мечут любовные чары. Движенья замедлились; тело просится к лени, а работы гибель. Выйдет Оксана на косогор, станет против рощи; стоит и вдруг заплачет. Долго стоит, смотрит и поет за душу берущую песню нашей Украйны...

Или заберется она в глушь байрака, сядет в кустах, шьет узором сорочку, за слезами нитки не видит и тихо поет песню, которой выучилась она у дочки соседней бакшевницы, пропавшей без вести два года назад, вслед за отходом партии неводчиков.

Песня спета; слезы душат Оксану; она упала лицом на работу, и плачет-плачет... еще от рождения она так не плакала. На душе и горько, и тяжело. А мысли роятся между тем: «Ну, желала бы я, однако, знать, где этот пройди-свет Харько? Должно быть, с дивчатами

чужими возится, водку где-нибудь пьет. И не срам?..» Поднимает голову и ахнула: Левенчук сидит против нее на корточках, держит трубку в зубах, копается в кисете с табаком и смеется. «Вот хорошо, что ты запела, а я по голосу и нашел тебя!» Застыдилась Оксана. Ей весело и вместе жутко. Дрожь в руках и в груди. Она не придвигается к нему ближе. Он смеется над нею. Она кидает в него нитками, траву щиплет, в глаза ему хочет бросить. А он ей руки крутит, борется с нею, десятки прозваний ей ласковых и смешных дает... «Да прочь же, прочь!» – говорит она ему, морщась и будто отталкивая его, а сама все к нему ближе... Солнце не заглядывает в гущину ясенков! Только ветер перебегает по верхушкам... Дикая утка откуда-то налетела, пошныряла раза два над байраком, улетела опять и, снова прилетев, тяжело шлепнулась к осоке озера, ниже пруда. Должно быть, гнездо ее там свито. А Левенчук рассказывает, где он был в эти две недели, где невод тянули, как пароход откуда-то ночью набежал, дым клубился, море шумело, наплыли лодки к берегу, все какие-то не то армяне, не то далматы бегали,

выгружали запретный товар, контрабанду, в камыши и с верховыми укрыли ее потом до рассвета далее. Говорит, что эти дни он косил возле Святодуховки и все собирался к ней, только ждал расчета. «Я видел тебя, Оксана, прошлую ночью к двору вашему подходил... Ты спала на дворе под горницею, да я не посмел через плетень перелезть... Лежишь ты, раскинулась – а я хотел подобраться к тебе, напугать! И как это вы собак не держите; просто страшно! Еще обворуют!» – «И, Харитусю! От злого человека и собака не спасет!» – «Ну, где же наш батюшка теперь, Оксана?» – «Дома; пчел едет покупать на Троицу! Приходи тогда...» – «Э, нельзя! Нам заказано в лиманы; француз чаю привезет; разгружать станем; по десяти целковых на человека в ночь будет... Не приду; а после опять косить приду до вашего немца». – «А, постой! – тихо крикнула Оксана и замерла, – постой; как будто кто яром под ногами вот у нас идет; не то отец Павладий, не то посторонний кто... Ишь крадется!» Но шум замолк; на сердце Оксаны отлегло. Левенчук закурил трубочку, и опять пошли толки. Он рассказывает, как жил еще

у своей барыни, как пас овец, как его женили, как Варьку машиной задушило и потрощило, как он утопиться задумал и уже вторые сутки просиживал над омутом у мельницы и как его спас и сманил на линию Милороденко. Оксана в сотый раз слушает и плачет, тихо вышивая узорную сорочку или бросая иглу и безмолвно слушая Левенчука. «Ну, где же теперь наш Василь Иванович, наш Милороденко?» – спрашивает она, тихо в мыслях молясь за него. «Э, Оксана, ищи ветра в поле! Сказывают, что он точно успел за эти три года разбогатеть. Сперва, говорят, был он при неводах, а потом у какого-то грека на хуторе пасеку держал и сам завелся пчелами; даже в мещане в Азове хотел приписаться, по чужому имени – все домом тоже обзавестись мостился. Передают, что уже и при деньгах был. Да какая-то бабенка ему тут подвернулась. Он сперва у нее ключником нанялся – она тоже помещица, что ли. А там и в любовники к ней попал. Год так жил! А с этой весны куда-то и пропал опять без вести. Как будет наша свадьба, Оксана, перед Петровками, мы его разыщем... хочешь? Я припас еще денег; самая ма-

лость остается, так и скажи батюшке!» – «Скажу». – «Скажи, что после Троицы, как управлюсь на море да покошусь еще у немца с неделю, приду и остальной за тебя выкуп принесу... Ну, а где же мы станем жить тогда, Оксана?» – «Ох! уйдем отсюда; тут уж нам не житье. Слышно, все разыскивают бродяг, а ведь мы не люди, мы с тобою бродяги... Боже! Хоть бы на Дунай или в ту Анатолию пробраться... У турок, слышно, всех принимают. Вон я слышала, Харько, к нашей дьячихе сестра с богомолья из Ерусалима, проходом в Россию, навернулась, говорит, что нашего народу видимо-невидимо из Одессы и из Польши туда перешло, и по Дунаю так слободами и живут». – «Не может быть того, чтоб до неверных переходили!» – «Ну, а я уж слышала; там пачпортов не требуют». – «А, батюшки, батюшки! вот доля!» – «А слышал ты тоже, – вон попадья к нам от Шутовкина купца наезжала, пшена занимать и постного масла на косарей: наш батюшка на барыши на лето и это держит, – будто к Небольцевым господам исправник выбегал с понятыми, село обходил, все сундуки и погреба осмотрел и шестна-

дцать человек за конвоем в Ростов отвел. Плачу там, плачу было такого, что и-и! Нашли, говорят, в подвале старого-престарого сапожника; он двадцать девять лет уже как бежал, рассказывают, от какого-то помещика, не то из Рязани, не то из Москвы, и все это время жил в подвалах, обшивал все околотки...» – «Ну, ну?» – спрашивал Левенчук, все бледнея и едва переводя дыхание. «Как вывели его оттуда, а он, как мушка сонная, осенняя, так и шатается от ветру, ухватился за волосы седые, белые, да и упал об землю. – „Ведите меня, говорит, хоть в Сибирь, а только домой не ведите, на хутор. У меня, говорит, тут уж своя родина, и жена другая, и дети взрослые, а то я руки на себя наложу; я не крал, не грабил, тихо жил себе, работал...“ А исправник смеется: „Ведите его, молодчика, да покрепче закройте; он уж по четырем ревизиям пропущен, ему и имени Христова нет...“ И повели его на Екатеринослав особо. Так рассказывала Шутовкина купца попадья...» – Левенчук встал, оправился. Встала и Оксана. «Ну, Оксана, теперь ты будь готова. После Троицы зараз повенчаемся! Я пойду на корабли, договорюсь... Я уж устрою... Не

житье нам точно здесь становится. Набрехал-таки Милороденко, иль оно уж изменилось! А ты только будь, значит, готова; не в Туретчину, и тут найдем место! Вон и в прошлое лето шел на заработки, с чужим мещанским пачпортом, за Елисаветград. Ну, да и места же это по Днепру, Оксана! Зашел я в такую лощину: все балки, песок красный, слюды блестят на солнце, тюльпаны дикие, как колокола, цветут, алые и желтые, по степям и по ярам, – пахнет, весело, привольно... Вот хоть бы туда! Будь только готова; уж мы спрячемся – а там, слышно, и волю всем скажут! Согласна, серденько мое?» – «Согласна!» – «Так жди же меня, жди, жди!..»

Близился день Троицы, храмового праздника в хуторе отца Павладия. Соседние колонисты, беглые и всякий обычный, захожий люд в окрестности свято чтили и помнили этот день. Отец Павладий, от студеной весны лишившийся всех своих пчел, затевал давно завести новую пасеку, сторговал в соседней болгарской колонии двадцать колодок и со стариком дьячком, который был у него ходок по всем денежным делам, собирался

ехать туда на своей пегашке, вслед за обеднею. Между тем он собирался нанять мимоходом, где случится, из своих более греховных прихожан, не раз после исповеди бывших в наказании на поклонах, десяток-другой подешевле косарей на свое подцерковное заповедное поле. Да, кстати, тоже с какого-то колониста к этому же дню следовала получка капиталца и процентов, по пятнадцати этак на сто, за полгода. Таковы уже заразительные обычаи этого коммерческого новороссийского люда. В минувшем году отец Павладий пустил часть круглого капиталца на соседний порт в доле с каким-то греком через того же дьячка, скупив малую толику пшеницы и льна. А немало денег жат блуждало и по северным уездам губернии, и по Дону, и по Кубани, оставляя под залогом в сундучке и в комодах отца Павладия серебряные ложки, браслеты, столовое белье, расписки, часы, даже ордена отставных майоров и ротмистров, ныне усердных плантаторов по рекам Мертвой, Кобыльной и далее до Яны-Салы.

VII

Новая сабинянка

Троицын день начался радостно для отца Павладия и прочих обитателей Святодуховского хутора. Седенький рябоватый дьячок в ожидании обеда с выпивкою винца метался, прилизанный и прифрантившийся с утра, между прибранною заранее церковью и домом священника. Дьячиха варила есть ба-тюшке, себе и гостям, обыкновенно наезжавшим сюда к храму. Отец Павладий ловко спрятал в своих каморках к месту книги, журналы и газеты, бог с ними – нелюбимого местными господами Гоголя и гонимого директорами соседних училищ Белинского (которого отец Павладий в простоте души звал не Белинский, а Белинский), накурил весь дом немилосердно ладаном, так что суетившаяся с утра Оксана вбежала было, уже во время обедни, с чем-то в спальню ба-тюшки, торопясь скорее покончить хлопоты, что-то поставить, что-то взять, надеть последние две ленты в косу и пойти степенно и величаво в церковь, но остановилась в клубах непроглядного дыма, покрутила носом и, ухватясь за глаза, выскочила на крыльцо. «Уж это верно, ба-тюшка раскутился; верно, росным или смир-

ною так накурил!» Еще раз два простучавши по зеленому двору быстрыми пятами, Оксана наконец заперла ворота и пошла в церковь. На ней была новая ситцевая красная юбка, синие шерстяные чулки и козловые башмаки, только что из лавки. Много было там господ. Много экипажей стояло у склона байрака, между кустов и под роцею, у возделанного отцом Павладием пруда. Церковь, вся обросшая и густо укутанная белыми акациями, сиренью и липами, едва оттуда торчала золотой маковкою. Чинно прошла обедня с акафистом и с коленопреклонением. Накануне была отслужена обычная панихида по умершим, былым приснопамятным переселенцам на Мертвые Воды. Как плакал обыкновенно в такой канун за панихидой отец Павладий, живой свидетель гибели этих переселенцев, так он прослезился и на этот раз. «Господи, помяни сих... сих несчастных, умерших, умерших разом!..» – прибавил он теперь такие свои слова к заупокойной молитве, просветлев от горя и вспоминая в числе «сих несчастных» и свою молодую чернобровую покойницу, по приезде сюда всех пленившую своим

тихим нравом и белизною лица. Круглый и тучный, с красноватою лысиною старичок всегда казался особенно мил в этой маленькой чистой церкви, усыпанной песочком, утыканной от полу до потолка, по углам и по иконостасу свежими ветками, срезанными с рослых лип и берестов, посаженных его собственною рукою. В лучах света, прорывавшихся в распахнутые окна, празднично мелькали, кланяясь, черноволосые и русые головы, тихо и степенно мелькал в какой-то старенькой лиловой с разводами ризе сам отец Павладий, усердно кадя в лицо всякому и тихо повторяя молитвы. А козловатый дишкантик дьячка, благодушно ухмылявшегося на клиросе, мешался с песнями соловьев, гремевших с веток рощи, обступившей церковь. Были в церкви русские поселяне и многие колонисты. Последние красовались в своих особенных народных одеждах. Но вот что случилось на обедне. Неся святые дары на большом выносе, отец Павладий вышел из алтаря, читая внятно поминанья, медленно поднимал глаза, сперва было упершиися в загорелый затылок дьячка, не успевшего отойти вправо, и

увидел в двух шагах от себя Панчуковского. Сердце невольно у него екнуло. Он его здесь никак не ожидал увидеть. «Где же, однако, Оксана?» – без всякой причины подумал он, читая молитвы. Продолжая по-прежнему говорить поминанья, он повел глаза влево, как бы ища кого, и радостно остановился на преклоненной, перед выносом даров, своей воспитаннице, Оксане. Отец Павладий был так любезен, так в духе, что после службы пригласил многих к себе обедать, не забыл и Панчуковского ласковым словом. «А у меня от вас, полковник, был посол, – сказал он, простодушно хихикая, – кажется, господин Михайлов, студент на кондициях у купца Шутовкина, и я ему дал по вашему ручательству триста целковых-с». – «Очень благодарен». – «Не угодно ли же и вам ко мне закусить?» – «О нет, извините; я сейчас на три дня уезжаю на торги, за Дон; там степь отдается, ее Шульцвейн хочет взять; ну, мы и поторгуемся». – «Вот как!» – «Да пора же нам, русским, за ум взяться с немцами!»

«Ого! – думал отец Павладий, скидая рясу в алтаре и спеша к другим гостям, – даже с

Шульцвейном тягается! Дока, туз! И отлично, что я пристроил под его ручательство часть деньжат! Это все то же, что наш Ротшильд!»

Гости пообедали и разъехались рано. Оксана прислуживала за столом. Отец Павладий, покушав, задернул занавески в спальне, заснул, встал, выпил квасу и уехал с дьячком, как собирался, за пчелами, в надежде принанять под них еще подвод на месте.

– Смотри же, Горпина, – говорил он, уезжая, – не бросайте так горниц; день праздничный, много народу к пруду за водой шатается; еще чего бы не украли.

– А мне, батюшка, можно за роцу к девушкам пойти, когда сойдутся к байраку песни петь? – спросила Оксана.

– Можно, только без Горпины не ходи. Ты знаешь, всякий народ по праздникам бывает. Я ее со свету за тебя сгоню!

И тележка отца Павладия запрыгала по кочковатой дорожке.

Пришел вечер. Заря разыгралась с невиданною роскошью. К байраку за водой сошлись и съехались для утреннего запаса греб-

цы и косари. Толпы разошлись по пригоркам; взялись за руки, стали песни петь. Девки стали в «хрещика», в «коршуна» играть, разбегаясь с звонкими песнями и с веселым хохотом. Дукаты блещут, ленты развеваются. Явилась и скрипка откуда-то. Пляс поднялся. Парни долго пока стояли в стороне, посмеиваясь и, по обычаю, громко хвастая разными разностями. Одни пасли тут же лошадей, сопровождающих всегда косарские партии, другие играли в карты, третьи в орлянку.

– У меня, братцы, семь целковых есть!

– Овва! Уж и семь; а у меня двадцать дома зарыто.

– Бреешь!

– Ей-богу!

– А по мне так три молодницы в Ростове убиваются... да я не жалаю!

Взрыв хохота.

– То, может, три свиньи, а не три молодницы! – кричат девки.

Хохот усиливается.

Хвастун, как говорится, «у серка очей позычает» (у волка глаз занимает) и не знает, куда деться от града насмешек. Шум, беготня

обращают внимание на другое место. Ночь стемнела. Пары девок и парней расходятся по сторонам, по полю и к лесу. У пруда шалуны огонь было разложили и опять его потушили.

Тут произошло необыкновенное событие. Наутро заговорил о нем весь околоток.

Но надо воротиться несколько назад.

Утром в тот день перед обедней к Панчуковскому при-ехал купец Шутовкин.

– Я к вам, полковник, с просьбой! – сказал он. Это был грязный и жирный толстяк, с маленькими свинными глазками, с одышкой и с миллионным состоянием.

Шутовкин отерся и сел. На дворе было душно.

– Вы меня извините... Нападают на мои привычки товарищи, что я барином тут вволю живу, не скаредничаю... Вот у меня дети; я учителя при них держу, и отличного... Но ведь я вдовец... Понимаете?

– Так-с...

– Так помогите же мне, полковник, обделать одно дельце... Понимаете?

– Какое?

Купец засмеялся. Жирные глазки его слезились.

– Край здесь на женщин плохой; их нет здесь. Я давно, видите ли, ищу кого-нибудь взять к себе в подруги...

– Ну-с, что же... И с богом!

Купец крякнул и отер лицо.

– Здесь, видите, глушь, дрянь все народец; сплетни сейчас заводят, смеются... Я было решил дело попрстойнее завести – за своею гувернанткою как-то приударил, к детям ее было нанял; так не поддалась. А теперь уж просто даже влюбился, наметил одну девочку. Вы человек холостой, поймете меня... Я решился увезти одну особу...

Панчуковский протянул гостю руку, но вместе с тем думал: кого же это он?

– Bravo, Мосей Ильич! Кто же эта особа?

Толстяк оглянулся кругом и, сопя от одышки, прошептал, трепля по руке полковника:

– Одна тут колонистка есть, болгарка, девка просто ошеломительная... Что делать! Я уж и старух к ней подсылал, видите ли, подарки ей делал, – ничто не берет... Такая рослая-с, как кедр ливанский, всю душу изморила. Ре-

шился я ее просто живьем-с украсть; завезу ее на свой завод или в город прежде, спрячу и в недельку, авось, ее завербую совсем!

Шутовкин перевел дух. Пот валил с него в три ручья, а руки и губы его дрожали. Панчуковский чувствовал к нему отвращение, но слушал его усердно.

– Полковник, – сказал гость, – мы с вами коммерческие дела обдeldывали, помогите мне в этом! Я к вам обратился как к доброму человеку. На людей своих мы положиться вполне не можем; у вас дворня дружная подобрана, да и они ничто перед вами. Я у вас навеки останусь в долгу. Помогите!

– Как же мы дело устроим, Мосей Ильич?

– Сегодня вечером у Святодуховки по поводу праздника, как я узнал, соберутся с окрестностей девки и парни; мы подведем двумя тройками, моя красавица тоже там будет... Ну, а уж самое дело покажет, как его порешить...

Полковник встал.

– Согласен, извольте. Абдулка, Самусь! – крикнул он в окно своим любимцам. И, запершись в кабинете, господа обдумали все как

надо.

– А полиция? – спросил Панчуковский. – Ведь эти болгары народ мстительный и злой, не то что наши: пойдут с ябедами. Станут искать пропавшую...

– Э, полковник! Какие вы пустяки, извините, говорите, а это зачем?

И Шутовкин потрепал себя по бумажнику. Боковой карман был туго набит.

Уже поздно, к ночи, парни и девки у святодуховской рощи затеяли прыгать через огни, как на Ивана Купалу. Священника не было дома, и некому было запретить это прыганье. Кто-то было поднял голос и сказал: «Что вы, озорники, делаете? Этого не позволяют и на Ивана, а вы теперь затеяли. Не вовремя такое дело, беду несет!» – «Своя воля!» – отозвались из толпы. Принесли парни и девки соломы, веток, бурьяну, разложили костерки от оврага к роще и стали с разбегу прыгать, ухватясь руками и гадая: чьи руки разорвутся над огнем во время прыжка, тому в тот год не венчаться. Голоса стали звонче, шум и гам усиливались. Подошли новые парни, в том числе

люди Панчуковского. «Э! с вами бегать – горе наживем!» – со смехом отнекивались девки от исканий полковницкого Абдулки и еще одного рыжего парня. Но на слова: «Сударыня-боярinya, пожалуйста ручку!» – руки подавались, как и другим. Нечего говорить, что в это же время, как знакомцы и незнакомцы потешались в виду подцерковной рощицы запретною игрой, поодаль к двум курганам впотьмах подъехали и стали у оврага коляска и телега. «Тише, тише!» – распоряжался с телеги, не вставая, толстяк Шутовкин. Часть его подобранной шайки смешалась с играющими, двое залегли на дороге в кустах, а Самусь, полковник и он сам ждали у лошадей. Полковник, слегка бледный от ожиданий, стоял, облокотясь о свою коляску, запряженную ухарскою скаковою четвернею, молча глядел в темный воздух, в ряд мелькавших огоньков и покручивал усы.

«Что-то нейдут, не слышно ничего! Как-то дело разыграется? – думал Панчуковский. – Утащить, схватить не шутка; да как уйти от погони? их ведь не шестеро там...»

Шутовкин только удушливо сопел и непо-

движно с огромной телеги глядел вдаль, прислушиваясь к игравшим у огней. Лошади стояли, опустя уши, и только изредка вздрагивали, дремля и лениво переступая с ноги на ногу. Много думалось полковнику. Он вспоминал щегольской Питер, изящную гвардию, товарищей, оперу, разные прочитанные романы, разных нежных барышень, в которых еще недавно влюблялся, и соображал, каким разбойничьим и смелым делом теперь ему пришлось заняться: чистый Стенька Разин или, по крайней мере, Казы Магома и Шамиль, укравшие Орбелиани и Чавчавадзе. «Эх, край! – думал он, – чистый эдем!» Не успел он раскинуться мыслями, как со стороны сторожи, лежавшей в кустах, раздались голоса: «Шш... бегут!» – и в то же время вдали у огней произошла какая-то сумятица и свалка.

Через минуту Шутовкин и Панчуковский услышали, как по полю, впотьмах, тяжело бежало несколько человек, то останавливаясь, то опять ускоряя шаги, как бы борясь с кем-то по дороге. Вбежав в кусты, эти лица ускорили бег, соединившись с засадою. Еще через се-

кунду раздались и сдержанные крики: «Ой-ой! пустите, пустите», – и прямо к телеге плотоядно трепетавшего Мосея Ильича с размаху была притащена бившаяся белая фигура. Косы у нее были раскинуты, грудь распахнута, одежда изорвана.

– Душечка, душечка, перестань! перестань! – шептал Шутовкин, ловя ее с телеги впотьмах жадными дрожащими руками, и едва из сил выбившаяся прислуга свалила ее к нему в телегу, он закричал обезумевшим от радости голосом:

– Погоняй, валяй! гони вскачь! бей!

И оба экипажа шарахнули по предварительному условию в разные стороны. Развязанные колокольчики зазвенели и понеслись, то смолкая, то опять звеня и пропадая вдали. Они скакали без умолку, летя без дороги. Отскакав версты три, экипажи опять подвязали колокольчики и понеслись неслышно в темноте далее. Но среди их неожиданно появился, как бы также по условию, какой-то верховой и полетел с колокольчиком в руках, звеня, в третью противоположную сторону. Он уже сбил слушавших окончательно.

Толпа играющих между тем едва могла опомниться от изумления. В конце вереницы уже погасавших огней произошла безумная суматоха. Пробежала молва, что какой-то парень, крепко ухватив за руку девку, потащил ее насильно. «Не дави, пусти, а то брошу!» – говорила она. «Не бросай, скачи, а то не повенчаемся, как разорвемся!» Она засмеялась и не вырвала руки. Пары побежали. Эти же двое вдруг отделились и побежали в сторону, в поле. Девушка все еще смеялась и отбивалась слегка. Но к ним прибежали еще двое. Они скрылись в темноте. Раздались крики: «Ой-ой! спасите, не пускайте!» Парни сбежались на то место. «Кого это кто подхватил?» – «Милованку, Милованку, девку из колонии!» – «Кто же это?» – «А бес его знает!» Оглянулись, стали перебирать меж собою, кто это недоброе такое затеял. Смотрят – знакомые всем полковницкие люди тут, и Абдулка между ними стоит и тоже мечется, будто ищет, кто бы это такое затеял. А крики все дальше и дальше по полю...

– На коней, братцы, на коней! – закричала толпа парней. – Где наши кони? в погоню за

ними, отбивать! Бей их, бей! Как! наших де-
вочек красть! Бей... души их!..

Парни кинулись на пастбищный луг за ло-
шадьми, поскакали верхами по звуку коло-
кольчиков, а другие побежали пешком в сто-
роны. «Садись и ты на коня!» – кто-то крик-
нул Абдулке. «У меня свой тут», – ответил тот
и поскакал также. У него был за пазухой коло-
кольчик. Влетев в степь, он вынул его, зазвез-
нел им, повернул коня назад и сбил этим
дружную погоню. Ему это было не впервые:
закубанский татарин, он еще недавно наби-
вал руку на подобных наездах.

Костры между тем стали потухать сами со-
бой, девки разбежались первые.

– Пойдем и мы, тетка, скорее домой! вот
страсти! – говорила напуганная Оксана тетке
Горпине, между тем сильно подгулявшей с
какими-то солдатами, тут же у пруда, и едва
волочившей ноги.

– Ох, бабо! скорее, скорее пойдем! да нуте
же, двигайтесь шибче! вот засиделись тут!
а неравно батюшка при-ехал; что тогда нам
будет? Скорее, скорее, скорее! вот страсти!
я сама вся мертвая...

– И, моя кралячка, а так-таки ничего; сказано: повеселились, ну и все тут! – отвечала Горпина, сильно пошатываясь, при помощи Оксаны спускаясь в овраг и в рощу и беспрестанно спотыкаясь. Оксана ее поддерживала, пугливо к ней прижимаясь и в ужасе вглядываясь в темные, будто враждебные ей, ветви ракитника.

А в темноте теплой чудной ночи то там, то здесь носились какие-то шорохи, свист раздавался, топот конский звучал, крики издали проносились, и ни одна звездочка не освещала темной, непроглядной ночи. Байрак замолк. Зазвенел еще где-то за холмами колокольчик, зазвенел и опять затих. Молчала вся таинственная, обворожительная новороссийская ночь...

«Господи! выручат ли они ее?» – подумала, перекрестившись, Оксана. Плетень затрещал под ее рукою. Она перелезла во двор и отперла ворота.

Введя тетку Горпину в кухню, Оксана уложила ее тотчас спать. Сама она не решилась лечь, по летнему обычаю, на дворе, на крыльце, а тоже легла в кухне, заперла двери на за-

мок и, наскоро помолившись, вернулась, еще дрожа от неожиданных страхов, и стала думать: «Вот страсти, так страсти! Боже! Боже! где-то теперь мой Харько! И батюшки нашего до сих пор еще нету! Что это значит? Господи, спаси нас и помилуй!»...

Оба экипажа, верст за шесть, опять съехались. Продолжал скакать в противную сторону один Абдулка, сбив погоню парней.

– Поздравляю, Мосей Ильич! – сказал Панчуковский, доскакав до осинової рощицы и выпрыгнув из коляски.

– Спасибо, Владимир Алексеич! – отвечал тот, протягивая впотьмах Панчуковскому толстую руку и лоя его за плечи. – Позвольте вас обнять! Эта роца, эти осинки останутся у меня навсегда памятни...

Похищенная колонистка сидела молча, тяжело дышала и не поднимала от колен лица. Она была связана вожжами.

– На завод! – крикнул кучеру Шутовкин. – Благодарю еще раз, полковник. Я у вас в долгу. Пошел!

– Будьте счастливы!

Тройка Шутовкина выбралась снова из лощинки в гору, от условленного места свидания, от осинок, и поскакала по пути к салотопенному заводу Мосея Ильича, бывшему от его собственного незаселенного поместья верстах в пятнадцать. Там Шутовкину предстояло среди уединенного, почти пустого летом, хутора, как новому рыцарю Теобальду, склонить или не склонить на свою сторону сердце похищенной им новой Элеоноры.

Панчуковский между тем стоял впотьмах, в раздумье, у осинок. «Завтра надо ехать на торги! – мыслил он, – все хлопоты и хлопоты, а счастье все как будто за горами! Где же оно? Где? Что, как бы теперь же и мою?..» И дух у него замер. Он прошелся раза два у коляски. Верный Самусь оправлял лошадей. Чужая удача охмелила полковника.

– Самусь!

– Чего угодно?

– Абдулки еще не слышно?

– Никак нет-с.

– А скоро будет сюда, как думаешь?

– Должно статься, скоро.

Панчуковский стал вслушиваться. «Да или

нет? – думал он с тревогой в сердце, вдыхая нежный запах хлебов и трав и тихо похаживая возле коляски. – Ехать ли на торги, или мне порешить теперь же, в эту ночь, с моею красавицей задуманное, желанное, небывалое еще и не испытанное мною?.. Нет, это будет слишком дерзко! Я-то уж никак не уйду от преследования. Меня узнают, отыщут ее... А чудная, чудная девушка! Нет, нет... Еду на торги, отсюда же прямо еду... Ведь сорок верст».

– Самусь! – сказал он и не успел услышать ответа, как со стороны осинок из-за косогора послышался еще отдаленный, а потом близкий топот лошади, бежавшей вскачь.

– Абдул-с Албазыч! – сказал Самуйлик, – это он-с...

Панчуковский выждал, встретил Абдулку, сел наземь, велел к себе ближе подойти Абдулке и Самуйлику и сказал:

– Так как же, ребята? А нашему делу разве пропадать, а?

– Нашему-то? – спросил Абдулка, стирая с лица пот.

– Да.

– Ну, нашему и подавно, ваше высокоблагородие, не следует пропасть! Полагать должно, что и нам не придется зевать.

Полковник достал из коляски припасенную флягу водки, дал кучеру и слуге по стакану, дал им закусить из собственного складня, выпил сам и закурил сигару.

Лошадям дали вздохнуть, попасли их с час на траве. Полковник лег на разостланном коврике и думал: «Вот край! вот места, эта Новороссия! рассказать бы о них нашим питерским! О, какое раздолье во всем! Что за ночь, какие чудные таинственные романы она здесь покрывает?»

Панчуковский велел готовиться в путь. Лошадей опять запрягли. Он сел в коляску, а Абдулка поехал за ним верхом. Всю дорогу говорили они шепотом, ехали шагом.

Ночь между тем будто еще более стемнела. В первый раз уже прокричали петухи. Месяц в то время показывался только перед самым утром. На дворе отца Павладия все было спокойно. Тетка Горпина крепко спала в сенях кухни, оглашая их изредка храпом. Оксана

нарочно ее положила спать на пороге, у выхода из сеней на крыльцо, а дитя Горпины положила в кухне. Самой Оксане долго не спалось, как она ни мостилась для этого. Уж она передумала с полкороба и о Харько, и о том, что ОН обещался явиться вскоре после Троицына дня. Перекидывала она в мыслях картины ожидаемой своей свадьбы: как она оденется, как пойдет в церковь, как на нее люди будут смотреть, а ей жутко, и весело, и страшно. «Что, как бы Левенчук пришел в эту самую ночь?.. – неожиданно подумала она, – вот бы до смерти обрадовал, и эти страхи прошли бы сейчас! Да что я, в самом деле, какая-таки я дура! Где ему теперь шляться по ночам; он на неводах...»

Оксана с этою мыслью повернулась к стене, сжала глаза и решилась окончательно заснуть, как в сенях скрипнула половица. «То, верно, тетка Горпина проснулась и ищет воды с похмелья напиться!» – решила она. Шаги опять раздались уже под окном, и после кто-то взялся за ручку двери, подумал, что она, верно, заперта снутри, и затих... «Левенчук!» – мысленно решила Оксана и быстро в

восторге вскочила с постели. Ей стало вместе и страшно, и радостно. Озноб пробежал по ее спине. Дыхание замерло. Она в одной рубашке подбежала к окну: как ни темно еще было на дворе, но в сумерках ей показалось, что какие-то две тени прошли по двору. Мысль о возвращении дьячка и отца Павладия, а потом вдруг о ворах мигом блеснула в ее голове. Как была, раздетая, она кинулась за печь, постояла, вся дрожа от испуга, а потом стала наскоро одеваться. Что, как придут и зажгут огонь, а она раздетая! «И кто бы это был? Как спокойно ходит по двору! Верно, батюшка, да сердитый приехал! Достанется и мне теперь!» Наскоро накинула она юбку, стала повязывать вокруг головы косы и в ужасе ахнула. Дверь быстро отворилась, и с зажженной восковой свечою в кухню вошли бледный и взволнованный Панчуковский и сияющий Абдулка. Оксана сразу не успела осознать всей опасности своего положения; но в первый же миг узнала и свечу, взятую у киота в комнатах отца Павладия, и вспомнила, что даже спички там на столике лежали. «А где же тетка Горпина?» – подумала она, глупо за-

пахивая рубаху и прижавшись за притолок печи. Но свечу вошедшие сейчас задули, едва окинув глазами кухню.

– Что вам? – тихо спросила Оксана из-за угла печи, не зная в лицо пришедших и слыша, что они к ней идут.

Ее мигом впотьмах схватили две крепкие руки и стали вязать. Она крикнула сперва: «Тетка! тетка Горпина! – силясь отбиться, но вслед затем крикнула громче, по местному обычаю: – Кто в бога верует, рягуйте!» Недолго с нею боролись полковник и Абдулка. Они завязали ей рот, и стянули вожжою ей ноги и руки, и бережно, тихо перешагнув через тетку Горпину, понесли ее двором через плетень и церковною оградой и лощиной оврага вышли к пруду и к роще. «Это удивительно! – думал Панчуковский, неся Оксану и передавая ее Самуйлику, – как спокойно и беспрепятственно унесли мы эту драгоценность отца Павладия! И арбузов по ночам с бакши так счастливо не воруют тут ребятишки!»

– Вот же вам, ребята, пока по червонцу; а доставим до места, будет еще по два! – сказал полковник, уложив в коляску Оксану, и

сам стал моститься к ней. Вопреки Шутовкину, дрожавшему при покраже своей красавицы, полковник был совершенно спокоен.

– А старуху, ваше высокоблагородие, ослобонить? – спросил Абдулка.

– Развяжи ее, освободи!

Абдулка сбегал обратно во двор отца Павладия, обошел снова все комнаты священника, поставил на место к киоту свечу, запер все двери, снял веревку с ног и с рук тетки Горпины, не чувствовавшей с похмелья ничего бывшего в ту ночь с нею, перешагнул опять через нее и снова побежал к коляске.

– Что ты так долго был там?

– Жаль было веревки; это, ваше высокоблагородие, на нее с новых постромок захватил!

Коляска, подхваченная быстрою четвернею, понеслась легче ветра. Теперь обычай полковника ездить не иначе как вскачь особенно пригодился.

– А мне куда? – спросил, провожая барина, Абдулка.

– Ты ступай домой. Да смотри, молчи обо всем!

– Слушаю-с, будьте спокойны.

История вышла громкая, но ее драма завершилась еще неожиданным отступлением. Толпа подпивших у раKITника парней погналась, по слуху, за колокольчиками, отбивать похищенную колонистку. На дальнем перекрестке у мостка, над дрянною мочажинкою, поросшею вербами, парни наскочили на какого-то верхового. Крики: «Бей, бей! души их, лови!» – его испугали. Он притих на седле и вздумал было ускакать в сторону, от мостка к вербам. «А, сюда! вот он! держи его!» – заорала толпа, и пойманный ею верховой был стащен с лошади. «Кто ты? где она? где вы ее девали?» – горланили парни. Почтенный друг Вебера, арендатор Адам Адамыч Швабер (это был он) трухнул не на шутку. Он ехал также с тайного свиданья, от одной молочанской вдовы из раскольников, бережно хранимой им от своей супруги и от всех, и теперь испугался вдвойне и того, что его окружила толпа пьяных, и того, что могли открыть его похождения. Он стал запираяться, что ничего не знает и не видел.

– Да что его слушать! Бей его! Розог сюда,

розог! – гаркнула пьяная толпа. С почтенного отца семейства стащили зеленую куртку, сбросили с него шляпу, положили его на траву и всыпали ему сотню вербовых, да таких, что лучше бы и не вспоминать этого.

– Ну, теперь, дядюшка, ступай и не поминай нас лихом! Может, и не ты, а все-таки поделом!

Изумленный, огорченный и до смерти напуганный Швабер остался один, оделся, с трудом снова взлез на коня, едва добрался до своего домика, охая, вошел в комнаты и лег спать в кабинете вместо спальни. До утра он проплакал и мысленно ругался на все лады. Но событие той ночи он положил скрыть от всех и скрыл, как серьезный и честный немец.

Купец Шутовкин, поместив свою Дульцинею на салотопенном заводе, в пустой хате, под стражей двух верных слуг, до того забылся в своем счастье, что, несмотря на детей, стал к ней ездить явно, среди бела дня, проводя у ней целые сутки и дрожа над ее белым молодым телом, как ревнивый турок. Он за-

был и детей своих, и пересуды всего околотка. Скандал вышел в окружности общий, небывалый. Все костили грязного сластолюбца на чем свет стоял. Процеживали сквозь сотни сит каждую весточку о его переездах к ней, о том, как через какой-то неглубокий ручеек он по ночам пробирался к своей красавице, несмотря на собственную тучность, на особо устроенных ходулях; какие ей давал имена, как вел себя у нее. Это все уже мигом узнали пытливые умы. Только, как обо всем обычном, об этом также говорили недолго. Прошла молва, что болгары той колонии, откуда была эта девушка, ходили жаловаться в стан, а потом в суд; ходили и к самому купцу, – но кошелек точно произвел свое: утомонился и становой, и суд, и грозные обруселые болгары, и сама похищенная. Через три недели она свободно уселась в фургон Мосея Ильича и открыто переехала к нему в дом, на новое диво всех новороссийских его соседей, детей и их учителя, студента Михайлова.

Зато с Оксаной была другая история. Оксана как в воду канула. Прискакали на другой день без памяти отец Павладий и дьячок; они

все узнали еще дорогою и накинулись на дьячиху.

– Где Оксана?

– Не знаю; так и так, попритчилось.

Дьячок схватил старую Горпину за седые косы и стал бить ее и мотать по хате. Священник обезумел от горя.

– Что ж делать! Бейте, не бейте, а я не знаю; пропала моя душа! – стонала под жестокими ударами дьячиха Горпина.

– Да где же ты была, подлец баба? где была? – допытывал дьячок.

– Что же! напоили люди, солдаты какие-то у пруда... Я была с нею там, а после заснула в сенях, а тут и попритчилось.

– А! солдаты у пруда! Иди же сюда... – Дьяк запер жену в чулан, пытал, но ничего не открыл. Не мог ничего открыть и отец Павладий...

«Ту, положим, украл купец; а эту? Панчуковский? Так нет же; он еще с утра уехал за Дон».

Так думал священник.

И точно, самого Панчуковского во время пропажи Оксаны дома не было. Это знали все.

Через три дня он воротился из-под Ростова, где его видели все, как он там был и спокойно торговался о степи. Шульцвейн уступил, Панчуковский надбавил большую цену и взял у владельцев степь себе.

Куда же помчалась коляска полковника в конце ночи, огласившей тихие и уединенные берега Мертвой двумя похищениями? Очень просто: Панчуковский увез свою пленницу на арендуемую им у одной донской помещицы землю, оставил ее там под надзором Самуйка, а сам с другим батраком, сторожившим его уединенную пустку (хижинку между двумя овчарскими загонами и чабанской хатой), поспешил на торги. Оксана была спрятана за перегородкой. В ожидании барина, услужливый Лепорелло предлагал ей есть и пить, но она упорно от всего отказалась и ничком на кровати пролежала до вечера. Под вечер полковника обратно примчала бойкая четверня. За повозкой ехал и знакомый фургон Шульцвейна; но его хозяин сидел в коляске с Панчуковским и с ним вошел в пустку, продолжая по-немецки разговор и спор о перебитой у него аренде. Оксана слышала все из-за пере-

городки и не решалась отозваться. Она считала гостя за приятеля своего похитителя и не знала, что этот самый гость первый ему когда-то сказал о ней и первый любовался воспитанницей отца Павладия. Посидел немного Шульцвейн, понюхал табачку, спросил еще раз со вздохом: «Так вы не отдадите мне этой степи и за отступное?» – получил отказ и взялся за шапку.

– Вы слышали, – спросил колонист, выходя на крыльцо и продолжая речь по-немецки, – вы слышали, – там на торгах, как вы уже ушли к хозяевам, приехал купчик с Мертвой и привез известие – странное известие – о похищении сегодняшнею ночью двух девушек, возле рожи вашего соседа, священника, и будто одна из похищенных та самая воспитанница священника, о которой я вам когда-то, помните, говорил?

– Нет, не слыхал! – ответил полковник, бережно запирая за собою двери.

– Жаль, – сказал, уезжая, Шульцвейн, – таких господ – это, наверное, наши помещики либо офицеры – горожане, – их бы давно пора остановить... Это скверно, подло! Прощайте!

Напишите мне, кто это.

– Прощайте! с удовольствием!

Колонист уехал. Панчуковский отослал людей на овчарню, вышел, осмотрел кругом свою пустку, вошел туда обратно, запер за собою двери, постоял в сенях и тихо ступил за перегородку. Оксана сидела, опустя голову на связанные руки.

Между тем пора, назначенная Левенчуком для последнего выкупа Оксаны, давно прошла. Отец Павладий ходил по комнате, заложив назад руки, выглядывал в степь, подходил к байраку, к пруду: «Вот здесь она белье мыла, тут часто шила, птицу стерегла. Ах, подлец же, подлец Панчуковский! что выкинул! Это он, он! больше некому. Зверь-кровопийца, и по-звериному запропастил ее без следа!» – так думал отец Павладий, и сердце уже не манило его по обычаю пойти запереться в спальне, перебирать и считать депозитки новых барышей. Зато же он наседавал на литературу. По целым дням читал новые московские и петербургские журналы, а на книгу «Сельское духовенство в России» стал даже разбор писать, охая, сопя и не зная, где лучше

выбрать студеное местечко в доме для работы. А кругом наступала последняя знойная, душная пора уборки хлебов.

Раз привез попу дьячок из города почту. Он кинулся прежде на газеты, единственную роскошь своего пустынного и глухого степного быта.

– Боже, опять публикация о беглых! Эк их сколько! Когда-то этому конец будет?

И он стал читать, наскоро разрывая пакеты херсонских, таврических, донских и прочих местных ведомостей.

– Послушай, Фендрихов, – говорил он дьячку, степенно стоявшему у дверей, – вот что пишут. Дай-ка платок носовой... Да трубочку набей... за табаком надо съездить... Слушай, вон в таврических пишут: «Оное же правление извещает, бежал в третий раз, четыре года назад, Макарославской губернии, Южно-байрацкого уезда, дворовый человек помещика Студныченко, Василий Милороденко, он же по прозвищам в бегах: Александр Дамский и Аксен Шкатулкин. Бежал он, обвиняемый в сообществе с нахичеванскими армянами, де-

лавшими фальшивые ассигнации, и в подделке для придонских пристаней, беглым же людям всякого звания, паспортов. Приметы ему: нос, рот, подбородок и уши умеренные, глаза карие, волосы и усы темно-русые. Особых примет не имеется. Говорит хорошо по-русски, веселого нрава, вежлив и выдает себя иногда за человека высшего круга; более нанимается в лакеи и в приказчики, а в часы загула ходит по шинкам и сборищам с бубном, играя на нем за деньги. Почему оное правление, ведя дело о паспортах и фальшивых ассигнациях, нашедшему или указавшему его, обещает дать приличное вознаграждение и покорнейше просит все подлежащие присутственные места не оставить...» и проч.

– А? Фендрихов! слышишь?

– Слышу-с, ваше преподобие! Подло-с.

– Ведь это тот самый Милороденко, друг Левенчука, что и у нас на подцерковной два года назад косил? Как ты думаешь?

– Тот-с; я его еще с двора прогнал тогда: к нашей Оксане еще, безобразный человек, тогда подбирался, ваше преподобие...

– Эх, Оксана, Оксана!.. Да ты слышишь –

фальшивые ассигнации делал и паспорта... А это ведь каторгой пахнет! А кажется, и хороший человек. Повторяю тебе, Левенчук ему еще и приятель; он сказывал, что этот Милороденко на дворянке будто был где-то женат... Да где-то, Фендрихов, и Левенчук теперь?

Дьячок вздохнул.

– Да-с, срок-с подходит! на днях, полагать должно, он вынырнет где-нибудь, Оксану потребует либо деньги, выкуп назад.

– Что деньги! Не в деньгах дело! не их, братец ты мой, жаль! Жаль парня; хороший человек! Ведь голову потеряет, руки на себя наложит, узнал уж я его, что за человек! Как он надежды эти строил – поселиться за Кубанью или в Бессарабии хотел, а уж Оксану-то любил он, любил... Подло, Фендрихов, Панчуковский поступил! Не убоился таганрогской истории!

– Подло-с; распреподлеющий и развратный человек, и только-с. Сказано, смерд собачий, а не люд божий! Я бы ему голодному в голод али прозябшему в мороз, в метель, хлеба, места теплого не дал, я бы ему больному...

В это время в сенях скрипнули двери. Дья-

чок насторожил уши, шмыгнул туда, посмотрел, вошел в сени, поговорил с кем-то и явился в комнату смущенный.

– Ваше преподобие! там от этого самого Панчуковского-с, от полковника, приехали! – И такова сила богатого человека в свете: как ни бранили полковника эти люди, а появился простой посланный от него, и они потерялись.

Отец Павладий засуетился, оправился, даже прежде надел подрясник и вышел к приехавшему. Сначала он смешался, увидя, что это лакей.

– Что тебе, любезный? – спросил радушно отец Павладий, не поднимая глаз на посланного.

– Полковник прислали просить газет, что вы получаете, на день только, говорят, от скуки почитать! – ответил Абдулка (это был он).

Священник задумался. «Странно! – подумал он, – до сих пор ни разу не просил, или он прикидывается, чтоб показать, что совесть чиста, или, в самом деле, не он украл Оксану? Так где же она и кто ее украл?..»

Он вынул платок, сам не зная для чего, по-

вертел его, высморкался.

– Так ты говоришь, что ему нужны газеты?

– Точно так-с.

Отвечая это, Абдулка бойко поглядывал по сторонам, как бы обнюхивая, в каком положении находятся стены здесь с тех пор, как он тут свободно ходил и ставил обратно свечку.

Священник вертел в руках платок.

– Это ему читать?

– Читать-с.

– Стало, он дома? Это скучает он, значит?

– Дома-с.

– Он что делает?

– Известное дело, барин! Больше пишут-с, лежат на диване или приказы отдают, либо курят... У нас тоже гости бывают.

– Кто же?

– Господа Небольцевы, немец Шульцвейн опять насчет степи наезжал...

– А он ездит куда?

– Как не ездить! В поле ездят на работу; так куда-нибудь, в гости...

Священник обратился к дьячку, у которого рот, с приездом Абдулки, как открылся, так и остался.

– Газеты, Фендрихов, на столе лежат?

– На столе.

– Все там лежат?

– Все.

– Ну, так ты ему это дай; а ты, видишь ли, любезный, полковнику кланяйся и скажи ему от меня... слышишь? от меня скажи: очень рад, да чтоб только листочков там не помяли.

– Будьте покойны-с.

– А косари почему? – нежданно и уже без всякой причины брякнул старик.

– По трехрублевику-с в день и по порции.

– Ай, батюшки! вот ломают! Ну, да я по трехрублевику не достану, где нам!

Посланный уехал. Священник вошел в комнату, стал перед дьячком, отер крупный пот с лица и расставил руки, а потом ударил себя по лбу:

– Вот опростоволосился! И чего я так его почтил? Что, брат Фендрихов, а? Каков тузище?..

Дьячок махнул рукой и зарычал:

– Голодному ли, в мороз ли, больному ли, а я бы ему отказал! Развратник, антихрист! Это он, другому некому, я уж знаю! Эк! анафема!

И еще за газетами к нам же... Тьфу! и сраму им нет.

Газеты полковнику отвезены, но он их бросил, не читав и, следовательно, не имел случая узнать, кого разыскивают из новых беглых, за чем он прежде всегда следил, между прочим. Когда священник получил обратно газеты, он заметил, что полковник их вовсе не читал. Они были в том же положении, как сложил он их, отправляя.

«Странно! – подумал священник, – так и есть, он их брал, чтоб только вид показать, что его совесть против меня чиста. Но с беглыми как бы он теперь не попался...»

VIII

Пленница

Между тем как Мосей Ильич Шутовкин, поручив своих детей Михайлову, с незапамятным порывом отдался поздним опытам любви и плотоядно увеселялся в компании своей красавицы, а Михайлов, предоставляя малым птенцам клевать не одни зерна науки, но и всякие другие зерна, благодушно аферировал с мелкими окрестными торгашами, – в это время буквально никто в околотке не

знал, куда делась вторая красавица. Таковы уже степи. Кто украл, догадывались сначала немногие; но потом и эти бросили свои догадки и почти перестали вовсе судить о них. Да и не к тому повернулись в ту пору общие толки и мысли. В это время подходила жатва пшеницы; пшеница начинала уже осыпаться, все хваталось за серпы и косы, а между тем носились тревожные слухи о саранче, что будто где-то, не то с Дону, не то из Крыма, она летела и близилась. С трепетом поглядывал Панчуковский на свой громадный рискованный тысячадесятилетний посев пшеницы. Он частенько показывался на балконе верхнего яруса своего дома и, куря душистую кабанас или фужентес, всматривался в далеко волнующиеся сухим шорохом хлебные нивы.

– По чем у вас в конторе объявлена цена за съемку десятины пшеницы? – подобострастно спрашивали полковника мелкие соседи его, из небогатых дворянчиков.

– Дорого-с, – говорил, надменно подшучивая, новороссийский янки, – по девяти целковых за десятину, скосить только и сложить в копны! Осточертела мне совсем эта пшеница

своими анафемскими расходами!

– А! по девяти целковых за одно это? вот сказать бы это в Питере!

Соседи ухмылялись улыбочками голодных собак, но втайне трепетали, что им надо будет тоже платить.

Но где же Оксана? Куда запрятал ее Панчуковский с той поры, как ее завез было на свой хутор, под Ростовом? Никто этого не знал и не ведал.

Знали соседи, что точно полковник ездил в день пропажи Оксаны на торги, был там с Шульцвейном и через три дня воротился. Стал он потом ездить всюду, по-прежнему разговорчивый, степенный, веселый и вместе серьезный, пленяя всех своим нарядом, обращением, прической и даже щегольскими ногтями. Глянет, по отъезде его, на свои лапищи и на навозоподобные ногти какой-нибудь Вебер или Швабер, или сосед-плантатор из русских же, рассмеется и плюнет на пол, не мятенный уже две недели по поводу полевых работ.

– И когда у этих господ, – замечает иной из них, – времени станет еще на такое продо-

вольствие ручек и ногтей! Тут некогда иной раз головы вычесать, бороды побрить; рубаху одну по неделям в степи таскаешь, так что после жена и в спальню к себе не подпускает! А он? Это непостижимо! и дела как будто идут еще лучше нашего! Вон и Шульцвейна, говорят, осилил... непостижимо!

«Сказать бы опять, что полковник, если бы похитил точно девушку, – думали иногда соседи, – то ворота бы затворял в свое жилище, а то нет: всякий входит туда и выходит оттуда свободно!»

Стены действительно были высоко выведены, не влезешь без порядочной лестницы на них ни снутри, ни снаружи. На воротах висели огромные замки. Снутри они еще запирались прежде на ночь на железные засовы, а теперь стояли постоянно настежь. В кухонный флигель, единственное здание, кроме конюшни, внутри главного двора (остальные здания: рабочие, кузница, овчарни, скотные сараи и ток были за двором в полуверсте), также всем позволялось ходить. В самом доме, наконец, внизу и вверху, окна были, как всегда, не закрыты ставнями. В нижних ок-

нах, под полуопущенными белыми жалюзи, отороченными алыми фестонами, часто показывалась красивая русая голова владельца. Слуга, повар, кучер и приказчики отдельных частей, являясь из кухни и из задворных строений, так же свободно входили в дом за приказаниями и по делам домашнего обихода. Однажды только в это время полковника сильно огорчили некоторым громовым известием. На степь, перебитую им для своих овечьих стад у Шульцвейна на торгах, налетела с Кубани саранча и в два дня съела все камыши и травы. «Оборвалось! – сказал Панчуковский, – ну, да зато же немца в пыль стоптал!» И стада, вышедшие было из его хуторов на новые приволья, возвратились снова назад. Зато домашнее счастье выкупало теперь всякие потери, да и ожидался сбор с баснословного в крае посева пшеницы. «Сто тысяч дохода за глаза! – думал полковник, – за глаза!» Часто под вечер, высунувшись из окна кабинета в тень на воздух, когда солнце уже переливало за другую часть красивого двухэтажного дома, кидал он на двор просо и кормил из своих рук голландок, кохинхинок, хох-

латых разнородных кур собственного завода или сманивал к крыльцу, швыряя гарнцем крупы, целые стаи голубей, водившихся на крыше каменной конюшни. Голуби кружились, садились по двору стадами или, насытившись у крылечка, вились над большими тополями, осенявшими дом до верхушек окон второго этажа, полузакрытого ими. Ходила возле кур и голубей, ухмыляясь в счастье и в гордости хозяйки, одна подслеповатая бабтрачка, шестидесятилетняя добродушная карга, Домаха, также из беглых. В бегах она пребывала уже более сорока лет, мыкалась во многих местах и была рада, что сперва пристроилась в Новой Диканьке кухаркою нанятых рабочих, потом коровницей и, наконец, птичницей. Домаха была совершенно седая и даже с седыми кустоватыми бровями, отменно шедшими к ее темно-оливковому, южному морщинистому лицу. Она постоянно где-нибудь смиренно копалась, отличалась мягкостью нрава и голоса, исполняла молча все, что ей давали, заменяла и огородницу, и водноса, и дворника. Хотя теперь у полковника во дворе, в отличных деревянных конурах со-

держались на цепи два злейших цербера, но полковник, поглядывая иногда на них и на Домаху, шутливо думал: «Нельзя ли уволить и собак, и их должность также поручить Домахе? Она, верно, и лаяла бы с усердием по ночам!»

Итак, следов пребывания Оксаны у Панчуковского не оказывалось.

– У! проклятое бурлачье! оно горой за него стоит! – говорили мелкие соседи, изредка еще толкуя о лихой дворне полковника, – точно вертеп Синей Бороды! Что попадет туда, пиши пропало: как в воду канет. То пробавлялся захожими по воле красавицами, из окольных, а тут уж, как черкес, воровать живьем стал... Шутовкин тоже украл, да не прячется; а этот еще хитрит!

Являлись даже нарочитые соглядатаи к полковнику. Приезжали, между прочим, брат Небольцев, естественная дрянь, сплетник, слабохарактерный подслеповатый игрок и гаденький мот, в долгах, как в паутине, с целью будто бы купить браковых овец у полковника, а собственно поглазеть и понюхать, не спрятана ли где-нибудь в Новой Диканьке по-

хищенная воспитанница отца Павладия. Его приняли очень сухо, но вежливо, и он уехал, ничего не открыв. Являлись в Новую Диканьку, будто мимоездом, из Святодухова Кута и дьячок, и сам отец Павладий. Даже губернатор, говорят, прислал полковнику при энергической ноте, для сведения и ответа, безымянный донос о передержательстве беглых крестьянок и «неизвестно куда пропавшей воспитанницы священника Павладия Поморского». Панчуковский мастер был отписываться; ответил губернатору резко и умно, а вместе с тем частно послал исправнику три ящика отличных дорогих сигар. Но не мог полковник не обидеться на выходки соседей из более порядочного круга.

– Господа, довольно! – говорил он в одной компании, играя в банк третьи сутки, – всякая шутка должна иметь свой конец. Я прошу вас больше не упоминать при мне об этой истории. Она обижает и меня, и мой чин, и мое положение в свете. Я уже вышел из поры дюжинного волокитства... Я, господа, не черкес и не юнкер, а Владимир Алексеевич Панчуковский!

Если бы кто захотел, однако же, подлинно узнать о судьбе Оксаны, тому стоило только обратиться с вопросами к старому «чабану» на арендном хуторе полковника. В день, когда Панчуковский, проводив после торгов с хутора колониста, вошел за перегородку своей пустки, чабан к вечеру услышал невыразимые крики. Чей-то сперва сильный и громкий, потом тихий и слабый голос молил о пощаде...

Старый чабан, больной и дряхлый человек, а некогда музыкант, вторая скрипка какого-то князя, из беглых, собирался уже богу молиться после ужина и ложиться спать, как наконец обратил внимание на эти крики. Он вышел из своей хаты, постоял, послушал, и давно замершее сердце с силой застучало в его груди. Он сходил к овцам, воротился, крики стали смолкать. Кучер барина и другой батрак, наделенные, по обещанию, суммой на выпивку, весело ушли в овраг с квартою водки, привезенной с торгов. Старик стоял один. «Не мне, видно, старому забродчику, – подумал он, – не мне одному не было счастья на

свете! То еще чья-то доля пропадает, коли не пропала!» Сел, уронил седую голову на колени и заплакал. А ночь была так же восхитительна, и по-прежнему чудные, таинственные, обворожительные шорохи носились в воздухе окольных степей...

К ночи крики и голоса в пустке смолкли. А наутро полковник вышел веселый, как-то богатырски смелый, дал ближайшей прислуге опять на магарыч, Самуйлика оставил, а с батраком уехал. Немного погодя наехал в эту неотвечную глушь, четверней в карете, будто барина привез, один Абдулка, побыл тут часа с три и к вечеру выехал. В карете окна были завешены. Чабан это видел с поля. «Не наше дело! – думал он, – не наше!» И тихо допасал свое стадо, тыкая палкою в траву, и, соображая, повторял, по обычаю, со скуки, счет прожитых им горемычных годов.

Полковник отлично устроился. Пленница его долго не смирялась, но потом, так же как и все на свете, смирилась. Кого не проберет железный коготь неволи и заточения? Ее поместили в уединенной комнатке дома Новой

Диканьки, на мезонине. Разумеется, за нею ходила баба Домаха, и как кормила собак на привязи и кур по двору, с таким же молчаливым добродушием хлопотала она и возле убивавшейся господской пленницы.

– Что ты, мое сердце, стонешь все? глянь: вон тебе ленты новые купили, кофту суконную, юбки пошили! Чего плакать? И-и! в наши годы мы не то сносили! – говорила иной раз Домаха, взбираясь на вышку к Оксане.

– Душно, бабо! нельзя тут быть под этою крышею! От железа пар такой, духота как в бане, и это с утра до ночи, целую ночь мечешься! Хоть бы посвежее...

– Так зачем же ты противишься, неласкова к нему? Тебя и держит под замком. А то пошла бы себе уточкою по свободе.

Оксана отмалчивалась и только плакала.

– Да вы, бабо, хоть окошко мне отворите!

– Слуховое? Другого нет.

– Да хоть слуховое, для воздуху.

– Эге! А как выскочишь с крыши да сдуру еще расшибешься? На то оно и забито у нас железом, тут прежде панская казна, сказывають, была. Около двери и сундук стоял.

– Куда мне разбиваться и скакать с крыши! Пропала уж теперь совсем моя голова; куда мне идти? все от меня откажутся; и то я была сирота, а теперь чем стала?

Домаха качала головой.

– Сердце мое, сердце, одумайся! На что оно-то, что ты говоришь! Пан у нас добрый; побудь с ним годок-другой, он тебя в золото оденет. Вон и я была молода, наш барин сперва меня было отличил, а там и до дочек моих добрался. Так что ж? Поплакала, да и замолчала! Сказано, переможется...

– А зачем же вы, бабо, бежали да уж столько лет тут мыкаетесь в бурлаках, на чужбине?

– Э! про то уж я знаю!.. Видишь, сердце, скажу я тебе, пожалуй: я пана нашего любила и во всем ему была покорна; да пани наша старая меня допекла, как помер он, – от нее я и бежала... Я и бежала, сердце!

– Бабо, бабо! жгите меня лучше на угольях, ставьте на стекла битые, только дайте мне домой воротиться, дайте там с горя моего помереть!

– Да ты же сирота, беглая, Оксана! куда тебе идти?

– Я про то уж знаю, бабо! Попросите барина, чтоб пустил меня; будет уж мне тут мучиться... будет!

– Не можно, Оксана, не можно, и пустые ты речи говоришь! а когда хочешь, вот тебе нитки и иголки, шей себе рубашки, ишь какого холста барин купил! голландского...

Домаха еще постояла, покачала головой и тихо ушла, недоумевая, как это, среди такой холи и роскоши, такая непокорность. Оксана плакала и, пока было светло, принималась без всякого сознания шить, что ей давали. Она, ноя от тоски, думала о священнике, о привольной роце, о раakitнике; дитя Горпины мысленно качала... А Левенчук?

Перед захождением солнца Домаха несла ей ужинать всяких яств и питий вволю. Ничего не ела Оксана. «Левенчук, Левенчук! где ты?» – шептала она... Сумерки сгущались, месяц вырезывался перед слуховым окном, ступеньки по лестнице наверх скрипели под знакомыми шагами, и дверь в вышку Оксаны отворялась... «Это он!» – подумает Оксана, задрожав всем телом, и кинется в угол каморки. Как бы хотела она в ту минуту нож в ру-

как держать!..

Несмотря на темноту, легко, однако, отыскивается и ее угол, и она сама. Глухая и пустынная окрестная степь и темная-темная ночь не слышат ничего, что делается и кроется в этом каменном доме, за эту высокую оградой.

К рассвету Владимир Алексеевич выходил опять на площадку лестницы, будил ногой спавшую у порога заветных дверей верную дуэнью Домаху, приказывал ей пуще глаза беречь пленницу и сходил вниз. Внизу же иногда его покорно ждали те же услужливые Лепорелло: Абдулка или Самуйлик. «Ну, – думает Домаха, – барин теперь остепенился – одну знает!» А Владимир Алексеевич, нередко в ту же ночь до утра, скакал с ними верхом на другое свиданье, в какой-нибудь уединенный казацкий или колонистский хутор, где ожидали его новые, путем долгих исканий купленные ласки чернобровой Катри, Одарки или голубоокой немецкой Каролинхен. Оксана не знала, что и прибрать в голову, когда он уходил от нее. Только сердце усиленно билось в ее груди, как у перепела, нежданно пе-

ремещенного с привольных диких нив, из пахучих гречих или прос в тесную плетеную клетку: сколько ни мечись, сколько ни стукай в сети глупую разбитую головою, не вырвешься, не порхнешь опять на вольную волю!

Были последние дни июля.

День клонился к вечеру. По полю без оглядки и без дороги спешил куда-то напрямик рослый, дюжий, загорелый и страшно запыленный парень в синем мещанском жилете, в новой черной свитке и в серой барашковой шапке. Он изредка останавливался у косарских артелей, подходил, что-то порывисто спрашивал и поспешно уходил снова далее. При повороте на Святодухов Кут он остановился, как бы в раздумье, идти ли туда, или взять в сторону? Пошел было мимо, но одумался, махнул рукой и своротил опять туда. Отец Павладий столкнулся с ним у церковной ограды, идя зачем-то с ключами в церковь.

– Левенчук! Откуда?

– Я, батюшка...

Священник опомнился и более не спраши-

вал! Он молча пошел обратно в дом. Левенчук пошел за ним.

– Ну, вижу я, – начал, запыхавшись, священник, сев дома на крыльцо, – вижу, что ты, Харько, все знаешь!

– Знаю, батюшка!

– Где же ты это так долго был?

– Болен был, на пристани; чуть не умер.

– Да, ты похудел!..

В эти четыре долгие недели Левенчук точно похудел, но в то же время возмужал, будто вырос еще более и, загорев и покрасневшись от дороги, похорошел. Волосы скобкой, стриженные усы стали виднее: молодец молодцом.

– Что это в котомке у тебя? Где это ты так принарядился?

– Это подарки невесте и вам, батюшка! Да и как было не нарядиться, дожидаясь такого дня? Работы было вдоволь на пристанях, и выкуп готов – да невеста, должно стать, не готова, батюшка! А я-то и хатку уж себе сторговал на Поморье, тихим трудом замыслил жить с нею...

Священник замотал головою, всхлипывая и смотря на Харько в испуге и в смущении.

– Убью, батюшка! – сказал неожиданно Левенчук, ударивши котомкой оземь, – убью его, зарежу, как собаку!

Глаза его сверкали. Лицо побелело.

– А потом что будет? – спросил священник, сам не зная, что отвечать на эту угрозу.

– Что вам, батюшка, каяться, как на духу? – спросил в свой черед Левенчук.

– Говори, как на духу!

– Ну, я подожду полковника, запалю его со всех концов, клуню, овчарню, все зажгу, убью его и на себя руки наложу. Вот что!

Священник прошелся по комнате.

– Ах ты, душегуб, душегуб, Харько!

– Я-то душегуб? Нет, не я, а он! Да что мне теперь, ну? Думал, в бегах счастье найду... И тут его прежде нас, дураков, забрали! Дураки мы, – вот что, батюшка! Право, дураки. Теперь я уж понял! Не то нам следует делать, вот что!

Священник встал, взял за полу Левенчука, повел его в спальню, разложил святой покров на столе, под образами, раскрыл на нем Евангелие и сказал:

– Беру с тебя присягу, Харитон: поклянись мне, что ничего того не сделаешь, на что по-

вернулся нечестивый твой язык! Клянись, Харько! Я этого не попусти!

– Не буду я клясться, батюшка! Не буду!

– Клянись, Харько, клянись скорее, дурацкая твоя душа, а то донесу! ей-богу, донесу!

– Доносите, доносите! А мы на вас надеялись, как на отца родного; вы же нам, несчастным, беглым, советы давали, укрывали нас, кормили и обнадеживали нас...

– Я-то? Ах ты, глупец, дурак Харько! Когда я беглых держал? Да нет, ты не уйдешь от меня! Клянись, Харько! ты не понимаешь, что говоришь! Клянись! – повторял священник Левенчуку, указывая на святую книгу и сам между тем трухнув не на шутку. – Давай присягу, а то свяжу тебя и донесу...

Левенчук подошел.

– Так слушайте же, батюшка: вот что будет теперь. Бежал я с неводом от моря, как весть о пропаже Оксаны дошла туда с людьми. Поверите ли – все жалели, как я опрометью побежал оттуда! По пути, на перекрестках, на мостах, у переправ, везде жалели. Народ зашумел, грозитя, волнуется, – так мне ли терпеть? Два дня я бежал да вчера без души и

упал в какой-то лощинке. Чабаны веберовские меня нашли, в корчму перенесли. Меня оттирали, кровь бросил один жидок... Вон рука моя еще и теперь перевязана; истомился я, а все-таки добежал до Ананьевки, а после до Андросовки. «Что, спрашиваю у людей, правда ли это?» – «Правда, отвечают, и все жалеют и там да на полковника указуют, – что греха не хотим брать на душу, некому больше! Это уж как змей лютый, как волк; кто попадет, съест наверно!» Так-то, батюшка, говорят про него люди.

Священник смотрел на него исподлобья. Он его и жалел, вместе и боялся.

– Так я уж, батюшка, вот теперь как надумал: пойду его просить: может, я его умолю, а может, не умолю, в ногах валяться буду! Не даст – не гневайтесь, батюшка... зарок свой я порешу...

Слезы бежали на подстриженные усы Харько.

Губы его тихо вздрагивали. Глаза тоскливо следили за священником. Священника передернуло, он взглянул в окно, закрыл книгу и сказал:

– Ну, коли так, так с богом; я надеюсь, что полковник отдаст тебе Оксану. Нет у меня тебе благословения на злое дело; пожалей и меня, мои старые-то годы! А я сам буду писать Панчуковскому... Авось он отдаст Оксану. Да берегись только! Видишь, вон, твоего же приятеля Милороденко отыскивают, не уцелеть ему – в каторгу сошлют, проклеймят, а все за его проделки! Вон и приметы его уже опубликованы. Так и с тобой тоже будет; берегись!

Священник сел, надел очки, с трудом написал письмо, открыл сундук, достал оттуда деньги и, заметя, что в комнате стояли уже в слезах дьячок и старая дьячиха, сказал:

– Вот тебе, Левенчук, это письмо; а вот и твои деньги; я грешен, я позарился на выкуп и задержал твое дело. Ну, да бог тебя благословит; достанешь ее – веди, обвенчаю и так; не достанешь ее – не хочу твоего добра! Фендрихов, эти деньги вычеркни из книги той, знаешь? Им уже у нас не быть, на церковь-то...

– Где быть, ваше преподобие! Деньги несчастные!

Левенчук торжественно поклонился в но-

ги попу, даже поклонился и дьячку с дьячихой, вышел за двери, и не успела взволнованная компания выбежать на косогор, где так часто Оксана выжидала с поморья Левенчука, как и след Харько пропал.

– Что будет, то будет! – решил священник, возвращаясь домой.

– Ничего не будет, чувствую! – отвечал, всхлипывая, дьячок.

Дьячок ревмя плакал.

Шел Левенчук час-другой; солнце уже начинало садиться. Туман пошел яром. Вышел он на косогор и ударил себя в голову: «И тут не везет, треклятая доля. С дороги, на семи шагах сбился! Где же это я?» И он стал смотреть.

Стемнело. Дикае гуси вверху неслись к западу, чуть шелестя над его головою. Семья дроф, испугнутых с ночлега, поднялась во ста шагах от него и побежала в сторону, мелькая между бурьянами. Ночные кузнечики трещали. Звезды зажигались. А в полуверсте огонек кто-то на ночь стал разводиться...

Пошел Левенчук на огонек. Подходит: купеческая телега с товарами стоит; два купца

на бурке лежат.

Лошади овес с оглобель из мешка едят, котелок каши варится на таганке. Поздоровался Левенчук с купцами, подсел к ним. Видят те, что он все вздыхает; выспрашивать стали. Рассказал все Левенчук, как от своей барыни бежал, как тут жил, как девку полюбил, и кто она такая, и как ее отца зарезали. Купцы переглянулись, стали живее его слушать. «Ну-ну, говори, миленький!» Все передал Левенчук об Оксане, что слышал от нее самой и от других, в том числе еще и от Милороденко, когда он впервые шел в эти места. «Куда же дели того зарезанного?» – спросил старший из купцов. «В Таганрог отвезли; там он и умер, полагать должно». Помолчали купцы, расспросили еще об Оксане, жалели о ней до крайности, советовали Харько обождать, не горячиться с хлопотами о ее спасении, направляли Левенчука с жалобой в суд и к градоначальнику и, наконец, посадив его силою с собою ужинать, объявили, что они сами торговцы, часто бывающие в азовских городах, торговали когда-то в Таганроге и в Севастополе, а теперь торгуют в Моршанске и что, если

бы когда-нибудь Левенчук захотел бросить здешнюю бродячую жизнь, они ему предлагают место. «Дарма, что ты беглый! видим мы, что ты за человек; отпиши только, и мы тебя вызовем. А писать так-то и туда-то. Да коли женишься на Аксютке-то, то и с хозяйкою своею приезжай! – заключили купцы. – А как твоего грабителя прозывают?» – «Панчуковский». – «Уж не он ли? – сказал один из купцов. – Верно, он и есть, барыня его у нас в городе чуть ли не проживает...» Усталый и истерзанный душою донельзя, Левенчук заснул под телегою, а купцы, долго еще лежа у костерка, поодаль от него и от своего возницы, толковали промеж собою, все повторяя: «Он и есть; некому больше! Скажем его барыне, а то она, сердечная, сколько лет его разыскивает»...

IX

Беглые расшались

Рано до света Харько вскочил, оглянулся. Купцов уже не было. Перекрестившись три раза на восход солнца, он сообразил свою дорогу и пошел по росистым еще сумеркам.

Щегольской домик Новой Диканьки выре-

зался перед ним, когда солнце стало уже всходить из-за красных кирпичных овчарен полковника.

Левенчук подошел к первой овчарне. Оттуда только что вышли овцы. Не найдя тут пастухов, он пошел к батрацким хатам. Из батраков кто умывался тут на дворе, кто богу молился у своего крыльца, земно кланяясь, а кто вел волов на водопой.

– Пан дома?

– Дома. А что тебе?

– В косари не нужно ли?

– А чего ж ты без косы?

– Бурлака, братцы!

– Так! Ну, иди же до конторщика. Там сегодня расчет за эту неделю.

«Воскресенье сегодня! а я и забыл!» – подумал Левенчук.

– Шинок у вас есть? – спросил он, усиливаясь быть развязным и веселым.

– Э, да ты, я вижу, хороший человек! Не угостишь ли?

– Можно. Где же тут у вас водка?

– Пойдем, пойдем! – ответил батрак, – откупщик тут всегда на косовичное время вы-

ставку становится. Он приятель барину! Вот и шинок наш!

Левенчук вошел в хатенку, где была временная выставка водки и где полковник обратно собирал по субботам большую часть денег, платимых рабочим в течение недели. Харько поставил новому знакомому полкварты.

– Рано немного, – сказал жид-шинкарь, – да хорошим людям можно!

Слово за словом, Левенчук узнал нравы барского двора – и когда барин встает, где его видеть можно, кто у него в дворне.

– Ты только крепись, – говорил хмелевший товарищ, – требуй хозяйскую косу и полтину серебром в день! Требуй – дадут.

– Ну, братику, а девка та, – спросил Левенчук, усиленно переводя дыхание, – та... знаешь, что от попа?.. тут она?

Подгулявший батрак осмотрелся по хате. Шинкаря не было в ту минуту у прилавка.

– Тут... ты только никому не говори...

– Где?

– Наверху у пана живет... шш!

Левенчук вскочил.

– Куда ты?

– Будет уж, допивай ты, а мне пора в контору...

Левенчук вышел. Народ, собиравшийся к расчету, подваливал к шинку. Левенчук пошел к дому и не узнал сперва полковницкого двора: так этот двор изменился и уютно обстроился с той поры, как Харько сюда пришел впервые, неопытным бродягой и тут, встретившись с прогоревшим Милороденко, уступил ему свою порцию водки и тем ему сильно угодил.

Он ходил долго вокруг ограды, у ворот стоял, на мезонин смотрел. Видел он окна, вверху раскрытые, на балконе стул стоял. Он вошел во двор; прямо пошел к крыльцу и столкнулся на нем лицом к лицу с полковником.

– Ты косарь? – спросил рассеянно Панчуковский.

– Косарь.

– Очень рад, а это твой билет, что ли? – опять спросил Панчуковский, сося сигару и принимая от Харько письмо священника.

– Билет! – ответил Левенчук, сверкнувши глазами.

Панчуковский потянулся, взглянул на ясное, чудное утреннее небо, потом на первые строки письма – рука его дрогнула, он протер глаза, искоса посмотрел на Левенчука, дочитал, слегка побледнев, письмо до конца и долго не мог сказать ни слова. Письмо состояло в следующем:

«Владимир Алексеевич! Не будем обманывать друг друга. Вам сошли прежние ваши истории. Вы теперь похитили мою Оксану. Это общий голос, не отрекайтесь; да и некому другому этого сделать. Умоляю вас, отдайте ее. Податель сего письма – ее жених, Харитон Левенчук, из таганрогских поселян. Отдайте девушку; вы уже ею, ваше высокоблагородие, насытились. Отдайте, пока она еще может быть им принята. Если прежние ваши действия остались безнаказанны, то за это новое – кара господня вас не пощадит. Богатство не спасет нигде до конца недоброго человека. Прахом пойдет оно у вас; вспомните глас старца, готового сойти в могилу. Эта кара близится. По духу же исповедника предупреждаю вас: не отдадите девушки, за последствия по-

ручиться нельзя. Вам несдобровать! Послушайте меня. Ваш слуга *Павладий Поморский*».

Панчуковский постоял. Левенчук также не говорил ни слова.

– Отец Павладий ошибается! – сказал полковник, закусивши губу, – я этой девушки не знаю, и ее у меня нет.

Левенчук молчал.

– Ее у меня нет, и баста, слышишь? Скажи отцу Павладию, чтоб он ко мне не смел обращаться с такими письмами.

– Ваше высокоблагородие! – сказал, подступая, Левенчук, – какой вам выкуп дать за нее? Я попу соглашался выплатить за нее на церковь двести целковых, – возьмите триста; наймусь к вам в кабалу, в крепость за вами запишусь, – отдайте только мне ее!

Полковник пожал плечами и, оглянувшись, улыбнулся.

– Глуп ты, брат, и только! Глуп, и все тут!.. Ее у меня нет!

Левенчук повалился в ноги полковнику. Он понял сразу, что с этим человеком прав-

дой не возьмешь, и потерялся, позабыл весь закал, весь пыл своего негодования и своей мести.

– Ваше... ваше высокоблагородие! – вопил он, валяясь в пыли крыльца и целуя лаковые полусапожки Владимира Алексеевича, – я дома на родине похоронил жену молодую, и двух лет с ней не пожил; здесь нашел себе другую. Барин! Отдайте мне ее! За что вы отняли ее у меня, погубили до веку нас обоих!

– Да говорят же тебе, братец, что ее у меня нет... Какой ты!

– Будет уж вам с нею, ваше высокоблагородие! Не губите ее. Отдайте, вы уж ею натешились... Будем знать одни мы про то! Отдайте...

Панчуковский отступил.

– Ищи ее у меня везде, коли хочешь; иголка она, что ли! Ну, ну, ищи! Не веришь?

И он вошел в сени, распахнул дверь в лакейскую, а сам стоял на пороге.

Храбрость бросила Харько. Он встал, начал глупо вертеть в руках шапку.

– Ежели я... – сказал он, задыхаясь от спершихся в горле слез, – ежели я... хоть чем, то убей меня бог!.. Господи!

Полковник поворотился к нему спиной и ушел в комнаты, посвистывая.

Оглянулся Левенчук по двору, повел рукой по снятой шапке, подошел к кухне, там еще постоял; во дворе не было ни души. Петухи заливались по задворью. Воробьи кучами перелетали с тополей на ограду. Левенчук пошел за ворота и сел там на лавочке.

Он сам не знал, что и думать. У шинка собирался народ. Конторщик пошел туда, а к барину в дом Абдулка рукомойник понес.

За ворота вышел, с трубкой в зубах, в белом фартуке и ухарски заложив руки в карманы, поваришка Антропка, тоже из беглых, малый лет двадцати трех, отъявленный негодяй, часто битый за воровство.

– Ты чего тут сидишь, сволочь? – отнесся он задорно к Левенчуку.

– Может, сволочь ты, – ответил Левенчук, утирая слезы, – а я за делом!

– За каким делом? проваливай! скамейка барская! вон, иродово отродье!

– А ты барский?

– Барский, полковницкий; я их холуй – значит, сторож; а ты убирайся вон, сибирный

твой род!

И Антропка столкнул Харько со скамьи. Левенчук пошел опять к воротам.

– Ты куда, говорят тебе?

– Дело есть.

– Не ходи, побью.

– Э! Посмотрим...

– Что? как? это, значит, к полковнику на-
ниматься идешь, да еще и форсишь?

Антропка подбежал и загородил Харько до-
рогу в ворота.

– Не ходи, ударю в морду!

– Попробуй! – ответил Левенчук, опомнив-
шись и чувствуя снова прилив злобы и ярости.

Антропка ударил его в ухо. Левенчук зашатался и уронил шапку.

– А ну, еще! – сказал он, стоя бледный, как
был, и выжидая нового удара.

– Бью! что же? ну, бью! – крикнул Антроп-
ка и опять ударил.

– А ну, еще!

– И еще бью! вот как!

Антропка ударил еще раз.

– А еще будет?

– Будет и еще! – крикнул Антропка, свистнувши снова в упорно-терпеливое ухо Харьковко.

– А! – зарычал в свой черед Левенчук, – теперь и ты уж держись; я тебе покажу, как добрых людей даром бить!..

И, как буря, он кинулся на поварчонка, смял его, как клоч сена, сгреб под себя и стал его бить без милосердия по глазам, ушам и по затылку.

На неистовые вопли Антропки сбежалась вся дворня полковника, а мужчины и бабы его выручили.

– Кто это его, кто? – спросил Абдулка, явившись на подмогу другим, уже отливавшим водою до полусмерти избитого Антропку.

– Вот он!

– Кто это?

– А бог его знает кто! – отвечали бабы, указывая на Левенчука, входившего уже в шиннок.

Абдулка побежал за ним вдогонку и на бегу, в сенях шинка, спросил сбравшихся косарей:

– Где тут этот разбойник?

– Уж и разбойник! – разбойники те, что нанимают по два рубля, а расплачиваются по полтиннику! – ответили из толпы.

– Ты бил нашего повара? – запальчиво крикнул Абдулка, вскочив в шинок и с выкатившимися, расвирепевшими глазами став перед носом Левенчука.

– Я бил. Ну, а ты чего?

Лицо Харько было зелено, губы его дрожали.

– Э, до меня так скоро не доберешься! – крикнул татарин, озираясь по хате, куда уже, чуя грозу, начинали собираться любопытные с надворья.

– Посмотрим!

– Посмотрим!

Абдулка скинул поддевку.

– Выходи на простор, – закричал он, – выходи из хаты на простор!

Конторщик, бежавший сюда, стал было его останавливать.

– Не замай, Савельич, а то и тебе бока на-мну, – бешено зарычал Абдулка и вышел из хаты, сопровождаемый конторщиком и толпою и на ходу распоясываясь.

– Что это они до тебя? – спросили Харько оставшиеся в хате косари.

Левенчук бросил на стол три целковых.

– Пейте, братцы, за мою душу пейте! – сказал он тоскливо и вышел, также снимая свитку.

Не успел он показаться на дворе, как на него разом накинулись Абдулка, Самуйлик и прежде побитый поварчук.

Первые двое стали его вязать, а озлобленный Антропка схватил полено и стал им бить Харько по чем попало.

Часть косарей приняла сторону Харько.

– Пустите его, что вы, душегубцы! ведите к барину, если он что сделал, – говорили косари. – Мы и сами пойдем жаловаться; нам расчет не тот дают!

– Нет, не поведем его туда! тут его живого в землю зароем! – бешено кричал Абдулка, колотя Левенчука.

Мигом Левенчука связали.

– В суд его, в стан! – горланила полковницкая дворня.

Побежали за телегой.

– Еще веревок! – кричал Абдулка. – А! ты в

барский двор ходишь, да еще и дерешься! веревок еще! повозку скорее!

Привели лошадей, притащили повозку. Стали запрягать. Левенчук стоял связанный. Висок у него был расшиблен, и кровь текла из-под растрепанных темных волос. Антропка, опьяневший от бешенства и от прежде полученных побоев, ходил возле него и громко на все лады ругался. Бабы пугливо жались к стороне.

– Готово? – спросил отважно Абдулка, спешивший выиграть время, – мы и барина не станем беспокоить! в суд его, разбойника!

– Братцы! – громко крикнул косарям связанный Левенчук, – они меня побили, связали, в суд хотят везти! А сам барин ихний мою невесту украл... Я, братцы, Левенчук! Попова девка за меня просватана была... Она у полковника тут взаперти... в любовницах. Спасите, братцы! не дайте праведной душе погибнуть!.. Спасите!

– Ну, еще рассказывать! – начал Абдулка.

Последних слов Харько не договорил. Абдулка, Самуйлик и Антропка схватили его и потащили к телеге, снова угощая побоями.

– Э, нет! – отозвался тот самый батрак, которого Харько угощал с утра, загородя им дорогу, – я сам пойду до барина! За что вы его бьете и тащите?..

– Да, да! за что? – говорили в толпе и косари, испуганными и озлобленными кучками сходясь к ним.

– Э, да что на них смотреть! тащи его! Самушь, садись, вези его! Антропка, бей по лошадам!

– Нет, не пущу! – сказал охмелевший батрак, загораживая лошадям дорогу.

Тут прибежали с криками остальные косари из шинка. Произошла общая свалка. Одни тащили Левенчука к повозке, другие отталкивали его назад. Весть о том, что это жених воспитанницы священника, украденной полковником, облетела всех.

– Нет, нет, теперь уж не троньте его, оставьте! – заговорили косари разом и оттеснили Левенчука от Абдулки.

Подгулявший батрак ударил по запряженным лошадям, гоня их с пустою телегою прочь. Самуйлик кинулся их останавливать, а косари в суматохе совершенно отбили Харь-

ко, распутали ему руки и выпустили.

– Отдайте мою невесту! – сказал тогда бешено Левенчук, став перед слугами Панчуковского. Это уже был не прежний хуторский пастух. Степи изменили его.

Абдулка, повар и Самуйлик остались одни против остальных.

– Нет у нас никакой девки!

– Врешь, есть! она наверху у барина вашего живет! – кричал Левенчук.

– Отдавай, а то силой возьмем! – гудели ко-сари.

– Вот что выкусите! – ответил Абдулка, показывая кукиш, и пошел с товарищами к барскому двору, очевидно, потеряв надежду овладеть обидчиком закадычного приятеля, Антропки.

Левенчук, утирая кровь с виска, сел на крыльцо шинка.

– Дайте, братцы, хоть трубки покурить, коли с нами так поступают. Собаки и те лучше нас стали жить на свете!

Приятель его, батрак, с форсом подал ему трубку, сел возле него и обнял его, заливаясь слезами.

Толпа между тем шумела: «Как! Быть не может! Так этого самого невесту? И им спустить? Не заступиться за него? Где же тому конец будет?»

– Пойди, братику, – сказал Харько батраку, откашливаясь и харкая кровью, – пойди, хоть осьмушку вынеси! Все печенки, ироды, отшибли! Ишь ты, кровь пошла...

Косари орали более и более.

Полковник между тем, уйдя от Левенчука, подбежал к окну в кабинете и долго следил из-за занавесок, пока непрошенный гость вышел за ворота. «Воротить его? Отдать ему разве Оксану?» – подумал он, но, почитав с полчаса газеты, успокоился, оставил дело так и пошел наверх к Оксане.

Оксана сидела в своей каморке, вышивая какую-то рубаху. Домаха сидела на полу возле нее, тоже что-то штопая.

– Оксана! хочешь домой? – спросил полковник.

Она не подняла глаз.

– Что, если бы за тобою пришли, бросила бы ты меня? Неужели бросила бы? – спросил

ПОЛКОВНИК.

Оксана встала, сложила шитье и поклонилась в ноги Панчуковскому.

– Пане! пустите меня, заставьте вечно за себя бога молить!..

В исхудалом, нежном и кротком лице ее кровинки не было.

Панчуковский хотел что-то сказать и затих. С надворья раздался страшный гул голосов, и одно из окон в мезонине зазвенело.

– Береги ее! – успел только сказать Панчуковский Домахе и выбежал на балкон.

Едва Панчуковский вошел туда, как увидел, что перед запертыми уже на замок его воротами стоит куча народу, а Абдулка, Самуилик и конторщик бранятся сквозь затворы.

День между тем, как часто бывает на юге, неожиданно изменился. Вместо жгучего, острого суховея, доносившего с утра под узорчатые жалюзи комнат сухой и волнистый шелест горящих в зное нив, небо стемнело, облака неслись густою грядой и накрапывал дождь.

– Что это? – громко спросил своих людей Панчуковский, склоняясь через перила балко-

на.

– Косари взбунтовались, – робко ответил конторщик, – не хотят по полтиннику брать, требуют по два рубля.

– Ну, так гоните их взашей!

– Мы стали их гнать, а они в контору ворвались, стекла перебили, мы едва успели ворота запереть – все распьяно...

– Ваше благородие! – смело крикнул кто-то из толпы, – отдай девку! а то плохо тебе будет!

Взглянул полковник: вся толпа в шапках стоит. «Эге», – подумал Панчуковский, сильно струхнул и медленно вошел в комнаты с балкона. Сойдя впопыхах вниз, он позвал к себе Абдулку.

– Что там такое? говори правду.

– Плохое дело! Косари перепились, а тут еще бурлака тот пришел, девчонку эту требует...

– Отдадим ее, Абдул! Черт с ней! Еще бы чего не наделали... Что они? в ворота ломались?

– Запалим! говорят. Да нет, Владимир Алексеич, не поддавайтесь. Коли что, так я и ружье заряджу и по ним выстрелю холостым,

напугаем их, они и разбегутся!

– Что же вы? – гудела толпа за воротами, – где это видано, чтоб девок с поля таскать? Тут не антихристы какие! Мы найдем на вас расправу...

– Вон отсюда, подлецы! – закричал опять сквозь ворота Абдулка, не отпирая железного засова. – Что вы пришли сюда буянить? Вон отсюда!

– Ломай, братцы! Топоры сюда! – уже без памяти редела толпа, – не дают, так ломай! Пробьемся и возьмем силою у живодеров!

И в ворота снова ударили чем-то тяжелым, а потом оттуда наперли кучею все разом. Схваченные и прокованные железными скобами ворота только слегка заскрипели, но не подались.

Абдулка метался между тем, что было мочи, и ругался на все лады, грозя дерзким карою станового, исправника и самого губернатора.

– Что нам теперь исправники и ваши становые! Вы девку нашу отдайте! Тут наша воля, в степи-то нашей! До суда далеко! – выкрикивали голоса за воротами.

Полковник взбежал снова наверх. На площадке лестницы он натолкнулся на совершенно обезумевшую от страха Домаху. Старуха жевала что-то помертвевшими губами и, простоволосая, не успев накинуть на седую голову платка, дико смотрела на Панчуковского.

– Где она? – спросил полковник, идя поспешно мимо старухи.

– Там; это я ее заперла на ключ. Еще бы не выскочила к ним сдуру...

– Ну, береги же!

Он вошел в верхнюю комнату, бывшую к стороне ворот, и из-за притолоки окна увидел у ограды целый лагерь. Какие-то верховые явились... Народу было человек триста или более. Одни сидели, другие стояли или ходили кучками, как бы обсуждая, как исполнить затеянное. Трое лестницу какую-то с овчарни тащили. Остальные шли, разместившись по траве; горланили все.

«Вот и поди, живи тут в этой необъятной Новороссии, – мыслил Владимир Алексеевич, – тут чистую осаду Трои выдержишь; успеют и взять тебя, и ограбить, и убить, пока

дашь знать властям хоть весточкой! Думал ли я дожить до этого? А! вон еще что-то замышляют!..»

Прибежал навверх, запыхавшись, поваренок.

– Что ты, Антропка?

– Конторщик просит кассу в дом внести; неравно вломаются, боится, что растащут.

– Вломаются? в ворота? Что ты!

– Да-с.

– Ты почему думаешь?

– Стало, можно, коли между ними вон беглые ростовские неводчики появились и бунтуют, как бы чего по правде не было, ваше высокоблагородие.

Панчуковский еще раз глянул из-за прито-локи. Новая картина открылась перед ним. Овцы его бродили врассыпную без пастухов. Шинкарь откупщика, зная уже нравы таких событий в степях, с еврейскою предусмотрительностью запрягал себе лошадь за хатою шинка. А из двух батрацких изб, спустившись тайком в лощину, бежали вдали, по пути к камышам на Мертвую пятеро батраков, батрачки и мальчишки-табунщики потрусли-

вее, со страху бросив в хатах и барское добро, и свои пожитки.

Панчуковский сошел снова вниз. В кабинете Абдулка быстро заряжал ружье.

– Вот я их! Я их!

И, зарядив, он пошел опять на балкон мезонина. Из толпы через ограду швыряли уже изредка камнями.

– Разойдитесь! – крикнул опять с балкона Абдулка. – Вас обманули; тут никакой девки нет! А плату сполна мы вам вышлем; только усмиритесь и не бунтуйте, братцы, вот что!

Град увесистых камней и побранок из толпы ответил на эти слова, через стены.

– Так стойте же! – крикнул Абдулка с балкона, приложился из ружья и выпалил.

Чей-то серенький конек заржал, побежал и, на пяти шагах споткнувшись, упал, убитый наповал в голову.

– Ты же говорил, что зарядишь холостым? – спросил, испугавшись, Панчуковский.

– Так им и надо-с! Шельмы, а не люди!

Осаждающие действительно были озадачены выстрелом, кинулись врассыпную и

вдали, у хат и овчарен, снова стали собираться кучками. Кто-то громко грозил из толпы, что подожгут овчарни и батрацкие хаты. Другой топором помахивал издали.

«Что тут делать?» – думал полковник, ходя то вверх, то вниз по лестнице дома. Люди наскоро пообедали, и ему стали накрывать на стол.

– Есть у ворот сторожа, Абдул?

– Есть, Антропка с собаками караулит; я их с цепи спустил...

– Ну, как бы дать знать в стан либо в город? – спросил Панчуковский. – Я-то их не боюсь, да как бы не подожгли чего! Ведь такого дела и ожидать было трудно...

– Ночью разве Самойлу верхом пошлем, авось прорвется через них!

Встал полковник из-за стола. Пошел с Абдулкой опять наверх. Смотрят: к толпе осаждающих подъехал какой-то фургончик парой. Сидевший в нем о чем-то говорил с косарями. Вот собирается отъезжать, на дом полковника смотрит...

– Маши, Абдул, платком или хоть полотенцем помаши, авось заметят...

Сбегал Абдул за полотенцем, свесился с балкона и давай махать.

– Кажись, из фургона махнули! – сказал Абдулка.

– Это тебе показалось, уехали... Ну, что же мы теперь будем делать?

Осаждающие будто притихли к вечеру, пошли к шинку. Настала ночь. Разумеется, ночью не спала ни на волос вся дворня полковника, карауля везде, чтобы буяны не перебрались где во двор через стены или в ворота. Говорят, что сам полковник на цыпочках, в продолжение всей темной, сырой ночи, не раз обходил дозором все уголки двора, прислушивался к побранкам и к вольным песням неунимающихся буянов и три раза кормил собственными руками постоянно голодных до той поры сторожевых собак, и те с охрипшими от надрыва горлами лаяли и метались по двору всю ночь. «Вот так Русь! – думал полковник, – чего только в ней не бывает!»

Ночью, под предводительством Самуйка, была сделана, в виде рекогносцировки, вылазка со стороны осажденных к колодцу. Партия смельчаков состояла из самого Самуйка

лика, двух кухарок, повара и прачки. Они очень осторожно вышли, миновали овраг. Но за ними ввязалась одна из цепных собак, наткнулась на сторожей у колодца, разлаялась, и их открыли. Поднялась тревога. От шинка двинулась куча в погоню. Смелчаки бежать. У самых ворот произошла свалка, и поварчука съездили сзади так по уху, что тот едва успел в ворота вскочить. Воцарилась снова тишина.

Ночью, страшно усталый, полковник вздремнул было на ходу, прилегши где-то в зале на диване. Вдруг его будят.

– Что такое?

Смотрит... Окна дома ярко освещены. В зале стоят также освещенные, бледные от испуга, его советчики, Абдулка и Самуйлик.

– Что это?

– Избы батрацкие горят, огонь к овчарням перебрасывается... Это они; тот-то бурлака, верно, поджег-с!

Молча вошел Панчуковский опять на балкон.

– Отдайте нам девку! девку отдайте! – доносились голоса сквозь дождь с пригорка.

– Фу ты, пропасть! – сказал, в свой черед, не выдержав, Панчуковский. – Да что же это со мной делается? Иди, Абдул, бери Оксану, отдай им... Вот не ожидал!

– Мы уже ходили к ней, Владимир Алексеевич; да она сама теперь напугалась: сидит и дрожит; боится и выглянуть на эти чудеса.

– С чего же это все нам случилось, Абдул?

– Жид-шельма, должно быть, удрал со страху; они, верно, разбили бочку и перепились.

– Кричи же им, Абдул, что я все отдам: и Оксану, и деньги, какие просят, чтобы только унялись!

Стал опять кричать Абдул, ничего не выходит. И звонкий дотоле голос его едва долетал через ограду, в шуме и в реве пожара, истреблявшего батрацкие хаты. А от шинка неслись звуки бубна и песен, несмотря на дружный дождь, шедший с вечера. Но небывалая ночь кончилась. Стало светать. Густые туманы клубились вдали. Пожар не пошел далее.

От толпы подошла к воротам новая куча переговорщиков; все они были пьяны и едва стояли на ногах.

– Что вам?

– Мы до полковника... пустите; мы за делом...

– Зачем?

– Дайте нам девку нашу да бочку водки еще; мы уйдем.

– А кнутов? – закричал, не выдержав, Абдулка в щель ворот.

– Нет, теперь уж нас никто не тронет; мы бурлаки, а бурлаков турецкий салтан берет теперь под покров!

Такие толки действительно в то время ходили между беглыми.

Пока люди полковника переговаривались с пьяными депутатами, сам Панчуковский, совершенно растерянный, сидел у письменного стола.

– Не догадался я, забыл послать ночью верхового в город или хоть к соседям; кто-нибудь прорвался бы на добром коне. А сегодня уже поздно: они оцепили хутор кругом и, как видно, идут напролом! Поневоле тут и о голубиной почте вспомнишь.

Панчуковский написал наскоро письмо к Шутовкину, прося его дать знать об этих событиях в стан и в город, и позвал Самуйлика.

– Ну, Самуйлик, бери же лучшего коня да скачи к Мосею Ильичу на хутор, напролом; авось проскочешь... А ее я выпущу!

Вздохнул Самуйлик, вспоминая собственные советы и предостережения полковнику, когда тот замышлял об Оксане. Но не успел Панчуковский передать кучеру письма, как с надворья раздались новые крики.

– Что там? – спросил полковник и подбежал к окну.

– На ток, на ток! – редела толпа, подваливая снова от шинка, – скирды зажигать! Не соглашаются, так на ток! Небось выдадут тогда! Валяй, а не то так и нивы запалим!

Опять загудели крики. Пьяные коноводы направлялись уже к току. Душа Владимира Алексеевича начинала уходить в пятки. Но в это время вдали, за косогором, звякнул колокольчик. Ближе звенит и ближе. Застучало сердце Панчуковского. Он вскочил и взбежал в сотый раз наверх. Разнокалиберный люд столпился у шинка. Раздались крики: «Исправник, исправник!» Не прошло и минуты, как толпа мигом пустилась врассыпную, кто по дороге, кто к оврагам, кто в недалекие ка-

мышы. Кто был с лошадьёу, вскочил верхом; все пустились в разные стороны. В сизоватой дали, из-за косогора, точно показалась бричка вскачь на обывательских. За нею, верхами же, скакали человек тридцать провожатых. То были понятые. Так всегда здесь в степи ездил на горячие следствия любимец околотка, исправник из отставных черноморских моряков, капитан-лейтенант Подкованцев. За ним, также вскачь, ехал еще зеленый фургон. С форсом подлетев к растворенным уже настежь воротам Панчуковского, Подкованцев остановился, скомандовал понятым: «Ловить остальных; кого захватите, в кандалы! лихо! марш!» – въехал во двор, вылез из брички, взошел, пошатываясь, на крыльцо и в сенях встретился с полковником, у которого, как говорится, лицо в это время обратилось в смятый, вынутый из кармана платок.

– Честь имею во всякое время, кстати и некстати, явиться другом! – бойко отрапортовал залихватский капитан-лейтенант, постоянно бывший навеселе и говоривший всем помещикам своего округа «ты».

– Ах, как я рад вам! Избавитель мой!

Панчуковский обнял Подкованцева, поцеловал его, хотел вести в кабинет и остановился. За спиной станového стоял полупечально, полуослабившись, в той же знакомой синей куртке, рыжеватый гигант Шульцвейн.

– Какими судьбами? – тихо спросил, сильно покраснев, Панчуковский.

– Вы господину Шульцвейну обязаны своим освобождением от шалостей моих приятелей, беглых, если они вам что плохое сделали! – сказал Подкованцев.

Панчуковский в смущении протянул руку колонисту и указал ему на развалины сторевших и еще дымившихся изб.

– Да, – говорил, поглаживая усы, исправник, – меня господин Шульцвейн известил; он меня за Мертвою нашел! Эк, подлецы! кажется, мои беглые взаправду расшалились. Уж это извините; с ними тут не шути. Надо облавы опять по уезду учинить. Нуте, колонель[10], теперь бювешки[11], пока моя команда кое-что сделает. Эйн вениг[12] коньячку! А не худо бы и манже[13]; я целых три дня ничего не ел, за этими мертвыми телами. Трех потрошил, лето – вонь... тьфу! Ты, впро-

чем, не удивляйся дерзости своих обидчиков; это у нас бывало прежде чаще. Одному еврею с живому даже голову отпилили беспаспортники; я ее сам видел. Вотр санте![14] – прибавил исправник, выпивая стакан коньяку: – так-таки ее и отпилили пилой, да еще тупою; я ее и за бородку держал! Тут уж они в наготес!

Принесли закуску. Подкованцев уселся над икрой и над балыками.

Шульцвейн кряхтел, ухмыляясь, потирал себе румяные щеки и масляные кудри и, сильно переконфуженный, похаживал возле окон. Улучив минуту, он отозвал Панчуковского в сторону.

– Скажите, пожалуйста, – начал он, с видимым участием схватив полковника за руку, – неужели это правда, за что поднялись на вас эти негодяи?

– Что такое? Я вас не понимаю.

– Да о девушке этой-то: говорят, что действительно вы ее похитили?

– Вы верите? Не грех вам?

– Как тут не верить? Я вот просто потерялся. Вы знаете, я свои степи часто объезжаю.

Мой молодец вчера мимо вас ко мне спешил из Граубиндена, увидел здесь это дело, расспросил и прискакал ко мне, а я уж поспешил вот к исправнику.

– Очень вам благодарен! Но могу вас уверить, что эти пущенные слухи – сущий вздор. Я не похищал этой девушки, и ее у меня нет.

– За что же эти буйства, скажите, эти поджоги? Удивительно!

– Слышите? – спросил Панчуковский вместо ответа, обратясь к исправнику: – Шульцвейн удивляется, из-за каких это благ я подвергся тут такому насилию!

– Могу вас уверить, – отнесся через комнату Подкованцев, жуя во весь рот сочный донской балык, – за полковника я поручусь, мафуа[15], как за себя! Это мой искренний друг, и дебошей делать никогда он не был способен – пароль донёр![16]

– За что же, однако, это толпа решилась на такие действия?

Панчуковский улыбнулся.

– Какой же вы чудак, почтеннейший мой! Не знаете вы здешнего народа! Мой конторщик сбавил цену на этих днях. Многие стали

с половины недели, а пришли к расчету, – все одно захотели получить и подпили еще вдобавок. Шинкарь перепугался, ушел, а они бочку разбили. Что делать! На то наша Новороссия иногда Америкой зовется! Ее не подведешь под стать наших старых хуторов: что в Техасе творится, то и у нас в Южнобайрацком уезде.

– Именно не подведешь, – гаркнул, утираясь, Подкованцев – еще раз, вотр санте! А теперь, поманжекавши, можно и за дела... Ну что, Васильев?

На пороге залы показался рослый, бравый мужик. Это был любимый исправницкий сотский, как говорили о нем, тоже из беглых, давно приписавшихся в этом крае.

– Что, поймал еще кого?

– Шестерых изловили, ваше благородие, а остальные разбежались.

– Лови и остальных.

– Нельзя-с; в уезд господина Сандараки перебежали, граница-с тут за рекой...

– Вот и толкуйте с нашими обычаями; беда-с! Кого же поймали?

– Да из бунтовавших главного только не

захватили. Он еще ночью бежал, сказывают, в лиманы, к морю. Да он и в поджоге не участвовал-с, как показывают.

– Главный? Кто же он? Как о нем говорят?

– Будто бы из бурлаков-с, Левенчуком прозывается... Он за эту девку их высокоблагородия-с... за нее и буйствовал, и других подбил...

Подкованцев также подошел к полковнику, взял его под руку и отвел к окну.

– Экуте, моншер[17]. Ты мне скажи, по чистой совести: украл ты девку эту? ну, украл? Говори. Ты только скажи: я на нее взгляну только, а в деле ни-ни; как будто бы ее и не было... слышишь? Я только глазом одним взгляну!

– Ей-богу же, это все враки! никого у меня нет!

Подкованцев почесал за ухом. Серые глаза его были красны.

– Ну, Васильев, – обратился он к сотскому, – заковать арестованных и препроводить в город! Отпускай понятых из первой слободы, а там бери новых и так веди до места... Марш!

– Насчет же опять той лошади убитой, бурлацкой, – спросил сотский, – как прикажете?

Это их человек убил...

– Как приказать? Сними с нее кожу, и баста!.. на сапоги тебе будет! Ведь тоже беглая!

– Теперь же мы в банчишку, сеньор! – весело заключил исправник по уходе сотского, обращаясь к хозяину. – А вы, мейн герр, хотите? – подмигнул он Шульцвейну.

– Нет, пора домой-с. В степь-с надо.

Колонист походил еще немного возле окон, взял шапку, простился и уехал, вздыхая.

Исправник же до поздней ночи попивал морской пунш, то есть ром с несколькими каплями воды, играл с Панчуковским в штос, выиграл десять червонцев, поцеловал хозяйна в обе щеки, сказал: «Не унывай, Володя! мы дельцо обделаем и с виновных взыщем!» – и уехал, напевая романс: «Моряк, моряк, из всех рубак ты выше и храбрее».

– Адъё, милашка! – крикнул он Панчуковскому уж из-за ворот и прибавил: – Слушай, сердце! Мне часто в голову приходит: как я умру? своею смертью или не своею? Был я в походах с Нахимовым и чуму перенес... Бог весть! Стоит ли об этом думать!

– Как кому!

Исправник уехал.

– Ворота, однако, на запор отныне постоянно! – сказал полковник слугам, – благо, что отделались от одной беды; надо вперед остерегаться еще более...

– Аксютку же прикажете выпустить теперь? – спросил Абдулка по отъезде исправника, ухмыляясь и раздевая барина в кабинете.

Полковник развалился на диване и зевнул.

– Оксану-то?

– Да-с; что ее теперь держать? Мы разыщем другую...

– Нет! пусть, Абдул, она еще поживет. Я поеду пшеницу на хутора молотить, так ты ее тогда вперед доставишь... Да не забудь и самовар туда с провизией отправить, а то я тогда без чаю там просидел.

Полковник успокоился. События, однако, приняли иной, неожиданный, оборот.

Часть вторая В силках

Х

Новое лицо – помещица из России

Дни клонились к осени. Жиденькие новороссийские садики по деревням становились еще беднее. Лист падал. Обитатели деревень более задерживались в домах. Комнатные цветы принимались с воздушных выставок обратно в дом за стекла. Из окон чаще гремели рояли. Книги северных журналов и газет читались более. На токах усерднее стучали молотилки.

– Ну-с, – спрашивал Панчуковского залихватский волокита, купец Шутовкин, встретившись с ним у кого-то из общих знакомых на пиршестве, – так ваша красавица чуть было вас не погубила?

– Да, был грешок. Что делать!

– Новую осаду Трои изволили выдержать?

– Выдержал, Мосей Ильич, пришлось испытать, нечего делать!

Они, после сытного обеда, гуляли в затих-

шем, но еще прелестном садике.

– Каково же драгоценное здоровье вашей Елены-с? Я, чай, уже с овальцем теперь скоро будет? Моя же так давно уж с животиком переваливается.

Шутовкин сказал и, утираясь платком, засмеялся. Ему было душно. Вино и вкусный обед брали над ним силу.

– Ах вы, старый волокита! Не стыдно ли вам? У вас дети взрослые, учитель нанятой – почтенный студент... Смотрите, что о вас дамы толкуют, вы уж чересчур открыто действуете. Вон у меня тоже пленница живет, а так сокровенно, что никого не обижает, и все ездят ко мне...

– Не могу, не могу; это уж моя страсть к бабенкам ослепляет меня. Что мне свет? Живу здесь в волю-с!.. Я потому и о вашей спросил-с, извините меня... Я люблю дело начистоту, свечей не тушу никогда-с и ни при чем... Я ваших обрядов-с не соблюдаю. Раскольник-с, что делать!

– Смотрите, однако, не приударьте за мою! У меня нравы гарема; попадетесь – голову долой, и сейчас в мешок и в воду! Я ведь тоже

сродни туркам тут сделался. Право, край у нас роскошный, привольный. Ведь сюда кто ни попадись, переменится. Люди тут какие-то другие становятся. Вот и с вами...

– Так, так, а все-таки, Владимир Алексеич, у меня крестины раньше ваших будут! – посмеивался Шутовкин, продолжая ходить с полковником по садовой дорожке, над обрывистым берегом Мертвой.

– Ах вы, забавник! Лучше покайтесь. Лучше скажите вашему учителю, что срок его должку подходит, чтобы вез его скорее для уплаты, кому следует, я поручитель, и у меня уж веди дело аккуратно...

Купец был на этот раз немало выпивши за обедом, снял на воздухе галстук, весело переваливался, шутил, пыхтел и беспрестанно ухмылялся. Сперва стал он рассказывать, как выгодно сбыл сало, потом об акциях заговорил, наконец спросил совершенно неожиданно:

– Послушайте, полковник: вас тут некоторые не любят, считают гордецом! Правда ли, тут болтают, будто вы не вдовец вовсе, а что у вас где-то... извините... на Волге там, в Рос-

сии-с... жена законная есть, и говорят даже еще, будто старая-престарая и злая? Ну, скажите мне откровенно, правда это? Если правда, то поздравляю, дружище, отлично сделали, что бросили и ее, и наши старые российские места-с!..

Панчуковский вспыхнул и остановился. Он долго не мог прийти в себя от нежданного вопроса приятеля, искоса посмотрел ему в глаза; но Шутовкин шел по-прежнему беспечно, будто ничего не сказал, переваливался и утирал отвисший, полный и потевший подбородок.

Панчуковский вздохнул и посмотрел на часы.

– Мосей Ильич!

– Ась? что вы?

Он копался с подтяжками.

– Я долго тут остаться не могу, мне надо ехать.

– Куда же вы?

– Позвольте... Вы спросили меня о такой вещи, такой, что я...

– Да вы не сердитесь, душенька! Ну, что же делать! Была жена, была... понимаете?.. а те-

перь нету, и у вас Оксаночка живет. Тем только и разница между нами: я вполне кучу себе всласть, а вы частицей...

– Мосей Ильич, слушайте: если вы меня любите, прошу этого вздора никогда при мне не говорить! Ну-с... Слышите ли? Я не стерплю этого в другой раз! Понимаете? Я давно вдовец, – повторяю вам, вдовец... лишился жены: в цвете лет она умерла, бедняжка, и я оплакиваю ее день и ночь... Эта сплетня мне особенно неприятна, и я прошу вас, требую именем нашей дружбы, услуги моей вам, молю вас – не упоминать ни мне и никому здесь другому о ней никогда. Жена моя умерла, и все, что я имел, явившись сюда, есть завещанное мне ее состояние. Я сам точно никогда ничего не имел. Так перед такими женами-с надо благоговеть, а не шутить, и да будет стыдно тому, кто осмеивает подобные чувства!

Панчуковский сказал это дельно, твердо, огорченным голосом и даже отвернулся.

– Ну-ну, не сердись, колонель! Ведь я пошутил. Я вас люблю, крепко люблю. А с нынешним вашим домашним благополучием вас от души и от всего сердца-с поздравляю. Товари-

щи мои, портовые купцы, смеются, что я живу нараспашку. А бес их побери! Что, однако, у вас за новый случай произошел после этой стычки с косарями?

– Какой?

Полковник ходил еще взволнованный и кисло поглядывал на обнаженные ветви сада.

– Да насчет вашего лакея, татарина этого.

– Ах да, правда! Вот случай, вот жалость! Бедняжку этого, Абдулку, я посылал за расчетом в городок, в хлебную контору. Он деньги привез; но дорогою где-то, несчастный, поел в шинке порченой соленой рыбы, приехал домой, мучился сутки и сгорел так, что ничего не могли сделать, и доктор был... Я доктора из города на подставных вызывал... Вы знаете, я сам готов околеть иной раз, а уже для людей я стараюсь. Тут у вас в Новороссии мы не помещики. Вольный труд здесь нашего брата по неволе очищает, делает человеком. И за это искреннее благодарение вашим чудным, привольным местам...

Полковник оживился, повеселел. Он добродушно стал разглядывать тихие туманные

виды окрестных степей, открывшиеся перед ними с пригорка, на краю сада. Голос его звучал мягче.

– Что за прелестные места, Мосей Ильич, посмотрите: вон алексинская церковь белеет, верхушка ее чуть сверкает в тумане; вон чичибеевские курганы; вон обоз чумаков тянется... Ну, не счастье ли, не рай ли земной у нас?

– А вы на выборы собираетесь?

– Какой вы чудак! Что вы о выборах вспомнили?

– Да так-с. Часто я думаю, отчего это мы, купцы, исключены из дела земства-с...

Они прошли еще несколько по саду. Из дома звучала полька. Барышни затевали танцевать.

– Скажите, однако, какое несчастье! – продолжал Шутовкин, – я все о вашем слуге думаю... Значит, у вас теперь лакея нет? Вы ищете нового?

– Нашел уже; благодарю вас.

– Где? Вот и отлично-с.

– У немца Шульцвейна, молодца из его хутора, что он возле Дону нанял. Спасибо немцу, хоть этим мне удружил, – уступил. Я его

усиленно просил. Приходилось хоть самому сапоги чистить. Он у него рассыльным с осени был, такой проворный, бойкий, хоть и немолодой уже, кажется, человек. Он им доволен был, да раскусил, что он беглый, и отпустил его. Честный немец беглых недолюбливает. Трусит, боится, не то что мы с вами...

– Не Митька Базарный? Я того знаю: вор...

– Нет, Аксентий Шкатулкин.

– Аксентий Шкатулкин! Позвольте, позвольте, я что-то припоминаю: не было ли о нем публикаций? Должно быть, были. Верно из неводчиков достал? Вы не слышали?

– А прах их побери! Я их не разбираю! У меня все почти беглыми идет работа; оно лучше и дешевле. Разве когда от этого пострадаю! Мой штат вольный, как вы знаете, милости просим всех! Я на моих беглых, как на гору, надеюсь. Ведь проведай обо мне петербургские журналисты, они меня за эти мои штуки со свету стонят. Да что на них смотреть! Я, впрочем, как был в Питере, знакомство с ними шапочное вел. Славные люди, все бонвиваны. Бюрократы тамошние, однако, лучше, зреее и дельнее. А все-таки, Мосей Ильич, у

нас лучше живется, чем у них. Не правда ли? Клад, а не земелька; уголок непочатый, своя Элебема и Висконсин: ведь так? Сколько вы, позвольте, за сало рассчитываете получить осенью?

– Да тысяч двенадцать серебрецом опять в один раз получу.

– Ну, а я-с за мою пшеничку да за лен так тысяч сотенку целковых загребу... Ведь посев у меня теперь был сказочный-с. Так как же себя не побаловать бабенками после этого? Правда? В наших старых городах этих лакомств не знают настолько!

– Чуть, однако, беглые вас было не убили. Не мешало бы вам их побаиваться. Ну, да авось сойдет!

– Что мне их бояться! Деньги у меня припрятаны в таком местечке, что не скоро до них доберешься. В кабинете на стене и в спальне у кровати всегда готово оружие. Стены вокруг двора высокие, ворота надежные.

– Не в наружных ворах бывает опасность, дружище, а во внутренних. Вот что! Домашний враг опаснее всякого другого...

– Вы думаете? – Полковник оглянулся по

саду. – Домашняя прислуга, – сказал он шепотом, – куплена у меня такими деньгами, о каких здешним скаредам-помещикам и в голову не придет никогда. Я на мою дворню, как на самого себя, надеюсь!

– Да уверены ли вы, например, в этом-то новом, все-таки повторяю, своем слуге?

– В Аксентии?

– Да-с, в Шкатулкине, что ли, как вы сказали?

Полковник улыбнулся и опять по привычке посмотрел вокруг себя.

– Это, скажу вам, камрад, такое чистое, добродушное, простое и глуповатое создание, что прелесть! На днях я по ошибке дал ему для размена сторублевую вместо десятирублевой депозитки, впотьмах. Что же бы вы думали? Принес из алексинского шинка, смеется и говорит: вы только, барин, молчите, а мелочи дали лишних девяносто целковых. Я, разумеется, расщел свои деньги, вижу, что лишнего ничего не было. Но какова приверженность! А?..

– Радуйтесь, что и говорить! Но лучше берегитесь; знаете, какие слухи ходят: уезд наш

наполнен фальшивыми монетчиками; на Сиваше, за Арбатской Стрелкой, разбойник настоящий оказался; бродяги по донским дорогам пошаливать стали; почту уж с конвоем отправляют...

– Я спокоен и вам советую бросить лишние страхи.

– А ваша осада? Не подвернись приказчик Шульцвейна, не уведошь он исправника – ведь вы пропали бы даром, как муха-с...

– О, вздор какой!

– Вздор, подите же! А я повторяю, не будь у нас все так-то-с на Руси, где еще нагайка десятского да зычный крик капитан-лейтенанта Подкованцева-с тысячную толпу способны рассеять, аки ветерок облачка-с во поднебесье, то сослужили бы мы по вас панихиду-с, Владимир Алексеич!

Панчуковский, посматривая с пригорка, откуда и его Новая Диканька виднелась, курил сигару и посмеивался.

– Вы смеетесь?

– Да, смеюсь, потому что наша чернь еще глупа, тупа и безобразна.

– Не шутите, полковник, с нашими тихими

и добрыми мужичками, не употребляйте во зло их кротости и смирения-с. Я сам из мужичков-с, честь имею доложиться...

– Вы, Мосей Ильич? Вы... происхождения?..

– Да, я-с, я был сибирским-с ямщиком, в юности в бабки игрывал, секали меня; землю пахивал своими собственными руками...

– Вы, вы?

– Я, я-с!

– Вот не ожидал...

И полковник невольно окинул глазами Шутовкина с головы до ног, будто впервые его видел.

– Чай, с презрением-с считаете меня дураком и за раскол-с? Дело нерешенное, ваше высокоблагородие. А я никому вреда не делаю. Заводы мои идут отлично! я на армию свечи поставляю, в гильдию плачу; вон три воскресных школы на свой кошт соорудил в здешних городах и их содержу; книжек пропасть покупаю в Питере, хоть сам малость читаю; библиотеку в деревне у себя сочинить успел, – заезжайте только читать! Картин из Москвы навез, почти всю выставку в последний раз

там закупил, журналисту тоже там одному беднячку малую толику дал... Да-с. А войди ко мне в дом, на хуторе, где я живу, чего там только нет? И статуи из Греции-с, в магазине в Одессе купил, и фортепьян двое; цветы, ковры, бронза, всякие украшения, яства-с тончайшие, вина... Учителя-молодца держу при детях, вы его достаточно знаете, школю их, чтоб не дураками вышли; в Москву в университет повезу и тут же во здравие их новую там жертву, что ли для науки этой, соблагаствую... А? Что? Чем же я не человек-то теперь, ваше высокоблагородие? Разве что в чинах только не произошел ничуть да в сенатских книгах помещиком не прописан...

Шутовкин разгорячился. За шейным платком снял сюртук, а наконец и жилет. Несмотря на серый денек, ему было нестерпимо душно. Он сел на лавочку.

– Эка душно-то мне, душно! Природа уж у меня такая сильная. Я и девочку эту не из блажи какой похитил. Что делать! Слаб есмь человек, да и все тут! Ну, а как Русь-то наша в опасности, не дай бог, очутится? Кто больше сыпнет деньгами-то? Я или вы, ваше высоко-

благородие? Ну-ка, решите? Что?..

Полковник ничего на это не ответил. Пошли приятели дальше по дорожке. Вечерело. Шутовкин опять оделся; сполз, пошатываясь, с берега к реке, умылся, освежился и окончательно стал молодцом.

– Толстяк, жирный волокита! Так-то вы меня все и зовете! А моя барышня у меня на свободе вон ходит, в почете и уважении. А ваша? за что вы ее томите одну? Хоть бы их познакомить нам, душечка, что ли?

– Чудак вы, право! Ваше положение и мое! Это два разные света. Не могу я так шутить своими отношениями к людям, как вы.

– Не можете? Гм!..

Шутовкин посвистал и опять сел на скамеечку.

– А правда, что вы уж и ребрушки помяли вашей красавице?

– Опять сплетни! Да оставьте их, ради бога; то о живой будто бы жене моей, то опять о каких-то моих жестокостях! И кто это вам мелет?

– Та-та-та! На-поди! Будто я уж вас и не знаю, камрад! Ведь вы зверь лютый; ну, что

нежничать-то! Теперь вот я мелю с похмелья. А тверезый я этого, может быть, и не сказал бы вам.

Приятели еще потолковали и пошли в дом, где подали уже свечи.

Намеки Шутовкина, однако, остались не без последствий для полковника. Панчуковский стал еще осторожнее с знакомыми. В это время ему прислали из Вены и из Парижа множество вещей для последней отделки дома: бронзы, деревянных резных поделок, обоев, тканей, зеркал и ковров. Русский человек уже не может обойтись без того, чтобы, мало-мальски устроив свои дела, не затеять отделывать и превратить свой дом в подобие луврского дворца или, по крайней мере, магазина мануфактурных изделий, причем первые бранные барыши, потраченные с таким умом, обыкновенно на этом убивают и самое дело. Соседи съезжались теперь снова смотреть на диковинки полковника. Он был на вершине блаженства и, указывая на разгружаемые транспорты ящиков с мебелью, зеркалами, фарфором и бронзами, повторял:

— Да, господа, я не мот, но человек земли,

праха... Люблю пожить, люблю довольство за его поэтические лучшие стороны. Уж на пу-
стяки я денег не брошу; зато эти у меня раз-
ные-с дубовые, ореховые и березовые столи-
ки, кресла и диванчики – прямо от Кейзер-
линга из Вены; эти подражания гобеленам –
из Парижа... Все здесь чудеса рук первых ар-
тистов!

– Вам бы жениться, жениться! – повторяли старушки-болтушки из соседок, всегда падкие подкузьмить ближнего какой-нибудь застаре-
лою внучкой или золотушною и кислою пле-
мянницей.

– О! Владимиру Алексеичу некогда о таком вздоре думать, о женитьбе; у него столько де-
ла, хлопот! – говорили тут же на это сами внучки и племянницы, лорнируя мебель, бронзы и гобелены, но в то же время не забывая изредка обратить лорнет, будто бы неча-
янно, и на щегольской сюртучок самого пол-
ковника, на его лаковые полусапожки, затей-
ливую часовую цепь, с колчаном стрел и с лу-
ком купидона между кучею брелоков, а еще более взглядывали они на его убийственные раздушенные усики и на нежно-томные, гу-

бительные и вместе ласковые глазки, когда он стоял между ними и ораторствовал.

Женский пол, в знак особого уважения, не переставал посещать, в сопровождении мужского пола, счастливого обитателя вновь созданного в этой глуши хутора Новой Диканьки. А полковник не переставал ликовать.

– Что старая Диканька! – говорили некоторые из его друзей, – что из того, что ее вместе с старосветскою умирающею Украйною воспел Гоголь! Эта старосветская Украйна была когда-то хороша! Теперь это все еще милая, но уже печальная и пустынная могила... Жизнь здесь, а не там, здесь, у нас, в нашей Новороссии! Здесь все надежды юга! Отсюда выйдет его будущность. Давно ли вот на этом самом месте один ветер пустынный бродил, бурьяны, ковыль да чертополох произрастали, перекаати-поле прыгало; а теперь тут мигом вырос поселок, явился чудный дом, оживленное общество шумит, веселится, рояль гремит, чудеса света сюда стекаются.

– Искусственный плод все это! – замечали другие.

– Жениться, жениться, жениться вам! –

продолжали в то же время шушукать полковнику болтушки-старушки.

На их улыбки улыбался и он, по-прежнему ораторствовал, шутил, спорил и пускался в объяснение живейших вопросов современности.

– Это не человек! Нет, это какое-то божество! – говорили о нем дамы, возвращаясь иной раз с веселой прогулки целым обществом в Новую Диканьку.

– Ну, божество не божество, – возражали суровые мужчины, нагруженные всякими яствами и тонкими питиями до отвалу, – а человек он точно хороший. Главное – товарищ отличный; дока на дела и вместе не спесив.

Гости уезжали. Полковник садился за счеты, соображения, пускался бродить и ездить по хозяйству.

«Еще таких года два-три, – думал он, раскинувшись иной раз в кабинете на диванчике, с сигарой в зубах, – и я буду в полумиллионе чистого капитала! Тогда я произведу расчет всем делам, все мелочное обрачу в наличные деньги – и... куда же тогда? В Петербург? Да, многим там можно будет пыли пустить в гла-

за таким капиталом! Сперва поважничая, вечера устрою там, вторники, что ли, или четверги. В финансовый мир попаду, станут ко мне ездить все действительные да тайные... Предлагать станут места... Разве в губернаторы тогда куда-нибудь поехать на время?.. Еще в министры так, пожалуй, попадешь... Вот, черт возьми, счастье! Да и женщин новых увидим! А дела пойдут все лучше и шире; устрою какое-нибудь общество на юге... Нет, Диканьки моей тогда не продам... А не лучше ли на старость куда-нибудь в чужие края, на Лако-ди-Комо или в Байский залив по пути сластолюбивых счастливицев, римских императоров?.. В Диканьку мою станут путешественники съезжаться, смотреть на ее устройство... И как подумаешь, все дело рук одного человека... одного!»

– Барин, барышня прогуляться просится, – прерывал часто в такие мгновения мечты полковника новый слуга его, Аксен Шкатулкин.

Вслед за этим слугою и вся дворня начала Оксану звать уже барышней.

– Прогуляться? Что? Я не расслышал, Ак-

сентий...

– Да-с, на воздух-с. Затомилась, должно быть, наверху...

– А! хорошо; иди ты с нею, побереги ее там, знаешь, пока...

Лестница тихо скрипела. В платочке, бледная, тихая, но такая же, как была, хорошенькая, Оксана пугливо и бережно спускалась с своей вышки, с мезонина, и шла освежиться за ворота, а когда не ожидали гостей, то и далее, в поле и к овчарням.

Ревнивый, или скорее чопорно-скрытный с товарищами, Панчуковский вовсе между тем не скрывался от своей дворни. Оберегательница Оксаны, старуха Домаха, иногда прихварывала, и полковник отпускал свою пленницу гулять либо с кучером Самойлой, либо с новым слугой Аксеном. Самойло и в прогулках не покидал своего мрачного настроения, беспрестанно вздыхал, бормотал себе под нос не то молитвы, не то упреки и жалобы на свое горемычное положение, что вот живет он теперь, как пес бездомный, что у него виду-то божьего нет, то есть паспорта, что заставляют его иногда нехорошие дела

делать, и уж тут хоть что ни говори, а приказания барина послушаться не следует, и что кто его и похоронит-то, когда он тут без вести пропадет, без толку мыкаясь, а что в России у него и женушка брошена, и детки малые там есть, верно, плачутся на него, житье свое беспотанное и беспомощное проклинаят... Воркун был Самойло большой, на грудь он часто жаловался, что лошади полковника его как-то раз побиили, когда он их наскакивал в четверне. Походит Самойло с Оксаной за воротами, кнутиком по траве помашет и воротится. Скучно ей было ходить с ним.

– Дядюшка, пойдите хоть чуточку дальше, вон к овчарням, либо хоть к тому вон колодцу дойдем! – говорила Оксана, похаживая по травке.

– Нельзя, сердце, нельзя! Барин увидит; пора уж и домой. Теперь тоже ходи с тобой, а там лошадей пора кормить, коляску помыть надо непременно.

– Ах, какой же вы, дядюшка Самойло Осипытч! Ну, хоть вон на тот пригорочек, дайте я сама добегу. Ноги дайте размять, сердце мое, вся душа во мне изныла... Какой он вам ба-

рин!

– Нельзя, о, и не говори лучше! Барин морду побьет: тебе ничего, а мне каково, как уйдешь?

– Да что же каково-то?

– Да как ты убежишь, говорю, от меня во все-то?

– Куда? Я? Бог с вами, дядюшка! И что вам приснилось!

Самойло не сдавался и ворчал поминутно, не покидая Оксаны и подозрительно поглядывая на свою спутницу. Оксана начинала плакать.

– Постылая-постылая, проклятая жизнь! Боже, господи, – говорила она, – хоть смерть пошли, хоть кару какую небесную, болезнь – чтоб я ослепла, горя своего не видала; чтоб красота моя пропала, чтоб и не смотрел он больше на меня, отказался бы от меня!..

Самойло вынимал из-за сапога трубку, набивал ее и, поглаживая седую широкую бороду, начинал дымить любимый тютюнец. Оксана смотрела вдаль. Слезы душили ее. Она старалась в сизом тумане разглядеть если не самый Святодухов Кут, то хоть бы путь к

нему, хотя бы, среди печальных и обнаженных нив и сенокосов, холмов и лощинок, затерянную туда степную дорожку. По этой самой дорожке еще так недавно летел полный надежд на барыши студент Михайлов, невольная причина ее печального похищения. Вспоминаются Оксане еще недавние любимые ее песни, которым ее учила старая дьячиха. Она старается запеть их, стоя поодаль от Самойлы на пригорке, за оградой дома, но слова и голос ей не служат. И песни-то она будто уже все забыла. Она усиливается, напевает... Голос ее дрожит.

– Э, сердце! Да ты песни хорошие знаешь! Спой-ка еще, спой; я барину скажу, ты и ему запой, он тебе подарит что-нибудь.

Оксана Самойле отвечивала низкий поклон.

– Оставьте меня, дядюшка, увольте! Коли я жива, то не томите, меня в гроб заранее не гоните! Пропала моя честь, и душенька моя распропала... горько-с!

– Да разве тебе плохо тут жить-то, разве тебя не холят все? Или ты его и взаправду не любишь?

– Не спрашивайте меня про это; про это доля моя знает, бедная, горемычная... Маюсь я так-то у вас, почитай, как неживая...

Дважды, впрочем, в первые месяцы пыталась Оксана убежать. Один раз нашли ее на сеновале, куда она спряталась было, как-то уйдя до зари сверху из дому и ожидая, пока ворота отопрут. Потом она тайком переделась в платье Домахи, повязалась ее старым платком, накинула на плечи ее шубейку и с ведром так дошла было уже до колодца. Но тут узнал и воротил ее поваренок Антропка. Сильно она просилась у него, молила его, кланялась ему, обещаясь заплатить за свой побег.

– Э, сволочь! – заключил на эти вопли Антропка, – еще на вас смотреть! С жиру беситесь! Марш назад, к барину-то! Чего слезы распустила! Туда же, в недотроги мостится!

И он ее силой воротил, притащив в самый кабинет полковника, которого, впрочем, тогда дома не было. Строгости надзора над Оксаною не прекращались.

– Пока она у меня, всем вам двойное жалование, – решил Панчуковский, созвавший

всю дворню по случаю этого второго приключения, – слышите? всем двойное жалованье, сколько бы времени тут ни прожила.

– Слышим, будем стараться-с!

– А тебе, Антропка, вот... за услугу!

Полковник бросил Антропке депозитку. Тот ему ручку поцеловал.

– Так я же, смотрите, не шучу. А уйдет, всех долой прогоню... Слышите?

– Будьте спокойны-с; мы уж не выпустим Оксанки-с.

– Да языки держите тоже на привязи; а выйдет что-нибудь какая сплётка, – кроме того, что прогоню, еще вздую. Слышите? плети! Ведь вы меня знаете.

– Слушаем-с, как не знать! – ухмылялась беспаспортная дворня.

– То-то же!

Полковник в тот же вечер, после нового побега, отправился наверх к беглянке.

– А тебе, плутовка, не стыдно? бросать меня, а? Ну, скажи, не стыдно? Что тебе отец-то Павладий? Лучше тебе там жилось, что ли, как ты там стряпала, дрова да воду носила?

Молчание.

– Домаха, уйди отсюда...

Домаха вышла за двери. Полковник с Оксаной остались одни.

– Оксаночка, не стыдно ли? Ты здесь, как у матери, в холе! А бросишь меня, – ведь я поймаю, что тогда будет? Ведь я со дна моря найду тебя опять!

Опять молчание. Полковник треплет пленницу по щеке, обнимает ее, целует, на колени к себе посадил.

– Ведь я тебя не упусти больше; ни-ни! извини уже, шалишь! Никому тебя не отдам...

Новое молчание.

– А поймаю – извини: на конюшне, душечка, высеку... О, я злой на это! Чик-чик, чик-чик! да!..

Оксана становится белее стены. Полковник обнимает ее еще крепче.

– Да, уж за это извини, я не люблю шутить! У меня будь, мое сердце, покорна – озолочу тебя, а непокорна – и сам прогоню, только прежде розочек всыплю... Ну, что же ты молчишь? Целуй же меня, ну, обними!.. Вот так! да крепче, крепче... еще!

«Боже, господи! Хоть бы ты убил меня

тут! – думает Оксана, обнимая полковника, – или хоть бы я на это змеей была, чтоб от моих губ-то он сырою землю почернел!»

– Да что же ты молчишь, насупилась, будто сердисься на меня? Э! Я этого тоже не люблю, ты знаешь! Ну, коли убежать хотела и тебя простили, так смейся! Смейся же, говорю тебе, смейся!.. Вот так, так... Ну, а теперь опять целуй!.. так! и опять смейся!.. Покоришься, будешь по воле жить... у меня тоже мещаночка такая была!..

Оксана сквозь слезы обнимала Панчуковского, приневоленная, ластилась к нему, скрывала горе и муки свои. А когда она оставалась одна, то рыдала, весь свет проклиная; ей особенно мучительными казались немые стены ее вышки, и она долго-долго, сама не зная о чем думает, смотрела все на узенькое окошко с железной решеткой в своей комнате да на двери, будто все ожидая кого-то и будто не веря еще, чтобы ее мучению не могло быть когда-нибудь нежданного конца.

Зато с новым слугою полковника Оксана любила гулять в те дни, когда более и более хиревшая оберегательница ее Домаха не схо-

дила по целым дням с своего коврика, от ее дверей, из темного уголка на верхней площадке лестницы. Аксентий Шкатулкин был человек уже не первой молодости, сильно потертый, как видно, и помятый жизнью. Он держал себя весело, но вместе с тем как-то степенно и набожно, как многие русские люди, окончательно положившие перейти от широкой и загульной жизни к покаянию, если только этому покаянию выпадало на долю действительно когда-нибудь осуществиться. Он ходил чистенько, не пил, не шумел, не бегал в шинок, тотчас сошелся со всею дворнею и часто молился вслух, особенно на сон грядущий. В его полотняной сумочке, когда он смиренно приплелся от Шульцвейна к полковнику, оказались и были замечены дворней кожаный бубен с погремушками и святцы.

– Да вы, почитай, не из духовных ли? – допрашивали его на первых порах дворные полковника.

– О, никак нет-с! о, ей-же-богу, нет! Я простой-с... человечек так себе-с...

– Так, верно, вы из музыкантов чьих-нибудь, того-с, тягу дали?..

– О нет! и это, ей-же-богу, нет! и не из музыкантов.

– Так зачем же вам бубен да святцы?

– Когда мне скучно бывает, я помолюся; когда же весело – в бубен поиграю...

– Бррраво! – закричал на это кто-то из батраков, – таких-то нам и надо!

Оксана, повторяем, не отказывалась гулять с Аксентием. Уйдет с ним за ворота, а там к батрацким избам, к овчарням, к колодезю, а часто и в поле. Сядет с ним на пригорке, слушает его, смотрит в степь на поля, как там на зиму под жито пашут, вороны за плугом ходят, или сама что-нибудь говорит Шкатулкину, облегчая душу.

– Вы вот, дядюшка Аксентий Данилыч, не то, что наш Самойло Осипыч.

– А как-с так, моя царица? говорите.

– Да вы вон тоже приставлены, а добрее его.

– Вы полагаете-с? Быть тому не может-с! Так ли?

– О как же! И еще я-с впервые, можно сказать, вижу такую услужливость, хоть вы и стары-с, дяденька.

– Вы полагаете? Так-с! пусть я стар. А вы бы меня полюбили, коли бы я, примером сказать, не холуй был, а тоже, положим, полковник-с? Отвечайте на это, барышня, а?..

Оксана повеселеет от шуток Аксентия и часто, бывало, шутит с ним, смеется от души. Они в поле и в карты на виду у всех играли. Либо Оксана шьет, а Шкатулкин сядет против нее поодаль на корточках да посвистывает, в бубен играет. Полковник сам это видел иногда с балкона и хвалил Шкатулкина за услужливость.

– Вы, барышня, сиротка-с? – спрашивал Аксентий.

– Да-с. А вы?

– У меня не спрашивайте. Я непотребен-с...

– Как-с, непотребны? Это как-с?

– Я бродяга-с чуть не сызмальства. Отца-мать хоть и помню, да что толку? Мало они меня учили, что таким дураком стал.

– Жаль вас, жаль, дяденька...

– Да что меня жалеть-то? Говорю вам, что я никуда не годен-с стал. Вы вот лучше, барышня, скажите... правда ли это, что вы... дочь убитого беглого-с бедняги, бурлачка-с?.. того

вот, что тут неподалечку когда-то был зарезан, тоже... извините... другим бродягой-с!

– Правда... ох, правда, дядюшка! я самая и есть... А вам меня жалко? Кто вам сказывал?

Шкатулкин мялся на месте, закидывался навзничь, посвистывал и опять вставал. День вечерел. Они сидели у колодца, над оврагом, в виду широкой зеленой поляны, по которой паслись овцы и лениво ходил пастух.

– Мне-то вас жалко ли? – замечал Аксентий, оглядываясь, – мне-то жалко ли?

– Да-с.

– Еще бы вас не жалеть-с, когда я... так сказать... с вашим батюшкой, выходит... с тем-то вот, значит, с зарезанным...

– Ну, ну?

– Я с ним, с вами, выходит, вместе и шел в это-то место, когда впервые бежал из России...

– Так вы, дядюшка?..

– Э! уж вы, барышня, и допрашивать? Скоро больно! Я только говорю вам, знал вашего покойника батюшку и мертвым его видел, как хоронили его, бедняка, в Таганроге; в больнице он и умер-с... А вас вот только девочкою видел... Только вы никому ни слова

про то, слышите? А то меня откроют. Ведь я тоже несчастный-с, в бегах от господ... Я и убежал сюда. А вы молчите: что толку-то сказать! Я вам не помогу... Моему же барину, полковнику, я ныне привержен, аки раб рабский, и готов за него в огонь и в воду-с.

Читатель, разумеется, уже угадал, что Аксентий Шкатулкин был не кто иной, как давно нами оставленный Милороденко, некогда друг и вожак Левенчука! Судьбе угодно было, чтобы в новых подвигах своих, спасаясь от поисков нахичеванской полиции, он попал теперь именно в дом главного свата всех беглых в крае, Панчуковского, чтобы встретиться у него с Оксаной, о детской судьбе которой первый он же передал когда-то бедному Левенчуку, идя с ним глухими дорожками на юг в степное приволье. И этой же судьбе, наконец, угодно было, чтобы Панчуковский, получив газеты от своего кровного недруга, отца Павладия, не прочитал в них публикации о последних беглых с описанием примет Милороденко и его страсти к светскому разговору.

Оксана между тем сильно обрадовалась, что встретилась с человеком, хоть и предан-

ным ее губителю-полковнику, но, как видно, с добрым, честным, разговорчивым и жалостливым. Ее радовало на ее скуке и то, что между нею и слугою полковника затеялось даже и нечто сокровенное, тайна завелась; он видел ее когда-то в детстве, видел и бедняка, ее отца, которого она сама не помнила, просил ее не говорить об этом никому, и она молчала, держала слово.

– Аксентий Данилыч, голубчик! – сказала она ему однажды, сидя с ним на крыльце и гадая ему в карты, – я все вам скажу, про все загадаю, только сослужите мне службу!

– Какую?

– Помогите мне уйти к отцу Павладию или известите его, дайте мне воротиться к нему! – шептала Оксана, оглядываясь.

Шкатулкин на это громко расхохотался, так и залился колокольчиком.

– Ах, вы шалунья, барышня! Да разве это возможно-с? Да меня полковник за вас щелчком, одним махом порешит-с! Что вы! Да я ему предан... я ему предан, как отцу родному. Куда! сказать правду, и родному отцу-то я вряд ли был бы так предан.

Оксана смиряла пылкие надежды, просила ей хоть огурчика тайком пронести, селедочки: ей начинало что-то жечь под ложечкой! голова все кружилась. Аксентий на это усмехнулся, смекая о близкой радости полковника. Зато в другой раз сам Аксентий заводил такую речь:

– Барышня, а барышня!

– Что?

– У меня тоже к вам дело есть...

– Какое?

Это было в воскресенье. Самойле и Аксентию барином было поручено свозить Оксану в соседнюю греческую деревушку, в церковь, куда почти никто из православных помещиков не завертывал. Она давно просилась у полковника помолиться. Верные слуги исполнили приказ в точности. Освежили пленницу прогулкой и дали ей вместе с тем помолиться. Аксентий вошел с ней в церковь, дал ей сделать три поклона, поцеловать образ, прочесть молитву и вывел ее обратно, «Будет-с!» – «А как крикнула бы я в церкви?» – шутила дорогою Оксана. «Э, вы не заметили, там наши батраки были... барин и об этом

распорядился...»

Итак, Оксана спросила у Шкатулкина, какое же у него к ней дело. Они ехали в коляске. Самойло сидел на козлах, а Шкатулкин рядом с Оксаной внутри экипажа. Они говорили шепотом.

– Вы вот меня все за старика считаете, барышня, а у меня душа молодая. Мне жаль вас, очень жаль, барышня! Скажите: что если бы настоящий-то... ваш милый, Левенчук, что ли, он вдруг явился бы к вам?

Оксана побледнела и чуть не вскрикнула. Аксентий ее вовремя остановил.

– Любите ли вы его по-прежнему, барышня, своего-то дружка настоящего, мужика-то, нашего брата? Любите? Или вы совсем...

– Не мучьте моего сердца, Аксентий Данилыч...

– Да скажите, любите? Или вы от барина уж не отстали бы?

Оксана склонилась на грудь, руки ее упали, слезы выступили из глаз.

– Люблю... я-то люблю Левенчука... да только в глаза-то ему как я теперь посмотрела бы?.. И как он теперь меня захотел бы вызво-

лить?..

– В глаза? Он-то? Да!

Аксентий посвистал будто про себя.

– Как вы, а я бы еще сызначала штуку барину бы сделал...

– Какую?

Аксентий ничего не ответил.

– Грех вам, дядюшка! Вы думаете, что я охотой...

Оксана залилась слезами.

Лошади добежали уже к хутору. Оставалось версты две.

– Дядюшка! – шепнула судорожно Оксана.

– Что, мое сердце? Фу, какая вы антиреспектабельная!

– Что вам дать за волю-то мою?

– Чем заплатить-то мне?

– Да.

Аксентий склонился к ее уху:

– Коли бы у вас хоть миллион был, барышня, а я, значит, моего барина, распридобрейшего Владимира Алексеича, ни за что бы не променял. Я пошутил-с! Будьте ему покорны во всем, аки я сам раб, смерд-смердящий, верен ему! Это вам-с мой совет.

Подъезжая к воротам, Шкатулкин сказал опять:

– Вы обо всем, что я вам говорил, ни гу-гу. Слышите?

– О! я-то никому...

– То-то же, барышня, а то ведь я и ножом пырну! Скажете – я, значит, пропал, а меня не замай – в острог-то не хочется...

Аксентий ловко отворотил конец рукава и за лацканом показал нож. Оксана помертвела.

– Это-с я всегда про запас ношу. А вы будто ни про что и не слышали. Я здесь чужой, и вы чужие-с... Выдадите про мои лишние с вами разговоры, ведь ничего не выиграете. Пожалуйте-с ручку, сударыня, приехали! Мильпardon! – добавил он громко, уже у крыльца.

Ловко выпрыгнув из коляски, Аксентий свел Оксану еще ловче по ступеньке наземь, потом в сени.

– Вам бы нашей барыней быть, повелительницей, полковницей! – весело заключил он, снимая шляпу с кокардой, когда Оксана в яркой алой клетчатой юбке и в дорогом платке и монистах входила с крыльца в сени. Пол-

ковник начинал одевать ее щегольски.

– Лошадей выпрячь, да и выводить получише! – крикнул между тем полковник из окна кучеру, не без радости подхватя на лету слова Шкатулкина и самодовольно любясь соблазнительною красотой Оксаны, ее здоровым полным станом, густыми русыми косами, полбледневшим и слегка захудалым лицом, слегка впалыми томными глазами, и этим живописным украинским нарядом, шитою пестрыми шелками сорочкой, монистами и ярко алою клетчатую юбкой.

«О! теперь я за нее спокоен, она не убежит! – решил в восторге полковник, провожая глазами щегольскую четверню любимых лошадей, удалявшихся в мыле и в пене к конюшне. – Вот я поеду на торги, пшеницу продавать в Бердянск, и ее возьму, в театр повезу, еще платьев ей понаделаю. Наряды кого не соблазнят!.. Да, кажется, она уже и беременная... Все в ней хорошо; пылу только этого нет; какая-то вялая будто, тихая да молчаливая...»

Где-то у кого-то при каком-то разговоре у Панчуковского завязался спор о преданности

владельцам крепостных дворовых. Полковник доказывал, что верность и честь – принадлежность одних людей благородной крови, что если есть звери породистые, то есть и люди породистые, люди белой кости.

– Я, господа, демократ в душе; но кровь, лучшие предания человеческой семьи – это такие вещи, такие, что я...

– Ах, полковник, ваша правда! – перебила его соседка Щелкова, протискивая свой чепец и свой чубук в кружок, по обычаю обступивший местного Токвиля, – я вам расскажу свежий пример...

– Какой? Какой? – спросили слушатели.

– На днях я ездила к золовке моей, за Дон. На одной из этих скверных донских станций собралась огромная толпа проезжающих. Куча всяких подорожных лежала на столе, а лошадей никому не давали, – ждали какое-то важное лицо третьи сутки...

– Это ужас, ужас! Вот наши почты! вот злоупотребления...

– Не в том дело, – сказала Щелкова, – а вот в чем. Тут же сидела, скучая, одна почтенная и премилая дама, помещица из России. Она

молчала, ни с кем не вступала в знакомство, вся в черном, и маленькая дочь с нею. Ее поразило необычайное происшествие: крепостной слуга ее мужа – кажется, покойного уже – мальчик лет двадцати пяти, на которого она возложила в пути все свои нужды, все чемоданы и ключи ему сдала, – этот мальчик, пользуясь хорошей погодой – а погода тогда стояла чудная, – выходил часто за ворота и на крыльцо станции... все смотрел вдаль, я сама это замечала, будто дивился нашим местам; еще подслеповатый такой был и как будто загнанный, скучный, смотрел-смотрел...

– Ну-с, ну?

– Да как был в одном сюртучишке и замасленном картузе, – и дал тягу в степи, пропал без вести.

– Это ужас! – шептали дамы.

– Какая же причина? – допрашивали мужчины.

– Гм! простая-с! – злобно и вместе насмешливо ответила, кашляя, Щелкова, – очень простая, как же вы не догадались! Уж это у нас народец такой, не вези его сюда! Как приехал, поставил нос по ветру, почуял волю – и драло!

И край-то здесь, упаси господи! Мне что! Я больше вольными работаю; да где денег-то взять, где взять их нам, горемычным?

– Что же, нашли этого лакея?

– Куда вам его тут найти! И бежал-то он, как говорят, потому, что через барыню ожидал попасть в чужие знакомые руки. Так на станции ямщики после толковали.

– Барыня же это кто такая?

– Перепелицына. Я в подорожной смотрела, Перепелицына из Моршанска.

Панчуковский чуть не уронил стакана с чаем, бывшего у него в руке, и едва мог скрыть волнение, охватившее его при этой вести.

– Как вы сказали? – отнесся он, сколь мог свободно, к Щелковой.

– Перепелицына-с... Так мне сказали, и в подорожной так прописано.

– Где же она теперь?

– В Севастополь, что ли, на могилу мужа, кажется, поехала.

– А мальчик?

– О нем она становому послала объявление и сильно-сильно была стеснена его бег-

ством. Он, впрочем, ее не обокрал, и она его очень любила.

– Местечки-с! – насмешливо завершил этот разговор полковник.

После обеда у отца Павладия в одно воскресенье сидел в гостях причт другой вновь устроенной соседней церкви.

– Вы слышали, батюшка? – передавали весть Щелковой услужливые собеседники, – тут возле, по донскому тракту, ехала помещица, и ее лакей на дороге бросил?

– Нет, не слышал. Куда же она сама-то ехала?

– В Севастополь, что ли, – ответил соседний пономарь.

– Что вы, что вы! В нашем уезде, в нашем городе уже живет, поселилась и квартиру у моей тещи наняла! – возразил дьякон.

– Зачем же это она приехала? – спросил отец Павладий.

– По делам. Никого не принимает, живет тихо, в церковь только ходит к отцу Анисиму и, кажется, очень скучная. К дочке учителя искала.

– А лакей ее?..

– Так и пропал без вести; ключи от чемоданов унес, должно быть, по ошибке, а вещей ничего не тронул.

– А!

Панчуковский, неведомо ни для кого, нанял у колониста за Мертвою фургон и поехал за Дон. Там он легко нашел станового, которого имя узнал от Щелковой, явился к нему, будто бы от лица помещицы, у которой сбежал слуга, назваля чужим именем, предложил становому малую толику за справку, получил доступ к его переписке и с худо скрываемым трепетом сел читать объявление Перепелицыной о слуге. Становой, обрадованный в своей глуши нежданно упавшею с неба манною, толкал из приемной своих грязных ребятшек, извинялся, что жена его нечесаная попала гостью на крыльце, и передавал какие-то новые политические слухи.

Панчуковский впивался глазами в каждую строку простого, по-видимому, и незамысловатого объявления. Из последнего только, кажется, и можно было узнать, что вот бежал лакей Петрушка Козырь, а приметы ему та-

кие-то, то есть почти никаких, как водится.

– Уж и край! – проговорил становой, как видно начитанный и литературно натертый малый, – вон этого зовут Петрушкой! Да если бы сюда Чичиков из «Мертвых душ» заехал, и его бы, кажется, Петрушка тут от него бежал, почуяв здешнюю волю, о которой они там на севере-с и не предполагают...

Панчуковский, увидев в бледном и смиренном, по-видимому, становом такие литературные занозинки, сдвинул брови, и, как ни занят был другими мыслями, резко спросил:

– Вы где учились?

– Из здешней войсковой-с гимназии исключен-с за стихи на инспектора классов-с.

– Гм! Когда же у вас времени хватает здесь за службой еще книжки читать?

– Находим-с. А вы тоже любитель просвещения?

– О да! да!

– И у вас книжки хорошие есть? Вот если бы почитать! Здесь один ученый журналист недавно проезжал на Тамань. Я узнал о его проезде через мой участок и тридцать пять

верст за ним гнался, чтобы только увидеть его.

Панчуковский кашлянул, ничего не ответил и, кусая до крови ногти, опять стал перечитывать бумагу. Он встал, начал надевать перчатки.

– Куда же эта барыня проехала?

– Не знаю-с.

– Слугу не нашли?

– Где их тут найти! Помилуйте! У нас тысячи, десятки тысяч таких дел о беглых...

Панчуковский вышел на крыльцо.

– Одно могу сказать, – прибавил становой, в мундирном сюртучке сбегая с крыльца к фургону, – я стал вносить дело об этом-то Петрушке Козыре в опись да по алфавиту наткнулся на дело еще другого Козыря... Последнее тянется уже лет десять и много становых на нем сменилось; оно об одном лакее, которого зарезал какой-то косарь; и этого лакея тоже звали Козырем – он при смерти так объявил в больнице, где умер...

– Прощайте!

– Прощайте-с.

Панчуковский уехал, не дослушав послед-

них объяснений станового. Его занимали другие мысли.

Становилась настоящая осень.

– Что, сударь, вы не поохотились бы теперь на зайчиков да лисичек? – спросил утром полковника новый его камердинер, Аксентий Шкатулкин, по своему обычаю весело посмеиваясь перед барином, виляя добродушной и смазливою, хотя уже с седоватыми усами, мордочкой и играя живыми подвижными глазками. Он бережно и степенно одевал ноги полковника в сапоги, а полковник лежал на диване в халате и лениво раскидывал мыслями: что ему в тот день делать? На душе его было светло-светло.

Полковник молчал. Солнце чуть глядело в окно. Камердинер снова заговорил:

– Я спрашиваю, сударь, не манит ли вас теперь поохотиться с собачками или хоть с ружьем? Деньки вот бывают уж серые, мороз морозит, туманчики в поле прохладные перебиваются-с! Вот бы в степь-то... а?

– А ты разве охотник? Тише надевай чулки: там мозоль вон есть.

– Был когда-то-с я и в охотниках! Был, да

мало ли еще чем я не был.

Шкатулкин вздохнул.

– Ты откуда бежал?

– Из-за Полтавы-с... Не верите? Ей-же-ей, не лгу!..

– И давно?

– Да лет десять-девять будет-с.

– Ну, скажи же ты мне, Аксентий, да по правде: где ты все это время бурлачил?

Аксентий умильно улыбнулся, кашлянул, сложил на руках платье полковника, стал вежливую, вместе почтительную и шаловливую, картинку, губы сдвинул еще добродушнее, глаза окружил беловатыми, кроткими, смеющимися морщинками, брови насупил, вздохнул опять и ответил:

– Извольте, сударь, спрашивайте!

– Где ты был, я повторяю, за все эти девять, что ли, лет твоего побега?

– Везде был понемногу: где ночь, а где день, а где и того меньше.

– Так все бурлаки отвечают, а ты мне скажи по душе...

Аксентий засмеялся и глянул в сторону.

– Извольте. Спрашивайте опять, еще по-

дробнее! – сказал он, шагнувши к полковнику ближе и опять свертываясь руками, ногами, головой и всем телом в ту же услужливую, любезную и вместе добродушную картинку, – я вам все открою-с, все... Ну-с?

– Я тебя будто видел где... Будто ты у меня когда-то или работал, или просился работать? Я что-то, братец, помню тебя...

– А может быть! Нет, барин, нет. Я вас вижу впервые. Везде перебивал я в этом краю-с, а у вас не был! Был я и в Киеве, и в Житомире-с, и в Умани, и в Одессе, и в Пятигорске-с, а у вас не был, ей-же-богу-с, не был! Что вы! Разве мне лгать?

Панчуковский зевнул.

– Чем же ты промышлял в бурлаках, до поры, как нанялся у Шульцвейна? Расскажи, брат, от скуки.

Аксентий опять кашлянул.

– Да не знаю, как вам и сказать-то...

– А что?

– Видите ли, сударь, вы холостой, вам можно сказать: господа это называют клубничкой-с! Я охотник, видите ли, до бабочек-с; люблю-с этот хрухт...

Панчуковский, не ожидавший такого ответа, сам прыснул со смеху.

– Как, как? Ах ты, шутник, что отмочил!

– Ей-богу-с! Я большой-с ходок по женским делам-с! Всю мою жизнь, можно сказать, на это потратил; видите ли, откровенно вам говорю: в ума помрачение впадал. И нет тут села, городишка, где бы я свиных дорожек к красоткам не топтал... Вот и седина уж пошла в усы и в бакены-с...

– Э, да ты мне находка, Аксентий! Я сам, братец, как видишь, любитель. С покойным Абдулкой мы многие дела решали. По правде, жаль его. Тут была у нас история из-за одной горожанки... Он мне тогда очень помог, и я этого никогда не забуду.

– Да-с, слышал-с; тут и градоначальник, кажись, сердился?

– Так ты все знаешь?

– Как не знать-с. А теперь зато, ух, славная, сударь, девочка у вас от попа. Мы про нее еще у Шутовкина слышали. Я и у него работал-с: он тоже ходок...

– Да ты у меня смотри, однако, Аксентий, ее не отбей! Ты еще мне рога наставишь! –

шутливо заметил полковник.

– Как можно, сударь! Я дела-то эти знаю-с. У меня тоже барин в России был-с, и я был ему тоже вернейшим холопом, рабом по гроб моей жизни-с. Меня и они по этим-то историям-с наряжали. И скажу вам, у барина моего все толстухи были, пудов по восьми-с, по десяти... Да что-с? я и здешнему исправнику-с, господину Подкованцеву, одну гречанку поставил, девицу неизмеримую-с, сущую королеву Бобелину-с...

– Так ты и Подкованцева знаешь?

– Служил им тоже недели две. Уж без этого нам, беглым, нельзя-с. А господин исправник здешний – сущий отец нам, бурлакам-с; без него наше царство пало бы-с. Ведь мы народ-с иной: по натуре своей живем. Ну, и бывают приключения; когда разгуляешься очень, непотребность какую сделаешь, он-то и вспорет, а велит у себя отслужить – и дело с концом. Далеко не тянет. А то иной раз продуется он с господами морскими офицерами в карты и прямо уж нам скажет: эйн вениг аржанчика [18], братцы-бурлаки, – это, значит, деньжат дай ему малую толику...

– И вы даете?

– Даем; как не дать! На то он наш отец-командир. Без него и невода-с по всему здешнему вольному поморью, и донские гирла, да и ваши, сударь, степные-то, вновь поселенные, хутора опустели бы. Что птицы вольные, так и мы, бродяги, любим волю; не тесни нас только, а мы от работы не бежим!

– А правда, Шкатулкин, что в донских гирлах, в камышах и возле Нахичевани беглые стали теперь паспорта печатать и всем раздают, а недавно стали и ассигнации стряпать? Как бы поживиться, братец, разменять этак сотенку-другую трехрублевых на ваши сторублевые?

Шкатулкин побледнел. Панчуковский этого не заметил.

– Не знаю, сударь, я по этой части не ходо-с... Мое дело сапожки почистить, коней или верблюдов напоить, в саду состоять. Как в старину, вон, шляхта говорила: «Кульбачить коня и хендожить буты». Вы – барин добрый, мы вас знаем; вы нас покрываете, содержите, и я бы вам сказал, да ничего не знаю... Чтоб мне почернеть, как та мать сы-

рая земля, коли я что про это знаю.

Так объяснялся с полковником Милороденко-Шкатулкин, которого в то время именно земские власти разыскивали как одного из коноводов нахичеванской шайки фальшивых монетчиков и делателей паспортов.

– На всякий, однако, случай, сударь, чтобы наш отец-командир господин Подкованцев не придрался к вам когда-нибудь за меня, то вот вам и мой билет.

Он достал из бокового кармана пачку бумаг, лизнул палец, отделил не без труда из них новенький паспорт и подал его полковнику.

Панчуковский покрутил носом и усмехнулся.

– Знакомое дело! – сказал он. – Зачем ты мне это даешь? Ведь я же знаю, что это не твой билет. Вон и подпись какого-то городничего, прямо несообразная.

– Как несообразная? это как-с?

– Да ясно – фальшивая, братец, и все тут!

– Нужды нет; держите. Я уж вам отслужу...

И то я с вас против паспортных да вольных вполонину договорил жалованье!

Полковник взял билет, умылся, оделся, причесался и пошел наверх к Оксане. Пленница в эти дни уже не так строго содержалась. Она и по двору ходила, и в поле одна ездила с кучером в дрожках кататься.

Оксана особенно вдруг стихла и будто ожила, повеселела. Она заметно стала оправляться, а полковник начал неволью к ней привязываться. Заботы к ней и ласки становились без конца. Кроме Домахи, в услужение у нее показалась еще какая-то девочка. Оксана сидела наверху только днем, а комнату ей отвели уже рядом с кабинетом полковника.

Не успел полковник прийти к Оксане, пожуричь ее за затворничество и свести, шутя и напевая, вниз, в кабинет, не успел он сесть на диван и посадить Оксану себе на колени, обнял ее и стал учить раскуривать папироску, – потайная дверь в одном из шкафов кабинета отворилась и из комнаты, отведенной Оксане, сквозь занавес просунулась любопытная голова Шкатулкина.

– Что тебе? надоел, братец! – сказал Панчуковский с досадой, что так нечаянно прервали его шалости с дамой его сердца.

Оксана вскочила и тихо отошла к окну.

– Извините, сударь, я не знал, что тут ходить нельзя, сквозь эти двери. Тронул задвижку, а она сама это – чик! и отворилась... Я сам даже испугался...

– Да зачем ты сюда пришел?

– Барышне, сударь, счастье послано-с, караван на верблюдах с виноградом пришел. Не купите ли-с? Свежий, преотличный!

– Ступай; я сейчас приду.

Шкатулкин вышел.

– Ты, Оксана, смотри, не бросай так ключа от твоей комнаты; не пропало бы что у тебя! Видишь, все уж ходят через нее и в мой кабинет...

– Нет, не буду бросать ключа; я забыла...

– Пойдем же виноград новый покупать.

Полковник и Оксана вышли на крылечко. Солнце к обеду выяснилось. Туманы исчезли, и день сверкал чудным последним осенним блеском.

У ворот толпился веселый люд, дворня и батраки. Ряд заманчивых, туго нагруженных крымскими плодами, двухколесных арб стоял под оградой. Высились двугорбые, длинноно-

гие верблюды. Татары в низеньких шапочках суетились возле, вынимая напоказ синие и зеленые гроздья.

Полковник купил запас винограду, велел запрячь резвую четверку, сел с Оксаной в фэзтончик, посадил на козлы Шкатулкина и покатил в степь, с ружьем – не наскочит ли где-нибудь на дроф или на диких гусей, а то и на своих в поле посмотреть!

– А ведь у меня весело, Шкатулкин? – крикнул Панчуковский на козлы.

– Весело, и боже! как весело! Ей-богу-с, вы особый из господ! Я люблю-с таких, как вы...

– Четверня какво мчит, Аксентий?

– Подхватывает, ажио дух мрет... ух! так ажио, будто лижет кто, лоскочет за сердце...

– Не русскому ли, братец, тут житье?

– С капиталами оно точно...

– Как с капиталами?

– Да у вас, чай, сударь, казны достаточно?

Панчуковский помолчал и носом покрутил.

– Есть, братец, да и расходы большие! Все больше в обороте; дома... редко что есть...

– Ну, и дома-таки, верно, перепадает! Не

может быть, сударь! А вот я у немца этого Шульцвейна был, так антихрист даже без свечей по вечерам сидит; все рассчитывает и на это, скаред.

– Мирно он живет с своею женой?

– Все целуются-с, старые черти-с, ажио противно! Я более по лакейству способен, а они меня все по хлебопашеству пускали; ну, я у них к вам и отпросился. А как я был у Шутовкина купца, так тот, как свинья-с: либо пьян, либо деньги считает! А дом – дворец.

– Сударыня, поздний цветочек! – сказал нежданно Шкатулкин, вскакивая дорогой с козел, срывая цветок в поле и поднося его Оксане.

Та засмеялась, не брала его. Она хоть и покорилась, или, как отзывался о ней полковник, акклиматизировалась, но при людях еще сильно дичилась.

– Бери! – сказал полковник. – А ты, Аксентий, за свое? а?

– Я, сударь, уж Домаху-с вашу решился соблазнить! Вам молодка, а мне старуха.

Полковник смеялся от души.

Весело пробежали лошади верст двадцать

в оба конца и на румяной, прохладной вечерней зорьке, все в мыле, снова подкатили полковника к крыльцу.

Темным вечером, после ужина, Панчуковский отпустил дворню спать и решился, однако, посмотреть, что делает его новый, такой развязный слуга. Он вышел на крыльцо. На площадке, на верхних ступеньках, лежали его сапоги, сапожные щетки и стояла баночка с ваксой. У крыльца же, под окном, уже раздетый, в одной рубаше, несмотря на сиверкий вечер, стоял Шкатулкин. Он молился вслух на восток, вздыхал, зевал, почесывал себе грудь, руки и спину, поглядывал по сторонам и усердно клал земные поклоны.

«Слуга надежный, коли такой верующий! Это лучший признак! – подумал полковник и пошел в кабинет. – Спасибо немцу; хоть этим мне пользу настоящую сделал».

– Так ты, братец, набожный человек? – спросил слугу наутро полковник.

– Грехи замаливаю. Поклялся покаяться, остепениться. Вон, проседь в голову идет; дал зарок, без шуток, покаяться и трудом в мирные люди перейти...

– Ну, достал полковник слугу! – говорил отец Павладий дьячку, – ты видел? ведь это Милороденко у него.

– Видел.

– Ну, жаль же, что он газет тогда не читал. Да бог с ним!..

«Ах ты бедняк-бедняк, Харько! вот обработали, – рассуждал между тем как-то на крыльчке Милороденко-Шкатулкин, наслышавшись вдоволь на месте уже, в Новой Диканьке, о происшествии с Левенчуком. – Ей-богу, и смешно и жалко! Да и задал же ты, братец, тут полковнику копоты, напугал его здорово. На добро я тебя привел сюда! Где же ты сам-то теперь, друг Хоринька! Вот бы повидаться! Наговорились бы, натешились, вспоминая былые времена, как я тебя-то от омута избавил, утопиться тебе не дал и сюда на вольницу привел. Только, по правде, не по-кавалерски здешние кавалеры с тобою, вижу, поступили: вместо того, чтоб тебе самим-то женщин вдоволь по старине предоставить, а они у тебя же еще бабу отняли, девочку-невесту! Не то прежде тут было; свет не тот стал! Бо-

ком вся земля повернулась! Куда ни глянь, все уж здесь другое будто стало, а не прежнее, когда тебе, бурлачку, все, бывало, предоставляли. Тут вон уж и сечь-то нас, вольных, стали, и разыскивать строже. В города же и не поткнися: полицейский, смердов сын, зверем лютым стал, так и рыщет и норовит тебя либо в морду, либо за шиворот! Где же ты, Хоринька, где, однако? Вот я теперь десять целковых в месяц жалованья получаю; вот оно! А тогда? Получали меньше, да лучше жить было. Не попасться бы, однако, не узнали бы тут у полковника! Да нет, вся дворня незнающая. И барин сам не выдаст; а то прямо в Сибирь... Вон намедни одного бродягу снабдил я серенькою депозиткою... Что же? погубил его! Девятнадцать лет он у Небольцевых табунщиком был, а попался; повели бедняка сперва к его барину, а оттуда прямо на Урал пойдет. Он обиделся, ушел, прошлялся, а теперь через меня и пропал...»

Раз съездил полковник в город, заезжал там, среди разных коммерческих дел, на почту, и воротился перед вечером сильно не в духе. Он ездил один с кучером. Прошел он че-

рез лакейскую сурово. Шкатулкин над чем-то у стола здесь портняжил, быстро вскочил, принял с барина пальто и вышел на крыльцо.

– Что это, Самойло Осипыч, барин наш сердитый такой приехал? – спросил он, сейчас прочитав на лице барина невзгоду.

– Из почтовой конторы вышел такой...

– Письмо, что ли, какое получил не по нутру, или денег от кого ждал?

– А шут его гороховый знает! – ответил Самойло, поглядывая с козел в окна, – откуда ему деньги! верно, письмо какое из Расаи получил.

– А барин сам откуда?

– Сказывают, с Волги, что ли; из Моршанска, надо быть... Служил в гвардии; да, должно статья, от долгов бежал сюда...

Аксентий дождался сумерек, внес в комнаты свечи, барину подал чай, и пока барин делал приказчикам распоряжения на другой день, сходил на вышку к Оксане, поиграл с нею и с Домахою по обычаю в карты, в свои козыри, и пошел к барину в кабинет постель стлать. Он вошел в кабинет со стороны залы. Перед альковом, где за занавесками стояла

кровать полковника, он увидел на столике хлыст барина, шляпу и распечатанное письмо.

«А! – подумал он, – уж не обо мне ли розыски?» Подбежав на цыпочках к дверям в залу и в комнату Оксаны, он постоял, постоял, послушал и, будто убирая со стола, стал, нагнувшись, читать письмо. Прочтя его до конца раза два, он положил его обратно на стол и задумался. Смысл письма, очевидно, давно лежавшего в конторе, через которую полковник не переписывался, был ему непонятен; тем не менее оно его заняло.

«Что за госпожа Перепелицына из Моршанска?» – думал Аксентий, склонясь над столом.

Вот что было писано в этом письме:

«Любезный друг, Владимир Алексеевич! Семь лет прошло с тех пор, как вы меня бросили. Я вам не мешала нигде: ни в вашей службе, ни в свете, ни в семейной жизни. Я жила в заброшенном, отдаленном городке; вы блистали в высшем кругу. Вам понадобилась в гвардии лучшая обстановка: вы потре-

бовали мой капитал и дали слово, когда устроитесь с квартирой и с эскадроном, перевезти к себе и ту, которая для вас пожертвовала всем. Я тогда была больна от родов. Я вам, не кончив лечения, выслала полную доверенность. Вы взяли, вместо части, весь капитал. Вам понятно положение мое, когда вы приехали ко мне, в зимнюю страшную стужу, и объявили, что все мое состояние вами проиграно в карты в петербургском клубе... Вы хотели стреляться; вы были вне себя. Я вам простила, хоть осталась из богатой женщины — нищею. Вы сказали, что думаете начать другую жизнь, хотите бросить службу и заняться частными делами, что теперь это увлекает всех. Я снова осталась одна в том же маленьком, заброшенном, отдаленном городке. Я ждала вас год, другой, третий. О вас пропали все слухи. Вы исчезли в толпе других, бросивших тогда столицы для частных спекуляций в губерниях. Наконец ваша участь стала меня терзать. Невежда, как вы меня когда-то называли, грубая провинциалка, дочь уездного малограмотного купца, я томила в одиночестве, скрывала от всех причину вашего отсут-

ствия. Я боялась расспросами указать на следы нашей страшной истины, ждала и ждала. Вы исчезли без следа. Смерть? Я уже с нею тогда мирилась. Но вы были живы и забыли о нищете. Семья от меня отказалась. Вы знаете, как эта грубая, алчная семья терзала меня и прежде за вас... Желая вам угодить, я занялась книгами, музыкой, тайком стала брать уроки. Мои средства скоро совершенно истощились. Затворница с детства, как вы меня знали, после двух счастливых годов, погибших навеки, я опомнилась, посоветовалась с двумя-тремя близкими людьми. Мы решили снова, что слухи неверны и что вас нет на свете. Я уже тогда была здорова. И как не вовремя явилось мое выздоровление! Тьма сгустилась надо мною. Я продавала мои вещи. Я стала ездить по монастырям. Саше нашей пошел уже девятый годок. Я была в Киеве, Воронеже, в Москве. Одна ворожка мне наворожила и сказала: „Он жив, он жив; моли бога только; он к тебе воротится и красоты твоей довеку не погубит!“

Володя, друг мой, жив ли ты? Что я, безумная! Ты не любил меня; ты, не любя, из расче-

та сошелся со мною! Ошибаюсь ли я, тобою брошенная, измученная, забытая, презренная? Не помяни, Володя, меня лихом, невежду-дикарку, если ты жив! Хоть в нищете живешь, хоть в нагольном тулупе ходишь, – воротись ко мне! Наши моршанские купцы, родня мне, проездом с Дону, о вас, Владимир Алексеевич, от одного обиженного вами бедняка прослышали. Вы ли это, или я, безумная, ошибаюсь? Но они говорили мне много странного, непонятного; будто вы в богатстве живете, развратничаете в том крае, слывете магнатом. Не однофамилец ли вы тому, кто мне глаза завязал? Объясните мне, пишите. Всему есть границы. Я долее не потерплю. Вы были в гвардии голышом; я вам одежду справляла, долги ваши платила. Слушайте: если... если я открою истину, если вы окончательно не что иное, как ловкий человек, как плут, замысливший поиграть мною, выжать из меня последние нужные соки и потом бросить меня, как негодный лимон, то я найду на вас суд и расправу. Билет в сто пятьдесят тысяч серебром, вероятно, теперь не проигран. Сроку я вам даю месяц... Следы ваши я от-

крою теперь во что бы то ни стало... Я даже сама тогда явлюсь к вам... Ваша покорнейшая слуга Настасья Перепелицына.

Р. S. Так я подписываюсь своим прежним именем. Приобретенного после я не уважаю. – Володя, родненький, или ты шутишь, не погуби меня... Пощади!»

В конце письма стояли год, число месяца и адрес писавшей, то есть Моршанск.

«Кто же эта госпожа Перепелицына? – продолжал думать Милороденко, облокотясь на стол и держа в руках простыню и подушку с постели полковника, как будто продолжал стлать ее, – верно, его любовишка. Да и хват же барин!.. да и денег же должно быть у него вдоволь: десятками тысяч владел! Так и есть: верно, купеческую дочку соблазнил и стянул капитал любовницы; так бы и мне с моей барышней сделать... Дурак был!..»

В комнату с шумом вошел Панчуковский и прямо кинулся к столу.

– Что ты тут думаешь, Аксентий? – крикнул он в досаде.

– Я-с? Что вы-с! Я постель стелю-с...

– Постель стелешь?

Полковник подозрительно посмотрел кругом и накрыл письмо на столе записною рабочею тетрадью.

– Стели же, пора, да иди! Меня приказчики разбесили...

– В секунду-с. Я, вон, ходил к барышне; в карты с ними поиграть: ловко играют-с; обдули нас с Домахой; по носу били!

– Постой, однако, – сказал будто в раздумье полковник, все еще глядя на стол, где лежало письмо.

– Чего изволите-с?

– Дай вон мне с того шкафа из журналов «Отечественные записки»...

Милороденко пошел к полке. Панчуковский на него смотрел в волнении.

– Не то; ты берешь «Библиотеку для чтения»; прочитай надпись – видишь? Мне нужны «Отечественные записки».

– Никак нет-с, не могу-с... не знаю-с...

– Разве ты неграмотный?

– Неграмотный! – простодушно ответил Милороденко. – Э, сударь! когда бы я был грамотный, я бы в писари нанялся, да и на-

шей-то красавице книжечки бы читал! Меня еще мой барин принуждал читать. «Я, – говорил он тогда, – тебя, Аксентий, в приказчики приготовлю, учись!» Что ж, туп я был, так и остался... Как чурбан, бывало, стою и смотрю в книгу: там «ма» сказано, а я говорю «ва»...

«Ладно!» – подумал Панчуковский и, как будто мимоходом, быстро спрятал письмо в стол под замок, а требуемую книгу взял сам.

– Теперь иди, голубчик Аксентий, спать; я сам разденусь. Буду еще читать и счета сводить сегодняшние...

– Счастливо, сударь, оставаться! Да богу господу помолитесь; он всегда покой дает. Я вон был буян и кутила; а таперь молюсь и чувствую покаяние.

– Ты думаешь? хорошо!

Ночью Милороденко снова подкрался с надворья к окну барина и стал смотреть: сквозь просвет в занавесках была видна часть комнаты. Полковник сидел перед письменным столом; на столе лежало то же самое письмо. Лицо полковника было пасмурно. Он грыз усы и ногти, закидывался на спинку кресла и два раза хватался за голову. Потом Панчуков-

ский встал, достал из особого ящика ключи, выбрал один из них и нагнулся со свечкой к боковой, гладкой стороне стола. Милороденко не было видно, что он там стал делать. Верно, открыл какой-нибудь потайной ящик, потому что достал оттуда много бумаг, стал перебирать, вдруг оглянулся – замер было, будто слышав от комнаты Оксаны шаги, переждал, вскочил, добежал туда, удостоверился, что эти двери заперты, сел опять и стал снова копаться в бумагах... «Э, верно же, все про любовницыны угрозы соображает! А в том-то ящике, должно статья, и его деньги!» – подумал соглядатай.

Далее Милороденко ничего не видел. Возясь над столом и зацепив за занавеску окна, Панчуковский невольно уничтожил остальной просвет в стекле и тем прекратил последнюю возможность наблюдений над собою. Милороденко тихо спустился с откоса фундамента; держась за водосточную трубу, стал осторожно на землю, вошел в сени, почистил сапоги барина и стал опять, по обычаю, у крыльца усердно вслух молиться, собираясь спать, вздыхая и почесываясь. К его молит-

вам привыкла вскоре и вся дворня.

XI

Отдача долга

Шутовкин передал учителю поручение полковника, и бедняк Михайлов, прогоревший на неудачной афере со льном дотла, взял у хозяина все свое заслуженное жалованье, занял еще часть у соседа под часы, сосчитал сумму и поехал, вздыхая, к отцу Павладию расплатиться с весенним долгом. «Проклятые чумаки! подвезли столько льну, что совсем разорили! – думал студент, – не удались мечты!»

Святодухов Кут много изменился с тех пор, как в чудную майскую ночь молодой аферист летел сюда с радужными надеждами на барыши и в то же время добровольным соглядатаем тайн тихого и уединенного уголка.

Теперь он с тоскою вступал в осиротевший, печальный двор отца Павладия. Совесть грызла его невольно, не сознавая тогда могущих быть последствий, и он был замешан в грустной драме, смявшей счастье этого смиренного приюта.

Двор студенту показался как-то особенно

пространным, а церковь совершенно низенькою, и маковка ее уже будто не так сверкала золотом, как в ту улетевшую чудную, привольную и незабвенную ночь. Роцца стояла безлистая, обнаженная. Сквозь ее редкие вершины уныло синел пруд. Ветер посвистывал, обрывая с веток последние листья. Дом священника был стар; побелка на нем потемнела от дождей, а местами с его стен осыпалась глина.

Подъехав на этот раз в тележке хозяина, Михайлов пошел в ворота и у плетня под сараем увидел священника. Отец Павладий с топором копался над колесом, остановился и сразу не узнал гостя.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте... Кто вы?

Священник наставил к глазам ладонь.

– Вы меня не узнали?

– Извините, не узнал...

– Михайлов.

– А! теперь узнал... Что вам нужно? Деньги, что ли, привезли?

– Что это? вы сами с топором работаете?

– Да! нечего делать; надо же чем-нибудь

жить нам, горемыкам. Сам теперь вот я и лошадей пою, и свиней кормлю, и дрова рублю, и все починяю! Что делать! Такова уж наша участь!.. Была прежде и работница, да ваш же Дон Жуан украл, свел ее со двора...

Михайлов молчал. Кровь хлынула ему в голову.

– Я в этом не виноват! – сказал он, растерявшись.

– Что же вам угодно, однако? – сухо спросил священник.

– Я вам деньги привез; благодарю за ссуду...

– Пожалуйста в комнату; я сейчас туда приду за вами. Извините, теперь у меня прислуги нет, молодой человек. Так-то-с; не прогневайтесь... Уж чаю некому подать-с!

Михайлов пошел, думая: «Да, поделом мне! Дело скверное, а началось оно и сделалось почти через меня!»

Он печально вошел в комнаты. Там было все по-прежнему. Тот же запах воска и ладана, та же чистота, те же свежие скатерти, пучки трав у образов, журналы и газеты кипами по столу и по стульям. Он взглянул: многие

были не разрезаны, а другие даже в пакетах нераспечатанные. Вошел отец Павладий.

Сняв шляпу, он остановился у порога. Тот же подрясник, тот же гарусный старенький пояс на нем; та же красноватая мясистая лысина и утлая косичка, перевязанная полинялою ленточкой. Но маленькие, красные, вспухшие глазки были будто еще меньше и печальнее, борода заметно побелела, и лицо осунулось. Он размахивал серую пуховую шляпой, собирался все что-то сказать резкое и суровое и не говорил.

– Ну-с, молодой человек, ну-с, так-то-с; да, спасибо вам, одолжили! Очень, очень вам благодарен! Просто разодолжили, – профессоров ваших надо благодарить...

Студент сидел, не поднимая глаз.

– О чем вы это говорите, отец Павладий? Разве я...

– Я говорю о вашем друге, о господине Панчуковском. Спасибо вам и ему за внимание. Берега нашей Мертвой ознаменовались таким романом, который бы прямо на бумагу, да и в журналы! И чего вы медлите его опубликовать?

– Да вы ошибаетесь, отец Павладий, вы смешиваете меня с полковником... Что же общего у меня с ним?

Студенту было совестно; он понимал, что кривит душою, он тогда угадывал затеи полковника.

– Что нам, современным людям, – продолжал священник, не отходя от порога, продолжая нелепо размахивать шляпою и не слушая Михайлова, – что нам бедные люди, всякие голыши сельские!.. Ограбить их, осмеять, отнять у них последние утешения и радости! Вот что. Да-с. Мало вам, господа, гребчих да городских продажных красавиц! Вы на наши тихие захолустья въезились! И тут вас недоставало! Подло-с, да, подло! Извините.

– Да послушайте, что вы! Разве это ко мне относится?

Священник с досадою бросил шляпу на кушетку и сел на стул. Потом он опять вскочил и схватил со стола какую-то книжку.

– Ну, читайте, читайте! Что тут пишут, а? Порочат зло, проклинаят ложь, насилия и неправду! А вы что сделали? Куда же ваши повести после этого годятся, ваши комедии и

драмы, когда вы, ученый человек, с вором съякшались, – с вором, который по ночам гарцует, в чужие дома врывается и все безнаказанно творит, благо для этого есть у него деньги, связи и положение в свете? Я же везде искал и везде получил отказы на него! Для меня в этом деле все погибло, все! Он смело и явно купил все свое дело, все свои новые утехы...

Священник замолчал. Грудь его тяжело дышала, руки тряслись, лицо побагровело.

– Позвольте вас спросить, наконец, господин Михайлов, отвечайте мне: для чего вы захотели спекулировать? Вам деньги были нужны?

– Да-с, я вам тогда говорил зачем, – ответил студент, теряясь более и более.

– Но вы обеспечены чем-нибудь? Уроки имеете? Зачем же и вы захотели еще более доходов? Отвечайте! Потребность времени, роскошь? Зачем вам были нужны эти новые барыши, за которыми вы погнались, заняв у меня деньги?

– У меня мать старуха в Одессе, дочь убитого поручика и жена бездомного капитана, мо-

его покойного отца. Ей есть нечего на старости.

– А! У вас нищая мать! Вы для нее! Так зачем же вы не медленным трудом захотели улучшить свое и ее положение, а кинулись на быстрые барыши? То-то и дело! Где нечестные скорые доходы, там и товарищи-подлецы под руку попадают. Так-то-с... Уж вы извините меня. Пожалуйте деньги-с... Я свое сказал. Хоть вы и не совсем виноваты, а хвост, батюшка, замарали... Не говорите: вы знали его умыслы...

Священник судорожно сосчитал поданные деньги, сходил в спальню, вынес оттуда расписку студента и резко подал ему.

– Слушайте, господин Михайлов! Вы еще молоды; много надежд у вас впереди; а я уже мертвый человек: одною ногой стою в темной могиле и другую тоже заносу туда. Кончайте получше курс ваших наук, да не кидайтесь на болезнь нашей Новороссии, на ее торговую горячку. Немало огромных средств и дарований она унесла к гибели; артистов сделала взяточниками, публицистов-с некоторых – ворами; оскотинит она, погубит и вас. Осмот-

ритесь, приглядитесь к жизни: жизнь не терпит скачков! Вот хоть бы у меня мой садик и роща. Они теперь хороши. А ведь я тридцать лет сидел и тридцать лет трудился над ними! Читайте, учитесь, работайте... Извините меня, старика. Вы что более всего любите? Ну, скажите мне, что?

– Естественную историю, музыку-с... Особенно музыку...

– Ну, из естественных наук займитесь хоть ботаникой, степные травы собирайте, сушите; ведь имя составить себе можете одним здешним травником. Да Гумбольдта-с, Гумбольдта читайте, а не на манер бердичевских факторов маклакуйте! Или хоть нашими украинскими песнями займитесь. Эх, что за прелесть эти песни! Когда я был еще в Чернигове в бурсе, я много ими занимался и пел их пропасть со скуки, гуляя в семинарском саду да зубря мертвящие латинские вокабулы. Жена же моя, покойница, их отменно пела... Так-то-с! Украинские народные песни создадут еще со временем своих Моцартов-с...

Михайлов просидел у священника до вечера. Много переговорил он с ним, а еще более

переслушал. «Эка дельный человек! – думал он о нем, – и в какую глушь закинут!»

Простился он с отцом Павладием, растроганный до глубины души. Он клялся заняться науками, бросить аферы.

– Прощайте, господин Михайлов. Желаю вам счастливого пути в вашу Одессу, да не возвращайтесь более сюда!

– Как можно! Я еще хочу взглянуть на ваш очаровательный Святодухов Кут, на ваши ключевые воды, на ваш сад и пруд!

– Пропадать им, видно, как и всему тут! Вы, я чай, слышали, какая участь постигла моего бедного помощника, дьячка Фендрихова?

– Нет, не слыхал... Что такое? Боже! вы меня пугаете. Я его помню, видел его у Щелковой...

– Он после Покрова, нынешнюю осень, ослеп...

– Ах, бедняк! Где же он теперь? Вот бедняк, право!

– Да тут еще у меня на кухне живет; изредка в церковь на клирос ходит, только совсем ослеп, как есть. Должно быть, ветром на него

каким пахнуло или роса такая пала. В две недели и ослеп... Или, скорее, просто такая уж, верно, ему судьба была на роду написана.

– Так вы теперь одни?

– Нет, его жена мне помогает, но у нее свое дитя есть; а я выписал, жду вот племянника к себе в причт; этого паренька, видите ли, выгнали из нашей семинарии тоже за разные разности; ну, я его к себе и сманиваю. Не скучно хоть будет... Парень даровитый, вот как и вы, науку прошел; только боюсь, не испортился бы тут...

Михайлов стал сходить с крыльца.

– А про мою воспитанницу что-нибудь слышали? – спросил с усмешкой священник. – Ведь вы когда-то ее у меня, помните, видели, и она вас тоже тогда, кажется, заняла?

– Нет, не слышал. А вы не знаете, что с нею теперь?

– Как же, как же, теперь уж я все знаю: у Панчуковского она поселилась окончательно; да то диво, что, говорят, ему отдалась совершенно и даже... стыжусь вам сказать... таково уж наше время... и помяните мое слово, Панчуковский поплатится, и поплатится силь-

но... А она?!

– Что же? Говорите!

– Говорят... уж и беременна от него... не прячется и открыто стала с ним ездить. В мой угол тридцать лет никакая людская напасть не проникала; я как в гнезде ласточки жил. А теперь что случилось!..

Михайлов пожал плечами, вздохнул, простился со священником и уехал. Шутовкина он не застал дома. Хозяин его был где-то по коммерческому делу. Было поздно вечером.

Ученики Михайлова уже спали. Он сел к роялю, склонил к его клавишам грустное лицо и свои белокурые пышные кудри, стал было играть и невольно заплакал... Потом он снова начал играть и играл с увлечением до утренней зари.

«Я буду артистом!» – подумал он, забываясь радужными грезами.

Солнце взошло.

У рояля, на кушетке, навзничь лежал и крепко спал Михайлов. Что ему снилось? Музыка, естественная история или новые соблазны спекуляциями?

Бог весть...

В доме у соседей Панчуковского, братьев Небольцевых, на Екатеринин день, день именин их старушки матери, был праздник и большой съезд гостей. В числе других, разнообразных и разноплеменных лиц околотка, был здесь и полковник.

В осеннем темно-зеленом пальто, с орденской ленточкой в петлице, по-прежнему раздушенный и распомаженный, Панчуковский, однако, был, по-видимому, как будто не в духе. Столпившись в курительном кабинете, вдали от девиц и дам, гости-мужчины по-былому толковали о минувшем лете, о близости закрытия приморских портов, о ценах хлеба, каменного угля, о видах на весенние продажи сельских сборов и о местных скандалах всякого рода. Сидя на мягком диванчике и сверкая перстнями, запонками и щегольскими розовыми ногтями, Панчуковский, по обычаю, вскоре оживился и завладел общим разговором.

— Так вы думаете, что мы можем ожидать, с близкою реформой крестьянского быта, переселения народов к нам с севера, скорой ко-

лонизации здешних земель? Шалишь! Нет, господа, этого не будет! Будь я подлец, если не так!

– Отчего же? Вы все намеками говорите, полковник...

– Отчего? вот забавно!

– Да-с, непонятно что-то...

– Оттого, что в наш век странствия новых гуннов и аланов невозможны. Да-с, новые Атиллы у нас – это английские-с паровые машины, ливерпульские да клейтоновские локомотивы, молотилки-с и всякие черти! Вот нашествия чего мы должны ожидать и от чего должны откупаться, как старинные города и села откупались от диких варваров! Труд крестьян, дешевенький крепостной труд, – он только нам и давал доход, повторяю, при крепостном состоянии; а теперь все вздорожает, и земледелию отныне шабаш!

– Позвольте, позвольте: почему вы так думаете, что к нам не двинутся переселенцы из великорусских губерний? – спросил Митя Небольцев, старший из братьев-хозяев.

Панчуковский громко и резко захохотал:

– Ах вы, простота-простота, душечка! Ну,

бросит ли наш туляк, владимирец или пскович свою дымную лачужку, бедную ниву и родичей, чтобы явиться к нам в гости? Да он скорее пойдет в Москву на фабрики или на барки на Волгу на заработки, чем решится к нам переселиться. Через сто лет, так, не спорю; а теперь оставьте, господа, надежды. Не верьте вы нашим чухонским Штейнам и новоиспекаемым Кавурам с Невского проспекта! Ведь в Питере куда ветер подует, туда и все песни летят! Был у меня там один приятель – чиновник; верите ли, если бы вот ваш, Адам Адамыч, пудель ему сказал, что в моде, положим, голубые шляпы, он бы в департамент тотчас голубую шляпу надел...

Слушатели рассмеялись.

– Как, как, Владимир Алексеич? Пудель? Голубые шляпы?..

– Право! На этого же самого чиновника на даче воры как-то напали; что бы вы думали? Он залез под кровать и стал оттуда впотьмах лаять собакою. Это собачье искусство только его и спасло, дачу ограбили, а его оставили в живых.

Лакей внес водку перед завтраком. Хозяева

суетились. Слушатели в восхищении от острот Панчуковского похаживали, шушукались. А он ораторствовал не переставая.

– Что мне, господа! Я не от личных огорчений говорю. Я счастлив, богат, свободен как ветер, хоть и эгоист, господа, и считаю в душе это чувство лучшей рекомендацией человека.

– Не всегда, полковник! – возразил опять Митя Небольцев, желавший хоть чем-нибудь оспаривать бойкого местного красноречивого идола, – и у вас бывают невзгоды! вы вот перебили у Шульцвейна степь, а саранча на ней все травы съела!

– Зато у меня с прошлогодней пшеницы и со льна теперь одним золотом семьдесят тысяч целковых в кассе лежит, не считая депозиток...

Полковник повел глазами. Перед его носом в это время стоял его новый камердинер, Аксентий Шкатулкин, и вежливо ждал минуты ему что-то сказать.

– Прикажете лошадей отпрячь? – спросил он тихо барина, когда тот замолчал.

– Нет, я сейчас после пирога уеду! – отве-

тил громко полковник и прибавил шепотом, – не лезь, когда тебя не спрашивают. Жди, после пирога велю запрягать...

– Куда вы, куда? – заговорили хозяева и гости разом.

– Надо домой; есть дела!

– Оставайтесь, ради бога, оставайтесь. В кои-то веки вас дожدهшья!..

Полковника упросили, и он остался. Он продолжал:

– Следовательно, я состою в кругу недовольных по убеждениям, а не из личностей. Я за себя молчу. А прислушайтесь вы к толкам в степях, на проселках и широких столбовых дорогах, в шинках и на возах с снопами, у переправ мостов и по взморью. О чем толкует народ здесь и везде?

Слушатели тревожно молчали, утопая в табачном дыму. Полковник встал и дико оглянулся по комнате, закидывая за уши волосы.

– Народ готовит нам штуки-с, господа! Да, да, да! Зовите меня алармистом, иллюмина-том... Я народ наш знаю, я вращался и вращаюсь в нем! Он готовит нам такие штуки-с, что

нам не расхлебать!.. Один косарь косил у меня этим летом. Я любил с ним говорить. Раз он меня на днях спрашивает: «Видно вы, барин, проглотили черта с хвостом, что так разумны; скажите мне, правда ли, что нам волю хотят дать?» Я говорю: «Правда, мой миленький; только имейте, говорю, терпение, ждите». – «Да, оно так, – отвечает он мне, – только пошли у нас слухи по ярмаркам, по церквам, по шинкам, по дорогам тут и по распутиям, что не одну волю нам дадут, а также и всю землю вашу навеки». Вот и подите-с!.. затевают кашу... А я народ знаю, и меня народ любит; я популярнее всех вас, а что они со мною было сделали! а?

Панчуковский замолчал. В кабинете кто-то вздыхал, точно будто кто плакал. Он оглянулся: помещица Щелкова, от простуды бывшая с завязанною шеей, тихо подошла из залы и держала платок у глаз. Она закашлялась и схватила полковника за полу.

– Месье Панчуковский, скажите, бога ради, скажите, наконец, чего нам еще ждать, чтобы я могла, имела силы вовремя все сделать, приготовиться? Я женщина глупая, слабая,

все меня пугает, все...

– Во имя отца и сына и святого духа, аминь! – раздался голос из залы.

– Господа, молебен! – объявили братья-хозяева, – наше духовенство опоздало немножко! Да расстояния виноваты; наш приход в Андросовке, за тридцать верст... Пожалуйте. Обычай дедовские мы соблюдаем.

– А мы с вами, Авдотья Петровна, после по-толкуем! – сказал Панчуковский. – Видите, молиться зовут; а ведь я ретроград и плантатор, как меня здесь обзывают: нельзя, система требует.

Гости вышли в залу. Тут уже блеском сияла толпа раздушенных дам и барышень. Легкие и воздушные очаровательные платья их напоминали близость приморских городов и возможность самых тесных сношений с чужими краями. Свежие итальянские шляпки, турецкие шали, лионские шелк и бархат; марсельские и греческие духи били в нос каждому. Черные брови, смуглые личики, легкие станы, живые движения... «Вот она, наша-то Новороссия! – шептал за молебном Панчуковский, подталкивая Митю Небольцева, – отрад-

но отдохнуть от работ и наживы, глядя на наших красавиц!» Щегольской камердинер полковника в зеленом ливрейном фраке, с бронзовыми пуговицами и при цепочке, также был тут, выйдя из лакейской, стоя у дверей и молясь богу. Молодой красивый священник, из херсонских греков, читал в нос и гнусил нараспев, так и пронизывая всех зоркими глазами из-под черных широких и густых бровей. На нем была ярко-лазоревая ряса в каких-то серебряных звездах и блестках; на груди наперсный крест, а пояс и нарукавники вышиты гарусом и стеклярусом.

Студент Михайлов, стоя тут же с своими птенцами, невольно вспомнил отца Павладия и его уединенную, бедную и старенькую обстановку. Впереди всех стояла, вся в белом, именинница, семидесятилетняя мать хозяев, первая переселенка из помещиц сюда, на Мертвую.

После молебна стали закусывать. Гости опять столпились в кабинете, как ни старались Митя, а потом и Сеня Небольцев обратить их в гостиную к дамам. Полковник, куря сигару, постарался опять начать разглаголь-

ствовать, стоя перед Щелковой.

– Вы толкуете, Авдотья Петровна, что с Дону, из казаков, если и их коснется реформа, к нам двинутся руки. Пустое-с! Извините. Знаю я этот почтенный и воинственный народ...

– Что, что? – подхватил Митя Небольцев, – я казаков люблю, народ лихой; там я был влюблен, господа, недавно, и не позволю их бранить – извините...

– Отсталые люди, несовременная татарщина, господа, эти ваши казаки! Что за военные арматуры в наш мирный век у каждого из них, вместо гражданских наклоностей! Что за учителя при саблях и что за чиновники при шпорах! А встретитесь вы с ними на пароходах, которые уже врываются в их Дон, или в домах где-нибудь, куда уже являются наши и заграничные журналы: сидят, молчат и хлопают глазами либо пьют... За пуншем да за картами только их и услышишь! Да что и слышать: дичь, беседы Тамерланов!

– Э, камрад! повторяю, – не нападайте так на моих лихих казаков! – перебил опять Митя Небольцев, – поссоримся! я один за всех их на дуэль вас вызову! Вздор вы говорите.

Да уж если на то пошло, так слушайте! Был у меня приятель тут по соседству, исправлявший должность учителя уездного училища, и захотел он нажиться, поехал к ним, к казакам-то, на Дон, там библиотеку где-то публичную открыл. Последние деньжонки, бедняк, на нее убил. Что же бы вы думали? Приходит к нему подписаться на чтение сын какого-то ихнего там не то купца, не то горожанина; залог оставил. Рвение к литературе показал; признался, что круглый невежда, что учиться хочет, и попросил ему выбрать что-нибудь для чтения. Учитель-библиотекарь выбрал ему Белинского, Грановского там, что ли. Радует, что такое стремление у малого заметил. Что же бы вы думали? Через неделю приходит кучер от батюшки этого малого и приносит обратно книги. «Старик, говорит, прислал ваши книги обратно; готов и залог вам оставить задаром – только не давайте его сыну больше ничего читать: от дела отбивается!»

Все начали ахать, возражать, уверять, что это преувеличения.

– Что вы, господа, этому не верите? – возра-

зила невпопад, не расслушав дела, Авдотья Петровна Щелкова, желая поддержать полковника, – я сама от детства ни одной книги до конца не прочитала; все некогда... книги вред, да и не для нашего брата степняка они писаны! Недаром я бросила Рязань и сюда за-кабалилась!

– Нет, нет и нет! – заключил полковник, – если справедливы слухи о близкой, наконец, реформе крестьянской, наши села запустеют, хлебопашество упадет! Мы разоримся, обнищаем все. Если бы, господа, я был американец и жил с вами не в России, а, положим, в Виргинии или в штате Мерилэнде, – я, в случае войны за невольничество, стал бы открыто на сторону закабаления негров...

– Негров? вот мило! – сказали некоторые дамы, под общее увлечение входя также в кабинет и протеснясь к полковнику, – это что-то из «Хижины дяди Тома»...

– Пустозвоны ваши литераторы! – крикнул наконец с запальчивостью Панчуковский, – ну, чего они не напичкали в этот сборник всякого вздора! Что за святость страданий у этих скотов? Что за поэзия побегов и воспевание

освобождения от труда! Ведь рабство это – труд, а труд – кусок хлеба, а хлеб – честь, нравственность! Уж не вздумают ли идеализировать и наших беглых беспаспортных бродяг, месяца полтора назад заставивших меня, из-за расчета с негодяями-косарями, выдержать правильную осаду?..

– Ах, месье Панчуковский! – лукаво разохались дамы и девицы, знавшие между тем настоящую причину соблазнительного скандала, посетившего полковника, – расскажите, как это с вами было? Мы не знаем... Чего добивались у вас эти мятежники? Мы тогда перепугались, мужья ружья готовили...

Панчуковский вздохнул и смиренно опустил глаза.

– Сожгли у меня все-с, набуянили, стекла в доме перебили, шинок у откупщика насильно распили!

– Вы же на них искали?

– Искал. Но разве вы не знаете наших судов? Кое-кого поймали; но это все оказались неприкосновенные к делу! их выпустили, а главных, то есть главного зачинщика не нашли...

– Кто же этот главный? – спросила со смирением Иуды Авдотья Петровна, натершая порядком язык, тараторя всем об истории Левенчука и Оксаны.

– Беглый пастух какой-то помещицы, взбунтовавший три артели косарей требованием надбавки заработанной платы при расчете сверх условия... Тоже известное дело...

– Где же он теперь?

– Говорят, убежал в донские плавни и камыши, известный всем притон наших разорителей.

– И его товарища, месье, разыскивают – Милороденко или Александра Дамского по прованию, – заметила, кашляя, Щелкова, – тот так уже прямо ассигнации стал делать, и с ним, говорят, везде был за одно. Я брала у отца Павладия газеты и о нем читала. Моя Нешка, – *ma ser-vante, messieur*[19], – тоже с этим Милороденко подружилась было, когда он еще у Шутовкиных год назад шлялся. Этот еще опаснее. Смел, говорят, до невероятности. Мне его описывали. На взморье он в прошлом году с двумя лодками турецкую кочерму ограбил... Я хоть его и не видела, а кажется, сразу

бы узнала...

– Да, – возразил насмешливо Панчуковский, – и Троекуров у Пушкина хвастал, что узнал бы разбойника Дубровского сразу, а Дубровский у него три месяца учителем прожил... Вы читали «Дубровского»?

– Я ничего не читала и в Рязани, а здесь и подавно некогда.

Слуги в это время убирали закуску в зале и все слышали. Слуга полковника нежданно скрылся и за обедом вышел с подвязанным глазом.

– Что это у тебя, Аксентий? – спросил его рассеянно Панчуковский за обедом.

– За девочкою тут, сударь, погнался за двором у сарайчика, а она меня и съездила кулаком в глаз! – шепнул Шкатулкин ему на ухо.

Полковник в это время ел индейку с жирным фаршем, любимое свое блюдо. Он громко рассмеялся, повеселел, и все с ним повеселели.

– А сдастся? – спросил также шепотом слугу полковник после обеда, – сдастся твоя героиня?

– Сдастся! У старой барыни их здесь целый

гарем-с: останьтесь, сударь; попозднее можно поохотиться. Я взял бубен с собою и заманю их всех к кучеру Конону в хату...

– Посмотрим! Надо осторожнее...

После обеда во время десерта приехал Мо-сей Ильич Шутовкин. Сластолюбивый забулдыга-купчик был на этот раз прифранчен, в тонком сюртучке и чистом голландском белье. Это было после того, как Панчуковский выходил с дамами во двор и плясал с дворовыми девушками трепака. Это была его специальность на всех дружеских съездах.

– Что вы на пирог к нам не приехали? – спросил Шутовкина Митя Небольцев, – мы вас ждали! Верно, опять шуры-муры где-нибудь затеяли? Благо детей к нам вперед послали...

– Ванну моей царице Пентефрии делал-с, так и провозился с ее туалетом; к родным ее отпустил!

Молодежь, бывшая уже снова в доме, прыснула со смеху. Пошли передавать друг другу ответ Мосея Ильича.

Шутовкин стал между тем искать глазами Панчуковского, увидел его в кругу дам, по

обыкновенно в положении оратора, и пома-
нил его пальцем.

– Подь сюда, полковник, подь сюда! – ска-
зал он ему, оглядываясь.

Панчуковский подошел. Шутовкин отвел
его в сторону и не отпускал его руки. Соб-
ственная жирная и теплая рука Мосея Ильи-
ча дрожала.

– Владимир Алексеич, принимай меры! –
начал он степенно и без шуток, упершись в
него серыми и добрыми, будто испуганными
глазками.

– Что такое?

Душа у полковника замерла, чужа что-то
недоброе. Шутовкин оглянулся кругом и про-
должал говорить шепотом:

– Ты от меня скрывал, а бес тебя и попутал!
Я вчера из города прибыл; маклачил там кое с
чем, с чиновниками видался. Ходит, душечка,
там слух, что... одна помещица какая-то... Пе-
репелицына, что ли, приехала и тебя насчет
каких-то денег разыскивает.

Панчуковский вздрогнул и позеленел.

– Ну?..

– Она тебя разыскивает, справки собирает

о твоих делах. Ты ее в любовницах держал, что ли, или венчан с нею? говори!

Панчуковский молчал, не поднимая глаз. Эта весть, видимо, его окончательно сразила.

– Капиталы ты у нее взял, что ли, деньги увез какие? Много?.. Да говори же! Я тебя, Володя, спрашиваю, или ты и от меня скрываться? А брудершафт зачем мы пили с тобой на медни?

Панчуковский опомнился.

– Все это вздор; это сумасшедшая баба, и все тут! – сказал он. – Я ее не приму! Кто меня заставит? Ведь так? Я от нее отрекусь. Ну, отрекусь окончательно!

Шутовкин отвел его еще далее в угол.

– Да она тебе законная, что ли, говори? Это главное. Коли что, то мы ее и спустим! Вот тебе рука моя, брат! Ведь я у тебя в долгу, разве ты позабыл? Без тебя бы я тогда ни-ни, ничего бы не сотворил! Уж отстоим небось; нам эти бабьи дела не впервое. Или ты и в самом деле у нее капитальцу царапнул да сюда в наше приволье тягу дал? Да и почему она Перепелицына, а ты Панчуковский, коли вы, может статья, точно повенчаны? Какие там слухи

ходят?

Панчуковский оглянулся, закусил губу, помолчал, прищурил глаза к стороне нарядной толпы. Подавали уже свечи. Все кругом шумело, лепетало. Рояль гремел. Ставили столы для карт. Аксентий с хозяйским слугой курил на раскаленных плитках лоделавандом, прогоняя запах недавнего обеда.

– Молчи, дружище Мосей Ильич, до времени, как будто бы ты ничего не слышал и не знаешь. Я тебе все после расскажу. Будешь молчать? Руку, товарищ!

– Вот она. Ни-ни! Я... о, я никому ни слова!

Шутовкин и полковник обнялись и крепко поцеловались.

– А крестить будешь у меня, Володя?

– Буду.

– Постой еще...

– Что?

– Если же это, слушай, точно твоя жена... гм! и придется тебе с ней опять зажить по закону, – девочку-то твою ты мне отпустишь, что ли, а? уступишь?

– Никогда, никогда этому не бывать! – сказал полковник. – Я, слава тебе господи, еще с

ума не сошел, чтоб менять кукушку на ястреба...

Они об руку друг с другом вмешались в нарядную толпу. Давно гремел звонкий рояль. Молодежь пустилась в пляс; южная страстишка попрыгать брала верх. Танцевали тут всегда до упаду. Играл Михайлов.

А полковник, снова оживленный и бойкий, стоя в дамском кругу, в гостиной, опять ораторствовал:

– Наши новороссийские степи – это, медам, рай земной! Засухи, саранчу, пыль – все это можем победить и преодолеть. Людей только нам дайте, людей, этих-то белых негров поболее. В каждом месте этой степи проройте колодезь, ключ раскопайте, и сухая, как уголь, черная земля изумит вас плодородием; стада сами к нам придут. Мы об Америке вздыхать позабудем. Свои Куперы у нас будут...

– А теперь, месье Панчуковский? Как вы теперь считаете Новороссию нашу?

– Теперь?.. – Панчуковский иронически улыбнулся.

– Да-с.

– Теперь наши степи напоминают мне

украинскую сказку о том, как обыкновенно перед бедою будто бы в хаты кто-то белый все с улицы заглядывает, считая по пальцам живущих там, спящих и работающих. Народ говорит, что перед последнею здесь чумою, при Екатерине, что ли, на степных курганах рано поутру видали все двух женщин; это были две моровые сестры: младшая – жизнь, а старшая – смерть; они дрались и таскали друг друга за волосы, споря о людской судьбе и готовя народу бедствия. Таких-то сестриц и я все будто теперь вижу тут с недавних пор! – заключил Панчуковский, кланяясь. – И вы меня не уверите; нам беды с ожидаемыми реформами не миновать! Прощай, веселая, спокойная и счастливая сторона! Все здесь вымрет, переведется и зарастет лопухами и чертополохом...

– Какие страсти! Какие ужасы! – шептали дамы, теснясь вокруг него и лорнируя.

– Я уж и ружье приказчику купила, а револьвер у меня всегда теперь под подушкой! – заключила Щелкова, – не уверите вы и меня, чтобы у нас прошло все мирно. Моя Нешка мне вчера платок швырнула со злости.

– Гений, а не человек! – шептали другие дамы, имевшие дочерей, – и как жаль, что неженатый.

Панчуковский оставил дам, незаметно прошел сквозь веселую толпу танцующих в зале, взял тайком шляпу, тихо вышел на крыльцо, переждал, пока запрягли ему лошадей, сел и полетел домой на своей крылатой четверне.

– Отчего же это вы, барин, не дождались и так рано уехали? – спросил дорогою Милороденко с козел, с сожалением качая головою, – а я уж кой-кого подготовил...

– Черт их подери! Я терпеть не могу, братец, этих наших веселостей, особенно же танцев... То ли дело с простыми девочками, где-нибудь под вербой – она пышет, пляшучи, а ты ее целуешь! Не люблю я барышень!..

– Ничего, сударь, и это; тут барышни обнаженно с голыми плечиками бывают... Я всегда в таком случае люблю их танцы и постоянно смотрю из передней-с.

Приехав домой, Панчуковский сел за бумаги; под видом ревнивых предосторожностей в отношении к своей любимице, действитель-

но почувствовавшей признаки интересного положения, он велел опять запирать ворота и все входы и выходы. От главных же дверей в доме ключ взял к себе в кабинет, а на ночь кругом запер весь дом собственноручно.

– Мне это, сударь, невыгодно! – заметил шутливо Аксентий, его раздевая.

– Отчего?

– Вы понимаете-с...

– Ничего! переждешь, брат. Днем наверстаешь, спи в передней! Теперь уж на дворе и холодно; да говорят еще, будто какая-то шайка из острога разбежалась. Подкованцева под суд отдают...

– Шайка-с? Подкованцева? – спросил, перепугавшись, Милороденко.

– Да.

– Ну, так и точно, лучше побережемся! Бедняк, бедняк! Жаль этого-с исправника. А вы за мною – спокойно спите... я ведь покаялся, я нынче монах-с. Любите меня, а я уж по-христиански обойдусь с вами...

Осень кончилась. Пролетели громадные воздушные армии перелетных птиц. Настала гнилая, бесснежная приморская зима, длин-

ные ночи, короткие холодные деньки, с зеленеющими полями, стадами овец в степи, быстрыми и краткими налетными метелями и изредка хмурым, сердитым небом. Снег падает и тотчас почти тает, либо заметет степь, дороги. Все замерзло; вот стал зимний русский путь. Завтра дождь, послезавтра адская грязь. Арбы вязнут, верблюды и волы тонут по брюхо. Одна езда верхом становится возможною. И опять холод, опять тепло. Два дня погрело солнышко – и уж летят снова дикие гуси, журавли; аисты ходят по пустырям, пеликаны по озерам и лиманам. В деревнях барыни на крылечки выставляют цветы на воздух. Овцы опять движутся на подножный корм в поле. А февраль еще на дворе. У побережья в синих волнах снуют лодки, корабли показываются. Невода опять тянут. Костры горят. Торговля зашевелилась. Конторские маклера рыщут по городам. Но небо опять нахмурилось, налетели с севера тучи, и Новороссия, южнорусская Италия, опять становится мертвою, суровою Скифией.

Слухи о мадам Перепелицыной прошли было и замолкли. Панчуковский совестился

ехать в город и лично хлопотать. Он решился показать вид, что спокоен, а потом и в самом деле успокоился. Михайлов уехал в Одессу.

XII

Похождения Милороденко

— Твой соперник, твой Левенчук, наконец пойман! — такую приятною и неожиданною вестью порадовал Панчуковского приятель-исправник Подкованцев, — он пойман в партии неводчиков, близ Мариуполя, и доставлен по месту преступлений ко мне в уезд. Теперь от вас, от тебя, друг Владимир Алексеевич, зависит помочь и мне: меня, брат, упекают под суд за покровительство нашим бродягам. Так ты мне своими связями помоги; а я, пока состою при месте, запроторю твоего соперника туда, куда и Макар телят не гонял. Приезжай, потолкуем.

«Я же его упеку! — свирепо подумал полковник, — все равно теперь нечего делать, поеду!»

Панчуковский слетал к Подкованцеву, условился, как и куда спустить бродягу Левенчука, а кстати, посоветовался и о том, что предпринять с происками уже начинавшей

ему надоедать помещицы Перепелицыной, появившейся в соседнем городе. Было положено: Левенчука избавить от допросов и от следствия по делу о взбунтовавшихся косарях, а скорее послать его как бродягу к его помещикам; если же он их не назовет, то прямо в Сибирь – как непомнящего родства, а о госпоже Перепелицыной пустить в окрестностях молву, что на нее падает подозрение в соучастии с продавцами фальшивой монеты, сделать у нее через приятеля-городничего обыск, напугать ее, а потом и предложить ей уехать обратно в Россию.

– Левенчук пойман! – сказал полковник Шкатулкину, воротясь домой в радости от условия с Подкованцевым и спеша обрадовать эту вестью своего слугу.

– Пойман-с? Быть не может! Ай да полиция-с! – сказал Аксентий, сделавшись между тем белее мелу, – где же-с он?

– Ведут еще в цепях, по этапу!

– Зачем же в цепях, ваше высокоблагородие? Это прижимки-с.

– Как! Да ведь это он был тогда главный-то бунтовщик с косарями!

– А! я и забыл! Куда же его ведут, сударь?

– Должно быть, в Сибирь пойдет.

– Так-с. Жаль парня! Ну, да на то уж ваша барская воля! Значит, чтоб не мешал счастьем...

Полковник перед тем нарочно постращал Шкатулкина вестью, будто бы где-то бежала шайка воров из острога, для того чтоб тот лучше берег дом, по ночам запираемый с обоих выходов самим Панчуковским. Теперь же вдруг слух этот на самом деле сбился. Антропка ездил для кухни за говядиной в город и услышал там, что действительно из соседнего острога через дымовую трубу бежали арестанты.

– Вот, видите ли, – сказал полковник дворне, – чего доброго, еще Левенчук, может быть, убежал! Пропадем мы, право, все, если не будете беречься; запирайте же постоянно на ночь все двери в хатах и ворота во двор да собак спускайте с цепей. Ты же, Домаха, отныне не отходи сверху от дверей Оксаны; теперь она стала спать наверху, так чтоб что-нибудь ее не напугало. Ты знаешь, что теперь надо ее беречь да беречь; сбереги ее, я тебя отблагод-

рю; видишь, какая она стала!.. Я думаю, к Николину дню родить будет... Как же! Точно к Николину...

Итак, полковник спал снова один в кабинете. Дверь через шкаф в соседнюю комнату, отведенную было Оксане, он постоянно запирали. Куча не прочитанных за лето книг и журналов лежала теперь на столе в кабинете, возле кровати Панчуковского, и он, задерживаясь пологом и предварительно взяв к себе ключи от дома, ежедневно, ложась спать, читал до глубокой ночи. Тут постоянно роились в его голове все главные предположения и дерзкие, небывалые мысли о новых спекуляциях. Иногда он вставал, подходил по мягкому ковру к столу, садился писать, незримый более с надворья, вследствие недавно к зиме устроенных плотных внутренних ставней, и нередко заря заставляла его утром еще в кресле в теплом куньем халате, за выкладками, соображениями и письмами. Его переписка была более коммерческая, деловая.

На гумне в это время домолачивалась пшеница. Стоял также еще громадный ряд скирд ржи и прочего менее ценного хлеба и боль-

шие скирды сvezенного овцам со степи сена. Молотила паровая машина. Полковник ежедневно ходил на гумно, стоял над рабочими и оставался там до глубоких сумерек. Шкатулкин же обыкновенно, управившись в доме и поиграв с «барышней» и с Домахой в карты, выходил на крыльцо, сидел тут, курил, смотрел, как догорали недолгие порывистые зимние деньки, либо посмеивался, сплевывая в сторону и труня над разными дворовыми лицами, сновавшими с утра до ночи из кухни в амбар, из амбара в ледник, в погреба, за двор и в дом, и поджидал тут барина.

Раз захотелось Панчуковскому пойти ночным дозором на ток, где лежали большие вороха намолоченной, наваянной и еще не ссыпанной пшеницы в клуне, посмотреть, нет ли плутовских следов к воротам или через каналы, не пользуется ли кто лишним сеном из его же наемных дворовых, державших скот на барском корму. Снег перед тем только что снова выпал после обеда и запорошил белым пушком всю окрестность, двор, овчарни, гумно и батрацкие избы с клетушками.

Было темно. В трех шагах нельзя было видеть человека. Но полковник смело пошел; в кармане его был, по обычаю, револьвер. Аксентий копался в доме, в буфете, готовя чашки к чаю. Полковник по пути кликнул Антропку и пошел с ним. Они миновали батрацкие избы, где уже почти все затихло и спало, прошли овчарни, мельницу и поднялись на взгорье к току.

– Сбегай, брат, Антропка, домой: я забыл спички; принеси! А я тут подожду. На обратном пути закурю сигарку; да также фонарь принеси – легче будет назад идти. Я буду ждать у клуни.

Антропка побежал. Полковник пошел вперед.

Снег почти неслышно шелестел под ногами. Все молчало в мягком, свежем воздухе. Из верхнего этажа дома полковника, через ограду, мерцал огонек из слухового окна Оксаны. «И так это она скоро покорилась и забыла своего жениха! – думал полковник. – Чем женщин не купишь! Или эти украинки, по правде, скотоваты?» Со стороны поля, из какой-то отдаленной, степной овчарни доно-

сился лай собак. «Это верно, волки там похаживают, набегают из соседних камышей!» – раскидывал мыслями полковник.

Вдруг ему послышался шорох шагов за оградой гумна, в стороне, противоположной той, куда скрылся Антропка. Кто-то не то шел, не то ехал возле хлебных скирд, за канавою.

«Кто бы это был такой? – подумал Панчуковский и замер... Волос зашевелился у него на голове. – Вор не вор, зачем же он едет от поля? Это, верно, не наш, чужой!»

– Кто здесь? Эй! кто ты? – крикнул Панчуковский. Незримый путник не отзывался.

– Эй, говорю тебе, отвечай!

– А ты кто? – спросил грубый голос, и шаги направились к полковнику.

– Сторож.

– Нет, погоди! Ты барин сам?

– А хотя бы и барин? – сказал Панчуковский и заикнулся.

– Ну, стой же, коли твоя судьба на то привела!

Незнакомец зашевелился. Панчуковский не успел подумать, зачем это он велел ему подождать и что значили его слова о судьбе, –

даже пьяным ему показался незнакомец, – как мгновенно в пяти шагах от него что-то невыносимо ярко блеснуло, раздался оглушительный выстрел, а в упор перед ним с ружьем обрисовался Левенчук.

– Что это ты? – крикнул Панчуковский, пошатнувшись.

– Шел подстеречь тебя, барин, и посчитаться с тобою навеки; а ты и сам подвернулся... Не прогневайся!

– Кто здесь? Эй, держи, лови! вор, разбойник! туши скирду! – закричал Панчуковский, очнувшись и поняв, что выстрел в него не попал. Пыж от выстрела попал на хлебную скирду, которая дымилась.

– Кто, кто здесь? – отозвался не своим от страху голосом Антропка, прибежавший между тем с фонарем.

– Ну, жалко же, что у меня не двустволка! – сказал между тем Левенчук, – я б тебя уложил.

Антропка кинулся тушить скирду. Полковник выстрелил из револьвера раз, другой и побежал вдогонку за Левенчуком; но последний скрылся в потемках.

– Стойте вы тут, а я сбегаяю за лошадью; людей еще позову, и мы по следу теперь его мигом разыщем!

– Дело! Беги, а я здесь пережду! – говорил Панчуковский, едва переводя дух.

– Натe спички, держите, насилу разыскали их с Аксентием в кабинете. Ах ты, ирод, так ты не покайся! С ружьем пришел!

Антропка без памяти побежал снова домой. Панчуковский отыскал на земле брошенный Антропкой фонарь, нагнулся, закрыл его полой и зажег в нем свечу. Руки его дрожали. Он прислушался: по полю в другом конце от гумна кто-то бежал... Полковник стал искать следов. Шаги беглеца были отлично видны по свежей пороше; верхом, с фонарем, легко его было найти. Лишь бы не зарядил он опять ружья и снег бы снова не пошел. «А! – шептал Панчуковский, – верхом левее, и весь заряд сидел бы уже в моей груди, а я метался бы, как отбегавший свой век заяц! Где смерть-то моя ходила!.. И надо же было пойти дозором на ток и на него, беглого из острога, наткнуться!» Сердце его усиленно билось; кровь стучала в висках. Поднимался легкий

ветерок, будто метель собиралась. «Боже, когда бы снег не пошел, чтобы его разыскать! добратья бы мне наконец до него! Какова дерзость? И что делается со мною, – непостижимо! Откуда такие напасти?» Раздался громкий конский топот. Прискакали на блеск фонаря на батрацких лошадях Антропка, приказчик, летом бывший причиною неудовольствия косарей, и еще четыре работника, наскоро, даже без шапок.

– Вот вам фонарь; скачите, догоняйте, моллю вас, ловите его!..

– Слушаем-с! Вряд ли уйдет!.. Разве где лошадь припасена у него, али снег успеет запорошить следы.

– Разве и мне не поскакать ли также с вами?

– Еще чего бы не было! Лучше оставайтесь. Домой идите... Мы мигом обознаем все! – крикнул из-за канавы приказчик, и верховые поскакали.

Панчуковский пошел к дому, он был в сильном волнении. Начиная действительно падать снег. Не успел он до ворот дойти, как повалили огромные хлопья.

«Уйдет, уйдет! – думал Панчуковский, – пропало мое дело. Вот бы поймать его! Что до суда и следствия, а я бы его еще сам пробрал...»

Во дворе было тихо. В кухне не светились уже огни. Было освещено по-прежнему только окно наверху в доме, у Оксаны, да в лакейской виднелся Аксентий, смиренно копавшийся с иглою и с какою-то одежей у свечки. Сторож, по местному названию «бекетный», не сразу отворил на оклик барина ворота. Слухи, действительно немаловажные, ходили о шалостях местных грабителей и воров, и все держали ухо востро.

– Кто на очереди? – спросил Панчуковский.

– Самойло.

– На же спички, Самуйлик, да беги скорее в кухню, зажги конюшенный фонарь и давай его мигом мне! Есть дело; может быть, сейчас также поскачем с тобою; оседлаешь тогда мне жеребца!

Седой хрыч Самойло с просонков у сторожки едва разобрал слова полковника, пошел, переваливаясь, и воротился из кухни с зажженным фонарем.

Панчуковский наскоро передал ему о случившемся. Отворили конюшню; Самуйлик побежал в каретник взять седло, как за воротами раздался снова шум и громкий крик приказчика: «Отворяйте!»

– Стой! погоди! – сказал Панчуковский и сам пошел, прислушиваясь к говору за воротами.

– Да отворяйте же! – кричал приказчик, – это мы, свои! лисицу поймали!

Самойло звенел ключами. За воротами кто-то тихо охал.

Верховые въехали во двор. Подвинули к лошадям фонарь. Полковник взглянул. Антропка сидел на седле, качаясь. Он весь был облит кровью...

– Что это? кто тебя ранил?

Антропка молча указал в сторону, хватаясь за бок.

– Живодер, сударь, успел опять зарядить ружье и, выждав нашу погоню, выстрелил...

Панчуковский выхватил у Самуйлика фонарь, поднес его к человеку, связанному уже по рукам и ногам и прикрученному за шею к седлу приказчика. С волосами, упавшими на

лицо, и запорошенный снегом, перед ним стоял, мрачно понурившись, Харько Левенчук.

Сперва было полковник его не узнал.

– Ты меня опять поджигать пришел?

– Тогда не поджигал; вы на меня донесли, меня ославили; так я уж думал один на один посчитаться...

– А, вот что! Слезай, Антропка! Батраков остальных сюда! Держи его! А! так ты признаешься? Слышите вы все?

Самуилик судорожно заметался. Приказчик убрал в конюшню лошадей. Левенчука привязали к коновязи. Полковник, по-видимому, не горячился, говорил тихо, но свирепел более и более. Сбежались другие перепуганные батраки. Их расставили на часах. Кто был потрусливее, того отослали обратно. Готовилась сцена, какими иногда увеселял себя полковник.

– Розог сюда, палок!

– Чего бы еще не было от этого? – шепнул было Панчуковскому приказчик. – Лучше бы его так доставить в суд.

– Молчать! Я вас всех переберу! Розог, кнутов, палок.

Явились и кнуты, и розги. В доме было все тихо. Туда никто не входил, и там ничего не знали. По-прежнему светились тихие окна Оксаны и Аксентия.

– Нет, душечка! нет, голубчик! – шептал Панчуковский, – пока до суда, так ты опять еще уйдешь из острога в печку, а вот я тебе перемою тельце, переберу по суставам все твои косточки... Клади его, Антропка! Самуйка сюда! Где он? Ну, живее!.. Куда он тебя ранил, Антропка?

– В бок, дробью-с.

Явился Самуйлик, скорчил грустно губы, да нечего было опять делать – воля барская...

– Он, сударь, вольный, может статья! За что вы его бить хотите! – отозвался, сняв шапку, один из батраков.

– Молчать! – орал уже на весь двор Панчуковский. – Каждого положу, кто хоть слово пикнет! Клади его, бей; а ты, Антропка, хоть и раненый, считай... Огня мне; пока выкурю сигарку, не вставать тебе, анафема!

Началась возмутительная сцена...

Левенчук, как лег, не откликнулся, пока над ним сосчитали триста ударов.

– Довольно! – сказал полковник, – повороти хохла да посмотри: жив ли он? Что хохол, что собака – иной раз их и не различишь...

Левенчука повернули к фонарям лицом.

– Так вот она, воля-то ваша, братцы! – проstonал Левенчук, чуть шевелясь от боли, – а вы лучшей тут искали?

Толпа с ропотом шумела...

– Ну, ну, не толковать! Воды ему, окатить его да дать напиться! – крикнул полковник, отходя к крыльцу. – Это кто? – спросил он, наткнувшись на кого-то в потемках и поднося к его лицу фонарь.

То был Милороденко... На нем черты живой не было.

– Барин! зачем вы так тиранили человека? – спросил он.

– Так и учат скотов! Да если и вы все его защищать станете, лучше убирайтесь на все четыре стороны. Лишь бы лес был, а волки будут... Я, брат, военная косточка и шутить не люблю.

Милороденко пропустил барина молча мимо себя.

Но едва полковник скрылся в доме, он

опрометью побежал к конюшне, где так неожиданно наткнулся было на истязания бывшего приятеля.

– Где он, где он? – шептал разбитым голосом Милороденко, расталкивая батраков.

– Вон, Аксентий Данилыч, водою отливают; замер, горемыка, чуть его бросили... Как бы чего барину не было!..

– Барину? – закричал Милороденко, – а человеческую душу загубил, так про эту душу и не вспомните? Еще воды сюда! Снегу на голову – водки в рот. Эй, на вот целковый, сбегай в шинок!..

Очнувшиеся батраки зашевелились перед новыми приказаниями. Стадо людское шло туда, куда пастух вел, кто бы он ни был...

Прошло часа полтора. В кабинет полковника вошел Аксентий. Он молча положил ключ от каретника на стол, у подушки Панчуковского. Глаза его были заплаканы, волосы всклоочены.

– Ну?

– Извольте ключ-с; приказчик прислал...

Милороденко не поднимал глаз от полу.

– Связали? уложили его в каретнике, как я

приказал?

– Заперли связанного. Утром можно в город послать-с... Только знаки, барин, будут видны – не было бы чего...

– Ложись спать да двери запирай! Не твое дело! Терпеть я, братец, не люблю рассуждений. Это ты мог делать у Шульцвейна, у других...

Аксентий покорно ушел. Прошло еще с полчаса. Все замолкло. Огни везде опять погасли. Ворота со скрипом затворились. Умолкли и собаки, лаявшие под этот необычный ночной шум.

Полковник встал, выпил залпом два стакана воды, надел халат и туфли, обошел весь дом, увидел Домаху, спавшую у дверей Оксаны, зашел на Оксану взглянуть, увидел Аксентия, со смирением агнца храпевшего уже на коврике в лакейской, воротился в кабинет, запер его на ключ изнутри и с легкою дрожью улегся снова в постель, задернув атласный полог. Он долго не спал, слышал, как часы наверху пробили два и потом три, как петухи прокричали вторично. Наконец он забылся.

Ему все снились отрадные картины. В по-

тайном железном английском сундуке его кассы, врезанном в его письменный стол, грезились ему, лежат уже не сто пятьдесят тысяч рублей тайно увезенного жениного капитала, а вдвое против этого. Оксана дарит ему сына, толстенького гетманца, с черными кудрями, и нарекут ему имя также Владимир. А по пустынной, зимней степной дороге, на север тянется под конвоем длинный этап: впереди его идет в цепях Левенчук, а сзади – уличенная Подкованцевым в сношениях с фальшивыми монетчиками супруга Владимира Алексеевича, рожденная купеческая дочка Настасья Гавриловна Перепелицына. Сон длится далее. Хутор Новая Диканька уже расширился, превратился в мануфактурный и промышленный городок. Полковник назначен военным губернатором, управляющим и гражданскою частью. Высятся кирпичные фабричные трубы. Каменные корпуса поднимаются по улицам. Извозчики ездят. Дремучие рощи окружают собственный дом полковника. «Это уже и отца Павладия перещеголяло!» – думает Панчуковский и вместе с тем в испуге просыпается...

Что это?

Комната его странно осветилась. В дверной секретный шкаф вошли беззвучно какие-то лица. Над постелью его стало что-то высокое... Он вскрикнул и, обезумевши от смертного ужаса, кинулся за края полога.

– Ни слова! – звонко сказал стоявший над ним. – Теперь уж молчи, барин; теперь уж наша воля, – это видишь?

Смотрит полковник: его слуга Аксентий стоит над его ухом и держит собственный револьвер полковника.

– Что ты, Аксентий? с ума сошел?

Шкатулкин, уже одетый в платье своего барина, видно, не шутил.

– Барин! – сказал он, – ты теперь молчи; пикнешь слово – вот тебе бог святой – пулю в лоб пуцу! Нам что теперь? Все подавай свое и баста! Прележишь смирно – жив останешься...

Панчуковский оглянулся: за пологом стоял освобожденный, истерзанный им за три часа назад Левенчук. В руках последнего был нож.

– Боже! не сон ли это? – шептал Панчуковский, пугливо взглянув на окровавленные во

время истязания волосы и взбитую бороду бледного, как труп, Левенчука.

– Что же вам нужно? – спросил полковник, – и что это ты, Аксентий, затеял?

– Ты теперь, ваше высокоблагородие, уж тоже молчи! Пистолет-то твой, как видишь, у меня! На, Хоринька! – прибавил Милороденко, подавая пистолет Левенчуку, – держи эту штучку да посади барины-то, обидчика твоего, обратно на постель, то есть положи его сразу в лоб-то, коли что затеет, а мне некогда! Да ты, может, барин, хочешь знать, кто я? Спасибо за угощение: я Милороденко! Не удалось покаяться, как видишь...

– Ну, теперь слушай уж и ты! – сказал, переступая с ноги на ногу, Левенчук, – садись и молчи; я тебя уложил бы тут навеки... так старший не велит! У нас с ним свои счета...

Панчуковский упал обратно на постель. Он уже и за ногу себя ущипнул, все еще полагая, не спит ли, и охать принялся, и даже попросту заплакал. Верзила Левенчук стоял перед ним, как каланча, изредка шевелясь и косясь на него.

Милороденко, между тем облачившись в

платье полковника, им же почищенное с вечера, с обычной юркостью заметался, хлопоча, по комнате, и, увидя, что пригрозил полковнику достаточно, успокоился и стал даже пошучивать:

– Вот, барин, ты не захотел его давеча помиловать, вольного-то человека, беглого, пташку божию посек, теперь и не прогневайся! Вся твоя дворня перевязана; рты у каждого заклепаны, как бочоночки, – мы вот и распоряжаемся! Ты, я думаю, удивился немало? Теперь уж ты нам ответ дашь: я, сударь, повторяю, Милороденко! Не веришь? Ей-богу-с!..

И он шнырял по комнате. Кругом было тихо.

– Боже, боже! Что они только с нами доныне делали, Хоринька. Правда? – заключил Милороденко, укладывая в чемодан все, что было поценнее из вещей в кабинете, и потом прибавил: – Ты, барин, думаешь, что я шучу? Как решился я освободить приятеля, он прямо шел тебя убить...

Панчуковский вдруг вскочил, кинулся к двери и крикнул громко: «Сюда, сюда, люди! грабят, режут!» Голос его звонко отдался по

комнатам.

– Шалишь! – перебил его, загородя ему дорогу, Милороденко. – Ну, Харько, где теперь те бечевочки, что мы на их барскую милость приготовили? Видно, без этого и с ним не обойдется!

Левенчук достал веревку, при помощи франтовато одетого Милороденко с силой ухватил Панчуковского, зажал ему рот, наставил к виску его пистолет, и в два мгновения полковник, связанный, как чурбан, лежал уже на кровати. Милороденко не без грубости заткнул ему рот концом простыни, причем полковник ощутил скверный вкус мыла, обернул его лицом к стене и прибавил:

– Ну, слушай же теперь, барин, в последний раз: теперь уж не шути; или ты не веришь? Чуть обернешься назад, аминь тебе! Нож в спину по рукоятку! Лучше лежи, а не то пуля.

– Харько! гайда! – шепнул он Левенчуку. Приятели сорвали планку с потайного замка в рабочем столе, подмеченную заранее Милороденко, вскрыли замок и ящик, вытащили связку бумаг, нашли мешочек с золотом,

несколько связок депозиток. Руки у Милороденко дрожали. Левенчук тяжело дышал. Все уложено в другой чемоданчик.

– Бери! Скорее! Неси на двор!.. Нет, лучше стой над ним, а я понесу!

Милороденко выскочил из дому. Там на дворе он сложил все в кучу под крыльцом, где так часто молился. Осмотрелся еще раз, обежал кухню, амбар, подворотную сторожку. Везде было тихо. Собаки были убиты. Перевязанная дворня лежала спокойно. Освободив Левенчука, Милороденко по очереди с ним перевязал всех мужчин и баб, поодиночке, с барским пистолетом в руках, свел их в один из погребов и с забитыми ртами посадил туда, пригрозив выпустить каждому кишки, чуть кто голос подаст. Да уже одно сознание, что он Милороденко, сковало рты всем невольню.

Выкатив фаэтончик полковника, Милороденко вывел его лошадей, пока еще было темно, к погребу, сбегал с фонарем, освободил оттуда обомлевшего от страха Самуyliка, вывел его, с угрозами заставил запрячь фаэтон, связал его опять, толкнул в погреб, уложил

чемоданы и забежал обратно в кабинет.

– Что, смирен теперь наш князь? Ты теперь молчишь барин, а? А не хочешь ли мы тебе девочку хорошенькую достанем?

«Вот опростоволосился! – думал полковник, жуя отвратительную простыню, – того и гляди зарежут! боже! хоть бы в живых оставили!..»

– Какой ему черт теперь, молчит! – свирепо сказал Левенчук, сплюнул в сторону, – да пора уж, чего ты там возишься?.. Пора отсюда вон...

– Ну, стой же еще малость... Надо и о твоём, голубчик, добре подумать.

Левенчук вздохнул и сел:

– Да, пора бы! Жил ты тут сколько времени, хоть бы догадался освободить ее!

– Уж я тебе обещался, только молчи! не знал, где ты. Да и что ей случилось! В холе жила, я с нею в карточки баловался... А я у тебя в долгу – помнишь, за порцию?..

Милороденко поднялся наверх по лестнице. Полковник слышал, как там на мезонине произошла возня. Кто-то не своим голосом взвизгнул, тяжело рухнулся и покатился вниз

по ступеням. Опять все затихло. «Домаха отплачивается, бедняга!» – подумал полковник.

Та же потайная дверь в шкафе отворилась в кабинет. Показалась опять голова Милороденко.

– Теперь, Харько, бросай его; иди сюда! Ну, скорее, светает!..

Левенчук ступил в соседнюю комнату. Там впотьмах стояла, опустя голову, судорожно рыдавшая Оксана.

– Ну-ну, барышня, перестаньте, целуйтесь да идите скорее! Пора; ой, ей-же-ей, пора! Поймают, тогда все пропало. Теперь уж и у тебя, Хоринька, хвост навеки замаран.

Он толкнул одурелого от встречи с Оксаной Левенчука. Левенчук вывел Оксану. Внизу лестницы стонала Домаха.

– Ты, Оксана, молись богу, – шептал Левенчук, – а я тебя прощаю – не ты виновата...

– Барин, а барин! Слушай! – сказал Милороденко, входя в кабинет, – я тебе сослужил службу; надо же было и посчитаться. Задавить тебя, повесить, зарезать – все одно что плюнуть. Мы тебя так кидаем, живи, только не дерись больше с людьми православными!

Тронешь кого пальцем – аминь тебе, помни! Где ни буду, явлюсь хоть с того света! Да постой, полежи еще маленько; встанешь раньше срока, пока сам я тебе крикну, – убью; пришлю Левенчука; он раз по тебе дал промах, теперь уж не промахнется. Прощай! живи – и нам на твое счастье пожить хочется.

Милороденко вынул все ключи, запер обе кабинетные двери снаружи, связал еще покрепче Домаху под лестницей собственным ее же фартуком, вскочил на крыльцо и запер дом на ключ со двора. Уже заметно светало. Оксана сидела в фаэтоне. Левенчук, склоня голову к ручке экипажа, стоял возле. Они грустно шептались...

– Ну, пташки мои, готовы? освободить ее для тебя, сердце Хоринька, всегда было нетрудно; да куда бы она делась без тебя? А ты вот что подумай: я тебя не обидел... я берег ее... Это за водку, помнишь?

Еще раз подбежал Милороденко к погребу, постучал, погрозился, велел всем снова дожидаться и молчать, пока и их он позовет, тихо отпер ворота, вывел четверню за ограду, воротился назад, запер ворота изнутри, перелез

через ограду по лестнице, вынеся предварительно из каретника Левенчуку кучерской армяк, одел его, посадил на козлы, а сам сел в полковницком отставном военном пальто и в фуражке с кокардой в фаэтон к Оксане. Лошади тронули, выехали шажком за клуню, за косяк. Левенчук стал по ним бить, что было мочи; они подхватили вскачь и унеслись скоро из виду. Может быть, никогда еще их быстрый бег не приносил на земле столько счастья. Оксана плакала, колотясь головой о стенку фаэтона.

Долго ждал связанный полковник со всеми своими домочадцами условленного знака освобождения. Уж совсем рассвело, солнце взошло. Батрацкие хаты задымились. «Что за чудеса!» – думали батраки, ничего не знавшие о заключении вчерашней истории и видя, что из полковницкого двора никто не показывается: ни кучер не ведет лошадей на водопой, ни приказчик не идет звонить к конторскому столбу. Сошлись работники к ограде; ворота заперты изнутри. Постучались, стали кричать; никто не отзывается. Крики их были слышны в погребе; но перевязанные

там не могли ни крикнуть, ни двинуться, да и заперты были тоже на ключ. Опомнилась прежде других и нашла средство действовать старая Домаха. Она разорвала ветхий фартук, опутавший ей руки и ноги, тихо обошла комнаты, постояла, хныча, у дверей кабинета, тщетно силилась их отпереть, пробовала выйти на крыльцо – и там двери снаружи были заперты. Она взошла, охая, наверх, увидела народ за воротами, сначала и его приняла за разбойников, потом узнала кое-кого из своих и решилась подать ответ в форточку двери над балконом.

– Что, бабушка, там у вас такое? – пугливо спрашивали голоса из-за ограды.

– А у вас, братцы, что? Ох, напугали, окаянные! Несчастье стряслось!

– Ворота заперты, и никого не видно со двора...

– И тут двери кругом заперты...

– Ды ты, тетка, отбей чем-нибудь!

– Чем же отбить?

– А где барин?

– Не знаю. Тут чудеса были, да и только...

– Ты дверь выставь на балкон, замок двер-

ной отопри, а замазка и так отскочит...

Домаха успешно выставила дверь на балкон.

– Простыни свяжи, бабушка, да и опустишь наземь! – суетливо кричали голоса из-за ограды.

Домаха явилась с простынями, осмотрелась, что разбойников нет, и наскоро передала, что случилось ночью в доме. По ее словам, все внутренние комнаты были заперты, и бари́н в доме не откликался.

– Боюсь, как бы не убиться, братцы...

– Не убьешься! лучше свяжи, тогда и нам отворишь двери и ворота, невысоко...

Старуха связала толстым жгутом простыни и стала прикреплять их к балконным перилам. В это время со степи показался верховой. Ничего не подозревая, он тихо подъехал к воротам. Это оказался рассыльный местного откупщика. Он слез с лошади.

– Здравствуйте, братцы!

– Чего ты?

– К приказчику.

– Погоди, ты видишь, что у нас делается! И приказчика не найдешь...

Ему рассказали, в чем история.

– Где же ваш барин? – спросил удивленный рассыльный.

– Где? А бог его знает где...

– Да я его встретил под Андросовкою!

– Как под Андросовкою!

– Именно же под Андросовкою; в коляске на ваших конях и поехал; должно статья, рано выехал! И ваших коней и коляску знаю; только кучер, пожалуй, что и не ваш. Волосатый такой. Еще полковник высунулся и поглядел на меня; а я ему шапку снял.

Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась и Домаха.

– Куда же это он поехал?

– Не знаю; с ним и ваша-то, знаете?

– А! в самом деле, братцы, где наша Оксана? да где и остальные!

– Не замайте, не мешайте! – говорила старуха, привязывая простыни к балкону и мотаясь перелезть через перила.

Охая и крестясь, она перевалилась за баясы, повисла на воздухе и благополучно стала спускаться вниз. Шутки смолкли. Все чуяли узнать что-то недоброе.

Домаха спустилась наземь, перекрестилась еще раз и отперла ворота. Все гуртом вошли во двор, ошарили все углы, кухню, сарай; нашли очумелых от страха пленников в погребу, освободили их, вывели на воздух.

– Кто это вас?

– Милороденко, братцы! Ох, господи спаси и помилуй! Господи спаси...

– Как Милороденко? Откуда он взялся?

Приказчик и Антропка первые оправились и стали ругаться.

– Это же он и есть окаянный, Аксентий-то наш, что барин у немца нанял; это и есть Милороденко, что господа у Небольцевых толковали и что суд его разыскивает! Он у нас и жил...

– Снял же я живодеру этому шапку! Да не нарядить ли вам за ними, ребята, погоню? – сказал рассыльный откупщика.

– Да, ищи теперь ветра в поле!

– Однако же, что с домом да с нашим барином случилось? Где он?

Расспросили еще раз Домаху, взломали двери с парадного крыльца, вошли осторожно, осмотрели все комнаты. Все на своих ме-

стах. Подошли к кабинету; двери заперты и без ключей.

– Надо ломать двери...

– Надо.

– Кузнеца сюда!

Явился кузнец, тот самый батрак, что Левенчука когда-то защищал. Руки его дрожали. Долото не попадало в щель. Сломали замок превосходной лаковой дубовой двери, вошли в кабинет и сперва за запертыми внутренними ставнями ничего не разглядели. Отперли ставни, отдернули полог – и судите, каково было общее изумление, когда на кровати оказался связанный и с заткнутым ртом полковник.

Его освободили. Измученный и нравственно убитый со стыда и злости, он долго не знал, что говорить и делать; наконец наскоро расспросил каждого, что с кем было, отпустил всех и остался с приказчиком и с Самуиличком.

– Так и лошадей нет? – спросил он, опустив голову и кусая до крови ногти.

– Уведены-с тоже...

Панчуковский быстро подошел к столу,

увидел вскрытый потайной ящик, разбросанные бумаги, ухватился за голову и упал без чувств... Кое-как его оттерли, дали воды напиться.

– Все погибло, все погибло! – кричал он, как ребенок, и бился об стену. – О боже, боже, все погибло! Лошадей, хоть каких-нибудь лошадей! Садитесь верхами, скачите, ищите их! у меня украдены все деньги... все!

Новый ужас обнял дворню. Забыв тревогу, усталость и недавний страх, все, кто мог, вскочили на машинных, даже малоезженных табунных лошадей и поскакали.

– Десять тысяч целковых тому, кто найдет их и воротит мои деньги! – кричал Панчуковский с крыльца, бегая то в конюшню, то за ворота.

Написаны повестки в стан, в суд, в полицию трех соседних городов.

К знакомым и к приятелям посланы особые гонцы.

Панчуковский взошел наверх. Комната Оксаны была пуста.

«Разом какого счастья лишился я! – подумал полковник. – Говорят, что человек идет в

гору, идет и вдруг оборвется... И правда!..»

Полковник бродил по дому, проклинал весь мир, звал к себе поодиночке всех, кто еще возле него остался, советовался, кричал, сердился, делал тысячи предположений, рвал на себе волосы, беспрестанно бегал на балкон, смотрел в степь, наводил во все стороны ручную подзорную трубу и плакал, охал, как маленький ребенок.

Из посланных некоторые воротились к обеду, другие к вечеру, третьи вовсе еще не воротились. Ответ был один: никто ничего не открыл. Беглецы ускакали без следа.

На рассвете длинной темной ночи, в которую никто в доме и во дворе полковника не заснул ни на волос, к крыльцу Панчуковского с громом подъехал экипаж.

– Немец приехал! Шульцвейн! – сказал кто-то, вбегая к полковнику, который лежал, обложенный горчичниками, в постели. На столе стояли склянки с лекарствами. Доктор сидел возле.

«Опять его судьба ко мне в такой час заносит!» – с невольною досадою подумал Панчуковский и молча, с грустной улыбкою протя-

нул руку входившему в кабинет колонисту.

– Ist es möglich?[20] – спросил Шульцвейн, грубыми и неуклюжими шагами подходя к кровати Панчуковского. – Есть ли какое вероятие в том, что разнеслось теперь о вас?

– Все справедливо! – тихо сказал полковник, качая головою из подушек.

– Кто же это все сделал?

– Слуга, рекомендованный вами.

– Ай-ай-ай! И я причина вашего разорения, может быть, гибели? Ах, mein Gott, mein Gott! [21] Я бесчестный человек!

Панчуковский попросил его прийти в себя, успокоиться, сам сел и попросил сесть гостя. В той же синей потертой куртке, с теми же длинными костлявыми ногами, румяный и белокурый колонист уселся, охая и поминутно ломая руки.

– То, что случилось со мной, Богдан Богданых, могло, наоборот, случиться и с вами. Не в рекомендации дело; вы его не знали и за него не ручались. Дело с беглыми, как видите, у меня оборвалось...

– Но я, я!.. Через меня! Ах, mein Gott, mein lieber Gott!

– Вы мне порекомендовали этого негодяя, зато от вас я впервые узнал и о моей красавице... Что теперь от вас таиться? Шутка судьбы?

Отчаянию и неподдельной горести Шульцвейна, однако, не было границ. Он ходил по комнате, размахивал мозолистыми руками, останавливался, делал тысячи предположений о поимке грабителей, вызывался сам их искать, сам своими средствами; предлагал на первое время часть собственного капитала к услугам полковника, для его первых хозяйственных оборотов.

– Сколько же они у вас всего похитили?

– За двести тысяч... да-с!

Шульцвейн падал на диван, топал уродливыми ногами, вопил, осклабляя розовые сочные губы до ушей, стонал, бил кулаками в стол, себя в грудь и кричал: «Двести тысяч, двести тысяч!»

– Да что вы так выходите из себя? – уже иронически спросил полковник.

– Это деньги нажитые, трудовые! Я знаю труд! Я его знаю! Боже мой, боже, когда бы их нашли! О, если бы их нашли!

– Вы видите, я спокоен. Мне жаль более моей красавицы. Видите, я вам сознался...

Утром подъехали другие соседи: братья Небольцевы, Швабер, Вебер, Авдотья Петровна Щелкова. Шутовкин вошел, похрамывая и проклиная дорогу. Он особенно нежно и с чувством пожал руку полковника.

– Душа, Володя! Я тебя лучше других понимаю; не денег тебе жаль, ты жалеешь другого сокровища – ее! Она готовилась тебе подарить ангела-сына или, может быть, дочь.

Шутовкин, едучи к новому другу, выпил.

К обеду прискакал Подкованцев. Он был смирнее, не попросил по обычаю ни бювешки, ни манжекать, внес портфель, достал оттуда какую-то бумагу, подал ее Панчуковскому и, обратясь к присутствующим, сказал:

– Меня, господа, берут у вас, гонят в отставку; вы меня не отстояли, а увидите, – без Подкованцева вам житья не будет.

– Нет, мы вас не отдадим...

– Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я тот же-с, как и был! Вы бы послушали прежде мои новости: фээтон, господа, полковницкий я нашел, и его сюда уже везут...

– Нашли, экипаж нашли! – закричали слушатели и сбежались поздравлять полковника, – а лошади?

– Один экипаж пока, – печально заключил исправник, – экипаж и два пустые чемоданчика на берегу моря, *an bord de la mer, messieurs*[22], только покамест и нашли! Но найдем и остальное. А лошади пали, загнанные вскачь на сорока пяти верстах... Жаль их!

– Как же это нашли?

– Видите ли: новые чиновники-чистуны брезгают приемами отцов и дедов, а мы еще живем по старине. Я гаркнул на моих сокольников, значит, созвал ближайших к городу моих приятелей, то есть разных мошенников-с – извините, – и сказал эйн вениг такое наставление: ищите и обрящете, толцые и отверзетя, а чтоб вы мне полковницкие вещи разыскали! Всех переловлю!

– И нашли!

– Нашли пока одно; может, найдем и другое...

Присутствующие стали строить новые планы поисков.

– Деньги Владимира Алексеевича в золоте,

значит, появятся либо в портах, либо в Нахичевани. Надо там следить! Да и как следить? Стан за сто верст, суд за сто двадцать! Этакая даль, пустыня...

– Ничего из этого не будет! – решили другие. – Денег не воротишь! надо облавы на этих проклятых беглых сделать; это от них все бедствия идут, оттого что у нас людей без паспортов держат.

– Да вы же их, Дмитрий Андреевич, держите больше всех нас, вы же! – сказал кто-то Небольцеву.

– Хороши и вы. А кто кучера моего передерживал в прошлом году, а?

– А мою девку-с?

– А моего табунщика?

– Да он же не ваш?

– А чей же?

– Он тоже беглый, а не ваш; я потому его и держал.

Авдотья Петровна Щелкова вбежала впопыхах.

– Мосье, фаэтон Владимира Алексеевича привезли!

Все выбежали на крыльцо. У конюшни

действительно стоял весь избитый и загрязненный фаэтон. Его привезли на обывательских. Самойло держал его рукою за колесо.

– Что, брат Самуйлик, не думал дожить до такой жалости? – спросил кто-то.

Покачал седою головою Самуйлик и ничего не ответил. Все дворовые ходили как шальные.

– Конец нам, видно, приходит! Бога мы вконец прогневали!

Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «Двести тысяч, двести тысяч! это еще небывалое дело в крае!»

– Как, однако, экипаж отделали! Да и погода грязниться стала. Ишь как потеплело; облака не зимние бегут, будто весной пахнет. Как бы сегодня дождя не было! Распустит, засядем все мы тогда здесь у полковника на неделю...

– И в самом деле, господа, пора бы по домам, – сказал Вебер.

– Погодите, исправник еще ждет сегодня одной справки: он на плавни, в камыши послал лазутчиков: не туда ли скрылись беглецы?

– Весной запахло, больших барышей Подкованцев лишится; теперь от контрабанды им только и житье настает! Недаром же он у моря терся, что там так скоро нашел брошенный фаэтон!

Перед вечером приехал нарочный верховой из-за Андросовки с вестью от лазутчиков от соседних греков.

Действительно, по слухам, беглецы переметались к Дону и скрылись в его гирлах, в камышах. Бросив фаэтон, они наняли у каких-то неводчиков повозку, а потом сели на отходившую береговую барку, прошли часть пути водою, по взморью, и скрылись по направлению к устьям Дона.

К ночи еще более потеплело. Пошел дождь. Гости бросились по домам. Исправник заночевал у полковника.

Утром Подкованцев проснулся; над степью плыли теплые непроглядные туманы. Снег исчезал. Поля отдавались уже картинами нежданной-негаданной весны. Мигом в сутки распустило так, что исправник в обеденное время другого дня выехал от Панчуковского в тарантасе, гуськом, в двенадцать ло-

шадей. И то поехал, еле-еле тащась, в океане невообразимой грязи. Дождь пошел и лил три дня сряду. Стала небывалая распутица.

Зато тут же, между двух-трех дождей, среди еще не сошедшего снега, откуда взялась зелень. В степи показались озерки; мелькнули весенние цветы. В облаках затурликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Через новых три-четыре дня в одиноких затопленных оврагах, покрытых лесками, загревели недалекие крымские и кавказские гости – соловьи. В воздухе запахло почками тополей. Дни прояснели. Подул с юга крепкий морской ветер. Туманы уплыли. Пышно засинело у берегов море. А Дон, дробясь мутными потоками песчаных гирл, бурлил, кипел, шумел и катил к нему свои пенистые и привольные воды.

Окна выставлены, о шубах и помину нет. Плуги бороздят уже степи. Стада высыпали в поля. Теплый душистый пар струится и стелется над тихими, веселыми долинками и пригорками. Стада овец пасутся, утопая в парках. А солнце весело-весело катится, и каждый, радуясь отходу недолгой зимы, мигает, с любовью взглядывая на ярко сверкающее

небо.

XIII

Облава на беглых

Ускользнув от преследований полиции, Милороденко, Левенчук и Оксана пробрались к вечеру дня, в который на хуторе Новой Диканьке произошло такое событие, к глухой Сасуновой балке, недалеко от морского берега. У Милороденко были везде приятели и помощники. Загнав полковницких лошадей, он очень скоро достал у какого-то прибрежного неводчика новую тройку, и на ней беглецы еще несколько времени проскакали на телеге по взморью. У песчаной пустынной горы они пересели на парусную барку и пошли морем. День был пасмурный. Лодка обошла в тумане ряд береговых мелей и причалила у тощего, чуть видного в камышах, ручья. Тут Милороденко сказал: «Стой, братцы, тут мы выйдем!» – бросил гребцам договоренную плату, надбавил еще на водку, и беглецы пошли вверх по течению ручья, а лодочники, обрадованные невиданным заработком, поспешили снова в море.

Ручей вытекал из степного оврага Сасуно-

вой балки. Там вечер, а вскоре и ночь застала беглецов. Притаща на себе остальные чемоданы, они вошли в камыши, окружавшие истоки ручья, выбрали место посуше, на склоне оврага, у прошлогоднего стога сена, накошенного тут кем-то по низу балки, и сели отдохнуть.

– Ну, Хоринька, не знаю, как ты, а я у лодочника захватил хлеба и рыбки. Садись с подругою да закусывай, чем бог послал.

– Не то у меня на уме теперь, чтоб хлеб есть! Оксана, возьми ты; не затощай – дорога еще не завтра кончится...

Оксана взяла хлеб и рыбы.

– Куда мы денемся теперь? – спросил Леуенчук. – Что это вы с нами сделали, Василий Иваныч?

– А! Как куда? Как это – я сделал?

– Зачем это вы у полковника деньги взяли?

– Деньги? Шалишь, братец! Ах ты, простота, простота. Да деньги-то всему сила. С ними, брат, теперь нам море по колено будет, а счастье в ноги нам будет кланяться!

– Не будет!

– Будет!

– А как не будет? Как поймают-то нас теперь, в кандалы закуют да по острогам морить станут, а после в каторгу сошлют, и еще палач-то тебя кнутом отдерет?

Милороденко засвистал, засмеялся, от смеху по траве покатился и опять сел степенно и с достоинством.

– Глуп ты есть и теперь, человече; глуп, брат Хоринька, вижу я, ты и по сей день, с той поры, как я вел тебя сюда! Помнишь ты те дни и те ноченьки, поля без дорог и овраги такие же, как вот и эта труппа? Вел я тебя тогда ими и уму-разуму поучал. Многое я тебе пророчил, да не все сбылось из того! Не все сбылося, многое переменилося тут, а все-таки признайся и скажи, брат, так ли ты здесь дни-то свои коротал, на этом приволье, по неводам, у моря осенью и зимой, или летом по степям здешним, как жил ты, положим, у своей-то госпожи?.. Ну, говори!

– Конечно, оно так; а все-таки, как подумаю: чего же мы с вами, дядюшка, и тут дождались? Бить нас и тут били, невесту у меня и тут отняли...

– А энтакой чемоданище, да еще полный денег-то, решился бы там в своей-то степи украсть, пастухом-то за стадом день-деньской ходючи? А? Говори, ну?

Милороденко взял меньший чемодан и еще в отблеске серенькой, влажной зари раскрыл его. Левенчук увидел связки бумаг и между ними пачки ассигнаций.

– Почитай тут тысячи, десятки тысяч. А? Ведь не решился бы?

– Куда мне! Разумеется, не посмел бы...

– То-то же; а тут ты вон другой человек стал! Тебя, значит, обидели, ну, и ты спуску не дал, да еще где? в самых, так сказать, апартаментах, в кабинете их высокоблагородия полковника, да еще и самого барина-то за белую глоточку этак подержал – не шали, дескать, мы сами люди... не обижай нас! Мы тут вольные!

– Так оно, так, да только деньги эти напрасно мы брали! Куда мы их денем? За ними и погоня крепче будет. Поднимут всех чиновников за нами теперь, всех становых и заседателей. Взяли бы одну Оксану, они бы нас бросили сегодня же! Что мы им?

– Барышня, целуйте его! Видите, какова-с верность-то! Ну, целуйте же его, а то буду сердиться!

– Ох, Василь Иваныч! – сказала Оксана, – уж мне ли не клясть моего мучителя и врага? не вам ли я на него плакалась? А погубят нас эти деньги; пропадем мы все за них, и я говорю.

Милороденко помолчал... На дворе стемнело окончательно.

– Вылезь, Хоринька, на шпинек да глянь, все ли тихо кругом; а там покалякаем, сползешь опять.

Левенчук выбрался из оврага, долго слушал, приглядываясь во все стороны, отошел несколько в степь и воротился.

– Ну? Никого не видно?

– Никого.

– Вот же что я надумал, слушайте! – решил Милороденко, – до утра мы выспимся, а утром деньги сосчитаем и поделимся.

– Ничего нам не нужно, Василь Иваныч, – ответили разом Левенчук и Оксана, – мы уж условились; вместе втроем нам оставаться и бурлачить долее нельзя.

– Куда же вы? Так меня уж и бросить затеяли?

– Спасибо вам, а только мы так положили: доберемся до Дону, сядем как-нибудь на барку какую-нибудь, пройдем до Качалина, а там на Волгу, и Волгою либо в Астрахань, либо в Моршанск, – один городок такой там есть, и меня купцы хорошие туда звали. Я уже и пачпорт припас заранее тогда еще. Они обещали спрятать от всякого дозора и приписать в своем городе...

– Пачпорт? Откуда?

– В гирлах достал.

– У Проскудина Феди?

– У него.

– Ну, это моей фабрики, я угадал! Далее, братец! говори далее...

– А далее, что бог даст. Там и станем жить. Что мы! Дела злого никакого не сделали; нечего и суда бояться, хоть бы и узнали нас когда, что мы беглые.

Милороденко вздохнул.

– Туда так туда! Идите с богом. Рад, что вызволил вас. Оно точно, проживете себе, коли такие уж купцы звали. А там и волю,

должно статься, скоро скажут всем. Ну, а деньги?

– Деньги берите вы: на что они нам?

– Как? все?..

Дух у Милороденко замер. Он тронул чемодан.

– Все.

– То есть решительно, как есть, все до копейки?

– До копейки.

Милороденко шапку снял и перекрестился.

– Господи! услышал ты молитву мою. Теперь я богач, каких и в сказках не бывает. Добился, значит, и я до своего! Куда же я теперь пойду-то?

Левенчук и Оксана молчали.

– Пойду я за Несвитай; там у меня солдатка знакомая одна, кума есть. Деньги закопаю у нее, разведу в гирлах, у камышников наших, нельзя ли пробраться за Кубань, либо за Маныч, к киргизам, или на Кавказ? Можно – возьму и богатство, нет – после за ним приеду. И заживу же я, брат Хоринька, теперь уж как следует. На церковь дам, сиротам, бедным раздам какую часть... Что из того, что мы вот

беглые? Я-то уж, положим, совсем, пожалуй, порченный, многое затевал. Да зато тихо жил в последнее время у полковника. А вы вот и во все ни в чем не повинные. Да присмотрелся я и ко всем-то нашим, что живут вон хоть у полковника. Люди как люди; и как за него-то стояли еще! точно за отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру его Самойле этому чуть кишок не выпустил, как пошел тебя освобождать и развязывать в конюшне, а он на стороже был у ворот ночью. Не совладай я с ним, все бы пропало; да и все они так. А отчего? Нужны они ему больно, они их содержит получше иных-то господ, ну, они за него и горой! Придет времечко, Хоринька, ты с своею хозяйкою дождешься лучшего часу, станешь спокойно жить, припеваючи, а меня тогда не поминай, брат, лихом... Все у меня зудит и теперь еще, точно пихает куда; я уж и не гожусь с вами-то. Ну, а как деньги эти я проведу да на франки и сантимы либо на эти пиястры турецкие променяю, так еще нос утру не одному... В Турцию проберусь, трех жен куплю разом... пашой буду... бес их подери! А полковник-то, я думаю, горячку те-

перь порет! Да не найдет нас; есть у меня такие уж приятели, – весь край меня знает. Береги, значит, только друга, а денег дам вволюшку теперь всякому.

Утром рано беглецы вскрыли чемодан. Оксана высунулась из оврага и стерегла, не явится ли какой признак погони.

– Мы, брат Хоринька, от Мертвой недалеко, окружили ее; так тут надо быть умнее! Ты там что ни говори, а вот бери, на тебе денег! без них вам не ступить шагу.

Милороденко дал Левенчуку сверток червонцев.

– Не возьму! – ответил опять Левенчук, – пускай они пропадают. У меня свои есть. Недаром же я старался, ее-то ожидаючи! Я другой человек, чем ты, Василь Иваныч: я, брат, бога боюсь.

И он вынул из-за пазухи кошелек.

– Дурень, голубчик, дурень! ох, дурачье вы все! Да что делать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то его боюсь, только не так, как ты. Ну, разводи же огонь...

– Зачем?

– Увидишь.

Левенчук высек огня, собрал сухого камыша и развел на дне оврага костерок. Стог был недалеко.

Милороденко, обшаривший аккуратно чемоданы полковника, золото и серебро завернул особо, а пачки с ассигнациями, банковые билеты и разные счета, бумаги и письма медленно еще раз осмотрел и понес со вздохом на ярко разгоревшийся огонь.

– Что вы, дядюшка, что вы? – крикнул Левенчук.

– Не замай! Пусть горит оно и прахом пойдет, не добром нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я его и спрячу ли. А накроют нас, ему же опять отдадут. Да и так уж я тут убытки нес, на этих-то ассигнациях, может, скажут еще, что и это рук наших фабричное дело. А золото как-нибудь провезу...

Левенчук удержал его и убедил лучше все, чего он не возьмет с собою, спрятать в сено.

Оксана без мысли и слов смотрела сверху оврага в одинокую степь. День светлел более и более. Туман уносился. Овраг выходил из утренних сумерек. Камыши шелестели.

– Как бы, однако, стогу не зажечь чужого! –

заклучил Милороденко, шевеля огонь, чтобы он скорее догорал, и видя, что с костра искры иногда летели на стог, – кто-нибудь добрый человек своей скотинке сена припас! Побереги его, Харько, пока костер догорит, да и до лясу! А я переоденусь тем временем.

Левенчук исполнил просьбу Милороденко и сберег стог, куда тотчас спрятали остальные деньги и чемодан. Беглецы переоделись и пустились вверх по оврагу. Левенчук надел прежний свой мещанский наряд, а Милороденко достал из чемодана статское пальто полковника и другую шапку. Вверху оврага, верстах в трех был вольный шинок. Там Милороденко в шинкаре-конокраде нашел старого приятеля. Левенчук и Оксана оставались в овраге. Милороденко принес им перекусить и объявил, что за час перед тем тут проскакал становой с двумя гарнизонными солдатами.

– Теперь прощайте! – сказал он, – коли хотите, идите в Святодуховку; через неделю я достану коней и приеду за вами. Поп вас пока укроет в байраке!

Незадолго перед тем между господами-землевладельцами прошла молва, что явился с

зимы новый губернатор и что он вознамерился принять брошенные было его предместником крутые меры против беглых. Ему обещал свое горячее содействие ближайший градоначальник, особенно злившийся на бродяг за распространение побережной контрабанды. Все опять мгновенно окрысились на беспаспортный народ, точно до того времени его здесь не подозревали. Стали снова во все стороны тайные гонцы. Писались экстренные предуведомления по земской и по городской полициям. Потребовали готовности к содействию в случае надобности близстоявших военных команд и в особенности ловких на эти знакомые уже в крае дела донских казаков. Одни из владельцев земель, рыболовен и фабрик радовались этим мерам; другие, и большая часть, говорили против них. «Край беглыми только и держался, – толковали последние, – не будь их, он запустеет; жди еще, пока эти земли заселятся законным путем, пока северное народонаселение сюда хлынет!» – «А история с Панчуковским? – возражали первые, – а постоянные грабежи по взморью, конокрадство в степях, несоблюдение условий

найма, убийства, общее растление нравов здешнего сельского населения, ввиду покровительства с нашей же стороны бродягам?» Споры местностей и мнений опять загорелись. Возобновилась снова и здесь вечная и знакомая миру сказка войны Белой и Алой Роз. Андросовка шла против Антроповки, Небольцевы спорили с Шутовкиным, Щелкова с Шульцвейном, Мертвые Воды с Доном, а Вебер с своим родичем Швабером. Прошла весть, что кое-где уже оцеплялись города и пригороды. Земские власти делали неожиданные обыски деревень и одиноких степных хуторов. Остроги переполнялись беспаспортными, дезертирами и особым сословием местных бродяг, выдающих себя за людей, не помнящих родства. Под конвоем гарнизонных рыцарей прошли партии пойманных и дознанных беглых. Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей вольготности по несколько сладких и тихих лет. Иные найдены седовласыми и с кучей детей от новых, в бегах припасенных, хозяек. Сколько лет они уже в бродягах, этого и они сами не скажут, не помнят. «Кто ваши господа, где они?» – «А

бог их знает! живы ли наши господа теперь, мы не знаем!» – «Когда же вы бежали?» – «До первой еще холеры, в персидскую войну, от набора!» – Сгоняли в города самозванцев-мещан, сапожников, плотников, неводчиков, столяров, слесарей и пастухов. Одних ловили, другие сами шли, услышав ловко пущенный кем-то слух, будто беглым будут в правлениях раздавать земли и водворять их на прижитых ими местностях в качестве вольного народа. Кучи фальшивых паспортов загромождали в полициях допросные столы. Очистив города, власти отрядили отдельные обыски по деревням. Дошла очередь и до тихих окрестностей Мертвой.

– Эка невидаль, что люди без паспортов живут! – ворчал ослепший дьячок отца Павладия, Фендрихов, – опять, вторично, замрет наша окольность по Мертвой.

– Молчи, Фендрихов, не ропщи! Сказано бо в Писании: ропот гневит Господа, и кийждо бо спасения не обрящет! А лучше молись: авось все обстроится, и да мимо идет чаша сия. Не в первый раз нам с тобой терпеть! Помнишь, как люди здесь мерли?..

Так говорил отец Павладий, сильно хворавший и подавшийся с зимы. Он уже почти не выходил из дому, не заглядывал, по обычаю, в свою любимую, весело зеленевшую рощу, или все сидел на крылечке, смотря на косягор в степь за церковь, будто кого поджидая. Но Фендрихов, от слепоты ли или старости ставший очень сердитым, не унимался и все ворчал, сидя с ногами на лежанке в спальне, перед кроватью священника.

– Сказуют, что для порядка! А где порядок? Ты лучше прежде насели вертоград[23] твой, тогда и требуй, чтоб там все было начистоту. Вот хоть бы и наша Оксана. Что же, что она дочь беглого? А жила же у нас, как святая, весь девичий век! Взяли ее, увели, и все у нас осиротело. Вот так и вся земля тут запустеет, ваше преподобие. Так-то-с!

– Об Оксане ты не говори! Слышишь? Не говори! Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!

– Не могу, не могу, отче...

– Вот тоже хоть бы и ты, Фендрихов. Ты стар был и хотя-таки с ленцой, а все же церковь подметал как следует, да и подметал, по-

жалуй, тоже только по большим праздникам. Ну, вот и прислали нам иного дьячка; положим, Андрей наш и молод, и все содержит в чистоте. А что? душа моя ни к чему тут при нем не лежит! И в ограду идешь, ключи берешь; дорожки подметены, песочком усыпаны; бежит Андрей в халатике, суетится, обслуживает: а не то, братец, не то... Все не то стало!.. Мир не туда идет!

– Куда же он идет?

– К последнему времени идет...

Так отец Павладий говорил Фендрихову про нового дьячка Андрея, своего же родича, который по поводу исключения своего за грубости инспектору семинарии, несмотря на окончание первым учеником курса, был лишен незадолго перед этим сана священника и права на приход и командирован сюда, в наказание, в простые причетники. Он покорился печальной участи, охотно принялся за должность при дяде, сильно обрадовался, что нашел у него множество книг; предался со всем пылом молодой, жаждущей знания душе, стал в часы отдыха (а его, боже, сколько здесь) охотиться с ружьем по окрестностям и

сразу заслужил любовь прихожан.

Как-то, съездивши в город за новыми церковными книгами и для расчета в консистории по доверенности отца Павладия, по свечному сбору, он познакомился там с учителем уездного училища, затеявшим, как мы говорили, открыть по соседству публичную библиотеку и сильно в этом разочаровавшимся, и разговорился с ним о том о сем. Он достал у этого учителя еще десяток-другой любопытных книг и, между прочим, стал жаловаться на свою судьбу. «Вы, мой любезнейший, сделайте так, как я! – возразил учитель, – купите десть-другую дешевенькой серой бумаги, да и пишите ваши наблюдения над местными нравами, записок своих не бросайте: они вам пригодятся! Видите, как здесь все быстро меняется; край строится заново. Уже на моих глазах многое изменилось. Вон и дончаки, слышно, затевают улучшения, помышляют о железной дороге и о пароходстве. Не захотите сами в литературу пуститься, вот теперь стать, как я, газетным корреспондентом – отошлите свои наблюдения в географическое общество!» – «Помилуйте-с, еще мне достанется;

что я есть такое теперь, по поводу оказанного неуважения моего, так сказать-с, извините, к взяточнику-с и казнокраду, нашему бывшему инспектору семинарии? Я – дьячок и только-с». – «Ничего; многие ваши уже выступают на поприще. Покупайте бумагу и пишите. Слышно, и ваш священник пишет какое-то рассуждение?» – «Отец Павладий-с?» – «Да». – «Так точно-с, пишет что-то, только он больно стал хиреть...» – «А что ваш роман с похищением его воспитанницы? Где она?» – «Бог весть; сказывают, снова ушла с прежним любезным». – «Смотрите же, пишите записки. Библиотека мне не удалась; но я вновь тут около одного мещанинишки, кирпичного заводчика, захаживаюсь; он раскольник, может быть, даст денжат на журнал; так мы тут тогда на Мертвой, в городке, типографию откроем и журнал станем издавать. Трудитесь, любезнейший; от нас, бурсаков-с, многого ждут теперь; вот что-с! Когда б Белинский был жив, мы бы его заманили в покровители». – «Да, да! Когда бы Белинский!.. Вот душа-то была! Мы его тайком теперь в семинариях читаем». – «Ну, коли не Белинского, к другим лите-

раторам письмо напишем – есть хорошие люди! они нам откликнутся! Что ж, что мы нищие и что вокруг нас одни златолюбцы да угодники мамоны живут, тупые, отсталые и злые люди? Мы на них не посмотрим; мы будем работать. Ведь у нас паспорта есть; нас не выгонят, не выведут, как этих теперь бедняков беглых. Так или не так-с?» – «Извольте-с; согласен. Что же это за записки надо вести?» – «О жизни-с, да и о прочем»...

Так беседовали новые приятели, бездельные горячие головы.

Между тем затеянные меры против бродяг шли энергически своим путем. Власти хватали и разыскивали беспаспортных, а между последними в то же время являлись примеры такой прыти, какой прежде и не бывало.

– Жили смирно беглые, никто их не замал! – ворчал снова на лежанке Фендрихов, – стали тревожить их, пошли шалости! Вот так и с пчелами бывает: трудятся золотые пчелки – смиренные, ничего, а развороши их, и беда – озлятся.

И точно, дерзости беглых в ту весну превзошли все границы. Осада Панчуковского,

небывалая покража у него громадной суммы его же беглым слугою, все это были вещи нешуточные. На берег близ Таганрога с английского судна тогда же высадили и скрыли как-то ночью баснословное количество контрабанды: чаю, сахару, шелковых и шерстяных тканей, пороху и остальных изделий на сотни тысяч рублей. У какой-то переправы высекли кварталного, гнавшегося погоней за открытым беглым мясником из городка. На базаре в Керчи зарезали мянялу среди беладня и увезли в свалке его деньги. На дороге, в степи, ограбили губернаторшу. Возле Сиваша, в гнилых болотах, появился настоящий разбойник, какой-то дезертир Пеночкин. О нем и о его похождениях пошли уже настоящие сказки: что будто бы он на откуп взял все пути по Арбатской Стрелке, собирает калым с каждого проезжего и прохожего на сто верст в окружности, что его пуля не берет, что вся его шайка заговорена от смерти, что он зарекся ограбить Симферополь, Феодосию, а потом Мелитополь и завел часть летучего отряда даже на вершинах Чатырдага. Местное воображение и толки разыгрались.

– Слышали вы, какие ужасы рассказывают?

– Слышал, но не всему верю, как другие, недавно еще, впрочем, считавшие наших беглых пуританами, по чистоте их нравов.

Это говорил Панчуковский, встретившись с колонистом Шульцвейном у мостка, у переправы через бурлившую еще Мертвую.

– Куда вы, Богдан Богданович, едете? Помните, как мы тогда-то встретились с вами, также в степи под Мелитополем? Много воды утекло с тех пор!

– А вы куда?

– На облаву хутора нашей Авдотьи Петровны.

– И я туда же по делу, кстати, разом к ней за речкой и своротим.

– Да-с; не ожидал я от нее. Какова барыня! – сказал Панчуковский.

– А что? Я все это время в отлучках был, по своим овчарням...

Дюжий колонист поправил волосы и стал пугливо ждать ответа.

– Да у нее вчера нашли шестьдесят пять беглых; так и жили у нее слободой. Сегодня

продолжают обыск. Это, должно быть, последним подвигом Подкованцева будет.

– Что же, разве с этим добрым Подкованцевым опять что-нибудь случилось?

– Да, говорят, дали ему последнее испытание: коли не выкажет здесь особой бойкости в поимке беглых, его отставят.

– А ваше дело? покража этой баснословной суммы?

– Что за баснословная! еще наживем-с.

Колонист покосился на полковника.

– Что же, едем к соседке?

– А! поедем. Это любопытно!

– Не только любопытно, но и поучительно! – сказал полковник. – Да надо бы его теперь и на церковный хутор нашего отца Павладия направить. Этот священник – известный передержчик беглых; его бы рощу да байраки обшарить.

– Нехорошо, полковник, ни хт гут![24] – возразил с горечью честный немец, отъезжая от моста, – вы с ним враг теперь и на него напускаете такие страсти. Вы мстите ему? вы? Фи! нехорошо!

– Так ему и надо; теперь каждый думай о

себе.

– У вас же, полковник, все беглые похере-ны?

– Нечего делать, придется и мне с моими проститься – сам ездил в город, привел уже одну партию настоящих работников; всех перемену, ни одного теперь бродяги не стану держать, ну их к бесу! Только теперь еще молчу; разом всех прогоню...

Полковник с немцем поехали к Авдотье Петровне, над которою стряслась такая черная беда в виде наезда исправника по поручению губернатора.

Отец Павладий между тем в тот день перед вечером был изумлен появлением неожиданных гостей.

Он, по обычаю, теперь сидел с утра до вечера в зале, в старом потертом кресле перед окном, читая какую-нибудь книгу, и собирался тогда переместиться на крылечко, где он на воздухе любил ужинать, как во дворе его у кухни произошла суета. Сперва вбежал было к нему, шелестя новым камлотовым подрясником, его племянник – дьячок Андрей. Но

Андрей вскочил только в сени, постоял как бы в раздумье и выбежал опять на крыльцо. Слышались голоса; говорил кто-то шепотом. Заскрипели половицы под знакомыми пятками Фендрихова. Слепой друг долголетней жизни отца Павладия вошел, ведомый своим преемником, и, ощупывая стены и притолоки, остановился в зале у дверей. Лицо его изменилось и сияло необычайным чувством радости и ликования.

– Что такое с тобою, Фендрихов? ты на себя стал не похож!

Священник заложил очки на лоб и, ожидая чего-то невероятного, покраснел; руки его дрожали, косичка моталась на затылке.

– Говори же, что там такое? Ну? Что ты глядишь на меня, Андрей?

– Оксана, батюшка... она сама... пришла с Левенчуком! Идите отворяйте церковь, венчайте их скорее!

Отец Павладий встал и вышел в сени. Ему навстречу на пороге поклонились до земли Оксана и Левенчук. Он сперва было не узнал Оксаны. Измученная столькими событиями, она сильно изменилась в лице, но была так

же хороша, если еще не лучше...

– Оксана, Оксаночка моя! – залепетал отец Павладий, всхлипывая, дрожа всем телом и крестя лежавшую у ног его Оксану.

– Благословите нас, батюшка, отец наш названный, меня и его благословите! – сказала Оксана, также плача и не поднимаясь.

– Благословите и венчайте; за нами скоро будет погоня! – прибавил Левенчук, – нам либо вместе жить, либо умирать!

– Погоня? Куда? Ко мне! Это еще что? Этого не будет!

– Сюда, батюшка, сюда; мы покинули барку у Лисьей Косы, а сюда приехали на неводской подводке. Нас по барке найдут; мы всю ночь ехали на чумацком возу под рогожами с мешками муки.

– Вставайте, вставайте! Бог вас благословит! Ах вы, соколики мои! Ах ты, Оксаночка моя! и ты, так вот, это как есть, на возу-то тряслась...

Священник не договорил. Он не мог без слез видеть своей нежно любимой питомицы. Она стыдилась глаза поднять.

– Нужда, батюшка, всему научит! – грустно

сказала Оксана, – неволя как добьет, то и воля не всегда лихо залечит!

– Андрей! Фендрихов! живо! Ключи где? Отпирайте церковь! Огня давайте да в ка- дильницу ладану!

Слепой и зрячий дьячки засуетились. На дворе наступила ночь.

– Свидетели есть у вас?

– Вот их милость будет! – сказал Левенчук, указывая на молодого дьячка, – наш возни- ца-неводчик заручится тоже, и довольно, – а тетка Горпина?.. Она еще жива? Дитя ее жи- во?

– Живы, живы! хорошо. Поспешайте, а я вот ризу возьму.

Левенчук пошел звать подводчика. Оксана вздыхала, крестилась, подходила к каждой вещице в комнате, трогала ее, пыль с нее об- метала, целовала и слезно плакала-плакала.

– Здравствуйте и навеки прощайте! – шеп- тала она.

– Расскажи же ты мне, Оксана, как это тебя украли? – спросил священник сквозь двери, наскоро переодеваясь в спальне.

Оксана передала все, что могла успеть.

– А он-то, антихрист, он-то? изверг-то этот? Как он-то мучил тебя?

Оксана молчала, не поднимая заплаканных глаз.

– Ну, да я не буду тебя допытывать; горе, горе такое, что и трогать-то его не следует! Смотри же только, Оксана... хоть дитя-то теперь твое незаконное будет; хоть оно прижато тобою... в неволе, насильно, а все-таки береги себя, береги и его; оно все-таки плод твой, дар бога живого! Не проклинай его, корми, люби и воспитай! Даешь слово?

Священник вышел и торжественно стоял перед Оксаной.

– Разве я уж, батюшка, нехристь какая, что ли? Что случилось, было против моей воли; я вся измучилась, изболела. За что же оно-то мучиться будет? Да и что нас еще ожидает? Ведь мы – бродяги, бродяги, батюшка! Нам места нет...

Она снова громко зарыдала и упала на стол, обливая слезами его знакомую, выложенную столькими годами тесовую крышку.

– Господь смилуетя и над вами, Оксана! Пойдем в церковь.

У паперти Фендрихов беседовал с Левенчуком. «Так ты это ее так, как есть, принимаешь, с чужою прибылью?» – «Что делать, принимаю!» – «Молодец парень! Руку!..»

Все вошли в церковь. Свечи уже горели. Слепой Фендрихов чопорно стоял в стихари на клиросе, готовясь петь. Священник возгласил молитву. Свидетели опрошены, записаны. Отец Павладий скрепил своей подписью их спрос и обыск. Молодые поставлены перед налоем. Священник взмахнул кадильницею. Запели молитвы. Надеты венцы.

– Любите ли вы друг друга, сын Харитон, и ты, дочь моя, Ксения?

– Любим.

– По своему ли согласию и по своей ли воле венчаетесь?

– По своему согласию и по своей воле.

– Бог вас благословит!

– Аминь! – пели дрожащие и вместе радостные голоса с клироса.

А солнце ярко светило в узкие окна церкви, где впервые некогда увиделись Левенчук и Оксана. Акации и сиреневые кусты, одевшись яркою кудрявою зеленью, окутывали

по-прежнему церковь, и она в них тонула по крышу. Выщелкивания соловьев мешались с возгласами отца Павладия и с клиросными перепевами. Поменяв кольца венчаемых, связав им руки и обведя их вокруг налоя, священник кончил обряд, поздравил их, заставил поцеловаться, обнял их и сам в три ручья расплакался. Плакали Фендрихов и молодой дьячок. Старая Горпина, не сберегшая год назад Оксаны, также тихо плакала в церковном углу, прижимая к груди дитя свое, некогда так лелеянное Оксаною.

– Что же у тебя есть, Горпина, молодых угостить? – спросил священник, выходя в ограду, – они теперь князь и княгиня у нас!

Темным церковным двором, со свечами, все воротились к дому.

Вошли в комнаты и там закурили ладаном. Оксана села беседовать с Фендриховым. Священник занялся с Левенчуком.

– В прошлом году я с тебя требовал выкупа; теперь я сам тебе дам на подъем. Ты, чай, без копейки теперь обретаешься, горемыка?

– Спасибо, батюшка, за все; будет чем вспомнить вашу милость!

Священник ушел в спальню, порылся в заветных сундучках и вынес Оксане радужную депозитку.

– Вот тебе, Оксана, мое приданое! обживетесь где, известите меня, – еще будет... Ведь я тебе отец и воспитатель! Эх, счастлив я теперь больше, чем когда был...

Оксана поклонилась ему в ноги. Священник сел опять к Левенчуку.

– Слушай сюда, слушай, Левенчук! – спросил он шепотом, – те же деньги, казна-то полковника, где? Милороденко где?

– Я, ваше преподобие, про то не мешаюсь. Товарищ мой взял их, точно; да я ему не судья. Мы его скоро бросили; мы сами себе люди, и он себе человек! Я чужого никогда не брал и брать не буду....

– Так и следует, так и следует; ну спрашивать я больше не буду... Я, брат, тебе верю во всем...

Горпина накрыла на стол, поужинали все вместе. Были вынуты три бутылки какого-то заветного вина. Призывали и молчаливого приморского возницу к угощению.

Так сидели пирующие, беседовали и попи-

вали, мало расспрашивая и щадя друг друга. Далеко за полночь дом священника затих. Все в нем заснуло. Не успело утром солнце взойти, поднялся в доме шум.

Вбежала старая Горпина к священнику.

– Батюшка! там от немца с горы ряд каких-то людей показался! не то идут, не то едут, словно понятые с сотским!

Все выскочили за ворота. Точно: со стороны хутора Вебера двигались какие-то фигуры.

– Спасайтесь, поезжайте, бегите! это обыск, обыск! – закричал священник, и все опрометью кинулись во двор обратно. Левенчук бросился наскоро запрягать с подводчиком воз. Но выехать они не успели. Священник посоветовал волов опять распрячь, закатить воз в сарай, а всем спрятаться в байрак. Левенчук с Оксаной так и сделали, побежали туда.

Пройдя наскоро мимо церкви к пруду, они вошли в крайние кусты, и некогда дорогой им ракитник опять скрыл их в своих зеленющих развесистых куцах.

– Как тебя звать? – спросил священник ухмылявшегося неводчика.

– Степанком.

– Ты же, Степан, поезжай сам в поле, им же навстречу, будто так муку везешь. Слышишь? А я, будто гуляючи, за тобой следом пойду...

– Извольте.

– Валяй, Степан!

Волов опять запрягли.

Воз поехал, а за ним пошел отец Павладий; в полутора версте от Святодухова Кута их встретил исправник на дрожках и за ним человек сорок понятых с сотским. С другой стороны, из-за хутора Вебера, показывалась в поле, под предводительством другого сотского, новая толпа понятых. Все действовало по заранее составленному предположению.

– Воротитесь, отец Павладий! – сказал исправник, улыбаясь, держа в руках бумагу и останавливая священника. – Я все понимаю... воротитесь!

– Как так! Я не согласен; это насилие сану! – сказал священник.

– Сотский, возьми подводу и этого батрака: извините, отец Павладий! Не угодно ли вам сесть со мною на дрожки? Волы эти краденые, а батрак ваш – известный контрабандист Савва Пузырный, – мне дали знать толь-

ко что наши лазутчики, что он к вам отвез и главного из разыскиваемых нами беглых...

Священник оторопел, засуетился, потерялся.

– Пожалуйте-с и покажите нам, где у вас укрылись здесь главные бродяги, беглый чабан помещицы Венецияновой, Харитон Левенчук, и ваша бывшая воспитанница, а попросту-с его любовница, не помнящая родства-с, девка Ксения?

Отец Павладий очнулся.

– Вы забываете, милостивый государь, уважение к моему званию! у меня никого нет из беглых и не было, я ничего не знаю и прошу вас подобных обвинений мне не предъявлять всенародно!

– Полноте! – сказал, улыбаясь, Подкованцев, – исполняю свой долг; прошу вас садиться со мною. Не задерживайте нас!

Нечего делать, священник сел на дрожки.

Они подъехали к святодуховскому двору. Двор и сад наскоро были оцеплены толпой понятых. Другие понятые оцепили байрак и пруд.

Исправник распоряжался скоро и как-то

беззвучно метался; везде все устроил, стал на крыльце, спросил: «Все ли на местах?» – велел вынести к крыльцу стол, разложил бумаги, достал кисет с табаком, набил трубочку, поставил свидетелей, улыбнулся и начал было допрос, но потом остановился.

– Что же вы не продолжаете? – спросил священник, вышедши к исправнику.

– Подождите, не торопитесь! Вот мы еще гостей подождем, свидетелей, чтоб протокол составить как следует! Я вам не судья – будут судить другие!

Священник сел к стороне, на особом стуле. Он думал: «Боже мой! что, как их найдут?» Подъехали старший Небольцев и с ним еще кто-то.

– Грех вам, батюшка! – сказал он, подходя, – вот-с нас всех известили, что вы главный притон нашим грабителям в своей роще устроили!

– Кто же вам это сказал? Так про меня одного и сказали?

– Все говорят.

На отце Павладии лица не было.

– Понимаю, вы меня обвиняете в покрови-

тельстве беглым, что через меня они смелы и дерзки стали. Господа! Я тридцать лет тут, в этой пустыне, прожил; при мне строились и возникали ваши села и некоторые ваши города. Недочеты, обманы, всякие притеснения возмутили ваших беглых. Они мирно доселе жили. Край здесь изменился, нравы другие пошли. Не я беглых передерживал; обыщите других.

– Вы слышите, слышите? – спрашивал исправника Небольцев.

Подъехали Шульцвейн и Шутовкин. Эти обошлись с священником мягко и вежливо.

Вставали уже, составив предварительные статьи протокола, чтобы идти, как загремели колеса и послышался знакомый звук колес и рессор полковницкого фаэтона, и Панчуковский, по-прежнему щегольски разодетый и веселый, выпрыгнул из фаэтончика, ловко снял красивую соломенную панаму, подал дружески руку всем, кроме священника, поклонился исправнику. Священнику же он сказал, обмахивая платком пыль с лаковых полусапожек: «А мы с вами, батюшка, старинные друзья, не правда ли?» Священник кашлянул

и сухо отворотился.

– Ну-с, – начал Подкованцев, – очень рад буду, господа дворяне, что при вас лично привелось мне исполнить мой долг; коли это мне не удастся – гоните и судите меня сами...

Все сошли с крыльца. Общее молчание было мрачно и торжественно.

– Сотские, начинайте. Сперва с кухни и с амбара, а потом в погреба и на чердаки! Дом я сам обыщу.

– Так она здесь? – страстным шепотом допытывал Шутовкин полковника.

– Здесь! – рассеянно ответил Панчуковский, вспоминая роковую чудную ночь, когда он похитил здесь Оксану.

– Почему вы узнали?

– Приказчик мой их обознал, у шинка Лысой Ганны, знаете?

– Знаю, знаю! Так и ее прежний жених тут?

– Здесь, должно быть.

– И она, как была, еще с овальцем? Вот полюбуюсь крошечкой! Доведется-таки и мне ее увидеть!..

Облава началась, как на охоте. Гонцы шли

тихо с дубинами, а сотские по крыльям порядок держали. Они осматривали каждый хлевушек, каждую ямку и все уголки. Обыскали кухню, амбары, погреба, конюшенный сарайчик и дом. Не нашли никого, кроме забившейся под свиное корыто и перепуганной до полусмерти тетки Горпины. Обыскали церковную ограду, даже церковь, пруд и сад.

– Они в байраке! я знаю! – шепнул Панчуковский, подходя к исправнику, обыскавшему между тем дом священника.

– Соединить всех понятых вместе! – крикнул Подкованцев, – сотские! Да идти дружнее; не пропускать ни единого кустика, ни одной водомоинки.

– Послушайте! Десять тысяч целковых вам! – шептал между тем Панчуковский исправнику, – это будет не взятка, а благодарственный законный процент! Ради создателя – найдите их, через них вся моя разграбленная касса найдется!

– А я полагал, Володя, что ты и по правде более за красоточкою этою хлопчешь? – возразил, шутя, Подкованцев.

– Куда мне! Я уже о ней забыл и думать!

Спросите Шутовкина; я ему ее обещал передать...

Священник сам не свой стоял поодаль от господ и сыщиков. Он силился быть спокойным, но сердце его било тяжелую тревогу. Облава пошла к байраку. Понятые стали более густою цепью с обоих краев оврага. Часть из них стала по опушкам настороже. Все же остальные пошли внутрь в ракитник и в камыши к ключам. Долго они шли, тихо шелестя между кустами и деревьями.

– Это совершенно во вкусе «Хижины дяди Тома», – заметил Митя Небольцев.

– Далась-таки опять вам эта галиматья, эта хижина! Ну послушайте, господа! – продолжал Панчуковский, – ну, есть ли хоть тень сходства между нашими беспаспортниками и американскими поэтическими неграми, или между нами, господа, и тамошними рабовладельцами? Как небо и земля!

– Как небо и земля! – сказал и Подкованцев, идя за сотскими к месту выхода гонцов, – уж там, как у нас, бювешки не дадут...

– А что? ничего нету? – спросили зрители.

– Ничего! – лениво ответили гонцы, враз-

брод выходя на опушку.

«Что бы это значило? – подумал Подкованцев, – куда же они делись?»

– Стой, стой! держи его! стой! – нежданно и в разлад крикнули голоса понятых в чаще байрака.

Все остальные гонцы также кинулись туда. Изумленным взорам исправника и помещиков открылась драка в гущине камыша, над ключами. Куча понятых старалась кого-то осилить. Ловимый отмахивался дубиной и кидался на всех.

– Не подступай, убью! – кричал он.

– У него и нож! – кто-то обозвался в толпе, и понятые отшатнулись.

Подбежал исправник.

– Лови его, хватай! чего вы стоите! Бери, вяжи его!

Понятые опять кинулись, навалились гурьбой на пойманного, сбили его с ног; произошла схватка на земле, и опять толпа отхлынула. Трое из нее охали, хватаясь за руки и за лица. Кровь текла по их рубашкам.

– Братцы, не тронь меня: я Пеночкин; я зарученный! – бойко проговорил пойманный,

выпрямляясь, – тронете меня, всем пропадать!

– Врешь! – раздался сзади голос Панчуковского, – берите его, это Милороденко; стреляй в него из ружья, сотский, только бей на смерть, коли заупрямится!

– Ружье сюда и мне! – крикнул исправник, – сдавайся, мерзавец, или я тебя положу...

Толпа зашумела. Священник глазам своим не верил. Он желал видеть Левенчука и Оксану, а прежде их увидел человека, которого называли роковым именем Милороденко.

– Как ты попал сюда, негодяй? – спросил он его, – ты меня погубил: ты в моей роще спрятался!

– Батюшка, не бойтесь! Они тронуть вас не посмеют! Что делать! Я здесь случаем-с. Пропал теперь совсем! Так пусть их высокоблагородие вас не тронут, ослобонят далее от обыску, я их казну им укажу, она у меня далеко запрятана, да я далеко, видите, не ушел – пути мне пересек господин Подкованцев. Я тут-то, поблизости, это, и шлялся! А не исполните просьбы моей, будете задаром срамить ба-

тюшку, – умру, а ничего не открою!

Панчуковский переговорил с исправником, понятых созвали. Священнику объявили, что так как один из главных грабителей и преступников пойман, то дальнейший обыск более не нужен.

– Это вам, однако, вперед, батюшка, наука, – сказал Небольцев, – будьте осторожнее! А то мы недаром вас подозревали.

– Мастера вы все, господа, учить; не рассказаться бы после!

Милороденко добровольно сдался. Погодя еще и как бы подумавши, он крикнул... Из байрака, как после узнали, из водомоины, полной листьев и всякого хлама, вышли Левенчук и Оксана. Изумление было общее.

– Край чудес! – шептал торжествующий Подкованцев.

Всех найденных тут же связали, осмотрели, заковали, и сам исправник с Панчуковским посадили Милороденко и Левенчука в фаэтон, повезли их в город для допроса. Оксана повезли особо в тарантасе исправника.

– Не повезете ее со мною, – сказал Левенчук, – ничего не узнаете про деньги, хоть

убейте сразу нас обоих.

Делать нечего, Панчуковский уступил, даже защитил Оксану от взоров любопытных, а Шутовкину, который, млея, лез посмотреть на нее, даже погрозил поссориться.

Поехали исправник и Панчуковский, не мешкая. На половине дороги их встретил становой, с новою толпою понятых.

– Что такое?

– Настоящего Пеночкина поймали!

– Где поймали? Где он?

– В степи тут, в шинке, вот он!..

Толпа раздвинулась – у телеги, привязанный к ее колесу, стоял и посмеивался действительный Пеночкин.

– Связать его покрепче и также в город! Ай да денек! Теперь уже в отставку не выгонят; лишь бы жилось на свете...

– В город, в город!

Фаэтон полетел. Милороденко стал о законах рассуждать.

– Ты же где этим статьям про уголовные законы учился? – спросил его исправник дорогою.

– В академии художеств, в остроге-с тутош-

нем, где я впервые всю суть познал-с и произошел.

– Как в остроге?

– Известное дело-с; у нас там свои-с профессора и адъюнкты есть! Вот когда был женат на барышне, в Расее-с, у нее братец двоюродный в студентах был-с и жил часто с нами; так нет-с, его профессора супротив наших куда хуже, наши почище будут. Ихние только о книжках...

XIV

Приморский городок

Фаэтончик, запряженный новой четверней, летел вскачь опять тою самою дорогою, по которой некогда полковник встретился с Шульцвейном. Опять степь пышно зеленела. Опять по ней густо цвели, ее заливая, желтые и всякие цветы. Десять человек казаков скакали верхами возле.

– Эх степь, степушка! – говорил Милороденко, водя кругом грустными и вместе смеющимися глазами, – раздольице ненаглядное! Не нам вот с Левенчуком больше тобою любоваться! Теперь уж я пойду подошвы топтать по нашей Расеюшке! Пожил я-таки, господа,

волю; и у вас, господин Подкованцев, и у вас, полковник, нанимался; что? бес взял – на дворянской девице был женат, пожил, постраниствовал в свое удовольствие! Вот теперь и попался. А все отчего? Что паспорта настоящего мне господином не выдано: раб я подневольный был, есмь и опять буду, значит, вовеки... Господа, позвольте табачку! Я знаю, становые больше коллежского секретаря, а исправники больше титулярного не бывают! Я же еще теперь пока настоящий миллионер! Владимира Алексеича казна ведь, господа, еще у меня спрятана...

Панчуковский сидел бледно-зеленый, но показывал вид, что тоже отшучивается.

– Дайте ему, Подкованцев, табаку на папироску! А у меня пистолеты, нечего их бояться! – прибавил он шепотом.

– На, вор, только штуки со мной какой не выкинь: не осрами и не погуби меня! Я за тебя вон награду получу...

– Помилуйте! я же и у вас служил; люди мы свои, законы-с и уважение знаем-с.

Дорогой они остановились, опять осмотрели закрепы Левенчука и Милороденко.

Стемнело, когда исправник и Панчуковский, после двухкратного перевала на пути, взятия новых провожатых и перемены лошадей, въехали под шлагбаум присутственного, значит чиновного, хотя весьма утлого и невзрачного приморского городка, лежавшего близ речки Несытой. Их окликнул часовой у городской гауптвахты. В городских воротах, не могши высоко поднять связанной руки, Милороденко попросил ему приподнять шапку, и перекрестился.

– Вот как! еще и крестишься! – сказал, суетливо оправляясь и едва говоря от усталости, исправник.

– Меня Сенька Кривой, один тоже вот острожный приятель, в Киеве, учил при проезде каждого часового креститься. А он знал все знания; антимины из православных церквей все раскольникам крал и поставлял. Его клейменного прогнали сквозь две тысячи и сослали в каторгу-с. У него кума в остроге была.

Подъехали к дому градоначальника. Подкованцев, не веривший своему счастью в поимке таких героев, спешил ими оправдать се-

бя.

– Что значит, господа, приморский воздух! – заметил Милороденко развязно, зевая впотьмах, – как свежестью запахло! А все-таки, Владимир Алексеич, я вам денег не отдам – они, считайте, пропали.

Солдаты окружили фаэтон. Исправник сбегал к дежурному чиновнику. Через четверть часа вышла новая, вызванная из соседней кордегардии, команда под ружьем.

– Это тот самый Милороденко, – сказал Подкованцев чиновнику, – а это тот самый его товарищ Левенчук, что ограбили на днях вот их, господина Панчуковского; доложите его превосходительству, что я их сегодня выследил, поймал и лично доставил.

Принесли фонари. Арестанты молча стояли. Чиновник сбегал к градоначальнику.

– В мешок их! – крикнул чиновник, воротившись, – велели их в острог вести, в секретную.

– Прощайте, барин! За вами еще жалованье за два месяца! Не поминайте лихом; с Амура писать буду! – крикнул Милороденко Панчуковскому.

Подъехала в тарантасе Оксана. Всех повели в острог. Градоначальник дал полковнику слово сделать арестантам допрос в ту же ночь и допытать их о деньгах.

– Во всем сознаюсь, будьте спокойны! – развязно прибавил Милороденко, – мне ведь надо позаботиться о моем друге Левенчуке и его приятельнице-с... Их только спасите...

– Bravo, bravo! – сказал Подкованцев, уезжая в гостиницу, – как мы скоро дело обдела-ли! За вами, полковник, теперь ужин.

– Не только ужин, целое вам наследство! Это вам лучшая пенсия за службу!

Отправились в гостиницу. Туда вскоре явились частный пристав, уголовных дел стряпчий, два чиновника особых поручений по казусным делам. Подано шампанское, заказан лукулловский ужин. В лучший номер поданы карты. Завязался штос. Проиграли до ясного белого дня, не вставая.

– А ваша супруга, полковник? Она до сих пор здесь в городе живет? – спрашивали подкутившие собеседники.

– Действительно, моя жена, брошенная мною, приехала сюда в город. Но она обзаве-

лась тут, господа, утешителем: какой-то учитель. Вы уже запоздали...

Все захохотали. Еще цинически поострили над m-me Панчуковской.

Гости разошлись, пошатываясь. «Вот чудная душа, этот Панчуковский! – повторяли все, уходя, – сейчас видно, и бонвиван и настоящий аристократ!..»

Утром весь город заговорил о случае с Панчуковским, который сюда заворачивал редко и которого здесь более знали по слухам. Он являлся к градоначальнику. Последний оказался его знакомым по Петербургу и чуть даже не сверстником по службе в другом ведомстве. Главных чиновников Панчуковский тоже объездил. Дело его закипело. Преступников стали ежедневно допрашивать. Но те вдруг заперлись о деньгах, что никогда их не видали и не грабили полковника. «Зачем же вы бежали от него?» – «Избавили украденную им у священника такую-то девушку».

Шли толки о том, что дело принимает новый вид, что чуть ли Панчуковский, сочиненным слухом о пропаже денег, не думает замазать дело о собственных похождениях с вос-

питанницею священника.

Это говорила молодежь из чиновников. Люди зрелые ударились на соображение, как выманить у преступников сознание в том, куда они спрятали такую чудовищную сумму. Следователи входили в секретную, заставляли Оксану на соломе больную, молчаливую, Левенчука возле нее, а Милороденко на коленях перед образом: он молился и, действительно, казалось, не был виноват ни в чем из того, в чем его винули.

Прошло две недели. Полковник начинал вопить о медленности наших допросов, доказывал, что мы рано бросили пытку...

В обед в номере Панчуковского сходилась вся городская аристократия. Кушали, играли в карты, пили. Передавали слухи и о деле и об арестантах. Прокурор сообщал постоянно все новости о них: о чем они сегодня говорили, какие данные вновь сообщали.

– Жаль эту девушку, – говорил иногда прокурор, – она такая тихая, скромная, все плачет; и возлюбленный ее, кажется, малый смиренный и жил прежде честно. Они, впрочем, назвались нам мужем и женою на допро-

се.

– Вот это забавно, – сказал Панчуковский.

– Да, вы не верите, мы собрали справки – и точно, они обвенчались после поимки их, у этого самого вашего священника, отца Павладия, где она жила воспитанницей.

– Чудеса! как скоро успели!

– Зато их коновод, Милороденко этот, вам, Владимир Алексеич, настолько близкий, существо непостижимое! Он во всем сознался: и в занятии контрабандой, и в связях с нахичеванскими фальшивыми монетчиками, а в грабеже ваших денег не сознается!

– Нельзя ли как, хоть одним глазом, посмотреть на этих арестантов? – спрашивали прокурора частные посетители полковника.

– Меня одна дама просила на Милороденко взглянуть.

– Меня просила моя невеста взглянуть на эту девушку, нашу героиню!

– Нельзя, господа, нельзя теперь никак!

– А когда же?

– Дня через три можно.

– Слово? честное слово? Отчего же через три дня?

– Честное и благородное, вот вам моя рука; сам я и поведу. Им кончится тогда весь предварительный допрос. Туда же я, к вашим героям, посадил и нашего другого героя...

– Кого, кого?

– Пеночкина, дезертира, вы слышали? Этого разбойника с Сиваша! Он на прошлой неделе взят под шинком Лысой Ганны и доставлен сюда, по соприкосновенности в главных преступлениях с нашим городом. Так я и его вместе с Милороденко и Левенчуком посадил. Им дан теперь лучший и надежнейший каземат во втором этаже, рядом с башнею. Небось не уйдут.

– Есть же что-нибудь еще новое о деньгах?

– Завтра преступникам последний допрос, сегодня они как-то взволнованы от моих розысков и просили их отложить. Завтра, завтра наутро все решится. Им поставится главная улика – жид Лейба из шинка Лысой Ганны. Он видел Милороденко и Левенчука в день их побега от полковника, и они ему показывали какой-то чемодан. По справкам и приметам это чемодан полковника.

– Так мне, выходит, еще ожидать? – спра-

шивал полковник. Его начинало мучить; он чувствовал, что дело его гибнет.

– Дня два еще подождите, ведь дело идет не о десяти рублях. Сами будете и следить завтра за допросом и открытием вашей покражи.

Панчуковский со вздохом принял предложение прокурора, осведомился о городских удовольствиях того дня и узнал, что в городе в тот вечер был театр. Он взял билет и пошел туда почти нехотя.

Ему не очень весело сиделось в театре. Играли какой-то избитый водевиль. К нему подсел секретарь градоначальника, правовед и франт, пустота и неизвестно почему желавший казаться близоруким. «Что вы поделяваете?» – спросил он. «Хочу выписать из-за границы себе на содержание итальянку». Острога эта пошла по театру.

В конце представления неожиданно пронеслось между зрителями волнение. Вошел в партер бледный полицеймейстер-молдаванин. Окинув залу мутным взором, он не сел на свое место, а подошел сперва в первом ряду кресел к городскому голове, ему что-то ска-

зал, голова сейчас оставил театр; потом полицеймейстер вошел в ложу градоначальника, куда уже перед тем по пути заходил, и с ним тотчас также уехал из театра.

– Что такое, что случилось? – шушукались зрители, – пожар, что ли?

– Опять отличилась наша полиция: все главные арестанты бежали два часа назад из острога! – ответил кто-то вполголоса в креслах.

Панчуковский вздрогнул, встал, подошел, задыхаясь, к разговаривавшим. Занавес в это время опустился.

Никто не аплодировал. Все занялись роковою вестью. Вокруг секретаря градоначальника столпился весь партер.

– Они подняли половицу под нарами в каземате, – говорил, щурясь и лорнируя ложи, секретарь, слышавший разговор головы с полицеймейстером, – распилив ее гвоздем из оконницы, стали каждую ночь опускаться под пол; между полом верхнего этажа и сводом нижнего проникли в башню, запертую у нас, как известно, в остроге за негодностью с давних пор, сошли по лестнице башни вниз,

начали копать под стену башни, прокопались под наружную ограду, и сегодня главные, а за ними и остальные ушли. Они копали нагишом, а землю в рубашках таскали и рассыпали под полами. Там вся команда рыщет теперь с фонарями; погоня поскакала...

– Кто убежал? – спросил Панчуковский, еще не веря своим ушам.

Голос его дрожал. В глазах у него помутилось.

– Все главные воры и негодяи, Пеночкин, например, да и ваши-то... да-с... Милороденко и Левенчук, а с ними тоже и эта, знаете, полковник, женщина... Наш бедняк полицеймейстер совсем потерялся. Генерал велел поднять на ноги все городские полицейские силы...

Шумно разнеслась по городу ошеломляющая весть.

Панчуковский без памяти выскочил из театра. Извозчиков уже публика разобрала. Он почти побежал в свою гостиницу. По дороге, у одного освещенного дома, он остановился перевести дух. Из полуоткрытого окна неслись звуки рояля. Пел чей-то приятный женский голос. У ворот стояла щегольская пролетка;

кучер дремал, завернувшись в армяк.

– Чьи лошади?

– Учителя. А вам что?

– Какого?

– Головы-с... – ответил кучер, увидев на Панчуковском кокарду и приподнимая шапку.

– Кто ваш учитель?

– Михайлов, Иван Аполлоныч.

Панчуковского озадачило.

– Из Одессы? бывший студент? что у Шутовкина в том году жил?

– Так точно-с.

– А у кого это он? Квартира тут чья? Я что-то не разберу...

– Настасья Васильевны-с, полковницы Панчуковской-с...

Панчуковский отскочил. Из окна в это время раздался голос:

– Софрон, ты тут? подавай.

– Сейчас.

Не помнил Панчуковский, как добежал до гостиницы.

«Так вот она, судьба-то, с кем жена моя сошлась! – мыслил он. – Правду же, значит, го-

ворят городские толки! И она явилась искать со мной сближения? Письма ко мне писала, а теперь справки против меня собирает! Процесс затевает...»

На столе в номере гостиницы он застал письмо исправника.

«Не я, Владимир Алексеич, виноват, если вы сдались на здешние городские власти после того, как я вам поймал ваших похитителей, и не протестовали против того, что они в одном каземате соединили Левенчука, Милороденко и Пеночкина, уже сидевшего здесь в остроге и прежде бежавшего; в эти дни они обдумали и исполнили дерзкое небывалое дело. Полицеймейстер тут кругом виноват. Но я опять предлагаю вам свои услуги. Теперь уже надо нам самим действовать! Из ближайшей подгородной корчмы мне сейчас донесли, что след бежавших показался по направлению к Дону, к гирлам, и именно к неводам купца Пустошнева. Там место самое глухое и удобное для скрытия. Держите это пока в строжайшем секрете; сейчас нанимайте тройку добрых лошадей, возьмите с собой оружие,

выпросите себе у генерала жандарма в провожатые, переоденьтесь получше и спешите ночью же ко мне. Я вас буду ждать в стороне от большой дороги, у трех курганов, называемых могилою Трех братьев, на девятой версте. Посылаю с нарочным. Желая от души успеть.

Ваш *Подкованцев*».

Панчуковский съездил к градоначальнику, выпросил себе в провожатые жандарма-солдата, переоделся, достал у хозяина гостиницы охотничий штуцер, зарядил один его ствол картечью, а другой пулею, сел на приготовленную добрую тройку и поехал. Он платил щедро. Все смотрели на него с сожалением.

Ужас пронимал его при одном помышлении, что все его труды, усилия пропадали навсегда.

«Дурак я, дурак! Зачем я так надеялся? может быть, деньги в это время уже были бы у меня в руках! А я занялся городскими удовольствиями; на стены острога понадеялся... две недели ушло! Селедками бы покормить

было, хоть через сторожа, этих арестантов; за червонец эту пытку бы сотворили – и дело было бы в шляпе».

Ночь была непроглядная. Ветер шумел. Дождь срывался. Панчуковский подъехал к девятой версте, своротил влево. У могилы Трех братьев его окликнул Подкованцев.

– У! я продрог! Вот бы теперь бювешки, колонель, если нет ничего поманжекать! Нет ли выпить чего? Что вы так опоздали?

– Вот вам бутылка рому, я захватил. Долго в театре я просидел, ваше письмо три часа меня ждало; не знали, где я!

XV

В гирлах и плавнях на Дону

Тройки тронулись рысью. Месяц не вырезывался. Лошади бежали дружно. Много думалось Панчуковскому. Он вспоминал лучшие свои дни здесь, в степях, риски по хозяйству, волшебные барыши, любовные похождения, покражу минувшим летом Оксаны, картины выдержанной им осады, замысел выписать себе итальянку, невольно вспомнил и лица Милороденко и Левенчука у своей кровати, в ночь грабежа, городской театр, му-

зыку в освещенном окне и ответ опрошенного кучера. «Она мне изменила... тем лучше! Мне легче будет жить по-старому! Но Михайлов... помощник мой!.. Я этого не ожидал...» Исправник где-то в потемках останавливался, вылезал из телеги, с кем-то говорил, шушукался, и они опять ехали. «Что за таинственные отношения здешних земских властей к земству! – думал Панчуковский, – тем лучше...»

Заря еще не занималась, когда обе тройки подъехали к какой-то песчаной косе. Тут они переменили лошадей, опять поскакали, опять сменили лошадей, уже невдалеке от тоней купца Пустошнева, и втянулись в камыши. Пустошнев был друг Подкованцева, всегда ему помогал по службе. Но тони его бывшие, в самых донских гирлах, особенно были пригодны для пристаней контрабандистов, по причине ряда отмелей и островков за камышами, прилегавших к ним у взморья, и здесь-то часто совершались дела, по которым после начинались грозные и энергические следствия. Это было лакомое место для исправников. Они же смотрели сквозь пальцы на пере-

держку здесь беглых.

– Вы потерпите тут, а я на минутку к молодцам зайду! – сказал Подкованцев, – вы будьте спокойны, я дал вам слово и сделаю. Тут надо самим работать. Им негде уже отсюда пройти, кроме вон того места! Слышите, пароход тут где-то пыхтит. На это они, наверное, рассчитывать будут; не может быть, чтобы они ушли без сильной помощи снаружи острога. Подумайте, Милороденко располагал столько времени и такую огромную сумму. Им здесь быть! Они затевают уйти в чужие края...

Исправник слез с телеги, накинул мужицью свиту, взял пистолеты и пошел. Панчуковский приподнялся в свой черед, посматривая кругом.

Исправник посоветовал ему еще втянуться в гирла.

Панчуковский двинулся в чуть бледных сумерках.

– Да вы ступайте, братцы, за мной! – сказал исправник ямщикам, – тут дорога плоская, рытвин почти нет. Ступайте шагом, пока я крикну: тогда и остановитесь.

Подкованцев шел, чуть видный впереди, медленно подвигаясь между исполинскими камышами, то узкими, то широкими прогалинами. Дорога шла песком. Скоро она пошла будто книзу. Под ногами лошадей стали плескаться лужи. По сторонам, среди нескончаемых зарослей, дремучих, во все стороны идущих камышей, то здесь, то там мелькали белые полосы озер. Вербовые ветви тронули впотьмах по лицу Панчуковского. Стало в воздухе влажнее, но так же тепло, душисто и чутко. Легкий ветер зашелестел было тростниками и затих. Туман и облака поплыли с неба. Пояснило. Стало еще теплее. «Это плавни!» – думал Панчуковский, склонил голову и будто слегка вздремнул, усталый донельзя и качаемый ровными колебаниями легкой телеги. Сквозь мгновенную дремоту он услышал издали тихий оклик Подкованцева: «Теперь стойте! Я скоро приду; надо опять своротить к одной тут хатке!» – открыл глаза, потянулся и оторопел от чудной картины плавней, которая вдруг развернулась перед ним, будто выходя из какой-то дымки, из какого-то заколдованного тумана...

Солнце еще не показывалось. Но бледный отблеск, предшествующий заре, уже освещал в разных местах окрестность.

Дон, сливаясь с притоками и дробясь сам на множество рукавов, шел здесь уже не похожий на реку. Это было громадное пространство вод, потопивших землю, холмы, луга и песчаные наметы, или, скорее, собрание самых разнообразных рек, ручьев и островов, поросших исполинскими камышами. Главной реки почти не было видно. То здесь, то там, будто спеша к морю, будто обгоняя друг друга, справа и слева вырывались из чащи камышей новые ручьи. Луга и острова потопляются разливом гирл до начала жаров, и потому донские плавни в это время посещаются только рыбаками да теми, кого нужда заставляет в них скрыться. Кое-где эти обнаженные пространства, эти зеленеющие вершинки, а большею частью сплошные песчаные кучугуры покрыты ольховником, вербой и лозой. Сюда иной раз, по брюхо в воде, перегоняют на пастбище рогатый скот и лошадей. Но тучи мошек и комаров скоро прекращают возможность к таким перебродкам. Скоро все

плавни пустеют. Разве иной бедняк из рыбаков, бродя в лабиринте здешних островов, озер, камышовых зарослей и песчаных мелей, бросит сети и накосит на лодку для лошади полкопны сена или молодого зеленого тростника.

Заря близилась.

Панчуковский не мог оторваться от картины гирл, шумящих, грохочущих и бегущих в пене и в камышовых холмах. Перед ним во ста шагах, за мелким бродком, стало выясняться огромное, тихое, светлое, как зеркало, озеро. Это было не озеро, а тот же Дон, в конце долгого пути завернувший в затишье трех песчаных горбов и целой дубравы лоз и тростников и легший здесь на отдых. По этому тиховодку шагала какая-то серая тень, с длинным носом. Вот заалелся в первых лучах света у нее хвост; она повернулась... цапля. Пролетело новое дуновение ветра; вздохнуло утро. С разных сторон опять отвернулись новые завесы...

Там опять открывается цепь мелких, бесконечных островков. Здесь блеснули окраины красного, будто окровавленного соляного

озерка. В чаще лозы отозвалась лягушка, за нею другая, сотни, тысячи, и целый разлив болотных стонов огласил воздух. А камыши открываются далее и далее, слились целыми рощами, лесами, темные и величавые, шелестя широкими султанами и листьями. А вот раздался крик журавлей где-то далеко-далеко. Вправо мелькнули крылья мельницы, потопленной в острова и лозы. Что-то шелохнулось в воздухе и загудело далее и далее, будто откуда-то пронесся последний отзвук неслышного пушечного выстрела. На самую телегу, в упор на Панчуковского, порхнув через камыши, налетела какая-то легкая, длиннокрылая птичка. Свободная и дышащая испугом и влагою, она робко и ясно взглянула в его глаза своими круглыми мерцающими глазами и в два взмаха опять взвилась и унеслась в нескончаемые ряды камышей, островов и журчащих неумолкаемо бегущих ручьев. Панчуковский спросил своего жандарма:

– Бывал ты здесь?

– Как не бывать!

– Много рыбы тут ловится?

– Всякая бывает: бычки, синец, белизна,

осетры, стерляди, баламут, значит мутящий сельдь, он воду мутит...

Панчуковский взглянул вперед. За тиховодным озером, по которому, незадолго прогуливаясь, прошла покинувшая сон цапля, небосклон стал еще яснее.

Небо вдали, наконец, подернулось отблеском зари. На окраине небосклона, за камышами, перебегали белые зайчики. Что-то особенно раздольно шумело. То море вдали пенилось и бурлило у берегов, обдавая песчаные наносы широких гирл кудрявым белым прибоем. Ветер еще не смолк. Чайки с криком носились по темному еще взморью. Влево выходили из тумана чуть видные мачты судов, шедших всю ночь по морю под парусами или стоявших вразброску у неводских пристаней по Дону. Вправо виднелись верхушки рыбацких землянок, крошечный домик купца Пустошнева, курени по притокам Дона. С некоторых крыш поднимался уже дымок.

Воротился, запыхавшись, Подкованцев. Он вел на поводу оседланную лошадь.

– Помилуйте, мне совестно, право! Чем я вас достойно отблагодарю? Вы спасаете мое

состояние, честь, жизнь мою, и все сами делаете! – сказал Панчуковский.

– Помилуйте, ничего! здесь иначе нельзя. Другой тут бы армию понятых потребовал, казацкую команду, а я все сам. Видите, какие места. Здесь я недавно чай открыл: люди Пустошнева мне все покорны. Между нами сказать, я делюсь с ними законными призами. Меня тут без них чуть было не изрубили на первых порах греки-контрабандисты. Когда-нибудь, как счастливо обделаю ваше дело, покажу вам: у меня плечо перерублено. Кажется, в таких историях когда-нибудь-с пропаду, как собака...

– Что же наше дело? – спросил с лихорадочным трепетом полковник.

– Шш! берегитесь извозчиков! Они нас не знают! думают, что мы простые полицейские сыщики по контрабанде. Сидите же, сидите, камрад, тут; приказчик мне другую лошадь дал там! Давайте еще бювешки – надо допить бутылочку этого рому! Если что надобно будет, я выстрелю из пистолета, тогда вы скачите ко мне. Они уже здесь где-то, верно, вон в тех трясинах ждут; на заре, как заметили на-

ши сыщики, какие-то люди с больною женщиной подходили к куреням. Это они, они; им негде пройти, как здесь... Я разослал стражу по берегам, верховых и пеших, чтоб не дать им сесть где-нибудь на дуб или на лодку и не удрать к пароходу. Вон, видите, какое-то паровое судно стоит, да еще, кажется, английское. Они тут смело теперь шляются. Там, должно стать, мы их и накроем... Ночью буря где-то была, а здесь сильное волнение, их, верно, не приняли на лодку... У меня на все есть открытые листы...

Подкованцев, одетый мужиком, но с пистолетами под армяком, побежал снова камышами.

Панчуковский скинул тулуп, остался в одном сером простом кафтане, сел верхом на приведенную довольно крепкую лошадку, перекинул через плечи гостиничный штуцер, врезался еще глубже в более высокие и густые камыши и стал ждать. Кругом уже ярко сияли озерки и трясинные болота. Дичь начала стрекотать, кричать и стонать на все лады. Гуси загоготали невдалеке, поднялись громадную стаей и с звонкими перекликаками по-

тянулись к морю. Панчуковский ждал, сообщая свое положение. Ему невольно опять представился брошенный Петербург, модный свет, балет, Невский проспект, блистательные товарищи. Он взглянул на своего вислоухого пегаса, на свой дырявый серый кафтан, помыслил, что через полчаса он может сделаться окончательно банкротом, чуть роковым беглецам каким-нибудь волшебным, неожиданным оборотом дела удастся уйти с берега. «А остальному свету нет до меня дела! Где решается моя судьба...» Яснело более и более. Возле неводских куреней задвигался народ. Какие-то пешие побежали ко взморью; какие-то всадники поскакали...

Панчуковский невольно в это мгновение подумал: «Что, если все погибнет, если их не поймут и мои деньги, все мое состояние пропадет, исчезнет без следа навеки? Что, если будет свалка, меня кликнут сигналом, я поскачу и меня убьют? Будь что будет! Я пожил, повеселился. Я ловил каждое мгновение жизни, пил сладость из каждого цветка, бросая его потом, как негодный. Убьют – туда мне и дорога! Смерть раз бывает в жизни. Ну,

значит, так и на роду было написано. Жил в деревне у отца, потом в Петербурге, потом женился, состояние взял; жена надоела, жену бросил, сюда приехал – жизнью поживиться на этом раздолье, – тут выходит и конец. А если не убьют?.. Если не убьют, а возьмут одно состояние, все состояние, как есть, все до единого средства к жизни... что тогда? Вот любопытно: хватит ли у меня силы воли избавиться лично, собственной охотой, от такого позора и унижения? Хватит ли у меня ума, безумия, горячки покончить эту шутку... самоубийством? Позор после роскоши, цепи и нищенская сума после воли и счастья!..»

Раздался чуть слышный сигнальный выстрел. Дымок забелел над песчаными откосами.

– А! сигнал! Подкованцев не врет. А я уже начинал думать, не возьмет ли он взятки с того же Милороденко и не пропустит ли его: теперь у соперника моего денег больше! Двести тысяч!.. О двухстах тысячах идет дело, а в этой пустыне их спасают всего двое: я да сам исправник...

Владимир Алексеевич поскакал на вы-

стрел, вперерез бежавшим вдали по берегу людям. Едва он выскочил из лимана, пробегая донские гирла и плавни, и поднялся на возвышенную, плоскую прибрежную отлогость, чудные картины опять, как нарочно, открылись перед ним. Утро заливало уже море алыми лучами...

Поморская последняя ширь и гладь расстилась, синяя, во все стороны. Кое-где по зеленым буграм и песчаным косогорам мелькали беленькие придонские хутора и побережные слободки. Дикая, суровая и бедная растительность, между песчаными долинами и наметами, сверкала в блесках утренней росы. Солнце выкатывалось слева, со стороны кавказского небосклона, гоня последние волнистые туманы и выясняя более и более, пышнее и пышнее берега, суда, камыши, плавни и синее хмурое море. Бойкий донской конек скакал во всю прыть по знакомой, родной равнине. Панчуковский пришпоривал лошадь и напряженным взором следил вдали какую-то непонятную суматоху. Сновали люди у берега; кто-то махал шапкою, звал других, голоса уже слышались...

– Что тут? где, где? – закричал Владимир Алексеевич, доскавав на высокий пригорок и с него окидывая глазами все кипевшее еще от ночного ветра взморье.

– Вона, эвона! – отвечали неводчики, почесываясь и не узнавая в подъехавшем серокафтаннике барина, да еще и полковника.

Они указывали на берег, где кто-то садился в лодку, суетливо понукая гребцов, упиравшихся веслами и не хотевших ехать.

Панчуковский поскакал туда. Это был Подкованцев.

– Я исправник, – кричал последний обезумевшим от досады и бешенства голосом, – я исправник, подлецы! Везите, везите меня! Вот они...

– Кто, кто? – спросил Панчуковский, кружась на разгорячившемся коне. – Да отвечайте же, бога ради? Кто?

Исправник отбил лодку, вырвал у одного из гребцов, едва стоявших спьяну на ногах, весло и оттолкнулся от берега.

– Наши, наши вон, на баркасе едут, уже к пароходу спешат. Проклятый край! Анафемский край! Эти олухи так и не дают лодки; да

разве я беглый какой! Исправник тут пешка ничтожная; на сотни верст раскинуты притоны мошенников, а тебя никто не слушает. Они споили за ночь этих олухов. Тут все заодно!

Панчуковский увидел на парусном дубе знакомцев: Милороденко, Пеночкин и Левенчук гребли; Оксана, укутанная платком, сидела на корме. Гребцы на дубу были, очевидно, не русские, из греков или турок. Поднимался опять свежий ветер. Прибой был сильный. Дуб относило влево к берегу. Исправника течением потащило вправо. Подкованцев орал на бежавших по берегу других неводчиков, звал их, божился о чем-то, колотил себя в грудь, ругался... Дуб стал заходить за бугор на мели.

Владимир Алексеевич выждал, соскочил с лошади, ухватил штуцер, спустился на колени, прицелился в дуб из штуцера и выстрелил сперва картечью, а потом пулей. Дуб был шагах в трехстах от берега. Картечь засвистела по волнам... Гребцы на дубу с насмешкой поклонились. Пуля также никого не зацепила. На дубу путники сперва засуетились было, но

стали опять спокойно смотреть на берег.

– Лодок, лодок! – орал Подкованцев, бывший сам, как известно, когда-то во флоте, и выбивался из сил, гребя одним веслом, – лодок! Тут участь человека гибнет, моя служба пропадает!

С берега, из гирл, справа потянулись востроносые лодочки. Их кидало, как пробки, по волнам. На иностранном пароходе разводили пары.

Дуб, подхваченный попутным ветром, распустил парус и, выбравшись из-за прибережья, пошел быстрее. Плывших на нем уже трудно было разглядеть. К Панчуковскому, также почесываясь, подошел неводский приказчик и узнал в нем барина.

– Верно тульское-с, простое ружье у вас? – спросил он, снимая шапку, – либо вы промахнулись, ваше высокоблагородие! А лошадка вынесла вас хорошо...

– Нет, я, кажется, кого-то зацепил. Одним, кажись, меньше на дубу стало. Я что-то не вижу хорошо. Неужто не успеют обогнать их наши береговые лодки? И отчего тут пушек нет?

Приказчик наставил ладонь к глазам.

– Все, барин, все целы на дубу; я их считал, когда они садились вон за тою косою. Это албанский пароходик, под аглицким флагом: переселяющихся татар-с все эти дни тут неподалеку забирал и ногайцев из дальних аулов, а нынче ему идти. Пушек же, барин, не наставишьсь везде: ишь, наша Расея-то раскинула свои границы!

– Да разве туда беглых допускают, позволено береговою стражей?

– Всяко бывает, барин, всяко... даже...

Последних слов приказчик не договорил. Дуб стало опять гнать к берегу. Ему вперерез поплыл Подкованцев. Вдруг на дубу сверкнул огонь, дымок за клубился. Что-то зашуршало в воздухе. Панчуковский ахнул: Подкованцев навзничь перекинулся с своей лодки через борт. На берег, где стоял Панчуковский, начал сбегаться народ. Исправник был убит наповал; дуб поплыл далее; новый порыв ветра; сидевшие на дубу зашевелились, распустили другой парус и направились к пароходу; лодки их не догнали. Пароход тронулся и пошел на всех парах.

– Мертвый, ваше высокоблагородие, – ска-

зал другой жандарм, когда сторожевые лодки привезли на берег бедного Подкованцева и положили его на песок, – череп вон своротило. Видно, пуля-то у разбойников аглицкая-с, да и штуцер дальнобитный. Шагов на полторы тысячи хватил и задел ловко-с; на прицел так по воле не возьмешь – я сам в ратниках в Севастополе был... Ах ты, горе какое! Ах-ах!..

Полковник стоял, не помня, что вокруг него делалось. Явились соседние сотские. Произведена по береговой страже тревога. Посланы гонцы в город. Оттуда казенный пароход к вечеру пустился в погоню за названным транспортным пароходом. На высоте Керчи, в проливе его догнали, остановили, осмотрели. Работал телеграф. Но осторожных беглецов на том пароходе не оказалось. Ночью и на другой день был дождь. Пользуясь туманом, вероятно, беглецов где-нибудь высадили на кубанский, волновавшийся тогда берег, либо на другое иностранное судно. На этом же албанском пароходе сидели только грязные, в лохмотьях ногайцы и часть переселяющихся в Турцию побережных татар.

Так было донесено градоначальнику.

– А деньги, мои деньги? – вопил Панчуковский, оставшись еще в городе. Все пожимали плечами. Остальных незначительных осторожных беглецов вскоре переловили. Те далеко не пошли: все поймались по соседним кабакам.

Тело Подкованцева привезли в город. Панчуковский рассказал любопытствующим свое дело: «Какою жалкою и позорною смертью умер бедняк Подкованцев!» – толковали горожане и знакомые. «А достойный был человек! От руки каторжников, беглых жизнь кончил! Этого у нас еще недоставало! А еще отставить хотели такого достойного человека!..»

Имя полковницы Панчуковской, урожденной Перепелицыной, стало между тем произноситься всюду в городе, сделалось модным именем. К ней являлся с визитом полицеймейстер, градоначальник пожелал с ней познакомиться. А до той поры, всю осень и зиму, она тщетно всех просила, хлопоча о разделеке или примирении с мужем.

– Да она, говорят, глупенькая! – толковали городские дамы, – она купеческая дочка, что ли? Ее Панчуковский, говорят, бросил из-за

какой-то ее измены.

– Таков он, чтоб жена у него изменяла! Это он ей ежечасно изменял и теперь изменяет...

– А ее роман с этим учителем?

– Какой вздор! Михайлов уроки ее дочери дает... Ведь это теперь артист; слышали вы, как он играет! В один год чудеса сделал! Он ее дочку учил играть, а матери давал уроки пения...

– Так, так! – говорили, недоверчиво качая головами, словоохотливые местные дамы. – Значит, они дуэты страстные вместе распевают? Спекуляции же ваш артист оставил?

– Бросил совершенно: он теперь собирает и записывает украинские народные песни, кладет на музыку и хочет издать, и оперу пишет на какую-то малороссийскую повесть Гоголя. Дарование замечательное...

Нежданно-негаданно явился в город священник отец Павладий и привез прямо в дом градоначальнику найденный кем-то в овраге, при снятии стога, чемодан. В чемодане были деньги. Панчуковский опять было окрылился; но от высшей власти из Петербурга явилось секретное предписание наложить арест

на все имущество Панчуковского, а его обязать подпиской не выезжать из города. Друзья жены полковника ожили. Зато он снова и окончательно потерялся. Новая Диканька также ускользала. Ему посоветовали обратиться в сенат. Полковник, однако, поговорив с судьей, оделся и полетел к своей жене с предложением мировой. Голова его горела. Сердце било тревогу.

– Настасья Васильевна, прости меня! – сказал он, входя к ней и опускаясь на колени. Дочка его выбежала с куклой из гостиной, увидела незнакомого ей человека и остановилась. – Прости меня, Настенька! Я много перед тобой виноват: я тебя обидел. Господь меня наказал – прости для нашего ребенка!..

В это время из гостиной вышел прокурор.

– Я давно хлопочу за вас, полковник, – сказал он. – Это вещь более невозможная: по личному ходатайству вашей жены, брошенной вами более девяти лет, ей выслали разводную.

В городе продолжали толковать о неясных отношениях Панчуковского к его жене. Их печальный роман еще не давал многим пытли-

вым головам спокойно спать. Как всегда водится, образовались два кружка: один стоял за мужа, другой – за жену. Одни говорили: «Муж изверг!», другие: «Хороша и жена! Она вот что, вот что и вот что делала!» Толки, разумеется, вскоре приняли новый соблазнительный оттенок. Говорили по-прежнему, что у госпожи Панчуковской не только здесь, но и в Моршанске были тайные и явные любовники, что ее здесь весь город с этой стороны узнал, что даже торговки стали о ней легко относиться. Именно, будто кто-то подкутил и крикнул как-то: «Извозчик, к полковнице! знаешь?» – «Как не знать полковницы, извольте!» Так будто бы нагло и свободно ответил городскому пьянчужке-офицеру извозчик. Сторона мужнина приводила другие примеры: «Коли так, то отчего же не изменять и самому Панчуковскому? Вот он услышал о поведении жены; может быть, и помирился с ней был бы не прочь, а молва о ней пошла, он назло ей и вспомнил опять старину – с цыганками стал водиться, неприличный пикник за городом с чиновниками затеял...» – «А ограбить жену?» – «Что же тут со-

стояние? Найденных в стоге денег ему не возвратили. Наложили секвестр и на его хутора. Да разве это что-нибудь значит? Он подал апелляцию в сенат, а сам переехал в Новую Диканьку. Что же из того, что они подвели против него такие подкопы? Что, наконец, из того, что он на женины деньги все дела повел, на них купил и хутор? Это уже их счеты, их... И нам между ним и женою дела никогда не решить!»

Эти толки длились недолго. Город вскоре был поражен последнею и общею прискорбною вестью...

Владимира Алексеевича Панчуковского его дворовые, вновь нанятые люди, подняли убитым на ярмарке в Андросовке. Смертельный удар ему был нанесен неизвестно кем в переулке, в конце ярмарочного дня. Оказалась разбитою голова: кто-то с непомерною силою ударил его сзади чем-то вроде гири. Началось шумное следствие. Взяли под допрос всю его дворню. Чиновники-дельцы не открыли, однако, ничего, что бы наводило на черную причину убийства Панчуковского; полагали, что в противозаконном передержа-

тельстве беспаспортных людей надобно было искать главной и ближайшей причины насильственной смерти полковника. «Что вы, господа, вздор несете? – перебивали их чиновники из молодого поколения, – да его беглые слуги ему служили получше многих крепостных! Они его столько раз сами спасали...»

«Ну, счастлив и Подкованцев, что погиб от этого следствия. Мы бы и его запроторили туда, куда Макар телят не гонял! Он был главная опора беглым».

Господа чиновники, однако, скоро получили приказания не фантазировать на предмет мнимой виновности беглых из дворни полковника, не ссылать их и не теснить, а судить, как всех людей на свете, ожидая дальнейшего решения о приписке их к месту оседлости.

Кто-то принес в гостиную градоначальника такое известие:

– Бедная Панчуковская! Да дайте ей, наконец, средство вырваться из этой тины сплетен и пересудов. Скоро ее станут винить и в смерти мужа, тогда как дело оказывается иное...

– А что? разве есть что-нибудь новое?..

– Как же-с! Полковника убили, это вы знаете. Пойман некто Петрушка Козырь, крепостной лакей покойного отца Панчуковского, живший при жене полковника и бежавший от нее по дороге сюда, как вы, верно, слышали. Он любил барыню, служил ей верой и правдой десять лет, а бежал, узнав, что ему опять было суждено попасть к барину. Верно, солоно было и у батюшки полковника всей семье Козыря. Брат Петра этого, Касьян Козырь, бежал сюда давно, еще от батюшки полковника. По справкам теперь оказалось, – как бы вы думали, что? – оказалось, что этот Касьян некогда с малюткой дочерью шел сюда, был на дороге зарезан, умер в Таганроге в госпитале; его дочь попала в воспитанницы священника, на Мертвой, – она-то после и была похищена полковником... Петрушка же Козырь на днях был пойман, бежал из квартиры станового пристава, где на справках и допросах узнал судьбу своего погибшего брата Касьяна и его дочери, – да, недолго думая, стакнулся еще, верно, с Левенчуком, явился на ярмарке, нашел в толпе покупателей пол-

ковника, подстерег его и убил наповал, из-за угла в переулке...

– Где же делся убийца?

– Исчез без следа.

В конце июня, после смерти полковника, жену его ввели во владение всем его имением. Шульцвейн предложил мадам Панчуковской уступить ему земли, постройки и все обзаведения с движимостью на Новой Диканьке. «Вам теперь, без энергии покойного вашего мужа, не управиться с этим имением. А у меня есть свободный капитал, и я поведу дело выгоднее, уплатив вам за все наличными». Бедная и измученная Настасья Васильевна с радостью продала Новую Диканьку, переуступила Шульцвейну и аренду мужа по другой земле, где были овчарни и знакомая читателю «пустка» – место первой сцены ее мужа с Оксаной; расплатилась с своими моршанскими кредиторами; продала немцу и заграничный фаэтончик, с четвернею новых бойких дончаков, возивших ее мужа постоянно вскачь, простилась с соседями и уехала обратно в Моршанск. «Климат на юге России невы-

годен оказался полковнице, – толковали горожанки, – иначе бы она не уехала». – «Нет, это не то! – толковали мужчины, зараженные и здесь спорами новейших публицистов, – пора для частной деятельности мужского пола высших сословий на Руси настала, а для женщин еще не пришла. Да будь жив полковник, так и он, кажется, долго не протянул бы своих предприятий. Оборвись еще у него два-три дела, вроде поедания саранчою его степей, и он, наверное, через год опять бы служил в коронной службе. Эти акционерные компании, эта губернская провинциальная деятельность наших передовых людей – только поветрие. Увидите, все наши новейшие стремления и так называемый собственный труд кончатся одним: наши имения, фабрики, леса, земли и воды... все здесь скоро попадет в аренду либо к немцам, либо к жидам...»

Через месяц, вслед за Панчуковскою, уехал в Моршанск и Михайлов. Прошел слух, что он еще в Новороссии сделал ей предложение и по смерти ее мужа получил от нее слово.

Недавно чудным, теплым, чисто украин-

ским деньком, по обычаю, подарила осень южные степи. Солнце, слегка будто отуманенное, грело по-летнему. Паутина летела во все стороны. В поле было тихо, травы пожелтели, но лист с деревьев в одиноких оврагах еще не облетел. Эти красивые лески стояли, горя всем разнообразием измененных, доживающих последние дни листьев: светлым пурпуром диких яблонь и шиповников, ярким золотом кленов и лип, серебром осокоров и синеватым густым багрецом терновника, дубков и орешников. В это время поморские новороссийские степи по красоте не имеют себе соперников. Слетаясь с севера, перед отлетом за море, в это время дичь здесь кишмя кишит. Стаями ходят дрофы, гуси темно-серыми отрядами пасутся по пустырям, будто стада овец. Журавли кричат, производя свои воздушные смотры и разводы под облаками, свертываясь в треугольники или разворачиваясь в длинные, подвижные, необозримые колонны. Иной раз по часу и по два они летят, застилая небо. В это время в степях из людей уж почти никого не увидишь. Чумацкие обозы, в ожидании близкой распутицы, не тянутся более с

севера в портовые конторы по широким дорогам. Хлеб свезен. Одни скирды сена торчат еще то здесь, то там, служа седалищем для молчаливых и важных орлов и коршунов всякого вида и роста.

Затих и оделся в пышные цвета и оттенки и овраг Святодухова Кута. Роща раkitника отличалась всеми яркими блесками. Пруд синел и просвечивался сквозь ее обнаженные опушки. Несколько юрких птичек шныряли в деревьях, высвистывая свои последние песни.

А в домике отца Павладия готовилось грустное событие. У стола, на котором всегда кучами лежали газеты и журналы, сидел, накупившись, посторонний священник, какой-то рыжий, золотушный, тощий и длинный, с подвязанною щекою, отец Геронтий. Он сидел тревожно, косясь на стол перед окном, где новый святодуховский дьячок Андрей, чуявший недоброе, с грустью устанавливал наскоро соленую закуску. В спальне же раздавались тихие одинокие стоны. Там на лежанке сидел старый слепой дьячок Фендрихов, а на скамье его жена, с ребенком на коленях, и какая-то знахарка-старуха, из соседних

казачек. Отец Павладий, простудившись на отпращивании одной требы, умирал от горячки. Лекарей в окрестностях, разумеется, не было. Он часто забывался и бредил; но иногда приходил в себя. Свидетели его уединенной жизни на Мертвой молчали, вздыхая и прислушиваясь к нему, как говорится, ожидали отлета души. Но не сдавался крепкий, в пустынном воздухе состарившийся священник.

– Осиротеет, опустеет окончательно мой дом! – проговорил отец Павладий, взглянув кругом себя, – но не опустеют здешние окрестности. Не один владелец, Фендрихов, другой найдется... Ох... тяжело мне... тяжело. Вот уж и манифест весною прочитали. Не забудут вас, господа! Людям становится лучше. Беглых несчастных станет меньше. Придут сюда люди всякие теперь уж по воле. Фендрихов! не поминай меня лихом. Кто б тут ни был, проси служить службы по мне да по бедным, по несчастным и по схороненным тут переселенцам. Ох... да смотрите... рощу-то, сад, прудок мой берегите... А про Оксану-то, про Оксану... Ох, благослови ее, господи боже, сироту эту! Где-то она? а? где?

В ночь на другой день отец Павладий умер. Фендрихов рассчитался с хоронившим его священником туго и не без прижимок. Он был в отставке, следовательно, самостоятелен.

Молодой дьячок, по смерти строителя Святодухова Кута, тотчас подвергся гонениям нового священника, так как все дядино имущество становой передал ему, кроме части пожитков, отданных Фендрихову, с коровами, пчелами и овцами отца Павладия. Новый священник стал осуждать направление мыслей своего причетника, ославил его перед епархиальной властью за вольнодумство и за заведение переписки в запрещенном образе суждений.

Дьячок Андрей временно, скрепя сердце, выбился оттуда в другой приход; но судьба ему улыбнулась. Колонист Шульцвейн, хотя и лютеранин, выхлопотал ему оправданье. Шульцвейн начал приобретать влияние и на Мертвой. Андрея сделали опять причетником святодуховской церкви. Колонист часто, владея теперь Новою Диканькой, заезжал к нему беседовать.

«Молодцы немцы! – думал дьячок, завидя приближение его зеленого фургона, – не зевают – все прибирают к рукам!»

– Что толкуют ваши прихожане? – спрашивал колонист, протягивая дьячку мозолистую руку и осклабляя белые здоровые зубы. На нем была прежняя синяя куртка, а длинные костлявые ноги в тех же высоких сапогах, не без аромата дегтя.

– Какие-с, Богдан Богданыч?

– Помещичьи! Как они, по соседству, смотрят на новое свое положение, опубликованное вам теперь?

– Будем, говорят, ждать.

– Беглые же попадаютс и теперь? Видите ли вы их тут иногда хоть в церкви? Ведь это было прежде одно средство спастись: это был предохранительный клапан для былой машины вашей... понимаете?..

– Нет, реже стал этот народ; почти что все их нет. Многие пошли добровольно на север-с, в Россию.

Шульцвейн молча уехал. Он не переставал любить Святодухова Кута, много помогал в его дальнейшем процветании: все поглядывал

вал на плод трудов отца Павладия, на подцерковный прудок в роще, думая: «Нельзя ли бы и тут хоть мойку для шерсти устроить или пивной завод? Место отличное!..»

– Он ненадежный, – говорили, однако, некоторые о Шульцвейне, – он затевает уехать и продать все земли; увидите, что это случится...

К осени жена ему собственноручно сшила новую куртку и купила ему вместо серебряных золотые часы. Но он их спрятал.

– А что же участь Милороденко, Левенчука и Оксаны? – спрашивали иногда городские дамы, которых еще занимала история этих беглецов с Панчуковским.

– Говорят одни, что они через Кубань и Кавказ в Турцию пробрались; другие же толкуют, что они попались где-то, не то в Анапе, не то в Редут-Кале; какой-то татарин выкрест будто выдал их...

– Ну, что же с ними сделали?

– В остроге, верно, сидят где-нибудь. Да нет, не может быть: хоть священник и нашел деньги Панчуковского, но ведь значительная

доля из этой суммы была в золоте и серебре, и ее не оказалось, – что-то более трех тысяч рублей. На эти деньги со стороны их соумышленники им и помогли, значит, уйти из острога; на них же они могли пройти через все наши пограничные пикеты, и ушли, вероятно, если не в Анатолию, так на каком-нибудь купеческом судне в Молдавию. А эта сторона вся в такой теперь сумятице, что там укрыться и пристроиться, особенно еще с деньгами, очень легко. Да там же немало живет и наших прежних, уж давно оседлых и отлично пристроившихся беглых. Плати только исправно подати, да живи смирно – дело твое и улажено...

В ноябре стала продавать имение, вследствие окончательного неуспеха своих дел, и помещица Щелкова. Шульцвейн и ее землю купил.

– Каков, а? – говорили о нем помещики и горожане, – скоро весь уезд будет в его руках! А если переменится выборный ценз, он будет иметь сильный голос и в нашем будущем земском устройстве... Куда ему уезжать? С нами останется!

– Что ж тут удивительного: немец, да еще
и не русский, а иностранный, немецкий
немец!

1862

Княжна Тараканова

Часть первая

Дневник лейтенанта Концова

*Ни малейшего сомнения – она авантю-
рьера.*

Письмо Екатерины II

I

Май 1775 – Атлантический океан, фрегат «Северный Орел».

...Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный Орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибудем, что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи.

Боже-вседержитель! Дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу...

Я – моряк, Павел Евстафьевич Концов, офицер флота ее величества, всероссийской императрицы Екатерины Второй, пять лет тому назад, божьим изволением, удостоился особого отличия в битве при знаменитой Чесме.

Всему свету известно, как наши храбрые товарищи, лейтенанты Ильин и Клокачев, с четырьмя брандерами, наскоро снаряженными из греческих лодок, в полночь 26 июня 1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению.

И мне, смиренному, удалось в то время – прикрывая брандеры – в темноте, с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый брандскугель. От брандскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от напевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных шестидесяти- и девяностопушечных вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в оде на

чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, неизвестному светом, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки:

*Вручает слава ветвь, вручает
ветвь лаврову
Кидающему смерть в турецкий
флот Концову.*

Оные стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Макензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генеральс-адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, к графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хорошо. Но страшный рок иногда преследует людей.

Судьба отвернулась от меня, статься может, за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины.

Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всю-

ду – французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, неожиданный и тяжкий искуc.

Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

– Я так счастлив, так, как будто взят, аки Енох, живой на небо.

Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор как некогда пособил Екатерине взойти на престол.

Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году.

Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес что надо на берег и переговорил. А на обратном пути, в море, нас заметила и по-мчалась за нами сторожевая турецкая кочерма.

Мы долго отстреливались. наших матросов убили: я, тяжело раненный в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул.

Во мне, хотя переодетом в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, как дознаются, – думал я, – что их пленник тот самый лейтенант Концов, от брандскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный адмиральский корабль? что станется тогда со мной?»

II

Я пробыл в плену около двух лет. Настал 1775 год.

Вначале меня держали взаперти, в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях, при одной из трехсот стамбульских мечетей. Дошел ли туда, на самом деле, слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин,

болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере; хвалил мусульманские обычаи, нравы, превозносил могущество и славу падишаха. Возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить. Чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил, мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие.

Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета, не пил, но усердно соблазнял меня и манил:

– Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут, смотри, сколько кораблей; поступишь на службу, будешь у нас капитаном-пашой...

Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по роди-

не. О, как мне памятливы часы того тяжкого, рокового раздумья!

Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую Концовку. Я сиротой, в офицерском чине, прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки, поблизости города Батурина, были богатые соседи по деревне, Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклиевич и его дочка Ирина Львовна.

То да се, езда в ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки, ну – молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которое я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неизвестно для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы! Началась переписка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись

часто. Так тянулось лето. Дорогие, памятные дни! Одно из моих писем к Ирен, по несчастной случайности, попало в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров, уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного... только горько, тяжело о том и вспомнить.

Была осень и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезенный им от Ракитиных, запечатанный пакет. Сердце мое так и екнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ.

«Простите, мол, матушка Аграфена Властьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин, всем хорош и пригож, – писал бригадир Ракитин, – но моей дочери, извините, он не пара и напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями и желаем вашему крестнику и внуку найти сто крат лучшую и достойнее его».

Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу – пресеклось дорогое, чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники Разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины, в высший свет.

– Бог с ними! – твердил я как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне опостылым светлицам бабушки.

День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с ракитинскою усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях. Поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения! Помню, мне казалось – стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне, мы уйдем на край света. Безумец, я надеялся ее видеть, с нею обменяться

мыслями, наболевшим горем.

– Брось отца, брось его, – шептал я, взгляды ваясь в окна. – Он не жалеет, не любит тебя.

Но тщетно: окна были темны и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой горенки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма, не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести. Посылал ей тайно и письмо – ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет, – решил я тогда, – зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого. Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник».

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных, куда-то на Оку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром.

III

Бабушку не менее меня сразило мое положение. Она, спустя неделю, призвала меня

и объявила:

– Твой риваль[25] тобою угадан; это дальний родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала стороной, Павлинька, его нарочито выписали, он у них гостил во время твоих исканий и помог им уехать без следа. Забудь, мон анж[26], Ирену: она, очевидно, в батюшку – гордячка; утетишьса, даст бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч. «Бабушка права, – мыслил я, решаясь все бросить и забыть. – Если бы Ирен была с сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку».

Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей не отданный, гимн из «Ифигении», новой и тогда еще не игранный оперы Глюка. Я со слезами сжег его.

После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся.

Аграфена Власьевна в тот же год, без меня, простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге, все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен, – никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился; я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять?

Вести с юга, из-за моря, между тем, наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегия морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя, некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой.

– Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что? – твердил я. – Боже! когда бы скорей конец жизни!

Но смерть не приходила; вместо того, я был схвачен и, после славной Чесмы, попал в долговременный плен в Стамбул.

Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его, для компании, отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной – и сам для этого пил; мой учитель, делать нечего, в угоду мне, стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах.

Однажды – это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэzzин с вышки звал к вечерней молитве народ, – мой наставник тайнственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрице Екатерине, могучая претендентка на российский престол?

Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил:

– Тайная дочь покойной императрицы Елисаветы Петровны.

– Это вздор, – вскричал я, – бессмысленная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.

– Не сплетни, читай! – сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. – Лучше подумай, что ждет твою родину?

Сердце мое, преданное великой, правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав: сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая, называвшая себя *«всероссийской княжной Елисаветой»*. Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану, искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.

«Как? – рассуждал я. – Судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о ко-

тором я слышал в плену, туркам являлась еще и эта помощь! Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье, эта собирается пустить огонь и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо.

– Крылья мне, крылья! – молил я бога. – Улететь бы к родному флоту, предупредить верного государыне графа Орлова, все ему передать...

И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне вовек испытанного.

Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив о дно глиняного кувшина вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и зашел без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было: освободившись

быстро от цепей, убить ими ренегата-муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений.

Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать мулле, что внял его мудрым наставлениям и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.

– Нет, – повторял он, – не могу, не пропустить бы молитвы; заметят, донесут...

Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит, снял с него туфли, расписанный халат и чалму, оделся в них – он лежал как убитый.

Мы были с ним почти одного роста; борода

в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее.

«Боже! Неужели? – думал я в радостном содрогании. – Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму и набожно склоняясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечети, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склоняясь, молча указал на один из близстоявших, давно мною из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торговых французских шкун. Я узнал ее по флагу.

IV

Бравый, смуглый красавец француз, командир шкуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил:

– Не Концов ли вы?

– Почему вы так думаете? – спросил я в тревоге.

– О, я бы желал, – ответил он, – чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем... Я был бы счастлив, если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якоря и парусов. Ночью шкуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути.

Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок – платье муллы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль.

От капитана шкуны я, между прочим, по

пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок; я настаивал на своем.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне ссуде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе.

Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленной свиты. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво; но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направляюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию.

– Но кто же она и где до сих пор прожива-

ла? – спросил я свитских княжны.

– Она родная дочь вашей покойной императрицы Елисаветы от ее тайного брака с графом Разумовским, – отвечали мне, – в детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, *damé d'Azow*, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елисавета Вторая – кровь великого Петра... Немецкие и иные принцы сватались за нее; французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.

«Киль, Берлин! – думал я. – Киль – в Голштинии; он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра: бывшей там замужем Анны и Елисаветы, выписавшей себе оттуда наследника, Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? и что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.

Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал, барон Корф, ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся: просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор.

В приемную вошла княжна Елисавета, окруженная нарядною свитой. После я узнал, что это были: знаменитый в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием «пане-коханку», в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами, рядом с ним – его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушко; за ними – в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий – глава сплотившейся против нас польской конфедерации; поодаль – надменный и богатый староста Пинский, граф Пржездецкий, возле него – влиятельный из молодежи-конфедератов, рубака и дуэлист Чарномский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах.

Княжна, как я заметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье, род амазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе, с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными, в дорогой оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские гордые магнаты говорили княжне «ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени.

Не скрою, меня поразило вид княжны. Я увидел перед собою в полном смысле оборотительную красавицу – лет двадцати трех-четырёх, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка, чуть заметно, косил, что придавало ее оживленному лицу особое, лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо рассмотрел на портреты

покойной императрицы Елисаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа.

Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный, по этикету, прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала стул. Мы остались наедине.

V

После некоторого обмена мыслей – мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания – оба мы в понятном смущении замолчали.

– Вы русский офицер, моряк? – спросила меня княжна.

– Так точно, ваша... ваша светлость, – ответил я, не зная, как был должен ее именовать.

– Мне известно, вы отличились, ваше имя прогремело при Чесме, – продолжала она. – Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.

– Послушайте, – проговорила она с чувством, и до сих пор я слышу этот нежный,

обаятельный, грудной голос, – я русская княжна, дочь вашей, когда-то любимой императрицы: не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я, по крови и по завещанию, ее единственная наследница.

– Но у нас ныне царствует, – решился я возразить, – не менее всеми любимая монархиня – великая Екатерина.

– Знаю, знаю! – перебила княжна. – Могуча и чтима народом ваша нынешняя государыня, и не мне, слабой, всеми брошенной, оторванной от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба.

– Чего же вы ищете, ждете? – спросил я удивленно.

– Защиты и уважения моих прав.

– Простите, – возразил я, – но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права.

– Вам доказательства? Вот они, – произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой баул. – Это завещание моего деда Петра Первого, а это духовная моей матери – Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел.

– Но это копии, притом в переводе, – сказал я.

– О, будьте спокойны, подлинники в верных руках... Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать! Мало вам этого – взгляните, – проговорила, полуоборотясь, принцесса.

Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших, в круглых рамах, портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елисавету Петровну с небольшою короною на голове; другой – стоявшую против меня княжну.

– Не правда ли, схожи? – спросила она, вглядываясь в меня.

– Сходство есть, это правда, – ответил я. – Я это заметил, едва вошел и вас увидел; позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?

– В этом году, в Венеции... Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха –

князя Радзивилла, при этом упростили сняться и меня.

– Дивные события! – произнес я в невольном смущении. – Является невообразимое, встают из гроба мертвецы: за Волгой – давно въяве похороненный император Петр Третий, здесь – никем нежданная и не гаданная дочь государыни Елисаветы.

– Не смешивайте меня с Пугачевым, – возразила, слегка покраснев, княжна, – хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью: «Redivivus et ultor» – воскресший мститель, – но он пока... лишь мой в том крае наместник.

– Как? – удивился я. – Так и вы подтверждаете, что он самозванец?

– Не спрашивайте, кто он, – загадочно ответила княжна, – после узнаете обо всем... еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города: Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге. Его прошлого не знаю. Бог ему судия... Но я действительно дочь императрицы Елисаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра Третьего.

– Кто же ваш отец? – решил я спросить.

Княжна помолчала, нахмурилась.

– Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах; оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для того денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов... Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись.

– Как! Вы видели графа Шувалова? Где? – изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.

– Это было на водах в Спа... Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике; я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек. Он явился под вымышленным именем; говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей ма-

тери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен – не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну.

Княжна смолкла. Молчал и я.

– Чьей же защиты, чьей помощи ищите вы? – решил я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями.

VI

Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно.

– Готовы ли вы мне пособить? – спросила она решительно в ответ на мой вопрос.

Я не нашелся что ответить.

– Готовы ли вы оказать мне, в случае необходимости, вашу поддержку?

– Какую?

– Вот видите ли... Если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной, – произнесла медленно и с уверенностью княжна, – я готова сделать для нее все... Отдам ей Север, с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею московской областью; себе возьму Кавказ, вообще

юг... я люблю юг... и часть востока. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна; населю и устрою мои родовые страны – увидите... я мастерица... И, разумеется, прежде всего восстановлю Украину и Польшу... Ведь вы украинец? Не правда ли? – спросила она, заглядывая мне в глаза. – И я жила в детстве на Украине... Если же Екатерина заспорит, – проговорила она, сдвинув брови, – мне остается добывать мои права силой. Я собираюсь в Стамбул, к султану; он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами, у Дуная, перед армией Екатерины. И я ей отплачу – при этом многие мне помогут, в том числе все недовольные... например, командир эскадры – Орлов... Что скажете о нем?

– Орлов? – спросил я с нескрываемым изумлением.

– Да, он! Удивляетесь? – помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна. – Как об этом вы думаете?

– Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения, – ответил я, – ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините,

измены?

– Измены? – вскричала, вспыхнув, княжна. – Впрочем, вам простительно... вы были в плену, многого не знаете.

Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером.

– Власть и значение Орловых пали, – продолжала она, – входят в силу их тайные непримиримые враги – Панины... Любимец императрицы, Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим; он в огорчении прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в Ревель. Удивляетесь? Знайте более... Ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть мне очень полезен. Видите ли, какие новости. Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест.

– Манифест? О чем?

– Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои пра-

ва.

– Но это невозможно, простите, – пытался я возразить, – ваш поступок смел, но необдуман...

– Почему? – удивленно спросила княжна. – Недовольные ищут возмездия; забытые, брошенные – отплаты. Это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг?.. Ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана тронem.

Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить.

Мне стало ясно, что эта избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своею смелостью померяться с любым из отчаянных мужчин.

– Вы сомневаетесь, удивлены? – нервно вздрагивая, вскрикнула она. – Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете?.. Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники, с некоторыми

ми я уже давно переписываюсь... Но вы – первый русский, таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле... Я этого не забуду, этим дорожу... Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется... Разве вам неизвестно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный, кровавый бунт? Ваше войско дурно одето и еще хуже кормится... Все недовольны, ропщут... Ужели вам, лейтенанту русского флота, это новость? Да, народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елисавету Вторую с торжеством, как когда-то встретили Екатерину.

Меня возмущало это ребяческое, слепое легкомыслие.

– Пусть так, но говорите ли вы по-русски? – решил я спросить.

Княжна смутилась.

– Не говорю, поневоле забыла, – ответила она, закашлявшись, – в детстве, трех лет, меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть

не отравили, оттуда в Персию; я жила у одной старушки в Испагани и с нею уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Фурьньё... Где тут было помнить родной язык?

Я сидел с потупленными глазами.

– И разве Дмитрий-царевич, признанный всею Москвою, говорил по-русски? – надменно спросила меня принцесса. – Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь.

– Дмитрий говорил с малорусским акцентом, – ответил я, – но зато ведь он и был... самозванец.

– *Cran Dio!*[27] – вскричала и, с новым кашлем, рассмеялась принцесса. – И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова...

Принцесса откинулась на спинку кресла. Багровые пятна выступили на ее щеках.

– Дмитрий был настоящий царевич, – проговорила она с убеждением, – да, настоящий царевич, спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте лучше. О, синьор Концов,

говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомой и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала, он вечный враг России... Меня признают – слышите ли? Должны признать! – заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. – Я верю в свою звезду и потому вас смело избираю своим посланцем к графу Орлову. Не требую тотчас ответа: подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение. Вы, повторяю, первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине! Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, берегла и послала мне судьба.

Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена.

VII

«Что это? Кто она? Самозванка или Чувпрямь русская великая княжна?» – рассуждал я, в неопisanном смущении оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ

ее свиты.

У крыльца я заметил нескольких оседланых, убранных в бархат и перья верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую, в кругу близких, на белом, красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы.

Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал: «Как мне, ввиду моей присяги и долга службы, поступить с предложением загадочной княжны?»

Однажды ко мне зашел ее секретарь Черномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный, лет сорока, человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкрадчив и, по слухам, служил княжне, будучи в нее втайне влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваге, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу – помочь ее

делу.

– Да чья же она дочь? Кто ее отец? – спросил я довольно резко. – Вы говорите столько в ее пользу; но нужны доказательства; ведь это все так сомнительно...

Чарномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный, по моде – в женских брильянтовых сережках, ганимед княжны, был нарумянен.

– Какие сомнения, боже! Да ее отец, помилуйте, разве сомневаетесь? граф Алексей Разумовский! – произнес, овладев собою, тонкий дипломат. – Извольте, пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у императрицы Елисаветы, от тайного брака с графом, было несколько детей.

– Все это басни, этого никто не знает в точности, – ответил я.

– Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне, – продолжал Чарномский, – вы правы; где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети и кто из них жив – неизвестно... Княжна же Елисавета, ребенком двух лет, бы-

ла увезена к родным Разумовского, казакам Дараганам, в их украинское поместье Дарагановку, которую народ, земляки новых богачей, окрестил по-своему в Таракановку. Царица-мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку *Тьмута-раканской княжной*... Ее сперва не теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и наконец о ней забыли.

Слово «Таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое, мое собственное далекое детство, родной хутор Концовка и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, неожиданно ставшим из певчего Алешки Розума – графом и тайным, обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед, Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешам, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах.

Вспомнил я при этом и еще одно смутное

обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батуриным, резиденцией гетмана Кириллы Разумовского. Был тихий летний вечер. Мы разговаривали. Из открытой коляски, в стороне от дороги, в сумерках, виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами – верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя, вдруг произнесла тогда:

– Тараканчик.

– Что вы сказали, бабушка? – спросил я.

– Тараканчик...

– Что это?

– А вот что, мон анж Павлинька! – ответила она. – Здесь когда-то, в этом вот селе, обреталась одна секретная особа, премиленькое, полненькое и белое, как булочка, дитя; только недолго пожило оно и куда делось – неведомо.

– Кто же она? – спросил я.

– Красная шапочка, – вполголоса ответила бабушка. – Видно, и ее, *тьмутараканскую*

княжну, как в сказке, съели злые, бессердечные волки.

Больше Аграфена Власьевна не говорила и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки.

Теперь мне ясно вспомнилась и эта зеленая, в вербах, Таракановка, и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить.

– Что же, решаетесь, пане? – спросил меня Чарномский, видя, что я задумался и молчу.

– Объясните, – ответил я, – какой именно услуги желает княжна от меня?

– Одного, пане лейтенант, одного, – проговорил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый посол. – Отвезите графу Орлову письмо ее высочества, – в этом только и просьба... И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елисавету и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест. От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее.

Чарномский вынул и подал мне пакет.

– Только в этом и просьба! – повторил он с

новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими, серыми, умоляющими глазами.

Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа, а как он решит, это уже его дело.

– Извольте, – сказал я, – не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу.

Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом.

Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали. Драгоценные вина лились. Гремела музыка, стреляли в саду пушки, и был сожжен фейерверк в тысячу ракет. А в конце волшебного, с маскарадом и танцами, пира пане-коханку вдруг объявил, что танцы должны

длиться до утра и что с зарей все пирующие, для прохлады, увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в колясках, а на санях...

Гости утром вышли на крыльцо; все ближние улицы действительно были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью; и веселая, шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку действительно развезена по домам на санях.

Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна – дочь покойной императрицы Елисаветы и верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку? Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое, чуть приметное колебание и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторою жалостью к ней как к женщине.

VIII

Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонью, где, по слухам, в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при Чесме, в душе недолюбливал моря и, сдав ближайшее заведование флотом старшему флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки и, окруженный царскою пышностью, был ко всем внимателен и доступен.

Мне была памятна жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем в оны годы, и я, проездом из морских классов на родину, не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем Белокаменной. Исполинская, пышущая здоровьем фигура графа Алексея, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, веселый беспечный нрав и огромное богатство привлекли в

его гостеприимные хоромы все знатное и незнатное Москвы.

Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за Московской заставой, у Крымского брода, невдали от его подмосковного села Нескучного.

Москвичи в доме графа любовались гобеленовскими обоями, на диво фигурчатыми изразцовыми печами с золочеными ножками, собранием древнего оружия и картин. Его городской сад был украшен прудами, бассейнами, беседками, каскадами, зверинцем и птичником. А у графских ворот, в окне сторожевого домика, висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками:

– Матушке царице виват!

На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича за столом, под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц, по слухам, нередко садилось по триста и более особ.

Русак в душе, граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерялся силой. Он гнул подко-

вы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потешал Москву особыми шутками.

Так однажды, в осмеяние возникшей страсти щеголей к лорнетам и очкам, он послал на гулянье первого мая в Сокольники одного из своих приживальцев... Одетый наездником, последний, среди гуляющих юных модников, стал водить чалого хромого мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки, с крупною надписью на переносице: «А ведь только трех лет».

Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленную псовую охотою и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английскою и фрисландскою.

На конском бегу, перед домом у Крымского брода, граф Алехан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках, а летом на дрожках-бегунцах собственноручно проезжал свою знаменитую белую, без отметин Сметанку или ее соперницу, серую в яблоках, Амазонку. Народ гурьбой бежал за графом, когда он, подбирая вожжи, в романовском тулупчи-

ке или в штофном халате, появлялся в воротах на храпящей белогривой красавице, покрикивая трем Семенам, главным своим наездникам: Сеньке Белому – оправить опененную уздечку, Сеньке Черному – подтянуть подпругу, а Сеньке Дрезденскому – смочить кваском конскую гриву.

Граф был игрив и на письме.

Все знают его письмо о славной чесменской победе к его брату Григорию:

«Государь братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я, ваш слуга, здоров. Алексей Орлов».

Это письмо ходило у нас в копиях по рукам.

Прирожденному гуляке, кулачному бойцу и весельчаку, графу в прежние годы, до войны, никогда и во сне не снилось быть моряком. Он даже к командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нем много при восшествии государыни на престол. После Чесмы заговорили еще более. Для многих он был загадкой.

На смотры и свои парадные, по-придворному, приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью, в золоте, алмазах и орденах. Между тем, на гулянья, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной, гонявшейся за ним знати не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане, из серого и нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов недоумевал. Претонкий, великого ума был человек.

Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение княжны сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своем избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некоей важной, случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось мое странствие по Италии; в горах я простудился и некоторое время пролежал хворый у одного сердобольного магната.

Наконец я добрался до Болоньи.

Не без трепета, отдохнув с дороги и переодевшись, я приблизился к роскошному граф-

скому палаццо в Болонье, узнал, что граф дома, и велел о себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры, без разрешения начальства, с опасною претенденткою.

Могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о ее прошлом, о каких-то связях. Но что было за дело до ее прошлого и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжелой судьбы! Да еще и были ли эти связи?

У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранных гостиных и зал, сперва в нижнем, потом в верхнем ярусе дома.

Тридцативосьмилетний красавец-богатырь, граф Алексей Григорьевич не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моем появлении он

находился на вышке своих хором, куда запросто велел лакею ввести и меня.

И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, в присутствии коего все прочие люди казались быть малыми пигмеями, сидел на каком-то стульчике, у раскрытого и пыльного чердачного окошка. Пребывая здесь, от дневной духоты, в одной сорочке, он попивал из кружки со льдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей.

– А, Кончик! Здравствуй! – сказал он, на миг обернувшись. – Что? избавился? поздравляю, братец, садись... А видишь, вон та пара, каковы?.. Эк, бестии, завились... турманом, турманом!..

Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы на покое еще более пополнил. Шея была чисто воловья, плечи, как у Юпитера или бога Бахуса, а лицо так и веяло здоровьем и удальством.

– Что смотришь? – улыбнулся он, опять

оглянувшись. – Голубьями, видишь, тешимся, пока ты терпел у турок; здесь все глинистые да чернокрылые; трубистых, как у нас, мало и не простые, брат... Да, за сто верст письма носят... диво, вот бы у нас развести... Ну, рассказывай о плене и о твоих странствиях...

Я начал.

Граф слушал сперва рассеянно, все поглядывая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от нее пакет, граф ковшиком с тарелки метнул голубям горсть зерна и, пока те, извиваясь гурьбой, слетались на выступ крыши, встал.

– Твои вести, любезный, таковы, – сказал он, – что о них надо поговорить толком. Сойдем с этой мачты в кают-компанию.

Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные, глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием.

– Ты хитришь, – вдруг сказал он, идя по са-

ду. – Почему утверждаешь, что она самозванка, авантюрьера? Объяснись, – прибавил он, сев на скамью, – с чужого ли голоса ты говоришь, или убедился лично?

Я смешался, не знал, что говорить.

– Сомнителен ее рассказ о прошлом, – проговорил я, – как-то сбивается на сказку... Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношения с владетельными дворами Европы. Как верный слуга государыни, я действовал по совести, всматривался и скажу прямо – не могу утаить сомнений.

– Согласен, – произнес граф, – об этом можно говорить так и сяк. Но вот что важно: в Петербурге о ней уже знают и пишут мне, как о побродяжке, всклепавшей на себя неподходящее имя и род.

Граф помолчал.

– Хороша побродяжка! – прибавил он, как бы про себя, загадочно. – Пусть так, не спорю... Но зачем же решили требовать ее выдачи, а в случае отказа – взять силой, даже бомбардировать рагузскую цитадель? С побродяжкой так не возятся. Такую просто и без огласки поймать... навязать камень на шею

да и в воду.

Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил приснопамятные, июньские дни...

– То-то, братец, видно, что не побродяжка, – проговорил опять граф, глядя на меня, – ты как об этом думаешь?.. Ну-ка, говори начистоту.

IX

Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщения княжны о падении силы Орловых, об удалении бывшего фаворита в Ревель и о возвышении их врагов. Досада ли, огорчение ли ослепляло графа или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны, только, очевидно, он со мной говорил не на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба.

– Простите, ваше сиятельство, мою дерзость, – сказал я, не вытерпев, – но, уж если вы повелеваете, я не утаю. Виденная мною особа действительно очень схожа с покойною императрицею Елисаветой. Кто не знает изображений этой государыни? Тот же величественный очерк белого, нежного лица, те

же темные дугой брови, та же статность, а главное – эти глаза. Не могу не привести рассказа моей покойной украинской бабушки о родных Разумовского.

– Да! Ведь ты, Концов, сам батуринец! – живо подхватил граф. – Ну-ка, что же тебе говорила бабка?

Я сообщил о Дарагановке и о жившем там в оны годы таинственном дитяти.

– Так вот откуда эта Таракановка, – сказал граф, – верно, верно! И я некогда что-то слышал о тьмутараканской принцессе.

Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложа руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада. Я почтительно следовал за ним.

– Концов, ты не мальчик! – вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои пронизательные, соколиные глаза. – Дело великой, государственной важности. Будь осторожен, и не только в действиях или словах, в самих помыслах. Клянешься ли, что будешь обо всем молчать?

– Клянусь, ваше сиятельство.

– Так слушай же, помни... За все ответишь мне головой.

Граф помедлил и, устремив на меня задумчивый, в самую глубь души глядевший взор, прибавил:

– Не забывай же, меня ты знаешь... головой...

Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью.

– Недолго поймать всклепавшую на себя, – сказал граф, – мало ли, всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли, слушай, обманом-то, тайком? а? притом с женщиной... ведь жалко было бы? Правда?

– Как не жалко, – ответил я в простоте, – врагов следует побеждать, но открыто... иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем.

Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало.

– Ну да, милый, уж так-то подло... и мы с тобой не палачи! – произнес он. – А из Петербурга все-таки даром не напишут, и притом, как на нас там смотрят, еще вилами писано по воде... Да что! откровенно тебе скажу: отту-

да уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех вверенных мне дел... Ожидал ли ты этого? Не обидно ли, после всех моих заслуг? а?

Откровенность графа поразила меня и вместе сильно мне польстила.

«Вот положение сильных мира!» – думал я, искренне жалея графа. Действительное падение фавора его семьи мне уже было известно.

Алексей Григорьевич задал мне еще несколько вопросов о княжне и окружающих ее, сказал, что берет меня в свой ближний штаб, и отпустил, с приказом остаться в Болонье и ждать его зова. Я поблагодарил за внимание и откланялся.

На другой день граф уехал в Ливорно, к эскадре, и возвратился не ближе недели. Меня к нему не звали. Будучи без денег, я сильно во всем нуждался, да и скучал. Писать в Россию было некому. Прошло еще несколько дней. За мной явились.

Граф принял меня в рабочем кабинете.

– Угадываешь ли, Концов, что я тебе скажу? – спросил он, перебирая бумаги.

– Как знать мысли вашего сиятельства?

– Вот записка; получишь у казначея деньги и прежде всего уплати долги, пошли своим заимодавцам – французам... ты обезденежел на службе... а завтра едешь в Рим...

Я поклонился и ждал дальнейших повелений.

– Знаешь, зачем? – спросил граф.

– Не могу угадать.

– Пока ты странствовал и хворал, таинственная княжна, покинутая ветрогоном Радзивиллом, – сказал граф, – оставила Рагузу. Сперва она, с неаполитанским паспортом, навестила Барлетту, пожила там, а теперь, под видом знатной польской дамы, появилась в Риме. Понимаешь?

Я снова поклонился.

– Так вот что, – заключил граф. – Я давно перед нею виноват, не отвечал ей на два письма... да и как было, среди всяких согляда-таев, отвечать?.. Пытался было к ней послать эти дни доверенного человека, твоего же сослуживца по флоту, но она его не приняла. Жаль бедную, неопытна, молода и всеми брошена, без средств. Ты сумеешь увидеть ее и начнешь с нею переговоры. Я ее приглашаю

сюда... Там, слышно, есть кое-кто из русских. Разузнай-ка, да главное – обереги ее от врагов и всяких влияний. Пусть доверится нам одним; мы ей окажем помощь. А насчет совести, будь спокоен, все будет исполнено от сердца и по законам справедливости.

Х

Я был ошеломлен, поражен.
«Неужели граф затевает измену? – мелькнуло у меня в мыслях. – Быть не может! Знатный патриот, герой достопамятного переворота и главный пособник Екатерины не замыслил этого! Но что же у него в уме?»

Волнуемый сомнениями, я возымел смелое, дерзкое намерение – выведать сокровенные мысли графа.

В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-то пущенное шептанье, будто с севера прислан тайный указ, что графа отзывают, заменяя его в команде флота другим, и все его при этом поистине жалели.

– Простите, ваше сиятельство, – сказал я графу, – завтра же я еду в Рим; вы мне поручаете дело высшей важности. Если княжна согласится на наши кондиции и примет ваш

зов, осмеливаюсь спросить, что может от того произойти?

– Вот ты брандер какой, водяной вьюн, – усмехнулся Алексей Григорьевич, – и все вы, моряки, таковы – все вынь да положь. А мы, дипломаты, не любим лишней болтовни. Поживешь, сам увидишь... дело покажет себя. А я верный и преданный слуга нашей государыни Екатерины Алексеевны.

– Простите, граф, великодушно, – продолжал я, – мне дается не морское, а дипломатическое дело. Я в таковых не вращался и сильно сомневаюсь... Ну, как эта особа и впрямь объявит свои права?

– О том-то я и думаю, – ответил граф. – Легко может статься, что она истинный царский отпрыск, нашей матушки Елисаветы кровь! На все надо быть готовым. Старайся, Концов: не забудутся твои услуги. И прежде всего помни, надо княжне, как женщине, помочь деньгами, вывести ее из угнетенного положения... Почем знать? И для ее величества, государыни, авось это будет приятно перед обществом. У нашей царствующей монархини сердце, ой, порою... хоть и каменное... да и

она, может, сжалится, смягчится впоследствии.

Граф более и более меня поражал.

«Вот, – мыслил я, – удостоился чести, кого к себе расположил! Теперь ясно – граф не изменяет, хоть человеколюбие и увлекло его до смелого ропота и неких сильных укоризн! Влияние Орловых пало; граф, очевидно, задумал уговорить претендентку отказаться от ее прав».

Путь, указанный графом, стал мне понятен. Я собрался и уехал, с искренним увлечением в точности исполнить порученное мне дело.

Это было в начале февраля текущего 1775 года. Кажется, так недавно, а сколько испытано, пережито.

Достигнув Рима, я отыскал графского посланца, явившегося туда ранее меня. То был лейтенант нашей же службы, как говорят, грек, а скорее полунемец, полуеврей, Иван Моисеевич Христенек. Я ему отдал порученные мне бумаги и стал его расспрашивать о предмете нашей миссии. Черный, как жук, невысокий, юркий и препротивный человек,

Христенек все улыбался и говорил так вкрадчиво, а глаза чисто воровские, разом глядят и в душу, и в карман.

Я узнал от Христенека, что княжна занимала в Риме на Марсовом поле несколько комнат в нижнем ярусе дома Жуяни. Здесь она проживала в большой скрытности и недостатках во всем; за квартиру платила пятьдесят цехинов в месяц и имела всего три прислуги, ходила лишь в церковь и, кроме друга, аббата-иезуита, да, по своей хворобе, врача, не допускала к себе никого.

Христенек, присланный графом, переодетый нищим, тщетно бродил более двух недель возле двора Жуяни, ища свидания с его уединенной жилищей. Ему не доверяли и, как он ни бился и ни упрашивал прислугу, к ней не допускали. Он повел меня на Марсово поле.

Дом Жуяни стоял уединенно и особняком, в глубине двора, прикрытый спереди небольшим тенистым садом. Я подошел к двери и тихо ударил скобой. Из окна, увитого виноградными лозами, выглянула сперва незнакомая мне горничная княжны, дочь прусского

капитана, Франциска Мешедде, потом видевшийся со мной в Рагузе секретарь княжны, Чарномский.

– От кого? – спросил он с робким недоверием, оглядывая меня из-за полураскрытой двери.

Я его едва узнал; куда делась его щеголеватость и самоуверенность! Наряд на нем был приношенный, волосы не завиты, щеки без румянца, а в ушах простенькие, недорогие серьги.

– От графа Орлова, – ответил я.

– Есть письмо?

– Да вы пустите меня.

– Есть письмо? – повторил, уже принимая нахальный вид, секретарь княжны.

– Собственной графской руки, – ответил я, подавая пакет.

Чарномский схватил письмо, бегло взглянул на его немецкую надпись, как бы растерявшись, несколько помедлил и скрылся. Прошло две или три минуты. Дверь быстро отворилась. Я был впущен.

– Ах, извините, извините! – сказал, отнесясь поклоны, Чарномский. – Представьте,

ведь я вас не узнал в мундире; вы так изменились; пожалуйста, милости просим... желанный гость!

Он до того изгибался и юлил, что мне показался смешным и жалким.

Княжна приняла меня в небольшой горенке, выходявшей окнами в задворный, еще более уединенный сад. Здесь уже не было ни дорогих штофных обоев и бронз, как в Рагузе, ни золоченых мебели, ни всей недавней роскоши. Сама всероссийская княжна Елисавета Тараканова, принцесса Владимирская, *dame d'Azow* и пленительница персидского шаха и немецких князей, лежала теперь больная на кожаной софе, прикрытая теплой, голубого бархата мантильей, и в туфлях на куньем меху.

В комнате было холодно и сыро. Тощее пламя чуть мигало в камине.

Я не узнал княжны. Ее истомленное, заострившееся лицо, с ярким румянцем на щеках, было еще обворожительно. Глаза улыбались, но они уже были не те: они напоминали взор красивой, дикой, смертельно раненной серны, избегшей погони, но понимающей свой

близкий конец.

– А, наконец и вы! – робко сказала она, улыбаясь. – Вы привезли ответ графа на мое письмо... я прочла... благодарю вас... что скажете еще?

– Граф ваш покорный слуга и преданный раб, – ответил я, повторяя порученные мне слова. – Он весь к вашим услугам и у ваших ног.

Княжна привстала. Оправив пышные волны светлых без пудры волос, она, осиливая смущение, дружески протянула мне руку, которую я почтительно решился поцеловать.

– Меня все, за исключением двух близких лиц, бросили, – произнесла она, сильно и судорожно кашляя в прижимаемый к губам платок, – притом я несколько некстати и приболела... это, впрочем, пустяки!.. Не будем об этом говорить... Но я, право, без всяких средств... Князь Радзивилл, его друзья и помогавшие мне французы, верите ли? все меня оставили, скрылись... И все это сделалось так неожиданно, скоро... Едва ваша армия заключила мир с Турцией, услужливые магнаты-поляки бросили меня. Я им это вспомню. А те-

перь скажу откровенно, – прибавила она, улыбаясь, – ну, я совсем, как есть, без денег, ни байока... нечем платить доктору, за провизию; кредиторы осаждают, грозит полиция, ведь это ужас, нечем жить.

Проговорив это, княжна опять немилосердно закашлялась и устремила на меня растерянный, молящий взгляд. Прежней уверенности в нем не было и следа.

– Ваша светлость, – сказал я, выполняя данную мне инструкцию, – вот небольшая помощь, предлагаемая вам графом. Сколько здесь, я не знаю, но граф предлагает это искренне, от души.

Я вынул и подал княжне запечатанный шифром графа его кредитив на имя римского банкира Дженкинса. Она прочла бумагу, провела рукой по глазам, взглянула на меня и опять закашлялась.

– Как! – вскрикнула она, с блаженной улыбкой прижимая к груди бумагу. – И это истина, не шутка?

– Столь важный и высокий сановник, как его сиятельство граф Орлов, – ответил я, – в таких делах не шутит.

Княжна стремительно вскочила с софы, захлопала в ладоши, как дитя, со смехом и слезами, быстро меня обняла, вскрикнула что-то и выбежала в смежную комнату. Там послышался ее крик: «Безграничный кредит!» – и вслед за тем ее громкое, истерическое рыдание. Прислуга засуетилась. Вошел бледный, взволнованный Чарномский.

– Ее высочество так вам благодарна! – сказал он, с чувством пожимая мне руку. – Вы первый помогли, не изменили данному слову... Это так редко; княжна, впрочем, недаром колебалась – ее столько обманывали. И наши, неблагодарные, поманили ее и бросили... граф ее приглашает в Болонью, согласится ли она, не знаю, но надо надеяться, что она решится и последует на зов графа... Она бесстрашна, предприимчива, смела, как рыцарь, и для дорогого ей дела, верьте, не побоится ничего.

– Могу ли я это сообщить графу? – спросил я.

– Подождите некоторое время... в ее положении... притом она, как видите, больна, – ответил Чарномский, – зайдите через день, че-

рез два, вам дадут знать. А пока все держите в величайшей тайне.

– Но здесь есть другие русские, – сказал я. – Они вхожи к княжне, могут ей повредить; кто они?

Чарномский, покраснев и смешавшись, искоса взглянул на меня и ответил, что об этом не знает ничего. Я удалился. Прошло несколько дней; известий о княжне не было. Мы с Христенеком бесменно сторожили в соседних австериях, поглядывая, кто посещает княжну и что будет далее. Первые дни вкруг дома Жуяни все было тихо, пустынно. Несколько раз подъезжал врач, проходила в дом какая-то женщина в черном, с черною вуалью на голове, по-видимому монахиня. Она подолгу оставалась у княжны. Раз, под вечер, слуга к ограде дома подвел красивую, наемную карету. Из ворот, укутанная голубою мантилей, пошатываясь, вышла и села в карету женщина.

– Княжна! – сказал я Христенеку. – Надо выследить, куда поедет.

Мы крикнули извозчика и поехали следом. Карета с опущенными занавесками

быстро понеслась переулками, выехала на корсо и остановилась у банкирской конторы Дженкинса. Было ясно: магический ключ графского кредитива отпирал доступ к доверчивой, смелой красавице.

XI

Прошла еще неделя. От княжны не было извести. Я несколько простудился и сидел дома; ходивший же наблюдать Христенек объявил, с досадой, что чуть ли нас преважно не провели: княжна не думала собираться в Болонью.

Она, как узнал соглядатай, расплатилась с долгами. Кредиторы и полиция, грозившие ей арестом, успокоились и более ее не осаждали. Дом Жуяни на диво преобразился. У его ворот, днем и по вечерам, толпились экипажи. Штат княжны снова увеличился. Она заняла оба яруса обширного дома Жуяни, накупила нарядов, по-прежнему выезжала, посещала гулянья, галереи картин и редкостей, принимала гостей и держала открытый стол. Кстати, в это время Рим был особенно оживлен: в нем происходили выборы нового папы, на место умершего Климента XIV.

Салон княжны по вечерам навещали известные живописцы, музыканты, писатели и духовная знать. Незнакомка в черном платье в это время почти не показывалась. Я однажды только видел ее у ворот дома Жуяни. Встретясь со мной, она отвернулась с досадой и, как мне померещилось, произнесла как бы что-то по-русски. Я рассмотрел только ее золотистые, с сильною проседью, волосы и гневом пылавшие, серые, еще красивые глаза.

Из окон княжны слышались по временам звуки арфы, на которой она весьма искусно играла; толпа уличных зевак и одеваемых щедрою милостынею нищих до поздней ночи стояла у сквозной ограды ее дома, глаза во двор и оглашая криком и рукоплесканиями пышные, с кавалькадами, выезды княжны.

Я выздоровел и лично видел, как снова, то в красивых экипажах, то верхом на бешеных скакунах, она носилась по площадям и улицам, по-прежнему беспечна, нарядна и весела. Я невольно радовался за бедную, которой, как женщине, через меня была оказана такая поддержка. Одно было досадно: приставлен-

ный мне в помощь Христенек начинал намекать как бы на недоверие графа ко мне.

Рим заговорил о красивой гостье, как о ней говорили Венеция и изменившая, под конец даже ей враждебная, Рагуза. Христенек проведаль, что банкир Дженкинс отсчитал ей, от имени графа Орлова, десять тысяч червонцев. Ожившая красавица мотала полученные деньги с безумною расточительностью, не помышляя, что им когда-нибудь настанет конец. Однажды и я был приглашен на ее вечер. Княжна казалась пышным солнцем среди окружающих ее звезд. Она играла на арфе с таким чувством, что я был глубоко тронут. Об отъезде, однако, не объяснила, а лишь мимоходом сказала:

– Будьте покойны, все устроится.

По совету Христенека, дня через два, я письменно напомнил княжне о графе. Ответа долго не было. Мы терялись в догадках; но вот однажды мне подали от нее записку с приглашением на свидание в церковь Санта-Мария-делли-Анджели.

Был вечер. Я тихо вошел в полуосвещенную, пропитанную запахом ладана церковь.

Свечи у икон кое-где мерцали. Таинственная тишина наполняла пустынный сумрак колонн и молелен. В наиболее уединенном месте, скрытая выступом боковой молельни, с книжкой в руке, стояла в бархатной, модной накидке, под вуалью, стройная, худощавая особа. Я узнал княжну.

– Желание добра и всех благ моему отечеству, России, и всем моим будущим подданным, – сказала она, склоняясь над молитвенником, – во мне так сильно, что я решилась и принимаю приглашение графа. Прежде он меня пугал, я ему не верила, теперь верю. Видите, я сдержала слово: моим друзьям я объявила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в отдаленный монастырь, где постригусь... Вам скажу другое.

Она помедлила, как бы собираясь с силами.

– Завтра я еду, – произнесла она с некоторою торжественностью, – только не в монастырь, а с вами к графу Орлову. Вы не предадите меня, не измените мне?

Я молча поклонился. Что я мог ей ответить – я, верный слуга государыни? Взор

княжны пылал восторгом, надеждами; в нем не было колебаний и сомнений: передо мной стояла глубоко убежденная женщина, жалость к которой невольно охватывала меня.

– Итак, до завтра! в путь...

«Ну, слава богу! – подумал я. – Граф теперь ее отговорит, устроит ее».

Она крепко сжала мне руку, хотела еще что-то сказать и быстро вышла. Я также направился к порогу церкви. От урны с святой водой отделилась другая женщина. Она преградила мне дорогу. Я узнал в ней особу в черном, ходившую в дом Жуяни.

– Концов! – шепнула она с негодованием, по-русски, отталкивая меня в сторону, за колонны. – Вы... вы предатель?

– Как можете вы так говорить? Кто вы? – спросил я. – Если вы русская, назовите себя.

– Вам дела нет до моего имени; но вы в заговоре против этой особы... уговорили ее ехать... ее тянут в западню, – шептала по-русски в волнении незнакомка, сжимая мне руку. – Клянись... или вы изверг, такой же злодей, как те, что научили погубить другого, такого же неповинного... в Шлиссельбурге...

Мне вспомнились рассказы бабушки о кровавой драме Мировича.

– Успокойтесь, – сказал я, – перед вами честный человек, офицер... я исполняю свой долг и убежден, что княжну ожидает только улучшение ее судьбы.

Незнакомка молча указала мне на образ богоматери.

– Повторяю, – прошептал я, – княжна в безопасности; ее доля переменится к лучшему.

Она выпустила мою руку, склонилась и тихо вышла из церкви.

Я долго следил за нею глазами, стараясь угадать, кто она и почему принимает такое участие в княжне.

XII

Было двенадцатое февраля. День стоял особенно сиверкий и прохладный, хотя светлый. Княжна поместилась со свитой и слугами в несколько экипажей. У церкви Сан-Карло она раздала нищим богатую милостыню и, провожаемая толпой артистов и знати, среди гама и криков народа, бежавшего за нею и махавшего шляпами, направилась к выезду из Рима. Прописавшись в городских воротах

под именем графини Селинской, она выехала на Флорентинскую дорогу. Я поскакал вперед. Христенек следом за нею.

Шестнадцатого февраля княжна приехала в Болонью. Графа не было в этом городе; он ее ожидал в своем, более уединенном, пизанском палаццо. Шумный поезд и толпа слуг княжны в несколько десятков человек озадачили графа. Он, впрочем, принял гостью отменно ласково и почтительно, отвел ей невдале от себя приличное помещение, окружив ее всеми удобствами и относясь к ней точно вернопопдаанный, при посторонних перед нею даже не садился.

Наступили дивные дела. О чем граф говорил с княжной и какие повел относительно нее негоции, про то никому не было известно. Мы угадали только, и весьма скоро, что тут оказалась азартная игра в любовь.

И действительно, княжна вскорости поселилась в графской квартире; ее свита и слуги остались в ближних домах. Христенек с приездом княжны стал, видимо, меня оттирать и, точно вся удача была делом его рук, выдвигался вперед. Я этим с гордостью и презрени-

ем пренебрег, так как граф не мог не видеть, что лишь моему влиянию был обязан приездом сюда княжны.

Разнесся слух, что Алексей Григорьевич подарил княжне разные вещи, в том числе медальон со своим миниатюрным, на кости портретом, осыпанный дорогими камнями, и что с ее появлением даже покинул свою любимую дотоле фаворитку, красивейшую и премилую госпожу, жену богача Александра Львовича Давыдова, урожденную также Орлову.

Сомнения не было – новая очаровательница полонила сердце графа, нашего исполина. Лев влюбился в легкокрылую бабочку. Ослепленный ею, граф даже не стеснялся: ездил с нею открыто везде – на гулянье, в оперу, в церковь.

Княжна удостоила призывать и меня; расспрашивала о том, о сем и подтвердила, что доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал любезностями. Христенек, видя снова мое предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый грек стал жаловаться, что княжна его обидела невниманием в Риме, что он с этим не может

помириться, и она, с позволения графа, поднесла ему патент на полковничий чин. Меня обошли. Я снес и эту выходку, видя довольство мною графа и княжны, чему вскоре увидел доказательство.

– Ну, Концов, – сказал мне однажды граф, – честь тебе и хвала, что ты дал мне случай угождать такой особе. Надо ей и на будущее устроить спокойное и безбедное житье. Не правдали, что за прелесть! какой живой, обворожительный ум! Скажу откровенно, хоть бы жениться, бросить холостой удел...

– Что же, ваше графское сиятельство, – отвечал я, – за чем дело стало?

– Упирается, братец, говорит – соглашусь, когда буду на своем месте.

– То есть как, извините, на своем?

– Не понимаешь?.. Когда будет в России, дома – ну, когда государыня смилуетя и удостоит признать ее права.

– И в том есть надежда?

Орлов задумался.

– Полагаю, – сказал он, – дело возможное, только не повредили бы ей здешние друзья... Сильно следят тут за нею эти поляки и всякое

иезуитство; еще, пожалуй, окормят нас, застрелят или попадешь где в переулке под наемный кинжал. Нужная для их смут особа...

Глаза графа смотрели тревожно; его открытое, смелое и умное лицо видимо было смущено. Сердечная страсть, как бы против его воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в каждом его слове.

Прошел день. Граф не расставался с гостьюей.

– Вот беда, ума не приложу, – сказал он как-то, позвав меня, – бьюсь, бьюсь, не слушает... Если бы нашелся пособник, если бы кто ее уговорил...

– В чем? – спросил я.

– Тайно обвенчаться и бежать...

– С кем?

– Со мной...

– Что вы, ваше сиятельство? Куда?

– Хоть на край света... Да, кстати, уговори ее не носить при себе пистолетов; она чуть на днях в запальчивости не убила свою служанку Франциску...

Произнеся такое признание, атлетический, красивейший из смертных бога-

тырь-граф стоял с краской в лице и с опущенными, как у влюбленного юноши, глазами, робко ожидая моего приговора. Что было ответить? Я в смущении промолчал, но и здесь, как и во всем и всегда, решил остаться его преданным и покорнейшим слугою. Дело шло о свадьбе, что же тут дурного? Женясь на ней, граф шел на зов сердца, а вместе выигрывал и в положении: рождался с царскою кровью, обращал претендентку в скромную графиню Орлову.

...Прерываю рассказ, обращаясь к действительности, к бедному нашему фрегату. Боже, что за ужас! Истерзанный бурей «Северный Орел» пять суток уносился течением неизвестно куда. Тщетно производили вычисления, промеры. Сегодня с рассветом мы прошли за Испанией, невдали от африканских берегов, мимо каких-то диких каменистых островов. Давали знаки. В тумане нас никто не заметил. Днем я, отбыв свою очередь, стоял на вахте. Нестерпимый, знойный береговой ветер и безбрежная ширь взволнованного, рокочущего между скал моря, корабль без

мачт и руля, общее отчаяние и ни малейшей надежды спастись – вот что было перед глазами. Первый подводный камень – и все мы идем ко дну.

Ирен, далекая, ненаглядная изменница! Видишь ли ты мучения отверженного тобой, бесславно гибнущего изгнанника?

...Ночь. Снова тишина. Я опять в каюте. Господь-вседержитель! дай силы пережить хотя бы еще сутки, дописать начатое.

XIII

Истомленная команда уснула. Бодрствуют одни часовые да я.

Приступаю к изложению тягчайшего испытания жизни. Оно-то, это испытание, и составляет главнейший предлог настоящей исповеди, – да прочтутся эти строки тою, по чьей вине я скитаюсь на чужбине, а через то невольно помог совершиться деянию, назначенному мне быть в вечный суд и укор.

Это было в Болонье, куда переехал граф.

Княжна пожелала меня видеть, ласково попросила сесть и села сама. Вижу – опять у нее на щеках багровые пятна, глаза горят, и вся она как бы вне себя.

– Лейтенант, я вам по тайности сообщу одно дело, – сказала она, оглядываясь.

– Слушаю, ваша светлость, можете во всем на меня положиться, – ответил я.

– Граф уезжает завтра утром в Ливорно. Слышали вы это?

– Знаю, – ответил я.

– Там, видите ли, произошла ссора и драка англичан-матросов с русскими, и графа туда приглашает его приятель, английский консул Дик.

– Что же, – произнес я, – дело пустое, скоро уладится, и граф возвратится.

– Он меня зовет с собой... Что, если я не соглашусь и с ним не поеду? – спросила княжна. – Как вы думаете? он не бросит меня, как другие, не скроется навсегда?

– Помилуйте, – ответил я, исполняя мысли графа, – это простая прогулка; отчего бы вам и в самом деле не поехать с графом? Погода отменная, приятно провести вместе такой во-
яж.

– Да, – ответила она задумчиво, – хотелось бы и мне взглянуть на этот город и на ваш флот; граф так хвалит родных моряков.

– И прекрасно, за чем же дело стало? – сказал я, размышляя: «Да! задело графа за ретивое, не хочет с нею расстаться и на малый срок».

– И еще одно, – произнесла княжна, собираясь с мыслями.

Вижу, в ее глазах слезы, губы вздрагивают; она смотрит на меня и будто меня не видит.

– Слушайте! – проговорила она, схватывая меня за руку. – Вы – честный человек... граф мне сделал предложение, сватается за меня... что вы скажете?

Я почтительно встал.

– От всего сердца поздравляю, – искренне ответил я, с поклоном, – ваши достоинства победили, удивительного нет.

– Не обманет он меня? Не предаст? – заговорила княжна вполголоса, опять оглядываясь, а губы, вижу, белые и вся вне себя. – Скажите мне правду, заклиная вас, молю!.. Видите, я по вашему совету уже не ношу оружия, оно обижало его...

Мне пришло в голову, что в эту поездку граф мог решиться обвенчаться с нею.

– Помилуйте, ваша светлость, – сказал я и

вечно буду помнить это мною сказанное роковое слово, – чего опасаетесь? Да граф в вас до безумия влюблен, мне это хорошо известно; он спит и видит, в мыслях помутился, даже хотел с вами бежать.

– Так это истина? Клянитесь вашей матерью, отцом, – произнесла она, стискивая мне руку.

– Как перед богом! Сам от него наедине слышал; он удостоил меня откровенности... А между тем, что я для него? Мелкий подчиненный, ничтожество... Он так искренне говорил...

Княжна устремила взгляд на походный, висевший в ее комнате образок Спаса в терновом венке и несколько мгновений оставалась в неподвижности, как бы горячо и усердно молясь.

– Смелые только и живут! – произнесла она, вставая и выпрямляясь. – Как жену, он не предаст меня, не может предать... я еду... но помните, даром не отдам свободы и сердца... чему быть, то сбудется на днях...

Я от души вновь поздравил княжну.

– Еще слово, Концов, – остановила она ме-

ня, – скажите, да так же, как перед богом, по совести, действительно ли это тот Орлов, который помог вашей императрице взойти на престол?

– Он самый.

– Молодец, герой! – одушевленно вскрикнула княжна. – Эввива![28] Отважный Сид, Баярд! Божья искра дает таким смелость и величие души.

Я ушел, полный радости за исход дела, хотя тайная мысль шевельнулась во мне:

«А знает ли княжна о другом, последующем подвиге графа? И почему я не сказал ей об этом его тяжком, ничем не замолимом, черном грехе?»

Я исполнял долг службы, волю начальства, но вместе жалел эту женщину. Тяжелые сомнения охватили меня, не дали в ту ночь спокойно спать.

«Долг долгом, а что, если?.. Пойти утром, – шептал мне внутренний голос, – предупредить ее... время не ушло; пусть лучше и строже все обдумает и сама решит».

Чуть вошло солнце, я оделся и поспешил к дому графа. У крыльца толпился народ,

подъезжали запряженные экипажи. Я протискался сквозь толпу. Граф с княжной уже сидел в коляске; в другом экипаже был Христенек, в третьем – часть прислуги.

– Садись, Концов, тебя только ждали! – крикнул граф.

Я бессознательно сел в экипаж к Христенеку. Поезд двинулся. Утро, после небольшого дождя, было светлое, тихое.

– Что видите вы во всем этом? – спросил меня Христенек, когда выехали.

– В чем?

– Да этот-то вояж?

– Не знаю и знать не смею, – ответил я.

– Завтра быть парочке молодых, – улыбнулся он, – обвенчаются.

– Но где же церковь?

– А флотская на что? Взойдут на адмиральский корабль, там живо их и повенчают. Для того, видно, она и согласилась туда ехать...

– Так это верно?

– Еще бы, ужели не видите?.. Граф – точно на крыльях; трудно было верить, а из сказки выходит быль.

В Ливорно графа Орлова встретил коман-

дир нашей эскадры, адмирал Самуил Карлович Грейг. Ездили потом граф и княжна с визитами к нему и к консулу Дику, катались с консулом, его женой и всею компаниею в окрестностях и совершили прогулку в катерах по морю, с музыкой, везде провожаемые любопытною, гонявшеюся за ними толпой.

Вечером, во второй день пребывания в Ливорно, граф с княжной были в опере. Когда они возвратились, я из сеней отведенного графу роскошного приморского палаццо приметил сходявшего с графского крыльца другого проныру, тоже грека нашей службы, Осипа Михайловича Рибаса, или Де-Рибаса. Этот был тоже вроде Христенека, черен, как жук, но выше ростом и менее подвижен. Их у нас так и звали: жук и жуколица. Де-Рибас, как я узнал, еще ранее меня и Христенека ездил с разведками о княжне в Венецию.

– Прощай, поп, – засмеялся граф в окно Де-Рибасу, – не забудь только ризы...

«Риза... и почему поп?» – терялся я в догадках, стоя у мраморной колоннады крыльца, с которого был великолепный вид на голубое, безбрежное море и эскадру.

XIV

Двадцать первого февраля была особенно приятная, почти летняя погода. В небесах ни облачка, на море тихо и везде как-то празднично-радостно.

У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богато и со вкусом наряжена, бойка и весела. Куда делась хвороба: щебетала с прочими гостями, гуляла по эстраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей веер и перчатки, то заботливо брал у слуг и подносил ей прохладительное. Мы видели: он не спускал с очаровательницы влюбленных, потерянных глаз. И она как бы переродилась, поздоровела; куда делся ее болезненный вид! Ее рыцарь, укрощенный лев, был у ее ног.

– Каков наш селадон, – шепнул Христенек, поглядывая на меня. – Как на покое-то, на чешменских лаврах, не пропускает герой иных побед!

Адмирал Грейг, по природе угрюмый, со-

средоточенный и важный, был несколько рассеян, сидел с опущенными глазами и, как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда было видно море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Дамы заговорили о приятности прогулки на парусах.

– Когда же, граф, покажете ваши корабли? – спросила княжна. – В Чивитта-Веккии вы устроили примерное сражение под Чесмой, осчастливили других, не удостоите ли и нас?

– Все готово! – ответил, вставая и почти-тельно кланяясь, Орлов.

Общество двинулось к морю.

Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почитителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги ее зонтик и, развернув его над нею, шел рядом с ней, осыпая ее нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители, любуясь его генеральским, темно-зеленым с красными отворотами, раззолоченным мундиром и величественною осанкой, кричали «виват» и шептали:

– Вот парочка!

Все уселись в поданные шлюпки и катера; с княжной в раззолоченный, по-царски убранный катер поместились адмиральша Грейг и консульша Дик; граф сел с адмиралом, а мы – свитские – с слугами княжны.

Катера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особою пышностью: везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы – на мачтах и реях. На всех судах заиграла приятная музыка. Волны слегка колыхались. Дальний берег был усыпан любопытствующими.

С адмиральского корабля «Три Иерарха» спустили разукрашенное кресло и в нем подняли с катера княжну, а за нею и прочих дам. Мы взошли по трапу.

Едва дамы ступили на борт, со всех сторон раздалось дружное «ура» и загремела пушечная пальба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов и здесь произведет маневры с сожжением, для примера, негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас на-

правлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам.

На корабле «Три Иерарха» была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощением,нося на палубу вина, сласти и плоды. Потчевали и нас. В кают-компании начались танцы. Молодежь с дамами усердно танцевала контрданс и котильон. Адмиральша и консульша особенно ухаживали за княжной.

Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними, разговаривая друг с другом, сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не по себе и несколько сумрачен.

– Будут венчать графа и княжну, – сказал кто-то из офицеров вполголоса товарищу.

Я обомлел.

– Почему же здесь? – спросил тот, кому это было сказано. – Что за таинственность и поспешность?

– Русской церкви нет ближе; адмирал уступил корабельную – княжна потому и приехала в Ливорно и на этот корабль.

Спустя некоторое время, по особому зову, под палубу спустились кое-кто из свитских, в том числе и, молча переглянувшись, оба гре-

ка нашей службы, пронырливые и ловкие Рибас и Христенек. Мне при этом почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибасу: «поп и риза». Духовенства на корабле, между тем, не было видно.

Палуба несколько опустела. Офицеры ходили, весело беседуя и наводя лорнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы.

Под палубой, между тем, произошло нечто донныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны и все при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнение слова, данного княжне, совершилось самое венчание ее и графа и что роли иерея и дьякона при этом кощунственно играли, переряженные в церковные флотские одежды, Христенек и Рибас; первый был дьяконом, а второй — попом.

Но я забегаю вперед. Надо возвратиться на

палубу «Трех Иерархов».

Нет сил, сердце надрывается и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увидал. И где бы я ни был, останусь ли чудом господним жив, или погибну в безднах волн, воспоминание об этом не умрет во мне до последнего вздоха.

Палуба оживилась. Все, бывшие в каюте, снова взошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке. Слышались остроты, смех. Слуги разносили прохладительное и вино.

Княжна сидела у борта. Поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе. Я ей помог надеть мантилью.

– Ввек не забуду! – шептала она, с восторженной, блаженной улыбкой горячо пожимая мне руку. – Вы сдержали слово; сон сбывается, я буду скоро в России, а там отчего не надеяться?.. Провозгласят и будущую царицу Елисавету Вторую... Век чудес! Чем была давно ли сама нынешняя императрица?

Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущенный безумным бредом ослепленной женщины.

С «Трех Иерархов» в это время дали знак особым флагом. Раздались новые пушечные салюты. Загремело «ура». На всех кораблях опять заиграли оркестры.

Эскадра начала маневры.

Восхищенная общим вниманием будущих подданных, княжна, облокотясь о борт, стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начавшимся движением кораблей. Как теперь, вижу ее в голубой бархатной мантилье, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке.

Забылся при этом и я, рассуждая:

«Да, дело сделано! граф нашел подружку жизни, сумеет ее наставить и, вразумив, поспешит с нею к стопам милосердной императрицы».

XV

— Ваши шпаги, господа! — раздался вдруг вблизи от меня громкий, настойчивый голос.

Я оглянулся.

Капитан гвардии Литвинов обращался поочередно к адъютантам и к прочей свите гра-

фа, отбирая у всех шпаги. Вооруженные матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грейга, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумлении вслед за другими также подал капитану шпагу.

Княжна, слышав бряцание ружей и говор, быстро обернулась. Ее лицо было бледно. Она мигом все поняла.

– Что это значит? – спросила она по-французски.

– По именному повелению ее императорского величества вы арестованы! – ответил ей на том же языке капитан.

– Насилие? – вскрикнула княжна. – На помощь!.. сюда!

Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые хмурые лица матросов удивленно и молча смотрели на нее.

Литвинов заступил ей дорогу.

– Нельзя, – сказал он, – успокойтесь.

– Вероломство! Проклятие! – бешено проговорила она. – Так поступать с женщиной, с прирожденной вашей княжной! слышите ли? дайте дорогу! – кричала она солдатам по-

французски. – Где граф Орлов? позовите, ведите его... вы ответите за все!

– Граф по приказанию государыни и адмирала также задержан, – ответил ей, вежливо кланяясь, Литвинов, – он арестован, как и вы...

Княжна громко вскрикнула, отступила... Ее гаснущий взор заметил меня в стороне. Он с укоризной, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря: «Ты виновник, ты погубил меня...» Она пошатнулась и упала без чувств.

Матросы снесли ее в каюту.

Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и под строгим надзором перевезена на другой корабль.

Потрясенный до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я вне себя опомнился в какой-то полутемной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти со мной, под караулом, сидит и сам главный предатель, Христенек. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно. Развалясь и доедая что-то прихвачен-

ное из сладостей, он изредка поглядывал на нашу затворенную дверь.

– Удивляетесь? – спросил он меня. – Не правда ли, ведь чудеса?

– Да, есть чему подивиться, – ответил я, на силу одолевая к нему отвращение.

– Иначе было нельзя, – сказал он.

– Почему?

– Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений.

– Но для чего было играть чувствами, сердцем! – проговорил я, не стерпев.

– Иначе ее не заманили бы на флот.

– Были другие способы, – возразил я. – Мне известно, граф клятвенно признавался ей в любви, а став его женою, она и без того охотно доверилась бы нашей эскадре.

– Эх, любезный Концов, – простота! – проговорил с улыбкой грек. – Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я, под его диктант и от его имени, писал государыне, что здесь, для уловления этой авантюрьеры, решились на все – хоть, без дальнейших слов, камень ей на шею да в

омут.

– Что же вы и впрямь ее не утопили? – смело воскликнул я, не помня, что говорю. – Это не в пример было бы лучше для обманутой, несчастной, чахоточной...

– Проживет еще, – сказал Христенек. – Повелено схватить ловко, без шума; в точности и исполнили.

Я с негодованием слушал эти холодные, жесткие слова. Издевательство наглого грека выводило меня из себя.

– Ну полно, друг, – произнес Христенек, – успокойте рыцарские свои чувства, все пустяки! В наше время, помните, главное – отвага и в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел – могуч и богат; не успел – бедность или того хуже – Сибирь. Вставайте-ка лучше, разве не видите? пора...

Подняв голову, я увидел, что наша каморка уже отперта и за дверью, улыбаясь, гурьбой стояли, подгулявшие и веселые, прочие моряки.

Меня и грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили выпить и отпу-

стили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия.

Настал вечер. Улицы Ливорно шумели негодующею, взволнованною толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошел окольными переулками за город и оттуда на взморье.

XVI

Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слезы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир.

«Как, – мыслил я, – совершилось такое безбожное, вопиющее дело! и я во всем этом был соучастник, пособник?»

Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчет и предательство того, кому я был так предан и кто не постыдился играть священнейшим чувством – любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я ее вообразил себе душевно истерзанною, в тюрьме, может быть, в цепях, под охраной грубых солдат.

«И в какое время это случилось? – мыслил я. – Когда так неожиданно все ей улыбалось, исполнялись все ее золотые, несбыточные грезы и мечты. Она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела наконец у своих ног первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики, пальба. Что она должна была чувствовать, что пережить?»

Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы, верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей.

– Позор, позор! – шептал я себе. – Граф Орлов навек запятнал себя новым, еще более черным делом. Ни чесменские, ни другие лавры не укроют его отныне перед людским и божьим судом. А с ним по заслуге ответим и все мы, его пособники в этом поступке.

Отчаянье и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишиться себя жизни.

«Нет, кайся, всю жизнь кайся! – твердил во мне внутренний голос. – Ищи искупить свой тяжкий грех».

С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих, более близких су-

дов слышались звуки зоревой музыки. Там молились. Море одевалось сумраком. У брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни.

Я встал и, еле двигая ноги, побрел в город. Там меня ожидал ординарец графа. Я пошел за ним.

– Ну, Концов, признайся, удивлен? – спросил, встретив меня, Алексей Григорьевич.

Речь отказывалась мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот наделенный всеми благами жизни богатырь, этот лихач и умница, осыпанный почестями сановник, еще недавно мой кумир, был теперь мне противен и невыносим.

– Ты думаешь, я не помню, забыл? – продолжал он, как бы избегая на меня глядеть. – Ведь главнейше я тебе во всем обязан... Не будь тебя и ее веры в твое участие, не так бы легко сдалась пташка...

Слова графа добивали меня. Я стоял ошеломленный, растерянный.

– Может быть, тебе неизвестно, – как бы в утешение мне сказал граф, – успокойся... из Петербурга, насчет этой дерзкой, всклепав-

шей на себя несбыточное имя и природу, пришел несомненный приказ: схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял?

Я в смущении продолжал молчать.

– Самозванка в наших руках, – закончил граф, – воля монаршая соблюдена, и арестантку вскорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней... Это дело не одних чужих рук; замешан кое-кто и из наших вояжиров. В бумагах этой лгуньи оказались весьма знакомые почерки...

«Ты радуешься, будут новые аресты, розыски! – подумал я. – А что сам-то сделал, безжалостный, каменный человек?»

– Что же ты молчишь? – спросил граф.

– Город волнуется, – ответил я, – сходбища, крики, угрозы. Берегитесь, граф, – прибавил я, не преодолевая отворачивания к нему. – Это не Россия... пырнут, как раз.

– А ты вот что, милый, – нахмурился граф, – кто тронет тебя или кого другого из наших и станет грозить, укажи только на море... семьсот пушек, братец, прямо оттуда глядят! Махну им, будет здесь гладко и чисто. Так

всякому и скажи! А я их не боюсь...

«Хвастун!» – подумал я, холодея от злобы, и ушел от графа молча, даже не поклонившись ему.

XVII

Прошло еще несколько тяжелых, невыносимых дней. Ливорнцы, действительно, шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа, изредка кидая в ворота камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали вокруг наших кораблей, ожидая, не увидят ли где в окно несчастную пленницу?

Меня посылали на «Трех Иерархов». Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер: в открытом окне «Трех Иерархов» виднелось припавшее к решетке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он в плеске волн замечен с ко-

рабля – не знаю.

Матросы усердно ложились на весла. С моря дул свежий ветер. Лодка быстро неслась, ныряя по расходявшимся волнам.

Прошел слух, что эскадра на днях снимается. Куда было ее назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу, в комнату кто-то вошел. Оглянулся – у порога стояла черная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку церкви Санта-Мария. Примятый и запыленный наряд показывал, что она недавно с дороги.

– Узнали? – спросила она, откидывая с головы вуаль, причем ее золотистые, кудрявые волосы оказались еще более седые.

– Что вам угодно? – спросил я.

– Так-то вы ручались и уверяли? – произнесла она, подступая ко мне. – Где же ваши уверения, что вы честный человек?

– Выслушайте меня... я не виноват, – начал я.

– Изверги, злодеи! – вскрикнула она. – Устроили западню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы по-

койны? Ошибаетесь – час расплаты близок, он настанет...

Она так приступала ко мне, что я подался в угол, к открытому окну. Окно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, заметив, что в саду в это время не было никого. Шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно и разубедить которую, как мне казалось, было трудно.

– Вы не виноваты? – спросила она. – Не виноваты?

– Да, я действовал честно! Вы увидите, я докажу...

– Отвечайте... Вы советовали княжне ехать? Убеждали ее?

– Убеждал...

– Говорили ей о возможности брака с Орловым? Не прибегайте к уверткам, слышите ли, мне нужен прямой ответ! – твердила эта женщина, в крайнем волнении и вся трясась.

– Брак мне был заявлен самим графом, он клятвенно уверял.

– А, вероломные предатели! Смерть тебе! – неистово вскрикнула незнакомка, взмахнув

при этом рукой.

Я не успел отшатнуться. В упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она, с искаженным от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила еще раз и, к счастью, также неудачно. Отняв у нее пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и, через силу поборя волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня.

Замкнув дверь прихожей, я возвратился к незнакомке. Я был в неопisanном состоянии.

– Ах, ах! – твердил я. – Что вы сделали, на что решились! И за что, за что?

Гостья, припав к столу головой, в беспмятстве рыдала. Я прошелся по комнате и невольно взглянул в зеркало: на мне не было лица, я себя не узнал.

– Слушайте же, – проговорил я наконец гостье, не перестававшей плакать, – вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана.

И я начал рассказ.

– Вы видите, – сказал я, кончив, – господь смилостивился, я жив... Объяснитесь же и вы....

Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она несмело взглядывала на меня, как бы моля о снисхождении, наконец также заговорила.

– Моя история более печальна, – сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели, – но я так перед вами виновата, так, – прибавила она, закрыв лицо руками, – вы никогда не простите меня.

– Успокойтесь, – произнес я, мало-помалу придя в себя. – Я готов, я забуду... все от бога, все в его власти.

Незнакомка обратила ко мне бледное, убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала.

– Вы так великодушны, – прошептала она, – слышали ли о судьбе Мировича?

– Слышал.

– Я – виновница его покушения.. Я его быв-

шая невеста, Поликсена Пчелкина.

Я остолбенел... Все подробности дела Ми-
ровича, слышанные мною десять лет назад от
покойной бабушки, встали в моей памяти.
Нагнувшись к гостье, я взял ее руку, стреляв-
шую в меня, и с чувством ее пожал.

– Говорите, говорите, – произнес я.

– В России оставаться мне было нельзя, –
продолжала она, как-то странно, скороговор-
кой, – десять лет я скиталась в разных местах,
была в монастырях на Волыни и в Литве, слу-
жила больным и немощным. Будучи год на-
зад опять за Волгой, я первая получила неяс-
ные сведения о княжне Таракановой, прин-
цессе Азовской и Владимирской. Меня к ней
вызвали таинственные, мне самой неизвест-
ные лица. Вы поймете, как я к ней стреми-
лась... Я искала с нею встречи. Снабженная от
тех лиц средствами, я познакомилась с княж-
ною сперва в переписке, потом лично в Рагу-
зе и уверовала в нее. О, как я желала ей сча-
стья, искупления прошлого! Я ее охраняла,
учила родному языку, истории, снабжала ее
советами. Я следила за нею с ее выезда из Ра-
гузы до Рима, писала ей, заклинала остере-

гаться, убежденная, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете... Каков же был мой ужас, когда я узнала о ее аресте!.. Я останусь в Ливорно, буду ждать... О, ее освободят, отобьют ливорнцы... Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы Елисаветы?

– Не могу этого ни утверждать, ни отрицать.

– Я же в том убеждена, срослась с этою мыслью и не расстанусь с ней. – Пчелкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку, еще что-то хотела сказать и, пошатываясь, вышла.

– Добрый вы, мягкий!.. До лучших времен! – проговорила она, оглянувшись в калитке сада.

Я еще раз или два видел эту загадочную особу, навестив ее, по условию, в небольшой австории, под вывеской лилии, у монастыря урсулинок, где она приютилась. У нее была надежда, что княжну могут спасти в Англии или в Голландии, куда должна была зайти по пути наша эскадра.

– Она... гонимая... ниспослана возродить отечество! – твердила Поликсена, когда я с ней расстался. – И я верю, она не погибнет, ее избавят, спасут.

В ночь на двадцать шестое февраля нашей эскадре под флагом контр-адмирала Грейга неожиданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христенек с донесениями графа императрице поехал сухим путем. Ему было велено явиться в Москву, где в то время, после казни Пугачева, государыня проживала со всем двором.

Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно. Долее пребывать здесь ему было небезопасно. Раздраженные его поступком, сыны пылкой и некогда вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нем караул, почти не выезжал из дому и, боясь отравы, сидел на одном хлебе и молоке.

Я отправился несколько позднее. Мне как бы особым велением рока было приказано возвратиться на особо снаряженном фрегате «Северный Орел». На этот фрегат взяли больных и немощных из команды и, между про-

чим, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа – картины, статуи, мебель, бронзу и иные редкости. То были плоды графских побед и его усердных в течение нескольких лет частных собраний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе и ее, столь схожий с императрицей Елисаветой, портрет.

Судьбы божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но едва «Северный Орел», нагруженный богатством графа, вышел из гавани, нас встретила страшная буря. Не мог я сказать фрегату: «Цезаря везешь!» Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль.

Более недели нас влекло течением и легким ветром вдоль африканских берегов, к юго-западу. Все пали духом, молились. На десятые сутки, со вчерашнего дня, ветер окончательно затих. Я пишу... Но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве, безжизненный труп, плыв-

вет туда, куда его несут волны.

Еще минул безнадежный и тягостный день. Близится снова страшная, непроглядная ночь. Громоздятся тучи; опять налетает ветер, пошел дождь. Берега Африки исчезли, нас уносит прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатываясь через опустевшую, разоренную палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, тщетно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас, погибающих, никто не слышит. Трагическая, страшная судьба! Гибель на одиноком корабле, без рассвета, без надежд, с военной добычей полководца...

Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти ко дну? Оплата за деяния других. Роковая ноша графа Орлова не угодна богу.

...Три часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова. Допишу и, если не будет спасения, брошу ее в море.

Еще слово... Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие, последний завет... Ей

надо знать... Боже, что это? ужели конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся... Крики... Бегу к команде. Его святая воля...

.....

Бутыль была брошена за борт со вложенною в нее тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке: «Кому попадетсЯ эта рукопись, прошу отправить ее в Ливорно, на имя русской, госпожи Пчёлкиной, а если ее не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракитину, для передачи его дочери, Ирине Ракитиной.

Мая 15—17, 1775 года. *Лейтенант русского флота*

Павел Концов».

Часть вторая

Алексеевский рavelин

XVIII

Лето 1775 года императрица Екатерина проводила в окрестностях Москвы, сперва в старинном селе Коломенском, потом в купленном у князя Кантемира селе Черная Грязь. Последнее, в честь новой хозяйки, было названо Царицыном и со временем, по ее мысли, должно было занять место подмосковного Царского села.

У опушки густого леса среди прорубленных вековых кленов и дубов был наскоро выстроен двухэтажный деревянный дворец с кое-какими службами, скотным и птичьим дворами.

Из окон нового дворца императрица любовалась рядом обширных, глубоких прудов, окруженных лесистыми холмами. На неоглядных скошенных лугах копошились белые рубахи косцов и красные и синие поневы гребщиц. За этими лугами виднелись другие, еще не тронутые косой, цветущие луга. Далее

чернели свежераспаханные нивы, упиравшиеся в новые зеленые холмы и луга. И все это золотилось и согревалось безоблачным внешним солнцем.

Здесь жилось просто и привольно. В наскоро принаровленные, весь день раскрытые окна несся запах сена и лесной древесины. В них налетали с реки ласточки, с лугов стрекозы и мотыльки.

Свита с утра рассыпалась по лесу, собирала цветы и грибы, ловила в прудах рыбу, каталась по окрестным полям.

Екатерина, тем временем, в белом пудромантеле и в чепце на запросто причесанных волосах, сидя в верхней рабочей горенке, писала наброски указов и письма к парижскому философу и публицисту барону Гримму.

Она ему жаловалась, что ее слуги не дают ей более двух перьев в день, так как им известно, что она не может равнодушно видеть клочка чистой бумаги и хорошо очиненного пера, чтоб не присесть и не поддаться бесу бумагомарания.

И в то время, когда целый мир ломал голову над политикой русской императрицы: что

именно она предпримет относительно разгромленной ею Турции? или повторял запоздалые вести об укрощенном заволжском бунте, о недавней казни Пугачева и о захваченной в Ливорно таинственной княжне Таракановой, – Екатерина с удовольствием описывала Гримму своих комнатных собачек.

Этих собачек при дворе звали: сэр Том Андерсон, а его супругу во втором браке – леди Мими, или герцогиня Андерсон. Они были такие крохотные, косматые, с тоненькими умными мордочками и упругими, уморительно, в виде метелок, подстриженными хвостами. У собачек были свои особые мягкие тюфячки и шелковые одеяла, стеганные на вате рукой самой императрицы.

Екатерина описывала Гримму, как она с сэром Томом любит сидеть у окна и как Том, разглядывая окрестности, опирается лапой о подоконник, волнуется, ворчит и лает на лошадей, тянувших барку у берега реки. Виды однообразны, но красивы. И сэр Том с удовольствием глядит на холмы и леса, и на тихие, тонущие в дальней зелени сады и усадьбы, за которыми в голубой дали чуть виднеются

верхи московских колоколен. Сельская дичь и глушь по душе сэру Андерсону и его супруге. Они ими любят, забыв столичный шум и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут под свое теплое, стеганое одеяло.

Хозяйке также нравятся эти глухие русские деревушки, леса и поля.

«Я люблю нераспаханные, новые страны! – писала Екатерина Гримму. – И, по совести, чувствую, что я годна только там, где не все еще обделано и искажено».

XIX

Свежий воздух подмосковных окрестностей Синогда туманился. Набегали тучки, сверкала молния, погромыживала гроза. При дворе были свои невзгоды.

Немало заботы Екатерине причинило разбирательство дела Пугачева. Он перед казнью всех изумлял твердою надеждой, что его помилуют и не казнят.

«Негодяй не отличается большим смыслом... он надеется! – писала государыня по прочтении последних допросов самозванца. – Природа человеческая неисповедима».

Пугачева четвертовали в январе.

В половине мая Екатерине донесли о прибытии в Кронштадт эскадры Грейга с княжной Таракановой. Переписку с Орловым о самозванке императрица послала петербургскому главнокомандующему, князю Голицыну, и отдала ему приказ:

«Сняв тайно с кораблей доставленных вояжиров, учините им строгий допрос».

Князь Александр Михайлович Голицын, разбитый некогда Фридрихом Великим и впоследствии, за войну с турками, произведенный в фельдмаршалы, был важный с виду, но добродушный, скромный, правдивый и чуждый дворских происков человек. Его все искренне любили и уважали.

Двадцать четвертого мая он призвал преобразованного офицера Толстого, взял с него клятву молчания и приказал ему отправиться в Кронштадт, принять там арестантку, которую ему укажут, и бережно сдать ее оберкоменданту Петропавловской крепости Андрею Гавриловичу Чернышеву.

Толстой исполнил поручение; ночью на двадцать пятое мая в особо оснащенной яхте он проехал в Неву, тихо подплыл к крепости

и сдал пленницу. Ее сперва поместили наскоро в комнаты под комендантскою квартирою, потом в Алексеевский рavelин. Секретарь Голицына Ушаков уже приготовил о ней подробные выдержки из бумаг, присланных государыней.

Ушаков был проворный, вертлявый пузан, вечно пыхтевший и с улыбкой лукавых, зорких глаз повторявший:

– Ах, голубчики, столько дела, столько! из чести одной служу князю... давно пора в абшид, измучился...

Князь Голицын обдумывал выдержки, составленные Ушаковым, приготовил по ним ряд точных вопросов и доказательных статей и с напускною, важною осанкою, так не шедшею к его добродушным чертам, явился в каземат пленницы. Его смущали вести, что на пути, в Англии, арестантка чуть не убежала, что в Плимуте она вдруг бросилась за борт корабля в какую-то, очевидно ожидавшую ее шлюпку, и что ее едва удалось снова, среди ее воплей и стонов, водворить на корабль. Князь боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал ее освободить.

Испуганная, смущенная нежданною, грозною обстановкою, пленница не отвергала, что ее звали и даже считали всероссийскою великою княжною, мало того, ею прямо и сразу было заявлено, что она действительно и сама, соображая свое детство и прошлое, силою вещей привыкла себя считать тем лицом, о котором говорили найденные у нее будто бы завещание императора Петра I в пользу бывшей императрицы Елисаветы и завещание Елисаветы в пользу ее дочери.

В Москву был послан список с этого допроса. Екатерину возмутила дерзость пленницы, особенно приложенное к допросу письмо на имя государыни, скрепленное подписью «Elisabeth».

– Voila une fieffe canaille![29] – вскричала Екатерина, прочтя и скомкав это письмо.

В кабинете императрицы в то время находился Потемкин.

– О ком изволите говорить? – спросил он.

– Все о той же, батюшка, об итальянской побродяжке.

Потемкин, искренне жалевший Тараканову по двум причинам: как женщину и как до-

бычу ненавистного ему Орлова, – начал было ее защищать. Екатерина молча подала ему пачку новых французских и немецких газет, сказав, пусть он лучше посмотрит, что о ней самой плетут по поводу схваченной самозванки, и тот, сопя носом, с досадой уставил свои близорукие глаза.

– Ну, что? – спросила Екатерина, кончив разбор и просмотр бумаг.

– Непостижимо... сколько сплетней! Трудно сказать окончательное мнение.

– А мне все ясно, – сказала Екатерина, – лгунья – тот же подставленный нам во втором издании маркиз Пугачев. Согласись, князь, как бы мы ни жалели этой жертвы, быть может, чужих интриг, нельзя к ней относиться снисходительно.

Голицыну в Петербург были посланы новые наставления. Ему было велено «убавить тону этой авантюрьере», тем более что «по извещению английского посла, арестантка, по всей видимости, была не принцесса, а дочь одного трактирщика из Праги».

Пленнице передали это сообщение посла. Она вышла из терпения.

– Если бы я знала, кто меня так поносит, – вскрикнула она, с дрожью и бранью, – я тому выцарапала бы глаза!

«Боже! да что же это? – с ужасом спрашивала она себя, под натиском страшных, грозно ложившихся на нее стеснений. – Я прежде так слепо, так горячо верила в себя, в свое происхождение и назначение. Неужели они правы? Неужели придется под давлением этих безобразных, откапываемых ими улик отказаться от своих убеждений, надежд? Нет, этого не будет! Я все превозмогу, устою!»

С целью «поубавить тона» с арестованною стали поступать значительно строже; лишили ее на время услуг ее горничной и других удобств. Стали ей давать более скромную, даже скудную пищу. Это не помогло. Ни просьбы, ни угрозы лишить ее собственной одежды, света и одеть в острожное платье не вынудили у пленницы раскаяния, а тем более желаемого сознания, что она обманщица, а не княжна.

– Я не самозванка, слышите ли? – с бешеным негодованием твердила она Голицыну. – Вы – князь, а я – слабая женщина... именем

милосердного бога умоляю, не мучьте, жальтесь надо мною.

Князь забыл свое поручение, начал ее утешать.

– Я беременна, – проговорила, плача, арестантка, – погибну не одна... Отошлите меня, куда знаете, к самоедам, опять в сибирские льды, в монастырь... но, клянусь, я ни в чем не повинна...

Голицын собрался с мыслями.

– Кто отец ожидаемого вами дитяти? – спросил он.

– Граф Алексей Орлов.

– Новая неправда, – сказал Голицын, – и к чему она? Не стыдно ли так отвечать доверенному лицу государыни, старику?

– Я говорю правду, как перед богом! – ответила, рыдая, пленница. – Свидетели тому адмирал, офицеры, весь флот...

Изумленный Голицын прекратил расспрос и о новом сознании арестантки донес в тот же день в Москву.

– Негодная, дерзкая тварь! – вскрикнула Екатерина, прочтя это сообщение Потемки-

ну. – Чем изворачивается новое издание выставленного нам поляками Пугачева!.. Нагло клеветает на других!

– Но если тут не без истины? – произнес Потемкин. – Слабую, доверчивую женщину так легко увлечь, обмануть.

– О, быть не может! – возразила Екатерина. – Впрочем, граф Алексей Григорьевич скоро будет сюда, он объяснит нам подробнее об этой им арестованной лже-Елисавете... А вы, князь, в рыцарской защите женщин, не забывайте главного – спокойствия государства. Мало мы с вами пережили в недавний бунт.

Потемкин замолчал.

Орлова ждали со дня на день. Он спешил из Италии к торжеству празднования турецкого мира. Голицыну тем временем было послано приказание: отнять у арестантки излишнее, не положенное в тюрьме платье и, удалив ее горничную, приставить к ней, для бесменного надзора, двух надежных часовых.

XX

Упорство пленницы было Екатерине непонятно и выводило ее из себя.

– Как! – рассуждала она. – Сломлена Турция. Пугачев пойман, сознался и всенародно казнен... а эта хворая, еле дышащая женщина, эта искательница приключений... ни в чем не сознается и грозит мне, из глухого подземелья, из норы?

Потемкин, узнав от Христенека подробности ареста княжны, мрачно дулся и молчал. Екатерина относила это к припадку его обычной хандры.

Вскоре и другие из ближних императрицы узнали, каким образом Орлов заманил и предал указанное ему лицо, и сообщили об этом государыне через ее камер-юнкеру Перекусихину. Екатерина сперва не поверила этим слухам и даже резко выговорила это своей камеристке. Секретный рапорт прямого, неподкупного Голицына о положении и признании арестантки вполне подтвердил сообщение придворных. Женское сердце Екатерины возмутилось.

– Не Радзивилл! – сказала она при этом. – Тому грозила конфискация громадных имений, а он не выдал преданной женщины!

«Предатель по природе! – шевельнулось в

уме Екатерины при мыслях об услуге Орлова. – На все готов и не стесняется ничем... не задумается, если будет в его видах, и на другое!»

Вспомнились Екатерине при этом давние строки: «Матушка царица, прости, не думали, не гадали...»

– Недаром его зовут палачом! – презрительно прошептала Екатерина. – Пересолил, скажет, из усердия... Впрочем, придет – надо поправить дело... Эта потерянная – без роду и племени – игрушка в руках злонамеренных, у него она будет бессильна... А ей, продававшей в Праге пиво, чем не пара русский сановник и граф?

Сельские тихие виды Царицына и Коломенского стали тяготить Екатерину. Леса, пруды, ласточки и мотыльки не давали ей прежнего покоя и отрадных снов.

Императрица неожиданно и запросто поехала в Москву.

Там, в Китай-городе, она посетила архив коллегии иностранных дел, куда перед тем по ее приказанию были присланы на просмотр некоторые важные бумаги. Начальником ар-

жива в то время состоял знаменитый автор «Опыта новой истории России» и «Описания Сибирского царства», бывший издатель академических «Ежемесячных сочинений», путешественник и русский историограф, академик Миллер. Ему тогда было за семьдесят лет. Императрица, сама усердно занимаясь историей, знала его и не раз с ним беседовала о его работах и истории вообще. Она его застала на квартире, при архиве, над грудой старинных московских свитков. Миллер был большой любитель цветов и птиц. Невысокие светлые комнаты его казенной квартиры были увешаны клетками дроздов, снегирей и прочей пернатой братии, оглушившей Екатерину разнообразными свистами и чилика-ньями. Стеклопанная дверь из кабинета хозяйна вела в особую, уставленную кустами в кадках светелку, где при раскрытых окнах, завешанных сетью, часть птиц летала на свободе. Запах роз и гелиотропов наполнял чистые укромные горенки. Воцеленные полы блестели, как зеркало. Миллер работал у стола, перед стеклопанною дверью в птичник. Государыня вошла незаметно, остановив засуетившуюся

прислугу.

– Я к вам, Герард Федорович, с просьбой, – сказала, войдя, Екатерина.

Миллер вскочил, извиняясь за домашний наряд.

– Приказывайте, ваше величество, – произнес он, застегиваясь и отыскивая глазами куда-то, как ему казалось, упавшие очки.

Императрица села, попросила сесть и его. Разговорились.

– Правда ли, – начала она после нескольких любезностей и расспросов о здоровье хозяина и его семьи, – правда ли... говорят, вы имеете данные и вполне убеждены, что на московском престоле царствовал не самозванец Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий? Вы говорили о том... английскому путешественнику Коксу.

Добродушный, с виду несколько рассеянный и постоянно углубленный в свои изыскания, Миллер был крайне озадачен этим вопросом государыни.

«Откуда она это узнала? – мыслил он. – Ужели проговорился Кокс?»

– Объяснимся, я облегчу нашу беседу, –

продолжала Екатерина. – Вы обладаете изумительной памятью; притом вы так прозорливы в чтении и сличении летописей; скажите откровенно и смело ваше мнение... Мы одни – вас никто не слышит... Правда ли, что доводы к обвинению самозванца вообще слабы, даже будто бы ничтожны?

Миллер задумался. Его взъерошенные на висках седые волосы странно торчали. Добрые, умные губы, перед приездом государыни сосавшие полупогасший янтарный чубук, бессознательно шевелились.

– Правда, – несмело ответил он, – но это, простите, мое личное мнение, не более...

– Если так, то почему же не огласить вам столь важного суждения?

– Извините, ваше величество, – проговорил Миллер, растерянно оглядываясь и подбирая на себя упорно сползавшие складки камзола, – я прочел розыск Василия Шуйского в Угличе. Он производил следствие по поручению Годунова и имел расчет угодить Борису, привезя ему показания лишь тех, кто утверждал сказки об убиении истинного царевича; другие, неприятные для Годунова,

следы он, очевидно, скрыл.

– Какие? – спросила Екатерина.

– Что погиб другой, а мнимоубитый скрылся. Вспомните, ведь этот следователь, Шуйский, потом сам же всенародно признал царевичем возвратившегося Димитрия.

– Довод остроумный, – сказала Екатерина, – недаром генерал Потемкин, большой любитель истории, советует все это напечатать, если вы в том убеждены.

– Помните, ваше величество, – проговорил Миллер, – воля монархини – важный указатель; но есть другая, более высшая власть – Россия... Я лютеранин, а тело признанного Димитрия покоится в Кремлевском соборе... Что случилось бы с моими изысканиями, то случилось бы и со мной среди вашего народа, если бы я дерзнул доказывать, что на московском престоле был не Гришка Отрепьев, а настоящий царевич Димитрий?

XXI

Слова Миллера смутили Екатерину.

«Откровенно, – подумала она, – так и подобает философу».

– Хорошо, – произнесла императрица, – не

будем тревожить мертвых; поговорим о живых. Генерал Потемкин, надеюсь, вам доставил список с допроса и показаний наглой претендентки, о поимке которой вы, вероятно, уже слышали...

– Доставил, – ответил Миллер, вспомнив наконец, что очки, которые он продолжал искать глазами, были у него на лбу, и удивляясь, как он об этом забыл.

– Что вы скажете об этой достойной сестре маркиза Пугачева? – спросила Екатерина.

Миллер увидел в это мгновение за стеклянною дверью, как вечно ссорившаяся с другими птицами канарейка влетела в чужое гнездо, и хозяева последнего, с тревогой и писком летая вокруг нее, старались ее оттуда выпроводить. Занимал его также больной, с забинтованной ногою, дрозд.

– Принцесса, если она русская, – произнес Миллер, краснея за свою робость и рассеянность, – очевидно, плохо училась русской истории; вот главное, что я могу сказать, прочтя ее бумаги... Впрочем, в этом более виноваты ее учителя...

– Так вы полагаете, что в ее сказке есть до-

ля истины? – спросила Екатерина. – Допускаете, что у императрицы Елисаветы могла быть дочь, подобная этой и скрытая от всех?

Миллер хотел сказать: «О да, разумеется, что же тут невероятного?» Но он вспомнил о таинственном юноше, Алексее Шкурине, который в то время путешествовал в чужих краях, и, смутясь, неподвижно уставился глазами в дверь птичника.

– Что же вы не отвечаете? – улыбнулась Екатерина. – Тут уже ваше лютеранство ни при чем...

– Все возможно, ваше величество, – произнес Миллер, качая седую курчавую головой, – рассказывают разное, есть, без сомнения, и достоверное.

– Но послушайте... Не странно ли? – произнесла Екатерина. – Покойный Разумовский был добрый человек, притом, хотя тайно, состоял в законном браке с Елисаветой... Из-за чего же такое забвение природы, бессердечный отказ от родной дочери?

– То был один век, теперь другой, – сказал Миллер. – Нравы изменяются; и если новые Шуйские-Шуваловы столько лет подряд мог-

ли держать в одиночном заключении, взаперти, вредного им принца Иоанна, объявленно-го в детстве императором, – что же удивительного, если из той же жажды влияния и власти они на краю света на всякий случай припрятали и другого младенца, эту несчастную княжну?

– Но вы, Герард Федорович, забываете главное – мать! Как могла это снести императрица? У нее, нельзя этого отрицать, было доброе сердце... Притом здесь дело шло не о чуждом дитяти, как Иванушка, а о родной, забытой дочери.

– Дело простое, – ответил Миллер, – ни Елисавета, ни Разумовский тут, если хотите, ни при чем: интрига действовала на государыню, не на мать... Ей, без сомнения, были представлены важные резоны, и она согласилась. Тайную дочь спрятали, услали на юг, потом за Урал. В бумагах княжны говорится о яде, о бегстве из Сибири в Персию, потом в Германию и Францию... Шуйские наших дней повторили старую трагедию; охраняя будто бы государыню, они готовили, между тем, появление на всякий случай нового, ими же

спасенного выходца с того света.

Екатерине вспомнился в одном из писем Орлова намек о русском вояжире, а именно об Иване Шувалове, который в то время еще находился в чужих краях.

– С вами не наговоришься, – сказала, вставая, Екатерина, – ваша память тот же неоцененный архив; а русская история, не правда ли, как и сама Россия, любопытная и непочатая страна. Хороши наши нивы, беда только от множества сорных трав. Кстати... я все люблю вашими цветами и птицами. Приезжайте в Царицыно. Гримм мне прислал семью прехорошеньких какаду. Один все кричит: «Oъ est la vrit?»[30]

Отменно милостливо поблагодарив Миллера, императрица возвратилась в Царицыно. Вскоре туда явился победитель при Чесме, Орлов.

Алексей Григорьевич не узнал двора. С новыми лицами были новые порядки. Граф не сразу удостоился видеть государыню. Ему сказали, что ее величество слегка недомогает.

Орлов смутился. Опытный в дворских нравах человек, он почуял немилость, беду. Надо

было поправить дело. Алексей Григорьевич не без робости обратился к некоторым из приближенных и решился искать аудиенции у нового светила, Потемкина. Их свидание было вежливо, но не радушно. Далеко было до прежней дружеской близости и простоты. Проговорили за полночь, но гость чувствовал, что ему было сказано немного.

– Нынче все без меры, через край! – произнес, по поводу чего-то и мимоходом, Потемкин.

Задумался об этих словах Орлов: «Через край!» Ведь и он хватил не в меру.

Наутро он был приглашен к государыне, которую застал за купаньем собачек. Мистер Том Андерсон уже был вынут из ванночки, вытерт и грелся, в чепчике, под одеялом. Миссис Мими, его супруга, еще находилась в ванне. Екатерина сидела, держа наготове другой чепчик и одеяло. Перекусихина, в переднике, с засученными за локти рукавами, усердно терла собачку губкой с мылом. Намоченная и вся белая от пены, Мими, завидя огромного, глазастого, незнакомого ей гостя, неистово разлаялась из-под руки камер-юнгферы.

– С воды и к воде, – шутливо произнесла Екатерина, – добро пожаловать. Сейчас будем готовы.

Одев в чепчик и уложив в постель Мими, государыня вытерла руки и произнесла:

– Как видите, о друзьях первая забота! – села и, указав Орлову стул, начала его расспрашивать о вояже, об Италии и о турецких делах.

– А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пересолили, – сказала она, достав табакерку и медленно нюхая из нее.

– В чем, ваше величество?

– А в препорученном, – улыбнулась, шутливо грозя, Екатерина.

Орлов видел улыбку, но в самой шутке государыни заметил недобрую, знакомую ему черту: круглый и плотный подбородок Екатерины слегка вздрагивал.

– Что же, матушка государыня, чем я прогневил? – спросил он, заикаясь.

– Да как же, сударь... уж, право, чересчур, – продолжала Екатерина, нюхая из полураскрытой табакерки.

Орлов ребячески растерялся. Его глаза

трусливо забегали.

– Ведь пленница-то наша, – произнесла государыня, – слышали ли вы? Скоро сам-друг...

Богатырь и силач Орлов не знал, куда деться от замешательства.

«Пропал, окончательно погиб! – думал он, мысленно уже видя свое падение и позор. – Помяни, господи, царя Давида...»

– Дело, впрочем, можно еще поправить, – проговорила Екатерина, – вам бы ехать в Питер да свидеться с пленницей, к торжеству мира возвратились бы женихом.

Орлов, сморщившись, опустился на колени, поцеловал протянутую ему руку и молча вышел. За порогом он оправился.

– Ну, что, как государыня? Что изволила говорить? – спрашивали его ближние из придворных.

– Удостоен особого приглашения на торжество мира, – ответил граф, – еду пока в Петербург, устроить дела брата.

Алексей Григорьевич старался смотреть самоуверенно и гордо...

Орлов понял, что ему нечего было медлить, государыня, очевидно, не шутила.

Под предлогом свидания с удаленным братом, он собрался и вскоре выехал в Петербург.

XXII

Изнуренная долгим морским путем и заключением, пленница влачила в крепости тяжелые дни. Острый, с кровохарканьем и лихорадкой кашель перешел в быстротечную чахотку.

Частые появления и допросы фельдмаршала Голицына приводили княжну в неописанный гнев.

– Какое право имеют так поступать со мной? – повелительно спрашивала она. – Какой повод я подала к такому обращению?

– Предписание свыше, монарший приказ! – отвечал, пыхтя и перевирая французские слова, секретарь Ушаков.

В качестве письмоводителя наряженной комиссии он заведовал особыми суммами, назначенными для этой цели, и потому, жалуясь на утомление, кучу дела и даже на боль в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил новые доказательные статьи и переписку о ней и вообще водил за нос добряка Голицына, – собираясь на сбережения от содержания

арестантки прикупить новый домик к бывшему у него на Гороховой собственному двору.

Таракановой, между прочим, были предъявлены найденные в ее бумагах подложные завещания.

– Что вы скажете о них? – спросил ее Голицын.

– Клянусь всемогущим богом и вечною мукой, – отвечала арестантка, – не я составляла эти несчастные бумаги, мне их сообщили.

– Но вы их собственноручно списали?

– Может быть, это меня занимало.

– Так вы не хотите признаться, объявить истины?

– Мне не в чем признаваться. Я жила на свободе, никому не вредила: меня предали, схватили обманом.

Голицын терял терпение. «Вот бесом надели! – мыслил он. – Открывай тайны с таким камнем!»

Князь вздыхал и почесывал себе переносицу.

– Да вы, ваше сиятельство, упомнили, – шепнул однажды при допросе услужливый

Ушаков, – вам руки развязаны – последний-то указ... в нем говорится о высшей строгости, о розыске с пристрастием.

– А и в самом деле! – смекнул растерявшийся князь, вообще не охотник до крутых и жестоких мер. – Попробовать разве? Хуже не будет!

– Именем ее величества, – строго объявил фельдмаршал коменданту в присутствии пленницы, – ввиду ее заперательства отобрать у нее все, кроме необходимой одежды и постели, слышите ли, все... книги, прочие там вещи, – а если и тут не одумается – держать ее на пище прочих арестантов.

Распоряжение князя было исполнено. Привыкшей к неге и роскоши, избалованной, хворой женщине стали носить черный хлеб, солдатские кашу и щи. Она, голодная, по часам просиживала над деревянной миской, не притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На пути в Россию, у берегов Голландии, где эскадра запасалась провизией, арестантка случайно узнала из попавшего к ней в каюту газетного листка все прошлое Орлова и с содроганием, с бешенством кляла себя за то, как

могла она довериться такому человеку. Но появилось еще худшее горе. В комнатку арестантки, сменяясь по очереди, с некоторого времени день и ночь становились двое часовых. Это приводило арестантку в неистовство.

– Покайтесь, – убеждал, навещая ее, Голицын, – мне жаль вас, иначе вам не ждать помилования.

– Всякие мучения, самое смерть, господин фельдмаршал, все я приму, – ответила пленница, – но вы ошибаетесь... ничто не принудит меня отречься от моих показаний.

– Подумайте...

– Бог свидетель, мои страдания падут на головы мучителей.

– Одумается, ваше сиятельство! – шептал, роясь при этом в бумагах, Ушаков. – Еще опыт, и изволите увидеть...

Опыт был произведен. Он состоял в грубой сермяге, сменившей на плечах княжны ее ночной венецианский шелковый пеньюар.

– Великий боже! Ты свидетель моих помыслов! – молилась арестантка. – Что мне делать, как быть? Я прежде слепо верила в свое

прошлое; оно мне казалось таким обычным, я привыкла к нему, к мыслям о нем. Ни измена того изверга, ни арест не изменили моих убеждений. Их не поколеблет и эта страшная, железная, добивающая меня тюрьма. Смерть близится. Матерь божия, младенец Иисус! Кто подкрепит, вразумит и спасет меня... от этого ужаса, от этой тюрьмы?

В конце июня, в холодный и дождливый вечер, в Петропавловскую крепость подъехала наемная карета с опущенными занавесками. Из нее, у комендантского крыльца, вышел граф Алексей Григорьевич Орлов. Через полчаса он и обер-комендант крепости Андрей Гаврилович Чернышев направились в Алексеевский рavelин.

– Плоха, – сказал по пути обер-комендант, – уж так-то плоха; особенно с этою сыростью; вчера, ваше сиятельство, молила дать ей собственную одежду и книги – уважили...

Часовых из комнаты княжны вызвали. Тогда, без провожатых, вошел Орлов. Чернышев остался за дверью.

В вечернем полумраке граф с трудом раз-

глядел невысокую, с двумя в углублении окнами, комнату. В рамах были темные железные решетки. У простенка, между двумя окнами, стояли два стула и небольшой стол, на столе лежали книги, кое-какие вещи и прикрытая полотенцем миска с нетронутой едой. Вправо была расположена ширма, за ширмой стояли столик с графином воды, стаканом и чашкой и под ситцевым пологом железная кровать.

На кровати, в белом капоте и белом чепце, лежала, прикрытая голубою, поношенного бархата, шубкой, бледная, казалось, мертвая, женщина.

Орлов был поражен страшною худобой этой, еще недавно пышной, обворожительной красавицы. Ему вспомнились Италия, нежные письма, страстные ухаживания, поездка в Ливорно, пир на корабле и переодетые в старенькие церковные ризы Рибас и Христенек.

«И зачем я тогда разыграл эту комедию с венцом? – думал он. – Она ведь уже была на корабле, в моих руках!»

В его мыслях живо изобразился устроен-

ный им арест княжны. Он вспомнил ее крики на палубе и через день посылку к ней через Концова письма на немецком языке с жалобой на свое собственное мнимое горе и с клятвами в преданности до гроба и любви: «Ах, в каком мы несчастье, – писал он ей тогда, подбирая льстивые слова. – Оба мы арестованы, в цепях; но всемогущий бог не оставит нас. Вверимся ему. Как только получу свободу, буду вас искать по всему свету и найду, чтобы вас охранять и вам вечно служить...»

«И я ее нашел, вот она!» – мыслил в невольном содрогании Орлов, стоя у порога. Он тихо ступил к ширме.

Пленница на шорох открыла глаза, взгляделась в вошедшего и приподнялась. Прядь светло-русых, некогда пышных волос, выбилась из-под чепца, полузакрыв искаженное болезнью и гневом лицо.

– Вы?.. вы?.. в этой комнате... у меня! – вскрикнула княжна, узнав вошедшего и простирая перед собою руки, точно отгоняя страшный, безобразный призрак.

Орлов стоял неподвижно.

Слова рвались с языка пленницы и бессильно замирали.

Отшатнувшись на кровати к стене, она сверкающими глазами пожирала Орлова, с испугом глядевшего на нее.

– Мы обвенчаны, не правда ли? ха-ха! ведь мы жена и муж? – заговорила она, страшным кашлем поборая презрительное негодование. – Где же вы были столько времени? Вы клялись, я вас ждала.

– Послушайте, – тихо сказал Орлов, – не будем вспоминать прошлого, продолжать комедию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я верный раб моей государыни и что я только исполнял ее повеления.

– Злодейство, обман! – вскрикнула арестантка. – Никогда не поверю... Слышите ли, никогда могучая русская императрица не прибегнет к такому вероломству.

– Клянусь, это был ее приказ...

– Не верю, предатель! – бешено кричала пленница, потрясая кулаками. – Екатерина могла предписать все, требовать выдачи, сжечь город, где меня укрывали, арестовать силой... но не это... ты, наконец, мог меня по-

разить кинжалом, отравить... яды тебе известны... но что сделал ты? что?

– Минуту терпения, умоляю, – произнес, оглядываясь, Орлов, – ответьте мне одно слово, только одно... и вы будете, клянусь, немедленно освобождены.

– Что еще придумал, изверг, говори? – произнесла княжна, одолевая себя и с дрожью куたаясь в голубую, знакомую графу, бархатную мантилью.

– Вас спрашивали столько времени и с таким настоянием, – начал Орлов, подыскивая в своем голосе нежные, убедительные звуки, – скажите, мы теперь наедине... нас видит и слышит один бог.

– Gran Dio! – рванулась и опять села на кровати арестантка. – Он призывает имя божье! – прибавила она, подняв глаза на образ Спаса, висевший на стене, у ее изголовья. – Он! да ты, наверное, утроил и все эти мучения, всю медленную казнь! А у вас еще хвалились, что отменена пытка. Царица этого, наверное, не знает, ты и тут ее провел.

– Успокойтесь... скажите, кто вы? – продолжал Орлов. – Откройте мне. Я умолю госуда-

рыню; она окажет мне и вам милость, вас освободит...

– Diavolo![31] Он спрашивает, кто я? – проговорила, задыхаясь от прилива нового бешенства, княжна. – Да разве ты не видишь, что я кончила со светом, умираю? Зачем это тебе?

Она неистово закашлялась, упала головой к стене и смолкла.

«Вот умрет, не выговорит», – думал, стоя близ нее, Орлов.

– В богатстве и счастье, – произнесла, придя в себя, пленница, – в унижении и в тюрьме, я твержу одно... и ты это знаешь... Я дочь твоей бывлой царицы! – гордо сказала она, поднимаясь. – Слышишь ли, ничтожный, подлый раб, я прирожденная ваша великая княжна...

Смелая мысль вдруг осенила Орлова. «Эх, беда ли? – подумал он. – Проживет недолго, разом угожу обеим».

Он опустился на одно колено, схватил исхудалую, бледную руку пленницы и горячо припал к ней губами.

– Ваше высочество! – проговорил он. –

Элиз! простите, клянусь, я глубоко виноват... так было велено... я сам находился под арестом, теперь только освобожден...

Пленница молча глядела на него большими, удивленными глазами, прижимая ко рту окровавленный кашлем платок.

– Умоляю, нас, по истине, торжественно обвенчают, – продолжал Орлов, – станьте моею женой... Все тогда, ваше высочество, дорогая моя... Элиз!.. знатность, мое богатство, преданность и вечные услуги...

– Вон, изверг, вон! – крикнула, вскакивая, арестантка. – Этой руки искали принцы, короли... не тебе ее касаться, клейменый предатель, палач!

«Не стесняется, однако! – подумал обер-комендант Чернышев, слышавший из-за двери крупную французскую брань и проклятия арестантки. – Уйти поздорову; граф еще сообщит, что были свидетели, вломится в амбицию, отомстит!»

Комендант ушел.

Тюремщик, стоявший с ключами в коридоре и также слышавший непонятные ему гневные крики, топанье ногами и даже, как ему

показалось, швырянье в гостя какими-то вещами, тоже отошел и прижался в угол, рас-суждая:

«Мамзюлька, видно, просит лучших хар-чей, да, должно, не по артикулу, серчает на ге-нерала... ох-хо! куда ей, сухопарой... все щи да щи, вчера только дали молока...»

Бешеные крики не прерывались. Зазвене-ло брошенное об пол что-то стеклянное.

Дверь каземата быстро распахнулась. Из нее вышел Орлов, робко пригибаясь под несо-размерной с его ростом перекладиной. Лицо его было красно-багровое. Он на минуту за-медлился в коридоре, оглядываясь и как бы собираясь с мыслями.

Нащупав под мышкой треугол, граф дро-жащей рукой оправил прическу и фалды каф-тана, бодро и лихо выпрямился, молча вы-шел, сел под проливным дождем в карету и крикнул кучеру:

– К генерал-прокурору!

По мере удаления от крепости Орлов более обдумывал только что происшедшее свиде-ние.

– Змея, однако, сущая змея! – шептал он,

поглядывая из кареты по улицам. – Как жалила!

Он сдержанно и с полным самообладанием вошел к князю Александру Алексеевичу Вяземскому. Был уже вечер; горели свечи. Орлов чувствовал некоторую дрожь в теле и потирал руки.

– Прошу садиться, – сказал генерал-прокурор, – что? озябли?

– Да, князь, холодновато.

Вяземский приказал подать ликеру. Принесли красивый графин и корзинку с имбирными бисквитами.

– Откушайте, граф... Ну, что наша самозванка? – произнес генерал-прокурор, оставляя бумаги, в которых рылся.

– Дерзка до невероятия, упорствует, – ответил граф Алексей Григорьевич, наливая рюмку густой душистой влаги и поднося ее к носу, потом к губам.

– Еще бы! – проговорил князь. – Дешево не хочет уступать своих мнимых титулов и прав.

– Много уже с нею возятся; нужны бы иные меры, – сказал Орлов.

– Какие же, батенька, меры? Она при последних днях... не придушить же ее.

– А почему бы и нет? – как бы про себя произнес Орлов, опуская бисквит в новую рюмку ликера. – Жалеть таких!

Генерал-прокурор из-за зеленого абажура, прикрывавшего свечи, искоса взглянул на гостя.

– И ты, Алексей Григорьевич, это не шутя... посоветовал бы? – спросил он.

– Для блага отечества и как истый патриот... не только посоветовал бы, очень бы одобрил! – ответил Орлов, прохаживаясь и пожевывая сладкий, таявший во рту бисквит.

«Mais c'est un assassin dans l'ome! – подумал с виду суровый и обыкновенно насупленный верховный судья, с ужасом прислушиваясь к мягкому шарканью Орлова по ковру. – C'est en lui comme une mauvaise habitude!»[32]

Орлов, вынув лорнет и покусывая новый ломоть имбирного бисквита, рассматривал на стене изображение Психеи с Амуром.

– Откуда эта картина? – спросил он.

– Государыня пожаловала... Вы же, граф, когда изволите обратно в Москву?

– Завтра рано, и не замедлю передать о новом заpiresательстве наглой лгуни.

Вяземский пошевелил кустоватыми бровями.

– А вам известно показание арестантки на ваш счет? – пробурчал он, роясь в бумагах.

У Орлова из рук выпал недоеденный бисквит.

– Да, представьте, ведь это из рук вон! – ответил граф. – Преданность, верность и честь, ничто не пощажено... И что поразительно, князь... втюрилась в меня бес-баба да, взведя такую небылицу, от меня же еще нынче, проходимка, упорно требовала признания брака с ней.

– Не могу не удивиться, – произнес Вяземский, – эти переодеванья с ризами, извините... и для чего это напрасное кощунство? Ох, отдадите, батюшка граф, ответ богу... мне бы весь век это снилось...

Орлов хотел отшутиться, попытался еще что-то сказать, но молчание хмурого, медведеобразного генерал-прокурора ему показывало, что дворский кредит был давно на исходе и что сам он, несмотря на прошлые услуги,

как уже никому не нужный, старый хлам, мог желать одного – оставления его на полном покое.

«Летопись заканчивается! Очевидно, скоро буду на самом дне реки! – подумал Орлов, оставляя Вяземского. – В люк куда-нибудь спустят, в Москву или еще куда подальше. Состарились мы, вышли из моды; надо новым дать путь».

Он так был смущен приемом генерал-прокурора, что утром следующего дня отслужил молебен в церкви Всех скорбящих радости, а перед отъездом в Москву даже гадал у какой-то армянки на Литейной.

XXIV

Мир с Турцией был торжественно отпразднован в Москве тринадцатого июля.

При этом вспомнили Голицына и прислали ему в Петербург за очищение Молдавии от турок брильянтовую шпагу. Орлов получил похвальную грамоту, столовый богатый сервиз, императорскую дачу близ Петербурга и прозвание Чесменского.

«Сдан в архив, окончательно сдан!» – мыслил при этом Алексей Григорьевич. В Петер-

бург, вслед за двором, его уже действительно не пустили. С тех пор ему было указано место жительства в Москве, в числе других поселившихся там первых пособников императрицы.

Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с этого времени дни Чесменского на вольном московском покое. Домочадцы графа, между тем, подмечали, что порой на него находили припадки нешуточной острой хандры, что он нередко совершенно невзначай служил то панихиды, то молебны с акафистами, прибегал к гадальщикам-цыганам и втихомолку брюзжал, как бы жалуясь на изменницу, некогда так его баловавшую судьбу.

Ехал ли граф Алехан в морозный ясный вечер по улице, из-под осыпанной инеем шапки вглядываясь в прохожих и в мерный бег своего легконогого рысака, его мысли уносились к иным, теплым небесам, к голубым побережьям Мореи и Адриатики, к мраморным венецианским и римским дворцам.

Моросил ли мелкий осенний дождь и была чудная охота по чернотропу, граф, в

окрестностях Отрады или Нескучного, подняв в березовом срубе матерого беляка и спуская на него любимых борзых, бешено скакал за ним на кабардинце, но мгновенно останавливался. Дождь продолжал шелестеть в мокром березняке, конь шлепал по лужам и глине, а граф думал о другом, о далекой той же Италии, о Риме, Ливорно и о сманенной, погубленной им Таракановой.

«Где она и что случилось с нею? – рассуждал он. – Жива ли она после родов, там ли еще, или ее куда вновь упрятали?»

С падением фавора брата, князя Григория, граф Алексей Чесменский так быстро отдалился от двора, что не только положительно не знал, но и не смел допытываться о дальнейшей судьбе соблазненной им и похищенной красавицы.

Осенью того же года в Москве кем-то был пущен слух, будто из Петербурга в Новоспасский женский монастырь привезли некую таинственную особу, что ее здесь постригли и, дав ей имя Досифеи, поместили в особой, никому не доступной келье. Москвичи тихомолком шушукались, что инокиня Досифея –

незаконная дочь покойной царицы Елисаветы и ее мужа в тайном браке, Разумовского.

Что перечувствовал при этих толках граф Алексей, о том знали только его собственные помыслы. «Она, она! – говорил он себе в волнении, не зная, что жертва, княжна Тараканова, по-прежнему безнадежно томится в той же крепости. – Некому быть, как не ей; отреклась от всего, покорилась, приняла постриг...»

Мысли о новоприбывшей пленнице не покидали графа. Они так его смущали, что он даже стал избегать езды по улице, где был Новоспасский монастырь, а когда не мог его миновать и ехал возле, то отворачивался от его окон.

«Предатель, убийца!» – раздавалось в его ушах при воспоминании о последней встрече с княжной в крепости. И он мучительно перебирал в уме это свидание, когда она осыпала его проклятиями, топая на него, плюя ему в лицо и бешено швыряя в него чем попало.

Чесменский вздумал было однажды разговориться о ней с московским главнокомандующим, князем Волконским, захавшим к нему запросто – полюбоваться его конюшня-

ми и лошадьми. Они возвратились с прогулки на конский двор и сидели за вечерним чаем. Граф-хозяин начал издали о заграничных и родных вестях и толках и, будто мимоходом, осведомился, что за особа, которую, по слухам, привезли в Новоспасский монастырь.

– Да вы, граф, куда это клоните? – вдруг перебил его князь Михаил Никитич.

– А что? – спросил озадаченный Чесменский.

– Ничего, – ответил Волконский, отвернувшись и как бы рассеянно глядя в окно, – вспомнилась, видите ли, одна прошлогодняя питерская оказия о дворе...

– Какая оказия? Удостойте, батюшка князь?! – с улыбкой и поклоном произнес граф. – Ведь я недавний ваш гость и многого не знаю из новых, столь любопытных и ныне нам недоступных, дворских палестин.

– Извольте, – начал Волконский, покашливая и по-прежнему глядя в окно, – дело, если хотите, не важное, а скорее забавное... Генерал-майоршу Кожину знаете?.. Марья Дмитриевна... бойкая такая, красивая и говорунья?

– Как не знать! Часто ее видел до отъезда в

чужие края.

– Ну-с, сболтнула она, говорят, где-то, будто бы такие-то, положим, Аболешевы там, или не помню кто, решили покровительствовать новому счастливцу, Петру Мордвинову... тоже, верно, знаете?

Орлов молча кивнул головой.

– Покровительствовать... Ну, понимаете, чтоб подставить ногу...

– Кому? – спросил Орлов.

– Да будто самому, батюшка, Григорию Александровичу Потемкину.

– И что же?

– А вот что, – проговорил главнокомандующий, – в собственные покои немедленно был позван Степан Иванович Шешковский и ему сказано: «Езжай, батюшка, сию минуту в маскарад и найди там генеральшу Кожину; а найдя, возьми ее в тайную экспедицию, слегка там на память телесно отстегай и потом, туда же, в маскарад, оную барыньку с благопристойностью и доставь обратно».

– И Шешковский? – спросил Орлов.

– Взял барыньку, исправно посек и опять, как велено, доставил в маскарад; а она, чтобы

не заметили бывшего с нею случая, промолчала и преисправно кончила все танцы, на кои была звана, все до одного – и менуэт, и монимаску, и котильон.

Орлов понял горечь намека и с тех пор о Досифее более не расспрашивал.

Не радовали графа и беседы с его управляющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим в Нескучное из Хренового. Терентьич был из грамотных крепостных и являлся одетый по моде, в «перленевый» кафтан и камзол, в «просметальные» башмаки с оловянными пряжками, в манжеты и с черным шелковым кошельком на пучке пудреной косы.

Граф наливал ему чарку заморского, дорогого вина, говоря:

– Попробуй, братец, не вино... я тебе человеческого веку рюмочку налил...

Терентьич отказывался.

– Полно, милый! – угощал граф. – Ужли забыл поговорку: день мой – век мой? Веселись, в том только и счастье... да, увы, не для всех.

– Верно, батюшка граф! – говорил Кабанов, выпивая предлагаемую чарку. – Мы что? рабы... Но вам ли воздыхать, не жить в сладо-

сти-холе, в собственных, распрекрасных вотчинах? Места в них сухие и веселые, поля скастистые, хлебородные, воды ключевые, лесов и роц тьма, крестьяне все хлебопашцы, не бобыли, благодаря вашей милости. Вы же, сударь, что-то как бы скучны, а слыхом слышать, иногда даже сумнительны.

– Сумнительств и подозрений, братец, на веку не обращай! – отвечал граф. – Вот ты прошлую осень писал за море, хвалил всходы и каков был рост всякого злака; а что вышло? Сказано: не по росту, а по зерни.

– Верно говорить изволите, – отвечал, вздыхая, Терентьич.

– Вот хоть бы и о прочих делах, – продолжал граф. – Много у меня всякого разъезду и ко мне приезду; а веришь ли, ничего, как прежде, не знаю. Был Филя в силе, все в други к нему валили... а теперь...

Граф смолкал и задумывался.

«Ишь ты, – мыслил, глядя на него, Кабанов, – при этакой силе и богатстве – обходят».

– Да, братец, – говорил Орлов. – Тяжкие пришли времена, разом попал промеж двух жерновов; служба кончена, более в ней не

нуждаются, а дома... скука...

– Золото, граф, огнем искушается, – отвечал Терентьич, – человек – напастями. И не вспыхнуть дровам без подтопки... а я вам подтопочку могу подыскать...

– Какую?

– Женитесь, ваше сиятельство.

– Ну, это ты, Кабанов, ври другим, а не мне, – отвечал Чесменский, вспоминая недавний совет о том же предмете Концова.

XXV

Судьба Таракановой, между тем, не улучшилась. Московские празднества в честь мира с Турцией заставили о ней на некоторое время позабыть. После их окончания ей предложили новые обвинительные статьи и новые вопросные пункты. Был призван и напущен на нее сам Шешковский. Допросы усилились. Добиваемая болезнью и нравственными муками, в тяжелой, непривычной обстановке и в присутствии бессменных часовых, она с каждым днем чахла и таяла. Были часы, когда ждали ее немедленной кончины.

После одного из таких дней арестантка схватила перо и набросала письмо импера-

трице.

«Исторгаясь из объятий смерти, – писала она, – молю у Ваших ног. Спрашивают, кто я? Но разве факт рождения может для кого-либо считаться преступлением? Днем и ночью в моей комнате мужчины. Мои страдания таковы, что вся природа во мне содрогается. Отказав в Вашем милосердии, Вы откажете не мне одной...»

Императрица досадовала, что еще не могла оставить Москвы и лично видеть пленницу, которая вызывала к себе то сильный ее гнев, то искреннее, невольное, тайное сожаление.

В августе фельдмаршал Голицын опять посетил пленницу.

– Вы выдавали себя персианкой, потом родом из Аравии, черкешенкой, наконец, нашею княжной, – сказал он ей, – уверяли, что знаете восточные языки; мы давали ваши письма сведущим людям – они в них ничего не поняли. Неужели, простите, и это обман?

– Как это все глупо! – с презрительной усмешкой и сильно закашливаясь, ответила

Тараканова. – Разве персы или арабы учат своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему выучилась там сама. И почему должно верить не мне, а вашим чтецам?

Голицыну стало жаль долее, по пунктам, составленным Ушаковым, расспрашивать эту бедную, еле дышавшую женщину.

– Послушайте, – сказал он, смигивая слезы и как бы вспомнив нечто более важное и настоящее, – не до споров теперь... ваши силы падают... Мне не разрешено – но я велю вас перевести в другое, более просторное помещение, давать вам пищу с комендантской кухни... Не желаете ли духовника, чтобы... понимаете... все мы во власти божьей... чтобы приготовиться...

– К смерти, не правда ли? – перебила, качнув головой, пленница.

– Да, – ответил Голицын.

– Пришлите... вижу сама, пора...

– Кого желаете? – спросил, нагнувшись к ней, князь. – Католика, протестанта или нашей греко-русской веры?

– Я русская, – проговорила арестантка, – пришлите русского, православного.

«Итак, кончено! – мыслила она в следующую, как и прежние, бессонную ночь. – Мрак без рассвета, ужас без конца. Смерть... вот она близится, скоро... быть может, завтра... а они не утомились, допрашивают...»

Пленница привсталась, облокотилась об изголовье кровати.

«Но кто же я, наконец? – спросила она себя, устремляя глаза на образ Спаса. – Ужели трудно дать себе отчет даже в эти, последние, быть может, минуты? Ужели, если я не та, за какую себя считала, я не сознаюсь в том? из-за чего? из чувства ли омерзения к ним, или из-за непомерного гнева и мести опозоренной ими, раздавленной женщины?»

И она старалась усиленно припомнить свое прошлое, допытываясь в нем мельчайших подробностей.

Ей представилась ее недавняя, веселая, роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приемы, вечера. Придворные, дипломаты, графы, владетельные князья.

«Сколько было поклонников! – мыслила она. – Из-за чего-нибудь они ухаживали за мною, предлагали мне свое сердце и достоя-

ние, искали моей руки... За красоту, за умение нравиться, за ум? Но есть много красивых и умных, более меня ловких женщин; почему же князь Лимбургский не безумствовал с ними, не отдавал им, как мне, своих земель и замков, не водворял их в подаренных владениях? Почему именно ко мне льнули все эти Радзивиллы и Потоцкие, почему искал со мною встречи могучий фаворит бывшего русского двора Шувалов? Из-за чего меня окружали высоким, почти благоговейным почтением, жадно расспрашивали о прошлом? Да, я отмечена промыслом, избрана к чему-то особому, мне самой непонятному».

– Детство! в нем одном разгадка! – шептала пленница, хватаясь за отдаленнейшие, первые свои воспоминания. – В нем одном доказательства.

Но это детство было смутно и непонятно ей самой. Ей припоминалась глухая деревушка где-то на юге, в пустыне, большие тенистые деревья над невысоким жильем, огород, за ним – зеленые, безбрежные поля. Добрая, ласковая старуха ее кормила, одевала. Далее – переезд на мягко колыхавшейся, набитой ду-

шистым сеном подводе, долгий веселый путь через новые неоглядные поля, реки, горы и леса.

– Да кто же я, кто? – в отчаянии вскрикивала арестантка, рыдая и колотя себя в обезумевшую, отупелую голову. – Им нужны доказательства!.. Но где они? И что я могу прибавить к сказанному? Как могу отделить правду от навеянного жизнью вымысла? Может ли, наконец, заброшенное, слабое, беспомощное дитя знать о том, что от него со временем грозно потребуют ответа даже о самом его рождении? Суд надо мною насильный, неправый. И не мне помогать в разубеждении моих притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят, добивают меня. Не я виновна в моем имени, в моем рождении... Я единственный живой свидетель своего прошлого; других свидетелей у них нет. Что же они злобствуют? У господ немало чудес. Ужели он в возмездие слабой, угнетаемой не явит чуда, не распахнет двери этого гроба-мешка, этой каменной, злодейской тюрьмы!..

Миновали теплые осенние дни. Настал дождливый суровый ноябрь.

Отец Петр Андреев, старший священник Казанского собора, был образованный, начитанный и еще не старый человек. Он осенью 1775 года ожидал из Чернигова дочь брата, свою крестницу Варю. Варя выехала в Петербург с другою, ей знакомою девушкой, имевшей надежду лично подать просьбу государыне по какому-то важному делу.

Домишко отца Петра, с антресолями и с крыльцом на улицу, стоял в мещанской слободке, сзади Казанского собора и боком ко двору гетмана Разумовского. Дубы и липы обширного гетманского сада укрывали его черепичную крышу, простирая густые, теперь безлистные ветви и над крошечным поповским двором.

Овдовев несколько лет назад, бездетный отец Петр жил настоящим отшельником. Его ворота были постоянно на запоре. Огромный цепной пес, Полкан, на малейшую тревогу за калиткой поднимал нескончаемый, громкий лай. Редкие посетители, вне церковных треб имевшие дело к священнику, входили к нему

с уличного крыльца, бывшего также все время назаперти.

Письмо племянницы обрадовало отца Петра. В нем он прочитал и нечто необычайное. Варя писала, что соседняя с их хутором барышня незадолго перед тем получила из-за границы, от неизвестного лица при письме на ее имя, пачку исписанных листков, найденную где-то в выброшенной морем, засмоленной бутыли.

«Милый крестный и дорогой дядюшка, простите глупому уму, – писала дяде Варя, – прочли мы с этою барышней те бумаги и решили ехать, и едем; а к кому было, как не к вам, направить сироту? Год назад она схоронила родителя, а в присланных листках описано про персону такой важности, что и сказать о том – надо подумать. Сперва барышня полагала отправить ту присылку в Москву, прямо ее величеству, да порешили мы просто иначе, вы, крестный дяденька, знаете про всякие дела, всюду вхожи и везде вам внимание и почет; как присоветуете, тому и быть. А имя барышни Ирина Львовна, а прозвищем дочка бригадира Ракитина».

«Ветрогонки, вертухи! – заботливо качая головой, мыслил священник по прочтении письма. – Эк, сороки, обладили какое дело... затеяли из Чернигова в Питер, со мною советоваться... нашли с кем!..»

Каждый вечер, в сумерки, отец Петр, не зажигая свечи, любил запросто, в домашнем подряснике, прохаживаться по гладкому, холщовому половику, простланному вдоль комнат, от передней в приемную, до спальни и обратно. Он в это время подходил к горшкам гераний и других цветов, стоявших по окнам, ощищывал на них сухие листья и сорную травку, перекладывал книги на столах, поглядывал на клетку со спящим скворцом, на киот с образами и на теплившуюся лампадку и все думал-думал: когда наконец оживятся его горницы? когда явятся вертуньи?

Гости подъехали.

Дом священника ожил и посветлел. Веселая и разбитная крестница Варюша засыпала дядю вестями о родине, о знакомых и о путевых приключениях. Слушая ее, отец Петр думал:

«Давно ли ее привозили сюда, невзрачною,

курносою, молчаливою и дикою девочкой? А теперь – как она жива, мила и умна! Да и ее спутница... вот уж писаная красавица! что за густые, черные косы, что за глаза! И в другом роде, чем Варя, – задумчива, сдержанна, строга и горда!»

После первых радостных расспросов и возгласов дядя ушел на очередь ко всеобщей, а гости наскоро устроились на вышке, собрали узелки, сходили с кухаркой в баню и, возвратясь, расположились у растопленного камелька. Отец Петр застал их красными, в виде вареных раков, с повязанными головами и за чаем. Разговорились и просидели далеко за полночь.

– А где же, государыни мои, привезенное вами? – спросил, отходя ко сну, отец Петр. – Дело любопытное и для меня... в чем суть?

Девушки порылись в укладках и узелках, достали и подали ему сверток с надписью: «Дневник лейтенанта Концова».

XXVII

Отец Петр спустился в спальню, задернул оконные занавески, поставил свечу у изголовья, прилег, не раздеваясь, на постель, раз-

вернул смятую тетрадь синей, заграничной почтовой бумаги, с золотым обрезом, и начал читать.

Он не спал до утра.

История княжны Таракановой, принцессы Владимирской, известная отцу Петру по немногим, сбивчивым слухам, раскрылась перед ним с неожиданными подробностями.

«Так вот что это, вот о ком здесь речь! – думал он, с первых строк, о загадочной княжне, то отрываясь от чтения и лежа с закрытыми глазами, то опять принимаясь за рукопись. – И где теперь эта бедная, так коварно похищенная женщина? – спрашивал он себя, дойдя до ливорнской истории. – Где она влачит дни? И спасся ли, жив ли сам писавший эти строки?»

Сгорела одна свеча, догорала и другая. Отец Петр дочитал тетрадь, погасил щипцами мигавший огарок, прошел в другие комнаты и стал бродить из угла в угол по половику. Начиная чуть брезжить рассвет.

– Ах, события! ах, горестное сплетение дел! – шептал священник. – Страдалица! помоги ей господь.

Проснулся в клетке скворец и, видя столь необычное хождение хозяина, странно, пугливо чокнул.

«Еще всех разбудишь!» – решил отец Петр. Он на цыпочках возвратился в спальню, прилег и снова начал обсуждать прочтенное. Его мысли перенеслись в прошлое царствование, в море тайных и явных, ему, как и другим, известных событий. Священник заснул. Его разбудил благовест к заутрени! Сквозь занавески светило бледное туманное утро. Отец Петр запер в стол рукопись, пошел в церковь, отправил службу и возвратился черным ходом через кухню. Завидя крестницу с утюгом, у лешенки на вышку, он ее остановил знаком.

– А скажи, Варя, – произнес он вполголоса, – этот-то, писавший дневник... Концов, что ли... видно, ей жених?..

Варя послунила палец, тронула им об утюг, тот зашипел.

– Сватался, – ответила она, помахивая утюгом.

– Ну и что же?

– Ирина Львовна ничего... отец отказал.

– Стало, разошлось дело?

– Вестимо.

– А теперь?

– Что на это сказать? Сирота она, и рада бы, может... на своей ведь теперь воле... да где он?

– Корабль, видно, потонул? – произнес отец Петр.

– Где про то дознаться в нашей глуши! Вам бы, дяденька, проведать у моряков; не одни люди, погибли и графские богатства... Где-нибудь да есть же след...

– Кто твоей товарке выслал эти листки?

– Бог его ведает. С почты привезли повестку. Ариша и получила. На посылке была надпись – Ракитиной, там-то, а в записке на французском языке сказано, что рукопись найдена рыбаками в бутылки, где-то на морском берегу. В Ракитном Ирина нынче одна из всей родни осталась, как перст, ей и доставили посылку...

Священник, не подавая о том вида ни крестнице, ни гостье, пустился в усердные разведки. Его старания были неуспешны.

В морской коллегии оказалась только справка, что фрегат «Северный Орел», на ко-

тором везли из Италии больных и отсталых флотской команды и собственные вещи графа Орлова, действительно был унесен бурей в Атлантический океан, что его видели некоторое время за Гибралтаром, у африканских берегов, невдали от Танжера, и что, очевидно, он разбился и утонул где-либо у Азорских или Канарских островов. О судьбе же лейтенанта Концова и даже о том, ехал ли он именно на этом корабле и спасся ли при этом он или кто другой, не могло быть и справки, так как, по-видимому, весь экипаж утонул. Бывший же начальник эскадры Орлов и ее ближайший командир Грейг в то время находились в Москве, а еще спрашивать было некого. В иностранных газетах проскользнула только кем-то пущенная весть, будто какие-то моряки видели в океане разбитый корабль. Без команды, несшийся далее на запад, к Мадере и Азорским островам. Подойти к нему и его осмотреть не допустил сильный шторм.

«Жаль барыньку, – мыслил священник, глядя на Ракитину, – экая умница, да степенная! Богата, молода... Вот бы парочка тому-то, претерпевшему, спаси его господь!.. Нет, вид-

но, и он погиб с другими, был бы жив, отозвался бы на родину, товарищам по службе или родным...»

Он улучил однажды свободный час и разговорился с Ириной.

– Скажите, барышня, – произнес священник, – я слышал от племянницы о вашей печали, вас, очевидно, с расчетом развели враги, подставили вам другого жениха. Как это случилось? Почему пренебрегли Концовым?

– Сама не понимаю, – ответила Ирина, – мой покойный отец был расположен к Павлу Евстафьевичу, ласкал его, принимал, как доброго соседа, почти как родного. А уж я-то его любила, мыслью о нем только и жила.

– И что же? Как разошлось?

– Не спрашивайте, – произнесла Ирина, склонив голову на руки, – это такое горе, такое... Мы видались, переписывались, были встречи... я ему клялась искренно, мы только ждали минуты все сказать, открыть отцу...

Ракитина смолкла.

– Ужасно вспомнить, – продолжала она. – Отец, надо полагать, получил какое-нибудь указание, Концова могли ему чем-нибудь

опорочить – могли на него наклеветать... Вдруг – это было вечером – вижу запрягают лошадей. «Куда?» – спрашиваю. Отец молчит; выносят вещи, поклажу. У нас гостил родственник из Петербурга; мы втроем сели в карету. «Куда мы?» – спрашиваю отца. «Да вот, недалеко прокатимся», – пошутил он. А шутка вышла такая, что мы без остановки на почтовых проехали в другое имение за тысячу верст. Ни писать, ни иначе дать весть Концову мне долгое время не удавалось, за мной следили. И уже когда отец тяжело заболел в том имении, я отцу все высказала, молила его не губить меня, позволить известить Концова. Он горько заплакал и сказал: «Прости, Ариша, тебя и меня, вижу, жестоко обошли». «Да кто? кто? – спрашиваю, – ужли тот родной искал моей руки?» – «Не руки – денег искал, да боялся, что Концов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил на его письмо к тебе, наговорил на Концова и склонил меня, старого, увезти тебя. Прости, Аринушка, прости; бог покарал и его, недоброго; взял он у меня взаймы, но в Москве проигрался в карты и застрелился, – оставил письмо... вон оно, читай; на

дней его переслали мне». Отец недолго потом жил. Я возвратилась в Ракитное; Концова уже не застала там; умерла и его бабка. Я писала в Петербург, куда он выехал, писала и в чужие края, на флот; но тогда была война, письма к нему, очевидно, не доходили. Потом его плен в Турции... потом... вот моя судьба.

– Молитесь, добрая моя, молитесь, – произнес священник. – Горька ваша доля... Тут одно спасение и защита – господь.

Прошло еще несколько дней. Ракитина без устали собирала справки, хлопотала, но все безуспешно.

– Что же, Ирина Львовна, – сказал однажды отец Петр своей гостье, – ездите вы, вижу, все напрасно – то в одно, то в другое место, справляетесь, тревожитесь... Государыня, слышно, будет еще не скоро. Написали бы к начальству Павла Евстафьевича в Москву... не знает ли чего хоть бы граф Орлов?

– Покорно благодарствую, батюшка! – ответила, с поклоном, Ракитина. – Помолитесь, не узнаем ли чего о том корабле без команды? Не прибило ли его куда-нибудь и не спасся ли на нем хоть кто-нибудь, в том числе и Кон-

цов... Вчера вот граф Панин обещал разведать через иностранную коллегия, в Испании и на Мадере; Фонвизин, писатель, тоже вызвался... не будет ли вести, обожду еще, а то пора бы и домой, — да как ехать, без успеха... Этот корабль, этот призрак все у меня перед глазами...

XXVIII

Вечером первого декабря 1775 года была особенно ненастная и дождливая погода. Снег, выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи. Экипажи и редкие пешеходы уныло шлепали по воде. Была буря. Она ревела над домом священника, стуча ставнями и раскачивая у забора огромные деревья в смежном, гетманском саду. Нева вздулась. Все ждали наводнения. С крепости изредка раздавались глухие пушечные выстрелы.

Отец Петр сидел сумрачный на вышке у барышень. Разговор под вой и рев ветра не клеился и часто смолкал. Варя гадала на картах; Ирина, с строгим и недовольным лицом, рассказывала, какие алчные пиявки все эти секретари в иностранной коллегии, переводчики и даже писцы; несмотря на приказ и

личное внимание графа Панина, они все еще не снеслись с кем надо в Испании и на островах, составляли проекты бумаг, переписывали их, переводили и вновь переписывали, лишь бы тянуть.

– Да вы бы смазочку... через прислугу, или как, – сказал священник.

– Давали и прямо в руки, – ответила Варя за подругу.

Та с укоризной на нее взглянула.

– Ох, уж эти волостели-радетели! – произнес отец Петр. – Пора бы из Москвы обратно государыне; плохо без нее.

Дождь наискось хлестал в окна, как град. Измокший и озябший сторожевой пес забрался в конуру, свернулся калачом и молчал, как бы сознавая, что при такой буре и пушечных выстрелах всем, разумеется, не до него.

Вдруг после одного из выстрелов с крепости пес отрывисто и особенно злобно залаял. Сквозь гул ветра слышался стук в калитку. Девушки вздрогнули.

– Аксинья спит, – сказал отец Петр о кухарке. – Кому-то, видно, нужно... с крыльца не дозвонились.

– Я, дяденька, отворю, – сказала Варя.

– Ну, уж по твоей храбрости, лучше сиди.

Священник, спустясь со свечой в сени, отпер уличную дверь. Вошел несколько сморщенный на крыльце, в треуголке и при шпаге, невысокий, толстый человек, с красным лицом.

– Секретарь главнокомандующего, Ушаков! – сказал он, встряхиваясь. – Имею к вашему высокопреподобию секретное дело.

Священник струхнул. Ему вспомнились бумаги, привезенные Ракитиной. Он запер дверь, пригласил незнакомца в кабинет, зажег другую свечу и, указав гостю стул, сел, готовясь слушать.

– Проповеди-с Массильона? – произнес Ушаков, отирая окоченелые руки и присматриваясь к книге знаменитых «Sermons»[33], лежащей у отца Петра на столе. – Изволите хорошо знать по-французски?

– Маракую, – ответил священник, мысля: «Что ему в самом деле до меня и в такой поздний час?»

– Вероятно, батюшка, изволите знать и по-немецки? – спросил Ушаков. – А кстати, мо-

жет быть, и по-итальянски?

– По-немецки тоже обучался; итальянский же близок к латинскому.

– Следовательно, – продолжал гость, – хоть несколько и говорите на этих языках?

«Вот явился прецептор, экзаменовать!» – подумал священник.

– Могу-с, – ответил он.

– Странны, не правда ли, отец Петр, такие вопросы, особенно ночью? – произнес гость. – Ведь согласитесь, странны?

– Да, таки, позднеенько, – ответил, зевнув и смотря на него, священник.

Ушаков переложил ногу на ногу, вскинул глаза на стену, увидел в рамке за стеклом портрет опального архиерея, Арсения Мацевича, и подумал: «Вот что! сочувственник это-му вралю... надо быть настойчивее, резче!»

– Ну, не буду длить, вот что-с, – объявил он. – Его сиятельству, господину главнокомандующему, благоугодно, чтобы ваше высокопреподобие, взяв нужные святости, тотчас и без всякого отлагательства потрудились отправиться со мной в одно место... Там иностранка-с... греко-российской веры...

– В чем же дело?

– Нужно совершение двух таинств.

– Каких именно?

– А вам, извините, зачем знать? разве нужно заранее? – возразил Ушаков. – Тут не должно быть колебаний, повеление свыше.

– Необходимо подготовиться, – сказал священник, – что именно ранее?

– Сперва крещение, потом исповедь с причастием, – ответил Ушаков.

– И теперь же, ночью?

– Так точно-с, карета готова.

– Позвольте взять причетника?

– Велено, слышите ли, без свидетелей.

– Куда же это, смею спросить?

– Ответить не могу. Извольте увидеть после, а теперь одно – беспродлительно и в полном секрете! – заключил Ушаков, кланяясь как-то кверху, хотя, в знак просьбы, обеими руками прижимая к груди обрызганный дождем треугол.

– Могу объявить домашним, успокоить их?

Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал головой.

Священник взял крест и книги, крикнул

на вышку: «Варенька, запри дверь!» – и когда племянница спустилась в сени, карета, гремя, уже катилась по улице. Подъехав к церковной ограде, отец Петр разбудил привратника, вошел в церковь и взял дароносицу.

XXIX

Путники остановились у дома главнокомандующего Голицына. Князю доложили о прибытии священника. Тот его пригласил в спальню, где уже был в халате.

– Извините, батюшка, – сказал, наскоро одеваясь, главнокомандующий. – Дело важное, воля высшего начальства... Я сперва должен взять с вас клятвенное обещание, что вы вечно будете молчать о слышанном и виденном в предстоящем деле. Клянетесь ли?

– Как приносящий бескровную жертву, – отвечал отец Петр, – я буду верен монархине и без клятвенных слов.

Голицын было замаялся, но не настаивал. Он сообщил священнику сведения, добытые о пленнице.

– Знали ль вы о ней что-нибудь прежде? – спросил князь.

– Кое-что дошло по молве...

– Известно ли вам, что она теперь в Петербурге?

– Впервые слышу.

Голицын сообщил о тревоге государыни, об иностранных враждебных партиях, о поддельных завещаниях.

– Доктор более не ручается за ее жизнь, – прибавил фельдмаршал, – не только дни, часы ее сочтены.

Отец Петр перекрестился.

– Она желает подготовиться, – продолжал князь, подбирая слова, – не мне вас учить. Вы, как добрый пастырь, доведете ее, вероятно, до полного раскаяния и сознания, кто она, и если обманно звалась принятым именем, то узнаете, кто ее тому научил... исполните ли?

Священник медлил ответом.

– Даете ли слово помочь правосудию?

– Долг пастыря и свои обязанности знаю, – покашливая, сухо ответил отец Петр.

– Можете ехать, – сказал, кланяясь, князь, – вас проводят, куда нужно; а меня простите за тревогу в такое время.

Карета с священником и Ушаковым направилась к крепости. У дома обер-коменданта

они заметили другой экипаж. Духовника ввели в особую комнату. Там его встретил генерал-прокурор, князь Вяземский. Рядом стояли рослый, бравый и румянолицый обер-комендант крепости Чернышев и разряженная, еще моложавая жена последнего.

– Готовы ли все? – спросил Вяземский, оглядываясь.

– Готово, – ответила, несмело приседая, в шуршащих фижменах, обер-комендантша.

– Милости просим, – обратился князь Вяземский к священнику.

Все вошли в соседнюю комнату. Там уже горели в высоких поставцах свечи; между ними стояла купель, и какая-то, в мещанской шубейке, женщина держала что-то завернутое в белое.

– Приступайте, батюшка, – сказал Вяземский, указывая на купель и на то, что держала женщина.

Отец Петр надел ризу, взял поданное Чернышевым кадило, раскрыл книгу и начал крещение. Восприемниками были разряженная, метавшая жеманные взгляды обер-комендантша и сам генерал-прокурор. Имя но-

ворожденному дали Александр. Обряд был кончен. Обер-комендантша все металась с ребенком на руках, глазами и плечами усиливаясь обратить внимание князя на себя и на свое шуршавшее платье.

– Чье дитя? – спросил вполголоса священник, почтительно склоняя крест к подошедшему восприемному отцу.

– Как записать в книгу? – спросил отец Петр. – Кто родители?

– Да разве это непременно нужно? – недовольно спросил генерал-прокурор.

– Как повелите... По долгу обряда... мало ли что в будущем... мы должны.

– Запишите, – сказал князь Вяземский. – Александр Алексеев, сын Чесменский.

Священник молча, вздрагивавшей рукой, занес это имя в книгу крещаемых.

– А теперь другая треба... вот ваш жога-тый! – сказал со вздохом князь Вяземский, указывая духовнику на вытянувшегося во фронт обер-коменданта. – Надеюсь, все исполнится, как повелено.

С этими словами он вышел и уехал.

Отец Петр, с дароносицей у груди, пошел

за Чернышевым. Его сердце сильно забилося, когда они через внутренний мостик вступили в особый, со всех сторон огражденный двор; он понял, что это был роковой Алексеевский равелин...

Чернышев и его спутник взошли на невысокое крыльцо с длинным полуосвещенным коридором, приблизились к небольшой двери.

«Она здесь», – шепнуло сердце священнику. За дверью оказалась невысокая опрятная комната. Часовых уже там не было. Свеча у кровати слабо озаряла из-за особой тафтяной заставки остальную часть комнаты. Воздух был спертый, с легкой примесью запаха лекарств и как бы ладана. Священник огляделся и молча ступил за ширму.

Больная неподвижно лежала на кровати, но была в памяти.

Она, медленно взглядываясь в вошедшего, узнала, по его одежде, священника и, тихо вздохнув, протянула ему руку.

– Очень, очень рада, святой отец! – проговорила она по-французски. – Понимаете меня? Может быть, вам доступнее немецкий

язык?

– Oui, oui comme il vous plait![34] – неумело выговаривая, ответил отец Петр, вздрогнув от этого грудного, разбитого голоса.

– Я готова, спрашивайте, – проговорила арестантка. – Помолитесь за меня...

XXX

Священник бережно положил на стол дароносицу, присел на стул у кровати, оправил густую гриву своих волос и, разглядев образок у изголовья больной, тихо нагнулся к ней.

– Ваше имя? – спросил он.

– Princesse Elisabeth...[35]

– Заклинаю вас, говорите правду, – продолжал отец Петр, подбирая французские слова. – Кто ваши родители и где вы родились?

– Клянусь всем, святым богом клянусь, не знаю! – ответила, глухо кашляя, пленница. – Что передавала другим, в том была сама убеждена.

На новые вопросы, чуть слышно, упавшим голосом, она еще кое-что добавила о своем детстве, коснулась юга России, деревушки, где жила, Сибири, бегства в Персию и пребывания в Европе.

– Вы христианка? – спросил священник.

– Я крещена по греко-российскому обряду и потому считаю себя православною, хотя доныне, вследствие многих причин, была лишена счастья исповеди и святого причастия... Я много грешила; искавши выхода из своего тяжелого положения, сближалась с людьми, которые меня только обманывали... О, как я вам благодарна за посещение!

– У вас найдены списки с духовных заветаний... от кого вы их получили и кем, откройте мне и господу сил, составлен ваш манифест к русской эскадре?

– Все это, уже готовое, мне прислано от неизвестного лица, – проговорила больная. – Тайные друзья меня жалели... старались возвратить мои утерянные права.

«Что же это? – раздумывал, слушая ее, изумленный духовник. – Все тот же обман или правда? и если обман, то в такое мгновение!»

– Вы на краю могилы, – произнес он дрогнувшим голосом, – тлен и вечность... покайтесь... между нами один свидетель – господь.

Исповедница боролась с собой. Ее грудь тя-

жело дышала. Рука судорожно стискивала у рта платок.

– В ожидании божьего праведного суда и близкой кончины, – сказала она, обратя угасший взгляд на стену к образку, – уверяю и клянусь, все, что я сообщила вам и другим, – истина... Более не знаю ничего...

– Но ведь это невозможно, – возразил с чувством отец Петр, – то, что вы передаете, так мало вероятно.

Больная, как бы от невыносимого страдания, закрыла глаза. Слезы покатались по ее бледным, страшно исхудалым щекам.

– Кто были ваши соучастники? – спросил, помедлив, священник.

– О, никаких! Пощадите... и если я, слабая, гонимая, без средств...

Княжна не договорила. Снова страшно закашлявшись, она вдруг приподнялась, ухватилась за грудь, за кровать и в беспомощности упала. Обморок длился несколько минут. Отец Петр, думая, что она умирает, набожно шептал молитву.

Больная очнулась.

– Успокойтесь, придите в себя, – сказал свя-

ценник, видя, что ей лучше.

– Не могу более, оставьте, уйдите! – проговорила больная. – В другой раз... дайте отдохнуть...

– Вашего сына сейчас окрестили, – объявил, желая ее ободрить, священник, – поздравляю. Господь милосерден, еще будете жить... для него.

Чуть заметная улыбка скользнула по сжатым, запекшимся губам арестантки. Глаза смутно глядели в сторону, вверх, куда-то мимо этой комнаты, крепости, мимо всего окружавшего, далеко...

Отец Петр осенил больную крестом, еще постоял над нею, взял дароносицу и, отложив таинство причастия, вышел.

– Ну, что? – спросил его в коридоре обер-комендант. – Исповедали, приобщили?

Священник, склонив голову, молча поклонился обер-коменданту, сел в карету и уехал из рavelина.

Утром второго декабря его опять пригласили со святыми дарами в крепость. Арестантке стало хуже.

– Одумайтесь, дочь моя, облегчите душу

покаянием, – увещевал священник. – Заклинаю вас богом, будущею жизнью!

– Я грешна, – ответила, уже не кашляя и как-то странно успокоясь, умирающая, – с юных лет я гневилла бога и считаю себя великою, нераскаянною грешницею.

– Разрешаю твои прегрешения, дочь моя, – произнес, искренне молясь и крестя ее, священник, – но твое самозванство, вина перед государыней, сообщники?

– Я русская великая княжна! Я дочь покойной императрицы! – с усилием прошептала коснеющими устами пленница.

Священник нагнулся к ней, думая приступить к причастию. Арестованная была неподвижна, как бы бездыханна.

XXXI

Отец Петр в сильном смущении возвратился домой.

«Да уж и впрямь самозванка ли она? – мыслил он. – Все может утверждать человек из личных выгод; но умирающий... при последнем вздохе... и после таких лишений, почти пытки!.. Что, если она неповинна, не обманщица? Помнит детство, твердит одно...

Ведь она здесь и в самом деле пока единственный свой свидетель. Ее ли вина, если ее доказательства шатки, даже ничтожны».

Священник вошел к себе в кабинет. Девушек, как он узнал, не было дома; он растопил печь, запер дверь, вынул дневник Концова, снова посмотрел рукопись, вложил ее в чистый лист бумаги, перевязал его шнурком и запечатал, надписав на оболочке: «Вскрыть после моей смерти». Этот сверток он положил на дно сундука, где хранились его другие сокровенные бумаги и рукописи, и, едва замкнул сундук, в дверь постучались.

– Кто там?

– Свои.

Вошла племянница, за нею стояла Ракитина.

– Что это, дяденька, с вами? – спросила, вглядываясь в священника, Варя. – Вы встревожены, другой день куда-то ездите... где были?..

Ирина смотрела также вопросительно. «Уж не получены ли какие вести для меня?» – мыслила она.

– Дело постороннее, не по вашей части! И

вы меня, Ирина Львовна, великодушно простите, – обратился священник к Ракитиной, – времена смутные... привезенную вами рукопись опасно держать в доме... вы собираетесь уехать, но и в деревне не безопасно... уж извините старику...

Ирина побледнела.

– Разные ходят слухи, не учинили бы розыска, – продолжал отец Петр, – пеняйте, сударыня, на меня, только я ваши листки...

– Где тетрадь? Неужели сожгли? – вскрикнула Ракитина, взглядывая в растопленную печь.

Отец Петр молча поклонился. Ирина всплеснула руками.

– Боже, – проговорила она, не сдержав хлынувших слез, – было последнее утешение, последняя память – и та погибла. С чем уеду?

Варя с укором взглянула на дядю.

– После, дорогая барышня, со временем все узнаете, теперь лучше молчать, – сказал решительно отец Петр. – Пути божии неисповедимы, враг же сеет незнаемое... молитесь, памятуя господа. Он воздаст.

Священника не оставили в покое. В тот же день его снова пригласили к главнокомандующему.

– Дознались ли вы чего-нибудь от арестованной? – спросил Голицын.

– Простите, ваше сиятельство, – ответил отец Петр, – тайна исповеди... не могу...

Голицын смешался. «Какие поручения! – подумал он, краснея. – И все эти советники... Орлову не сидится; плетет, видно, мутьян в Москве, а ты спрашивай...»

– Но, батюшка, на это воля свыше, – сказал Голицын.

– Не могу, ваше сиятельство, против совети.

Голицын шевелил губами, не находя выхода из затруднения.

– Да кто же, наконец, она? – произнес он, стараясь придать себе грозное, решительное выражение. – Ведь это, батюшка, государственное, глубокой важности дело... Согласитесь, я должен же донести, взыщется... ведь ответчик за спокойствие и за все – я... я один...

– Одно могу доложить вашему княжескому

сиятельству, – проговорил священник, – пока жив, сдержу клятвенное слово, потребованное вами.

Фельдмаршал насторожил уши.

– Никому не пророню узнанного на духу, – продолжал отец Петр, – вы сами взяли с меня обет молчания, но я могу сообщить вам, князь, лишь мою собственную догадку. Много об арестованной выдуманно, приплетено... А что, если...

– Говорите, говорите, – сказал фельдмаршал.

– Что, если арестованная не повинна ни в чем! – произнес священник. – Ведь тогда за что же она все это терпит?

Если бы гром в это мгновение разразился над фельдмаршалом – он менее озадачил бы его.

– Вы хотите сказать, что она не имела сообщников, не злоумышляла? – проговорил он. – Да ведь если, сударь, так, то она и не самозванка, понимаете ли, а прирожденная, настоящая наша княжна... Неужели возможно это, хотя на миг, допустить?

Отец Петр, склоняясь головой на рясу, мол-

чал.

– Вы ошибаетесь! Сон и бред! – вскричал фельдмаршал, хватаясь за звонок. – Лошадей! – сказал он вошедшему ординарцу. – Сам попытаюсь, еще не утеряно время, погляжу.

XXXII

«Ох, и я грешник в указаниях о ней! – мыслил Голицын, едучи в крепость. – Поддавался в выводах другим, торопился без толку, льстил догадкам и соображениям других!»

Нева, поверх льда, была еще затоплена остатками бывшего накануне наводнения. Карета Голицына с трудом пробиралась между незамерзших луж.

Обер-коменданта он не застал дома. Тот с ночи находился в рavelине. У крыльца вертелся с бумагами Ушаков. Он подошел к князю и начал было:

– Так как вашему сиятельству небезызвестно, расходы на оную персону...

– Ведите меня к арестантке, – сказал князь дежурному по караулу, обернув спину к Ушакову. – Чем занимаются! Что больная? В памяти еще?

– Кончается, – ответил дежурный.

Голицын перекрестился. У входа в равелин его встретил обер-комендант Чернышев.

Князь не узнал его. Бравый, молодежавший фронтовик-служака, Чернышев, не смущавшийся на своей должности ничем, был взволнован и сильно бледен.

– Бедная, – прошептал фельдмаршал, идя с Чернышевым, – ужели умрет?.. Был доктор?

– Неотлучно при ней, с вечера, – ответил Чернышев, – недавно началась агония... бредит...

– О чем бред? Говорите! – опять всполошился князь, склоняя голову к Чернышеву. – Были вы у нее, слышали? Бред о чем?

– Заходил несколько раз, – ответил обер-комендант. – Твердит непонятные слова – слышатся между ними: Орлов... принцесса... mio caro, gran Dio...[36]

– Ребенок? – спросил, смигивая слезы, князь.

– Жив, ваше сиятельство, – на руках кормилки... супруга... жена-с хорошую нашла.

– Заботьтесь, сударь, чтоб все было, понимаете, чтоб все, – внушительно и строго проговорил фельдмаршал, подыскивая в голосе

веские, начальнические звуки, – по-христиански, слышите ли, вполне... И на случай, здесь же... в тайности, понимаете ли, и без огласки... ведь человек тоже, страдалица.

Князь еще хотел что-то сказать и всхлипнул. Горло ему схватили слезы. Он качнул головой, оправился и, по возможности бодрясь, твердо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул на хмурое серое небо, заволоченное обрывками облаков.

Над равелином, в вихре падавшего снега, беспорядочно вились галки. Полусорванные смолкшею двухдневною бурей, железные листы уныло скрипели на ветхой крыше. Фельд-маршал, кутаясь в соболий воротник, сел в карету и крикнул:

– Домой!

«В прежние наводнения, – рассуждал он, – не раз заливало казематы; теперь господь помиловал ее, бедную.

Да, по всей видимости, – мысленно прибавил он себе, – несчастная – игралище чужих, темных страстей. Самозванка ли, трудно решить. Так ее величеству и отпишу... ее смерть падет не на наши головы...»

Карета быстро неслась по свежему, падавшему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном, щегольские экипажи и одиноких пешеходов, озабоченно шагавших сквозь снежную завихруху.

Мелькали те же дома и церкви, те же мосты и вывески, к которым старый князь, с хлопотливою, деловою озабоченностью начальника северной резиденции, приглядывался столько лет. Вот и дом полиции, у Зеленого моста, на Невском, и собственная квартира фельдмаршала. Тяжело было на его душе.

«А что, если она и впрямь не самозванка?» – вдруг подумал фельдмаршал, завидев у моста на Мойке место бывшего Елисаветина Зимнего дворца и далее, по Невскому, Аничковы палаты Разумовского.

Голицыну вспомнилось прошлое царствование, тогдашние сильные люди, связи, его собственные молодые годы и все, что унеслось с теми невозвратными годами и людьми.

Вечером, четвертого декабря 1775 года,

княжна Тараканова, dame d'Azow, Али Эмите и принцесса Владимирская – скончалась. Ее последних минут не видел никто. К ней вошли, – она лежала тихо, будто заснула. Неприкрытые тусклые зрачки были устремлены к образку Спаса.

На следующий день сторожившие ее гарнизонные инвалиды Петропавловской крепости вырубили, при помощи ломов и кирок, на внутреннем, обсаженном липками дворике Алексеевского рavelина глубокую яму и тайно от всех зарыли в ней тело умершей, закидав ее мерзлою землей. Инвалидный вахтер Антипыч сам от себя посадил над этой могилой березку... Прислугу арестантки, горничную Мецеде и шляхтича Чарномского, по довольном опросе и взятии с них клятвы о вечном молчании, отпустили в чужие края.

Отец Петр проведал о кончине арестантки по слезам и некоторым намекам кумы, оберкомендантши. Он сказал себе: «Узницы тьмы, долгою нощию связаны, успокоил вы господь!» – и без огласки отслужил у себя в церкви панихиду по усопшей рабе божией Елиса-

вете, причем на проскомидии, в помин ее души, вынул частичку из просфоры.

– По ком это, крестный, вы служили панихиду? – спросила священника Варя, увидев у него на столе эту просфору.

– Неизвестная тебе особа, многострадальная!

– Да кто она?

– *Аз раб и сын рабыни твоя, – ответил загадочно отец Петр, – все мы под властью божьей, мудрые и простые, рабы и цари... сокровенная притчей изыщет и в гадании притчей поживет!..*

Фельдмаршал Голицын долго обдумывал, как сообщить императрице о кончине Таракановой. Он взял перо, написал несколько строк, перечеркнул их и опять стал соображать.

«Э, была не была! – сказал он себе. – С мертвой не взыщется, а всем будет оправдание...»

Князь выбрал новый чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и, тщательно выводя слова неясного, старческого почерка, написал:

«Всклепавшая на себя известное вашему величеству неподходящее имя и природу, сего четвертого декабря умерла нераскаянной грешницей, ни в чем не созналась и не выдала никого».

«А кто из высших проведает о ней и станет лишнее болтать, – мысленно добавил Голицын, кончив это письмо, – можно пустить слух, что ее залило наводнением... Кстати же, так стреляли с крепости и разгулялась было Нева...»

Так и сложилась легенда о потоплении Таракановой.

Пробившись без успеха еще некоторое время по присутственным местам, Ирина Львовна Ракитина убедилась в безнадежности своего дела и уехала с Варей обратно на родину. В Москве она пыталась лично подать прошение императрице. Это было в том же декабре 1775 года, накануне возвращения Екатерины в Петербург. Прошение Ирины было благосклонно принято, но в суете придворных сборов, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом о нем забыли. По нем не последовало никакое-

го решения и ответа. Хотела Ирина в Москве навестить графа Орлова – ей это отсоветовали.

Возвратясь в Петербург, императрица подробнее расспросила Голицына о кончине узницы и, как старик ни старался смягчить свой рассказ, поняла, какая драма постигла ослепленную жертву чужих видов.

– Пересолили, князь, и мы с тобой! – сказала Екатерина. – Отчего ты не был откровеннее со мной?

«Я кругом виновата, – решила Ирина, после мучительных сомнений и раздумья, – через меня Концов бросил родину, через меня впал в отчаянье, пытался помочь той несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу, мне вымолить у бога прощение всем греховным в этом деле. Я одинока, нечего более в мире ждать».

Ракитина в 1776 году оставила свое поместье на руки старого отцовского слуги. В сопровождении Вари, помолвленной в том году за учителя московской семинарии, она уехала в небольшой женский монастырь, бывший

невдали от Киева, и поступила туда послушницей, в надежде скоро принять окончательно постриг. Сколько Варя ни разубеждала ее, со слезами и заклинаниями, Ирина, надев рясу и клобук, твердила одно:

– Я виновата, мне молиться за него и вечно страдать...

XXXIII

Мольбы, однако, не шли на мысли Ирины. Прошло пять лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Ее приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Варе, отец Петр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила. Он ей очень обрадовался, стал ее расспрашивать.

– Неужели все еще ждете, надеетесь, что ваш жених жив? – спросил он. – Столько лет напрасно тревожитесь; был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь, не говорю вам – знакомым, родным?

– Не говорите, батюшка, – возразила Ирина, отирая слезы, – все отдам, всем пожертвую.

– Но это, сударыня моя, даже грешно... ис-

пытываете провидение, язычески гадаете.

– Что же мне делать? – произнесла Ирина. – Вижу тяжелые, точно пророческие сны... Один, особенно, – ах, сон!.. недавно снилось, да подряд несколько ночей...

Ирина смолкла.

– Что снилось? Говорите, откройтесь.

– Снилось, будто он подошел к моему изголовью такой же, как я его видела у нас в деревне, в последний раз, – статный, красивый, добрый, и говорит: «Я жив, Аринушка, я там, где шумит вечное море... смотрю на тебя утро и вечер с берега, жду, авось меня найдешь, освободившись...» Ах, научите, где искать, кого просить? Государыню снова просить не решаюсь...

– Думал я о вас, – сказал отец Петр, – здесь некому, кроме одного лица... А это лицо – государь цесаревич Павел Петрович... Он, гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей, один может. Лучшего пособника, коли он только снизойдет к вам, в вашем деле не найти... Тут все: и ум, направленный к благому и таинственному, и связи с могучими и знатными филантропами. А доброта? А

рыцарская честность? Это не Тиверий, как о нем говорят враги, а будущий благодетельный Тит...

– Да, я слышала, – ответила Ирина.

– Слышали? так поезжайте же к нему на мызу, ищите аудиенции.

Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами, дал ей письмо к своей крестнице, кастелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кибитку и через Царское село отправилась на собственную мызу великого князя – «Паульслуст», впоследствии Павловск.

Кастелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она, приютив ее у себя, показала ей диковинки великокняжеского сада и парка, домики Крик и Крах, хижину Пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты.

Было условлено, что Ирина сперва все изложит ближней фрейлине цесаревны, недавней смолянке, Катерине Ивановне Нелидовой.

– Когда же к Катерине Ивановне? – спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания.

– Занята она, надо подождать, на клави-
кордах все любимую пьесу цесаревича, ка-
кой-то гимн изучает для концерта.

Ирина шла однажды с своей хозяйкой по
парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу по-
казалась белокурая дама, в голубом, без
фижменов, шелковом платье.

– Кто это? – спросила Ирина.

– Цесаревна, – ответила чуть слышно, низ-
ко кланяясь, кастелянша.

Ракитина обмерла. Двадцатидвухлетняя,
стройная, несколько склонная к полноте кра-
савица, великая княгиня Мария Федоровна
прошла мимо Ирины, близорукими, несколь-
ко смущенными глазами с удивлением огля-
дев ее монашеский наряд. За цесаревной, со
свертком нот и скрипкой под мышкой, шел
худой и высокий рябоватый мужчина, в тем-
ном кафтане и треуголе.

– А это кто? – спросила Ракитина, когда
они прошли.

– Паэзиелло, – ответила кастелянша, – учи-
тель музыки ее высочества.

Ирина с восхищением разглядела редкую
красоту цесаревны, нежный румянец ее лица

и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах, вправленные для сохранения свежести в особые, крохотные стеклянные бутылочки с водой.

Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них, невысокая, худенькая и подвижная брюнетка, поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз. Она весело болтала с сопутницей. То была Нелидова. Мило прищурясь сделавшей ей книксен толстой кастелянше, она ей сказала с ласковой улыбкой:

– Все некогда было, Анна Романовна, – все гимн... завтра утром...

«Итак, завтра», – подумала Ирина, восторженным взором провожая чудных, нарядных фей, так неожиданно мелькнувших перед нею в парке.

В назначенный час Анна Романовна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила ее в небольшой приемной.

– Катерина Ивановна, видно, еще во дворце, у великой княгини, – сказала она, – подождем, голубушка, здесь; скиньте ваш клобу-

чок... жарко.

– Ничего, побуду и так...

Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены.

– Это все работа великой княгини, – произнесла кастелянша. – Взгляните, матушка, что за мастерица, как рисует по фарфору... А вон в черном шкапчике работа из кости; сама режет на камнях, тушует по золоту ландшафты, точит на станке. А как любит Катерину Ивановну, и все ей дарит. Это вот ею вышитая подушка. Смотрите, какая роза, а это мирт, что за тонкость узора, красок. Точно нарисовано.

Ирина не отзывалась.

– Что молчите, милая? О чем думаете?

– Роза и мирт, – произнесла, вздохнув, Ирина, – жизнь и смерть... Чем-то кончатся мои поиски и надежды?

Из комнат Нелидовой в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий, отлично выработанный голос пел, под эти звуки, торжественный и грустный гимн из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде».

– Ну, Арина Львовна, уйдем, – сказала ка-

стелянша, – видно, опоздали; Катерина Ивановна за музыкой, а в это время никто ее не беспокоит. Того и гляди, у нее теперь и великая княгиня.

Ирина, дав знак спутнице, чтоб та несколько обождала, с замиранием сердца дослушала знакомый ей, молящий гимн Ифигении. Она сама когда-то в деревне пела его Концову.

«О, если бы я так могла их просить! Но когда это будет? У них свои заботы, им некогда!» – подумала она, чувствуя, как ее душили слезы.

– Идем, идем, – торопила Анна Романовна.

Гости тихо вышли в сени, на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула.

– Куда же вы это? – раздался над их головами веселый оклик.

Они подняли глаза. Из растворенного окна на них глядела радушно улыбающаяся, черноглазая Нелидова.

– Зайдите, я совершенно свободна, – сказала она, – пела в ожидании вас, зайдите.

Гости возвратились.

Кастелянша представила Ракитину. Нелидова приветливо усадила ее рядом с собой.

– Так молоды и уже в печальном уборе! – произнесла она. – Говорите, не стесняясь, слушаю.

Ирина, начав о Концове, перешла к рассказу о плене и заточении Таракановой. С каждым ее словом, с каждой подробностью печального события оживленное и обыкновенно веселое лицо Нелидовой становилось пасмурней и строже.

«Боже, какие тайны, какая драма! – мыслила она, содрогаясь. – И все это произошло в наши дни! Точно мрачные, средневековые времена, и никто этого не знает».

– Благодарю вас, мамзель Ирен, – сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину, – очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я все сообщу их высочествам... И я убеждена, что государь-цесаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести... все для вас сделает. Но кого он должен просить?

– Как кого? – удивилась Ирина.

– Видите ли, как бы вам сказать? – произ-

несла Нелидова. – Государь-наследник не мешается в дела правления; он может только ходатайствовать, просить... от кого зависит ваше дело?

– Князь Потемкин мог бы, – ответила Ирина, вспомнив наставления отца Петра, – этому сановнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов, быть может, снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на островах атлантических дикарей.

– Вы долго здесь пробудете? – спросила Нелидова.

– Мать-игуменья обители, где я живу, давно отзывает, ждет. Мои поиски все осуждают, именуют грехом.

– Как же и куда вам дать знать?

Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгиней.

– Я так исстрадалась и столько ждала, – проговорила она, подавляя слезы, – не пишите мне ничего, ни слова! а вот что... вложите в пакет... если удача – розу, неудача – миртовый листок.

Нелидова обняла Ирину.

– Все сделаю, все, – ласково сказала она. – Попрошу великую княгиню, государя-цесаревича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу.

XXXIV

Вестей не приходило. Наступил 1781 год. С удалением князя Григория Орлова и с падением влияния воспитателя цесаревича, Панина, новые советники императрицы Екатерины, с целью устранить от нее влияние сына, Павла Петровича, подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу, для ознакомления с чужими странами, в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом в монастыре из писем Вари. Их высочества оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября, под именем графа и графини Северных, они в украинском городке Василькове проехали русскую границу с Польшей. Здесь фрейлину Нелидову ожидала подъехавшая накануне по киевскому тракту некая молодая, в черной монашеской рясе, особа. Она была введена в помещение Катерины Ивановны. Туда же, через сад, как бы невзначай, пока перепрягали ло-

шадей, вошли граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли – граф сильно бледный, графиня в слезах.

– Бедная Пенелопа, – сказал Павел Нелидовой, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья темную фигуру Ирины.

Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по отъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь.

– Роза, роза!.. Не мирт... – загадочно для всех крикнула незнакомке Нелидова по-французски, маша ей, как бы в одобрение, из кареты платком.

«Действительно, плачущая Пенелопа!» – подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную темную фигуру Ирины.

Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили новый, 1783 год в Венеции.

Восьмого января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском

плаще «табарро», а великая княгиня в нарядной венецианской мантилье и в «цендаде» посетили утром картинную галерею и замок дожей, а вечером – театр «Пророка Самуила», где для высоких гостей давали их любимую оперу «Ифигения в Тавриде». Сам знаменитый маэстро-композитор Глюк управлял оркестром.

После оперы публика повалила на площадь святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный народный маскарад. Площадь кипела разнообразною, оживленною толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленный для них палаццо, гулял по площади в маске, в стороне от других, беседуя с каким-то высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе. Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни. Шум и говор пестрой толпы не развлекал собеседников.

– Кто это? – спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный шедшего рядом с ним незнакомца.

– Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов...

Павел был взволнован и не в духе. Он хотел подшутить над незнакомцем, но вспомнил одно обстоятельство и невольно смутился.

– Вы – чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет, – произнес он любезно, хотя с нескрываемой усмешкой в голосе. – Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью. Это, без сомнения, шутка с вашей стороны, и я, разумеется, этому не верю! – прибавил он, стараясь быть любезным. – Смешно верить сказкам... Но есть сказки и сказки, поймите меня... Хотелось бы вас спросить об одном явлении...

– Приказывайте, слушаю, – ответил незнакомец.

– Например... и это опять только, без сомнения, разговор кстати, – продолжал граф Северный, – меня всегда занимали вопросы высшей жизни, непонятные вмешательства в нашу духовную область сверхъестественных

сил. Мне бы хотелось... я бы вас просил – размы встретились так неожиданно, – объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу...

– К вашим услугам, – ответил, вежливо кланяясь, незнакомец.

Его собеседник молча прошел несколько шагов.

Павел боролся с собой, стараясь в чем-то поймать кудесника и в то же время заглушая в себе нечто тяжелое и томительное, что, очевидно, составляло одно из его тайных мучений. Приподняв маску, он отер лоб.

– Я видел духа, – проговорил он нерешительно, всилу сдерживая волнение, – видел тень, для меня священную...

Незнакомец опять слегка поклонился, идя рядом с Павлом, который своротил с площади к полуосвященной набережной.

– Однажды, это было в Петербурге... – начал граф Северный.

И он передал собеседнику известный, незадолго перед тем кем-то уже оглашенный в чужих краях рассказ о виденной им тени предка: как он в лунную ночь шел с адъютантом

по улице и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась какая-то рослая, в плаще и старомодном треуголе, фигура, – как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень. Незримый адъютанту, призрак обратил к Павлу грустный и укорительный голос: «Павел, бедный Павел, бедный князь! Не особенно привязывайся к миру: ты недолго будешь в нем. Бойся укоров совести, живи по законам правды... Ты в жизни...»

– Тень не договорила, – заключил граф Северный, – я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер: передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед, Петр Великий. Я сразу узнал его ласковый, дышавший любовью ко мне взгляд; хотел его спросить... он исчез, а я стоял, прислонясь к пустой, холодной стене...

Проговорив это, Павел снова снял маску и отер платком лицо; оно было смущенно и бледно. Перед его глазами как бы еще стоял

дорогой, печальный призра́к.

XXXV

— Как думаете, синьор? — спросил, помолчав, граф Северный. — Была ли это гре́за, или я действительно видел в то время тень моего прадеда?

— Это был он, — ответил собеседник.

— Что же значили его слова? И почему они не договорили?

— Вы хотите это знать?

— Да.

— Ему помешали.

— Кто? — спросил Павел, продолжая идти по опустелой набережной.

— Призрак исчез при моем приближении, — ответил собеседник. — Я в то время шел от вашего банкира Сатерланда; вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень.

Граф Северный остановился. Ему было смешно и досадно явное шарлатанство мага и вместе хотелось еще нечто от него узнать.

— Вы шутите, — произнес он, — разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал.

— Имел удовольствие... но на короткое вре-

мя... меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек, я ожидал внимания; но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться. Я взял от банкира свои деньги и в ту же ночь выехал.

«Шут, скоморох! – презрительно усмехнувшись, подумал граф Северный. – Какие басни плетет!»

– Приношу извинения за грубость нашего министра, – с изысканной вежливостью сказал он, чуть касаясь рукой шляпы. – Но что, объясните, значат недосказанные слова те-ни?

– Лучше о них не спрашивайте, – ответил незнакомец. – Есть вещи... лучше не допытывать о них немой судьбы...

В это время с большого канала донеслись звуки лютни. Кто-то на гондоле пел. Павел прислушался: то был его любимый гимн. Он вспомнил мызу Паульслуст, музыкальные утра Нелидовой и ее предстательство за Раки-тину.

– Хорошо, – сказал он, – пусть так; правду скажет будущее. Но у меня к вам еще прось-

ба... Особа, которой я хотел бы искренно, во что бы то ни стало, услужить, желает знать одну вещь.

– Очень рад, – произнес собеседник. – Чем могу еще служить вашему высочеству?

– Одна особа, – продолжал граф Северный, – просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский? Он был на корабле, который пять лет назад погиб без следа.

– Русский корабль?

– Да.

– Был унесен и разбит бурей в океане, невдали от Африки?

– Да.

– «Северный Орел»?

– Он самый... вы почему знаете?

– На то меня зовут чародеем.

– Говорите же скорее, спасся ли, жив ли этот моряк? – нетерпеливо произнес граф Северный.

Собеседники стояли у края набережной. Волны, серебрясь, тихо плескались о каменные ступени. Вдали, окутанный сумерками, колыхался темный, с подвязанными паруса-

ми, очерк корабля.

– Завтра на этой шкуне, – сказал собеседник Павла, – я покидаю Венецию. Но прежде чем уйти в море и ответить на новый ваш вопрос, мне бы хотелось, простите, знать... будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну, каков бы ни был ответ мой о моряке?

Нервное волнение, охватившее Павла при рассказе о встрече с тенью прадеда, несколько улеглось. Он начинал более собою владеть. Вопрос собеседника привел его в негодование. «Наглец и дерзкий пролаз! – подумал он с приливом подозрительности и гнева. – Каково нахальство и какой дал оборот разговору! Базарный акробат, шарлатан!..»

Павел едва сдерживал себя, комкая в руках снятую перчатку.

– За будущее трудно ручаться, по вашим же словам, – сказал он, несколько одумавшись, – впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранца

прием.

Собеседник отвесил низкий поклон.

– Итак, вам хочется знать о судьбе моряка? – произнес он.

– Да, – ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фиглярское, иносказательное, пустое.

– Пошлите особе, ожидающей вашего известия, – проговорил итальянец, – миртовую ветвь...

– Как? Что вы сказали? Повторите! – вскрикнул Павел. – Мирт, мирт? Так он погиб?

– Моряк спасся на обломке корабля у острова Тенериф и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов.

– А теперь? Говорите же, молю вас...

– Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил.

– Откуда вы все это знаете?

– Я также в то время жил на Тенерифе, – ответил собеседник, – списывал в монастырском архиве одну, нужную мне, древнюю латинскую рукопись.

«Да что же это, наконец? Фокусник он или

действительно всесильный маг? – в мучительном сомнении раздумывал Павел. – По виду – ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более... Но откуда все это сокровенное – берега Африки, имя погибшего корабля... и эта условленная, роковая, миртовая ветвь? Неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была...»

Павел еще хотел что-то сказать и не находил слов. Над взморьем, где виднелась шкуна, уже начинался рассвет.

– Я провожу ваше высочество до палаццо, – сказал искательно и как-то низменно-мещански изгибаясь, собеседник, – дозволите ли?

Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета, бархатный с блестками наряд мага и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво, пошел назад по опустелой набережной.

«Бедная, плачущая Пенелопа! Бедная красавица Ирен! – мыслил он. – Не разъяснили ей мучительной загадки министры, рыцари и послы; пошлем ей миртовую ветвь итальян-

ского скомороха и вызывателя духов».

XXXVI

Прошло еще пятнадцать лет... 1796-й год приближался к концу.

Были первые месяцы царствования императора Павла.

В Петербурге радостно толковали об освобождении из крепости знаменитого Новикова и о возврате из Сибири Радищева.

Император с августейшею супругой и некоторыми лицами свиты посетил собор Петропавловской крепости. Полицеймейстер Архаров предложил государю взглянуть на главное здание Алексеевского рavelина, где в то время кончались неотложные исправления.

Один из казематов привлек особое внимание высоких посетителей.

– Здесь содержался кто-нибудь из итальянцев? – спросил государь коменданта.

– Никак нет-с, ваше величество, раскольники.

– Но как же, смотрите, – указал государь на окно, – вот надпись на стекле алмазом – o, diomio![37]

Архаров и комендант озабоченно склонились к оконной раме. Комендант, впрочем, был новый, не успел еще ознакомиться с преданиями о прошлом крепости.

– Любопытно было бы узнать, – произнесла государыня Мария Федоровна. – Почерк женский. Бедная! Кто бы это был?

– Не Тараканова ли? – сказала бывшая здесь Нелидова. – Помните ли, ваше величество, несчастье с моряком Концовым и ту девушку из Малороссии?

– Тараканова в то время утонула, – сказал кто-то, – ее здесь залило наводнением.

Все на это замечание промолчали. Одна императрица Мария Федоровна, взглянув на Нелидову и указав ей в окно на одиноко разросшуюся среди глухого сада равелина белую березу, шепнула:

– Вот ее могила! Помните? Но где те записки о ней?

Государь, очевидно, слышал это замечание. Садясь в коляску, он сказал Архарову:

– Надо, во что бы то ни стало, это разузнать, здесь совершенно прискорбное дело... Были смутные времена: покушение Мирови-

ча, бунт Пугачева, потом эта... эта несчастная... Я видел слезы матушки... она до своей кончины не могла себе простить, что допустила допрашивать арестованную в свое отсутствие из Петербурга.

Полиция начала розыски. Где-то в богадельне нашли престарелого слепого инвалида Антипыча, двадцать лет назад служившего сторожем в крепости... Инвалид указал на какого-то огородника, а этот на дьячка Казанской церкви, видевшего когда-то при переборке церковных дел у покойного протоиерея отца Петра сундук с бумагами и в нем некий важный, особо хранившийся пакет.

Бросились искать семью отца Петра. Прямого потомства у него не оказалось. Нашли его внучку, дочь его племянницы Варвары, жену сенатского писца. Ее навестил сам Архаров, но также ничего не добился. Куда делся сундук с бумагами отца Петра и был ли он, с другою рухлядью, по его смерти отослан племяннице в Москву или иному кому, никто этого не знал.

Дело объяснилось впоследствии, в глубине Украины, в уединенном и бедном монастыре,

где некогда поселилась Ирина и где она, приняв окончательный постриг, тихо скончалась в престарелых годах, горячо молясь за погибшего в море жениха, раба божьего Павла.

В числе немногих вещей покойной нашли пачку бумаг с надписью: «От отца Петра» – и между ними засохшую миртовую ветвь, при письме одной важной особы. Бумаги у игуменьи выпросил на время и зачитал любитель старины сосед, кончивший впоследствии жизнь в чужих краях.

...Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский женился в год путешествия в чужие края графа и графини Северных. Его побочный сын от таинственной княжны Таракановой, Александр Чесменский, умер в чине бригадира в конце прошлого века.

Пережив императрицу Екатерину и императора Павла, граф Алексей Григорьевич оставил после себя единственную, умершую безбрачною, дочь, известную графиню Анну Алексеевну, и скончался в Москве в царствование императора Александра I, накануне Рождества, в 1807 году.

Преследовали ли его при кончине угрызения совести за его поступок с Таракановой, или в крепкую душу графа Алехана до конца жизни не западало укоров совести – неизвестно.

Сохранилось, впрочем, достоверное предание, что предсмертные муки графа Алексея Григорьевича были особенно невыносимы. Чтоб не было на улице слышно ужасных стонov и криков умирающего «исполина времен» – было признано нужным заставить его домашний оркестр, разучивавший в соседнем флигеле какую-то сонату, играть как можно громче.

1883

Сожженная Москва

Часть первая

Нашествие Наполеона

*– Вот башни полудикие Москвы
Перед тобой, в венцах из золота,
Горят на солнце... Но, увь...
То – солнце твоего заката!*

Байрон. «Бронзовый век»

I

Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным двенадцатым годом.

Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаньями, концертами и маскарадами. Над Москвой, этой пристанью и затишьем для многих потерпевших крушение именитых пловцов, какими были Орловы, Зубовы и другие, в то время носилось как бы веяние крылатого Амура. Немало любовных приключений, с увозами, бегством из родительских домов и дуэлями, разыгралось

в высшем и среднем обществе, где блистало в те годы столько замечательных, прославленных поэтами красавиц. Москвичи восторгались ими на четвергах у Разумовских, на вторниках у Нелединских-Мелецких и в Благородном дворянском собрании, по воскресеньям – у Архаровых, в остальные дни – у Апраксиных, Бутурлиных и других.

Был конец мая 1812 года.

Несмотря на недавнюю комету и на тревожные и настойчивые слухи о вероятности разрыва с Наполеоном и о возможности скорой войны, – этой войны не ожидали, и в обществе никто о ней особенно не помышлял.

В богатом московском доме шестидесятилетней бригадирши, княгини Анны Аркадьевны Шелешпанской, у Патриарших прудов, был многолюдный съезд столичных и окрестных гостей. Праздновались крестины первого правнука Шелешпанской. Прабабку и родителей новорожденного приветствовали обильными здравицами и пожеланиями всяких благ.

За год перед тем, в такой же светлый день апреля, в селе Любанове, подмосковной кня-

гини, состоялась свадьба ее старшей внучки, веселой и живой Ксении Валерьяновны Крамалиной, с секретарем московского сената, служившим и при дирекции театров, Ильей Борисовичем Тропининым. Торжественно празднуя крестины правнука, княгиня имела и другую причину радости и веселью: ее вторая внучка, степенная и гордая Аврора Крамалина, также, по-видимому, наконец вняла голосу сердца. В доме княгини со дня на день ожидали ее помолвки с гостившим в отпуску в Москве «колонновожатым» (т. е. свитским) Васильем Алексеевичем Перовским, который сильно ухаживал за Авророй и был угоден княгине. Базиль Перовский был представлен Авроре – на последнем из зимних московских балов у Нелединских – мужем ее сестры, Ильей Тропининым, своим давним приятелем, товарищем по пансиону и по университету.

Гости княгини начинали разъезжаться. Уехал шестериком, цугом, старец Мордвинов, с распущенными по плечам пушистыми сединами; уехал в желтой венской коляске веселый князь Долгорукий, «prince Calembourg»[38]

, как его звали; в английском тильбюри, в шорах, – виновник встречи жениха и невесты, Нелединский-Мелецкий; на скромных городских дрожках – издатель «Русского Вестника» Сергей Глинка и другие. Приемные и обширный, обсаженный липами двор княгини опустели. Остались ее родные и несколько близких знакомых, в том числе почтивший княгиню заездом и особым вниманием старинный приятель ее покойного мужа, новый московский главнокомандующий граф Растопчин. Это был высокий ростом, еще крепкий на вид мужчина лет пятидесяти, с оживленными, умными черными глазами, узенькими бакенбардами, большим открытым лбом и громкою, подчас крикливою речью. Он ранее других гостей узнал от княгини, что поклонник ее второй внучки – тайный сын украинского магната, тогдашнего министра просвещения. Другим княгиня до времени об этом умалчивала.

Прощаясь с хозяйкой, Растопчин с улыбкой указал ей на Перовского, в новеньком стянутом мундире почтительно стоявшего в стороне, и вполголоса заметил:

– Напрасно, однако, княгиня, ваша внучка медлит; женишок хоть куда: кончили бы, да тогда ему, с богом, хоть и к месту служения.

– Что вы, граф! из-за чего же торопиться? – ответила княгиня. – Аurore[39] так еще молодая; ведь ей невступно восемнадцать: не перестарок еще, в девках не засидится... Все, мой хороший, в руках божиих. Да на днях уж и пост, и отпуск этого молодца на исходе. Обещает снова приехать после Успенья, в конце августа, коли будем живы... Тогда сватовство; тогда, если суждено, сыграем и свадьбу.

– Зовите, княгиня, мы – ваши гости! – сказал Растопчин. – Только не затянулось бы дело для счастливых... Слышали, чай, толки о войне?

– Э, батюшка граф, где еще тот Наполеон! – ответила княгиня. – До нас ему далеко... надемся же мы больше на московских чудотворцев да на ваше искусство, граф.

Растопчин озабоченно оглянулся на присутствующих, надел перчатки и уже хотел откланяться, но, нахмурясь, опять сел возле княгини.

– Разве что знаешь нового? – тихо спроси-

ла Анна Аркадьевна.

Растопчин молча кивнул ей головой. Княгиня обмерла.

– Да говори же, дорогой, говори! – прошептала она, растерянно ища в ридикюле флакон со спиртом и поднося его к своему носу.

– Здесь не место, – ответил ей граф, – заеду завтра.

– Нет, родной, сегодня вечером; не мори ты меня, дуру попову; ведь знаешь – я трусиха.

– Но у вас гости, наверное, будет бостон, а я, вы знаете, до карт не охотник.

– Ах, не нападай ты на карты, говорю тебе; помни слова Талейрана: кто не привык играть в карты в молодости, готовит себе печальную старость. Итак, до вечера; приму тебя одна.

– Постараюсь.

II

Граф Растопчин сдержал слово. В тот же вечер княгиня приняла его в своей молельне. Эта комната, как знал граф от других, служила ей запасною спальней и, вместе, убежищем во время летних гроз. Растопчин с любопытством окинул взглядом убранство этой

комнаты. Оконные занавески в ней, обивка мебели, полог, одеяло, подушки и простыня на кровати были из шелковой ткани, а кровать – стеклянная и на стеклянных ножках. Даже вывезенный княгиней из Парижа и здесь висевший портрет Наполеона был выткан в Лионе на шелковом платке. Растопчин застал княгиню на кровати. Две горничные держали перед нею собачку Тутика, на которого третья примеряла вышитую гарусом попонку. Взяв Тутика и отпустив горничных, Шелешпанская указала графу кресло.

Высокая, в пудренных буклях и белая, точно выточенная из слоновой кости, княгиня Анна Аркадьевна была представительницей старинного, угасавшего в то время княжеского рода, в котором не она одна славилась смелым умом и властной красотой. Матери, указывая на нее дочерям на балах, обыкновенно говорили: «Заметила ты, та с^hере[40], эту высокую, худую старуху? Она недавно из Парижа. Будешь идти мимо, присядь, а не то и ручку поцелуй. Пригодится».

Растопчин в молодости видел и на опыте узнал обольстительное владычество знатных

барынь XVIII века, в том числе и княгини, за которою на его глазах все так ухаживали. Его тогда не удивляло общее сознательное и благоговейное покорство этим законодательницам моды. Теперь он над ними, в том числе и над княгинею Шелешпанскою, в душе посмеивался.

Он трунил над тем, что княгиня, жившая долго в Париже, доньше пудрилась «à la neige»[41], причесывалась «à trois marteaux»[42] и носила платья модных цветов – «couleur saumon»[43] и «hanneton»[44]. Граф по поводу некогда пылкой, но стойкой и чопорной княгини даже выразился однажды, что у Данте в его «Аду» забыто одно важное отделение, где светские грешницы ежечасно мучатся не сознанием своих грехов, а воспоминанием того, как в жизни не раз они могли негласно и незаметно согрешить и не согрешили – из трусости, гордости или простоты.

Некогда поклонница Вольтера, Дидро и мадам Ролан, княгиня теперь, на старости лет, заслышав над домом даже слабый удар грома, без памяти спешила в свою молельню, зажигала у образов лампады и свечи, наскоро на-

девала на себя все шелковое и ложилась под шелковое одеяло, на шелковую постель. Не помня себя от ужаса, она кричала на главную свою экономку, горничных и приживалок, чтоб запирали все ставни и двери, приказывала им опускать на окна шелковые гардины и, лежа с закрытыми глазами, то и дело вздрагивая, повторяла: «Свят, свят! Осанна в вышних!» – пока кончались последние раскаты грозы.

«Любит, старая, жизнь, – подумал, усевшись против княгини, Растопчин, – да как ее и не любить! Пожила когда-то. Теперь она одна, состояния много... А тут надвигается гроза! Нет, матушка, не спасут, видно, никакие стеклянные кровати и никакие шелки».

– Что же, дорогой граф, – держа на коленях собачку, встревоженно, по-французски, обратилась к гостю Шелешпанская, – неужели правда быть войне?

По-русски княгиня, как и все тогдашнее общество, только молилась, шутила либо бранилась с прислугой.

– Мы с вами, Анна Аркадьевна, наедине, – начал граф, – как старый приятель вашего му-

жа и ваш, смею повторить, всегдашний поклонник, скажу вам откровенно, дела наши нехороши... Бонапарт покинул Сен-Клу и прибыл по соседству к нам, в Дрезден; его, как удостоверяет «Гамбургский курьер», окружают герцоги, короли и несметное войско.

– Да ведь он только и делает, что воюет; в том его забава! – возразила княгиня. – Может быть, это еще и не против нас...

– Увы! государь Александр Павлович также оставил Петербург и поспешил в Вильну. Глаза и помыслы всех теперь на берегах Двины...

– Но это, граф, может быть диверсия против наших соседей? Все не верится.

– Таких сил Бонапарт не собрал бы против других. У него под рукой, – газеты все уже считали, – свыше полумиллиона войска и более тысячи двухсот пушек; один обоз в шесть тысяч подвод.

Княгиня понюхала из флакона и переложила на коленях спавшую собачку.

– И вы думаете, граф? – спросила она со вздохом.

Граф Федор Васильевич скрестил руки на

груди и приготовился сказать то, о чем он давно думал.

– Огненный метеор промчался по Европе, – произнес он, – долетит и в Россию. Я не раз предсказывал... Мало останавливали венчанного раба, когда он, без объявления войны, брал другие государства и столицы; увидим его и мы, русские, если не вблизи, то на западной границе наверное.

– Кто же виноват?

Растопчин промолчал.

– Но наше войско, – сказала княгиня, – одних казаков сколько!

– Благочестивая-то, «не бреемая» рать, бородачи? – произнес Растопчин по-русски. – Полноте, матушка княгиня, не вам это говорить: вы так долго жили в Европе, столько видели и слышали.

Польщенная княгиня забыла страх. Ей вспомнился Париж, тамошние знаменитости, запросто бывавшие у нее.

– Моя парижская знакомая, мадам де Сталь, представьте, граф, – произнесла она, – уверяет, будто Бонапарт – полный невежда, грубиян и отъявленный лжец. Не чересчур ли

это? Я не так начитанна, как вы, что вы на это скажете?

– Сущяя правда, – ответил, склоняясь, Рас-топчин, – Наполеон и Меттерниха считает великим государственным человеком только потому, что тот лжет ловко и хорошо. Я давно твержу, но со мной не соглашаются, Бонапарт – низменная, завистливая душонка, ни тени величия. По воспитанию – капрал; настоящее образование почти не коснулось его. Он ругается, как площадная торговка, как солдат; ничего дельного и изящного не читал и даже не любит читать.

– Но мадам Ремюза, я у нее видела его... она хоть пренапыщенная, а умница и в восторге от него...

– Еще бы, дочь его министра! О, это новый Тамерлан... Ему чужды высокие движения сердца и узы крови, а вечная привычка при-творствовать и рисоваться вытравила в нем и остатки правды. Да что? По его собственному признанию, обычная мораль и всеми приня-тые приличия – не для него! А недавно он вы-разился, что он – олицетворение французской революции, что он носит ее в себе и воспроиз-

водит; что счастлив тот, кто спрячется от него в глуши, и что, когда он умрет, вселенная радостно скажет: уф!

– Но за что же, за что он против нас? – спросила встревоженно княгиня.

– Уж сильно его баловали в последнее время, а потом отказали в сватовстве с великой княжной Екатериной Павловной: вот за что. А ведь он гений; по приговору газетчиков и стихоплетов – неизбежная судьба услужливой Европы... Как можно было так поступить с гением? Вот он теперь и твердит перед громадой Европы: Россия зазналась; отброшу ее в глубь Азии, дам ей пережить участь Польши. По совести, впрочем, сказать, я убежден: мы не погибнем.

– Неужели? – обрадованно спросила княгиня. – Утешь меня!

– Вот что, матушка Анна Аркадьевна, скажу я вам, – произнес опять по-русски Растопчин. – Наша Россия – тот же желудок покойного Потемкина: она в конце концов, попомните меня, переварит все, даже и Наполеона...

– Что же, граф, делать нам теперь?

– Что делать? – произнес Растопчин. – Никому я этого, княгиня, еще не говорил и не скажу, а вам, извольте, открою: скорее и без замедления уезжайте из Москвы. Сюда французам не дойти, а все-таки...

– Куда же ехать?

– А хоть бы в вашу коломенскую или, еще лучше, подальше, в тамбовскую вотчину. Повторяю, французам не дадут, может быть, перейти и границу, но здесь, княгиня, будет беспокойно, – вполголоса заключил Растопчин, – не в ваши лета это переносить. Начнутся вооружения, сбор войск, суета...

Княгиня молитвенно взглянула на белый, мраморный, итальянской работы, бюст спасителя, стоявший в молельне среди ее семейных, старых, потемневших образов.

– Не понимаю! – сказала она, разведя руками. – Неужели же в первопрестольной столице, среди угодников и чудотворцев божьих и под вашим начальством, граф, мы не будем в безопасности?

«Ишь, храбрая! – подумал Растопчин. – Грозы боится, а Бонапарта не трусит, даже его шелковый портрет привесила у себя!»

– Как знаете, княгиня, – ответил граф, вставая и откланиваясь, – мое дело было вас предупредить. Я вам поведал по секрету мое личное мнение. Дождались наши вольнодумцы с величанием Бонапарта!.. Злость берет, как подумаешь. На Западе вольнодумствуют сапожники, стремясь стать богачами, а у нас баре колобродят и мутят, чтобы во что бы то ни стало стать сапожниками... И все это – их вожак Сперанский.

– Ну, вы все против Сперанского. Что он вам? – спросила княгиня.

– Что он мне? а вот что... Его хвалили, но это – чиновник огромного размера, не более, творец всесильной кабинетной редакции. Канцелярия – его форум, тысячи бумаг – и превредных – его трубы и литавры. И хорошо, что его упрятали и что он сам теперь стал сданною в архив бумагою, за номером... Ну, да вы не согласны со мной, прощайте.

Растопчин поцеловал руку княгини и направился к двери.

– Да, – сказал он, остановясь, – еще слово... Мое утреннее предсказание о господине Перовском, искателе руки вашей внучки, сбыв-

лось, к сожалению, ранее, чем я ожидал.

– Боже мой, что такое?

– Я застал дома указ – всем штаб- и обер-офицерам, где бы они и при чем бы ни были, без малейшего замедления отправиться к своим полкам. Вызываю его на завтра, да пораньше. Могу ему дать, если попросит, два-три дня для сборов, не более.

Княгиня протянула руку к звонку и, растерявшись, не могла его найти.

III

Утром следующего дня Перовский узнал о вызове всех офицеров к полкам.

Не столько разнились между собой оживленная и полная, в веснушках, с золотистыми локонами и голубыми глазами Ксения и задумчивая, черноволосая и сухощавая Аврора, сколько были несхожи видом и нравом близкие друг другу с детства Илья Тропинин и Базиль Перовский.

В ранние годы Базиль был увезен из Почеп, украинского поместья своего отца, в Москву, где под надзором гувернеров и дядьки-малоросса сперва был помещен в пансион, потом в Московский университет и, кончив

здесь ученье, уехал в Петербург на службу, которой ревностно и отдался. Хорошо начитанный, он знал в совершенстве французский и немецкий языки и любил музыку. Будучи смел и честолюбив и увлекаясь возвышенными военными идеалами, он питал, как и многие его сослуживцы, тайное благоговение к общему тогдашнему кумиру, укротителю террора и якобинцев, цезарю-плебею Наполеону, которого в то время многие прозорливые люди начинали уже осуждать и бранить.

В числе других истых петербургских «европейцев» Базиль мысленно, а иногда с оглядкой и вслух, искренне осуждал неприятие нашим двором сватовства Наполеона, незадолго перед тем искавшего руки великой княжны Екатерины Павловны, сестры государя Александра Павловича. Отвергнутый русскою императорскою семьей, Бонапарт, по мнению Базиля, рано или поздно должен был подумать о возмездии и так или иначе отплатить грубой, как выражались тогда в Петербурге, косневшей в предрассудках России за эту несмысливаемую тяжелую обиду.

Высокого роста, темноволосый, широко-

плечий и с тонким, стройным военным пере- хватом, Базиль был всегда заботливо выбрит, надушен и щегольски одет. С отменно вежли- выми, усвоенными в столичной среде движе- ниями и речью, он всех привлекал умным взглядом больших, карих, мечтательно-за- думчивых глаз, ласковою улыбкой и веселою, своеобразною, остроумною речью. Среди то- варищей Перовский слыл душой-весельча- ком, среди женщин – несколько загадочным, у начальства – подающим надежды молодым офицером. Страстно любя пение и музыку, он, будучи еще студентом, самоучкою стал разби- рать ноты и недурно играл на клавинофорте и пел не только в кругу товарищей, но и в об- ществе, на небольших вечерах. Некоторое время, состоя с другими колонновожатыми в какой-то масонской ложе, он с ними затеял было даже переселиться на дальний япон- ский остров Соку, как тогда звали Сахалин, и основать там некую особую республику. Эта мысль вскоре, впрочем, была брошена за недостатком денег для такого дальнего воя- жа.

Что же до сердечных увлечений Перовско-

го, то никто о них в Петербурге не слышал. Он сам даже посмеивался над волокитством столичных фатов. И потому все были крайне удивлены, когда прошла неожиданная весть, что этот юный и, по-видимому, вовсе еще не думавший о прочной любви и о женитьбе красивый и всегда беспечно веселый гвардеец, так же лихо гарцевавший на петербургских маневрах и смотрах, как и ловко скользивший на столичных паркетах, влюбился и готовился посвататься. О происхождении Перовского в его служебной среде и в обществе еще мало кто знал. Его звали просто «наш красавец малоросс».

Базиль живо представлял себе последний, памятный, вторичный вечер у Нелединских-Мелецких, в их доме на Мясницкой, куда его привез университетский его товарищ, Илья Тропинин. Здесь было так весело и шумно. Старики в кабинете и в цветочной сидели за картами; молодежь в гостиной играла в фанты и в буриме, а в зале шли танцы. На этом вечере блистало столько роскошных, выписанных из Парижа нарядов и чуть охваченных краем платьев обнаженных дамских

и девичьих шей и плеч. Шел бесконечный котильон, о котором тогда выражались поэты:

*Cette image mobile
De l'immobile ternit.*

(Этот подвижной образ неподвижной вечности.)

Базиль с другими танцевал до упаду. Здесь-то, среди цветущих лилий и роз, под гром оркестра Санти, он впервые увидел сухощавую и стройную, незнакомую ему брюнетку, сидевшую в стороне от танцующих. Возле нее стоял, пожирая ее глазами и тщетно стараясь ее занять, известный москвичам любитель пения и живописи, длинный и мрачный эмигрант Же́рамб, всех уверявший, что он офицер тогда возникавшего таинственного легиона «hussards de la mort» («гусаров смерти»), почему он носил черный доломан с изображениями на серебряных пуговицах мертвой головы, так шедший к его исхудалому и желтому лицу. При взгляде на незнакомку в мыслях Перовского мелькнуло: «Так себе, какая-то худашка». Но когда он ближе разглядел ее черные, спокойно на всех смотревшие

глаза, несколько смуглое лицо, пышную косу, небрежным жгутом положенную на голове, и ее скромное белое платье с пучком алого мака у корсажа, – он почувствовал, что эта девушка властительно войдет в его душу и останется в ней навсегда. Его поражала ее строгая, суровая и как бы скучающая красота. Она почти не улыбалась, а когда ей было весело, это показывали только ее глаза да нос, слегка морщившийся и поднимавший ее верхнюю, смеющуюся губу.

В то время за Авророй, кроме «гусара смерти» Жерамба, тщетно ухаживали еще несколько светских женихов: Митя Усов, двое Голицыных и другие. В числе последних был, между прочим, известный богатством, высокий, пожилой и умный красавец вдовец, некогда раненный турками в глаз еще при Суворове, премьер-майор Усланов. Он везде, на балах и гуляньях, подобно влюбленному Жерамбу, молча преследовал недоступную красавицу. Остряки так и звали их: «Нимфа Галатея и циклоп Полифем».

Все поклонники новой Галатеи, однако, остались за флагом. Победителя предвидели:

то был Перовский. Дальнейшее знакомство, через Тропинина, сблизило его с домом княгини. Он даже чуть было не посватался. Это случилось после пасхальной обедни, которую княгиня слушала в церкви Ермолая. Аврора приняла его в пальмовой гостиной бабки, присела с ним у клавикордов, и он, под вальс Ромберга, уже готовился было сделать ей предложение. Но Аврора играла с таким увлечением, а он так робел перед этою гордою, строгою красавицей, что слова не срывались с его языка, и он уехал молчаливый, растерянный.

Илья Борисович Тропинин давно угадывал настроение своего друга. Неразговорчивый, близорукий и длинный, с серыми, добрыми, постоянно восторженными глазами, Илья Тропинин был родом из старинной служилой семьи небогатых дворян-москвичей. Сирота с отроческих лет, он, как и Базиль, был рано увезен из родного дома. Помещенный опекуном в пансион, он здесь, а потом в Московском университете близко сошелся с Перовским как по сходству юношески-мечтательного нрава, так и потому, что охотнее других

товарищей внимательно выслушивал пылкие грезы Базиля о их собственной военной славе, которая, почему знать, могла сравняться со славою божества тогдашней молодежи – Бонапарта. Тулон, пирамиды и Маренго не покидали мыслей и разговоров молодых друзей.

Они зачитывались любимыми современными писателями, причем, однако, Базиль отдавал предпочтение свободомыслящим французским романистам, а Илья, хотя также жадно-мечтательно упивался их страстными образами, подчас по уши краснел от их смелых, грубо обольстительных подробностей и, впадая потом в раскаяние, налагал на себя даже особую епитимью. Базиль нередко после такого чтения под подушкой Тропинина находил либо тетрадь старинной печати церковных проповедей, или полупонятные отвлеченные размышления отечественных мистиков. В свободные часы Тропинин занимался рисованием. Он очень живо схватывал и набрасывал на бумагу портреты и чертил забавные карикатуры знакомых, в особенности театралов.

– Нет, боюсь женщин! – смущенно говорил в такие мгновения Илья, мучительно ероша свои русые волосы, в беспорядке падавшие на глаза. – Так, голубчик Вася, боюсь, что, по всей вероятности, никогда не решусь жениться, пойду в монастырь.

Когда друзья были еще в пансионе, Тропинина там называли «схимником», уверяя, что в его классном ящике устроено из образков подобие иконостаса, перед которым он будто бы, прикрываясь крышкой, изредка даже служил молебны.

Университет еще более сблизил Перовского и Тропинина. Они восторгались патристическими лекциями профессоров и пользовались особым расположением ректора Антона Антоновича Прокоповича-Антонского, о котором шутники, их товарищи, сложили куплет:

*Тремя помноженный Антон,
А на придачу Прокопович...*

Ректор, любивший поболтать с молодежью, расставаясь с Перовским и Тропининым, сказал первому: «Ты будешь фельдмаршалом!» – а второму: «Ты же – счастливым от-

цом многочисленной семьи!» Не раз впоследствии, под иными впечатлениями, приятели вспоминали эти предсказания. По выходе из университета Перовский изредка из Петербурга переписывался с Тропининым, который тем временем поступил на службу в московский сенат. Они снова увиделись зимой 1812 года, когда Базиль и также служивший в колонновожатых в Петербурге двоюродный брат Тропинина по матери, Митя Усов, получили из своего штаба командировку в Москву для снятия копий с военных планов, хранившихся в московском архиве. Базиль, чтобы не развлекаться светскими удовольствиями, получив планы, уговорил Митю уехать с ним в можайскую деревушку Усовых Новоселовку, где оба они и просидели над работою около месяца, а на масленой, окончив ее, явились ликующие в Москву и со всем увлечением молодости окунулись в ее шумные веселости.

Илья Тропинин в это время, вопреки своим юношеским уверениям, был уже не только женат и беспредельно счастлив, но и крайне расположен сосватать и женить самого Перовского. Встреча Базиля со свояченицей Тро-

пина Авророй Крамалиной помогла Илье ранее, чем и сам он того ожидал. Перовский на Пасху стал то и дело заговаривать об Авроре, а в мае, как замечал Илья, он был уже от нее без ума, хотя все еще не решался с нею объясниться.

IV

Весть о призыве офицеров к армии сильно смутила Перовского. Он объяснился с главнокомандующим и для устройства своих дел выпросил у него на несколько дней отсрочку. За неделю перед тем он заехал на Никитский бульвар, к Тропинину. Приятели, посидев в комнате, вышли на бульвар. Между ними тогда произошел следующий разговор.

– Итак, Наполеон против нас? – спросил Тропинин.

– Да, друг мой; но надеюсь, войны все-таки не будет, – ответил несколько нерешительно Перовский.

– Как так?

– Очень просто. О ней болтают только наши вечные шаркуны, эти «неглиже с отвагой», как их зовет здешний главнокомандующий. Но не пройдет и месяца, все эти слухи,

увидишь, замолкнут.

– Из-за чего, однако, эта тревога, сбор у границы такой массы войск?

– Меры предосторожности, вот и все.

– Нет, милый! – возразил Тропинин. – Твой кумир разгадан наконец; его, очевидно, ждут у нас... Поневоле вспомнишь о нем стих Дмитриева; «Но как ни рассуждай, а Милосвзор уж там!» Сегодня в Дрездене, завтра, того и гляди, очутится на Немане или Двине, а то и ближе...

– Не верю я этому, воля твоя, – возразил Перовский, ходя с приятелем по бульвару. – Наполеон – не предатель. Не надо было его дразнить и посылать к нему в наши представители таких пошлых, а подчас и тупых людей. Ну, можно ли? Выбрали в послы подозрительного, желчного Куракина! А главное, эти мелкие уколы, постоянные вызовы, это заигрыванье с его врагом, Англией... Дошли, наконец, до того, что удалили от трона и сослали, как преступника, как изменника, единственного государственного человека, Сперанского, а за что? За его открытое предпочтение судебникам Ярослава и царя Алексея гениального ко-

декса того, кто разогнал кровавый Конвент и дал Европе истинную свободу и мудрый новый строй.

– Старая песня! Хорошая свобода!.. убийство без суда своего соперника Ангиенского герцога! – возразил Тропинин. – Ты дождешься с своим божеством того, что оно, побывав везде, кроме нас, и в Риме, и в Вене, и в Берлине, явится наконец и в наши столицы и отдаст на поругание своим солдатам мою жену, твою невесту – если бы такая была у тебя, – наших сестер...

– Послушай, Илья, – вспыхнув, резко перебил Перовский, – все простительно дамской болтовне и трусости; но ты, извини меня, – умный, образованный и следящий за жизнью человек. Как не стыдно тебе? Ну зачем Наполеону нужны мы, мы – дикая и, увы, полускифская орда?

– Однако же, дружище, в этой орде твое мировое светило усиленно искало чести быть родичем царей.

– Да послушай наконец, обсуди! – спокойнее, точно прощая другу и как бы у него же прося помощи в сомнениях, продолжал Ба-

зиль. – Дело ясное как день. Великий человек ходил к пирамидам и иероглифам Египта, к мраморам и рафаэлям Италии, это совершенно понятно... А у нас? чего ему нужно?.. Вяземских пряников, что ли, смоленской морошки да ярославских лык? или наших балетчиц? Нет, Илья, можешь быть вполне спокоен за твоих танцовщиц. Не нам жалкою рогатиной грозить архистратигу королей и вождю народов половины Европы. Недаром он предлагал Александру разделить с ним мир пополам! И он, гений-творец, скажу открыто, имел на это право...

– О да! И не одного Александра он этим манил, – возразил Тропинин, – он тоже великодушно уступал и богу в надписи на предположенной медали: «Le ciel ´toi, la terre ´moi». («Небо для тебя, земля – моя».) Стыдись, стыдись!..

Перовский колебался, нить возражений ускользала от него.

– Ты повторяешь о нем басни наемных немецких памфлетистов, – сказал он, замедлясь на бульварной дорожке, залитой полным месяцем. – Наполеон... да ты знаешь

ли?.. пройдут века, тысячелетия – его слава не умрет. Это олицетворение чести, правды и добра. Его сердце – сердце ребенка. Виноват ли он, что его толкают на битвы, в ад сражений? Он поклонник тишины, сумерек, таких же лунных ночей, как вот эта; любит поэмы Оссиана, меланхолическую музыку Паэзиелло с ее медлительными, сладкими, таинственными звуками. Знаешь ли – и я не раз тебе это говорил, – он в школе еще забивался в углы, читал тайком рыцарские романы, плакал над «Матильдой» крестовых походов и мечтал о даровании миру вечного покоя и тишины.

– Так что же твой кумир мечется с тех пор, как он у власти? – спросил Тропинин. – Обещал французам счастье за Альпами, новую какую-то веру и чуть не земной рай на пути к пирамидам, потом в Вене и в Берлине – и всего ему мало; он, как жадный слепой безумец, все стремится вперед и вперед... Нет, я с тобой не согласен.

– Ты хочешь знать, почему Наполеон не успокоился и все еще полон такой лихорадочной деятельности? – спросил, опять останав-

ливаясь, Перовский. – Неужели не понимаешь?

– Объясни.

– Потому, что это – избранник провидения, а не простой смертный.

Тропинин пожал плечами.

– Пустая отговорка, – сказал он, – громкая газетная фраза, не более! Этим можно объяснить и извинить всякое насилие и неправду.

– Нет, ты послушай, – вскрикнул, опять напирая на друга, Базиль, – надо быть на его месте, чтобы все это понять. Дав постоянный покой и порядок такому подвижному и пылкому народу, как французы, он отнял бы у страны всякую энергию, огонь предприятий, великих замыслов. У царей и королей – тысячетное прошлое, блеск родовых воспоминаний и заслуг; его же начало, его династия – он сам.

– Спасибо за такое оправдание зверских насилий новейшего Атиллы, – возразил Тропинин, – я же тебе вот что скажу: восхваляй его как хочешь, а если он дерзнет явиться в Россию, тут, братец, твою философию оставят, а вздуют его, как всякого простого разбойни-

ка и грабителя, вроде хоть бы Тушинского вора и других самозванцев.

– Полно так выражаться... Воевал он с нами и прежде, и вором его не звали... В Россию он к нам не явится, повторяю тебе, – незачем! – ответил, тише и тише идя по бульвару, Перовский. – Он воевать с нами не будет.

– Ну, твоими бы устами мед пить! Посмотрим, – заключил Тропинин. – А если явится, я первый, предупреждаю тебя, возьму жалкую рогатину и, вслед за другими, пойду на этого архистратига вождей и королей. И мы его поколотим, предсказываю тебе, потому что в конце концов, Наполеон все-таки – один человек, одно лицо, а Россия – целый народ...

Вспоминая теперь этот разговор, Перовский краснел за свои заблуждения.

V

Новые настойчивые слухи окончательно поколебали Перовского относительно его кумира. Он за достоверное узнал, что Наполеон предательски захватил владения великого герцога Ольденбургского, родственника русского императора, и собирался выгнать остальных государевых родных из других

немецких владений. Вероломное скопление французов у Немана тоже стало всем известно. Смущенный Перовский стал непохож на себя.

Вечером следующего дня устроилась прогулка верхами за город. В кавалькаде участвовали Ксения с мужем и Аврора с Перовским и Митей Усовым. Лошади для мужчин были взяты из мамоновского манежа. Выехали через Поклонную гору в поле. За несколько часов перед этою поездкой прошел сильный с грозой дождь.

Вечер красиво рдел над Москвой и окрестными пологими холмами. Душистые зеленые перелески оглашались соловьями, долины – звонкими песнями жаворонков. Аврора ездилась лихо. Ее собственный, красивый караковый в «масле» мерин Барс, пеня удила, натянутые ее твердою рукой, забирал более и более хода, мчась по мягкой, росистой дороге проселка. Серый жеребец Перовского, не отставая, точно плыл и стлался возле Барса. Ускакав с Перовским вперед от прочих всадников, Аврора задержала коня.

– Вы скоро едете? – спросила она.

– На несколько дней получил отсрочку.

– Что же, полагаю, вам тяжело идти на прославленного всеми гения? – спросила Аврора, перелетая в брызгах и всплесках через встречные дождевые озера. – Оставляете столько близких...

Проскакав несколько шагов, она поехала медленнее.

– Близкие будут утешены, – ответил Базиль, – добрые из них станут молиться.

– О чем?

– Об отсутствующих, путешествующих, – ответил Перовский, – так сказано в Писании.

– А о болящих, дома страждущих, помолятся ли о них? – спросила Аврора, опять уносясь в сумрак дороги, чуть видная в волнистой черной амазонке и в шляпке Сандрильоны с красным пером.

– Будут ли страдать дома, не знаю, – ответил, догнав ее Базиль, – говорят же: горе отсутствующим.

– Горе, полагаю, тем и другим! – сказала, сдерживая коня, Аврора. – Война – великая тайна.

Сзади по дороге послышался топот. Аврору

и Перовского настигли и бешено обогнали два других всадника. То были Ксения и Митя Усов.

– А каковы, Аврора Валерьяновна, аргамачки? – весело крикнул Митя, задыхаясь от скачки и обдав Перовского комками земли. – Мне это, Базиль, по знакомству дал главный мамоновский жокей Ракитка...

Ксения, в красной амазонке и вьющейся за плечами вуали, мелькнула так быстро, что сестра не успела ее окликнуть. Тропинин мерным галопом ехал сзади всех на грузном и длинном английском скакуне с коротким хвостом.

– Что за милый этот Митя, – сказала Аврора, когда Перовский опять поравнялся с нею, – ждет не дождется войны, сражений...

– И золотое сердце, – прибавил Перовский. – Сегодня он писал такое теплое письмо к своему главному командиру, моля иметь его в виду для первого опасного поручения в бою. И что забавно – убежден, что в походе непременно влюбится и осенью обвенчается.

Всадники еще проскакали с версту между кудрявыми кустарниками и пригорками и

поехали шагом.

– Как красив закат! – сказал, оглядываясь, Перовский. – Москва как в пожаре... кресты и колокольни над нею – точно мачты пылающих кораблей...

Аврора долго смотрела в ту сторону, где была Москва.

– Вы исполните мою просьбу? – спросила она.

– Даю слово, – ответил Перовский.

– Скажите прямо и откровенно, как вы смотрите теперь на Наполеона?

– Я... заблуждался и никогда себе это не прощу.

Глаза Авроры сверкнули удивлением и радостью.

– Да, – сказала она, помолчав, – надвигаются такие ужасы... этот неразгаданный сфинкс, Наполеон...

– Предатель и наш враг; жизнь и все, что дороже мне жизни, я брошу и пойду, куда прикажут, на этого врага.

Аврора восторженно взглянула на Перовского. «Я не ошиблась, – подумала она, – у нас одни идеалы, одна мысль!»

– Вы правы, правы... и вот что...

Аврора вспыхнула, хотела еще что-то сказать и замолчала. Хлестнув лошадь, она быстро перескочила через дорожную канаву и понеслась полем, вперерез обогнавшим ее всадникам. Все съехались у стемневшей рощи. Возвращались в Москву общею группой, при месяце. Под Новинским Базиль увидел, в глубине знакомого двора, окна своей квартиры, где он в последнее время пережил столько сомнений и страданий, и, указав Авроре этот дом, стал было у ворот прощаться с нею и с остальными, но его упростили, и он поехал далее. Княгиня ждала возвращения катающихся и, под их оживленный говор, просидела с ними до ужина.

– Вы не договорили, хотели еще что-то мне сказать? – спросил после ужина Перовский Аврору.

Она молча присела к клавикордам. В полуосвещенной зале раздались пленительные звуки ее сильного, грудного, бархатного контральто. Аврора пела любимый сердечный романс старого приятеля бабки, Нелединского-Мелецкого:

*Свидетели тоски моей,
Леса, безмолвью посвященны...*

– Дорогой Василий Алексеевич, – обратилась Ксения к Перовскому, – спойте тот... ну, мой любимый.

Перовский расстегнул воротник мундира, подошел к клавикордам, оперся руками о спинку стула Авроры и под ее игру запел романс того же автора:

*Прости мне дерзкое роптанье,
Владычица души моей.*

Все были растроганы. Базиль от сердечно-го волнения, глядя на склонившиеся к нотам шею и плечи Авроры, блаженствуя, смолк. Тропинин отирал слезы.

– Ах, как ты, Вася, поешь, – проговорил он, – как поешь! Ну можно ли с такою душою защищать Наполеона?..

Аврора глазами делала знаки Илье Борисовичу. Ее носик весело сморщился, подняв над зубами смеющуюся губу. Илья этих знаков не видел.

Перовский и Тропинин уехали. Ксения осталась ночевать с сестрой. Проводив муж-

чин и простясь с бабкой, сестры ушли из зала в темную угловую молельню и молча сели там. Вдруг Аврора встала, возвратилась в залу и со словами: «Нет, не могу!» – опять села за клавикорды. Плавные звуки ее любимой шестнадцатой сонаты Бетховена огласили стихшие комнаты. Сыграв сонату, она задумалась.

– О чем ты думаешь? – спросила, обнимая сестру, Ксения.

Аврора, не отвечая, стала опять играть.

– Ты о нем? – спросила Ксения.

– Да, он уедет, и я предчувствую... более мы не увидимся.

– Но почему же, почему? – спросила Ксения, осыпая поцелуями плакавшую сестру. – Он вернется; от тебя зависит подать ему надежду.

Аврора не отвечала.

«И зачем я узнала его, зачем полюбила? – мыслила она, склоняясь к клавишам и, в слезах, продолжая играть. – Лучше бы не родиться, не жить!»

Уйдя к себе наверх, Аврора отпустила горничную и стала раздеваться. Не зажигая свечи, она сняла с себя платье и шнуровку, накинула на плечи ночную кофту и присела на первый попавшийся стул. Месяц светил в окна бельведера. Аврора, распустив косу, то заплетала ее, то опять расплетала, глядя в пустое пространство, из которого точно смотрели на нее задумчиво-ласковые глаза Перовского.

– Ах, эти глаза, глаза! – прошептала Аврора.

Красного дерева, с бронзой, мебель этой комнаты напомнила ей нечто далекое, дорогое. Эта мебель ее покойной матери напомнила ей улицу глухого городишки, дом ее отца и ее первые детские годы при жизни матери.

Мать Авроры, дочь Анны Аркадьевны, когда-то страстно влюбилась в красивого и доброго, небогатого пехотного офицера и, получив отказ княгини, бежала из ее дома и без ее согласия обвенчалась с любимым человеком. Это был Валерьян Андреевич Крамалин. Чувствительная и нежная сердцем беглянка дала своим дочерям романтические имена Авроры

и Ксении. Аврора не помнила военной, скитальческой и полной всяких лишений жизни своих родителей. Зато она помнила, как ее и ее сестру любила мать, и живо представляла себе то время, когда ее отец, выйдя в отставку, служил по дворянским выборам. У него в уездном городе был над обрывом реки собственный небольшой деревянный домик с мезонином, огородом и чистеньким, уютным садиком, где Крамалины, по переезде в город, развели такие цветники, что ими любовались все соседи.

Авроре были памятны все уголки этого тенистого сада: полянка, где сестры играли в куклы; клумба цветущих сиреней и жимолости, где она впервые увидела и поймала необычайной красоты золотистую, с голубым отливом, бабочку; горка, с которой был вид на город и обширные окрестные поля, и старая береза, под которой Аврора с сестрой, уезжая впоследствии из этого дома, со слезами зарыли в ящичке лучших своих кукол. Девочки знали, что у них есть богатая и знатная бабка-княгиня, что эта бабка безвыездно живет где-то далеко, в чужих краях, и что она по-

чему-то ими недовольна, так как редко пишет к их маме. Памятна была Авроре одна бесснежная, гнилая зима. В городке открылись повальные болезни. Авроре был десятый год.

Однажды девочки пошли пожелать доброго утра матери. Их не пустили к ней, сказав, что у их мамы опасная болезнь. Аврора помнила наставшую в доме мрачную тишину, опечаленные, красные от слез лица отца и прислуги, торопливый приезд и отъезд городских врачей и то полное ужаса утро, когда дети, выйдя в залу, увидели на столе что-то страшно-неподвижное, в белом платье и с белой кисеей на лице. Им кто-то шепотом сказал, что это белое и неподвижное была их умершая мать. Девочки вскрикнули: «Мама, мама! проснись!» – и не верили, что их матери уже более нет на свете. Вспомнились Авроре вопли отца на городском кладбище, где он бил себя в грудь и рвал на себе волосы. Живо представился ее мыслям его отъезд с ними, в метель, в недалёкую деревушку Деудиново, к его двоюродному брату, Петру Андреевичу Крамалину, у которого доктора советовали

ему на время оставить детей. Вспомнилась ей и новая весна в этой деревушке, с новыми цветущими сиренями и бабочками, которые ее тогда уже не восхищали. Дети пробыли у дяди целое лето; отец их часто навещал.

Вдовый старик дядя был страстный охотник. Несмотря на свои годы, он постоянно охотился то с борзыми и гончими, то с ружьем. За детьми присматривала его пожилая экономка Ильинишна. Он брал с собою на охоту и племянниц и однажды, собираясь в поле, не утерпев, дал им поездить по двору верхом. Ксения струсила; Аврора же, усевшись на дамском седле покойной дочери дяди, смело прокатилась и с той поры только и думала о верховой езде. Белый, как сметана, верховой конь дяди Петра Коко был чуть не ровесник своего владельца, но ходил плавно, не спотыкался, слушался повода и еще лихо скакал.

– Дядечка Петя, – просила иногда Аврора, – позвольте мне покататься с кучером.

Коко торжественно седлали и подводили к крыльцу. Черноглазая, худенькая девочка подносила к его теплым губам кусок черно-

го хлеба с солью и, покормив его, проворно взбиралась со ступеней на седло.

– Ты не девочка – мальчик-постреленок! – твердила Ильинишна, глядя на нее и качая головой.

– Барышня, барышня! – кричал нередко кучер, не поспевая за Авророй, носившейся по полям и кустам.

– Ах, дядечка, – сказала раз Аврора дяде, – исполните мою просьбу?

– Ну, говори!

– Дайте мне выстрелить из ружья.

Дядя Петя подумал, походил по комнате и взял со стены ружье. Он сам зарядил ей свой «ланкастер», научил, как держать его и целиться, и дал ей выстрелить в саду в цель. Стрельба повторялась при нем и впоследствии. А раз вечером, осенью, когда дядя был в лесу, на охоте на вальдшнепов, вдруг в доме, как бы сам собой, раздался оглушительный выстрел. Ильинишна и прочая прислуга в ужасе бросились и нашли Аврору в барском кабинете, в дыму. Оказалось, что она увидела в окно псарей, гнавших за чужою собакой и кричавших: «Бешеная, бешеная!» Аврора, иг-

равшая здесь с Ксенией, недолго думая, схватила со стены заряженное ружье и, как ни останавливала ее сестра, прицелилась и спустила курок. Раненая собака упала и была добита гонцами. Девочку застали бледною, дрожащею и в слезах. Она от перепуга долго не могла понять, где она и что с нею случилось.

– Да как же ты, бедовая, решилась? – спрашивал ее потом дядя.

– Вижу, бегут, кричат: «Бешеная!» – я и схватила...

– А как попала бы не в собаку, а в людей?

Аврора горько плакала и не отвечала. Это событие стало предметом общих толков. Приехавший отец горячо было поспорил с Петром Андреевичем, но потом успокоился и отпустил к нему дочерей и на другое лето. Тогда уже дядя Петя стал брать Аврору на охоту с собой в качестве подручного стрелка. Ее восторгу не было границ. Коко и ружье виделись ей даже во сне. Но наступила нежданная разлука.

VII

Однажды Валерьян Андреевич Крамалин приехал в Дединово к брату и радостно

прочел ему при детях письмо, полученное им от княгини Шелешпанской из Парижа. Год назад Анна Аркадьевна, извещенная о кончине своей дочери, искренне оплакав ее, писала, что сама сильно недомогает и, вероятно, недолго проживет. Теперь же извещала, что ее здоровье поправилось, что она готова заменить сиротам мать, и предлагала их отцу располагать для того ею самою и всеми ее средствами. К письму был приложен приказ в одну из ее вотчинных контор – выдать ее зятю значительную сумму денег. Начались совещания и даже споры между отцом и дядей девочек, что с ними предпринять. В конце новой осени Валерьян Андреевич взял Аврору и Ксению от дяди Пети и отвез их в московский Екатерининский институт.

Началась непосредственная переписка девочек с бабкой. В конце следующего года они уведомили княгиню, что их отец простудился в какой-то поездке и, как пишет дядя, опасно занемог. Прошла зима, наступило лето. Крамалины написали бабке отчаянное письмо, что их дорогой папа также умер, что они в трауре и что все институтки разъезжаются на

каникулы, а их, круглых сирот, некому взять, так как и дядя Петя, по слухам, оставил Дединово и уехал куда-то на воды. Бабушка ответила, что надо молиться о родителях и терпеть, и прислала им какое-то назидательное французское сочинение о нравственном долге. Прошло несколько лет горького сиротства девочек. Незадолго до их выпуска из института их вызвали в неурочный час к директорисе. Войдя в высокие парадные комнаты суровой начальницы, они сделали формальный книксен и рядом с нею увидели высокую, в напудренных локонах и в черной шали, красиво закинутой через плечо, представительную и чопорную старуху, которая внимательно и молча оглядела их в золотой лорнет, хотела, обернувшись к директорисе, сказать что-то важное, но тут же залилась слезами и, без всякой чопорности и важности, бросилась их целовать. То была княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, решившая, из сочувствия к внучкам, покинуть Париж и переехать на постоянное жительство в Москву.

Старуха, узнав лично сирот, искренне и горячо полюбила их, ласкала, баловала и чуть

не каждый день ездила к ним. У Авроры были способности к музыке, Ксения предпочитала танцы. Для них были наняты лучшие по этой части особые учителя. По выходе внучек из института княгиня открыла свой давно пустевший дом у Патриарших прудов, отделала его заново и сама стала вывозить внучек в свет. Куда на это время делись слабость ее здоровья и жалобы на преклонные лета! Все заговорили о ее гостинице, где пальмовая мебель была обита черною тисненою кожей с золочеными гвоздиками, о двух цугах ее лошадей, шестерне вороных и четверке чалых, о ее балах и вечерах. После свадьбы Ксении она формальным духовным завещанием отказала свое можайское поместье Любаново Авроре, а коломенскую деревню Ярцево – Ксении. Выдав год назад замуж веселую и добродушную Ксению, княгиня с тревогой стала поглядывать на свою вторую внучку, которая, казалось, вовсе не думала о замужестве и несколькими выгодным искателям ее руки, под разными предложениями, отказала.

– Не расстанусь я, дорогая, с вами! – говорила задумчивая и сосредоточенная Аврора,

ухаживая за бабкой. – Что мне? Я довольна, счастлива; право, счастлива! Изредка выезжаю к знакомым... катаюсь верхом... у меня чудный Барс... беру уроки пения и на клави-кордах у первых знаменитостей; читаю... у вас же такая чудная библиотека! Ах, не говорите мне, бабушка, о браке... дайте подолее пожить с вами, возле вас.

Старуха, отирая слезы и радостно любуясь строгою красотой Авроры, думала: «А в самом деле! Пусть поживет у меня... Господь в ней неисповедимыми путями, очевидно, искупает увлечение, ошибку их бедной матери, когда-то так легкомысленно бросившей меня».

Княгиня, в старческом себялюбии, продолжала считать ошибкою брак покойной дочери, забывая, что эта дочь, когда между ними произошло охлаждение, относилась к ней, как и прежде, почтительно-нежно и, горячо любя мужа и будучи взаимно им любима, жила с ним до кончины вполне счастливо.

Катанья на Барсе Аврора забывала только ради музыки и книг.

Библиотека, о которой она говорила бабке, состояла из полки русских и нескольких шка-

фов иностранных изданий. Русские книги были собраны покойным мужем княгини, ведшим дружбу с Новиковым и другими московскими мартенистами, иностранные же – в большинстве вывезла сама Анна Аркадьевна из Парижа, где в ее салоне собирались некоторые из светил современной французской литературы. Выйдя из института, Аврора, между изучением сольфеджий, каденц и рунлад Фелис-Андриё и выездами на концерты и балы, по совету институтского учителя русской словесности, прочла и некоторые из тогдашних немногих русских книг. Княжнина, Державина и Дмитриева она едва одолевала. Зато с жадностью прочла повести и письма из чужих краев Карамзина, уже входившие в моду басни Крылова и стихотворения Жуковского и всецело обратилась к корифеям иностранных литератур. Между последними она обратила особое внимание на прежних и новых французских моралистов и с жадностью набросилась на них. Жан-Жак Руссо, д'Аламбер, де Местр и Бернарден де Сен-Пьер надолго стали любимцами Авроры. Она с ними мечтала о возможности пересоздания об-

ществ на новых, мирно-идеальных началах. Но все заговорили о Бонапарте, о войне.

Наполеон сильно занял Аврору и стал ее мыслям представляться сказочным исполнителем, неземным героем. Сперва она с наслаждением воображала его себе в виде гения-благодетеля, нежданно и таинственно сошедшего в мир и проливающего на человечество, вместе со своею ослепительною славой, потоки мирного, неведомого дотоле блаженства. Но когда однажды бабке принесли с почты пачку новых, французских, изданных в Бельгии и в Англии, памфлетов о Наполеоне и она один из них, написанный мадам де Сталь, по желанию княгини, прочла ей вслух, ее взгляд на Наполеона начал быстро изменяться. Вероломная же казнь герцога Ангиенского повергла ее просто в отчаяние. Узнав, как не повинный ни в чем герцог был схвачен, поставлен во рву Венсенской крепости и, без сожаления, расстрелян Наполеоном, Аврора разрыдалась, повторяя: «Бедный, бедный! и за что? где наказание его убийцам?» Несколько успокоясь, она заперлась у себя в комнате, наверху, прочла все вновь получен-

ные и вывезенные бабкой брошюры о Бонапарте, на которые она прежде не обращала особого внимания, и Наполеон, с его блеском, громкими войнами и разрушением старых городов и царств Европы, вместо идеального героя начал ей представляться ненавистным, эгоистическим и звероподобным чудовищем. Она даже сетовала в мечтах, почему не родилась мужчиной, иначе она была бы в рядах смелых бойцов, сражающихся с этим новым Чингисханом.

Познакомясь с Перовским, Аврора вначале с пренебрежением и насмешкой, потом внимательнее вслушивалась в его дифирамбы Наполеону и, под его влиянием, на некоторое время не то чтобы смягчила свой взгляд на загадочного героя, а этот герой перестал ее волновать и раздражать. Но когда разнеслась и стала подтверждаться молва о близости войны и когда благодаря этому Бонапарту, которого отчасти еще защищали Перовский и княгиня и открыто бранили Растопчин и Тропинин, Аврора должна была проститься с человеком, которого в душе предпочитала другим, – в ней снова поднялась вражда к «кор-

сиканскому чудовищу», грозившему России бедствиями войны. Аврора старалась в душе примириться с отъездом искателя ее руки.

«Недалеко, – думала она, – два-три месяца пролетят незаметно!.. Он возвратится и несомненно выскажется...» Когда же Перовский, с прочими отпускными офицерами, был неожиданно потребован к Растопчину и ему объявили приказ о немедленном выезде в армию, Аврора не помнила себя от горя.

«Вернется ли он и действительно ли можно еще избежать войны? – мыслила она. – И зачем эта война, эти ужасы? И для чего, наконец, идет олицетворение всех ужасов, насилий и потоков крови – этот Наполеон? Его предшественник, Марат, вызвал некогда месть смелой патриотки, – думала, содрогаюсь, Аврора. – Господи, отомсти, порази своим гневом этого насильника!»

VIII

Накануне своего отъезда из Москвы Перовский обедал в доме Анны Аркадьевны и заехал к ней опять вечером. В это время у нее собрались некоторые из близких знакомых, в том числе две-три институтские подруги Ав-

роры и Ксении с братьями. Молодые люди были веселы, играли в шарады, буриме и secrétaire[45], оживленно рассказывали о балах последних дней, о сватовстве и близких свадьбах в семьях некоторых москвичей. Кто-то передал, что свадьба одной из их знакомых, пожалуй, расстроится, так как ее жениха прежний ее обожатель вызвал на дуэль. Аврора взглянула на Перовского. Тому этот взгляд показался упреком. Он терялся в его значении. Княгиня в скромном, фиолетово-дофиновом платье и в темной шали, с грустью поглядывая на Перовского и Аврору, молча раскладывала в гостиной пасьянс. Перед чаем Ксения открыла клавикорды и пригласила одну из подруг спеть. Некоторые в это время гуляли в саду; между ними была и Аврора. Заслушавшись издали пения, она заметила, что сад опустел. Она направилась к дому. Вдруг она вздрогнула. Навстречу к ней из-за деревьев шел Перовский.

Ярко светил месяц. Влажный воздух сада был напоен запахом листвы и цветов. Прямая, широкая липовая аллея вела от ограды двора к пруду, окаймленному зеленою поля-

ною, с сюрпризами, гротами, фонтанами и грядками высаженных из теплиц цветущих нарциссов, жонкилей и барской спеси. Сквозь ограду виднелись освещенные и открытые окна дома, откуда доносились звуки пения. В саду было тихо. Каждая дорожка, каждое дерево и куст веяли таинственным сумраком и благоуханием.

Увидя Перовского, Аврора хотела было идти к воротам. Он ее остановил.

– Вы здесь? – сказал Базиль, восторженно глядя на нее.

Аврора, казалось, подбирала слова.

– Вот что, – проговорила она, – о войне и ее виновнике... они у всех теперь в мыслях... давно я собиралась вам это передать... Прошлым летом с Архаровыми я ездила в их подмосковную. Там собрание картин, и я, помню, в особенности засмотрелась на одну. На ней изображена охота в окрестностях Парижа, в парке, на оленей. Превосходная копия с работы какого-то знаменитого французского живописца. Ах, что за картина! ну, живые люди; а скалы, ручей, деревья...

– У Архаровых действительно отличная

картинная галерея.

– Нет, послушайте: справа, на поляне, за оленем, стая озлобленных гончих. Он изнемогает, напряг последние силы и спасся бы... но – наперерез ему... беда слева: в ожидании оленя стоит спрятанный за деревьями стрелок. Его окружают верхами пышные, в золоте, придворные и, в открытых колясках, под зонтиками, красивые, нарядные дамы. Стрелок – Наполеон... Он в синем мундире, белом камзоле и в треуголке; как теперь его вижу: толстый, круглый, счастливый и крепкий, точно каменный.

– Именно каменный, – сказал, вздохнув, Перовский.

– Его полное, смуглое лицо самодовольно, – продолжала Аврора. – Он спокойно прицелился и чуть не в упор стреляет в бедное, с высунутым языком и блуждающими глазами животное... Фу! Я видела не раз, бывала на охоте, но тогда же я сказала Элиз Архаровой: «Какой дурной и жестокий этот всеми прославленный человек!» Ну можно ли так равнодушно-спокойно и так безжалостно убивать слабое, изнемогающее в побеге, живое суще-

ство?! Он так же расстрелял и герцога Ангиенского...

Аврора в волнении смолкла.

– Вы правы... клянусь, это жестокий человек! – сказал Перовский. – Мы ему отплатим за все его вероломства. Ему вспомнятся лживые заверения Тильзита и Эрфурта. Я заблуждался, был слеп... говорю это теперь не с чужого голоса и не стыжусь за то, что говорю; я еду с твердым убеждением, что наши жертвы, наши усилия сломят врага... Одно горе...

Перовский смешался и замолчал. Аврора с трепетом ожидала чего-то необычайного, страшного.

– Вы меня простите, – проговорил вдруг упавшим голосом Перовский, – я еду и, может быть, навсегда... но это выше моих сил...

Аврора с замиранием вслушивалась в его слова. Ее сердце билось шибко.

– Я не могу, я должен сказать, – продолжал Базиль. – Я вас люблю, и потому...

Аврора молчала. Свет померк в ее глазах. После минутной борьбы она робко протянула руку Перовскому. Тот в безумном восторге осыпал эту руку поцелуями.

– Как? вы согласны? вы...

– Да, я ваша... твоя, – прошептала, склоняясь, Аврора.

Они снова углубились в сад. Перовский говорил Авроре о своих чувствах, о том, как он с первого знакомства горячо ее полюбил и не решался объяснить.

– Все ли ты обо мне знаешь? – спросил Базиль. – Я – Перовский, но мой отец носит другое имя.

Он передал Авроре о своем прошлом. Она, идя рядом с ним, молча слушала его признания.

– Зачем ты мне это сказал? – спросила она, когда он кончил исповедь.

– Чтобы ты знала все, что касается меня. Это тайна не моя, моего отца, и я должен был ее хранить от всех, но не от тебя...

Аврора с чувством пожала руку Перовского.

– Так ты – сын министра? – сказала она, подумав. – Что же? Я рада за твоего отца, но, прости, не за тебя... Почему твой отец из этого делает тайну?

Перовский сослался на обычаи света, на

положение отца.

– Ты любишь свою мать? – спросила Аврора.

– Еще бы!.. всем сердцем, горячо.

– И она хорошая мать, добра, заботилась о тебе?

Базиль рассказал о своих детских годах в Малороссии, о свидании в деревне с отцом, пред отъездом в ученье, о пребывании в университете и о поступлении на службу в Петербург.

– И ты, с отъезда из деревни, не видел отца?

– Видел в Петербурге.

– И он не оставил тебя при себе?

Базиль молчал.

– Я так же горячо, как и ты, люблю твою матушку! – сказала Аврора. – Но тебя узнает и, нет сомнения, ближе оценит и твой отец; не может быть, чтобы он тобою не гордился, тобою не жил.

Из-за ограды раздался голос слуги княгини, Власа:

– Барышня, бабушка вас зовут... Мелецкие уезжают...

– Постой, еще слово, – проговорил Перовский, не выпуская руки Авроры. – Подари мне на память какую-нибудь безделицу... ну, хоть этот цветок.

Аврора вырвала из пучка сирени, приколотого к ее груди, цветущую ветку и подала ее Перовскому.

– Есть у тебя твой портрет? – спросила она.

– Есть миниатюрный, работа Ильи... я хотел завтра его послать матери в Почеп, но для тебя...

– Отлично, Илья Борисович снимет мне копию.

– Нет, нет! – вскрикнул Перовский. – Возьми этот! Он готов... со мной! Вот он... я сегодня утром получил его из отделки.

Он подал Авроре медальон с крошечным своим акварельным портретом. Она взглянула на портрет и прижала его к груди.

– Барышня, да где же вы? – раздался от ворот голос экономки Маремьяши.

Аврора спрятала медальон под корсаж платья и, отирая слезы, направилась из сада. Она, об руку с Перовским, возвратилась в дом, откуда уже начали разъезжаться.

– Ну, теперь иди к бабушке, – сказала она, сморщив носик, – и делай формальное предложение: иначе нельзя... как можно, обидится, еще откажет.

Базиль было направился в гостиную. Аврора остановила его.

– Нет, – объявила она, выпрямляясь, – пойдем вместе.

Сильно побледнев и ни на кого не глядя, она твердо прошла через ряд комнат, подвела Перовского к бабке, окруженной у двери в модельню прощавшимися гостями, и, держа его за руку, тихо проговорила:

– Дорогая бабушка, вот мой жених.

Княгиня обомлела.

– Да как же это, не спросясь? Да что же и ты, как смел? – обратилась было княгиня к Перовскому, но тут же, едва сдерживая слезы, она обняла его, обняла и упавшую перед ней на колени Аврору, крестила их и целовала. – В мать! в мать! смела и мила! – твердила она, смеясь и плача. – Ох, родные мои, любите друг друга и будьте счастливы!

Разъезд гостей приостановился. Все радовались счастливой развязке романа Авроры.

Потребовали шампанского, и помолвка сговоренных была полита обильными тостами.

– Но неужели это – последнее прости и мы более уже не увидимся? – спросил Перовский Аврору, когда пришел черед их прощанью. – Ведь я завтра, что ни делай, утром уеду.

В голосе Базиля дрожали слезы. Глаза всех были обращены на него.

– До свидания... осенью, – ответила, стараясь улыбнуться и крепко пожав ему руку, Аврора.

– До свидания, до свидания! – твердили прочие. Перовский простился со всеми и уехал. Аврора бросилась к себе на антресоли и разрыдалась. Она ходила по комнате, ломала свои руки и повторяла: «Нет, нет! так невозможно... но неужели? О господи! вразуми, подкрепи, охрани меня...»

На квартире Базиль разбудил хозяйского слугу, зажег свечу и, вздыхая, написал и послал записку к Мите Усову, жившему неподалеку, в гостинице «Лондон». В записке он извещал, чтобы Митя завтра явился пораньше, так как почтовые лошади будут готовы к семи часам утра. Перовскому приходилось

ехать до Можайска с Митей, и он с ним условился завернуть там, поблизости, в усовскую деревушку Новоселовку, где у Мити, по желанию отца, шли поправки в доме и где он надеялся получить с крестьян оброк, чтобы возратить Перовскому деньги, занятые у последнего в Москве. Послав записку, Базиль уложил в чемодан последние вещи и взглянул на часы. Был второй час ночи.

«Недалеко до утра, – подумал он, – где тут спать? Ночь чудная, лунная... скоро рассвет... пойду прогуляюсь... а утром, по пути, еще раз заеду проститься с Авророй».

Базиль раскрыл окно, выходящее в соседний сад, и задумался.

«Нет, – сказал он себе, – вряд ли удастся так рано увидеть Аврору... Напишу ей лучше теперь и сам завезу к ней записку; вызову ее как-нибудь, хоть на мгновение, на Патриаршие пруды... Она могла бы выйти с Маремьяшей или с Власом... Не удалось нам и наговориться... а столько хотелось бы высказать, передать...»

Базиль сел к столу и начал писать. Прошло несколько минут. За дверью послышался шо-

рох.

«Это слуга возвратился от Мити, – подумал Базиль, – ищет впотьмах дверного замка».

Он продолжал писать. Дверь скрипнула. Перовский обернулся. У порога стояла женская фигура, в черном, под густою, темною вуалью.

– Кто это? – спросил Базиль, вскакивая.

Фигура неподвижно и молча стояла у порога. Перовский шагнул к ней ближе. Он узнал Аврору.

– Ты? ты здесь? – вскрикнул он, притягивая ее к себе и осыпая безумными, страстными поцелуями ее похолодевшие руки, лицо, волосы. – Как ты решилась, дорогая, как нашла?

– Я хотела еще раз видеть тебя, поговорить.

Базиль не помнил себя от счастья.

– Ведь и я, вообрази, думал к тебе сейчас, – произнес он, усаживая Аврору и садясь против нее, – вот, смотри, даже писал к тебе, хотел вызвать.

Аврора откинула за плечи вуаль, пристально взглянула на него и с мыслью: «Что будет далее – не знаю, теперь же ты со

мной!» – страстно обхватила его голову.

– Какая пытка! – шептала она в слезах. – И зачем мы встретились, сошлись? Я боялась, боролась: что, если кто встретит? Но видишь, я здесь. Неужели разлука навек?

– О, я верю в нашу звезду; мы, даст бог, снова увидимся, – сказал Базиль.

– Да, разумеется! Что же это я, безумная?.. Увидимся непременно.

Аврора отерла слезы, помахала себе в лицо платком.

– Ты на прогулке тогда, – сказала она, – упомянул, но как-то легко, как бы в шутку, о молитве... Вы, мужчины, прости, маловеры... а тебе предстоит такое важное, тяжелое дело... Ты не рассердишься?

– Говори, говори.

– Покойница мать учила меня и сестру прибегать, в дни горя и скорби, к покрову божией матери. Дай слово, что ты искренне будешь молиться этому образу.

– Клянусь, исполню твой завет.

Аврора вынула из кармана иконку и надела ее на шею Базиля. Слезы стояли в ее глазах.

– Ну, теперь я все сказала, прощай, – произ-

несла она, отирая лицо.

– Как? расставанье? – вскрикнул Перовский. – Но где же божья правда? Миг встречи – и месяцы разлуки! Я все брошу, все... останусь с тобой, не уходи... Слушай, я попрошусь в перевод, в здешние полки.

– Не делай этого! Мужайся, Базиль: тебя зовут долг службы, спасение родины; честно ей послужи. Я люблю тебя и, верь, другого не люблю. Буду счастлива при мысли, что ты исполнил свое призвание, как истинный, честный патриот. Так жалки другие, бежавшие по деревням, мужья, братья, женихи... О, ты выше их!

– Но, ради бога, помедли, не уходи, – молил Перовский, – еще слово...

За дверью послышались шаги. Аврора накинула на лицо вуаль. У порога показался слуга.

– Так до свидания, – сказала Аврора, – мужайся, увидимся.

– Я тебя провожу, – ответил Базиль.

Он подал ей руку, и они направились к Бронной. Начинался бледный рассвет. Улицы были еще пусты. У Ермолая Базиля и Аврору

обогнал кто-то на дрожках. Им было не до него.

Утром ямская тройка лихо мчала Перовского и Митю по дороге к Можайскому. Базиль покрывал поцелуями платок, оброненный Авророй у него в комнате.

В Новоселовке путники пробыли около суток. Заведовавший здешним хозяйством Усовых староста Клим, жалуясь, по обычаю, на неурожай и на тяжелые времена, кое-как, с недочетами, собрал и снес молодому барину с крестьян не раз отсрочиваемый оброк. Няня, Арина Ефимовна, успела напечь Мите и его гостю пирожков, лепешек и прочего съестного, каждому на дорогу особо, так как приятели далее ехали по разным путям. Чемоданы были окончательно уложены, все увязано и вынесено в переднюю. Илья Тропинин просил Перовского наблюдать за последними сборами и отъездом Мити из деревни, которую последний особенно любил.

– А уж ты, батюшка Митенька, воля твоя, – говорила Ефимовна, суетясь на расставанье и со слезами ходя из комнаты в комнату со

связкой ключей у пояса, – не беспокойся; мы и родительский твой домишко, и весь ваш хозяйский скарб, как мебель и вещи в доме, так и всякие припасы в кладовых, сбережем и сохраним в целости нерушимо. А кроме братца, Ильи Борисовича, и будущая хозяйка вот их милости, Василия Алексеевича, – невесть что за даль любановская усадьба – авось наведется сюда, даст нам порядок. И княгиня-матушка на крестинах правнука увидела меня в экономкиной светелке и говорит: «Ты у меня, Ефимовна, тоже смотри; я и из Москвы глаза-стая; чтобы все господское у тебя было в порядке; старый твой хозяин ныне живет за Волгой, а его сын едет в поход, ему не до того, и бог весть еще, когда сядет у вас на хозяйство, – смотри!»

– Будь спокойна, Ефимовна, – ответил Митя, – за тобой мы все ни о чем и не думаем.

Арина утерла слезы и гордо обдернула на груди концы платка.

– И я тебе, голубушка няня, скажу, – прибавил Митя, – вернусь из похода, вот он женится, все они приедут в Любаново, в Ярцеве у них дом меньше и не так устроен, и я тоже

женюсь вслед за Базилем – найду невесту непременно – и поселюсь здесь... Вот в этой зале отпируем и свадебный пир.

– Ну, тебе бы, Митенька, еще и рано, послужи! – всхлипывала Ефимовна.

Сборы были кончены к вечеру. Кибитки Мити и его гостя стояли нагруженные у крыльца. Выбившаяся из сил Арина, плача, клала туда последние узелочки и узлы.

– Да чего ты, Ефимовна, плачешь? – спросил Перовский, стараясь быть бодрым и веселым при проводах порученного ему товарища. – Вот, оглянись, Дмитрий, – обратился он к белокурому, кудрявому юноше, уже сидевшему в телеге на горе узлов, – взгляни еще раз, как обновлен и прибран ваш родовой угол; и все это твоя няня, все она. Я рад, что вы с нею снова наладили дедовское гнездо; точно заботливые тени бабки и деда еще витают здесь, в их любимой когда-то Новоселовке.

– Ах, я так счастлив, счастлив! – произнес Митя. – Затратил на поправки, зато надолго, до собственных моих внуков, опять наладил!

А как мы здесь зимой чертили планы? Вот было весело!

– Запомни же все! – продолжал Базиль. – Я сам, некогда уезжая из родного гнезда, старался подолее глядеть вокруг, чтобы запомнить малейшие черты дорогих мест. Я убежден, что если не нынче же летом, то уж осенью, в августе или сентябре, этот угол, даст бог, непременно встретит здесь нас обоих таким же уютным и гостеприимным, каким он, вероятно, встречал когда-то и твоих родителей. Едва объявится мир, возьмем отпуск, а не то и выйдем в отставку и заживем. Любаново – рукою подать, будем видеться... Помни же, осенью, не далее сентября.

– Да отдай, няня, починить мое охотничье ружье, оно в шкафу, знаешь, там, где мои тетради, книги и удочки! – крикнул Митя, смигивая слезы и стараясь тоже говорить весело и держаться молодцом. – И лазариновские дешушкины пистолеты в чехлах; там тоже удочки, знаешь? Ну, мне налево, тебе направо... Прощай, голубчик Базиль, до осени... оба женимся непременно и заживем!..

Няня, утираясь, только махала рукой. Ми-

тя уехал. Он улыбался, издали крестя приятеля и Арину и не спуская глаз с родного, обитого новым тесом, домишки, стоявшего среди берез на холме, с зеленого сада и крылатой мельницы с тучею голубей, вившихся над ними. Все это понемногу скрылось за другими холмами. По совету друга, Митя усиливался до последнего мгновения, до поворота за ближний лес запомнить в душе все эти дорогие места, где он родился и где, под наблюдением Ефимовны, подрос, пока, по просьбе его отца, Илья Тропинин пристроил его в ученье, а потом на службу в Петербург.

IX

Проводив Митю, Перовский позвал старосту Клима, белолицего, благообразного и расторопного мужика с добрыми и умными глазами. Смеркалось. Базиль расспросил Клима о ближайшем проезде на Смоленскую дорогу и на усовской тройке, а далее на почтовых выехал мимо тонувших в ночной полумгле, на холмах и в долинах, окрестных деревушек и сел. Невдали от Новоселовки, при переезде через какой-то мост, он спросил возницу, что за здания виднеются в темноте.

– Бородино, – ответил возница.

– Большое село?

– Да, сударь. Оттелева Митрий Миколаич добыл прошлый год голубей... у отца Павла повсегда важнеющие...

Памятно впоследствии стало это село Перовскому и всей России.

Лошади мчались.

«А она-то, моя владычица, мой рай! Что с нею? – думал Базиль, погруженный в мечты о последнем свидании с Авророй. – Да, наше счастье прочно, ненарушимо... Как она любит, как предана мне!»

Грезы сменялись грезами. Перовский перебирал в уме свое прошлое. Ему с живостью представилось его детство, богатое черниговское поместье Почеп, огромный, выстроенный знаменитым Растрелли дом, возле дома – спадавший к реке обширный сад и сам он, ребенком бегающий по этому саду в рубашечке. Он вспоминал свою мать, Анну Михайловну, высокую, румяную, с черною косой, чернобровую красавицу из должностных хозяина поместья. Он с нею и с братьями жил в отдельном флигеле, невдали от большого дома.

Здесь его учили грамоте.

В отроческие годы Базиля граф, владелец Почепа, лишь изредка жил в большом доме. Дети Анны Михайловны в то время видели его только в церкви или из окон флигеля, когда он с пышностью, провожаемый слугами, выезжал по хозяйству или к соседям. Тенистые дорожки сада, красивые беседки, клумбы цветов и лабиринт из пирамидальных тополей, где мальчишки, в отсутствие графа, прятались, играя с детьми других должностных графа, — все это в воспоминаниях Базиля невольно сливалось с слезами матери. Анна Михайловна нередко, безмолвно поглядывая из окна флигеля на большой, то пустынный, то с приездом графа ярко освещенный дом, обнимала детей и со вздохом говорила: «Соколы мои, соколы! Что-то с вами будет?»

В памяти Перовского особенно сохранилось одно событие. То была поездка его матери в какой-то отдаленный монастырь. Граф долго не приезжал из Петербурга, где, как все говорили, он занимал важное место. Анна Михайловна снарядилась, взяла с собой Васю и его старшего брата Льва и с ними в бричке,

на долгих, выехала на богомолье. Раскачива-
нье уложенной перинами и подушками про-
стор-ной брички, мерный бег тройки сытых,
весело фыркающих саврасок, раздольные по-
ля, полные запахом цветущих трав, песни жа-
воронков, ночлеги в хуторах, дремучий мона-
стырский лес, оглашаемый у реки соловьины-
ми свистами, и долгое моление в старом, оку-
ренном ладаном храме, где усталый Вася,
прикорнувшись за колонной, заснул, – все это
ему вспоминалось живо, как и радость мате-
ри по их возвращении домой.

Вскоре после их приезда в Почеп прибыл
на летний отдых и граф. На другой день по
его водворении в Почепе Анну Михайловну и
ее сыновей позвали к нему в дом. Мальчиков
принарядили и ввели в графский кабинет.
Граф сидел в лиловом бархатном халате, на-
пудренный, красивый и величавый. Секре-
тарь кончил доклад и уносил бумаги.

– Молодцы! – сказал граф, посмотрев на
черноглазых мальчуганов, бойко прочитав-
ших ему наизусть оду Державина, и расцело-
вал их.

Оправив на себе кружевной шарф и ман-

жеты, он дал детям по кошельку с дукатами и сказал:

– Это вам на орехи, в память вашего покойного отца; он был мне верным другом и слугою. Я дал ему слово заботиться о вас, сиротах. Надо учиться более; поедете в Москву.

Дети весело разглядывали кабинет, убранный редкими картинами, охотничьими приборами, чучелами птиц, вазами и статуями. Стоявшая у порога их мать отирала радостные слезы. Старшего из сыновей Анны Михайловны увезли ранее, Васю – несколько позже. К нему приставили выписанного из чужих краев гувернера и с ним отправили его в Москву, где сперва поместили в частном пансионе, потом определили в университет.

Вася еще по девятому году в Почепе, от какого-то пьянчужки, сельского писаря из семинаристов, узнал, что граф – его отец, но этого не признает, так как очень знатен, живет возле царя в Петербурге и занимает там место министра.

– Но разве министрам запрещено иметь детей? – спросил писаря удивленный Вася.

– Дубина ты, стультус[46], и больше ниче-

го; значит, что нельзя! – ответил сельский грамотей.

Проболтавшись об этом разговоре матери, Вася от нее услышал, что граф будет очень гневаться и лишит их всех своих милостей, если они станут рассказывать о родстве с ним. С той поры на вопросы товарищей и знакомых, кто его отец, Перовский отвечал:

– Я – сирота с детства; мой отец, украинский хуторянин, служил в Малороссии управляющим одного графа и давно умер...

Выдержав последний экзамен в университете, Вася написал о том радостное письмо матери и с нетерпением собирался ехать к ней на родину, где не был около семи лет. Ему рисовался Почеп, тенистый сад, дорогой флигель, свобода. Но к нему на квартиру, где он жил с Ильей Тропининым, явился незнакомый старичок чиновник, в сером фраке, с сахарною улыбочкой и хохолком на голове, и, поздравив его от имени графа, объявил, что он, Перовский, милостью высокого покровителя уже определен на службу в колонновожатые, то есть в свитские, и что ввиду этого граф советует ему, дабы не потерять места,

без замедления ехать в Петербург. Чиновник вручил ему при этом нужную сумму на обмундирование и на отъезд к месту служения и, откланиваясь, спросил, когда же Василий Алексеевич располагает ехать, так как о том должно дать знать его сиятельству. Базиль подумал и ответил:

– Через неделю.

Как ни уговаривал его Илья Тропинин обожать, еще повеселиться, где-то охотиться и притом, в компании других кончивших уче- ные студентов, варить жженку, Базиль в на- значенное время оставил Москву. Он сгорал нетерпением увидеть Петербург и отца.

«Теперь граф, наверное, признает меня! – в трепетном восторге мыслил Базиль. – Я уже более не почепский хуторянин, а получив- ший высшее образование офицер! Отец с гор- достью, если не даст еще мне своего имени и графского титула, о чем я, разумеется, и не мечтаю, назовет меня, хоть наедине, хотя глаз на глаз, своим сыном... и у меня будет отец... да какой еще отец! Как все хвалят вы- сокие его дарования, любовь к наукам и ис- кусствам, честь и ум! Он снимет с меня за-

прет – хоть для наших личных сношений... Я поселюсь у него, буду близко ежедневно видеть замечательного государственного деятеля; я брошусь к нему, он прижмет меня к своей груди!»

Ожидания Базиля сбылись. Но граф-отец, вероятно, избегая до времени превратной огласки и пересудов, не нашел еще возможным поселить у себя сына в Петербурге. К Базилю в гостиницу, после первого радостного его свидания с отцом, когда он, весь возбужденный, был наверху блаженства, явился тот же бывший в Москве старичок чиновник, оказавшийся одним из служащих в домовой канцелярии графа, ласково расспросил его, где он думает найти квартиру, доволен ли службой и начальством и не нуждается ли еще в чем-либо приватном. Но тут же дал Базилю понять, что недалекое, более утешительное будущее вполне зависит от двух предметов: от его скромности вообще и от умолчания в особенности насчет каких-либо его отношений к графу-министру. Базиль с болью в сердце объявил, что беспрекословно преклоняется перед волею графа-отца.

Его, по письму Ильи Тропинина, отыскал в Петербурге незадолго перед тем выпущенный из московских кадет также в колонновожатые, двоюродный брат Ильи Дмитрий Николаевич Усов, которого он изредка видел еще в Москве. Базиль сошелся с ним, полюбил его, как и его родича Тропинина, и почти с ним не расставался. Когда минувшею весной Перовский в Москве, на балу у Нелединских, увидел Аврору и первому Мите высказал наполнившее его чувство к ней, Митя побледнел, потом вспыхнул и крепко пожал ему руку.

– Слушай, Перовский! – сказал он ему. – Это такая девушка, такая... если бы брат Илюша не был женат на ее родной сестре, понимаешь ли?.. она была бы... я все отдал бы, все... Отец Ильи крестил меня, мы – братья и по кресту... Еще на его свадьбе, год назад, я сообразил и все терзался... А теперь охотно уступаю этот клад, это сокровище тебе... Илья тоже тебе поможет!

– Да с чего же ты взял, что это серьезно? – удивился, также краснея, Базиль. – И что такое бальная встреча? Мало ли кого мы встре-

чаем...

– А вот увидишь, – произнес Митя, – я убежден, попомни мое слово, – Аврора будет твоя.

Предсказание Мити сбылось. Базиль ехал в армию счастливым женихом Авроры.

Из Можайска Базиль должен был взять почтовых и оттуда ехать в главную квартиру Первой армии, в Вильну. Рассчитывая время, он боялся, что Барклай-де-Толли мог уже оттуда двинуться к западной границе.

Он вошел на станцию, отыскал комнату смотрителя и, вручив последнему свою курьерскую подорожную, потребовал лошадей. Смотритель вышел и опять возвратился.

– Лошади будут сейчас готовы, – сказал он как-то смущенно, – только вас здесь спрашивают какие-то господа... они только что приехали.

– Кто? где они?

Смотритель указал на общую станционную комнату. Базиль вошел туда. Освещенный тусклым огарком, с дивана встал высокий, тощий и желтолицый господин в черной

венгерке с серебряными пуговицами. Базиль отступил: перед ним стоял «гусар смерти», эмигрант Жерамб. Сзади него виднелись двое незнакомых штатских: юноша – в модном рединготе и пожилой – во фраке.

– Вы удивлены? – произнес по-французски Жерамб. – Я сам крайне смущен этой неожиданной встречей... Ехал вот с этими господами в поместье одного из них, но узнал, что вы здесь... и потому...

– Что же вам нужно? – сухо спросил Базиль.

– Господин Перовский, вы понимаете, – продолжал с дрожью в голосе Жерамб, – мы шли по одной дороге к честной, надеюсь, цели...

– О чести на этот счет предоставьте судить мне.

– Согласен... вы имели более успеха, я преклонился, был готов отступить, даже отступил...

– Далее, далее! – вскрикнул, теряя терпение, Базиль.

Жерамб на миг остановился. Его впалые глаза сверкали, нижняя челюсть вздрагивала,

руки судорожно сжимались. Штатские молча поглядывали на него.

– Вы понимаете, господин Перовский, – произнес он, – два дня назад я вас видел рано утром с одною дамой... она еще не ваша, но вы ее преследуете, ходите с нею наедине...

– Я не подозревал, что у нее такие добровольные, непрошенные соглядатаи.

– Что вы этим хотите сказать? Я... требую... Базиль смерил Жерамба глазами.

– Удовлетворения? – спросил он. – Дуэль?

– Именно... вы понимаете, между честными людьми...

– Где, здесь?

– Теперь же, без отлагательства.

– Но вы, полагаю, поймете: теперь война; притом у меня здесь нет секундантов.

– Один из этих господ, – Жерамб указал на юношу, – может быть в этом случае в вашем распоряжении.

– К незнакомым не обращаются с такими предложениями, – ответил Базиль, – наконец, знайте: то моя невеста.

Жерамб захохотал. Базиль бросился к нему. Дверь отворилась.

В комнату вошли двое других проезжих: пожилой пехотный офицер и средних лет военный доктор Миртов, знавший Базиля по Петербургу. Они также ехали в Первую армию. Предупрежденные зрителем, они вмешались в ссору и прекратили ее. Базиль повторил Жерамбу, что он к его услугам. Дав ему свой адрес, он уплатил зрителю прогоны, поклонился и вышел на крыльцо. Красивый, полный и всегда веселый доктор Миртов, уладив столкновение, старался успокоить взволнованного Перовского.

– Охота вам расходовать силы и храбрость на этого воплощенного мертвеца! – сказал он. – Впереди у нас столько живых врагов.

Базиль, пожав ему руку, сел в тележку.

– Не забудьте же, после войны! – крикнул ему с крыльца все еще кипятившийся Жерамб.

– К вашим услугам, – ответил, кланяясь ему и Миртову, Перовский.

Телега помчалась. Прислушиваясь к колокольчику, Базиль с замиранием сердца вспоминал свой отъезд из Москвы и прощание с Авророй.

«А этот, этот! – не унимался он. – Вздумал напугать, отнять ее у меня! Нет, никто теперь нас не разлучит, никто».

Х

Прибыв в штаб Первой армии, Перовский уведомил невесту, что доехал благополучно, что все говорят о неизбежной войне, – войска в движении, – но что еще ничего верного не известно.

Москва между тем начинала сильно смущаться. Газеты, в особенности «Устье Эльбы» и «Гамбургский курьер», приносили тревожные известия. Война становилась очевидною и близкою. Все знали, что государь Александр Павлович, быстро покинув Петербург, более месяца уже находился при Первой армии Барклая-де-Толли, в Вильне. Но все эти толки были еще шатки, неопределенны.

Вдруг прошла потрясающая молва. Стало известно, что после майского призыва к полкам всех отпускных офицеров из Вильны к графу РаSTOPчину примчался с важными депешами фальдъегерь. Сперва по секрету, потом громко, наконец заговорили, что Наполеон за несколько дней перед тем без объяв-

ления войны с громадными полчищами нежданно вторгся в пределы России и уже без боя занял Вильну. Шестого июля, с новым государевым посланцем, Растопчину было доставлено воззвание императора к Москве и манифест об ополчении, причем стал известен обет государя «не вкладывать меча в ножны, пока хоть единый неприятельский воин будет на Русской земле». Вспоминали при этом слова императора, сказанные по-французски за год перед тем о Наполеоне: «Il n'y a pas de place pour nous deux en Europe; tôt ou tard, l'un ou l'autre doit se retirer!» («Нет места для нас обоих в Европе; рано или поздно, один из нас должен будет удалиться!»). Шестнадцатого июля и сам государь Александр Павлович явился наконец среди встревоженной и восторженно встречавшей его Москвы. Государь, приняв дворянство и купечество, оставался здесь не более двух дней и поспешил обратно в Петербург, откуда, по слухам, уже снаряжали к вывозу в Ярославль и в Кострому главные ценности и архивы.

Москва заволновалась, как старый улей пчел, по которому ударили обухом. Чернь

толпилась на базарах и у кабаков. Москвичи заговорили о народной самообороне. Началось формирование ополчений. Первые московские баре и богачи, графы Мамонов и Салтыков, объявили о снаряжении на свой счет двух полков. Тверской, Никитский и другие бульвары по вечерам наполнялись толпами любопытных. Здесь оживленно передавались новости из Петербурга и с театра войны. Дамы и девицы приветливо оглядывали красивые и новенькие наряды мамоновских казаков. Победа у Клястиц охранителя путей к Петербургу, графа Витгенштейна, в конце июля вызвала взрыв общих, шумных ликований. Белые и черные султаны наезжавших с депешами недавних московских танцоров, гвардейских и армейских офицеров, чаще мелькали по улицам. В греческих и швейцарских кондитерских передавались шепотом вести из проникавших в Москву иностранных газет. Все ждали решительной победы.

Но прошло еще время, и двенадцатого августа москвичи с ужасом узнали об оставлении русскими армиями Смоленска. Путь французов к Москве становился облегчен-

ным. Толковали о возникшей с начала похода неурядице в русском войске, о раздоре между главными русскими вождями, Багратионом и Барклаем-де-Толли. Этому раздору молва приписывала и постоянное отступление русских войск перед натиском Наполеоновых полчищ. Светские остряки распевали сатирический куплет, сложенный на этот счет поклонниками недавних кумиров, которых теперь все проклинали:

*Vive l'état militaire,
Qui promet nos souhaits
Les retraites en temps de guerre,
Les parades en temps de paix!*

(«Да здравствуют военные, которые обещают нам отступления во время войны и парады во время мира!»)

Осторожного и медлительного Барклая-де-Толли, своими отступлениями завлекшего Наполеона в глубь раздраженной страны, считали изменником. Некоторые презрительно переименовывали его имя: «Болтай да и только». Пели в дружеской беседе сатиру на него:

*Les ennemis s'avancent grands pas,
Adieu, Smolensk et la Russie...
Barclay toujours vite les combats!*

(«Враги быстро близятся; прощай, Смоленск и Россия... Барклай постоянно уклоняется от сражений!»)

В имени соперника Барклая, Багратиона, искали видеть настоящего вождя и спасителя родины: «Бог-рати-он». Но последовало назначение главнокомандующим всех армий опытного старца, недавнего победителя турок, князя Кутузова. Эта мера вызвала общее одобрение. Знающие, впрочем, утверждали, что государь, не любивший Кутузова, сказал по этому поводу: «Le public a voulu sa nomination; je l'ai nommé... quant moi, je m'en lave les mains». («Общество желало его назначения; я его назначил... что до меня, я в этом умываю руки».) Когда имя Наполеона стали, по апокалипсису, объяснять именем Аполлона, кто-то подыскал в том же апокалипсисе, будто антихристу предрекалось погибнуть от руки Михаила. Кутузов был также Михаил. Все ждали скорого и полного разгрома Бонапарта.

Москва в это время, встречая раненых, привозимых из Смоленска, более и более пустела. Барыни, для которых, по выражению Растопчина, «отечеством был Кузнецкий мост, а царством небесным – Париж», в патриотическом увлечении спрашивали военных: «Скоро ли генеральное сражение?» – и, путая хронологию и события, восклицали: «Выгнали же когда-то поляков Минин, Пожарский и Дмитрий Донской». – «Сто лет вражья сила не была на Русской земле – и вдруг! – негодовали коренные москвичи-старики. – И какая неожиданность; в половине июня еще редко кто и подозревал войну, а в начале июля уже и вторжение». Часть светской публики, впрочем, еще продолжала ездить в балет и французский театр. Другие усердно посещали церкви и монастыри. Певца Тарквинио и недавних дамских идолов, скрипача Роде и красавца пианиста Мартини, стали понемногу забывать среди толков об убитых и раненых, в заботах об изготовлении бинтов и корпии, а главное – о мерах к оставлению Москвы. Величием Наполеона уже не восторгались. Декламировали стихи француз-

ских роялистов: «O roi, tu cherches justice!» («Государь, ты ищешь правосудия!») и русские патриотические ямбы: «О дерзкий Коленкур, раб корсиканца злого!..» Государя Александра Павловича, после его решимости не оставлять оружия и не подписывать мира, пока хоть единый французский солдат будет на Русской земле, перестали считать только идеалистом и добряком.

– Увидите, – радостно говорил о нем Растопчин, как все знали, бывший в личной, непосредственной переписке с государем, – среди этой бестолочи и общего упадка страны идеальная повязка спадет с его добрых глаз. Он начал Лагарпом, а, попомните, кончит Аракчеевым; подберет вожжи распущенной родной таратайки...

Переписывалась чья-то сатира на порабощенную Европу, где говорилось:

*А там, на картонных престолах,
Сидят картонные цари!*

Прошло около двух месяцев. Аврора усердно переписывалась с женихом. Перовский извещал ее о местах, которые проходила Первая

западная армия Барклая, где он, в числе других свитских, состоял в распоряжении командира второго корпуса, генерала Багговута. Он, среди восторженных обращений к невесте, подробно описал ей картину удачного соединения обеих русских армий и славный, хотя неудачный бой под Смоленском. Остальное Аврора узнавала от сестрина мужа, Ильи. Тропинин благодаря связям старой княгини имел возможность чуть не ежедневно навещать «клуб московского главнокомандующего», как звали москвичи тогдашние любопытные утренние съезды у графа Растопчина, где стекалось столько городского, жадного до новостей люда. Отсюда Тропинин всякий раз привозил в дом княгини целый ворох свежих вестей. Одно смущало Илью и семью княгини: они не имели дальнейших сведений о Мите Усове. Было только известно, что он встретил авангард армии Багратиона где-то за Витебском и что впоследствии, при каком-то отряде, участвовал в бою под Салтановым. Но Митя ли ленился писать или в походной суете терялись его письма, ничего более о нем не было известно.

– И впрямь влюбился на походе в какую-нибудь полячку, ну и завертелся! – утешала княгиня Илью и своих внучек.

Время шло. Аврора чуть не ежедневно и до мелочей описывала жениху московские события: общее смущение, первые приготовления горожан к нашествию врагов, арест и высылку начальством подозрительных лиц, в особенности иностранцев, растопчинские афиши, вывоз церковной святыни, архивов и питомиц женских институтов. Она сообщала, наконец, и о состоявшемся выезде из Москвы в дальние поместья и города первых, более прозорливых из общих знакомых. Другие, по словам Авроры, еще медлили, веря слепо Растопчину, который трунил над беглецами и открыто клялся, что злодею в Москве не бывать. Народ тем не менее чуял беду и волновался. Старый лакей княгини Влас Сысоич и экономка Маремьяша твердили давно: «Надевает наша старая того, что нагрянет тот изверг и накроет нас здесь, как сеткою воробьев».

Благодаря связям и подвижности зятя Авроре удавалось большинство своих писем пе-

ресылать жениху через курьеров, являвшихся в Москву из армий, ближе и ближе подходивших от Смоленска.

XI

В половине августа Аврора написала Базилю письмо, которое тот получил во время приближения русских отрядов к Вязьме.

«Вот уже несколько дней, ненаглядный, дорогой мой, я не могла взяться за перо, – писала Аврора. – Великая новость! Бабушка наконец решилась укладываться. Суета в доме, флигелях, подвалах и кладовых была невообразимая. Сегодня, однако, вдруг стало что-то тише. Без тебя, без моей жизни, клянусь, только и утешала музыка. Я наверху у себя играла и пела, – знаешь, в той комнатке, что окнами в сад. Разучила и вытвердила данную тобой увертюру из „Дианина древа“, арию из „Jeune Troubadour“ [47] и романс Буальдьё: „S’il est vrai, que d’être heureux...“ [48]. Теперь же, очевидно, уже не до того. Прощайте, арии, восхитительные романсы и дуэты, которые мы с тобою распевали. Скоро прощусь и с любимой моею комнатой, где переживалось о тебе столько мыслей. О моя комнатка, мой

рай! На днях я говела в церкви Ермолая; ах, как я молилась о тебе и обо всех вас, да пошлет вам господь силу и одоление на врагов! К Растопчину являлся некий смельчак Фигнер, великий ненавистник Наполеона, с каким-то проектом – разом, в один день, кончить войну. Граф советовал ему обратиться к военным властям. Вокруг нашего дома грузятся наемные и свои подводы – все уезжают; чисто египетское бегство. Прежде других скрылись наши неслужащие, светские петиметры. По полторы тысячи и более переполненных карет и колясок в сутки, по счету на гауптвахтах, покидают Москву. Наемные подводы сильно вздорожали. Наш сосед Тутолмин за ямскую тройку заплатил на днях триста рублей всего за пятьдесят верст. Архаровы уехали в Тамбовскую, Апраксины – в Орловскую губернии, Толстые – в Симбирск, а бедненьких институток вывезли на перекладных в Казань. По слухам, Ярославль и Тамбов так уж переполнены нашими беглецами, что скоро, говорят, не хватит и квартир. Уехали, знаешь, те – „князь-мощи“ и „князь-моська“, – словом, почти все. Я уже тебе писала, что Кса-

ню с ребенком в начале Успенского поста Илья отослал в бабушкину тамбовскую деревню Паншино. Сам же он еще остался здесь, на службе, как и все прочие сенатские. Им почему-то еще нет разрешения ехать. Но и в деревнях, особенно ближних к Москве, говорят, небезопасно. Крестьяне волнуются и, вместо охраны покинутого господского имущества, делят его между собой и разбегаются в леса. На днях пьяные мужики встретили, при выезде из Москвы, Фанни Стрешневу с кучей ее крошек, – помнишь, еще такие хорошенькие, ты ими любовался на бульваре, – окружили карету и кричали с угрозами: „Куда, бояре, с холопами? Или невзгода и на вас? Москва, что ли, не мила? Ну-ка вылезайте, станете и вы лапотниками!“ Ужасы! Если бы не денщики, одного раненого полковника, которые, по приказу его, вмешались и разогнали дикий сброд, неизвестно, чем кончилось бы дело. Я тогда же это осторожно передала бабушке. Она сильно испугалась и уже было велела готовить дормез и позвать священника, чтобы служить напутственный молебен, но раздумала, отправила через Ярцево в Паншино

только часть подвод с главными вещами, а сама ехать отсрочила. Все убеждены, что слухи о нашествии на Москву неверны, и, повторяя чью-то фразу об отступлении наших армий: „*Nous reculons, pour mieux sauter!*“ („Мы отступаем, чтобы лучше броситься!“) – не изменяет образа своей жизни. Я ей вслух прочла новый, здесь полученный памфлет мадам де Сталь, которая, кстати, неожиданно появилась в Москве и на днях, удостоив бабушку заездом, целый вечер у нас проговорила, и так умно, что, хотя у меня от ее оживленных речей разболелась голова, я не могла от нее оторваться ни на минуту. Она в восторге от России и уподобляет нас произведениям Шекспира, в которых все, что не ошибка, возвышенно, и все, что не возвышенно, ошибка. Бульвары пустеют. Полны только трактиры. На прошлой неделе в ресторации Тардини, а потом в трактире Френзеля посетителями-купцами были избиты какие-то штатские за то, что один из них вслух заговорил с товарищем по-французски, а другой, очевидно в нетрезвом виде, намекая на высылку Растопчиным почт-директора Ключарева, выразил-

ся: „Вот так дела!.. генерал генерала в ссылку упрятал!“ Бабушка, узнав об этом, слегла тогда в своей молельне и весь день принимала капли; когда же я ей намекнула, что благодаря извергу Наполеону далее у нас может быть еще хуже, она возразила: „Слушай же, Аугоге! Я знаю Бонапарта; не раз видела его у дочери его министра Ремюза и даже с ним разговаривала лично. Это, повторяю, человек судьбы! вот его истинное определение! Он истинный гений и никогда низким грабителем и разбойником не был, как его изображает твой идол, эта трещотка госпожа Сталь, и грубые растопчинские афиши, хотя оба – и мадам де Сталь, и граф, не спорю, даровиты и остры. Не для того же, в самом деле, послушай, Наполеон, наверху славы, ведет сюда громаду Европы, чтобы обидеть здесь, в моем московском доме, меня, беззащитную старуху, да притом еще свою добрую знакомую! И Кутузов не допустит... Я нездорова, – прибавила мне бабушка, – разве не видишь? Карл Иванович дал новое лекарство... надо же посмотреть, как подействует; а в деревне, в глуши, кто поможет? И не доеду я живую в такую даль!“ Словом, до-

рогой мой, мы доныне не двигаемся, молимся, готовим корпию и мысленно следим за вами. Еще слово. Илья Борисович, по совету нашего можайского предводителя Астафьева, собирается на днях в Любаново, чтобы отправить и оттуда кое-что, более ценное, в Тамбовский или Коломенский уезды, и полагает, с тою же целью, проехать и в Новоселовку. Все утверждают, что эти деревни на пути врагов к Москве. Но как бы мне хотелось, чтобы бабушка отпустила с ним в Любаново и меня! В два дня на подставных можно легко возвратиться. Зато, если там услышу, что и твой отряд близится к Москве, кажется, не утерплю и без спроса, хоть верхом, брошусь встретить тебя и, если суждено, умереть за родину вместе с тобой. Голубчик Барс, отчего ты не в Любанове? Ну прощай, прощай... О, когда же наконец настанет час нашего свидания? Когда увижу тебя, мой дорогой, милый воин, когда налюбуюсь тобой? Береги себя для отечества и для любящей тебя Авроры».

Накануне Успеньева дня, вечером, в глубине двора княгини Шелешпанской экономка

Маремьяша разговорилась с старым камердинером Власом. Они стояли у двери каменной кладовой, отделявшей часть сада от двора.

– Дожили мы до пределов божьего гнева! – произнес Влас Сысоич, заглядывая в дверь, которую почему-то придерживала экономка. – Служи, а тут и твоя худобишка в прах пропадет.

– А ты где был?

– Известно где, безотлучно-с в передней!.. Не уложил ни алой позументной ливреи, ни выездной шубы... ничего!

– Тебе бы, аспид, только лежать да нюхать свой табачище, мы же вон сбились с ног... Заделывай, Ванюша! – крикнула кому-то экономка в дверь. – Вот скажу княгине, что лезешь; снимет она с ножки башмачок и отшлепает тебя... незнакомо, что ли?

В сарае с минувшего дня укрывались от посторонних два нанятых каменщика. Они, тайно от посторонних, под надзором дворника Карпа, вывели поперек кладовой, от пола до крыши, новую, глухую кирпичную перегородку. За эту перегородку Маремьяша с надежными из дворни успела, с разрешения

княгини, спрятать из более дорогой и громоздкой рухляди то, чего не увезли первые подводы.

– Маремьяна Дмитревна, уж уважьте, – не переставал упрашивать Влас, повертывая в руках объемистый узел.

– Что тебе? Говори...

– На смерть себе готовил... демикатоновый редингот, опять же новые сапоги, камзол, ну... и, как следует, чистую пару белья.

– Так вот твои холопские лохмотья и буду класть поверх барышниного приданого! На то, видно, его копили и хранили.

– Растащут, изверги, как придут; дайте похристиански помереть. Княгиня не верила, все толковала: болтовня! А я сколько уговаривал, да и вы тоже.

– Уговаривал! Все вы теперь такие. А по моему, не спрятал, не спас, – лучше сжечь, чем им, проклятым, доставаться. Ну, старый сластун, давай...

Экономка небрежно бросила каменщикам узел Власа.

– И наше, Маремьянушка, светик! – прощамкал у двери восьмидесятилетний слепой

гуслист Ермил, живший здесь при дворе и давно уже не сходивший с печи.

– И наше! и мы! – отозвались голоса подошедших к кладовой главных горничных, Дуняши, Стеши и Луши, и состоявшего в штате княгини крещеного арапчонка Варлашки.

– Эх их! Ну, куда мне с вами теперь? Еще кто? Давайте! – с досадою крикнула Маремьяша, успевшая между тем ранее других припрятать все свои нужные вещи. – Сами кладите, да скорее. А вы, ребятушки, – обратилась она к каменщикам, – так замуруйте, чтоб и виду не было свежей кладки! Спереди навалим мешков с мукою и овсом; сена и соломы, коли надо. А стенку ведите до крыши, под самый конек.

Маремьяша не удовольствовалась тайником в кладовой. Длинный и сторбленный, вечно кашлявший дворник Карп, с бледным, покрытым пегими пятнами лицом и с такими же пегими руками, следующей ночью, по ее указанию, вырыл с садовником еще огромную яму в саду, за овощным погребом, между лип, натаскал туда новые вороха барского и людского добра, застлал яму досками и при-

крыл ее сверху землей и дерном. Садовнику было велено ежедневно, во время поливки цветов, поливать и этот дерн, чтобы трава не завяла и не выдала ямы, устроенной под ней.

Последнее из писем Перовского к Авроре, от двадцатого августа, с бивака у Колоцкого монастыря, доставил адъютант Кутузова, приехавший в Москву за скорейшею присылкою врачей. Базиль извещал невесту, что армии приказано наконец становиться на позицию перед Можайском и что все этому сильно рады, так как теперь уже несомненно ждут генеральной баталии. «Но приготовься, — писал Базиль, — услышать горестную весть, которая меня как гром сразила. Бедный Митя Усов, как я сейчас узнал, опасно ранен осколком бомбы в ногу в деле на реке Осме. По слухам, его отправили с фельдшером, в коляске раненого князя Тенишева, в Москву. Сообщите это скорее Илье; встретьте бедного, пригласите заранее Карла Ивановича, если и его с другими врачами не взяли у вас из Москвы. Друг души моей! Отрада моей жизни! Увидимся ли мы с тобою, увидимся ли с ним еще

на этом свете? Наш Митя Усов ранен! Этот румяный, кудрявый мальчик! Не верится... Вот оно, начинается!.. Спаси тебя, его и всех вас господь! Твой В. Перовский».

Это письмо уже не застало Авроры в Москве. Она за сутки перед тем уехала с Тропининым в Любаново.

Арапчонок Варлашка подал княгине на подносе письмо Перовского.

– Мать пресвятая богородица! Французы у Можайска! – вскрикнула Анна Аркадьевна, пробежав письмо и роняя его с очками на пол. – А она, безумица, поблизости к врагам, в Любанове... Ранен Митенька! Маремьяша, Влас! Где мои очки? Кучеров сюда! спешите!.. спасайте! барышню в полон возьмут!..

XII

Через неделю после Успения няня Арина с внучкой Феней поздно вечером сидела на крылечке новоселовского дома Усовых. Староста Клим и кое-кто из стариков и молодых парней мелкопоместной деревушки сидели тут же, на ступеньках. Убирая свой и господский хлеб, крестьяне замешкались и, ввиду противоречивых слухов, не решались ухо-

дить вслед за другими. Сидя здесь, они толковали, что вести идут нехорошие, что битвы, по молве, происходят где-то уже недалеко и как бы враги вскорости не нагрянули и в Новоселовку. Кто-то, проезжавший в тот день из окрестностей Вязьмы, сообщил, что там недавно уже слышали громкую, хотя еще отдаленную пушечную пальбу.

– Ведь вот барина старого нет, он за Волгой. Что делать? – толковали крестьяне. – Приказу от начальства уходить тоже нету; как тут беречь господское и свое добро?

– Да и куда и с чем уходить? – сказал кто-то. – Татариновцы двинулись, а их свои же в лесу, за Можайском, и ограбили.

– Надо ждать, ох, господи, – объявил Клим, – без начальства и уряда не будет; объявятся, подождем.

В тот день Арина что поценнее перенесла в амбары и в кладовые. Часть вещей, которых она пока не успела спрятать, лежала у ближней кладовой, на траве.

Давно стемнело. Месяц еще не восходил.

– А что, бабушка Ефимовна, скажу я тебе слово! – прокашливаясь, отозвался с нижней

ступеньки подвижной и еще не старый, хотя совершенно лысый мужичонка Корней, ходивший по оброку не только в Москву, но и в Казань и даже в Петербург. – Не обидитесь?

– Говори, коли не глупо и к месту, – с достоинством ответила Арина.

– Слыхать, бабушка, – начал Корней, – быдто Бонапарт так только Бонапартом прозывается, а что он – потайной сын покойной царицы Екатерины; ему матерью было отказано полцарства, и он это пришел ныне судить за своего брата Павла, царевого отца.

– Толкуй, дурачина, пока не урезали языка, – притворно зевнув, возразил староста Клим. – Статочное ли дело? Эка брешут, собачьи сыны!

– Право слова, дяденька... и быдто того Бонапарта бояре, до случного часа, прятали, держали в чужих землях, а ноне и выпустили... он всему свету и объявился... идет за брата судить.

– Эй, не ври! – важно поглаживая бороду и взглянув на Арину, сурово перебил Клим. – Кругом такая смута, врага ждут, а они...

– На что же его выпустили? – с некоторою

тревогой спросила Ефимовна.

– Отдай, мол, мою половину царства, – продолжал рассказчик, – а тебе будет другая; и я, мол, в своей освобожу мужиков... отдам им всю землю и все как есть вотчины... и быдто станем мы не царскими слугами, а Бонапартовыми... вот убей, толкуют!

– Ну, влепит тебе, Корнюшка, исправник, как наедет, и я скажу! – произнесла, вставая и оправляя на себе платок, Арина. – Вот так-то, прослышав, наспеет невзначай, да и гаркнет: «А где тут Бонапартовы подданные? Давай их сюда!» Ну, тебя первого под ответ и возьмет.

Мужики, почесываясь, замолчали. Слышались только вздохи да движение на ступенях стоптанных лаптей.

– А постой, дяденька, постой, – отозвался кто-то, – из-за мельницы, – бабушка быдто колеса... чуть не на лесорах...

Все замерли, вглядываясь в темноту. Стали действительно слышны звуки колес, медленно подъезжавших к двору.

– Феня, свечку! – крикнула Арина, бросаясь в дом. – Клим Потапыч, отворяй ворота... так и есть, наш исправник... Не то телега, не то,

кажись, его бричка...

Когда Ефимовна и Феня со свечами снова явились на пороге, у крыльца стояла сильно запыленная крытая телега. Мужики, в почтительном молчании, без шапок, окружали кого-то бледного, неподвижно лежавшего на соломе, в телеге. Клим, жалобно всхлипывая, целовал чью-то исхудалую руку, упавшую с соломы. Арина поднесла свечу к лицу подъехавшего и, ахнув, чуть не упала.

– Митенька, родной ты мой! – вскрикнула она, глядя на лежавшего в телеге.

– Узнала, голубушка, – раздался чуть слышный, детски кроткий голос, – ну, вот и довезли... Слава богу, дома! А уж я просил, боялся, не доеду... Воды бы, чайку!.. Жажда томит...

В телеге был раненый Митя Усов. Мужики, пошептавшись с Климом, бережно внесли его в комнаты. Более же всех суетился и старался, неся молодого барина, говоривший о Бонапарте лысый Корней.

– Так это – Митрий Миколаич? Бедный! Ну, точно с креста снятый! – говорил он, выйдя в девичью и утирая слезы.

– Мы двух везли, – толковал здесь Климу

фельдшер, умываясь, – подполковника тоже, князя Тенишева; сперва ехали в князевой коляске...

– Где же князь-то? – спросил Клим.

– Сложили в Гжатске, помер... ваш про то и не знает, думает, что того велено сдать в госпиталь... коляска же обломалась, насилу нанял мужичка довести.

– А наш ангел будет ли жив? – несмело спросила Ефимовна. – Молодой такой, красавчик, мой выходимец! Вот неожиданное горе, вот беда! И за что погубили дите?

– Будет жив, – ответил фельдшер, как-то смущенно глянув в сторону красными от бессонницы и пыли глазами. – Рана тяжела, ну да господь поможет... добраться бы только до Москвы: там больницы, лекаря.

Арина, глянув на образ, перекрестилась, крикнула еще кое-кого из дворовых баб и с засученными рукавами принялась за дело. Комнаты были освещены. На столе в зале запыхтел самовар. Наумовна достала из кладовой и взбила на кровати покойной барыни пуховик и гору подушек, велела внести кровать в гостиную, накрыла постель белой простыней и

тонким марселевым одеялом, освежила комнату и покурила в ней смолкой. Сюда она, с помощницами, перенесла и уложила Митю. Фельдшер обмыл его страшную, зияющую рану, сделал перевязку и надел на больного чистое, вынудое няней и пахнувшее калуфером и мятой белье.

Митя все время, пока готовили ему комнату и делали перевязку, был в лихорадочном полузабытьи и слегка бредил. Но когда он выпил стакан горячего, душистого чаю и жадно потребовал другой с «кисленьким» и когда покрасневшая седая и полная Ефимовна принесла и подала ему к чаю его любимого барбарисового варенья, глаза Мити засветились улыбкой бесконечного блаженства.

Он дал знак рукой, чтоб остальные, кроме няни, вышли.

– Голубушка моя, нянечка! – произнес он, хватая и целуя ее загорелую, черствую руку. – Смолка, калуфер... и барбарис!.. Я опять в родном гнезде... Боже! как я боялся и как счастлив... удостоился! Теперь буду жить, непременно буду... Где он? Где, скажи, Вася Перовский?

– Известно где: в походе, родимый, там же, где был и ты, – ответила, вглядываясь в своего питомца, Арина, – как уехал с тобой, два месяца о вас слуху не было, спаси вас мать божия!

– Два месяца! – удивленно воскликнул Митя. – Кажется, было вчера.

Он закрыл глаза и помолчал.

– Еще, няня, чайку... Вот, думали мы с Перовским, поживем здесь осенью, – произнес Митя, окидывая глазами окружающее. – Ах, это кровать мамы!.. Хорошо ты придумала, нянечка... Где батюшка? Уж, видно, не видаться мне с ним... Где Ильюша и что Аврора Валерьяновна, невеста Перовского?

– Батюшка в Саратовской губернии, у родных, а Илья Борисович, слышно, в Москве. Из Любанова же сказали, что он эти дни собирался туда – распорядиться тамошним добром. Ведь тамotka какая усадьба – дворец, а всякого устройства, припасов и вещей сколько! Да слышно, что и барышня Аврора Валерьяновна собиралась с ним туда же. А Ксения Валерьяновна с дитей в Паншине.

– Ах, няня, голубушка, пошли, – заговорил

Митя, – в ночь сегодня... недалеко ведь; пови-
дать бы... Видишь ли, отца нету, я попросил
бы у нее благословения... Ведь это помогает...
она же такая богомольная, добрая... а я, няня,
надо тебе сказать... то есть признаться... ведь
еще ранее Перовского ее так полюбил...

– Что ты, что ты, голубчик! Господь тебя
спаси! вот дела! – воскликнула, крестясь, Ари-
на. – А в Любаново, отчего ж, можно послать,
с охотой...

Арина, отирая слезы, вышла. Послали за
сыном ключницы, Фролкой. Тот вскочил на
водовозку.

– Да смотри, пучеглазый, на овраги-то, –
наставлял его Корней, – барский ведь конь, а
темень какая.

Митя, напившись чаю, тихо и сладко за-
снул. Ефимовна погасила свечу и при свете
лампадки, не смыкая глаз, просидела у его из-
головья всю ночь. Перед рассветом раненый
стал метаться.

– Что тебе, Митенька? воды? неловко ле-
жать?

– На батарею!.. Целься прямо... идут! – гово-
рил Митя в бреду. – Вон, с конскими хвостами

на касках...

Няня перекрестила его и тронула за голову и руки. Больной был в сильном жару. После боя и выстрелов ему пригрезился весенний вечер в поле. Он с Авророй мчался куда-то на лихом аргамаке и все стремился ее обнять. Она ускользала. Он шептал: «Аврора, Аврора, это я, посмотри!» Ефимовна, видя метание больного, разбудила фельдшера, спавшего на стульях за дверью.

– Что с ним? – спросила она шепотом, глядя на осунувшиеся, покрытые багровыми пятнами щеки Мити.

Фельдшер, подойдя к больному на цыпочках, посмотрел на него и молча махнул рукой, как бы говоря: «Ничего, оставьте его; все идет как следует; я тут останусь и досмотрю».

Успокоенная Ефимовна перекрестила Митю и вышла.

Близился рассвет. Фролка возвратился из Любанова. Илью Борисовича и барышню Аврору Валерьяновну там ждали на другой день к вечеру.

Арина решилась обрадовать этим Митю, когда наступит утро.

«Пусть спит, сердечный, во сне полегчает, даст бог! – думала она. – Напьется опять утром чаю, покушает, а там подъедут и из Любанова».

Натоптавшись с вечера и ночью в кладовых, в погребе и в амбаре, Ефимовна прикорнула где-то в сенях и уснула. На заре она вошла в дом. В комнатах было тихо. Старуху удивило, что фельдшер, вопреки его словам, находился не в спальне при больном, а в девичьей. В окно брезжил рассвет. Приготовленные к перевязке бинты и корпия лежали здесь нетронутыми. Фельдшер, боком прислонясь к окну, как бы что-то рассматривал в посветлевшем дворе.

«Вот странно! – тревожно подумала Арина, заметив, что плечи фельдшера вздрагивали. – Не то он плачет, не то... неужто спозаранку выпил?» Она даже покосилась на шкаф с бутылками настоек и наливок: дверки шкафа были заперты.

Няня, в раздумье, направилась в комнату Мити.

– Не ходите! – как-то странно шепнул сзади ее фельдшер. – Или нет, все равно, идите...

Арина с необъяснимым страхом вошла в гостиную.

Митя тихо лежал здесь, закинув руку за красивую в светло-русых кудрях голову. Его странно заострившееся миловидное лицо, с чуть видными усиками и пробивающеюся бородкой, точно улыбалось, а полуоткрытые голубые глаза пристально и строго глядели куда-то далеко-далеко, где, очевидно, было столько нездешнего, чуждого людям счастья.

XIII

Комнаты огласились плачем. Митя Усов скончался.

В зале, на том же столе, где с вечера гостеприимно пыхтел самовар и пахло калуфером и смолкой, лежал в мундире покойник. Плотники в сарае ладили гроб.

Ожидали из Бородина старика священника, который крестил Митю и подарил ему голубей. Покойника уложили в гроб; в головах зажгли свечи. Ефимовна, впереди крестьян, с горьким плачем молилась, простираясь перед гробом. Заходившее солнце косыми лучами светило в окна залы. Русые и черные головы бородатых и безбородых крестьян усердно

кланялись в молитве.

«Соколик ты мой, не пожил, – думала Арина. – И ружье по твоему заказу наладили, и пистолеты... Вырыли яму тебе в саду, где ты ребенком бегал, тут же, невдали от дома, на холму... далеко с него будет видна твоя могилка...»

Нанятый фельдшером до Москвы возница во дворе ладил обратно свою телегу. Фельдшер рассчитывал добраться к ночи до Колоцкого монастыря, чтобы оттуда возвратиться к наступавшей армии. Подъехал священник. Начали служить панихиду.

За деревьями, у мельницы, в это время показались какие-то всадники. Мелькали лошади, пики, кивера.

– Батюшки светы, французы! – крикнул кто-то во весь голос у сарая.

Поднялась суета. Дали знать в дом. Крестьяне, выбежавшие оттуда на крыльцо, увидели во дворе кучку военных. То были казаки. Впереди их ехал усатый, седой и плотный, с черными бровями, саперный офицер.

– Кто здесь хозяева? – окликнул офицер мужиков. – Доложите господам.

– Старик хозяин, ваша милость, за Волгой, а молодого привезли раненого из армии... утречком кончился здесь! – ответил Клим с поклоном. – Это служим панихиду...

Офицер набожно перекрестился.

– Ишь крестится, – шептали мужики, – не француз, нашей веры.

Офицер слез с коня и с казачьим урядником вошел в дом.

По окончании панихиды он отозвал Клима в сторону.

– Ты староста?

– Так точно-с, – ответил, гордо выпрямляясь, Клим.

– Ну, вот тебе, староста, приказание, – негромко объявил офицер. – Скоро, может быть, даже завтра... здесь, в окрестностях, явится вся наша армия... будет большое сражение.

Клим побледнел и понурил голову.

– Усадьба ваших господ не на месте, – продолжал офицер, – ее велено снести... Да ты слушай и сообрази – велено немедленно... сегодня же... На том вон холме, у Горок, поставятся пушки, будет батарея, может, и боль-

шой редут... а дом и усадьба ваших господ – под выстрелами, будут мешать... понял?

– Не на месте! Под выстрелами! – удивленно, топчась ногами, проговорил сильно озадаченный Клим. – Но куда же снести и легкое ли это дело?

– А вот увидишь, – строго проговорил сапер, сдвигая черные кустоватые брови.

– Наши же хибарочки, избы? Всего семь дворов... куда их? Экий разор!

– Ваши внизу, под горой: посмотрим, может, еще и останутся.

– А покойник? – спросил, озираясь, Клим.

– Отпеть, да с богом и хоронить. Только живее! смеркает! – торопливо заключил, не глядя на него, офицер. – Прежде же всего удали баб... этого вою чтоб поменьше...

Клим объявил приказ Арине. Убитая горем, растерянная старуха остолбенела.

– Батюшка, ваше благородие, – вскрикнула она, падая в ноги офицеру, – не разоряй! Мне заказан господский дом; может, они, лиходеи, и так еще уйдут... Куда вынести, где спрятать экое господское добро? Сколько накоплено, нажито! Отцы ихние, матери хлопотали...

Офицер, с досадой подергивая усы, отозвал в конец залы священника и фельдшера. Размахивая руками и сердито смотря куда-то в сторону, как бы грозя там кому-то, он переговорил с ними и вышел. Священник велел дьячку опять зажечь свечи и облачился. Началось отпевание. Покойника наскоро вынесли и опустили в могилу. Пока его зарывали, велели запрячь старую господскую бричку, одели обеспамятевшую Арину в шубейку, посадили ее в бричку с Феней и с фельдшером и отправили в Любаново. Близился вечер.

– Там тебе, бабушка, будет спокойнее, – утешал ее фельдшер, – с богом! Я вас туда провожу. Господа сберегут вас, а то село, слышно, в стороне, не под пушками...

– Жгите, голубчики, жгите, коли на то воля господня! – причитывала, уезжая, Арина. – Не один усовский дом погибнет; всем нам гибель и смерть...

Бричка и телега спустились в околицу.

– Ну, а теперь ты, староста, и вы, ребята, слушать! – обратился офицер еще строже к Климу и мужикам. – За работу, да живее... выносите, прячьте, куда знаете, добро вашего

господина, да и ваше... сроку вам час, много два... а там соломы, огня!

– Родимые, да что же это, – заголосил кто-то из толпы мужиков, – толковали о врагах, а тут свои...

– Бунтовать? – крикнул офицер. – Против воли начальства? А виселица? Ларионов, вяжи его!..

Казачи и саперы рассыпались по двору. Мужики бегали, не помня себя от страха, и выносили разную кладь. Сверкнул огонь. Кто-то с пучком пылающей соломы побежал в сенник. Загорелся скотный двор. Дым укрыл взгорье. Бабы и дети неистово голосили.

Становилось темно. От Любанова лесистым косогором к Новоселовке в это время мчалась на ямских небольшая городская карета. В ней сидели Илья Тропинин и Аврора. Дорогу и ближайшие окрестности еще было видно. Оба путника молчали. Им попадались навстречу одинокие и кучками казаки, осматривавшие окрестность. До Новоселовки оставалось версты три. Еще ее не было видно за густым лесом. Илья, не обращая внимания на

казаков, думал о раненом Мите, Аврора спрашивала себя:

«Если Митя так опасно ранен, что с Базилем? Он так стремился; уже начались сражения...»

– Что это, будто зарево впереди? – вдруг спросила Аврора.

Илья выглянул из кареты.

– Так и есть! Ямщик, – крикнул он в окно, – где это горит? Не в стороне ли Новоселовки?

– Должно, там... захотелось, видно, бабам свежего хлебушка, ну, овин... и не убереглись.

Лошади пробежали еще несколько минут. Лес кончился. За ним открылась зеленая, пересеченная холмами долина; за долиною синели новые леса и холмы. На одном из пригорков широким пламенем, далеко распростирая зарево, пылало несколько зданий. Крылатая мельница, еще не вполне охваченная пламенем, чернела среди клубов дыма и огненных полос. Над нею в искрах металась и вились тучи голубей.

Снизу из долины слышался стук колес; на дороге, между кустов, показался экипаж.

– Ох, ох! соколики! – жалобно причитывал

женский голос. – Родимые решились... конец свету!..

То были Ефимовна и Феня с фельдшером. Их остановили, осыпали расспросами. Илья был поражен, едва стоял на ногах. Учившийся под его наблюдением, его любимый крестный брат и друг так нежданно скончался. Слезы катились из его глаз. Он то крестился, то извергал проклятия на французов.

– Вот она, вот... я всегда предрекал, роковая необходимость! – проговорил он, сжимая кулаки. – Цивилизованные варвары, узаконенный разбой!

Аврора усадила Арину с собой, Феню на козлы с кучером, а фельдшера на запятки и еще раз взглянула на пылавшую новоселовскую усадьбу.

«Необходимость, – мыслила она, содрогаясь, – уставы, законы войны... Но кому было нужно и чем вознаградят, искупят смерть этого молодого, прекрасного, над кем теперь это зарево? Проклятия злодею, измыслившему эту войну! И неужели на него, как на его предшественника Марата, не найдется новой смелой Немезиды, новой Шарлотты Корде?»

Карета помчалась обратно по полю, к которому в наступившую ночь, по обеим сторонам старой Смоленской дороги, уже надвигалась и становилась на позиции вся русская армия.

Платя без счета вольным и почтовым ямщикам, Тропинин к обеду следующего дня добрался с Авророй, Ефимовной, Феней и фельдшером до Москвы. Едва войдя к княгине, он объявил, что долее медлить невозможно. Подъезжая к Москве, он и Аврора со стороны Можайска уже слышали за собой раскаты сильной пушечной пальбы. Анна Аркадьевна, выслушав рассказ Мавры, стала было опять под разными предлогами медлить.

– Ну что же, французов разобьют, прогонят! – говорила она.

Илья вышел из себя.

– Это безрассудно! – вскрикнул он. – Умоляю вас, grand'maman[49], немедленно уезжайте, иначе будет поздно, вас прямо захватят в плен, ограбят, напугают, убьют.

– Ах, mon cher[50], – ответила с недовольством княгиня Шелешпанская, – уж и в плен!

Меня-то, старуху? Впрочем, хороший мой, зови священника, будем служить молебен... Только нельзя же так прямо, без совета с врачом. Пошли за Карлом Ивановичем... Все может стать в пути, ну, хоть бы гроза...

– Но какая же, бабушка, гроза осенью, в конце августа? – отозвалась Аврора.

– Не твое дело... бывают случаи и в сентябре... Ты же, Илюша, поезжай к графу Растопчину и спроси его, дозволены ли подобные дела, как с Новоселовкой, хоть бы и на войне? Я напишу к государю; он знал и помнит моего мужа... Кутузов ответит за все.

XIV

Вечером двадцать пятого августа, накануне Бородинского боя, главная квартира князя Кутузова находилась на Михайловской мызе, при деревушке Астафьевых, Татариновой, в четырех верстах от Бородина. Здесь под ночлег старого фельдмаршала был отведен брошенный хозяевами небольшой, в один этаж, но весьма удобный господский дом.

Ручей Стопец, впадающий в реку Колочу у Бородина, отделял Татариново и Михайловскую мызу от лесистых высот, на которых ко-

мандир правого крыла армии Милорадович расположил для предстоящей битвы свои отряды. Отсюда в сумерках влево за ручьем, у деревни Горок виднелись на холмах огражденные завалами батареи, а невдали от них белели палатки пехоты, егерей и артиллерии Багговута. Далее, вправо, из-за березового леса поднимались дымки с костров драгунов, гусаров и уланов Уварова, спрятанных в запасе у склонов к соседней Москве-реке. Прямо против Татарина и Михайловской мызы, в полуверсте за ручьем, на пригорке, среди просеки, виднелись коновязи и слышался говор казачьих полков Платова.

Была тихая, несколько сырая и холодная погода. Солнце зашло, но сумерки еще не сгустились.

Перовский, состоявший с его прибытия в армию Барклая в колонновожатых правого крыла этой армии, при отряде генерала Багговута, только что подъехал с бивака второго пехотного корпуса, у Колочи, в деревню Горки, где с двумя другими свитскими офицерами и штабным доктором прохаживался по выгону у небольшой крайней избы. В этой из-

бе была квартира командира правого крыла Милорадовича, который теперь совещался с приглашенными к нему Уваровым и Багговутом. Казаки поодаль держали под уздцы оседланных генеральских и свитских лошадей. Офицеры, прохаживаясь, не спускали глаз с окон и двери избы. Перовский в небольшую зрительную трубку посматривал на голубоватые очертания возвышенностей за Колочей.

– Итак, мы стали наконец, стоим, и, кажется, твердо! – сказал, пожимая плечами, худой высокий и пожилой офицер в старом мешковатом мундире. – Конец отступлениям.

– Ну конец ли еще, бог весть, – возразил другой офицер, помоложе.

– Разумеется, – продолжал первый. – Князь, вы слышали, бесповоротно решил завтра принять генеральную баталию...

– Что же? – произнес второй офицер, недавно переведенный в штаб. – Как вы к этому относитесь?

– Исполним веления долга, – ответил первый, сосредоточенно-важно глядя перед собой. – Мне что? Была забота о семье... а теперь жена успокоилась; представьте, пишет из

Твери, что какие-то странники напророчили заключение мира ко дню Михаила, к князевым именинам.

– Так-то так, – проговорил приятным, мягким голосом доктор, полный, румяный и красивый мужчина средних лет, в опрятном мундире и треуголке, – мир миром, когда-нибудь придет, а завтра недосчитаемся многих.

– На то воля божья, – тихо сказал пожилой офицер. – Веет крыло смерти, как говорит Фингал, но не всех оно задевает.

– И что неприятно, – продолжал доктор, – во всем непорядок; загремят сотни пушек, а у нас – не говорю уже о недостатке кирок для батарей, даже лопат, – ополченцы наполовину без работы; в госпиталях ни носилок, ни корпии, ни бинтов... Палатки в дырках. Какво больным спать на сырой земле и в болотах? А ночью холод. Хочу вот опять все передать генералу.

Пожилой офицер досадливо покачал головой. Он, начитанный, любивший поэзию и скромный, все это отлично знал и терпеливо сносил; но также знал он и то, что неженка и любитель всего прекрасного и приятного,

доктор Миртов умудрился в походе не только возить с собой на вьюке небольшую, отлично приспособленную для себя палатку, но при ней даже удобную постель с мягкой периной и теплым, стеганным на вате одеялом.

– Что вы это все смотрите за реку? – спросил пожилой офицер Перовского. – Не двигаются ли французы?

– Нет, там спокойно, – ответил Базиль, – но вправо от Бородина, я помню, была одна усадьба... Три месяца назад я из нее уехал в армию. И странно: внизу, у реки, вон, виден поселок, а выше его, на горе, стоял еще дом, были разные службы и мельница. Теперь смотрю – и их не вижу.

– Вероятно, их снесли, – сказал пожилой офицер, – эта гора – под выстрелами наших батарей; часть Семеновки сзади нас, слышно, тоже для чего-то сломали. Возьмите мою трубку, – прибавил офицер, снимая с перевязи длинную раздвижную трубку, – моя из Вены, от Корта... все увидите как на ладони.

Перовский навел поданную трубку за реку, отыскивая взгорье, на котором, как он помнил, стояла новоселовская усадьба Усовых.

Перед его глазами, в туманной полумгле, мелькали неопределенные очерки оврагов, лесных порослей и холмов. Знакомой усадьбы он не находил.

Дверь избы в эту минуту отворилась. На ее пороге показались стройный Уваров и рыжий, в веснушках и бакенбардах, Багговут. Доктор подошел к последнему, рапортуя о недостатке лечебных припасов. Багговут выслушал его и сказал по-французски Уварову:

– Вот, как видите, одна и та же песня, и ничего не поделаешь.

Он набросал несколько строк на клочке бумаги, вырванном из записной книжки, свернул этот клочок и усталыми глазами посмотрел на стоявших перед ним колонновожатых.

– Синтянин, – обратился он к пожилому офицеру, – доставьте это графу Бенигсену; если не будет письменного, привезите словесный ответ.

Синтянин взял обратно от Перовского зрительную трубку, бережно вложил ее в замшевый на перевязи чехол, сел на лошадь и, сторбившись, направился большой дорогой за Стопец. Уваров и Багговут поехали обратно к

своим бивакам. Перовский и доктор Миртов сопровождали Багговута.

Становилось темно. Узкая дорожка с холма от Горок спускалась в мелкий березняк; далее она опять шла по взгорью и невдали от лагеря упиралась в довольно крутой, безлесный овраг. Всадники шагом миновали березняк и, подъехав к оврагу, увидели за ним огни своих биваков. Перовский думал о тяжелой ране Мити Усова, о их недавних обоюдных мечтах жениться в этом августе и о предстоящем назавтра сражении.

– Скажите, вы боитесь смерти? думаете о ней? – спросил Миртов Перовского, когда они стали выбираться из оврага.

– Бояться не боюсь, – ответил Базиль, – а думаю иногда, особенно, признаться, теперь.

– Еще бы, вы так смело тогда на станции в Можайске приняли вызов на дуэль этого француза. Я же рассуждаю так, – произнес певучим, спокойным голосом доктор, – смерть – это во всяком случае неприятная неожиданность; но если она придет мгновенно, от паралича или, положим, от тяжелой раны в сердце или в голову, как это бывает в сражении,

чего тут бояться? Пуля или ядро свистнет – и баста, не опомнишься. Ел, пил, спал, курил и мечтал; нежданная разделка – и конец. Был Миртов – и нет Миртова...

Доктор тихо засмеялся.

– Мужайтесь, – продолжал он, – тяжела и противна смерть не от пули или ядра, а от скверной, бессильной старости или когда, положим, подцепит гнилая горячка; дома ли, в походном ли госпитале, тут одно только мучение – бессонница, бред и ужас, ужас ожиданий, особенно нашему брату – врачу, все это, отлично понимающему как свои пять пальцев... вот что гадко и тяжело...

Всадники приблизились к опушке леса, за которой расстилался лагерь.

– Не место, разумеется, в ожидании боя думать о другом, – сказал Базиль, нагинаясь в темноте от ветвей березы, мимо которой они ехали, – но не могу не заметить: громадное большинство умирает именно, как вы говорите, мучась медленно и с сознанием, от разных болезней, старости, нищеты и других зол.

– Что до меня, – сказал доктор, – странное у меня предчувствие... Представьте, мне поче-

му-то все кажется, что я умру не иначе как еще через двадцать лет, и непременно почему-то в Москве и в Английском клубе... Да, – прибавил он, смеясь, – в клубе, после вкусного обеда. Грешный человек, люблю поесть... Так вот, именно после обеда и от паралича. Трах – и кончено... Сверкнул в глазах, знаете, такие вот звездочки, потом приятный туман... что это? а ничего... был Миртов – и нет Миртова... Не хотите ли, кстати, в мою палатку? Разденетесь, протянетесь и выспитесь; у меня походный чайничек и ром, угощу пуншиком. Не мешает перед битвой.

– Нет, благодарю, – ответил Перовский, – надо к генералу; вряд ли скоро отпустит.

– Еще слово. Видели вы давеча майора Синтянина? – спросил доктор. – Угадайте, какая меня преследует мысль?

– Не знаю.

– Вы, разумеется, обратили внимание, какой он задумчивый и скучный. Ну-с, мне, представьте, все кажется, что он завтра опередит всех нас... трах – и нет его, – шутил на расставанье доктор.

Добравшись за полночь до общей штабной

палатки, Базиль нашел своего денщика, велел ему пораньше навьючить коня, улегся, не раздеваясь, на клочке сена в своем углу и долго не мог заснуть. Лагерь также еще бодрствовал.. Солдаты, осмотрев и почистив с вечера оружие, амуницию и лошадей, молились, укладывали свои узлы или сидели кучками у потухавших костров, изредка перекидываясь словом и поглядывая на небо, скоро ли рассвет. Из-под откинутой части палатки Перовскому виднелся край хмурого, беззвездного неба, а вдали, за рекой, неприятельский лагерь, на несколько верст обозначенный линией непрерывных бивачных огней. Базиль думал об этой роковой холмистой долине, на которой теперь в ожидании близкого утра стояла стотысячная русская армия в двух-трех верстах против такой же стотысячной французской армии. Тысяча орудий готовились с той и с другой стороны осыпать ядрами и картечью эту равнину и этих стоявших друг перед другом людей. Базиль усиливался решить, кто же был виновником всего этого, кто вызвал и привел сюда эти армии? Мучительно напрягая мысли, он наконец забылся

крепким, предрассветным сном.

Было шесть часов утра. Гулко грохнула в туманном воздухе, против русского левого крыла, первая французская пушка. На ее звук раздался условный выстрел против правого русского крыла – и разом загрели сотни пушек с обеих сторон. Перовский вскочил, выбежал из палатки и несколько секунд не мог понять развернувшейся перед ним картины. Вдали и вблизи бухали с позиций орудия. Солдаты корпуса Багговута строились, между их рядов куда-то скакали адъютанты. Сев на подведенного коня, Базиль поспешил за ними.

Слева, на низменности, у Бородина, трещала ружейная перестрелка. Туда, к мосту, бежала пехотная колонна. Через нее, с нашей небольшой батареи у Горок, стреляли в кого-то по ту сторону Колочи. Багговут, на сером, красивом и рослом коне, стоял, сумрачный и подтянутый, впереди всего корпуса, глядя за реку в зрительную трубку. От Михайловской мызы к Горкам на гнедом горбоносом, невысоком коне неся в облаке пыли,

окруженный своей свитой, Кутузов.

Прошла всем известная первая половина грозного Бородинского боя. Издав накануне воззвание к своим «королям, генералам и солдатам», Наполеон с утра до полудня всеми силами обрушился на центр и на левое крыло русских. Он теснил и поражал отряды Барклайя и Багратиона. На смену гибнувших русских полков выдвигались новые русские полки. Даву, Ней и Мюрат атаковали Багратионовы флеши и Семеновские высоты. Они переходили из рук в руки. Флеши и Семеновское были взяты. Вице-король повел войска на курганную батарею Раевского. После кровопролитных схваток батарея была взята. На ней, к ужасу русских, взвился французский флаг. Наша линия была прорвана. Кутузов узнал об этом, стоя с Бенигсеном на бугре, в Горках, невдали от той самой избы, где накануне у Милорадовича было совещание. Князь послал к кургану начальника штаба Первой армии генерала Ермолова. Ермолов спас батарею. В то же время Багговуту, к счастью его отряда, было велено сделать фланговое дви-

жение, в подкрепление нашего левого крыла. Багговут повел свои колонны проселочного дорогой, вдоль Хоромовского ручья, между Князьковым и Михайловского мызой. Французские ядра перелетали через головы этого отряда, попадая в лес за Князьковым. Багговут, подзвав Перовского, приказал ему отправиться к этому лесу и вывести из него расположенные там перевязочные пункты – далее к Михайловской мызе и к Татаринovu.

Перовский поднялся от Хоромовской ложбины и открытым косогором поскакал к лесу. Грохот адской пальбы стоял в его ушах. Несколько раз слыша над собою полет ядер, он ожидал мгновения, когда одно из них настигнет его и убьет наповал. «Был Перовский – и нет Перовского», – мыслил он.

Шпоря с нервным трепетом коня, Базиль домчался к опушке леса, где увидел ближний перевязочный пункт. Отдав приказание сниматься, он было направился далее, но на несколько мгновений замедлил. Перед ним были две тропинки, налево и направо, и он искал глазами кого-нибудь, чтобы спросить, как ближе проехать к перевязочному пункту

доктора Гиршфельдта.

У входа в одну из операционных палаток он узнал стоявшего перед нею, в окровавленном фартуке, Миртова. Усталый и потный, с растрепанными волосами, но, как всегда, веселый и в духе, доктор, очевидно, только что кончил трудную операцию и вышел на мгновение покурить и подышать свежим воздухом.

– Вам к Гиршфельдту? – спросил Миртов, увидя Перовского.

– Да-с, к нему, – ответил, подбирая повод, Базиль, – как туда проехать?

Доктор, продолжая курить, подошел к чьей-то рослой и красивой гнедой лошади, стоявшей в седле невдале от палатки, погладил ее красною от крови рукой и эту же испачканною рукою указал Перовскому направо.

– Счастливого пути! – сказал он. – Что же до нас, будьте спокойны, мигом снимемся и все перейдем... Видите, уже вьют фуры. А эта, – указал он Базилю на лошадь, – потеряла, голубушка, хозяина; сейчас вынули у него осколок гранаты из спины; вряд ли останется

жив. Еще, извините, слово... Федору Богдановичу скажите, чтобы воротил мой запасной инструмент, – оказывается, нужен. А мы с вами, не забудьте, через двадцать лет в московском клубе, если вас не подцепит пуля того вашего француза, Жерамба...

«Удивительное спокойствие! Шутит среди такого ада!» – подумал Перовский, отъезжая под гул и грохот выстрелов, несшихся теперь через отбитую нами курганную батарею.

Перевязочный пункт снимался. Солдаты и фельдшера вьючили телеги, двигались фуры с перевязанными ранеными. Вдруг над опушкой что-то зазвенело, гулко и грозно сверля воздух. Перовский невольно вздрогнул и склонился, ухватясь за шею коня. В нескольких десятках шагов, сзади него, раздался страшный треск и взрыв. Послышались крики ужаса. Базиль оглянулся. Густой столб дыма и песку поднимался над местом, где он за мгновение назад стоял. Операционная палатка Миртова была разметана в клочки. Ее сменила какая-то безобразно-желтая дымившаяся яма. Рослый гнедой конь, стоявший у палатки, был опрокинут и судорожно бился,

дергая в воздухе ногами. А под ним громко стонало, придавленное им к земле, что-то жалкое и беспомощное. Несколько обожженных взрывом и осыпанных песком солдат испуганно усиливались приподнять лошадь, чтоб освободить из-под нее придавленного человека. Базиль подъехал ближе и увидел разорванную одежду и белое, торчавшее из-за солдатских сапог колено, из которого фонтаном била кровь. Он бросился на помощь солдатам. Те в это время придерживали верхнюю часть туловища раненого, вытащенного ими из-под лошади.

Перовский узнал Миртова.

– Голубчики, голубчики, – путавшимся языком твердил мертвенно-бледный доктор, с ужасом глядя красивыми, потухавшими глазами на окровавленные клочья, бывшие на месте его ног, – бинтов... Егоров... перевязку...

Миртов, не договорив, упал в обморок.

Подбежавший фельдшер Егоров, присев к земле, перевязывал ему дрожащими руками вскрытые артерии.

– Кончился? – спросил вполголоса Перовский, нагнувшись к нему.

– Какое, промучится еще, сердечный... а уж где жить! Носилки! – обратился фельдшер к солдатам.

Перовский поскакал к другому перевязочному пункту.

Была снова атакована батарея Раевского. Наполеон двинул на нее молодую гвардию и резервы. Нападение Уварова на левое крыло французов остановило было эти атаки. Но к французам подходили новые и новые подкрепления. Курганная батарея была опять занята французами. «Смотрите, смотрите, – сказал кто-то возле Перовского, указывая с высоты, где стояли колонны Багговута, – это Наполеон!» Базиль направил туда подзорную трубу и впервые в жизни увидел Наполеона, скакавшего, с огромною свитой, на белом коне, от Семеновского к занятому французами реду Раевского. Все ждали грозного наступления старой французской гвардии. Наполеон на это не решился.

К шести часам вечера бой стал затихать на всех позициях и кончился. К светлейшему в Горки, где он был во время боя, прискакал, как узнали в войсках, флигель-адъютант

Вольцоген с донесением, что неприятель занял все главные пункты нашей позиции и что наши войска в совершенном расстройстве.

– Это неправда, – громко, при всех, возразил ему светлейший, – ход сражения известен мне одному в точности. Неприятель отражен на всех пунктах, и завтра мы его погоним обратно из священной Русской земли.

Стемнело. Кутузов к ночи переехал в дом Михайловской мызы. Окна этого дома были снова ярко освещены. В них виднелись денщики, разносившие чай, и лица адъютантов. В полночь к князю собрались оставшиеся в живых командиры частей, расположившихся невдали от мызы. Здесь был, с двумя-тремя из своих штабных, и генерал Багговут. Взвод кавалергардов охранял двор и усадьбу. Адъютанты и ординарцы фельдмаршала, беседуя с подъезжавшими офицерами, толпились у крыльца. Разложенный на площадке перед домом костер освещал старые липы и березы вокруг двора, ягодный сад, пруд невдали от дома, готовую фельдъегерскую тройку за двором и невысокое крылечко с входившими и

сходившими по нем. Стоя с другими у этого крыльца, Перовский видел бледное и хмурое лицо графа Толя, медленно, нервною поступью поднявшегося по крыльцу после вечернего объезда наших линий. Он разглядел и черную, курчавую голову героя дня, Ермолова, который после доклада Толя с досадой крикнул в окно: «Фельдъегеря!» Тройка подъехала. Из сеней, с сумкой через плечо, вышел сторбленный, пожилой офицер. Базиль обрадовался, увидя его: то был Синтянин.

– Куда, куда? – заговорили офицеры.

– В Петербург, – ответил, крестясь, Синтянин, – с донесением.

Тогда же все узнали, что князь Кутузов, выслушав графа Толя, дал предписание русской армии отступать за Можайск, к Москве. Наутро Перовский получил приказание состоять при Милорадовиче.

XV

Было тридцать первое августа. В этот день, с утра, у княгини Анны Аркадьевны все наконец было готово к отъезду в тамбовское поместье Паншино.

Во дворе, у флигеля, стояло несколько по-

следних нагруженных подвод, которые было решено, с необходимою прислугой, отослать вперед. На возах – с кадками, птичьими клетками, сундуками, посудой и перинами – сидели в дорожных платках, кофтах и кацавейках, щелкая орехи и посмеиваясь, красавицы Луша, Дуняша, Стеша и семь прочих подручных горничных княгини, прачки, кружевницы и судомойки. Повар и поварчонки посадили туда же и слепого гуслиста Ермила, а сами за недостатком места собирались при подводах идти пешком. В особой скрытой линейке вперед выехали главный дворецкий буфетчик, кондитер и парикмахер княгини.

К одной из телег, с запасом сена и овса, был привязан верховой конь Авроры Барс, к другой – княгинина любимая холмогорская корова Молодка и бодавший прохожих старый конюшенный козел Васька. Экономка Маремьяша предназначила себе и привезенным из Новоселовки Ефимовне и Фене особую крытую кожей и запряженную тройкой пего-чалых бричку. Туда на предварительно втиснутую и прикрытую ковриком перину, одетый в синюю куртку и алую феску арапчо-

нок Варлашка бережно поставил клетку с попугаем и в корзине с пуховой подушечкой двух комнатных болонок княгини Лимку и Тимку.

Сама Маремьяша давно все уладила; но, простясь с княгиней, еще ходила из комнаты в комнату, охая, всех торопя и не решаясь выйти. Наконец и она в дорожном чепце, с Ефимовной и внучкой последней, держа какие-то узлы и горшочки с жасмином и геранью, показалась на девичьем крыльце. Все стали креститься. Обоз, к которому присоединили еще на особой подводе походную палатку, окончательно двинулся в полдень.

Аврора утром того дня съездила в Никитский монастырь, где отслужила панихиду по Мите. Она была в черном шерстяном платье и в белой косыночке на голове. Войдя с заплаканными глазами в опустелый дом бабки и узнав, что у княгини сидит доктор, она прошла наверх в свою любимую комнату и принялась укладывать последние вещи, еще во множестве разбросанные по стульям, окнам и столам.

Что было нужно в дороге, она успела сдать

на подводы; остальное заперла в ящики шкафов и комодов, положила ключи на стол и задумалась.

«Брать ли ключи с собой? Какая я смешная: не все ли равно? – мыслила она, поглядывая на бумажки и сено, валявшиеся по комнате. – Если неприятелю суждено быть в Москве, все эти шкафы, комоды и столы будут разбиты, и грубые вражеские руки коснутся этих вещей».

На окне валялись театральные афиши. Аврора бессознательно взяла их, стала просматривать и бросила на пол. Афиши гласили, что в московском театре несколько дней назад был исполнен анакреонтический балет «Брак Зефира», а чуть не накануне того дня шла драма «Наталья боярская дочь» и после спектакля был «маскарад». Эти же афиши спокойно объявляли открытие абонеента на двести новых спектаклей с наступавшего сентября.

«Театр веселости, – с горьким вздохом подумала Аврора, – в такое время! Где совесть, где сердце у этих людей?»

Она заметила на небольшом, с бронзовой

отделкой столике у изголовья ее кровати забытую ею тетрадь любимых нот в красном сафьянном переплете. Аврора раскрыла ноты и со слезами упала на них головой.

«Видишь ли ты меня, мой далекий? – думала она, рыдая. – Где в эти мгновения ты и что с тобой?»

Ей вспомнилась поездка с женихом на Поклонную гору, последнее свидание с Базилем, вид пылавшей Новоселовки и пушечная пальба под Можайском.

«Чем кончилась грозная битва? – думала она. – Кто победил и кто жив?»

– Барышня, ее сиятельство готовы, ждут вас! – раздался в комнате голос.

Аврора оглянулась. У дверей, в смятой, давно не надеванной дорожной ливрее с гербовыми бронзовыми пуговицами и множеством воротников, стоял выбритый, раскрасневшийся и недовольный сборами слуга княгини Влас. Его седые брови были важно подняты.

– Иди, голубчик, я тоже готова, сию минуту! – ответила Аврора, закрывая ноты.

Она схватила клочок бумаги, набросала на

нем несколько строк и, сложив написанное, подумала:

«Отдам дворнику; Базиль, если господь его спас – о, я надеюсь на это! – вступив с отрядом в Москву, поспешит сюда, получит записку от дворника и будет утешен хоть этими строками».

На клочке бумаги было написано:

«31 августа 1812 года. – Мы едем, дорогой, сейчас в Паншино. До свидания. О смерти Мити ты, верно, знаешь. Я сегодня молилась о нем и поклялась... Если буду жива, если потребуются жертвы, ты увидишь, русская женщина, русская патриотка сумеет исполнить свой долг. Не забывай любящей тебя Авроры».

Надев соломенную шляпку и мантилью, Аврора спустилась с лестницы, заглянула в молельню бабки, взяла забытый здесь кружевной чепец княгини с зелеными лентами, приготовленный Маремьяшей барыне на дорогу, и медленно, через пальмовую гостиную, так памятную Авроре по первым, робким беседам с Базилем, вышла в залу, в последний раз оглядывая покидаемый дом. В зале, среди всякого сора, стояла сдвинутая с места ме-

бель, и стены были обнажены от зеркал и картин. Куранты столовых часов, не снятых в суете со стены, как и многое другое в доме, в это время, тихо позванивая, играли песню того же друга их дома, Нелединского: «Выйду я на реченьку, погляжу на быструю... Унеси ты мое горе...» Аврора, прислонясь головой к стене, опять не удержалась от слез. На крыльце она увидела московского полицмейстера. Несмотря на хлопоты, он заехал проводить княгиню.

Тропинин, решивший остаться в Москве до выезда сената и последних чинов театральной дирекции, свел плачущую Аврору с крыльца и усадил ее в дормез, против сидевшей уже здесь и вконец расстроенной княгини. Аврора передала записку дворнику. Анна Аркадьевна, простясь с полицмейстером и двумя, также провожавшими ее богомолками, никак не могла удобно поместить у своих ног, среди разных связок и укладок, поданную ей Власом ее третью, самую любимую собачку, крохотного рыженького шпица Тутика, с которым княгиня никогда не расставалась. Тутик был в зеленом шелковом одеяль-

це и с розовым бантиком на мохнатом затылке.

– Да и надоел же ты мне с твоим неумением, старый чурбан! – сердито крикнула своему любимому слуге княгиня Шелешпанская. – Мечешься, суетишься как угорелый, а все без толку.

– А если бы вы, ваше сиятельство, знали, как вы-то мне надоели! – не стерпев и мрачно захлопывая дверцы, ответил Влас.

– Как видишь! – с горечью, по-французски, произнесла княгиня, укоризненно указывая на грубияна Авроре, точно та была виной его дерзкой выходки. – Вот ныне судьба князей Шелешпанских! Они меня в гроб уложат... Где мои капли?..

– Пошел! – крикнул кучеру Влас, важно усевшись на козлы и с суровым упреком поглядывая на алебастровых львов, украшавших высокие ворота княгинина дома.

Свежий осенний ветер весело играл лилейными воротниками на плотной и красной от досады шее Власа.

– Уехали, ангелы, – обратилась к дворнику Карпу, стоявшему у ворот, одна из богомолков,

кланяясь вслед уезжавшей княгине и пряча полученную от нее подачку, – а нам, бедным, одна царица небесная в защиту. Гонит лютый враг... Воздушным плетнем обнесем, небом в пустыне прикроемся.

Бледнолицый, с пегим лицом Карп, мрачно взглянув на спины уходивших богомолков, злобным размахом запер ворота.

Зеленая крыша дома княгини с бельведером поверх ее и со львами на воротах скрылась за соседними опустелыми домами. Тяжелый венский дормез, с фореитором, шестериком вороных, медленно выехал, погромыхивая, из Бронной на Тверской, также опустевший бульвар, к Кремлю и далее – в Рогожскую заставу. Тропинин, с утра в вицмундире под плащом и в форменной треуголке, проводил путниц на наемных дрожках до заставы. Улицы за Яузой были переполнены отъезжавшими и уходившими. Город, узнав в тот день потрясающие подробности о Бородинской битве, окончательно опустел.

XVI

Настало второе сентября.

В Москву днем и ночью подходили под-

воды, наполненные тысячами раненых. «Кровавое Бородино» вдвигалось в московские улицы со Смоленской дороги, в то время как по Владимирской, Рязанской и Тульской уезжали, тесня друг друга, разнообразие кареты, коляски, брички и телеги с последними убегающими москвичами. Разнеслась весть, что русская армия, после Бородинского боя, отступает к древней столице. Все ждали новой и окончательной битвы у ворот Москвы. Близ Воробьевых гор Перовскому и другим колонновожатым велели произвести съемку местности, и здесь действительно начали было даже возводить земляные укрепления для редутов. Но после совета, происходившего накануне в подмосковной деревушке Филях, Кутузов решил, для спасения России, сдать Москву без боя.

Русские войска, направляясь со Смоленской дороги на Рязанскую, стали проходить через Москву. Неприятельская армия следом за ними приближалась к Дорогомиловской заставе. Под городом слышалась перестрелка передовой французской цепи с казаками и уланами русского арьергарда.

Лихой и храбрый начальник этого арьергарда, «крылатый», как его звали, Милорадович, с целью облегчить отступление русским отрядам и дать выйти из города последним жителям и обозам, объявил столь же лихому и отважному вождю французского авангарда, итальянскому королю Мюрату, что, если французы на время не приостановятся, их встретит бой на штыках и ножах в каждой улице и в каждом доме Москвы. Мюрат заключил с Милорадовичем словесное, до ночи, перемирие.

Перестрелка на время прекратилась. Французские полки, в виду уже развернувшейся перед ними Москвы, замедлили наступление.

Вышедший благополучно из Бородинского боя Перовский сумрачно ехал верхом сзади Милорадовича с другим офицером, черноволосым и с ямочками на румяных щеках Квашниным. Он сторал нетерпением скорее достичь города и узнать, где его невеста и что случилось с Митей Усовым, отправленным с боя под Осмой в Москву. В ожидании радостного свидания с Авророй, — почем знать, может

быть, она еще в Москве? – Базиль, при помощи денщика, успел на последнем ночлеге в Филях достать из вьюка и надеть уцелевшее чистое белье, тонкую рубашку с кружевными манжетами и белый пикейный камзол, умылся и даже побрился. Его донской серый конь был также в порядке и не заморен. Но какое-то необъяснимое, гнетущее чувство волновало и раздражало Базиля. Ему показалось, что его денщик, въехавший в Москву ранее с его вьюками, был под хмельком, и он соображал, не обронил бы он вьюка с походною шкатулкой, где хранились дорогие ему сувениры.

Квашнин, товарищ по учению и ровесник Мити Усова, был в лучшем настроении духа. Добрый, привлекательного нрава товарищ и словоохотливый собеседник, Квашнин, также, как и Перовский, был накануне с Милорадовичем в Филях, где происходил важный военный совет и где у квартиры светлейшего он удостоился не только видеть всех главных генералов армии и штаба главнокомандующего, но и наслушаться любопытнейших, военных и политических, суждений и вестей, ко-

торые впоследствии стали достоянием истории.

– Битва гигантов! Так, а не иначе отныне будут называть Бородино! – сказал Квашнин, краснея от собственного выпретенного выражения и поглаживая короткими пухлыми пальцами усталого и взмыленного своего коня. – А я, Василий Алексеевич, прибавлю, битва шести Михайлов...

– Это почему? – спросил рассеянно Перовский, взглядываясь сквозь шеренги драгун в очертания недалекой Поклонной горы и стараясь угадать то поле, где он, так еще недавно, скакал на прогулке с Авророй, ее сестрой и Митей Усовым.

– А как же-с! Неужели не знаете? – воскликнул Квашнин в нервном возбуждении, радуясь, что мог объявить все, что он слышал, такому дельному и понимающему товарищу: – Михаил Кутузов, Михаил Барклай, наш Милорадович, Воронцов и Бороздин... Ней у французов – тоже Михаил.

– Да, это стоит апокалипсического Аполлона! – сухо ответил Базиль.

– А слышали вы, Василий Алексеевич, –

спросил Квашнин, сторона лошадь от обломившейся фуры, которую усталые и потные солдаты, копошась, ладили на пути, – знаете ли, сколько выбыло у нас из строя под Бородином?

– Было море крови, одно скажу! – вспоминая картины Бородина, со вздохом ответил Базиль. – Мы с вами зато уцелели, даже и не ранены...

– Ну что же, наш черед еще впереди... Да нет, вы послушайте, это что-то, клянусь, сказочное и небывалое! – продолжал оживленно Квашнин. – Адъютант Ермолова Тюнтин передавал... очевидно, подсчитали в главном штабе... Бой длился всего десять часов, и в это время, представьте, – продолжал, оставив повод, Квашнин, – у нас выбыло из рядов, убитыми и ранеными, до пятидесяти тысяч человек; у французов, говорят, столько же – а на сто тысяч всех выбывших из строя кладут до сорока тысяч убитых... Ведь это ужас! И уж не знаю, верно ли, но уверяют, что у нас и у них при этом убито и ранено более пятидесяти генералов, выпущено приблизительно до шестидесяти тысяч пушечных снарядов, а ру-

жейных что-то более полутора миллиарда. Это – как вы думаете? – по расчету, выходит на каждую минуту боя более двух тысяч выстрелов, причем на каждые тридцать выстрелов один смертельный... А, каково? Не ужас ли? Где и в какие времена столько проливали крови и убивали?

Базиль с содроганием слушал эти вычисления. Ему вспомнилось, как он до войны боготворил Наполеона и как, из подражания этому, по его тогдашнему мнению, мечтательно-нежному гению, он, Базиль, достал, уезжая из Москвы, у Кольчугина костровский перевод Оссиана и, в виде отдыха, на первых походных биваках читал поэмы последнего. Перовскому вспомнилось и его прощание с Митей Усовым, когда тот, уже сидя в кибитке, сквозь слезы глядел на родную усадьбу и, уезжая и издали крестя его и няню Арину, повторял: «Так до осени... смотри же, оба женимся и заживем!»

Квашнин говорил еще что-то.

– Не забудьте, впрочем, в утешение, мой дорогой, одного, – резко обратился к нему, как бы оправдываясь от каких-либо нападений,

Базиль, – мы потеряли, но зато чуть не вдвое потеряли и наши враги! Недаром Наполеон, как передавал вчера в штабе один пленный, так злился после данного ему отпора, что мы не уступили ему ни пяди, грозно провели ночь на месте сражения и скрылись от него, хоть не нападая, но и не прося пощады. Он сказал Нею: «*La fortune est une franche courtisane...*»[51] Да, посмотрим еще, к кому повернет свое личико эта ласкавшая его доныне распутница фортуна...

Квашнин смолк, стараясь дословно запомнить услышанное изречение Наполеона, чтобы сообщить его, при первом свидании, матери, которая, как он знал из ее писем, уже благополучно выехала из Москвы в Ярославль.

– В штабе радуются, уверяют, – продолжал раздражительно Базиль, – что французы, заняв уступленную им без боя Москву, примут первые предложенные им условия мира. Утверждают, что они отпразднуют этот мир шумно и торжественно и, удовлетворив свою спесь, без замедления уйдут в Польшу... Этого, надо думать, не случится; мы не можем, не должны заключать постыдного мира! – дого-

ворил, подбирая поводья и догоняя Милорадовича, Базиль. – Москва – конец Наполеону, могила его счастья и славы. Я этому верю, об этом молюсь... Иначе не может и быть!

Улицы, по которым стал двигаться русский арьергард, были загромождены последними уходившими обозами и экипажами. «Идут, идут! Французы на Воробьевых горах!» – кричали метавшиеся между подводами пешеходы. Из опустелых переулков доносились дикие крики пьяной черни, разбивавшей брошенные лавки с красными и бакалейными товарами и кабаки. Испуганные, не успевшие уйти, горожане прятались в подвалы и погреба либо, выходя из ворот с иконами в руках, кланялись, спрашивая встречных, наши ли победили, или мы отступаем. Целые ряды домов по бульварам и вдоль болотистой речки Неглинной, у Кремля, стояли мрачно-безмолвные, с заколоченными ставнями и дверьми.

Милорадович, достигнув Устинского моста через Яузу, стал пропускать мимо себя свои колонны. К нему подскакал с донесением казначий офицер.

– Поручик Перовский и прапорщик Квашнин! – крикнул Милорадович.

Оба офицера подъехали к нему.

– Вы – москвичи; знаете местность? – спросил он.

– Знаем.

– Скачите... вы, Перовский, к Лефортовской, а вы, Квашнин, к Бутырской заставам... Торопите запоздалых... Сбился генерал Сикорский, отстали казаки... Перемирие вряд ли продлится... Неприятель обходит нас вперез из Сокольников, на Лефортово. Если что нужно, дайте знать... Привал за Рогожскою заставой.

XVII

Офицеры с вестовыми казаками помчались за мост. Некоторое время, Солянкою, они ехали вместе. Квашнин, на своем приморенном рыжем, не отставал. «Не судьба, – думал Базиль, – если бы в Бутырки послали меня, а не его, я успел бы оттуда, по пути, завернуть с Тверской к Патриаршим прудам... Что, если, как извещала Аврора, княгиня и в самом деле доньне осталась в Москве? Мало ли что могло случиться – болезнь, особенно эти стран-

ные, торжественные уверения Растопчина... Подскакал бы к воротам, может быть, увидел бы ее в окне или на балконе, хоть крикнул бы пару слов, чтобы спасались. Теперь же... в другой конец города. Разве поменяться?»

– Итак, товарищ, до свиданья! – сказал Квашнин, сдерживая коня, – мне – налево, вам – направо, Покровкою и, дале, Гороховым полем... А мне-то все эти места знакомые... Там невдали, куда едете, мой дядя; у него завод в Немецкой слободе...

– Извините, – произнес в сильном волнении Перовский, – минуты дороги... одно слово... У меня в Москве невеста – в Бронной, у Патриарших прудов... Вам, хоть обратно, будет по пути – с Дмитровки или с Тверской... Там недалеко... дом с бельведером, зеленою крышей и львами на воротах.

– Приказывайте, – произнес, вспыхнув и поглядывая на своего вестового, Квашнин, – чей дом?

Перовский назвал фамилию княгини.

– Боле ничего, – сказал он, помолчав, – прошу об одном только – предупредите; если же хозяйки уже выехали, там дворник Карп или

кто-нибудь, – узнайте, куда и все ли благополучно?.. У вас, кажется, вы говорили, матушка была тоже в Москве; не по пути ли мне? был бы счастлив...

– Помилуйте, – восторженно воскликнул Квашнин, пожимая с седла влажною, мягкою рукой руку Базиля, – да я готов, ваш слуга... Матушка ж моя жила на Пятницкой у Климента – знаете, папы римского? – на углу Климентовского переулка, дом с красною крышей и вверху хоть не бельведер, как у княгини, но тоже антресоли... Она уже оставила Москву, а не будь этого, мы с вами сегодня же там пили бы чай и наливку. А какая наливка! Уже была бы рада моя старушка... До свидания!

– Счастливого пути! Если ранее меня доберетесь до обоза, найдите моего денщика, не растерял бы он моих вещей.

Квашнину удалось, исполнив у Бутырской заставы приказание Милорадовича, вернуться в Бронную, к Патриаршим прудам. Он отыскал дом княгини, узнал, что все благополучно, за два дня перед тем уехали, и, узнав от дворника о записке Авроры на имя Перов-

ского, в волнении от невероятной, радостной находки, взял эту записку с собой для передачи ее Перовскому. Сев на отдохнувшего коня, он весело поскакал к Рогожской заставе, но на Тверской наткнулся на входивших уже в город французов и попал в плен, из которого, впрочем, в наступившую ночь счастливо бежал. Найдя в обозе денщика Перовского, он узнал, что вещи последнего были целы, но о судьбе самого Перовского никто ничего не знал.

Расставшись с Квашниным, Базиль приказал вестовому не отставать и поскакал Покровкою к Басманной. У Иоанна Предтечи его задержал двигавшийся с Басманной казачий полк. Передав командиру полка приказание Милорадовича, Базиль никак не мог проехать в Гороховскую улицу. Оттуда шла пехота. Тесным рядами молча и сумрачно двигавшихся солдат, он было своротил сквозь их шеренги в узкий и кривой переулок, но запутался здесь в неогороженных пустырях между огородами и попал к какой-то роще у речки Череры. Издали была видна знакомая ему коло-

колья Никиты Мученика. Перовский сообразил, что через Чечеру и далее через Язу он мог в Лефортово удобно попасть только по Басманной, и направился туда. На Басманной встретился какой-то отсталый обоз, завязавший ссору с егерями Демидова, которые на дюжине фур везли мебель и уводили лошадей, борзых и гончих собак своего хозяина.

К Лефортовскому мосту через Язу Перовский добрался уже в пятом часу. Здесь оказалась новая преграда. Через мост, навстречу Базилью, тесня и сбивая друг друга, непрерывно двигались ряды отставшей русской колонны. То были опять казаки и драгуны.

– Вы откуда? – окликнул Базиль солдат.

– От Сокольников...

– Кто ваш дивизионный?

– Генерал-майор Сикорский.

– Где он?

Солдаты указали за мост, на видневшийся невдали лес.

– Живее, ребята, поздно! – крикнул Базиль. – Сбор за Рогожскою заставой; поспешайте!

– Рады стараться, – отозвались голоса.

Тысячи стоптанных сапогов гулко и бодро стучали по мостовым доскам. Мост опустел. Перовский с вестовым проехал за Язузу. Лес, который он видел с того берега, оказался далее, чем он того ожидал. Изрытая, болотистая дорога шла непрерывными огородами; потом потянулось поле. Начало смеркаться.

Удивленный, что так скоро наступил вечер, Базиль, отирая пот, пришпорил лошадь к лесу, проехал еще с версту и вправо, между деревьями и каким-то прудом или озером, увидел в колоннах большой военный отряд. В сумерках он разглядел, что тут, кроме русских, были и неприятели. Он замялся.

Подъехав еще ближе, Перовский увидел генерала Сикорского и, к своему удивлению, рядом с ним начальника французских аванпостов. То был, как он потом узнал, генерал Себастьяни. Базиль велел вестовому подождать себя у леса, а сам, взяв под козырек, направился к Сикорскому и передал ему приказ Милорадовича.

— Да что, батюшка, — с неудовольствием крикнул кругленький и живой, с быстрыми движениями и точно испуганными, раскрас-

невшимися глазами Сикорский, – мы, видит бог, не медлили, вовремя узнали о перемирии и шли, как все. Было сказано: через Яузу – на Яузе же не один мост, а эти господа (он указал на сердито молчавшего Себастьяни) отрезали нашу крайнюю бригаду и вздумали ее не пропускать. Теперь вот с ним кое-как, впрочем, объяснились: неговорчивый, собака, насилию его уломал. Так передайте его превосходительству, сами видите, безостановочно идем вслед за ним...

Раздалась французская команда. Задержанные неприятельским авангардом, донской казачий и драгунский полки прошли в интервалы между развернутым по полю французским отрядом. Перовский дождался их прохода и поспешил к лесной опушке, у которой он оставил вестового; но последнего там уже не было. Базиль возвратился на дорогу и стал кликать казака; никто не отзывался. В темноте только слышался топот подходившей к мосту русской бригады. Базиль поскакал туда. Но французы, между мостом и лесом, уже протянули свою сторожевую ночную цепь.

– Qui vive? (Кто идет?) – раздался оклик часового.

– Парламентер, – отвечал Перовский.

Часовой не пропустил его. Подъехал офицер, расставлявший пикеты, и пригласил Базиля к генералу. Себастьяни, видевший, как Перовский, за несколько минут, говорил с своим дивизионным, велел было пропустить его через цепь. Но едва Перовский отъехал за пикет, он послал вестового возвратить его.

– Здесь невдали неаполитанский король, – сказал он, – вы говорите по-французски, образованны – королю будет приятно с вами поговорить... Ваш кордон за мостом, вблизи... еще успеете... Прошу вас на минуту повременить...

Перовский нехотя последовал за Себастьяни, окруженным адъютантами. Они ехали шагом. Лес кончился, потянулось поле. Вдали виднелись огоньки. Переехав через канаву, все приблизились к обширной избе, стоявшей за лесом, среди огородов. У двери толпились офицеры. Солдаты, с горевшими факелами в руках, встретили подъехавшего генерала.

XVIII

Себастьяни спустился с седла, велел при-
нять лошадь Перовского и предложил ему
подождать, пока он снесется с Мюратом. Ба-
зиль вошел в пустую и едва освещенную с на-
дворья избу. За окнами слышался говор, шум.
Подъезжали и отъезжали верховые. Какой-то
высокий, с конским хвостом на каске, фран-
цуз сунулся было в избу, торопливо ища на ее
полках и в шкафу, очевидно, чего-либо съест-
ного, и с ругательством удалился. Через пол-
часа в избу вошел Себастьяни.

– Неаполитанский король занят, – сказал
он, – ранее утра он не может вас принять. Пе-
реночуйте здесь.

– Не могу, – ответил, теряя терпение, Ба-
зиль, – меня ждут; я сюда привез приказания
высшего начальства и обязан немедленно
возвратиться с отчетом... Не задерживайте
меня...

– Понимаю вас... Только ночью, в такой
темноте и при неясности нашего обоюдного
положения, вряд ли вы безопасно попадете к
своим.

– Но разве я пленный? – спросил, поборая

досаду, Базиль. – Вы, генерал, лучше других можете решить; вы видели, что я был прислан к начальнику прошедшей здесь бригады.

– Полноте, молодой человек, успокойтесь! – улыбнулся Себастьяни, садясь на скамью за стол. – Даю вам честное слово старого служаки, что рано утром вы увидите короля Мюрата и вслед за тем вас бережно проведут на ваши аванпосты. А теперь закусим и отдохнем; мы все, не правда ли, наморились, надо в том сознаться...

Вошедший адъютант внес и развязал покрытый пылью кожаный чехол со съестным и флягою вина. Не евшему с утра Перовскому предложили белого хлеба, ломоть сыру и стакан сотерна.

– Москва пуста, Москва оставлена жителями, – произнес, закусывая, Себастьяни, – знаете ли вы это?

– Иначе и быть не могло, – отвечал Базиль.

– Но наш император завтра входит в ваш Кремль, поселяется во дворце царей... Этого вы не ждали?

– Наша армия не разбита, цела...

– О, если бы ваш государь протянул нам руку! Он и Наполеон стали бы владельцами мира. Мы доказали бы коварной Англии, пошли бы на Индию... Впрочем, пора спать, – прибавил Себастьяни, видя, что Базиль не дотрагивается до еды и ему не отвечает.

Перовского провели через сени в другую комнату, уже наполненную лежавшими вповалку штабными и ординарцами. Он разостлал свою шинель и, подсунув под голову шляпу, не снимая шпаги, лег в углу. При свете факелов, еще горевших на дворе, он увидел в избе, у окна, молодого французского офицера замечательной красоты. Черноволосый и бледный, с подвязанною рукою и с головой, обмотанною окровавленным платком, этот офицер сидел, согнувшись, на скамье и разговаривал с кем-то в разбитое окно. Он не заметил, как в потемках вошел и лег Базиль.

– Мне, представьте, однажды удалось видеть его в красной с золотом бархатной тоге консула! – говорил по-французски, но с иностранным акцентом голос за окном. – Как он был хорош! Здесь он, разумеется, явится в небывалом ореоле, в одеянии древних царей.

– Но увидим ли мы свою родину? – возразил тихим, упавшим голосом раненый офицер. – Отец мне пишет из Макона – налоги страшно растут, все давят; у сестры отняли последнюю корову, а у сестры шестеро детей...

– Великий человек, – продолжал голос за окном, – сказал недаром, что эта дикая страна увлечена роком. Вспомните мое слово, он здесь освободит рабов, возродит Польшу, устроит герцогства Смоленское, Виленское, Петербургское... Будут новые герцоги, вице-короли... Он раздаст здешние уделы генералам, а Польшу – своему брату Жерому.

– Ох, но вы – не генерал; ваши земляки храбры, не спорю, но армия Кутузова еще цела, а фортуна слепа, – ответил раненый, припадая от боли плечом к окну.

– Вы намекаете на случайности, – произнес голос за окном, – а забыли изречение нового Цезаря: «Le boulet, que me tuera, n'est pas encore fondu» («Бомба, которая меня убьет, еще не отлита»). Великий человек должен жить и будет жить долго, воюя по-рыцарски, за угнетенных... Ведь Рига уже взята, Макдо-

нальд, по слухам, в Петербурге... Не верите? Если же и этого будет мало, уже выпущено на миллионы фальшивых ассигнаций, найдут и выдвинут нового самозванца... народ и без того толкует, что жив и покойный царь Павел...

Раненый более не отвечал. В комнате стихло. Факелы за окном погасли. «Неужели все это правда? – думал в темноте Базиль. – Неужели просвещенный народ и этот гений, этот недавний мой кумир, пойдут на такие меры? Быть не может! Это выдумка, бред раздраженных бородинскою неудачею мечтателей и хвастунов».

Перовский долго не мог заснуть. Ему пришла было в голову мысль – незаметно, впотьмах, выйти из избы, достигнуть леса и бежать; он даже встал и начал пробираться через спавших в избе, но, расслышав вблизи оклики часовых, снова лег на шинель и крепко заснул.

Загремел зоревой барабан. Все проснулись. Начинаясь рассвет тихого и теплого, чисто летнего дня. Себастьяни сдержал слово и с своим адъютантом послал Перовского к Мюрату.

Итальянский король провел ночь уже в Москве.

Перовский и его проводник верхом направились в Замоскворечье, где, как им сказали, была квартира Мюрата. На Пятницкой, у церкви Климента, Базиль стал искать глазами и узнал дом, с зелеными ставнями и с вышкой, матери Квашнина.

Возле этого дома толпились оборванные французские солдаты, таща из ворот мебель и разный хлам. В раскрытые окна виднелись потные и красные, в касках и расстегнутых мундирах, другие солдаты, расхаживавшие по комнатам и горланившие из окон тем, кто стоял на улице. «Неужели грабеж? Бедный Квашнин!» – подумал с изумлением Базиль, видя, как приземистый и малосильный, с кривыми ногами и орлиным носом, французский пехотинец, отмахиваясь от товарищей, с налитым кровью лицом тащил увесистый узел женского платья и белья, приговаривая: «Это для моей красавицы, это в Париж!» («C'est a ma belle, c'est pour Paris!»)

Проехав далее, проводник Базиля узнал от

встречного офицера, что штаб-квартира Мюрата не в Замоскворечье, а у Новых рядов, на Вшивой горке, Перовский и адъютант повернули назад и скоро подъехали к обширному двору золотопромышленника и заводчика Баташова. У въезда в ворота стояли конные часовые; в глубине двора, у парадного подъезда, был расположен почетный караул. На крыше двухъярусного дома развевался королевский, красный с зеленым, штандарт. В саду виднелись разбитые палатки, ружья в козлах и у кольев нерасседланные лошади, бродившие по траве и еще не уничтоженным цветникам. На площадке крыльца толпились генералы, чиновники и ординарцы. Все чего-то как бы ждали. У нижней ступени, в замаранном синем фраке, в белом жабо и со шляпой в руках стоял, кланяясь и чуть не плача, седой толстяк.

– Что он там городит? (Q'est-ce qu'il chant, voуons?) – крикнул с досадой, не понимая его, дежурный генерал, к которому толстяк, размахивая руками, обращался с какою-то просьбой.

– Вот русский офицер, – поспешил указать

генералу на Перовского подъехавший адъютант Себастьяни, – он прислан сюда к его величеству.

– А, тем лучше! – обратился генерал к Перовскому. – Не откажите объяснить, о чем просит этот старик.

Проситель оказался главным баташовским приказчиком и дворецким.

– Что вам угодно? – спросил его Базиль, не слезая с коня. – Говорите, я им переведу.

– Батюшка ты наш, кормилец православный! – вскрикнул, крестясь, обрадованный толстяк. – Вы тоже, значит, пленный, как и мы?

– Нет, не пленный, – покраснев, резко ответил Базиль. – Видите, я при шпаге, следовательно, на свободе... В чем дело?

– Да что, сударь, я – здешний дворецкий, Максим Соков... Налетели эти, нечистый их возьми, точно звери; тридцать одних генералов, с ихним этим королем, и у нас стали с вечера, – произнес дворецкий, утирая жирное лицо. – Видим – сила, ничего не поделаешь! Ну, приготовили мы им сытный ужин; все как есть пекарни и калачни обегали – белого

хлеба нет, один черный, самому королю всего чвёртку белой сайки добыли у ребят. И озлились они на черный хлеб, и пошло... Всяк генерал, какой ни на есть, требует себе мягкой постели и особую опочивальню, а где их взять?

Максим с суровым упреком поглядел на французов.

– Король изволил откушать в гостиной и лег в господской спальне, – продолжал он, – прочих мы уложили в столовой, в зале и в угольной. И того мало: не хотят диванов и кушеток, подавай им барские перины и подушки, а наших холопских не хотят, швыряют... Всю ночь напролет горели свечи в люстрах и в кенкетах... нас же, сударь, верите ли, как кошек за хвост тягали туда и сюда... Убыток и разор! А нынче утром, доложу вашей чести, как этот генералитет и вся чиновная орава проснулись разом, – в доме, в музыкантском флигеле, в оранжереях и в людской, – один требует чаю, другой кричит, – закуски, водки, бургонского, шампанского... Так сбили с ног, хоть в воду!

Базиль перевел жалобы дворецкого.

– Oui, du champagne! (Именно, шампанско-го!) – весело улыбнувшись, подтвердил один из штабных. – Но что же ему нужно?

– Баб тоже, ваше благородие, сильно оби-жали на кухне и в саду, – продолжал, еще бо-лее укоризненно поглядывая на французов, дворецкий, – те подняли крик. Сегодня же, смею доложить, – и вы им, сударь, это беспре-менно переведите, – их солдаты отняли у стряпух не токмо готовый, но даже недопе-ченный хлеб... Где это видано? А какой-то их офицер, фертик такой, чумазенький – о, я его узнаю! – пришел, это, с их конюхами, прямо отбил замок у каретника, запряг в господскую венскую коляску наших же серых рысаков и поехал в ней, не спросясь... Еще и вовсе, по-жалуй, стянет... Им, озорникам, что?.. У иного всего добра – штопаный мундирчик да рва-ные панталашки, а с меня барин спросит... скажет: «Так-то ты, Соков, глядел?..»

Перовский перевел и эти жалобы.

ХІХ

Слушатели хохотали, но вдруг засуетились. Си стихли. Все бросились к верхним ступе-ням. На площадке крыльца показался строй-

ный, высокого роста, с римским носом, приветливым лицом и веселыми, оживленными глазами еще моложавый генерал. Темно-русые волосы его на лбу были коротко острижены, а с боков, из-под расшитой золотом треуголки, падали на его плечи длинными, волнистыми локонами. Он был в зеленой шелковой короткой тунике, коричневого цвета рейтузах, синих чулках и в желтых польских полусапожках со шпорами... На его груди была толстая цепь из золотых одноглавых орлов, из-под которой виднелась красная орденская лента; в ушах – дамские сережки, у пояса – кривая турецкая сабля, на шляпе – алый, с зеленым, плюмаж; сквозь расстегнутый воротник небрежно свешивались концы шейного кружевного платка.

То был неаполитанский король Мюрат. Дежурный генерал доложил ему о прибывшем русском офицере. Приветливые, добрые глаза устремились на Перовского.

– Что скажете, капитан? – спросил король, с вежливо приподнятою шляпой молодцевато проходя к подведенному вороному коню под вышитым чепраком.

– Меня прислал генерал Себастьяни. Вашему величеству было угодно видеть меня.

– А, да!.. Но простите, мой милый, – произнес Мюрат, натянув перчатки и ловко заноса в стремя ногу, – видите, какая пора. Еду на смотр; возвращусь, тогда выслушаю вас с охотой... Позаботьтесь о нем и о коне, – милостиво кивнув Базилю, обратился король к дежурному генералу.

Сопровождаемый нарядною толпою конной свиты, Мюрат с театральной щеголеватостью коротким галопом выехал за ворота. Дежурный генерал передал Перовского и его лошадь ординарцам, те провели Базиля в угловую комнату музыкантского флигеля, окнами в сад. Долго сюда никто не являлся.

Пройдя по комнате, Базиль отворил дверь в коридор – у выхода в сени виднелся часовой; он раскрыл окно и выглянул в сад – невдали, под липами, у полковой фуры, прохаживался, в кивере и с ружьем, другой часовой. В коридоре послышались наконец шаги. Торопливо вошел тот же дворецкий Максим. Слуга внес за ним на подносе закуску.

– Ах, дьяволы, прожоры! – сказал дворец-

кий, оглядываясь и бережно вынимая из
фрачного кармана плетеную кубышку. – Я, од-
наче, кое-что припрятал... Откушайте, сударь,
во здравие... настоящий ямайский ром.

Перовский выпил и плотно закусил.

– Петя, – обратился дворецкий к слуге, –
там, в подвале, ветчина и гусиные полотки;
вот ключ, не добрались еще объедалы, будь
им пусто... да свежее масло тоже там, в кры-
ночке, у двери... тащи тихонько сюда...

Слуга вышел. Максим, утираясь, сел боч-
ком на стул.

– Будет им, извергам, светло жить и еще
светлее уходить! – сказал он, помолчав.

– Как так? – спросил Базиль.

– Не знаете, сударь? Гляньте в окно...
Москва горит.

– Где, где?

– Полохнуло сперва, должно, на Покровке;
а когда я шел к вам, занялось и в Замоскворе-
чье. Все они высыпали из дома за ворота;
смотрят, по-ихнему галдят.

Базиль подошел к окну. Деревья заслоняли
вид на берег реки, но над их вершинами, к
стороне Донского монастыря, поднимался

зловещий столб густого, черного дыма.

– Много навредили, изверги, много, слышно, загубили неповинных душ, – сказал дворецкий, – будет им за то здесь последний, страшный суд.

– Что же, полагаешь, жгут наши?

– А то, батюшка, как же? – удивленно взглянул на него Максим. – Не спасли своего добра – лучше пропадай все! Вот хоть бы и я: век хранил господское добро, а за их грабительство, кажись, вот так взял бы пук соломы, да и спалил их тут, сонных, со всеми их потрохами и с их злодеем Бонапартом!

«Вот он, русский-то народ! – подумал Базиль. – Они вернее и проще нас поняли просвещенных наших завоевателей».

Вбежал слуга.

– Дяденька, сундуки отбивают! – сказал он. – Я уж и не осмелился в подвал.

– Кто отбивает, где? – вскрикнул, вскакивая, Максим.

– В вашу опочивальню вошли солдаты. Забирают платье, посуду, образа... Вашу лисью шубу вынули, тетенькин новый шерстяной капот...

– Ну, будут же нас помнить! – проговорил дворецкий.

Он, переваливаясь, без памяти бросился в коридор и более не возвращался. Из подвального яруса дома слышались неистовые крики. Во двор из ворот сада с фельдфебелем быстро прошла кучка солдат. Грабеж, очевидно, на время прекратили. Настала тишина. Прошло еще более часа. Мучимый сомнениями и тревогой за свою участь, Базиль то лежал на кушетке, то ходил, стараясь угадать, почему именно его задержали. Ему в голову опять пришла мысль о побеге. Но как и куда бежать? Загремели шпоры. Слышались шаги.

Явился штабный чиновник. Он объявил, что неаполитанский король, задержанный в Кремле императором Наполеоном, возвратился и теперь обедает, а после стола просит его к себе. Перовского ввели в приемную верхней половины дома. Здесь он опять долго дождался, слыша звон посуды в столовой, хлопанье пробок шампанского и смешанные шумные голоса обедающих. В кабинет короля он попал уже при свечах. Мюрат, с пасмур-

ным лицом, сидел у стола, дописывая какую-то бумагу.

– Какой день, капитан! – произнес он. – Я вас долго оставлял без обещанной аудиенции. Столько неожиданных неприятных хлопот... Садитесь... Вы – русский образованный человек... Нам непонятно, из-за чего нас так испугался здешний народ. Объясните, почему произошло это невероятное, поголовное бегство мирных жителей из Москвы?

– Я затрудняюсь ответить, – сказал Базиль, – мое положение... я в неприятельском стане...

– Говорите без стеснений, я слушаю вас, – покровительственно-ласково продолжал Мюрат, глядя в лицо пленнику усталыми, внимательными глазами. – Нам, признаюсь, это совершенно непонятно!

Перовский вспомнил угрозы дворецкого и пучок соломы.

– Москва более двухсот лет не видела вторжения иноземцев, – ответил он, – не знаю, как еще Россия встретит весть, что Москва сдана без сопротивления и что неприятели в Кремле...

– Но разве мы – варвары, скифы? – снисходительно улыбаясь, произнес Мюрат. – Чем мы, скажите, грозили имуществу, жизни здешних граждан? Нам отдали Москву без боя. Подобно морякам, завидевшим землю, наши войска, при виде этого величественного древнего города, восклицали: «Москва – это мир, конец долгого, честного боя!..» Мы вчера согласились на предложенное перемирие, дали спокойно пройти вашим отрядам и их обозам через город, и... вдруг...

– Наша армия иначе была готова драться в каждом переулке, в каждом доме, – возразил Перовский, – вы встретили бы не сабли, а ножи.

– Так почему же за перемирие такой прием? Что это, скажите, наконец, за пожар? Ведь это ловушка, поджог! – гневно поднимаясь, произнес Мюрат.

– Я задержан со вчерашнего вечера, – ответил, опуская глаза, Перовский, – пожары начались сегодня, без меня.

– Это предательство! – продолжал, ходя по комнате Мюрат. – Удалена полиция, вывезены все пожарные трубы; очевидно, Растоп-

чин дал сигнал оставленным сообщникам к общему сожжению Москвы. Но мы ему отплатим! Уже опубликованы его приметы, назначен выкуп за его голову. Живой или мертвый, он будет в наших руках. Так нельзя относиться к тем, кто с вами был заодно в Тильзите и в Эрфурте.

– Ваше величество, – сказал Перовский, – я простой офицер; вопросы высшей политики мне чужды. Меня зовет служебный долг... Если все, что вам было угодно узнать, вы услышали, прошу вас – прикажите скорее отпустить меня в нашу армию. Я офицер генерала Милорадовича, был им послан в ваш отряд.

– Как, но разве вы – не пленный? – удивился Мюрат.

– Не пленный, – ответил Перовский. – Генерал Себастьяни задержал меня во время вчерашнего перемирия, говоря, чтобы я переночевал у него, что вашему величеству желательно видеть меня. Его адъютант, проводивший меня сюда, вам это в точности подтвердит.

Мюрат задумался и позвонил. Послали за адъютантом. Оказалось, что он уже давно

уехал к своему отряду, в Сокольники.

– Охотно вам верю, – сказал, глядя на Перовского, Мюрат, – даже припоминаю, что Себастьяни вчера вечером действительно предлагал мне, на походе сюда, выслушать русского офицера, то есть, очевидно, вас. И я, не задумываясь, отправил бы вас обратно к генералу Милорадовичу, но в настоящее время это уже зависит не от меня, а от начальника главного штаба генерала Бертье. Теперь поздно, – кончил, сухо кланяясь, Мюрат, – в Кремль, резиденцию императора, пожалуй, уже не пустят. Завтра утром я вас охотно отправлю туда.

Перовского опять поместили в музыкантском флигеле. Проходя туда через двор, он услышал впотьмах чей-то возглас:

– Но, моя красавица, ручаюсь, что синьора Прасковья будет уважаема везде! (Mais, ma belle, je vous garantie, que signora Praskovia sera respectee partout!)

– Отстань, пучеглазый! – отвечал на это женский голос. – Не уймешься – долбану поленом либо крикну караул.

Базиль, не раздеваясь, улегся на кушетке. Ни дворецкий, никто из слуг, за толкотней и шумом, еще длившимся в большом доме, не навещали его. Он всю ночь не спал. Утром к нему явился тот же штабный чиновник с объявлением, что ему велено отправить его с дежурным офицером к Бертье.

Выйдя во двор и видя, что назначенный ему в провожатые офицер сидит верхом на коне, Перовский осведомился о своей лошади. Пошли ее искать в сад, потом в штабную и королевскую конюшни. Лошадь исчезла; в общей суете кто-то ею завладел и на ней уехал. Базиль за своим провожатым должен был идти в Кремль пешком.

Улицами Солянкою и Варваркою, мимо Воспитательного дома и Зарядья, они приблизились к Гостиному двору. То, что на пути увидел Базиль, поразило его и взволновало до глубины души.

Несмотря на близость к главной квартире неаполитанского короля, путники уже в Солянке встретили несколько кучек беспорядочно шлявшихся, расстегнутых и, по-видимому, хмельных солдат. Некоторые из них

несли под мышками и на плечах узлы и ящички с награбленными в домах и в лавках вещами и товарами. В раскрытую дверь церкви Варвары-великомученицы Базиль увидел несколько лошадей, стоявших под попонами среди храма и в алтаре. На церковных дверях углем, большими буквами, было написано: «Ecurie du general Guillemintot» («Конюшня генерала Гильемино»).

Погода изменилась. Небо покрылось мрачными облаками. Дул резкий, северный ветер. На площади Варварских ворот горел костер из мебели, выброшенной из соседних домов; пылали стулья, ободранные мягкие диваны, позолоченные рамы и лаковые столы. Искры от костра несло на ветхие кровли близстоящих домов. На это никто не обращал внимания. Перовский оглянулся к Новым рядам. Там поднимался густой столб дыма. Горела Вшивая горка, где находился только что им оставленный баташовский дом. «Неужели дворецкий поджег? – подумал Базиль, приближаясь к Гостиному двору. – Чего доброго, старик решительный! Верю, жгут русские!»

Лавки Гостиного двора были покрыты гу-

стыми клубами дыма. Из догоравших рядов французские солдаты разного оружия, обрванные и грязные, таскали, роняя по дороге и отнимая друг у друга, ящики с чаем, изюмом и орехами, кули с яблоками, бочонки с сахаром, медом и вином и связки ситцев, сукон и холстов.

У Зарядья толпа пьяных мародеров окружила двух русских пленных. Один из них, молодой, был в модном штатском голубом рединготе и в серой шляпе; другой, пожилой, худой и высокий, – в чужом, очевидно, кафтане и высоких сапогах. Грабители сняли уже с молодого сапоги, носки, редингот и шляпу, и тот в испуге, бледный, как мел, растерянно оглядываясь, стоял босиком на мостовой. Солдаты держали за руки второго, пожилого, и со смехом усаживали его на какой-то ящик с целью снять сапоги и с него. «Боже мой! Жерамб и его тогдашний компаньон! – с удивлением подумал, узнавая их, Базиль. – Какой прием, и от кого же? от победителей-земляков!» Жерамб также узнал Перовского и жалобно смотрел на него, полагая, что Базиль прислан в Москву парламентаром, и не решаясь про-

силь его о защите.

– Какое безобразие! – громко сказал Базиль, с негодованием указывая проводнику на эту сцену. – Неужели вы их не остановите? Ведь это насилие над мирными гражданами, дневной грабеж... Притом этот в кафтане – я его знаю – ваш соотечественник, француз.

– А... ба, француз! Но он – здешний житель, не все ли равно? – ответил, покачиваясь и отъезжая от солдат, проводник. – Чего же вы хотите? Ну, их допросят; не виноваты – освободят; маленькие неприятности каждой войны, вот и все... Вы нас, гостей, безжалостно обрекли на одиночество и скуку; не только ушли ваши граждане, но и гражданки... Это бесчеловечно! *Osont vos charmantes barrinnes et vos demoiselles?* (Где ваши очаровательные барыни и девушки?)

Базиль пристальнее взглянул на своего проводника: тот был пьян. Раздался грохот барабанов. Ветер навстречу путников понес тучи пыли, из которой слышался топот и скрип большого обоза. Мимо церкви Василия Блаженного, через Спасские ворота, на подкрепление караула в Кремль входил, с артиллери-

ей, полк конной гвардии. В тылу полкового обоза с вещами начальства везли несколько новеньких, еще с свежим, не потертым лаком колясок, карет и бричек, очевидно, только что взятых из лавок расхищенного Каретного ряда. На их козлах в ботфортах и медных касках сидели, правя лошадьми, загорелые и запыленные кавалерийские солдаты. Из небольшой, крытой коляски, посмеиваясь и грызя орехи, выглядывали веселые, разряженные пленницы из подмосковного захолустья.

– Что же вы жалуетесь? – сказал Базиль проводнику. – Вот вам, новым римлянам, и пленные сабинянки.

– Не нам, другим! – с жалобным вздохом ответил проводник, указывая на Кремль. – Наш император провел ночь во дворце царей. Ах, какое величие! Он ночью вышел на балкон, любясь при луне этим сказочным царством из тысячи одной ночи. Утром он сообщил королю, что хочет заказать трагедию «Петр Великий». Не правда ли, какое совпадение? Тот шел учиться за вас на Запад, этот сам идет с Запада вас учить и обновлять.

Задержанные обозом, Перовский и его провожатый спустились мимо церкви Василия Блаженного к покрытой дымом реке и проникли в Кремль через открытые Тайницкие ворота. Здесь, под горой, Базиль увидел ряд наскоро устроенных пылавших горнов и печей. Особые пристава бросали в печные котлы взятые из кремлевских соборов и окрестных церквей золотые и серебряные сосуды, оклады с образов, кресты и другие вещи, перетапливая их в слитки.

– Нас зовут варварами, – сказал Перовский, указав проводнику на это святотатство, – неужели вас не возмущает и это?

– Послушайте, – ответил проводник, – советую вам воздерживаться от критики... она здесь неуместна! Мы думаем о войне, а не о церковных делах. У нас, – усмехнулся он, – знаете ли вы это, на полмиллиона войска, которое сюда пришло и теперь господствует здесь, нет ни одного духовника... Лучше вы мне, мой милый, – прибавил проводник, – ответьте наконец: *ó sont vos barrinnes et vos demoiselles?* Да, вот мы и у дворца; пожалуйста к лестнице.

При входе во дворец, у Красного крыльца, стояли в белых шинелях два конных часовых. Почетный караул из гренадеров старой гвардии располагался на паперти и внутри Архангельского собора, за углом которого на костре кипел котел, очевидно с солдатскою пищею. Проводник, узнав в начальнике караула своего знакомого, сдал ему на время Перовского, а сам поднялся во дворец. Караульный офицер приказал пленному войти в собор. Здесь товарищи офицера осыпали его вопросами, посмеиваясь на его уверение, будто он не пленный.

В Архангельском соборе Базиль увидел полное расхищение церковного имущества. Кроме кордегардии, здесь, по-видимому, был также устроен склад для караульной провизии, мясная лавка и даже кухня. Снятые со стен и положенные на ящики с мукой и крупой иконы служили стульями и скамьями для солдат. В алтаре, у горнего места виднелась койка, прилаженная на снятых боковых дверях; на ее постели, прикрытой лиловою шелковою ризой, сидела, чистя морковь, краснощекая и нарядная полковая стряпуха.

Престол и жертвенник были уставлены кухонною посудой. На паникадиле висели битые гуси и дичина. На гвоздях, вколоченных в опустошенный иконостас, были развешаны и прикрыты пеленой с престола куски свежей говядины.

Солдаты, у перевернутых ведер и кадок, куря трубки, играли в карты. Воздух от табачного дыма и от испарений мяса и овощей был удушливый. Офицеры, окружив Перовского, спрашивали: «Где теперь русская армия? Где Кутузов, РаSTOPчин?» Жаловались, что ушли все русские мастеровые, что нет ни портного, ни сапожника – починить оборванное платье и обувь; что и за деньги, пожалуй, вскоре ничего не достанешь, а тут и самый город с утра загорелся со всех сторон. Базиль отвечал, что более, чем они, терпят, по их вине, и русские. Проводник возвратился. Базиль пошел за ним во дворец к Бертье.

XXI

Пройдя несколько приемных, наполненных Императорскою свитою и пажами, в расшитых золотом мундирах и напудренных париках, Перовский очутился в какой-то про-

ходной комнате окнами на Москву-реку. Из маленькой полуотворенной двери направо слышались голоса. Большая раззолоченная дверь налево была затворена. Близ нее стояли два рослые мамелюка в белых тюрбанах с перьями и в красных куртках и маленький, напудренный, в мундирном фраке и чулках, дежурный паж с записною книгою под мышкой. Мамелюки и паж не спускали глаз с затворенной двери. Базиль стал поодаль. Он взглянул в окно. Его сердце замерло. Картина пылающего Замоскворечья развернулась теперь перед ним во всем ужасе. То было море сплошного огня и дыма, над которым лишь кое-где виднелись не тронутые пожаром кровли домов и церквей. Недалекий пожар освещал красным блеском комнату и всех стоявших в ней. Базиль, глядя за реку, вспомнил вечернее зарево над Москвой во время его прогулки с Авророй на Поклонную гору.

«Точно напророчилось тогда!» – подумал он со вздохом.

– Что, любуетесь плодами ваших рук? – раздался за спиной Базиля резкий голос.

Он оглянулся. Перед ним, как он понял, в

красноватом отблеске стоял, окруженный адъютантами, начальник главного штаба французской армии Бертье. Это был худощавый, узкогрудый, с острым носом и, очевидно, больной простудой старик. Его горло было обмотано шарфом, щеки покрывал лихорадочный румянец, глаза сердито сверкали.

– Дело возмутительное, во всех отношениях преступное, – сказал Бертье, – вы.... ваши за это поплатятся.

– Не понимаю, генерал, ваших слов, – вежливо отвечал Базиль, – почему вы укоряете русских?

– О, слышите ли, еще оправдания?! Ваши соотечественники, как разбойники, жгут оставленный прекрасный город, жгут нас, – раздражительно кашляя, продолжал Бертье, – и вас не обвинять? Мы узнаем; назначена комиссия о поджигательстве; откроется все...

– Извините, генерал, – произнес Базиль, – я задержан во время перемирия. Пожары начались после того, и я не могу объяснить их причины. Настоятельно прошу вас дать приказ об отпуске меня к нашей армии. В этом мне поручился словом, честным словом фран-

цузского офицера, генерал Себастьяни.

– Не могу, не в моей воле, – кашляя и сердясь на свой кашель, ответил Бертье. – Мне доложено, вы провели двое суток среди французских войск; вас содержали не с достаточной осторожностью, и вы могли видеть и узнать то, чего вам не следовало видеть и узнать.

– Меня, во время перемирия, задержали французские аванпосты не по моей вине. Спросите тех, кто это сделал. Повторяю вам, генерал, и позволяю себе протестовать: это насилие, я не пленный... Неужели чувство справедливости и чести... слово генерала вашей армии?..

– Честь, справедливость! – с презрительной злобой вскрикнул Бертье, указывая в окно. – Чем русские искупят этот вандализм? Все, что могу для вас сделать, – это передать вашу просьбу императору. Подождите... Он занят, может быть, лично выслушает вас, хотя теперь трудно поручиться...

В это мгновение внизу у дворца послышался шум. Раздались крики: «Огонь, горим!» Все торопливо бросились к окнам, но отсюда не

было видно, где загорелось. Поднялась суета, Бертъе разослал ординарцев узнать причину тревоги, а сам, отдавая приказания, направился к двери, охраняемой мамелюками.

Дверь неожиданно отворилась. На ее пороге показался невысокий, плотный человек, лет сорока двух-трех. Он, как и прочие, также осветился отблеском пожара. Все, кто был в приемной, перед ним с поклоном расступились и замерли как истуканы. Он никому не поклонился и ни на кого не смотрел.

Верхняя часть туловища этого человека, как показалось Перовскому, была длиннее его ног, затянутых в белую лосину и обутых в высокие с кисточками сапоги. Редкие каштановые, припомаженные и тщательно причесанные волосы короткими космами спускались на его серо-голубые глаза и недовольное, бледное, с желтым оттенком, полное лицо. Короткий подбородок этого толстяка переходил в круглый кадык, плотно охваченный белым шейным платком. Ни на камзоле, ни на серо-песочном длинном сюртуке, распахнутом на груди, не было никаких отличий. В одной его руке была бумага, в другой – золотая

табакерка. Страдая около недели, как и Бертье, простудой, он, в облегчение неприятного насморка, изредка окунал в табакерку покрасневший нос и чихал.

Перовский сразу узнал Наполеона. Кровь бросилась ему в голову. В его глазах потемнело.

«Так вот он, герой Маренго и пирамид! – думал он, под наитием далеких, опять всплывших впечатлений разглядывая Наполеона. – И действительно ли это он, мой былой всеильный кумир, мое божество? Он тогда скакал к редуту Раевского. Боже мой, теперь я в нескольких шагах от него... И неужели же есть что-либо общее в этом гении со всеми теми, кто его окружает и кто его именем делает здесь и везде столько злого и дурного? Нет, его ниспослало провидение, он выслушает меня, вмиг поймет и освободит...»

Перовский сделал шаг в направлении Наполеона. Две сильные костлявые руки схватили его за локти.

– Коснитесь только его – я вас убью! (Si vous osez y toucher, je vous tue!) – злобно прошептал сзади него голос мамелюка, сильно

ухватившего его за руки за спиной прочей свиты.

Раздались резкие, громкие слова.

«То говорит он! – с восторженным трепетом помыслил Базиль. – Я наконец слышу речь великого человека...»

– Русские нас жгут, это доказано! Вы это передадите герцогу Экмюльскому! – произнес скороговоркою Наполеон, небрежно подавая пакет Бертье. – Утверждаю! Расстреливать десятками, сотнями!.. Но что здесь опять за тревога? – спросил он, осматриваясь, и при этом, как показалось Перовскому, взглянул и на него.

Базиль восторженно замер.

– Я послал узнать, – склонившись, заговорил в это время Бертье, – сегодня поймали и привели новых поджигателей; они, как и прочие, арестованы. Председатель комиссии, генерал Лоэр, надо надеяться, раскроет все... Да вот и посланный...

Наполеон, потянув носом из табакерки, устремил недовольный, слезящийся взгляд на вошедшего ординарца.

– Никакой, ваше величество, опасности! –

согнувшись перед императором, произнес посланный, – загорелись от налетевшей искры дрова, но их разбросали и погасили. Все вокруг по-прежнему благополучно.

– Смотрителю дворца сказать, что он... дурак! – произнес Наполеон. – Все благополучно... какое счастье! (*quelle chance!*..) Скоро благодаря этим ротозеям нас подожгут и здесь. Удвоить, утроить премию за голову Растопчина, а поджигателей – расстреливать без жалости, без суда!..

Сказав это, Наполеон грубо обернул спину к Бертье и ушел, хлопнув дверь. Базиль при этом еще более заметил некрасивую несоразмерность его длинной талии и коротких ног и крайне был изумлен холодным и злым выражением его глаз и насупленного, желтого лица. Особенно же Базиля поразило то, что, сердясь и выругав дворцового смотрителя, Наполеон вдруг, как бы против воли, заторопясь, начал выговаривать слова с итальянским акцентом и явственно, вместо слова «*chance*», произнес «*sance*».

Плотная спина Наполеона в мешковатом сюртуке серо-песочного цвета давно исчезла

за дверью, перед которою безмолвными истуканами продолжали стоять мамелюки и остальная свита, а Перовский все еще не мог прийти в себя от того, что видел и слышал; он неожиданно как бы упал с какой-то недостижимой высоты.

«Выкуп за голову Растопчина! Расстреливать сотнями! – мыслил Базиль. – Но чем же здесь виноват верный слуга своего государя? Так вот он каков, этот коронованный корсиканский солдат, прошедший сюда, через полсвета, с огнем и мечом! И он был моим идеалом, кумиром? О, как была права Аврора! Скорее к родному отряду... Боже, если б вырваться! Мы найдем средства с ним рассчитаться и ему отплатить».

– Следуйте за мною! – раздался голос ординарца Бертье.

Приемная наполовину опустела. Оставшиеся из свиты сурово и враждебно смотрели на русского пленного.

– Куда? – спросил Перовский.

– Вам велено подождать вне дворца, пока о вас доложат императору, – ответил ординарец.

Базиль вышел на площадку парадного дворцового крыльца. Внизу, у ступеней, стоял под стражей приведенный полицейский пристав. Караульный офицер делал ему допрос.

– Зачем вы остались в Москве? – спросил он арестанта. – Почему не ушли с прочими полицейскими чинами? Кто и по чьему приказанию поджигает Москву?

Бледный, дрожащий от страха пристав, не понимая ни слова по-французски, растерянно глядел на допросчика, молча переступая с ноги на ногу.

– Наконец-то мы, кажется, поймали главу поджигателей! – радостно обратился офицер к ординарцу маршала. – Он, очевидно, знает все и здесь остался, чтобы руководить другими.

Перовский не стерпел и вмешался в этот разговор. Спросив арестанта, он передал офицеру, что пристав неповинен в том, в чем его винят, что он не выехал из Москвы лишь потому, что, отправляя казенные тяжести, сам долго не мог достать подводы для себя и для своей больной жены и был застигнут ночным дозором у заставы.

– Посмотрим. Это разберет комиссия! – строго сказал офицер. – Запереть его в подвале, где и прочие.

XXII

Солдаты, схватив пристава за руки, повели его к спуску в подвал. Они скрылись под площадкой крыльца.

– Могу вас уверить, – произнес Перовский офицеру, – чины полиции здесь ни в чем не виновны; этот же притом семейный человек...

– Не наше дело! – ответил офицер. – Мы исполнители велений свыше.

– Но что же ожидает заключенных в этом подвале? – спросил Базиль.

– Простая история, – ответил офицер, собираясь уходить, – их повесят, а может быть, смилуются и расстреляют.

Ординарец остановил офицера и сказал ему вполголоса несколько слов. Тот, оглянувшись на Перовского, указал на ближнюю церковь Спаса на Бору. Ординарец предложил Базилью следовать за собой. Они, миновав дворец, подошли к дверям указанного храма. С церковного крыльца опять стали видны заре-

во и дым пылавшего Замоскворечья.

– Зачем мы сюда пришли? – спросил Базиль.

Проводник молча отодвинул засов и отворил дверь.

– Вас не позволено оставлять на свободе! – произнес он, предлагая Перовскому войти в церковь. – Подождите здесь; император, вероятно, вскоре вас потребует... Он теперь завтракает.

– Но зачем я императору?

– Он, может быть, через вас найдет нужным что-либо сообщить вашему начальству... Мы застали здесь тысячи ваших раненых... Докторов так мало, притом эти пожары... Впрочем, я излагаю мое личное мнение... До свидания!

Железная дверь, медленно повернувшись, затворилась. Звякнул надвинутый тяжелый засов. Перовский, оставшись один, упал в отчаянии на пол. Теперь ему стало ясно, его решили не выпускать. Последние надежды улетели. Оставалось утешаться хоть тем, что его не заперли в подвал с подозреваемыми в поджоге. Но что ждало его самого?

Прошел час, другой, к пленному никто не являлся. О нем, очевидно, забыли. Пережитые тревоги истомили его невыразимо. Не ел и не пил со вчерашнего утра, он почувствовал приступы голода и жажды. Но это длилось недолго. Мучительные опасения за свободу, за жизнь овладели его мыслями.

«Что, если в этой суете и впрямь обо мне забыли? – думал он. – Пьяный ординарец Мюрата, без сомнения, уехал, как и адъютант Себастьяни, а караульного офицера могут сменить. Кто вспомнит о том, что здесь, в этой церкви, заперт русский офицер? И долго ли мне суждено здесь томиться? Могут пройти целые дни!»

Предположения, одно мрачнее другого, терзали Базиля. Беспомощно приткнувшись головой к ступеням амвона, он лежал неподвижно. Сильная усталость и нравственные мучения привели его в беспамятство. Он очнулся уже вечером.

Зловещее зарево пожара светило в окна старинной церкви. Лики святых, лишенные окладов, казалось, с безмолвным состраданием смотрели на заключенного. Церковь была

ограблена, остатки утвари в беспорядке разбросаны в разных местах. Сквозные тени оконных решеток падали на пол и на освещенные отблеском пожара стены, обращая церковь в подобие огромной железной клетки, под которою как бы пылал костер.

«Боже, и за что такая пытка? – думал Перовский. – За что гибнут мои молодые силы, надежды на счастье?»

Мысли об иной, недавней жизни проносились в его голове. Он мучительно вспоминал о своем сватовстве, представлял себе Аврору, прощание с нею и с Тропининым.

«Жив ли Митя? – спрашивал он себя. – И где, наконец, сама Аврора? Успела ли она уехать с бабкой? Что, если не успела? Может быть, они и попытались, как тот несчастный, опоздавший пристав, и даже выехали, но и их, как и его, могли захватить на дороге. Что с ними теперь?»

Базиль представлял себе плен Авроры, ужас беспомощной старухи княгини, издевательства солдат над его невестой. Дрожь охватывала его и терзала. Мучимый голодом и жаждой, он искал на жертвеннике и на полу

остатков просвир, подбирал и с жадностью ел их крошки.

Наступила новая мучительная, долгая ночь. Перовский закрывал глаза, стараясь забыться сном, и не мог заснуть. Усилившийся ветер и оклики часовых поминутно будили его. Он в бреду поднимался, вскакивал, прислушивался и опять падал на холодный пол. Никто не подходил к церковной двери. На заре, едва забелело в окна, Перовский услышал сперва неясный, потом явственный шум. У церкви бегали; опять и еще громче раздавались крики: «На помощь, воды!» Очевидно, опять вблизи где-либо загорелось. Не горит ли сама церковь?

Базиль бросился к оконной решетке. Окно выходило к дворцовым конюшням. Откуда-то клубился дым и сыпались искры. Из дворцовых ворот под падавшими искрами испуганные рейткнехты наскоро выводили лошадей, запрягали несколько выдвинутых экипажей и грузили походные фуры. Пробежал, оглядываясь куда-то вверх и путаясь в висевший у пояса палаш, пеший жандарм. Сновали адъютанты и пажи. Невдали был слышен бара-

бан. Из-за угла явился и выстроился перед церковью отряд конной гвардии. Войско заслонило дворцовую площадь. Сквозь шум ветра слышался стук отъезжавших экипажей.

Впоследствии Базиль узнал, что загорелась крыша соседнего арсенала. Пожар был потушен саперами. Разбуженный новой тревогой, Наполеон пришел в окончательное бешенство. Он толкнул ногой в лицо мамелюка, подававшего ему лосиные штіблеты, позвал Бертье и с ругательствами объявил ему, что покидает Кремль. Через полчаса он переехал в подмосковный Петровский дворец.

Отряд гвардии ушел вслед за императором. Площадь опустела. Сильный ветер гудел на крышах, крутя по мостовой столбы пыли и клочки выброшенных из сената и дворцовых зданий бумаг. Из нависшей темной тучи изредка прорывались капли дождя. Перовский глядел и прислушивался. Никто к нему не шел.

– Боже, – проговорил он, в бессильном отчаянии ухватясь за решетку окна, – хоть бы смерть! Разом, скорее бы умереть, чем так

медленно терзаться!

За церковью послышались сперва отдаленные, потом близкие шаги и голоса. Перовский кинулся к двери и замер в ожидании: к нему или идут мимо? Шаги явственно раздались у входа в церковь. Послышался звук отодвигаемого засова. Кто-то неумелою рукой долго нажимал скобу замка. Дверь отворилась. На крыльце стояла кучка гренадеров с рослым фельдфебелем. Внизу крыльца двое солдат держали на палке котелок с дымившейся похлебкой.

– Ба, да уж эта квартира занята! – весело сказал фельдфебель, с изумлением разглядев в церкви пленного. – А мы думали здесь позавтракать и уснуть... Капитан, – обратился он к кому-то проходившему внизу, за церковью, – здесь заперт русский; что с ним делать?

Поравнявшийся с крыльцом высокий и худой с светлыми, вьющимися волосами капитан мельком взглянул на пленного и отвернулся. Он, очевидно, также не спал, и ему было не до того. Его глаза были красны и слипались.

– Ему здесь с нами, полагаю, нельзя, – продолжал фельдфебель, – куда прикажете?

– Туда же, в подвал, – отходя далее, небрежно проговорил капитан.

Перовский обмер. Он опрометью бросился к двери, силой растолкал солдат и выбежал на крыльцо.

– С кем вы приказываете меня запереть, с кем? – в ужасе крикнул он, подступая к капитану. – Это безбожно! Я знаю, в чем обвиняют этих заключенных и что их ждет!

Озадаченный капитан остановился.

– Меня задержали под городом во время перемирия, – продолжал кричать Базиль, – в суете забыли обо мне! Я не пленный; вы видите, мне оставлено оружие, – прибавил он, указывая на свою шпагу, – а вы...

– Простите великодушно, – ответил капитан, как бы очнувшись от безобразного, тяжелого сна, – я ошибся...

– Но эта ошибка мне стоила бы жизни.

– О, это было бы большим несчастьем! – произнес капитан, с чувством пожимая руку Перовского. – Я сейчас пойду и узнаю, куда велят вас поместить.

Через полчаса капитан возвратился.

– Вас велено отвести к герцогу Экмюльскому, – сказал он, – вы дойдете туда благополучно, и вам будет оказано всякое внимание. Вот ваш охранитель.

Он указал на приведенного им конного жандарма.

«Этого еще не доставало! – подумал Перовский. – Четвертый арест – и куда же? к свирепому маршалу Даву».

XXIII

Квартира грозного герцога Экмюльского, маршала Даву, была на Девичьем поле, у монастыря, в доме фабриканта, купца Милюкова. Идя за жандармом по обгорелым и во многих местах еще сильно пылавшим улицам, Перовский не узнал Москвы. Они шли Волхонкой и Пречистенкой.

Грабеж продолжался в безобразных размерах. Солдаты сквозь дым и пламя тащили на себе ящики с винами и разной бакалеей, церковную утварь и тюки с красными товарами. У ворот и входов немногих еще не загоревшихся домов толпились испачканные пеплом и сажей, голодные и оборванные чины

разных оружий, вырывая друг у друга награбленные вещи. На площадях в то же время, вследствие наступившего сильного холода, горели костры из поломанных оконных рам, дверей и разного хлама. Здесь толпился всякий сброд. У церкви Троицы в Зубове жандарм-проводник, встретив знакомого артиллерииста-солдата, остановился, спрашивая его о дальнейшем пути к квартире Даву.

Внутри церкви, служившей помещением для командира расположенной здесь батареи, виднелась красивая гнедая лошадь, прикрытая священнической ризой. Она ела из жестяной церковной купели овес, умными глазами бодро посматривая на крыльцо. Ответив на вопрос жандарма, солдат-артиллерист потрепал лошадь по спине и, добродушно чмокая губами, сказал:

– Каков конь! Не правда ли, не животное – человек? Сметлив, даже хитер, все понимает. И хорошо ему тут, тепло, овса вдоволь... Он взят у одного графа. В Париже дадут за него тысячи.

На Зубовской площади, невдали от сторевшего каменного дома, на котором еще видне-

лась уцелевшая от огня, давно знакомая Перовскому вывеска: «Гремислав, портной из Парижа», у обугленной каменной колокольни стояла толпа полковых маркитантов и поваров. Внутри этой колокольни была устроена бойня скота, и усатый, рослый гренадер в лиловой камилавке и в дьяконском стихаре окровавленными руками весело раздавал по очереди куски нарубленного свежего мяса. Вдруг толпа бросилась в соседний переулок, откуда выезжали две захваченные под городом телеги. На телегах под конвоем солдат сидели плачущие молодые женщины в крестьянских одеждах, окутанные платками. Все с жадным любопытством смотрели на необыкновенную добычу.

– Что это? откуда? – спросил, улыбаясь, гренадер конвойного фельдфебеля.

– Переодетые балетчицы. Их поймали в лесу. Вот и готовый театр.

Распознавая направление сплошь выжженных улиц по торчавшим печам, трубам и церквам, пленник и его проводник около полудня дошли наконец до Девичьего поля.

Каменный одноярусный дом фабриканта

Милюкова был уже несколько дней занят под штаб-квартиру маршала Даву. Этот дом стоял у берега Москвы-реки, вправо от Девичьего монастыря. Упираясь в большой, еще покрытый листьями сад, он занимал левую сторону обширного двора, застроенного рабочим корпусом, жилыми флигелями и сараями милюковской ситцевой фабрики. Хозяин фабрики бежал с рабочими и мастерами за день до вступления французов в Москву. У ворот фабрики стоял караул. На площади был раскинут лагерь, помещались пороховые ящики, несколько пушек и лошадей у коновязей, а среди двора – служившая маршалу в дороге большая темно-зеленая четырехместная карета.

Перовского ввели в приемную каменного дома, где толпились ординарцы и штабные маршала. Дежурный адъютант прошел в кабинет Даву. Выйдя оттуда, он взял у Перовского шпагу и предложил ему войти к маршалу.

Кабинет Даву был окнами на главную аллею сада, в конце которой виднелся залив Москвы-реки. Среднее окно, у которого стоял рабочий стол маршала, было растворено. Све-

жий воздух свободно проникал из сада в комнату, осыпая бумаги на столе листьями, изредка падавшими сюда с пожелтелых лип и кленов, росших у окна.

При входе пленника Даву, спиной к двери, продолжал молча писать у окна. Он не обернулся и в то время, когда Базиль, пройдя несколько шагов от порога, остановился среди комнаты.

«Неужели это именно тот грозный и самый жестокий из всех маршалов Бонапарта?» – подумал Перовский, разглядывая сгорбленную в полинялом синем мундире спину и совершенно лысую, глянцевитую голову сидевшего перед ним тощего и на вид хилого старика.

Перо у окна продолжало скрипеть. Даву молчал. Прошло еще несколько мгновений.

– Кто здесь? – раздался от окна странный, несколько глуховатый голос.

Перовскому показалось, будто бы кто-то совершенно посторонний заглянул в эту минуту из сада в окно и, под шелест деревьев, сделал этот вопрос. Перовский молчал. Раздалось недовольное ворчанье.

– Кто вы? – повторил более грубо тот же голос. – Вас спрашивают, что же вы, как чурбан, молчите?

– Русский офицер, – ответил Базиль.

– Парламентер?

– Нет.

– Так пленный?

– Нет.

Даву обернулся к вошедшему.

– Кто же вы, наконец? – спросил он, уже совсем сердито глядя на Перовского.

Базиль спокойно и с достоинством рассказал все по порядку: как он, во время перемирия, был послан генералом Милорадовичем на аванпосты и как и при каких обстоятельствах его задержали сперва Себастьяни и Мюрат, потом Бертье и, вопреки данному слову и обычаям войны, доньине ему не возвращают свободы.

– Перемирие! – проворчал Даву. – Да что вы тут толкуете мне? Какое же это перемирие, если здесь, в уступленной нам Москве, по нас предательски стреляли? Вы – пленник, слышите ли, пленник, и останетесь здесь до тех пор... ну, пока нам это будет нужно!

– Извините, – произнес Перовский, – я не ответчик за других: здесь роковая ошибка.

– Пойте это другим! (A d'autres, d'autres!) – перебил его Даву. – Меня не проведете!

– Свобода мне обещана честным словом французского генерала...

Даву поднялся с кресел.

– Молчать! – запальчиво крикнул он, сжимая кулаки. – Дни ваши сочтены; да я вас, наконец, знаю, узнал.

Маршал, как бы внезапно о чем-то вспомнив, замолчал. Перовский с мучительным ожиданием вглядывался в его тонкие, бледные губы, огромный лысый лоб и подозрительно следившие за ним из-под насупленных бровей маленькие и злые глаза.

– Да, я вас знаю! – повторил Даву, с усилием высвобождая морщинистые щеки из высокого и узкого воротника и садясь опять к столу. – Теперь не уйдете... Ваше имя?

Перовский назвал себя. Маршал нагнулся к лежавшему перед ним списку и внес в него сказанное ему имя.

– Простите, генерал, – сказал, стараясь быть покойным, Базиль, – вы совершенно

ошибаетесь: я имею честь видеть вас впервые в жизни.

Глаза Даву шевельнулись и опять скрылись под насупленными бровями.

– Не проведете, не обманете! – объявил он. – Вы были взяты в плен под Смоленском, освобождены в этом городе на честное слово и, все разузнав у нас, бежали...

– Клянусь вам, – ответил Перовский, – я впервые задержан при входе вашей армии в Москву... Снесите с генералами Милорадовичем и Себастьяни.

Даву вскочил. Его лицо было искажено гневом.

– Бездельник, лжец! – бешено крикнул он, тряся кулаками. – Такому негодяю, черт бы вас побрал, говорю это прямо, исход один – повязка на глаза и полдюжины пуль!

Маршал позвонил.

– Вы позовете фельдфебеля и солдат! – обратился он к вошедшему ординарцу, откладывая на столе какую-то бумагу.

Ординарец не уходил.

– Но это будет вопиющее к небу насилие! – проговорил Перовский, видя с содроганием,

как решительно и твердо герцог Экмюльский отдавал о нем роковой и, по-видимому, бесповоротный приказ. – Вы, простите, оскорбляете безоружного пленного и к этому присоединяете убийство без следствия, без суда. Ведь это, герцог, насилие.

– А, вам желается суда? – произнес Даву. – Берегитесь, суд будет короток. Вас отлично помнит мой старший адъютант, бравший вас в плен... О, вы его не собьете!

– Позовите вашего адъютанта, пусть он меня уличит! – сказал Перовский, с ужасом думая в то же время: «А что, если низкий клеветрет этого палача все перезабыл и спутал в пережитой ими сумятице и вдруг, признав меня за того беглеца, скажет: да, это он! И как на него сетовать? Ему так может показаться...»

Глаза маршала странно улыбнулись, брови разгладились.

– Так вы хотите очной ставки? – спросил он, стараясь говорить ласковее. – Извольте, я вам ее дам... Но помните заранее, если мои слова подтвердятся, пощады не будет. Позвать Оливье! – сказал он ординарцу.

Ординарец вышел. Даву стал разбирать и перекидывать лежавшие перед ним бумаги. Базиль, замирая от волнения, едва стоял на ногах. «Броситься на него сзади, удушить тощего старика и выскочить в окно... – вдруг подумал он, – здесь положительно можно... садом добежать до реки, кинуться вплавь и уйти на противоположный берег, в огород и пустыри. Пока найдут адъютанта, явятся сюда, все увидят и начнут погоню – все можно успеть».

Руки Перовского судорожно сжимались; озноб охватывал его с головы до пят, зубы постукивали от нервной дрожи.

– Вам сколько лет? – спросил, не оглядываясь, Даву. Перовский вздрогнул.

– Двадцатый год, – отвечал он.

– Молоды... Москву знаете?

– Здесь учился в университете.

Даву обернулся и указал Перовскому на стене, возле стола, карту Москвы и ее окрестностей.

– Вот эти места подожжены русскими, – сказал он, тыкая сухим, крючковатым паль-

цем по карте, – горят сотни, тысячи домов... Вы, вероятно, также явились сюда поджигать?

Перовский молчал.

– Зачем вы нас поджигаете?

– Ваши солдаты, по неосторожности и хмельные, сами жгут.

– Вздор, клевета! А почему русские крестьяне, несмотря на щедрую плату, не подвозят припасов? – спросил Даву. – Столько вокруг сел – и не является ни один.

– Боятся насилий.

– Вздор! Какие насилия у цивилизованной армии? Говорят вам, мы щедро платим. Это все выдумки людей, подобных вам. Где Кутузов? Почему он так предательски, без полиции и пожарных инструментов, оставил такой обширный город? Где он?

– Я задержан вторые сутки и дальнейших распоряжений нашего главнокомандующего не знаю.

– Вы отъявленный лжец, – сказал, выпрямляясь в кресле, Даву, – вероломный партизан, дезертир!.. О, вы увидите, как мы наказываем людей, которые к измене присоединяют еще

наглуую, бесстыдную ложь.

Даву опять позвонил. Вошел ординарец.

– Что же Оливье?

– За ним пошли.

Даву подумал: «Что с ним возиться! надо-ели!» – и против имени Перовского, занесенного им в список, написал резолюцию.

– Вот, – сказал он, подавая ординарцу со стола пачку бумаг, – это в главный штаб, а этого господина с этим списком отведите к Моллина.

«Моллина, Моллина! – повторял в уме Перовский, идя за ординарцем и не понимая, в чем дело, – вероятно, председатель какого-нибудь трибунала».

Его привели на площадь, где был расположен лагерь пехоты, и сдали у крайней палатки толстому, с короткою шеей и красным лицом, седому офицеру. «Вот он, Моллина», – подумал Перовский, глядя в подслеповатые и сердитые глаза Моллина. Офицер, выслушав то, что ему сказал герцогский ординарец, кивком головы отпустил последнего и, едва взглянув в поданный ему список, сдал арестанта караулу, стоявшему невдали от палат-

ки. На карауле зашевелились. От него отделилось несколько солдат с унтер-офицером. «Следуйте за мною... Вы понимаете ли меня?» – гневно крикнул унтер-офицер, толкнув растерявшегося, едва владевшего собой Перовского. Три человека спокойно и безучастно пошли впереди его, три – назади. Унтер-офицер шел сбоку. Все спокойно поглядывали на Перовского, но он начинал наконец понимать, в чем дело.

Арестанта повели к огородам, бывшим у берега Москвы-реки, в нескольких стах шагах от лагеря. Здесь, на просторной, сыроватой площадке между опустелых гряд капусты и бураков, виднелся столб и невдали от него несколько свежесасыпанных ям. «Могилы расстрелянных! – пробежало в уме Базиля. – Да неужели же эти изверги... неужели конец?» Он бессознательно шагал за солдатами, увязая в рыхлой, сырой земле. Его мучило безобразие и бессилие своего положения. Он видел над собою светлое осеннее небо, кругом – пустынные, тихие огороды, за ними – колокольню Девичьего монастыря, галок, с веселым карканьем перелетавших с этой ко-

локольни в монастырский сад, и мучительно сознавал, что ни он, ни окружавшие его исполнители чужих велений ничего не могли сделать для его спасения. Ему вспомнилось Бородино, возглас доктора Миртова о свидании с ним через двадцать лет в клубе. Голова его кружилась. Тысячи мыслей неслись в уме Перовского с поражающе мучительной быстротой.

Назади послышался крик. Шедшие оглянулись. От лагеря кто-то бежал, маша руками.

– Что еще? – проворчал, остановясь, унтер-офицер.

Прибежавший, в куртке и в шапочке конскрипта, молодой солдат что-то наскоро объяснил ему.

– Отсрочка! – сказал унтер-офицер, обращаясь к Перовскому. – С нашим герцогом это бывает – видно, завтраком забыли предварительно угостить... До свидания.

Арестанта опять повели к маршалу.

Даву показался Перовскому еще мрачнее и грознее.

– Удивляетесь?.. Я приостановил разделку с вами, – сказал Даву, увидев Перовского, –

требую от вас окончательно чистосердечного и полного раскаяния; указанием на своих сообщников вы облегчите наши затруднения и тем спасете себя.

– Мне каяться не в чем.

– А если вас уличат?

– Я уже просил вашу светлость о следствии и суде, – ответил Перовский.

Даву снова порывисто позвонил.

– Где же, наконец, Оливье? – спросил он вошедшего ординарца. – Дождусь ли я его?

– Он здесь, только что возвратился от герцога Виченцкого.

– Позвать его!

Дверь сзади Перовского затворилась и снова отворилась.

– А, подойдите сюда поближе! – сказал кому-то маршал. – Станьте вот здесь и уличите этого господина.

Перовский увидел смуглого, востроносого человека с черным хохолком, франтовски причесанным на лбу, в узком поношенном мундире и в совершенно истоптанных суконных ботинках. Его маленькое обветренное лицо выражало безмерную почтительность к

грозному начальству. Черные глаза смотрели внимательно и строго. «Пропал!» – подумал, взглянув на него, Базиль.

– Ну, Оливье, – обратился Даву к адъютанту, – приглядитесь получше к этому человеку и скажите мне, – вы, как никто, должны хорошо все помнить, – не этот ли именно господин был нами взят в плен под Смоленском? Подумайте хорошенько... Что скажете? Не он ли провел там у нас в городе, на свободе, целые сутки и ночью, все разузнав, и, несмотря на данное слово, изменнически бежал? Вы должны это в точности помнить. Ваша память – записная книжка... Их, как помните, бежало двое: одного мы вскоре поймали и тогда же на пути расстреляли, а другой скрылся... Не этот ли дезертир теперь стоит перед вами?

«О, приговор мой подписан! – в ужасе, замирая, подумал Базиль. – Этот раболепный офицеришка непременно поддакнет своему начальнику. Иначе не может и быть! Боже, хоть бы мое лицо исказилось судорогой, покрылось язвами проказы, если во мне действительно есть хоть малейшее роковое сход-

ство с тем беглецом».

– Ну, смотрите же, Оливье, внимательно, – подсказал Даву адъютанту, – я вас слушаю.

Адъютант, переминаясь остатками ботинок, едва державшихся на его ногах, неслышно подошел ближе к пленнику и пристально взглянул на него.

– Да, помню, – негромко ответил он, – обстоятельство, о котором вы говорите, ваша светлость, действительно было...

– Вы, Оливье, глупец или выпили лишнее! – не стерпев, раздражительно крикнул Даву. – Вас спрашивают не о том, был ли такой случай или его не было; это я знаю лучше вас. Отвечайте, приказываю вам, на другой вопрос: этот ли именно господин бежал у нас из плена в ту ночь, когда мы заняли Смоленск? Поняли?

Перовский видел, как за секунду угодливые и, по-видимому, совершенно покойные глаза адъютанта вдруг померкли, точно куда-то пропали. Адъютант тронул себя за хохолок, прижал руку к груди и вполголоса, побелевшими губами, произнес что-то, казалось, полное неожиданности и ужаса. Базиль в точ-

ности не слышал всех его слов, хотя они уда-рами колокола звонко отдавались в его ушах. Он явственно только сознавал, как в наступившей затем странной тишине вдруг жалостно и громко забилося его сердце, и он помертвел. От него что-то уходило, что-то с ним навеки прощалось, и ему болезненно, от души было чего-то жаль. И то, о чем он так жалел, была его молодая жизнь, которую у него брали с таким суровым, безжалостным хладнокровием.

«Где же истина, где божеская справедливость?» – думал Перовский.

– Я вас не слышу, ближе! – крикнул Даву адъютанту. – Говорите громче и толковее.

– Этот господин, ваша светлость... – произнес Оливье, – я хорошо и отчетливо все помню...

Перовский, держась за спинку близ находившегося стула, едва стоял на ногах, усиливаясь слушать и понять, что именно произносили бледные и, как ему казалось, беззвучные губы адъютанта.

Часть вторая

Бегство французов

*И прииде на тя пагуба, и не увеси.
Исайя*

XXV

Через два дня после проводов жениной бабки и Авроры Илья Борисович Тропинин, надев плащ и шляпу, отправился в сенат, где, по слухам, была получена какая-то бумага из Петербурга. Он хотел проведать, последовало ли наконец разрешение сенатским, а равно и театральным чиновникам также оставить Москву. В то утро он узнал от бывшего астраханского губернатора Повалишина, что их общий знакомый, старик купец миллионер Иван Семенович Живов, убедившись в приближении французов, запер в Гостином дворе свой склад и, перекрестясь, сказал приказчику: «Еду; чуть они покажутся – слышишь, чтоб ничего им не досталось; зажигай лавку, дом и все!» Едва Илья въехал в Кремль и вошел в сенат, началось вступление французов в Москву, был ими произведен известный вы-

стрел картечью в Боровицкие ворота, и французы заняли Кремль.

Тропинин бросился было обратно в Спасские ворота. Он полагал спуститься к Москворецкому мосту и уйти с толпою, бежавшею по Замоскворечью. «Скорее, скорее!» – торопил он извозчика. У Лобного места его окружила и остановила куча французских солдат, с криками уже грабившая Гостиный двор. Посадив на тротуар этого длинного, близорукого и смешного, в синем плаще, человека, французы со смехом прежде всего стащили с его ног сапоги. Потом, весело заглядывая ему в лицо и как бы спрашивая: «Что? удивлен?» – они сняли с него плащ и шляпу. Огромного роста, в рыжих бакенбардах и веснушках, унтер-офицер, скаля белые, смеющиеся зубы, спокойно отстегнул с камзола Ильи золотую цепочку с часами и принялся было за обручальное кольцо на его пальце. Обеспамятевший Илья очнулся. Он бешено, с силой оттолкнул грабителя и, задыхаясь, с пеной у рта крикнул несколько отборных французских ругательств.

– Каково! он говорит, как истый француз!

(Tiens, il parle comme un vrai français!) – удивился унтер-офицер.

Илью окружили и ввели под аркады Гостиного двора, так как в близком соседстве уже прорывалось пламя пожара над москательными лавками. Пленнику предлагали множество вопросов о том, где в Москве лучшие магазины и погреба, как пройти к лавкам золотых и серебряных изделий, к складам вин и к лучшим модным трактирам. Пользуясь суетой, Илья в одном из темных проходов Гостиного двора бросился в сторону, выбежал к Варварке и скрылся в подвале какого-то опустелого барского дома. Когда стемнело, он переулками добрался до Тверского бульвара, отыскал знакомый ему сад богача Асташевского и здесь, в дальней беседке, решился провести ночь. Забившись в угол беседки, он от усталости почти мгновенно заснул. Его разбудил дым, валивший клубами через деревья из загоревшегося смежного двора. Не сознавая, где он и что с ним, и задыхаясь от дыма, он выскочил из беседки.

Начиналось утро. С разных сторон поднимались густые облака дыма с пламенем. Горе-

ли соседние Тверская, Никитская и Арбат. Тропинин, вспомнив приказ Живова о сожжении его собственного дома, оглядывался в ужасе. Его томил голод; разутые ноги окоченели от холода. Куда идти? Дом жениной бабки, где, как он знал, вчера на руках дворника осталось еще немало невывезенных припасов, был невдали. Илья, перелезая с забора через забор, вышел на Бронную. Отсюда было уже близко до Патриарших прудов. Полуодетый, без шляпы и в одних испачканных носках, он, быстро шагая длинными ногами, скоро миновал смежные, теперь почти пустые переулки. Уже виднелась знакомая крыша дома княгини Шелешпанской.

Тропинину преградила дорогу кучка солдат, несшая какие-то кули и тюки. Сопровождавший их офицер остановил Илью и приказал ему взять на плечи ношу одного из солдат, которого тут же куда-то услал. Ноша была в несколько пудов. Тропинин молча покорился такому насилию, соображая, что этому будет же вскоре конец. Он донес куль до Кремля. Оттуда его отправили с другими солдатами за сеном, а вечером, дав ему поесть, объ-

явили, что он будет при конюшне главного штаба. В течение пяти дней Илья чистил, кормил и поил порученных ему лошадей, выгребал навоз из конюшни и рубил для офицерской кухни дрова. Посланный с товарищем в депо за овсом, он нагрузил подводу, заметил на обратном пути, что пригнездившийся на подводе усталый товарищ уснул, дал лошади идти, а сам без оглядки бросился в смежный переулоч. Место его второго побега было близ Садовой. Он издали узнал церковь Ермолая и, опасаясь погони, бросился в ту сторону.

Мимо дымившихся и пылавших улиц Тропинин снова достиг Патриарших прудов и теперь их не узнал. Сколько он ни отыскивал глазами зеленой крыши и бельведера на доме княгини, он их не видел. Все окрестные деревянные и каменные дома сгорели или догорали. Улицы и переулочки вокруг занесенных пеплом и головнями прудов представляли одну сплошную, покрытую дымом площадь, на которой среди тлевших развалин лишь кое-где еще торчали не упавшие печные трубы и другие части догоравших зданий. Илья с ужасом убедился, что дом княгини Шелешпан-

ской также сторел. «Боже! неужели это не во сне?» – думал он, оглядываясь. Слезы катились из его глаз.

Беспомощно переходя от раскаленных пепелищ к пепелищам, Тропинин близорукими, подслеповатыми глазами усиливался отыскать след этого дома и не находил. Долго неуклюжею, длинною тенью он бродил здесь, прислушиваясь к падению кровель и стен и едва дыша от дыма и пепла. В одном месте, у церкви Спиридония, его охватило нахлынувшим пламенем. Он бросился к какому-то каменному забору и перелез через него. Соскакивая в соседний сад, он сильно ушиб себе ногу и сперва не обратил на это внимания. Нога, однако, разболелась. «Что же я теперь, если охромею, буду делать?» – думал Илья, бродя по саду и разминая ногу. Вдруг он услышал, что его назвали по имени. Тропинин вздрогнул. Между лип полуобгорелого сада он увидел седую голову, глядевшую на него из травы, а подойдя ближе, узнал бледное, в пегих пятнах, лицо княгинина дворника Карпа. Тот выглядывал из ямы.

– Ты как здесь?

– Третьи сутки спасаюсь.

– Чье это место?

– Неужто не узнаете? Наше.

Двор был в развалинах, деревья обгорели. Карп помог измученному голодом и ходьбой Илье спуститься в яму, вырытую им в саду, принес из пруда воды, дал ему умыться, накормил его какими-то лепешками и уложил отдохнуть.

– Все погорело, как видите, дом, людские и кладовая, – объявил, всхлипывая, Карп, – и те злодеи до пожара все разграбили, не помогла и стенка, дорылись и до ямы; телешовский Прошка спьяну навел сюда и указал; а вы-то, вы... Господи!

Карп ушел из подвала и под полой откуда-то притащил старенький калмыцкий тулуп, мужичьи сапоги и такую же баранью шапку.

– Оденьтесь, батюшка Илья Борисыч, – сказал он, – здесь, в западне, сыро. Как вас нехристи-то обидели! в нашем холопском наряде они вас тут хоть и увидят, скорее не тронут. А что же это, и нога у вас болит?

Тропинин сообщил о своем ушибе.

– Перебудьте, сударь, здесь, авось наша-то армия вернется и выгонит злодеев. На ночь мы прикроем подвал досками; я на них и землицы присыплю. Наказал нас господь... конец свету!

Илья оделся в принесенные тулуп и шапку, свернулся на соломе, в углу подвала, и под причитания Карпа заснул. Утром следующего дня Карп объявил ему, что накануне приходили какие-то солдаты, шныряли тут, перевертывая тлевшие бревна, и тесаками чего-то все искали, а в сад и к пруду все еще не подходили.

Илья не покидал подвала двое суток. Он оттуда, сквозь обгорелые деревья, видел, как пожар в ближних дворах мало-помалу угасал. Изредка за соседними заборами показывались неприятельские отряды, слышались французские и немецкие оклики. Дозорные команды, преследуя чужих и своих поджигателей и грабителей, захватывали подозрительных прохожих. В одну из ночей в ближнем закоулке произошла даже вооруженная стычка, Тропинин из подвала явственно слышал, как начальник дозора командовал сол-

датам: «En avant, mes enfants! ferme! feu de peloton, visez bien!» («Вперед, ребята, пали! цельтесь лучше!») Раздался залп преследующих; из-за печей и труб затрещали ответные выстрелы. Несколько вооруженных солдат, ругаясь по-немецки и роняя по пути добычу, перелезли через забор и пробежали в пяти шагах от ямы, где скрывался Илья. Слышались возгласы: «Du lieber Gott! Schwernots Kerl von Bonapart!»[52] Карп подобрал несколько хлебов, липовку с медом и узел с женскими нарядами. Хлеб и мед были очень кстати, так как съестные припасы в подвале подходили уже к концу.

Через неделю Карп объявил, что все припасы вышли и что он решился пойти к церкви Ермолая проведать, не уцелело ли там, в церковном дворе, чего съестного и что делается в других местах Москвы. Он возвратился измученный, недовольный.

– Враг-то... выбрал начальство над городом из наших же! – сказал он, спускаясь в подвал.

– Кого выбрал?

– Ермолаевский дьяк сказывал... он тоже в погребу там, под церковью, сидит и знает ва-

шу милость; при вашем венце в церкви служил...

– Что же он говорил?

– Нашим пресненским приставом злодеи поставили магазинщика с Кузнецкого моста... Марка, городским головою – купца первой гильдии Находкина, а подпомощником ему – его же сына Павлушку. На Покровке их расправа... Служат, бесстыжие, антихристу! креста на них нет...

Тропинин вспомнил, что он кое-где встречался с кутилою и вечным посетителем цыганок и игорных домов Павлом Находкиным и что однажды он даже выручил его из какой-то истории, на гулянье под Новинским.

Илья в раздумье покачал головой.

– Да что, сударь – произнес Карп, – то бы еще ничего; кощунство какое! Не токма в церквях, в соборах треклятые мародеры завели нечисть и всякий срам. Выкинули на пол мощи святителей Алексея и Филиппа. В Архангельском наставили себе кровати, а в Чудовом над святою гробницею приладили столярный верстак. Ходят в ризах, антими́нсами подпоясываются. Еще дьячок сказывал, что

видел самого Наполеона. Намедни он тут, по Садовой, мимо их, злодей, проехал; серый на нем балахончик, треуголочка такая, сам жирный да простолицый, из себя смуглый; то, сказывают, и есть сам Бонапартый.

Илья вспомнил, как Наполеона еще недавно обожал Перовский.

– Чего же Бонапарт забрался в Садовую? – спросил он.

– Ушел за город; его, слышно, подожгли в Кремле. Да и бьют же их, озорников, а то втихомолку и просто топят.

– Как так?

– Ноне, сударь, слышно, из каждого пруда вытянешь либо карася, либо молодца. А Кольникур ихний ничего – добрый... Намедни тоже мимо Ермолая ехал, сынка тамошней просвирни подозвал и дал ему белый крендель. Вот и я вам, батюшка, картошек оттуда принес... черноваты только, простите, в золе печены и без соли.

Илья с удовольствием утолил голод обугленными картошками.

Еще прошло несколько дней. Припасы окончательно истощились. Карп пошел опять на разведки. Тропинин тоже под вечер вышел из подвала – прогуляться между пустырей. Он заметил в чьем-то недалеком огороде, у колодезя, яблоню, на которой виднелись полуиспеченные от соседнего пожара яблоки. Сорвав их несколько штук, он начал жадно их есть. Его грубо окрикнул проходивший мимо пьяный французский солдат. Подойдя молча к Илье, солдат уставился в него, взял с его ладони яблоко, пожевал его и с ругательством бросил остатки Илье в лицо. Илья вспыхнул. В его глазах все закружилось. Он с бешенством ухватил обидчика за шею. Началась борьба. Хмельной солдат ловко наносил кулаками удары Тропинину и чуть не сбил его с ног. Илья устоял, обхватил солдата и, протаскив его под деревьями, швырнул в колодезь. Не помня себя и задыхаясь от волнения, он едва дошел обратно до подвала. Искривленное страхом лицо и взмахнувшие по воздуху башмачонки француза, брошенного им в колодезь, не выходили у него из головы. Карп возвратился с пустыми руками. Опасаясь воз-

мездия со стороны неприятелей, Илья объявил ему, что их место небезопасно, что надо бросить его, и решил с ним наутро отправиться к новому городскому голове. Ночь Тропинин провел в бессоннице и в лихорадочном бреду. Ему грезились в соседнем огороде обгорелые яблони и между ними черный, покрытый плесенью, сруб заброшенного колодезя. Ночь он видел иную, теплую; странный багровый месяц освещал вершины обгорелых лип и берез, между которыми шла с лукошком, полным спелых яблок, Ксения. Коля, уже мальчик лет пяти, бежал по траве впереди нее. Вдруг из глубины колодезя поднялся и, хватаясь за сруб руками, стал вылезать бледный, покрытый зеленою тиной утопленник. Не успел Илья броситься на помощь жене, как утопленник, шлепая мокрыми ногами, добежал и впился зубами в обеспамятевшего Колю. Тропинин в ужасе проснулся... Крышка над подвалом была приподнята. Кто-то вылезал из ямы. Илья узнал Карпа. «Куда это он?» – подумал Илья и также поднялся наверх. Карп пробирался к ближнему двору, уцелевшему от пожара. Из-за лип от подвала

было видно, как он бережно подкрался к крайнему флигелю, стоявшему среди сараев, и присел. «Что он там делает?» – мыслил Илья. У флигеля сверкнули искры. Карп, очевидно, кресал огонь. Еще прошла минута, угол ветхой крыши ближнего сарая осветился. Послышались опять шаги. Карп проворно бежал оттуда; подожженное здание вспыхнуло. «И этот, как купец Живов! – подумал Илья, торопясь спуститься в подвал, чтобы его не увидел Карп. – Знаю теперь, кто поджигает Москву». Он радовался и вместе боялся смутить поджигателя тем, что видел его тайный подвиг.

Тропинин с Карпом утром отправился в дом нового городского головы. На стене дома была надпись: «Secours aux indigents» («Помощь нуждающимся»). На фронтоне подъезда красовалась новая, лоснившаяся вывеска: «Гороцкой голова». Доложив о себе Находкину-сыну, Илья поднялся в верхний этаж; Карп остался у подъезда.

Павел Находкин, в модном сером фраке, с белым шарфом через плечо, сидел за столом в приемной, опрашивая каких-то бродяг, при-

веденных сюда для справок от заведовавшего французскими лазутчиками генерала Сокольницкого. Мужичкий наряд и небритое, оброставшее бородою лицо Тропинина не дали Находкину возможности сразу его узнать. Илья назвал себя. Краска залила моложавое лицо и толстый затылок Находкина. Он, водя пером по бумаге, подождал, пока жандармы увели арестантов, оправил на себе шарф и встал.

– Тэк-с, – сказал он, не глядя на Тропинина, – что же-с... узнаём-с... Что угодно? и как изволили в такое время остаться в здешних местах?

Илья передал ему о своем плене и ушибе ноги и просил содействия к разрешению ему и дворнику княгини оставить Москву. Находкин не поднимал глаз.

– Но как же? каким то есть манером? – произнес он. – Мы вам с тятенькой, сказать, очень благодарны-с... тогда на гулянье гусары... и вы вступились... Но теперь тут совсем иные, иноземные порядки, не наши-с... притом мы не одни...

Павел подумал.

– Разве вот что-с, – сказал он. – Начальник

ихних шпионов генерал Сокольниковский, опять же и главный их интендант генерал Лесепс нуждаются в знающих господах... Не окажете ли, сударь, сперва услуги нашим победителям? Было бы кстати-с.

– Какой услуги?

– Вы при киятре служили и, кажись, надзирали за размалевкою декораций... сами рисуете.

– Так что же?

– Его величество, значит, ихний, – произнес Находкин, – а пока, так сказать, по здешним местам и наш анпиратор Наполеон затеял, видите ли, для ради своей то есть публики киятер на Никитской. Извольте знать дом Позднякова? Еще возле, там, Марья Львовна жила.

– Какая Марья Львовна?

– Ну, Машенька-актриса, – продолжал Павел, – ужели не помните? Дело прошлое... Так вот-с, возле ее фатеры этот самый киятер и устраивают... Там давно и прежде шли представления, большущий зал с ложами, при нем зимний сад. Обгорела только сцена, декорации и занавесы.

– Где же вы возьмете новые? – спросил Илья, – наш казенный театр, слышно, совсем сторел...

– Отыскались на это у них мастера; занавес будет вовсе новый, парчовый, из риз, а вместо люстры – паникадило.

Тропинин ушам своим не верил. «Что он? раскольник, что ли? – подумал он. – Да нет, те еще более почтительны к вере».

– И вы, как рисовальщик, – продолжал Находкин, – притом же, зная их язык, могли бы им помочь. Вас в таком разе оденут, накормят; ну, смилуются, а то и вовсе выпустят. Мы же с тятенькой тоже постараемся, и завсегда.

Тропинин, поборая в себе злобу и негодование, молча мыслил: «Неужели же этот муниципал и в самом деле поможет мне освободиться?»

– Согласны, барин? – спросил Находкин.

– На что?

– Помочь в декорациях и в прочем...

– Согласен, – ответил со вздохом Илья.

– И дело-с. Очень рад! А таперича, значит, по порядку, мы вас отправим к Григорию Никитичу.

– Кто это?

– На Мясницкой, книгопродавец Кольчугин. Он ныне по милости анпиратора Бонапарта, покровителя, так сказать, наук-с, тут назначен главным квартирмейстром для призрения неимущих и пленных. Там и Сокольницкий... Тятенька, вы здесь? – крикнул Павел в соседнюю комнату.

– Здесь, что те? – отозвался оттуда голос.

Павел скрылся за дверь и минуты через две вышел оттуда с отцом. Петр Иванович Находкин, невысокий, рябой и лысый старик, с узкою, клином, бороною, был в купеческом кафтане до пят, в высоких, бутылками, сапогах и также с белым шарфом через плечо.

– Поступаете? – спросил он, взглядывая на Илью маленькими, зоркими глазами.

– Ваш сын предлагает.

– Павел говорит дело, – произнес старик, – все мы под богом, не знаем, как и что. В этот киятер уже поступили из наших арестованных, скрипач Поляков и виолончелист Татаринов. Не опасайтесь, не останетесь... а мы добро помним-с...

Тропинин и Карп, с запиской сына Наход-

кина и с жандармом, были отведены на Мясницкую. Здесь, у подъезда длинного каменного дома, где помещался заведовавший частью секретных сведений генерал Сокольницкий, стоял караул из конных латников. Илью и его спутника ввели в большую присутственную комнату. Несколько военных и штатских писцов сидели здесь над бумагами у столов. За перегородкой, у двери, переминаясь и охая, стояла кучка просителей – бабы, нищие, пропойцы и калеки. Илья сквозь решетку узнал Кольчугина, у которого не раз, еще будучи студентом, он покупал книги. Он ему протянул письмо Находкина. Стриженный в скобку и без бороды, Григорий Никитич, заложив руки за спину, стоял невдали от перегородки, у стола, за которым горбоносый, бледный и густо напوماженный французский офицер, с досадой тыкая пальцем по плану города, спрашивал его через переводчика о некоторых домах и местностях Москвы. Учитель математики – переводчик, плохо понимавший и еще хуже говоривший по-французски, выводил офицера из терпения. На Илью долго никто не обращал внимания. У него от ходьбы

разболелась нога, и он с трудом мог стоять, Кольчугин наконец взял у него письмо.

– Вы знаете по-ихнему? – радостно спросил он, прочтя письмо. – И отлично-с: сами объясните им свое дело, а пока вот помогите, этому офицеру нужно указать на карте, где дома Пашкова. Главный из них сгорел, а в боковых они хотят ладить новый госпиталь и богадельню... Удивляетесь, что я при их службе? – заключил, оглядываясь, Кольчугин. – Что, сударь, делать? Крест несем... силком запрягли.

XXVII

Тропинин, войдя за перегородку, дал нужные объяснения офицеру и затем сообщил ему о предложении Находкина. Сперва офицер слушал его сухо, но едва узнал, что Илья владеет кистью, мгновенно изменился.

– Вы хотя и в грубой одежде, – сказал он, не скрывая своего удовольствия, – видно, что образованный, высшего общества человек. Садитесь. Не думайте, чтобы мы были только завоевателями. Вы увидите, как мы оживим и воскресим вашу страну. О! театр! лучшая пища для души... Я сам по призванию что хотите: певец, стихотворец, актер, словом – ар-

тист.

На Илью были устремлены ласковые черные глаза; печальная улыбка не сходила с бледного лица офицера.

– Да, – продолжал последний, – я в молодости, в нашей collège[53], в Бордо, играл не только Мольера, но и Расина... Далекие, счастливые времена! Но и здесь между вашими актерами, уверяю вас, есть истинные таланты; не все бежали. О! мы уже пригласили изрядных комиков.

Офицер назвал имена нескольких магазинчиков, аптекаря и двух парикмахеров с Кузнецкого моста.

– А ваш балетмейстер Ламираль, вот дарование! Он вызвался быть у нас режиссером и ставить даже танцы... Потом, как его, как? очень милый господин... мы с ним обедали на днях в его премилой семье... Он взял подряд поставить театральную утварь... Вспомнил! – торговец сукнами Данкварт... еще у него на вывеске герб императора Александра.

– Все ваши соотечественники, французы, – сказал Илья.

– Вы этим хотите сказать, – произнес офи-

цер, – что вам, как русскому, хотя так превосходно говорящему по-французски, неприлично участвовать в наших удовольствиях? Не так ли?

– Да, – ответил Илья.

– Полноте, помогите нам.

– Но чем же?

– Вы рисуете красками?

– Да.

– Это все, что нам нужно. И если вы согласны, скажите, чем, в свой черед, и я могу вам служить? Шарль Дроз, к вашим услугам, – заключил, вежливо кланяясь, офицер, – капитан семнадцатого полка и адъютант штаба... а в свободные часы – любитель всего изящного и в особенности театра.

– Я голоден, мосье Дроз! – мрачно произнес Илья. – Со вчерашнего дня ничего не ел.

– Боже мой, а я-то, извините... прошу вас ко мне! – сказал, вставая, капитан. – Мы оба – артисты... Что делать? жребий войны... Я здесь недалеко, тут же во дворе; только кончу дело. А вы, мосье Никичь, – обратился он, через переводчика, к Кольчугину, – снабдите господина... господина Тропин... не так ли?

приличную одеждой и обувью из нашего склада... я сам о том доложу генералу...

Тропинина провели в какую-то каморку, полную разного хлама, одели во французскую военную шинель и фуражку и в новые, еще не надеванные сапоги, по-видимому, добытые в какой-либо ограбленной лавке обуви. Выйдя из каморки, он встретил Карпа.

– А меня-то, батюшка Илья Борисович, отпустите? – спросил тот, едва узнав Илью в новом наряде.

– Куда ты?

– Землячка тут нашел, пойдем бураки и картошку копать.

– Где копать? Знаю я, куда ты и зачем... смотри, не попадись...

– Убей бог, в казенных огородах, возле казарм. Накопаем им, аспидам, да авось и уйдем.

Освободившись от занятий, капитан Дроз провел Илью внутренними комнатами в обширный барский, почти не тронутый огнем двор, в задних флигелях которого размещались адъютанты начальника розыскной полиции, чины его канцелярии и конные и пе-

шие рассылные. В помещении капитана, в проходной тесной комнатке, у окна, с пером в руке и в больших очках на носу, сидел седенький в военной куртке писец.

– Пора, Пьер, кончать, темно! портишь глаза! – ласково сказал Дроз писцу, идя с Ильей мимо него.

– Нельзя, капитан, – ответил, не отрываясь от бумаги, писец, – машина станет! списки герцога Экмюльского... только что принесли...

– О, в таком случае кончай, – объявил Дроз.

– В чем эта работа, осмеливаюсь узнать? – спросил Илья, когда капитан потребовал ему от своего денщика закусить и усадил его за блюдо холодной телятины.

– Да, *mon bon monsieur*[54], горька доля воюющих! – со вздохом ответил капитан. – Часто я проклинал судьбу, что из артиста стал солдатом... а теперь меня наряжают для разных следствий... в эти же списки вносятся имена пленных маршала Даву.

Дроз достал из шкафа бутылку и налил гостю стакан вина.

– Что же делают потом с этими списка-

ми? – спросил Илья.

– Их пересылают, к сведению, в главный штаб и сюда.

– И только?

– Нет, канцелярия маршала делит вносимых в эти списки на две части. В одну вносятся менее опасные, заурядные лица; в другую – особенно подозрительные.

– Что же ожидает первых и вторых?

– Против имени первых канцелярия обыкновенно делает отметки: под арест или на работы; против вторых же сам маршал ставит собственноручные резолюции: к повешению или к расстрелянию... Печальные бывают развязки. Война не шутит. У меня на этот предмет есть стихи. Не хотите ли, я вам их прочту? – спросил он, покраснев. – Мои собственные стихи о войне.

– Сделайте одолжение.

Дроз встал, протянул руку и, с грустью глядя на гостя, как бы призывая его в судьи своей тоски и одиночества, нежным певучим тенором продекламировал элегию о разоренном гнезде малиновки и о коршуне, похитившем ее птенцов. Он сам с напомаженным хо-

холком напоминал малиновку.

Голос и стихи Дроза тронули Илью. Его щеки от этого чтения и вкусной еды, запитой вином, покраснелись. Красивый, с горбом нос капитана между тем стал еще бледнее, а глаза печальнее. Он в раздумье молча глядел в пространство. В это время старичок-писец принес переписанные бумаги. Капитан повертел их в руках и вздохнул.

– Да, – сказал он, – отличный почерк, но на какое дело! Есть ли у вас, в России, такие искусники?

Он показал гостю копии, бережно положил их на окно и объявил, что сам отнесет их к генералу, а подлинники велел отправить в канцелярию главного штаба, в Кремль.

– Стаканчик! знаешь, той? – обратился он к писцу, добродушно подмигивая ему на кубышку перцовки в шкафу. – Таким почерком переписывать только Шенье, Бомарше...

Дроз налил из кубышки, которую он называл «*bouche de feu*» – «огненным ртом».

– Капитан! – восторженно произнес писец, отставя руку и глядя на поданный ему стакан перцовки. – Век не забуду ваших ласк и доб-

роты!

Он медленно выпил стакан, отер рукавом усы и крякнул.

– Это напиток богов! Исполнение желаний ваших, господа, и дорогих вашему сердцу! – сказал он, уходя. – Хотя последние теперь, очевидно, далеко.

Капитан, уныло сторбившись, молчал.

– Дорогие нашему сердцу! – произнес он, отгоняя тяжелые мысли. – Моя семья далеко; ваша же, собрат по музам? вы женаты?.. где ваша семья?

– Ничего не знаю, – ответил Тропинин, – я женат, но моя жена бежала отсюда за два дня до моего плена... и что с нею, жива ли она, убита ли, господь ведает...

– Бежала и она! но зачем же? – искренне удивился капитан.

– А эти ваши списки? – произнес Илья, указывая на принесенные писцом бумаги. – Что, если бы она попала в эти красиво переписанные бумаги, да еще в первый разряд? ведь ваш грозный маршал, сами вы говорите, не любит шутить: а он и женщину мог бы счесть за опасную...

Капитан покраснел до ушей.

– Что за мысль! полноте! – возразил он. – Мы не индейцы и не жители Огненной земли; можете быть спокойны, женщины у нас неприкосновенны. И ни одной, ручаюсь в том, вы не найдете в этих списках. Да, мое поприще – искусство, пластика. Даже сам я и мои формы, не правда ли, пластичны? – произнес капитан, вставая и перед зеркалом протягивая свои руки и выпячивая грудь и плечи. – Это не мускулы, мрамор, не правда ли, и сталь? Итак, завтра я вам дам письмо к Ламиралу, и вы украсите вашу кистью наш театр. Артистов у нас, повторяю, довольно. Кроме найденных здесь прелестной Луизы Фюзи, Бюрсе и замечательного комика Санве, явились и другие охотники. Сверх того, как, вероятно, и вы уже знаете, захвачен целый балет танцовщиц одного вашего графа... comte Cheremute[55]. А теперь, полагаю, и на покой!.. Вот вам кровать, я улягусь на этом сундуке.

– Очень вам благодарен, – ответил Илья, – но это уже чересчур, с какой же стати?

– Без возражений, коллега; мы оба – слуги

муз, и вы мой гость... Устраивайтесь, а мне надо нести бумаги к генералу, но прежде я загляну в канцелярию; знаете, народ нынче ненадежный, особенно здесь, – чрез меру поживились военной добычей и не совсем исправно себя ведут.

XXVIII

Офицер вышел. Илья прислушался у двери к его шагам и бросился к бумагам, лежащим на окне.

«Имею ли я право прочесть? – подумал он. – Ведь это вероломство, нарушение прав гостеприимства... А они? а эта война?» Тропинин поднес бумаги к свече, пробежал заголовки и начал наскоро просматривать списки. Были короткие и длинные. Один из списков, набросанный несколько дней назад, особенно занял его. В нем было занесено много арестованных с отметками: «поджигатель», «грабитель», «шпион». Тропинин просмотрел первую страницу, перевернул лист, прочел еще столбец имен и обмер. Протерев глаза, он снова заглянул в прочитанное. В перечне имен «особенно подозрительных» («*trés suspects*») он прочел явственно написанное:

«Lieutenant Perosski»[56]. Рядом с этим именем стояла отметка: «Le deserteur de Smolensk»[57], а сбоку, разом очеркивая несколько имен, было, очевидно, старческой рукою маршала Даву, приписано: «Расстрелять» («Fusilier»).

Кровь бросилась в голову Тропинина. Он выронил бумаги на окно и несколько мгновений не мог опомниться. Комната с горевшей свечой, стол с неубранными тарелками, сундук и предложенная ему кровать капитана вертелись перед ним, и сам он едва стоял на ногах. «Перосский, очевидно – он, Базиль Перовский! – в ужасе думал Илья. – Но каким образом он мог быть схвачен в Смоленске и стать дезертиром, когда писал нам уже после Вязьмы и ни единым словом не намекнул на подобный случай? очевидно, роковая, вопиющая ошибка».

Илья ломал себе руки, не зная, на что решиться и что предпринять. Сказать капитану, что он просматривал его секретные бумаги? Но тогда тот справедливо может обидеться, а то и еще хуже – донесет на него.

Дроз возвратился.

– А вы еще не спите? – спросил он. – Ложи-

тес, иначе вы меня обидите...

Не подозревая особой причины смущения Ильи, он настоял, чтобы тот лег на его кровати, а сам, раздевшись и подмостив себе под голову шинель, улегся на сундуке и погасил свечу.

Прошло с полчаса. Приятный запах розовой помады разносился по комнате.

– Скажите, капитан, – обратился к нему Илья, видя, что офицер еще не спит, – случается ли, чтобы страшные резолюции маршала иногда отменялись или почему-либо не приводились в исполнение?

Капитан, медленно повернувшись к стене, тяжело вздохнул.

– Увы! – ответил он, помолчав. – У герцога Экмюльского этого не может быть; решения при допросах он пишет сам, а кто ослушается его приказаний? Вы, хотя и русский, я полагаю, знаете, да это и не тайна, – прибавил вполголоса Дроз, – Даву не человек, а между нами сказать, тигр...

– Но не все же, наконец, решения вашего герцога-тигра исполняются мгновенно, без проверки и суда? – произнес Илья, хватаясь за

тень надежды. – Решено, положим, утром; неужели же не откладывают, для справок, хотя бы до вечера?

– В чем дело? не понимаю вас, – спросил Дроз.

– Вот в чем, – проговорил Илья. – Здесь, в Москве, как я узнал, был схвачен и заподозрен в побеге один мой соотечественник. Он, клянусь вам, не виновен в том, в чем его подозревают.

– Когда он схвачен и в чем обвиняется?

Илья подумал.

– Времени его ареста не знаю, – ответил он, – а, по слухам, винят его в том, будто он – дезертир... ну, как вам объяснить? что, будучи взят в плен под Смоленском, оттуда бежал... Это клевета. Я в точности знаю, что он вплоть до Бородина нигде не был в плену. Ради бога, молю вас, это мой товарищ и друг; если он жив еще, попросите за него.

– Но кого просить?

– Герцога, самого императора.

– Мало же вы знаете герцога и нашего императора! – сказал, обернувшись от стены, капитан. – Прибегать с такою просьбою к герцо-

гу – все равно что молить у гиены пощады животному, которое она держит в окровавленных зубах... а император... да знаете ли вы его? – прошептал капитан, даже привстав впотьмах и сядясь на сундуке. – Нас тут не слышат, вы понимаете, и я, между нами, могу это сказать... Недавно он при докладе Бертье о нуждах солдат выразился: «Лучше, князь, вместо солдат поговорим о их лошадях!» Станет он думать об экзекуциях Даву... У него на уме другое...

Капитан замолчал.

– А жаль! – проговорил он через минуту. – Не ему ли было бы лучше остаться во Франции, покровительствовать искусствам, литературе? Боязнь покоя, критики – вот что увлекает его в новые и новые предприятия... Впрочем, не нам, мелким, судить великого человека. А пока он успокоится, мы сами, дорогой собрат, не правда ли, займемся театром! Итак, до завтра! – заключил, опять ложась, капитан. – Дадим великой армии отдохнуть и вспомнить, хотя здесь, в вашей Скифии, наши былые, лучшие, тихие времена.

– Но я бы вас все-таки просил, – сказал

Илья, – если будет случай и это вас не затруднит, справьтесь о моем друге, чем кончилась его судьба?

– Как его имя?

Тропинин назвал.

– Попытаюсь, мой дорогой, – произнес капитан, – только, знаете, в эти смутные дни в наших штабах столько возни и хлопот. Не обо всем оставляют след в бумагах.

Сказав это, Дроз окончательно смолк. В комнате раздался его сперва тихий, потом громкий и, по-видимому, совершенно счастливый храп. Он видел во сне Францию, маленький провинциальный театр, где он играл на сцене и мечтал о будущности Тальма, не подозревая, что, благодаря конскрипции Наполеона, из актера он станет воином, а затем попадет в штаб «заведывающего секретными сведениями».

«Несчастный Базиль! – мыслил тем временем Тропинин. – Дело, очевидно, кончено! Вот чем отплатил тебе твой любимый идол, герой! Сын магната, министра... Погибнуть в числе подозреваемых в поджогах и грабежах! И никто об этом не знает, никто не защитит...

Бедная Аврора... предчувствует ли она, что постигло ее жениха?..»

Илье вспомнилась его жена, недавний тихий семейный круг. Слезы подступали к его горлу, и он ломал голову, как ему самому уйти из плена и избежать участи, постигшей его друга.

Проснувшись утром, он увидел, что капитан уже встал и что-то пишет.

– Вот вам письмо, – сказал озабоченно Дроз, – отнесите его к Ламиралю, и желаю вам всякого успеха и благополучия. Меня же, к сожалению, сейчас вызывали к генералу; он посылает меня на следствие в другое место. До свидания.

– А узнали вы что-нибудь о моем товарище Перовском? – спросил Илья.

– Справлялся, – ответил сухо Дроз, – по бумагам ничего не видно, хотя я рылся немало; дел теперь столько, столько...

Капитан ушел; Тропинин при помощи его денщика умылся, побрился и пошел на Никитскую, в дом Позднякова.

Бывший навеселе с утра режиссер Ламираль недолго с ним говорил. Он провел

Илью за кулисы и без дальних слов предложил ему заняться изображением декорации какой-то итальянской виллы. Краски в горшках и огромные кисти были готовы. Илья надел фартук, растянул на полу холсты и принялся за работу. Он трудился, не разгибая спины, весь день. Вечером его позвали обедать в соседний дом, где помещались, изучали роли и продовольствовались набранные для театра актеры и актрисы. Так прошло несколько дней. Илья пытался в это время заговорить со своими новыми сожителями об участии пленных вообще и тех, которые попадали на Девичье поле, к маршалу Даву. Веселые и беззаботные артисты при таких вопросах вмиг смолкали и, поднимая глаза к небу, смущенно говорили:

– Ужас! Расстреливают и вешают ежедневно, без суда.

Дроз раза два еще навещал работы Ильи и сильно его хвалил, потом окончательно исчез. Его надолго прикомандировали к какой-то комиссии, в другой части города, у Сухаревой башни. Холсты для декораций между тем были почти готовы. Ламираль готовил ве-

селье и, как говорили, любимые Наполеоном пастушеские оперетки с переодеваньями, в которых остановка была только за декорациями. То были пьесы «Martin et Frontin», «Les folies amoureuses» и «Guerre ouverte»[58]. Он с важностью объявил Илье, что весьма доволен его работою. За опереттой Ламираль затеял даже поставить нечто вроде небольшого балета. Потребовались новые декорации, за которыми Илья просидел опять довольно долго. Под видом наблюдения за театром сюда, полюбезничать с пленными танцовщицами, езжали разные французские власти, в том числе и сам король Мюрат. К Илье привыкли и ему доверяли. Он решил этим воспользоваться и однажды отпросился у режиссера проведать Дроза. Ламираль к последнему имел, кстати, одно неоконченное дело по театру. Он дал Илье к нему письмо, а для свободного прохода к Сухаревой башне достал ему от коменданта охранный лист. Это было вечером, в конце сентября. В этот день артистов снова навестил Мюрат, и Илья был личным свидетелем его ухаживанья за черноглазою, статною танцовщицей Лизой. На все лю-

безности венчанного селадона неуступчивая плясунья, бешено сжимая кулаки и плача, отвечала:

– Сгинь ты, тьфу, черт пучеглазый!пусти душеньку на покаяние!

Король, не понимая ее, милостиво улыбался.

Погода стояла прохладная. Тропинин невдали от Сухаревой башни, на Садовой, обогнал французского молодого рекрута из эльзасцев. Немец-солдатик шел с сумкой и с ружьем на плече, устало посматривая по сторонам и как бы ища дороги. Илья заговорил с ним и узнал, что рекрут был послан из Кремля с бумагами в Лефортово, где во дворце был устроен главный французский госпиталь.

– А вы куда? – спросил Илью румяный, с ямочками на щеках, белокурый эльзасец.

– И мне туда же, – подумав, объявил Тропинин.

– Отлично, господин, веселее будет, идем... А я, как видите, сбился в сторону и таки порядочно притомился... Не совсем ладно: лошадидохнут, как мухи осенью, и теперь все приходится пешком... Вы, не правда ли, штабной?

– Да, рассыльный, как и вы.

– Но у вас сапоги будут поновее.

– Дали в награду.

– Отлично, и мы заслужим вместо этого тряпья, – произнес солдат, поглядывая на свои худые, обвязанные веревочками сапожки.

Новые знакомцы, беседуя, миновали Басманную и через Немецкую улицу вышли за Язу. Окончательно стемнело. Тропинин в сумраке указал спутнику на освещенные окна лефортовских зданий. За дворцовым садом и церковь Петра и Павла, у ручья Синички, как он знал, было загородное Введенское кладбище. Илья помнил эти места, так как во время студенчества не раз навещал в этих местах одного товарища.

– Что, друг, не зайдете ли и вы со мной в госпиталь? – спросил, отирая лицо, солдат, – там обещали меня угостить бульоном выздоравливающих и их вином... говорят, прелесть, особенно уставши...

– Нет, лучше вы меня проводите вон до той церкви, – сказал, осматриваясь, Илья, – поздно вато, я хоть и штабный, но без оружия; с ва-

ми будет спокойнее!.. здесь, слышно, пошаливают мародеры...

– Охотно. Но странно, – заметил солдат, – я уже однажды был здесь и даже вот у этой церкви; там еще стояла на днях артиллерия. Теперь же кругом так тихо, точно иду здесь впервые; спасибо, что вы провели, я, знаете ли, близорук и плохо помню места.

– Мне к командиру этой артиллерии, – спокойно сказал Илья.

– Отлично, пойдём.

Солдат и Илья направились к церкви Петра и Павла. Невдали от нее их окликнул часовой ночной цепи. Путники ответили, что идут по службе.

– Куда?

– В церковный дом, – ответил Илья.

– Кой черт, в такую пору! – проворчал конный гренадер, наскакивая на них впотьмах и приглядываясь к ним с седла. – Куда лезете? в этой глуши шныряют казаки; еще отнимут ружье и ограбят вас, если не будет и хуже того.

– Будь спокоен, друг, нас двое! – смело проговорил Илья, шлепая далее по липкому и

скользкому переулку, у сада. – Не на таких нападут.

– Помните, там уже конец ведегов.

XXIX

Миновав госпиталь и часть поля, путники дошли до церковной ограды. Кругом было мертвенно пустынно. Ветер шумел в вершинах берез, окружавших ограду.

– Ну, дорогой мой, идите обратно, я вас догоню или найду в госпитале, – сказал Илья солдату, между тем мысля: «Не вырвать ли у него ружье и не приколоть ли его здесь, наедине, чтоб убежать успешнее?»

– Да к кому же это вы? – спросил Илью солдат с удивлением, убедившись, что ни возле церкви, ни за нею не было признаков артиллерии, стоявшей здесь на днях. – Или, – засмеялся он, – ваше поручение к покойникам?

«Приколоть?.. – опять пробежало в мыслях Ильи. – Что, как он догадался и даст знать часовым цепи?»

Солдат в это время положил ружье и опралял на ногах веревочки. Илья помедлил.

«Нет, – решил он, – иди себе с миром, доб-

рый белокурый немчик; ты против воли попал в полчище этого злодея, бог с тобой!»

– Неужели вы не видите? – спокойно сказал он. – Вон домишко между деревьями; огни погашены; командир, очевидно, спит, не спят часовые; их отсюда не видно... Я разбужу кого мне надо, отдам бумаги и вас еще догоню.

– До свидания! и то правда, я так близорук, что иной раз думаю: ну зачем взяли в рекруты такую слепую курицу. Кстати, разузнайте у ваших артиллеристов, скоро ли наконец отпустят нас с вами домой? Может быть, они знают; да берегитесь, не подстрелил бы вас какой часовой.

– Спрошу непременно и буду беречься.

Солдат пошел обратно. Илья прислушался к его шагам, бережно миновал церковь, прилег за оградой и снова стал слушать. Ветер то затихал, то опять шумел, качая верхи деревьев. Вправо и влево отсюда раздавались оклики сторожевой цепи вплоть до берега Синички. Сзади, над городом, стояло зарево. Широким пламенем загоралась местность к стороне Басманной, где он так недавно прошел.

«Неужели я проскользну за вражескую

черту? – с лихорадочной дрожью подумал Илья. – И в самом ли деле мне удастся это затеянное безумное бегство? Нет, солдата могут остановить и спросить, куда делся его недавний спутник; часовые поймут, что их обманули, и бросятся меня искать... Скорее, скорее далее...»

Тропинин вскочил на ноги. Он, нагнувшись, пополз, потом побежал, сам не зная куда. Спотыкаясь впотьмах о рытвины и попадая в лужи, он опомнился, когда увяз по колено в каких-то кочках. То был берег Синички. Илья заполз в высокую траву, выбрал более сухое место и решил здесь ждать утра. Его нога опять разболелась.

«Да, не уйти мне, – мыслил он, – напрасная мечта! поймают, захватят и отведут обратно; а там, может быть, откроется и дело о колодце... Боже! дай силы, дай мне жить на счастье осиротелой семьи, в прославление твое!»

Прошло более часа. Ночь в отблеске дальних пожарищ казалась еще мрачнее. Тропинин забылся в лихорадочной дремоте. Вправо за кустами как бы что-то побелело.

«Неужели рассвет?» – подумал он, припод-

нимаясь в траве.

Кругом было еще темно. Только плесо ручья и часть ближней рощи были освещены вышедшим из-за облаков месяцем. Илья знал, что к роще, за ручьем, примыкало Введенское кладбище, а далее шли овраги, сплошной лес и поля.

«Пора, пора!» – сказал он себе, разделся, придерживая над головой одежду и обувь, вошел в воду и, медленно ощупывая ногами болотное дно, направился к другому берегу. Он несколько раз скользил, оступался и чуть не выронил платья. На середине ручья холодная, как лед, вода была ему по горло. Ручей стал мельче. Илья еще подался и, дрожа всем телом, вышел на ту сторону. Обтершись кое-как травой, он оделся, обулся и ползком направился к кладбищу. Месяц скрылся. Долго пробирался Илья; наконец невдалеке он заметил деревья и кресты кладбища. Запыхавшись и согревшись от движения, он забрался между могил и стал обдумывать, что ему делать далее? Так лежал он долго. Окликов часовых здесь уже не было слышно. Снова стало виднее.

– Нет, надо уйти до рассвета, – сказал себе Илья, – заберусь хоть в ближний лес.

Он встал и бережно сделал несколько шагов. Вправо, между могил, послышался шорох. Илья вздрогнул и в ужасе стал присматриваться.

В нескольких шагах от него, полуосвещенный месяцем, образовался высокий, бородастый, в истрепанном подряснике, человек. Незнакомец был, очевидно, также смущен. При виде французской военной шинели и такой же фуражки Ильи он долго не мог выговорить ни слова.

– Враг ты или друг? (*Utrum hostis, aut amicus es?*) – проговорил по-латыни густым, дрожащим басом незнакомец. – Взгляни и пощади! (*Respice et parce!*) – жалобно прибавил он, указывая на ребенка, лежавшего у его ног, в траве.

«Вероятно, кладбищенский священник! – радостно подумал Илья. – Принимает меня за француза».

– Успокойтесь, батюшка, я сам русский, – ответил Илья, – и такой же несчастный, как, очевидно, и вы! мое имя – Илья Тропинин.

– Я же дьякон Савва Скворцов из Кудрина, а это мой племяшек! – сказал незнакомец. – Что испытал, страшно и передать. Грабители, ох, господи, сожгли дом! – это бы еще ничего; отняли все имущество – и это преходящее дело: наг родился, наг и остался. Но они, в мое отсутствие, увели мою жену... Поля, Полечка, где ты? – тихо проговорил, всхлипывая, дьякон.

Он, ухватясь за голову, опустился на могильную плиту. Его плечи вздрагивали. Проснувшийся племянник испуганно глядел на дядю и стоявшего перед ним Илью.

– Как завидел вас, – проговорил дьякон, – ну, думаю, поиск, ихний патруль, опять в их руках, кончено... а тут вы встали да прямо на меня... Душа подчас, как видите, бренна, хоть телом я и Самсон... и за все их злодеяния, вот так бы, хоть и слуга алтаря, с ножом пошел бы на них.

Тропинин рассказал о своем плане.

– Не подобает мне клястись, ваше благородие, – произнес дьякон Савва, – сам вижу! только я поклялся... Искал я жену везде в их вертепах, ходил, подавал просьбы их началь-

ству и маршалам, – еще и смеются. Взял я тогда этого препорученного мне сироту, вышел сегодня огородами, думал на Андрониев монастырь, да заблудился, попал сюда. Дай господи, дотянуть до своих, сдать племянника. Попомнят, изверги, Савву.

– Вам, отец дьякон, куда?

– На Коломну.

– И мне туда же, на Рязань; моя семья в Моршанском уезде.

– Не будем же, сударь, терять времени, – сказал дьякон, – коли угодно, вместе двинемся с богом в путь; кажись, рассветает.

Путники миновали поляну и вошли в лес. Долго они пробирались чащей деревьев и кустами. Утро их застало у прогалины, на которой стояла пустая лесная сторожка. Они ее обошли и решили отдохнуть у озерка, в гущине леса. У дьякона оказалось несколько сухарей. Они закусили, напились и, остерегаясь встречи с врагами, просидели здесь до заката солнца. Савва рассказал Илье, что он кончил учение в семинарии, был несколько лет певчим в Чудове, женился только весной и в ожидании священнического места пока был постав-

лен в дьяконы. Его горю при воспоминании о жене не было границ. Он твердил, что, едва сдаст родным племянника, готов взять оружие и идти на врагов; авось примут в ополчение. Вечером путники двинулись снова в дорогу, шли всю ночь и утром следующего дня радостно слышали собачий лай. Невдалека перед ними, за лесом, стал виден поселок. Кто в нем? Свои или чужие? Они вышли на Владимирскую дорогу.

XXX

Стоя на грозном допросе перед маршалом Даву, Перовский наконец разобрал и понял то важное и роковое, что о нем говорил адъютант герцога Оливье.

– Этот господин, – почтительно сказал Оливье, – я отчетливо и хорошо это помню – моложе и ниже ростом того пленного, о котором ваша светлость спрашиваете.

Точно сноп солнечных лучей блеснул в глаза Перовскому; полное ужаса гнетущее бремя скатилось с его груди. Он с усилием перевел дыхание, стараясь не проронить ни слова из того, что далее говорил перед ним его нежданный защитник.

Лицо маршала, к удивлению Базиля, также прояснело. В нем явилось нечто менее угрюмое и жесткое.

– Но вы опять мямлите, – сказал адъютанту герцог, будто не желая поддаться осенившему его доброму впечатлению, – у вас вечно, черт возьми, точно недоеденная каша во рту.

– Тот пленный, ваша светлость, – так же почтительно и мягко проговорил Оливье, – был головою выше этого господина... я как теперь его вижу... Он был в морщинах и с родимым пятном на щеке... ходил переваливаясь. И если бы вам, – продолжал дрогнувшим голосом и побледнев Оливье, – не угодно было мне поверить, я готов разделить с этим пленным ожидающую его судьбу.

– Довольно!.. – резко перебил Даву. – В вашем великодушии не нуждаются, а вы, – обратился он к Перовскому, – как видите, спасены по милости этого моего подчиненного... Можете теперь идти к прочим вашим товарищам.

Перовский неподвижно постоял несколько мгновений, взглядываясь в Даву, который, очевидно, был доволен и своим решением, и рас-

терянностью своего пленного. Не кланяясь и не произнеся ни слова, Базиль обернулся и, пошатываясь, направился к двери. Как его затем провели на крыльцо, указали ему калитку в сад и сдали на руки стражи, оберегавшей жилище пленных, он едва сознавал.

Арестанты маршала помещались в недостроенном деревянном флигеле, покрытом черепицей, но бывшем еще без полов и печей.

Не доходя до этого здания, Базиль услышал пение и гул голосов тех, кто в нем помещался. Здесь были захваченные на улицах и при выходе из Москвы торговцы, господские слуги, подозреваемые в грабеже и в поджогах черно-рабочие, два-три чиновника и несколько военных и духовных лиц. Между последними Перовский разглядел и толстяка, баташовского дворецкого Максима; тот, увидя его, заплакал. Люди из простонародья коротали свои досуги мелкими работами на французов и добыванием для себя харчей, а выпросив у французов водки и подвыпив, — заунывными песнями. Дворянский, духовный и купеческий отдел флигеля был благообразнее и ти-

ше. Большинство здесь заключенных сидели молча и мрачно, понурившись или вполголо-са беседуя о том, скоро ли конец войны и их плена. Здесь Базиль узнал, что Наполеон, с целью поднятия раскольников, посетил Преображенский скит, а на днях призывал к себе во дворец продавщицу дамских нарядов с Дмитровки, Обер-Шальме, и что эта «обер-шельма», как ее звали москвичи, толковала с ним об объявлении воли крестьянам.

Перовский увидел, что во флигеле, в отведенном ему углу, ему приходилось спать на голой земле. Тут к нему с услугами обратился румяный, рослый и постоянно веселый мальчик, которого звали Сенька Кудиныч. С рыжеватыми кудрявыми волосами, серыми смеющимися глазами, этот, как узнал Базиль, лакей какой-то графини обитал на половине чернорабочих, где особенно голосисто запевал хоровые песни. Он, добродушно поглядывая на Базиля, без его просьбы наносил ему из сада сухих листьев, нарвал травы и живо из этих припасов устроил ему постель. Скаля белые, точно выточенные из слоновой кости зубы и приговаривая: «Вот так будовар! только

шлафрока да туфельков нету; заснете, ваша милость, как на пуховичке!» – он даже подмел вокруг этой постели и посыпал песком. Разговаривая с ним, Базиль узнал, что у Кудинича была зазноба, горничная его графини, Глаша, и, по его просьбе, написал ей от его имени письмо.

– Но как же ты ей пришьешь письмо? – спросил он его.

Сенька ответил:

– Не век тут будем сидеть; улов не улов, а обрыбиться надо! – и спрятал письмо за голенище.

В первые дни своего пребывания в садовом флигеле Перовский, как и прочие пленные, ходил, в сопровождении конвоя, в окрестные огороды и сады на Москве-реке собирать картофель, капусту и другие, тогда еще не расхищенные, овощи. Пленных отпускали также в мясное депо, то есть на бойню, устроенную невдали, в переулке, на Пресне, где они помогали французам в убивании и свеживании приводимых фуражирами великой армии коров, быков и негодных для службы лошадей, причем на долю пленных доста-

вались разные мясные отбросы и требуха. Кудиныч в такие командировки особенно всех потешал своими песнями и шутовскими выходками. Вскоре, однако, эта фуражировка прекратилась. Припасы у французов сильно истощились. Пленных стали кормить только сухарями и крупой.

Однажды – это было недели через две после водворения в садовом флигеле милюковской фабрики – Перовский заметил особое оживление и суету у квартиры Даву. Он понял, что у французов готовилось нечто особенное. Из сада было видно, как у дома, занимаемого маршалом, сновали адъютанты, по двору бегали ординарцы и куда-то скакали верховые. «Поход, поход! – радостно говорили друг другу арестованные. – Нас, очевидно, решили разменять и отправят на аванпосты».

Было утро семнадцатого сентября. Русских пленных вывели из их жилья, сделали им перекличку и повели, но не в Рогожскую или Серпуховскую заставу, а в Дорогомилловскую. Здесь они увидели еще несколько сот других пленных, содержавшихся до тех пор в иных местах Москвы. «Вас куда?» – спрашивали то-

варищей пленные герцога Даву. «Не знаем...» Подъехал верхом толстый озабоченный генерал. Он бегло осмотрел пленных и дал знак. Прогремел барабан, часть конвоя стала впереди отряда, другая – сзади него. Раздалась команда, и все двинулись по пути к старой Смоленской дороге. «Да ведь это опять к Можайску, – толковали пленные, – неужели французы отступают?» Одни радовались, другие молча вздыхали.

Отряд прошел верст десять. Перовский разглядывал пеструю, двигавшуюся рядом с ним и впереди его толпу. Двое из пленных русских офицеров в этом отряде еще ехали в собственной коляске одного из них, приглашая в нее отставших на пути товарищей. При этом несколько переходов и Базилю довелось проехать с ними. Он радовался и удивлялся этой льготе, видя, что и другие пленные, слуги и торговцы, которых по бороде считали за переодетых казаков, были также не лишены разных снисхождений от своих надсмотрщиков. У купцов оказалась запасная провизия и даже чайник для сбитня. Дворовые же разных бар, в том числе баташовский Максим и Сень-

ка Кудиныч, шли еще в собственных фраках, ливреях, ботфортах и даже в шляпах с галунном и плюмажами. Льготы вскоре, однако, прекратились. Перед одним из привалов высокий, рябой и плоскогрудый, с женской мантилей на плечах, начальник конвоя, подойдя к офицерам, ехавшим в коляске, молча взял одного из них за руку, вывел его в дверцы, потом другого и, спокойно поместившись со своим помощником в экипаже, более туда уже не допускал его хозяев.

Прошли еще несколько верст. К ночи пошел дождь и подул резкий, студеный ветер. На привале все сильно продрогли. Разбуженный на заре Базиль увидел, как медленно, в туманном рассвете, поднимался и строился к дальнейшему походу отряд. Ливрей и шляп на пленных лакеях уже не было, и они, в большинстве, поплелись по грязи полураздетые и босиком. Мелкий, холодный дождь не прекращался. Базиль прозяб, хотя надеялся от движения согреться. Но едва отряд двинулся к какому-то мосту, конвойный фельдфебель остановил Базиля у входа на этот мост и, предложив ему сесть у дороги, вежливо снял

с него крепкие его сапоги и, похлопывая по ним рукою и похваливая их, бережно надел на себя, а ему дал свои опорки. Базиль, опасаясь более наглых насилий, решил до времени это снести. Он пошел далее, обернув полученные опорки какими-то тряпками. Баташовский дворецкий, в первый день плена так радушно угощавший Базиля, шел также в одних портянках.

– И с тебя сняли сапоги? – спросил его Перовский.

– Сняли, – безучастно ответил Максим.

– А скажи, так, откровенно, между нами: ты тогда, помнишь, как стоял у вас Мюрат, поджег ваш двор?

Дворецкий оглянулся и подумал.

– Я, – ответил он, вздохнув.

– Кто же тебя надоумил?

Максим поднял руку.

– Вот кто, – сказал он, указывая на небо, – да граф Федор Васильевич Растопчин, он призывал кое-кого из нас и по тайности сказал: как войдут злодеи, понимаете, ребята? начинайте с моего собственного дома на Лубянке. Мы и жгли...

Дождь вскоре сменился морозом. Дорога покрылась глыбами оледенелой грязи. Изнеможенные, голодные, с израненными, босыми ногами, пленные стали отставать и падать по дороге. Их поднимали прикладами. Привалы замедлялись. Конвойные офицеры выходили из себя. Тогда начались известные безобразные сцены молчаливого пристреливания французами больных и отсталых русских. Это, как заметил Перовский, начали совершать большею частью при подъеме отряда с ночлега, впотьмах. Впервые заслыша резкие, одиночные выстрелы сзади поднятого и снова двигавшегося отряда, Перовский спросил одного из шедших близ него конвойных, что это такое. Солдат, мрачно хмурясь и пожимая плечами, ответил: «Ночная похлебка ваших собратий!» («Soupe de minuit de vos confrères!»)

Содрогаясь при повторении этих звуков, Перовский со страхом стал поглядывать на свои босые, обернутые тряпьем ступни. «Боже, — думал он, — долго ли разболеться и моим бедным, усталым ногам? эта участь, эта ночная похлебка ждет и меня!» Он в такие мгно-

вения вынимал с груди образок, данный Авророй, и горячо на него молился.

На одном из привалов Базиль увидел вспыхнувшие в темноте одиночные огни и, услышав эти знакомые роковые выстрелы, не утерпел и с укоризной обратился к начальнику конвоя.

– Как можете вы, капитан, допускать такое бесчеловечие? – сказал он. – У моих товарищей отняли экипаж, у меня сняли сапоги; это еще понятно – право сильного... но неужели вам предписаны эти убийства?

– Воля императора, – сурово ответил конвойный офицер.

– Но чем может быть оправдано такое зверство? и чем, извините, это лучше возмездия индейских каннибалов, съедающих своих незащитных пленных?

Офицер, оправляя на себе воротник, жавший ему щеки, покосился на жалкую обувь Перовского.

– Послушайте! вы непозволительно резко выражаетесь, – строго ответил он, – берегитесь! тем более что всяк из вас, в том числе и вы, можете подвергнуться тому же.

Он помолчал.

– Вы нас укоряете, наконец, в насилиях, – заключил он, – но сами же вы во всем виноваты; вы безрассудно сожгли собственные села и города, госпиталей и аптек у вас нет. Куда же, скажите, девать нам ваших же немощных и больных? сдавать вашим партизанам? слуга покорный! Вы отлично поймете, что отсталые и больные оправятся, а оправясь, нанесут нам неисчислимый вред. Необходимость каждой войны... а вы – ее зачинщики...

Лежа в бурю и стужу на мерзлой земле и чем далее, тем чаще слыша ужасные, каждый день повторяющиеся выстрелы, Перовский с ужасом увидел, что его ноги разболелись и стали пухнуть. Он опасался заснуть, чтобы во сне не отморозить ног. Забываясь краткою, тревожною дремотой, он вскакивал в испуге и начинал ходить, стараясь себя размять и отогреть.

Отряд с пленными миновал Можайск и подошел к Бородину. Здесь, пятьдесят два дня назад, в присутствии Перовского, гремело столько орудий и пало столько мертвых и раненых. Невдали же отсюда, из Новоселовки,

три с половиною месяца назад Базиль уезжал в армию такой счастливый и с такими светлыми надеждами.

Стало таять. Был ветреный, холодный вечер. Начинал опять накрапывать дождь. Окоченелые от стужи пленные и их провожатые обрадовались привалу, прилегли в обгорелых остатках какой-то деревушки, невдали от обширного холма, по бокам и у подошвы которого во множестве еще валялись неубранные тела людей и лошадей.

– Боже мой! – сказал пленный русский офицер, у которого отняли коляску. – Смотрите, я узнал... ведь это курганная батарея Раевского!

Базиль вспомнил Наполеона, скакавшего сюда со свитой на белом коне.

Едва пленные прилегли, между ними неожиданно раздалась залихватская плясовая песня. Иные встретили ее дружным хохотом. Пел веселый верзила Сенька Кудиныч. Он, вскидывая руки вверх и глядя на свои ноги, плясал и приговаривал:

*Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи;*

*Ноженьками топ, топ,
Оченьками лоп, лоп.*

Сенька, очевидно, проделывал ногами и глазами то, о чем пел, так как смех слушателей не прекращался.

Перовский с содроганием слушал это лакейское шутовство. Он размотал тряпки на своих ступнях, приподнял их и увидел, что его ноги, от колен до подошв, были покрыты ссадинами, а кое-где даже и ранами. В тот день он был очень голоден и сильно обрадовался полугнилой луковице, найденной в соре дереvушки, где остановили пленных. «Погиб я, погиб!» – думал он, безучастно глядя на французских солдат, которые тем временем пустились рыться в пепле и соре дереvушки, также отыскивая там жалкие остатки съедомого. Рослый фельдфебель, снявший с Базиля сапоги и в последнее время ходивший в заячьей женской душегрейке и в белой, где-то добытой шелковой муфте, взял часть конвойных и с топором повел их к редуту.

В сумерках вечера оттуда слышались странные звуки, точно там, на безлесном холме, рубили дрова.

– Рубят ноги мертвецам, – усмехнулся, подсаживаясь к Перовскому, Кудиныч, – сапоги симают.

– Ну, так что же, – ответил, заплетая себе ноги, Базиль, – мертвому все равно...

– А как ён еще жив?

– Кто? – удивился Базиль.

Кудиныч опять оскалил зубы.

– Да мертвец-то, – сказал он.

– Полно, Семен, почти два месяца прошло.

– Не верите, барин? Давеча Прошка, Архаровых буфетчик, набрел в партии у Татаринова, что ли, на одного такого же убитого, ткнул его, этак-то на ходу ступней, а ён и охнул... жив! Мы к нему; чем ты, сердечный, жил столько дён? Я, говорит, ребятушки, лазил ночью, вынимал из сумок у настоящих мертвых сухари и ел.

– Куда же вы его? – спросил Базиль.

– Кого?

– Да этого-то живого?

– А куда же, – ответил Кудиныч, – ён все просил – прекратите вы меня, ради Христа, выходит – добейте; ну, куда? не все наши разбежались, авось его найдут и сберегут.

Отряд пленных достиг Красного. Невдали от него Перовский убедился, что силы окончательно ему изменяют. Он уже едва тащился, не помня и не сознавая, как и где он шел. То он видел себя впереди отряда, то чуть не сзади всех. Его била лихорадка, попеременно бросая его в холод и жар. Он пришел к ясному и бесповоротному убеждению, что его конец близок. В тот день французы пристрелили еще несколько отсталых.

Смеркалось. Перовский, в бреду, в полузабытьи, шагал из последних сил. Он, замирая, вглядывался в придорожные, безлистые вербы, к которым приблизился отряд, и с болезненным трепетом соображал, у какой же именно из этих верб он окончательно пристанет, упадет и его безжалостно пристрелят.

– Барин! – раздался возле него знакомый голос Кудиныча.

Перовский испуганно обернулся.

– Что тебе? – спросил он.

– Тише, барин, – проговорил вполголоса Кудиныч, – вижу, вы измаялись; моченьки нету и моей... замыслил я, сударь, бежать; так

мне все теперь равно, возьмите мои лапти.

– Как лапти? а тебе? – возразил, не оставиваясь, Перовский. – Опомнись, где тут думать о побеге? поймают, убьют...

– Одна, ваше благородие, смерть! – ответил Кудиныч. – Вперед ее наживайся – придет, не посторонишься; сподобит господь, уйду и в подворотках! а это – снаружи только лапти, а снутри валенки... очень удобно! Вот и привал...

Отряд в это время подошел к опушке леса и остановился. Кудиныч проворно сел на землю и снял с себя валенки.

– Извольте принять Сенькину память, – сказал он.

– Одумайся, Семен, – ответил Базиль, – у тебя, наверное, есть мать, отец; когда-нибудь да увиделся бы с ними, а так...

– Голяк я, сударь, и сирота как есть... а что затеял – исполню.

– Одумайся, говорю тебе, следят за нами в столько глаз; поймают...

– Оно точно, налетает топор и на сук; только увидите, – ответил, загадочно куда-то поглядывая, Кудиныч, – валенки же, сударь,

мне Глаша про запас к осени поднесла, как уезжала из Москвы с господами; сапоги отняли французы, а в этих дошел, – дойдете и вы.

Перовский не возражал. Сенька помог ему переобуться. Ощущая невыразимую отраду от надетых просторных, теплых и оплетенных сверху лыками валенок, Базиль даже не пошел к общему котлу, а прилег в затишье оврага, куда от ветра попрятались более изморенные пленные, и крепко заснул. «И у Сеньки своя зазноба!» – думал, засыпая, Базиль. Хмурый вечер, редут с мертвыми телами, конвойные и овраг – все исчезло. Перед ним снова было летнее небо, а на небе ни тучки. Базилю представилось, что он с Авророй шел по какой-то зеленой, чудно пахучей поляне. Голубые и розовые цветы сплошь застилали травяной ковер. С небесной синевы неслись песни жаворонков. Над поляной порхали бабочки, роились мухи и жучки. «А молишься ли ты Покрову божьей матери?» – спросила Перовского Аврора. Он расстегнул мундир, стал искать иконку, которою, как он помнил, она благословила его на прощанье, и не находил. Его пальцы судорожно бегали по груди, опус-

кались в карманы жилета и истрепанной, порванной его шинели. Он, смешавшись и не глядя на Аврору, думал: «Боже мой! Да где же образок? неужели я его потерял?.. и где, где?» Аврора, пристально глядя на него, ожидала.

Кто-то сильно толкнул Перовского. Над его ухом раздался громкий, суровый оклик. Он открыл глаза. Над ним стоял, в женской меховой кофте и с белою шелковою муфтой на перевязи, фельдфебель. Начинался рассвет. Кругом опять моросил дождь.

– В дорогу, пора! экой соня! – твердил, теребя Перовского, фельдфебель.

Базиль быстро встал, оглянулся. Отряд уже был выстроен над окраиной оврага и готовился выступить. Но едва передовая часть пленных двинулась и, волнуясь, вошла в опушку леса, раздался выстрел, потом еще несколько. Базиль вздрогнул, удивляясь, что знакомые ему выстрелы необычно слышались впереди, а не сзади отряда. В бледных сумерках утра перед опушкой леса что-то суетилось. Базиль, пройдя еще несколько шагов, разглядел, что часть конвоя, отделяясь от отряда, гналась за кем-то по лесу. Другие осматривали что-то

неподвижное и темное, лежавшее навзничь у дорожной канавы. Раздавались тревожные крики. Отряд скучился, остановился. Пошли толки. Все спрашивали, и никто не мог дать точного ответа.

Вскоре оказалось, что один из пленных – именно Кудиныч – при входе в лес неожиданно выхватил у ближайшего конвойного ружье и, отмахиваясь его прикладом, бросился в кусты. Будивший Перовского длинный фельдфебель в кофте и с белою муфтой первый опомнился и скомандовал стрелять по беглецу, достигшему уже чащи дерев. Выстрелы затрепали. Сенька обернулся, прицелился из-за ветвистого дерева и уложил фельдфебеля на месте. Пока остальные спохватились и, со штыками наперевес, по вязкой желтой грязи погнались за ним, этот сильный, рослый человек, мелькая обернутыми в тряпки ногами, как легкий степной заяц, перемахнул через ближние кусты и поляну, бросился в гущину, достиг небольшого ручья, кинулся в воду, переплыл на другой берег и скрылся в темной чаще без следа. Погоня снова стреляла по нем, уже наугад, потом оставила его, решив,

что одним из выстрелов беглец, перебегая поляну, был ранен и, по всей вероятности, опасно. Это было перед Вязьмой.

Все уменьшаясь в количестве, отряд пленных дошел до Смоленска и направился к Витебску. Выпал снег. Путь становился непроходим. Вынося тяжкие, нечеловеческие страдания, первые отряды пленных миновали русскую границу в страшную метель и при двадцатиградусном морозе.

Перовский благодаря валенкам Сеньки более терпеливо перенес тягости пути. «Кудиныч, Кудиныч! – мыслил он, вспоминая его. – Ты спас меня, добрая русская душа, но жив ли, уцелел ли ты сам? И если действительно, как уверяют, ты ранен погоней, спаси тебя бог и вознагради за то, что ты мне, молодому, жаждущему жизни, дал средство еще пожить, дал возможность бороться, страдать и надеяться. Не вечно же над нами будет длиться эта пытка цивилизованных палачей! Рано ли, поздно ли, авось возвратится то, что было мне так близко и что я, по-видимому, навсегда потерял».

В Польше пленных взяли на подводы.

Пруссию они миновали, хотя сильно голодая, в крытых экипажах. Перовский в Пруссии заболел; лихорадка сменилась горячкой, и он пролежал более двух месяцев в госпитале. Здоровье Базиля возвратилось с весной. Сердобольная жена и дочь лечившего его врача, когда он стал оправляться, принесли ему букет весенних цветов. Увидев цветы, он разрыдался. «Аврора, Аврора, – мысленно повторял он, глядя на солнце и цветы, – где ты? увидимся ли с тобой?»

XXXII

Княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, оставив Москву за два дня до вступления туда французов, изнемогла дорогою от огорчений и суеты и, с остановками, то разбивая палатку у дороги, то заезжая на постоялые дворы, успела добраться только до своего коломенского поместья, сельца Ярцева, через которое обыкновенно лежал ее дальнейший путь в ее тамбовскую вотчину, село Паншино. При малейшем овраге или холме княгиня кричала: «Стой, стой, не могу!» – и выходила из экипажа. В Паншине издавна была более устроенная усадьба, и теперь, с начала авгу-

ста, там, в ожидании бабки и сестры, проживала с сыном Ксения Валерьяновна Тропинина. Ярцево было в стороне от большой дороги, верстах в девяноста от Москвы и около двадцати верст не доезжая Коломны.

На второй день пути, поздно вечером, уже в виду Ярцева, странники заметили за собою сильное зарево.

– Ах, бабушка, ведь это горит Москва! – первая вскрикнула ехавшая в карете с бабкой Аврора.

Экипаж остановился. Кучер и слуги, разглядывая зарево, делали разные предположения. Сомнения не было: французы заняли и зажгли Москву. От такой новости княгиня еще более смутилась и расхворалась. С трудом доехав до Ярцева, она объявила, что далее двинуться не в силах и должна некоторое время перебыть здесь. Кстати, в Ярцеве она застала свой московский обоз с Маремьяшей, новоселовскою Ефимовной и прочею прислугою.

– Французы воротились от Бронниц, – говорила княгиня, – я теперь покойна; до них отсюда далеко, да их и сторожит Кутузов.

С помощью Авроры и Маремьяши ярцевский дом был наскоро приведен в порядок, и все в обиходе княгини, по возможности, было налажено. В полуопустелой Коломне закупили провизии, нашли и договорили врача – навещать больную, а в запущенном флигеле и дворовых избах кое-как разместили прибывшую с княгиней и при обозе ее многочисленную московскую дворню, слуг, буфетчиков, поваров, парикмахеров и горничных. Разобрав сундуки и ящики, Аврора нашла даже кровать княгини на стеклянных ножках, с шелковыми подушками и одеялом, и, в видах спасения от грозы, как в Москве, снабдила ими спальню бабки. Княгиня, завидев при этом шелковый портрет Наполеона, вышла из себя и велела привесить его в зале, с надписью «Assassin et scélrat» («Убийца и злодей»).

В Ярцеве кое-как устроилась жизнь, похожая на ту, которую Анна Аркадьевна обыкновенно вела в Москве. Утро проходило в одева- нье княгини и в ее жалобах на здоровье и в кормлении собачек Лимки, Тимки и Тутика; потом Аврора, в ее спальне или в гостиной, если туда входила княгиня, читала ей что-ни-

будь вслух. Княгиню обрадовал урожай плодов в ярцевском саду; ей на блюде были принесены ее любимые яблоки: «звонок» и «мордочка». Вечером, у чайного стола, либо опять было чтение, либо Маремьяша и Ефимовна поочередно, с чулками в руках, рассказывали о том, что слышали в тот день от старосты и дворовых о местных и иных новостях, а княгиня под их толки раскладывала пасьянс. Лакеи играли в передней в носки. Горничные хором в девичьей пели песни, причем им подтягивали густым басом Влас и нежным баритоном арапчонок Варлашка. Ложились спать после раннего ужина.

В этом селе и в его окрестностях было, впрочем, полное отсутствие новостей с недалекого театра войны. И если бы не уездный врач и коломенский предводитель дворянства, изредка заезжавшие к княгине с отсталыми газетами и словесными слухами о русской армии, оставившей Москву, можно было бы, глядя на эти мирные поля и обычно копошившихся по ним крестьян, предполагать, что грозная, упавшая на Россию война происходила где-либо не в восьмидесяти верстах

оттуда, а за тридевять земель и в ином, тридесятном государстве. Это возмущало и выводило из себя Аврору столько же, как и балет и опера, шедшие в Москве чуть не в самый день вступления туда французов.

Погода с половины и до конца сентября стояла теплая, светлая и сухая. Листья на деревьях в саду и в окольных березовых лесах еще были свежи и почти не осыпались. Их зелень только кое-где была живописно тронута золотом, лиловыми и красными тенями. Сельские работы шли своим чередом. Ярцевские и соседние мужики, посеяв рожь, пахали, двоили пахоть под яровые хлеба, убирали огороды, чинили свои избы и дворы и ездили на ярмарки и в леса. Старики и бабы по вечерам и в праздники являлись к давно не виданной ими княгине, поднося ей кур, яйца и грибы и обращаясь к ней с разными нуждами и просьбами.

Свои и чужие мужики просили старую барыню о дозволении нарубить хворосту в заповедной господской роще, занять в барском амбаре овсеца или круп либо предлагали купить у них собственного изделия сукон и хол-

ста. Были и такие, что просили Анну Аркадьевну разобрать ссору из-за гусей или поросенка какой-нибудь бабушки Маланьи с падчерицей либо тетки Устиньи с деверем. Аврора смотрела на эту муравьиную копотню, слушала просьбы, приносимые княгине, и удивлялась, как могут кого-либо теперь занимать такие пустяки? Мучимая сомнениями об исходе войны и об участи жениха, Аврора искала отдыха в уединении. Она была рада, что в Ярцево, с обозом, привели ее верхового коня. Садясь на Барса, она вечером уезжала в окрестные поля и леса и носилась там до поздней ночи.

Вести о действиях русской армии, о Бородине, о ране и смерти Багратиона и о других тяжелых событиях, к изумлению Авроры, не производили особого смущения в Ярцеве и ближних деревнях. Газетные вести опаздывали невероятно. «Московские ведомости» прекратились 31 августа и снова начали выходить уже гораздо позже, только 23 ноября. Прибавления к «С. – Петербургским ведомостям» и к «Северной почте», помещавшие донесения Кутузова через две и три недели по

их отправлении, получались в Зарайском уезде через неделю и более по их выходе в Петербурге.

Одно, что непрестанно напоминало о войне, было страшное, не потухавшее зарево день и ночь горевшей Москвы. Аврора с содроганием, проводя ночи без сна, разглядывала из своей комнаты это зарево, думая о том, что выражало оно и сколько страданий, сколько гибели скрывалось за ним. Но и ужасающие подробности пожара и гибели Москвы, донесясь сюда с последними московскими беглецами, не особенно и ненадолго заняли досуги местных жителей. Их вскоре сменили толки о других событиях.

Ярцевский староста сперва Маремьяше, потом Авроре сообщил, что крестьяне окольных и более дальних деревень, прослышав о каких-то французских печатных листах, стали сперва втихомолку, потом громко уверять, будто скоро всем откуда-то объявится полная воля, что государя Александра Павловича ждут во Владимир, а затем почему-то и в самую Коломну и что одних из господ государь ушлет куда-то на Кавказ, других – по русским

городам, «писать бумаги», а господские земли, леса, усадьбы и прочие уголья раздаст крестьянам. Мужики, вследствие этих слухов, начали грубить приказчикам и старостам и отказываться от обычных работ на барщине, а иные и вовсе наконец, выйдя из повиновения властям, стали грабить имущество владельцев и уходить за Волгу и в соседние леса. Кое-где начались и поджоги помещичьих усадеб.

– Я поговорю с крестьянами, зови их! – смело объявила Аврора. – Они не понимают, их, очевидно, мутят злые люди.

– Что вы, что вы, барышня, – ответил староста, – наши покойны; еще наведете их на какое баловство и грех; оставьте их, набрегутся и перестанут.

Аврора нашла нужным предупредить о том бабушку. Недомогавшая княгиня еще более расстроилась и, уже начав было оправляться, вовсе слегла в постель. Аврора послала нарочного гонца в Паншино к сестре. «Наверное, и Илья Борисович уже там, – мыслила она, – он приедет и всему даст настоящий толк и лад». Но из Паншина приехала одна Ксения с ребенком. Она была непохожа на себя и, вместо

утешения, привезла в Ярцево новое горе: о ее муже также не было никаких известий. Он, очевидно, не успел выехать из Москвы и попал в плен. Сестры обменялись мыслями, заплакали и общими силами решили успокоить бабушку. Княгиня была безутешна.

– Боже, и за что я такая несчастная, – говорила она, вздыхая, – только бремя для себя и всех вас! Вон опять и кашель и такие все мысли... Скорее бы в Паншино, подальше от этих мест...

– И не думайте, бабушка, – возражала Ксения, – да вы и понятия не имеете... там еще хуже; я измучилась... Здесь хоть поблизости город, доктора, все-таки кое-что к нам доходит и о недалекой Москве... Там же дичь и глушь и также волнуются мужики; но какая разница? здесь невдали войско, целая армия, а там кто защитит? солдат вывели, и во всем уезде один с инвалидами исправник!

Аврора поддержала сестру. Княгиня покорила их совету. Терпеливо раскладывая пазлы, она думала: «Не может же дело долго длиться; на днях, без сомнения, будет новое генеральное сражение, – кто кого побьет,

неизвестно, – но затем, разумеется, вскоре объявится мир, и мы вернемся в Москву. Ну, кое-что там и ограбили, да мы все почти главное вывезли, а дом, наверное, цел». Так прошло несколько дней. Но как-то вечером Аврору вызвали на крыльцо. Там стояла в слезах Ефимовна. Она, всхлипывая, объявила, что пришел новоселовский староста Клим.

– Откуда он? – спросила Аврора, вспомнив, что Новоселовка сгорела.

– Его и других наших мужиков, – ответила Арина, – французы гоняли в Москву возить своих раненых; он только что оттуда убежал.

– Зови, няня, зови его! – сказала Аврора.

– Да вот он, – ответила Арина, указывая с крыльца.

Из темноты выдвинулся оборванный, босой и с повязанною головой староста. За ним стояла, тоже плачущая, Маремьяша.

– Долго ты был в Москве? – спросила Аврора.

– Все это время, барышня, почитай месяц! запрягли нас, ироды, в работу: мы на себе таскали им всякую всячину, рубили дрова, копали картошку, носили воду и мололи ручными

жерновами муку.

– Бонапартовы зато подданные стали! – заметила, злобно плюнув, Ефимовна.

– А про Василия Алексеевича... Перовского... что-нибудь слышал? – спросила Аврора.

– Где, матушка барышня, было слышать! Надругался над нами враг, истомил, истиранил, а кого и прямо за слушание извел. Мне привелось уйти...

– Был же ты, Климушка, на Патриарших прудах? – спросила Аврора. – Видел наш дом?

– Посылали нас злодеи в Разумовское и на Пресню, проходили мы и в тех местах; только ни Бронной, ни возле прудов, ни Микитской, ни Арбата как есть уже не нашли... все погорело, все господь прибрал.

Аврора взглянула на Маремьяшу; та утирала слезы.

– А бабушкин дом? – спросила Аврора.

– Все стало пусто, один пепел, – ответил Клим. – Тут мы с ребятами и решили наутек.

– Ушли благополучно?

– Какое! сцапали нас на Орловом лугу эти французы, – ответил Клим, – и стали уже держать взаперти; посылали на работу не иначе

как с конвоем. Да и тут нам помог господь. Пошли мы раз, с заступами и ведрами, к графскому чьему-то колодцу; вода там преотличная. Велено было набрать воды и окопать колодезь. Уж больно там намесили грязи, не подойти. Конвойных было четверо, а нас, пленных, с десятков, и все-то мы хворые, голодные, едва ноги волочим. Солнце село, место было глухое, а французы такие веселые, перед тем где-то, видно, выпили. Мы и сговорились, первый надоумил Корнюшка – что терпеть? переглянулись у колодца, кинулись разом, да всех как есть французов, с их ружьями, и побросали вглубь; засыпали их тут же землей и ушли огородами в лес, а ночью и далее.

– Живых засыпали? – с ужасом спросила Аврора.

– А то как же? – ответил Клим. – Они талалакали, талалакали по-своему, пока ребята заступами кидали на них землю, а там и стихли... Господь их простил! – заключил Клим, взглянув на небо и набожно крестясь. – И такие все были красивые... а один унтер, должно быть из дворян, нарядный да белолицый

такой, в сторонке держался, да все весело что-то напевал.

XXXШ

Сестры не решились сообщить бабке тяжелую весть о сожжении ее московского дома. Они отправили Клима в Паншино. «Пусть бабушка надеется, что ее дом уцелел, – думали они, – а тем временем как-нибудь ее подготовим». Они день и ночь горячо молились, прося у бога – одна мужу, другая жениху – здоровья и сил для перенесения тяжелых испытаний, посланных им провидением. Но живы ли они? об этом они страшились и думать. Раз только Аврора, как бы нечаянно, сказала: «А если Базиля нет более на свете...» Она хотела продолжать и не могла. «О, если это так, – с ужасом досказала она себе, – тогда все конечно... я знаю, что мне тогда остается предпринять...»

Однажды, в праздник, Аврора с Ксенией поехали в соседнее село Иванчиных-Писаревых Чеплыгино, в церковь, во время обедни выслушали полученное здесь запоздавшее воззвание святого синода о защите отечества и православной веры от нашествия нового

Малекиила, Бонапарта. Старик священник с чувством прочел это воззвание. В нем русский народ побуждался к непримиримой борьбе с галлами, причем Россия уподоблялась богобоязненному и смиренному Давиду, а Наполеон – дерзкому и безбожному Голиафу.

«Где же, в сущности, этот избавитель Давид?» – спрашивала себя в слезах Аврора, поглядывая в церкви на понурившихся и молча вздыхавших крестьян, которые на ее глазах так мало принимали к сердцу общее всем горе войны, а напротив, как она узнала, толковали об этой войне как о чем-то, что, по их мнению, должно было им принести новое и невиданное счастье на земле. «Давид и пастухом был в душе поэт, – мыслила Аврора. – Только возвышенной одаренной благами просвещения природе доступны высокие сознательные порывы любви к родине и отмщения за ее честь. Базиль в плену, быть может, погиб, как гибнут тысячи других, истинных героев. Кто же за них призовет утеснителя к суду? Кто отомстит за их страдания, их гибель и смерть?»

Священник, прочтя воззвание, сказал простую и трогательную проповедь на слова пророка Исаии: «И прииде на тя пагуба, и не увеси», – а после службы, за отсутствием помещиков своего села, подойдя в церкви к плававшим Авроре и Ксении, пригласил их к себе на чай. С его женой, навещавшей княгиню, они познакомились ранее и охотно пошли в его дом. За чаем разговорились. Священник старался успокоить сестер. Он им передал слух, что Бонапарт, по всей вероятности, вскоре попросит мира, а при этом несомненно произойдет и размен пленных.

– Где же теперь Бонапарт? – спросила Ксения.

– Пагуба придет равно и на него, – ответил священник, – он это чувствует и, аки лев, ходит взад и вперед по своей клетке. Не дождалось грабители выгод... Наше войско цело и у себя дома, а их армия, аки воск пред лицом огня, тает и убывает с каждым днем.

Сестры с жадностью слушали эти радостные слова.

– А сколько горя и убытков! – сказала старуха попадья. – Одни Разумовские да граф Бу-

турлин, слышно, от пожара понесли убытку по миллиону. Пленных мучат работами, истязают...

– Ну, не всех обижают и теснят, – перебил священник, знаками останавливая жену, – многие спаслись. Зарайский мельник намерен передавал, что князь Дмитрий Голицын, можно сказать, на собственных руках вынес ночью из Москвы больного Соковнина, когда в город уже вступили французы. Негде было достать лошадей; спасавшиеся сначала шли пешком, а у заставы князь прямо поднял себе на плечи друга, истомленного хворобой и ходьбой, да и пронес его пустырем к нашему арьергарду. Много было истинно славных подвигов. Растопчин лично поджег в Воронове свой дом и на его воротах прибил бумагу: «Жгу, чтоб ни единый француз не переступил моего порога».

– Ведь это – сосед нашего дяди Петра, – обратилась Ксения к сестре.

– Так у вас есть дядюшка? – спросил священник.

– Петр Андреевич Крамалин, мы по отцу Крамалины.

– Что же вам пишет дядюшка? От Серпухова ведь вблизи вся наша армия.

– Он часто хворает, – ответила Ксения, – и редко пишет. Последнее письмо писал нам в Паншино.

«Да, – рассуждала Аврора, слушая этот разговор, – из Москвы могли спастись те, кто туда дошел или захвачен там... А Базиль? Остался ли он жив после Бородина? И найдется ли для него, как для Соковнина, спаситель-друг?»

В душе Авроры, несмотря на ее сомнения, теплилась какая-то смутная, ей самой непонятная надежда касательно судьбы жениха. «Он спасен, – думала она, – и я его когда-нибудь, может быть даже скоро, увижу! Не может погибнуть такая молодая жизнь!»

Простясь с священником, сестры собрались обратно домой. Ксения, любуясь погодой и желая развлечь опять загрустившую Аврору, предложила ей пройтись несколько пешком. Попадья проводила их за околицу Чеплыгина. Отсюда до Ярцева было версты четыре, не более. Дорога шла попеременно, холмами, лесом и полями. Сестры, распустив зонтики, пошли кратчайшим проселком. Сперва

их сопровождала коляска. Но чтоб остаться вполне наедине, они, простясь с попадьею и пройдя версты две, велели кучеру ехать вперед, а сами пошли еще прямее, боковою междою.

День был превосходный. В прозрачной и светлой синеве неба кучились кудрявые барашки легких, белых облаков. Вороны и галки, лениво каркая, перелетали с одной лесной заросли на другую. Аврора и Ксения, спустясь в лощину и опять поднявшись на косогор, зеленевший всходами молодой ржи, толковали о посланном в Коломну за покупками нарочным, который к ночи должен был привезти давно ожидаемую новую почту. Кругом была полная тишина. В безветренном, теплом и пахучем от соседнего леса воздухе тянулись нити бродячей паутины.

Уже виднелась старая ярцевская роща, и слышался лай собак скрытой за рощею деревни. Аврора увидела, что из рощи показалась какая-то девочка, бежавшая в кустах, вдоль опушки.

– Смотри, – сказала она, хватая за руку сестру.

– Ну, что ж, – ответила Ксения, сама вспыхнув от непонятной тревоги, – девочка... рвала в роще ягоды или грибы, увидела лесника и прячется в кусты.

– Нет, нет, Ксаня! да смотри же вон! – продолжала, остановившись, Аврора. – Она по-лем, сюда... прямо к нам... неужели не видишь?

– Какая ты, право, смешная, – ответила Ксения, продолжая идти и усиливаясь казаться спокойною, – во всем ты видишь необычное.

– Стой! она машет! – проговорила Аврора.

Ксения также остановилась. Девочка, маша руками, действительно бежала от рощи к кособору, по которому шли сестры. Спустилась в ложбинку, где, среди конопляников, был мостик через ручей, она снова показалась на пригорке. Скоро на межнике, между ближних зеленей, послышался бег проворных босых ножек девочки.

– Да это Феня, племянница Ефимовны! – радостно сказала Ксения. – Наверное, что-нибудь важное.

Аврора, бледная как мел, молча впивалась глазами в подбегавшую девочку.

– Это ко мне! – не вытерпев, вскрикнула она и, путаясь ногами в платье, бегом бросилась навстречу Фене.

«Но почему же именно к ней? – с завистью подумала, идя поспешно за нею, Ксения. – Неужели ей, счастливнице, удастся ранее меня? Нет, какая же я завистница! Бог с ней...»

– Дьякон, дьякон! – радостно крикнула Аврора подходившей и растерянно на нее смотревшей сестре.

– Какой дьякон? – спросила, запыхавшись, Ксения.

– Из Москвы бежал... вдвоем, вдвоем! – как безумная кричала Аврора, то обнимая сестру, то тормоша и целуя растрепанную, покрасневшую от бега Феню.

– Где дьякон и с кем бежал? – спросила, едва помня себя, Ксения.

– У нас в Ярцеве! – ответила, ломая руки, смеясь и плача, Аврора. – Его подвезли с поля мужики; Ефимовна первая догадалась к нам Феню... а тот еще в городе...

– Да кто в городе, кто? – обратилась Ксения к девочке.

– Барин.

– Какой?

– Не знаю...

XXXIV

Сестры без памяти бросились домой, миновали рощу, деревню и, едва переводя дыхание, прошли черным ходом в дом.

– Где он? где дьякон? – спросила Ксения, бурей пробегая через девичью.

– Тамотко, – ответила сияющая Ефимовна, указывая на спальню княгини.

Ксения, ухватясь за сердце, остановилась у двери, сзади Авроры. Силы ей изменяли, кровь стыла в жилах. Она была готова упасть.

«Кто же этот дьякон? – мыслила Аврора, с тревогой берясь за скобку двери. – Ужели и впрямь господь помог и с дьяконом возвратился Базиль?»

Дверь отворилась. Аврора вошла и остолбенела. У кровати княгини рядом с человеком в рясе сидел кто-то, обросший бородою, в дубленке и высоких сапогах. Аврора сперва не узнала его. В комнате, где так скоро еще не ждали сестер, вдруг как-то странно стихло. «Что же они все молчат и смотрят на меня? – подумала, цепенея, Ксения. – Очевидно, при-

везена страшная весть, и они собираются меня к ней приготовить... Ильюша убит, его нет более на свете!» Мгновенно вспомнилось ей тайное решение, принятое ею на днях: если ее муж убит, броситься в омут за садом. Ее мыслям представилась знакомая дорожка в саду, крутизна и под нею река, с шумом бегущая к мельнице. «И что же иное мне остается без него?» – решительно подумала она.

Вдруг кто-то тронул Ксению за плечо. Она вздрогнула, подняла голову и замерла.

Перед нею с ребенком на руках стояла кормилица. Только что проснувшийся Коля, в чепчике, сбившемся с лысой головы на румяное заспанное лицо, с миловидною родинкой, протягивал к ней сжатые, пухлые кулачки. Но все смотрят не на Колю. За ним виднелось чье-то другое, полужнакомое и как бы где-то Ксенией виденное лицо, с добрыми и счастливо улыбавшимися глазами. «Да что же это, что?» – подумала Ксения, радостно и беспомощно простирая перед собою руки.

– Он!.. Ильюша! – в безумном восторге вскрикнула она, бросаясь в объятия мужа и целуя его бледное, бородатое лицо.

Все радостно плакали.

– Ах, Ксанечка, Ксаня, – твердила, отирая слезы, Аврора, – счастливица ты и достойна своего счастья.

Тропинин, как показалось Авроре, с грустью смотрел на нее. «Он что-то знает тяжелое, роковое, – подумала она, – и, очевидно, таит от меня, не решается сказать».

Общая беседа в спальне княгини, с бесконечными расспросами, воспоминаниями и предположениями, длилась до поздней ночи. Здесь странников накормили обедом, здесь они пили чай. Княгиня вспомнила о бане и велела ее готовить гостям. Илья в баню ушел с Власом. Дьякон отказался.

– Где думать о скудельной плоти, – сказал он, – когда душа ноет и разрывается.

Он, по желанию княгини, подробнее передал о своем горе и о бегстве из Москвы.

Странники пешком и на ямских добрались в Паншино и, узнав от Клима, что семья княгини в Ярцеве, направились сюда. Тарантас, в котором они ехали, обломался в нескольких верстах от Ярцева, и они сюда были подвезены соседними мужиками. Аврора подседа к

дьякону.

– Где же спасенный вами племянник? – спросила она.

– Оставил в Коломне; там в певчих его крестный.

– Вы тоже оттуда родом?

– Нет, я из Серпухова; отец и мать давно померли; но там, в подгородном селе, брат моей жены держит постоялый, и я до времени еду к нему. Это – не доезжая Серпухова, за Каширой.

– Ну, пора странникам и на покой, – сказала княгиня, когда возвратился Илья.

Все стали расходиться. Аврора, выйдя в залу, обратилась к свояку.

– А Базиль? что же вы ничего не говорите о нем? – спросила она. – Быть не может, вы что-нибудь знаете.

– Где же, сестра, мне знать? – ответил Илья. – Я был схвачен в самом начале, а пленных держат не в одном месте. Успокойтесь, я убежден, что Базиль спасен и что вы его скоро увидите.

«Нет, он, наверное, что-нибудь знает и держит в тайне от меня и от всех! – шептал Авроре внутренний голос. – Сестре возвращен любимый человек, а их ребенку отец. Они вместе, и я не смею им завидовать. Но я-то, я? Что будет со мной?» Сон бежал от Авроры. Мысли одна мрачнее другой роились в ее голове. Простясь со всеми, она вошла в свою комнату, села к окну и задумалась. В доме после необычной суеты все наконец затихло. В окно глядела теплая, безлунная, но светлая ночь. Звезды ярко мерцали на небе.

Аврора набросила на голову платок и вышла в сад. Ее мучило сознание, что она точно лишняя на свете, что все идет мимо нее и что она ни в чем, что совершается вокруг, не принимает и не может принять близкого участия. Три обстоятельства, бывшие особенно для нее важными в жизни, пришли ей в голову: смерть матери, разлука с отцовским домом и отъезд жениха в армию. И против всего этого, упавшего на нее так неожиданно и нежданно, она оказалась беспомощною. «Да иначе и быть не могло! – рассуждала Аврора, бродя по саду. – Я, нет сомнения, обречена на

одни страдания; так мне определено скупой и злою судьбой!» Ей вспомнился ее детский ужас и слезы у гроба матери, ее крики: «Мама, встань, оживи!» Она представляла себе отца, когда он вез ее и Ксению в институт, и она, как теперь помнила, почему-то тогда предчувствовала, что расстанется с ним навсегда. Ей вспомнилась до мелочей минувшая весна, знакомство с Перовским, ее помолвка, последние с ним свидания и его отъезд из Москвы. «Сколько с тех пор событий! сколько нового горя! – сказала она себе, глядя с верхней, садовой, поляны за реку, над которой все еще светился отблеск московского зарева. – Он тогда, на прогулке, – мыслила она, – сравнил вечерний вид Москвы с морем огня, а церкви и колокольни с мачтами пылающих кораблей... Его сравнение пророчески сбылось...»

Аврора спустилась в нижний сад. Нагибаясь в темноте от нависших знакомых ветвей, она шла береговой дорожкой. Вверху послышалось ржание лошади. «Барс, – подумала Аврора, – это отзывается он: я сегодня в суете не покормила его, и он окликает меня». Ей

вспомнился дядя Петр, его деревенька, верховой конь Коко и поездки с дядей на охоту. О, как бы она теперь желала видеть дядю! Снизу, сквозь деревья, проглянул на пригорке очерк дома. В одном из его окон мерцал слабый свет. «Лампадка в детской, над изголовьем Коли, – сказала себе Аврора, – все спят, пора и мне». Но ей не хотелось еще уходить. Ночь была так обаятельно тиха. За рекою паслось в ночном крестьянское стадо. Оттуда, при всяком шорохе на лугу, доносилось блеяние овец и лай собак. Вспомнив о скамье под липами, у реки, где в последнее время она так часто сидела, глядя к стороне Москвы, Аврора направилась туда. «Посижу, еще притомлюсь, – решила она, – сон придет скорее...»

Аврора подошла к липам. За ними она услышала голоса. «Кто бы это?» – подумала она, замедлив шаги.

За деревьями разговаривали двое. Аврора узнала их. То были Ксения и ее муж.

– Вот безумие, – говорил Тропинин, – и неужели ты, такая христианка и нежная, любящая мать, решилась бы?

– Это мне пришло в голову вдруг и неужи-

данно для меня самой, – ответила Ксения, – и если бы ты не возвратился, если бы тебя не стало на свете, клянусь, я бросилась бы с этой крутизны, и новым покойником в нашей семье было бы более...

Лай за рекой заглушил слова Ксении. «Новый покойник в семье! – вздрогнув, подумала Аврора. – Умер Митя Усов; теперь же это о ком?»

Она, напрягая слух, стояла неподвижно, чувствуя, как холод бежал по ней, охватывая ее члены.

– Он не был еще женат, – проговорил Тропинин, – но какая роковая, потрясающая драма; я всегда говорил...

Дружное блеяние испугавшихся чего-то овец помешало Авроре слышать далее.

– И это ты наверное знаешь? – донеслись до нее опять слова Ксении.

– Видел списки, а чем завершилось – не мог узнать. Конец, впрочем, обычный...

– Но неужели этот маршал... без справок, без суда?

Далее, хотя все стихло за рекой, Аврора ничего не слышала. Ухватясь за сердце, она мед-

ленно отошла, поднялась в верхний сад и без памяти бросилась к дому. Пройдя ощупью в свою комнату, она упала лицом в подушку, и долго в темной комнате раздавались ее заглушенные, отчаянные рыдания. «И что я? куда теперь? – мыслила она. – Ужели обычная колея – траур? явится новый жених, добрый, обыкновенный человек, и я, кисейная скромная барышня, выйду за него?.. Прощайте, несбыточные грезы и чувства, прощай, мой заветный, дорогой!»

Давно рассвело. Настало утро. Дом пробудился. Готовили чай. Комната Авроры не растворялась. Горничная Стеша в щелку двери видела, что барышня еще не встает, и, полагая, что она с ночи, по обычаю, долго читала, не решалась ее будить.

– Пусть ее поспит, – сказала Ксения, выйдя с мужем к чаю, – тяжело ей, бедной...

К чаю в залу вышла и княгиня. «Ильюша возвратился, возвратится и жених Авроры», – мыслила она и была в духе.

Тропинин прочел вслух из полученных с почты писем и газет последние известия об армии. Аврора явилась в конце чтения. Ее ли-

цо было бледнее обыкновенного, губы сжаты, глаза светились решимостью. Это был уже другой человек. Она слушала, спрашивала, говорила, но ее глаза были устремлены куда-то вдаль, и она точно не видела и не слышала окружающих ее.

Дьякон рассказал княгине, что Троице-Сергиевскую лавру отстоял господь. Французы трижды туда подходили с целью ограбить святыню, и трижды ее заслонял густой туман.

– Наши охраняют путь к Калуге? – спросила Аврора Илью, когда он, после рассказа дьякона, прочел вслух какое-то письмо.

– Да, – ответил Тропинин. – Наполеон из Москвы посылал к светлейшему – с переговорами о мире; князь, сказывают, прикинулся дряхлым, немощным, плакал и говорил: «Видите мои слезы? вся надежда моя на Наполеона!» – а в конце прибавил: «Впрочем, нечего думать о мире, война только начинается».

Аврора заботливо помогла сестре убрать чашки. Когда же Ксения с мужем удалилась на свою половину, а дьякон пошел готовиться в дальнейший путь, она предложила княгине дочитать вслух начатый роман «Адель и Тео-

дор» и до вечера, как и весь следующий день, казалась совершенно спокойною.

– Удивительная Аврора! – сказала Ксения мужу. – Сколько в ней нравственной силы, как переносит горе! Но что, если бы она все узнала?

Утром следующего дня дьякон Савва пришел поблагодарить княгиню за гостеприимство. Его щедро снабдили деньгами и провизией и дали ему лошадей до Каширы. Оттуда в Серпухов он рассчитывал добраться с каким-либо попутчиком. Когда его кибитка уже стояла у крыльца, Аврора, через Ефимовну, позвала его в свою комнату.

– Вы, отец дьякон, будете в Кашире? – спросила она.

– Как же, сударыня, – не миновать.

– Сдайте там на почту эти два письма.

– С удовольствием, – ответил Савва, просматривая надписи на пакетах, – одно вашему дядюшке, а это... министру? вот к какой особе!

– Мой жених, Перовский, – сказала Аврора, – питомец этого министра; Илья Борисович вам, без сомнения, о нем говорил. Граф,

пожалуй, не знает о его судьбе, а мог бы оказать помощь своим влиянием и связями... притом же...

Хлынувшие слезы помешали Авроре договорить.

– Успокойтесь, сударыня, – произнес Савва, – я бережно сдам на почту оба письма.

– Не все, не все еще, – проговорила Аврора, отирая слезы, – как честный человек, скажете ли мне истину на мой вопрос?

– По всей моей совести.

– Вы обо многом говорили по пути с моим зятем; скажите, жив ли Перовский?

Савва смущенно молчал.

– Я вам облегчу вопрос, – произнесла Аврора. – Перовский попал в плен и внесен в список приговоренных к смерти. Все это я знаю... Ответьте одно: жив ли он или погиб?

– Если вам, сударыня, все известно, – ответил дьякон, – что же я, малый, скудоумный, могу прибавить к тому? Богом вседержителем клянусь, ничего более не знаю.

Аврора сидела неподвижно. Слезы бежали по ее лицу.

– Погиб, погиб! – сказала она, подняв глаза

на образ. – Все кончено... остается одно... Дядя невдали от Серпухова, заезжайте к нему, вручите письмо лично.

– Будьте спокойны.

– Да ответ... попросите дядю скорее ответить.

Прошло около недели. Был конец сентября. Княгиня оправилась и однажды утром, кликнув Маремьяшу, объявила ей, что теперь, когда возвратился Илья Борисович и пока еще стоит такая хорошая погода, ничто более не удержит ее от отъезда в Паншино. Авроре и Ксении она прибавила, что французы, двинувшись от Москвы, могут, пожалуй, снова направиться в эту сторону, а потому медлить было нечего. Сестры не возражали, тем более что решения княгини обыкновенно были бесповоротны. Начались сборы в путь. Ксения с прислугой принялась за уборку и укладку вещей. Аврора также усердно помогала всем в общих хлопотах, возилась с ящиками, узлами и чемоданами и была, по-видимому, совершенно покойна.

Она зашла как-то в комнату сестры. Был вечер. Ксения, в кофте и юбке, засучив рука-

ва, мыла на лежанке, в корытце, Колю. Аврора, присев возле, с любовью смотрела, как раскрасневшаяся, счастливая сестра мылила и терла мочалкой розовую спинку и смеющееся личико Коли. Обнаженная, нежная шея сестры, с золотистыми завитками волос у подобранной на гребень густой косы, точно дымила от пара, поднимавшегося с корытца, где весело плескался ее ребенок.

– Вот удивительно, – сказала Ксения, – муж говорит, что Коля более похож на тебя, чем на меня: такой же черноглазый, красавчик и ласковый. Теперь черед за тобой...

Аврора подняла на сестру глаза.

– Не понимаешь? – улыбнулась Ксения. – Надо, чтоб твой будущий сын походил не на тебя, а на меня.

– Ах, Ксаня! за что такая жестокость?

– Но почему же, почему?

Аврора встала, закрыла рукой глаза и молча вышла из комнаты сестры.

В тот же вечер она встретила с сестрой в полутемном коридоре, Ксения несла связку каких-то вещей.

– Послушай, Ксаня, – сказала, остановив ее,

Аврора, – странные вы люди: скрываете, а я все знаю...

– Что же ты знаешь? – смущенно спросила Ксения.

– Ну, да уж бог с вами!

Сказав это, Аврора прошла далее в гостиную.

– Дьякон проговорился! – решил Тропинин, когда ему, после ужина, об этом сказала жена, – вот я его!

– Нет, Ильюша, – ответила Ксения, – сегодня с почты привезли Авроре какое-то письмо, и она долго над ним у себя сидела.

XXXVI

Накануне отъезда княгини Тропинин навестил соседа-предводителя. Он ездил к нему с целью поблагодарить его за внимание к княгине и просить о защите покидаемого ею имения. Аврора также выразила желание проститься с женою чеплыгинского священника. Чтобы не томить упряжных лошадей, она поехала верхом на Барсе. Наступил вечер. За чаем сказали, что Аврора обратно прислала коня и передала через его провожатого, что к попадье приехали коломенские знако-

мые и она осталась, чтоб дослушать приведенные ими рассказы, а возвратится позднее, на лошадях священника. День кончился в суете последней укладки. Истомленная прислуга едва двигалась. Подали ужин. Аврора не возвращалась.

– Экая темень! тучи нашли, не быть бы завтра дождю! – заметила Ксения, глянув в окно. – Аврору, верно, не пустили, оставили там переночевать.

– И хорошо сделали, – сказала княгиня, – послать бы к ней Маремьяшу или Ефимовну.

– Арина Ефимовна тоже там-с, – объявил Влас, все время в Ярцеве бывший как-то в тени, а теперь, в ожидании новой дороги, опять принявший важный и внушительный вид.

– Зачем Арина в Чеплыгине?

– Барышня Аврора Валерьяновна приказали накидку теплую доставить, а там всенощная, завтра канун Покрова богородицы, и Арину Ефимовну наши ярцевские мужики туда подвезли.

Настало утро. Главные дорожные вещи были окончательно укупорены и уложены в экипажи. Дормез, коляска и две троечные ки-

битки стояли запряженные у конюшни. Но туда то и дело еще носили разные ящики, корзины и узлы. Не видя Авроры, Тропинин позвал Власа и велел ему ехать за нею в коляске. Тем временем в зале готовили дорожный завтрак. Отдавая последние приказания наблюдавшему за сборами приказчику, Илья вышел на крыльцо и увидел наконец коляску, въезжавшую в ворота. Она внутри была пуста.

– А барышня? – спросил Илья Власа, когда тот подъехал к крыльцу и, мрачно насупив седые брови, слез с козел.

Влас вынул из-за пазухи письмо и молча подал его Тропинину.

– От кого это?

– От барышни Авроры Валерьяновны.

– Да где же она? что все это значит?

– Барышня с вечера написали и приказали вам это передать, когда опять за ними пришлют.

Тропинин вскрыл пакет.

«Не ищите меня, – писала зятю Аврора, – и не старайтесь догнать меня и остановить. Я, по долгом обсуждении, окончательно реши-

лась и еду к дяде Петру Андреевичу. Он нездоров и на мою просьбу прислал за мною экипаж и лошадей. В Кашире пробуду не более двух-трех часов. Навещу дядю и, при его содействии и советах, проберусь далее, в штаб армии. Не пугайтесь, квартира Кутузова недалеко от Серпухова. Я располагаю явиться лично к светлейшему и просить его о справках. Сил моих нет, я истомилась. Авось что-либо верное узнаю о судьбе Базиля. Прошу дорогую бабушку меня простить за этот самовольный отъезд и не беспокоиться; я еду с Ефимовной, а всех и тебя, милая Ксаня, прошу – не поминайте меня лихом. Мое предприятие, может быть, неосуществимо, безумно; но я не отступлю. Вскоре узнаете все. Постараюсь подробнее написать из Серпухова и из других мест, куда меня занесет судьба. Прощайте, дорогие, до свиданья, если буду жива. Но если нам, в это страшное время, не суждено более видеться, помолитесь, прошу, за всех тех истинных патриотов, кто искренне любит и чтит нашу, поруганную теперь, родину, за которую столько пролито крови. Другого выхода нет, я не в силах долее бороться с собой. Ва-

ша Аврора».

Тропинин прочел это письмо, еще раз пробежал его и расспросил Власа, когда, как и в чем уехала барышня. Влас ответил, что была прислана бричка от Петра Андреевича Крамалина, что священник и Ефимовна останавливали барышню, но та ответила, что отлучится ненадолго, догонит бабушку, и уехала. Тропинин бросился к жене. «Вот они, женщины! – думал он. – Средины нет: либо кроткий ангел, либо демон скрытых и сильных страстей».

Илья и Ксения долго не решались передать этой вести княгине; наконец кое-как, при помощи Маремьяши, они приготовили Анну Аркадьевну и все ей сообщили. Княгиня сперва всполошилась, крикнула приказчика, людей и велела скакать в погоню за Авророй. Илья ее остановил. Время было упущено, и Аврора, уехавшая в ночь на тройке дяди, в Кашире могла взять свежих ямских и теперь, по всей вероятности, уже подъезжала к дяде, который, без сомнения, ей даст совет скорее возвратиться домой.

Княгиня раскрыла ридикюль, вынула и понюхала спирту и спросила, который час. Тро-

пинин ответил, что скоро полдень.

– Прикажи, Ильюша, подавать завтрак, и едем, – сказала Анна Аркадьевна, – коляску же, мой хороший, оставь, и едва Аврора возвратится, вели приказчику лично проводить ее в Паншино... Такова непоседа была и ее мать; все делала по-своему и не спросясь... Впрочем, Арина – баба разумная, сбережет ее... А этому старому сумасброду, Петру Андреевичу, я, как приедем, сама напишу. Век чуфарился и нас обходил, пренапыщенный. И где ему давать советы о штабе? Это не гонянье с борзыми! Оба они, с покойным братом, только умели заглядывать в чужие цветники, а теперь, видно, застрял в своей трущобе и трусит выглянуть, как мышь.

Аврора с Ефимовной благополучно прибыли в Дединово, имение дяди. Старик Петр Андреевич, разбитый параличом, был неузнаваем. Он, сильно обрадовавшись Авроре, плакал, как дитя, осыпал ее ласками, расспрашивал о ней и о ее горе, жаловался, что крестьяне его не слушают и почти бросили. Беспомощный, седой и исхудалый, он теперь особенно напоминал Авроре ее покойного отца.

«Те же добрые, внимательные глаза и тот же ласковый голос», – думала она, глядя на него.

– Эх, не будь я прикован да будь помоложе, – сказал старик, – сел бы на чубарого и тебе нашел бы скакуна, и полетели бы мы с тобою в штаб светлейшего – искать твоего сокола-молодца!

Пробыв с дядей дня три, Аврора, с его денежною помощью и благословением, отправилась в Серпухов.

По мере удаления от Дединова и с приближением к Серпухову странницы встречали более и более общей растерянности и суеты. Некоторые селения на пути были уже совершенно безлюдны, так что на Арину напал сильный страх, и она все охала. Покормить лошадей было негде, и Аврора всю дорогу ехала на притомленной тройке дяди, не кормя. В Серпухов она приехала днем. Он поразил ее своею пустынною. Половина его жителей, особенно позажиточнее, давно бежала в Тулу, Орел и Чернигов. По городу виднелись только военные, двигались полковые фуры, пушки и обозы с продовольствием для армии. Аврора остановилась в лучшем заездем трактире и

послала отыскивать дьякона.

– На что он тебе? – спросила Ефимовна. – Что еще затеяла? и где его тут найти?

– Нужен он мне, знает эти места; его родич здесь под городом держит постоялый.

– Ну, справляйся, матушка, в своих делах, да и домой!.. Эка в какую даль заехали; все военные да пушки... Уж достанется нам от бабушки!

– Она добрая, простит, – ответила Аврора, – а я поговорю с дьяконом, завтра повидаюсь с городничим и с военным начальством и даю тебе слово – немедленно домой.

Отца Савву разыскали. Крайне удивленный появлением Авроры, он радостно поспешил к ней. Она ему сообщила, что намерена ехать в Леташёвку, где была квартира главного командующего, и просила его разыскать для нее лошадей и подвод, чтоб пробраться туда. Дьякон ушел и возвратился только вечером. Он был сильно не в духе. Оставшиеся в городе вольные ямщики заломили непомерную цену: сто рублей за два перегона.

– Давайте им, что потребуют, – сказала Аврора.

– Но как же вы поедете туда? Ужели одни?

– Возьму няню, хоть не желала бы подвергать ее опасностям.

Дьякон задумался. Он, повидавшись с шурином, втайне решил: снять рясу и поступить в ополчение. «Отплачу врагам за жену, – мыслил он, – не одного злодея положу за нее!» Теперь был случай и ему ехать до Леташёвки, и он думал предложить себя в провожатые Авроре, но не решался.

Ефимовна внесла самовар и стала готовить чай. Из общей залы трактира давно несся шум голосов и звон посуды. Там пировали какие-то военные. «Экие озорники! – подумал Савва. – Так поздно, не сообразят, что здесь девица!» Он вышел, поговорил с половым и наведалься в залу; веселые крики в последней несколько стихли.

– Кто там? – спросила Аврора, когда он возвратился.

– Проезжие гусары, и между ними партизан, подполковник Сеславин, – ответил дьякон, – лихой да ласковый такой, меня угостил ромом.

– Что это за партизаны? – спросила Аврора,

наливая дьякону чай.

– Охотники проявились за эти дни. Они составляют доброхотные отряды, следят за врагом и бросаются кучей и в одиночку в самые опасные места. Их немало теперь – Сеславин, князь Кудашев, и о них много говорят.

– Что же о них говорят?

– Не только офицеры, мужики с дрекольем идут на злодеев, стерегут их, поднимают на вилы, топят в колодцах и прудах. Прощка Зернин под Вязьмой, сотский Ключкин... а старостиха Василиса в Сычёвках? Чем не героиня? Суцая, можно сказать, Марфа Посадница, а по храбрости – амазонка или даже, по своему подвигу, библейская Юдифь...

– Какой подвиг? – с жадным любопытством спросила Аврора, кутая в мантилью дрожавшие от волнения плечи.

– А как же-с. Эта старостиха собрала сычевских мужиков, с косами, топорами и с чем попало, села верхом на лошадь и во главе их пошла...

– Баба-то? – не стерпев, отозвалась от двери Ефимовна. – И охота тебе, отец дьякон, молоть такое несуразное.

– Право слово, бабушка, вот те Христос.

– Куда же она пошла? – спросила Аврора.

– На французов... наскочила на них врасплох, убила косою по голове их офицера, а мужики уложили с десятков солдат, и вся их партия была разбита и бежала. Потом, слышно, Василиса пошла лесом к их лагерю.

– Боже, господи! – воскликнула, крестясь, Ефимовна. – И страха на них нет! Зачем же к лагерю-то?.. Ведь там, чай, их стража, часовые, туда не проберешься.

– Везде, бабушка, коли захочешь, пройдешь.

– Да зачем же так-то прямо, на смерть?

– Сказывают, видела сон в но́щи и решила, подкравшись из-за дерева, убить какого-нибудь важного генерала, не то и повыше. И как не идти? злодеи насильничают над всеми; у помещика Волкова, под Смоленском, двух красавиц дочек силою увезли. Я сам недоумеваю, ох, не идти ли в охотники?

Рассказ дьякона о партизанах поразил Аврору. Она молча соображала то, что он ей говорил. Савва стал прощаться.

– Так постарайтесь же, отец дьякон, – ска-

зала Аврора, – что ни потребуют, давайте, лишь бы завтра, с утра, я могла уехать.

Дьякон ушел. Утром Аврора написала несколько писем и вынула с груди ладанку, в которой был вложен пук крупных ассигнаций. То был подарок, полученный ею на расставании от дяди. Она отложила и подала Ефимовне одну из ассигнаций.

– Вот, няня, – сказала она, – пока я схожу здесь по делам, ты все уложи и приготовься.

– Да зачем же мне деньги-то? – удивилась Арина.

– Сама же ты говорила, что мелких нету: разменяй, понадобятся; купи провизию нам и для кучера дяди, также овса лошадям. Возвращусь, сейчас уедем.

Едва Ефимовна ушла, Аврора упала на колени перед образом, помолилась, приделась и, позвав трактирного слугу, послала его к подполковнику Сеслаину – спросить его, не навестит ли он, по нужному делу, постоялицу, девицу Крамалину? К ней, через четверть часа, охорашиваясь, вошел невысокий, черно-волосый и курчавый партизан Сеславин.

Когда Ефимовна с узлом провизии, запы-

хавшись, возвратилась в трактир, ее встретил смущенный Савва.

– Я добыл, матушка, крытую кибитку и добрых коней, – сказал он, – но нашей барышни, о господи, и след простыл.

– Где же она? – спросила, всплеснув руками, Ефимовна.

– Оставила вот эти письма родным, а сама укатила с гусарами.

Арина остолбенела. Она не помня себя бросилась в комнату Авроры. Комната была пуста.

XXXVII

В начале октября, незадолго до битвы под Тарутином, главные русские силы, при которых находился Кутузов, стояли в окрестностях села Леташёвки.

С утра шел мелкий, непрерывный дождь. По небу неслись клочковатые, мутно-серые облака. К вечеру дождь, разогнанный налетевшим ветром, на некоторое время прекратился. Грязь по улицам Леташёвки стояла невылазная. Квартира светлейшего находилась вблизи Тарутина, на окраине села Леташёвки, у церкви, в более чистой и помести-

тельной избе священника. Начальник главного штаба, генерал Ермолов, с адъютантами квартировал на другом конце деревни, в служительской избе брошенной помещичьей мызы.

Был одиннадцатый час ночи. Ермолов, кончив обычный вечерний доклад светлейшему, возвратился домой пешком, чуть не по колени увязая в жидкой и скользкой грязи, сопровождаемый вестовым, который нес перед ним фонарь. В непроглядной тьме от надвигавшегося света фонаря направо и налево по улице выделялись то полусломанные плетни и сарайчики дворов, то почернелые от дождя соломенные крыши изб, с которых еще струилась вода.

Сердитый, в намокшей шинели и в сплюснутой фуражке, едва прикрывавшей копну отросших за войну кудрявых и взъерошенных волос, Алексей Петрович Ермолов сильным взмахом ноги ступил на мокрое крыльцо и оттуда в сени своей избы. У дверей перед ним, в темноте, посторонился ожидавший его адъютант, бывший с кем-то другим, как бы посторонним.

– Кто это еще с вами? – недовольно спросил Ермолов, войдя в освещенную комнату, куда денщик уже вносил приготовленный для генерала ужин.

– Не говорит своего имени; в простом мещанском наряде, но, по-видимому, светский и образованный человек.

– Что же ему?

– Имеет весьма спешное и важное дело к светлейшему.

– Как? к князю? и в эту пору? – изумился Ермолов, сердито вытряхивая об пол мокрую фуражку.

– Говорит, что дело первой государственной важности и без отлагательства.

– Ну, у них все государственные дела, – с досадою произнес Ермолов, искоса глянув на стол, от которого уже доносился приятный запах чего-то жаренного в масле, с луком, и где стояла бутылка шабли, присланная в тот день Алексею Петровичу в презент от штабного маркиганта, общего любимца и мага по добычанию тонких питий.

Надо было опять возиться с неожиданным делом. Хрип невольной досады послышался

из широкой, богатырской груди Ермолова.

– Где этот непрошенный гость? зовите его! – сказал он адъютанту, садясь на скамью.

Из сеней вошел мешковатый, высокого роста, человек лет тридцати пяти, круглолицый, с приплюснутым носом и большими, навывкат серыми глазами. В его лице было что-то бабье; рыжеватые волосы спадали на лоб и на уши, как у чухонцев, прямыми космами; широко разошедшиеся брови и крупные, сжатые губы придавали этому лицу выражение недовольства и как бы испуга. «Баба!» – подумал бы всякий, впервые взглянув на него, если бы не жиденские бакенбарды, шедшие по этому лицу от ушей до подбородка. Незнакомец был одет в бараний, крытый серым сукном тулупчик и в высокие мещанские сапоги; в руках он держал меховой, с козырьком, картуз.

– Кто вы? – спросил Ермолов.

Вошедший молча оглянулся на адъютанта. Тот по знаку Ермолова вышел.

– Имя ваше, звание? – спросил Ермолов.

– Отставной штабс-капитан артиллерии, Александр Самойлов Фигнер, – негромко про-

изнес незнакомец.

– Что же вам нужно? – спросил Алексей Петрович, досадливо сопя носом и своими сокольими карими глазами вглядываясь в серые, вяло на него смотревшие глаза гостя, имя которого он уже встречал в реляциях.

– Могу уверить, иначе бы не посмел, – дело первой важности и экстренное! – не торопясь и старательно выговаривая слова, ответил Фигнер. – И обратите внимание, генерал, то, что ныне еще возможно и доступно, при медленности может стать недоступным и невозможным. Кроме вашего превосходительства да светлейшего, об этом пока никто не должен знать.

– Без предисловий, излагайте скорее, – произнес Ермолов, сев на скамью и, с понуренной головой, приготовясь слушать, – мы здесь одни, в чем ваше дело?

– Я служил в третьей легкой роте одиннадцатой артиллерийской бригады, а в последнее время состоял в Тамбовской губернии городничим, – начал Фигнер. – Движимый чувством патриотизма и удручаемый всем, что случилось, я бросил службу и семью, обра-

щался в августе к графу Растопчину и к другим, а этими днями снова проникал, переряженный, в Москву.

– Вы были в Москве? – спросил Ермолов.

– Так точно-с... блуждал, то в мундире французского или итальянского офицера, то в крестьянской одежде, по пожарищу, пробирался и в дома, занятые врагами, все высмотрел и нашел, что легко и возможно разом положить человеческий предел не только занятию первопрестольной, но, можно сказать, и самой войне, всем бедствиям России и человечества.

– Вот как! – сказал Ермолов. – Кончить войну?

– Да-с, войну, – ответил Фигнер, – и это моя тайна...

«Что он, этот чухонец или жид, нелегкая побрала бы его, сумасшедший? или нахал и себе на уме, дерзкий хвостун? – подумал Ермолов, гневно глядя на стоявшего перед ним незнакомца. – Уж не новый ли воздушный шар Лепиха придумал, или что-нибудь вроде этой галиматьи? возись еще с этим штафиркою!»

– Вы произнесли такие слова... – сказал он. – Легкое ли дело разом кончить громадную войну? Тут ухищрения стратегии, великих, сложных сил... а у вас... Впрочем, в чем же эта ваша, столь заманчивая, великая панацея?

Молча слушавший насмешливые возражения Ермолова Фигнер ступил ближе к нему.

– Решаясь на самоотверженное и, смею выразиться, – проговорил он, – беспримерное по отваге дело, я все обдумал строго и со всех сторон... Но мой план, как и всякое человеческое предприятие, может не удалиться... Могу ли поэтому знать наперед, смею ли питать надежду, что в случае неудачи этого плана, а вследствие того и неизбежной моей гибели, царь и отечество не оставят без призрения моей осиротелой семьи? Я человек недостаточный... мне довольно одного вашего слова...

– Что же вам нужно прежде всего для исполнения вашего предприятия? – спросил нетерпеливо Ермолов.

– Мой тезка, Александр Никитич Сеславин, предложил мне вступить в его отряд, он ждет

ответа; но я надумал другое. На основании общего устава о партизанских отрядах я попросил бы дозволить мне действовать самостоятельно, а именно, предоставить в мое распоряжение и по моему личному выбору хотя бы человек семь-восемь казаков.

– Ваша семья будет обеспечена, – сказал, подумав, Ермолов, – теперь говорите, для чего вам казаки и в чем ваш план?

Серые, круглые глаза Фигнера зажглись странным блеском, и он сам оживленно вытянулся и точно вырос. Его лицо побледнело, нижняя челюсть слегка затряслась.

– Мой план очень прост и несложен, – произнес он, судорожно подергивая рукой, – вот этот план... Я – кровный враг идеологов! О, сколько они нанесли вреда! их глава и вождь...

Он остановился, пристально глядя на Ермолова, и, казалось, не находил нужных слов.

– Я задумал, – проговорил он, помолчав, – и моя мысль бесповоротна... я решился истребить главную и единственную причину всего, что делается... а именно, убить Наполеона...

– Что вы сказали? – спросил, привстав, Ер-

МОЛОВ.

– Убить вождя французов...

«Да, он не в здравом уме! – подумал, разглядывая Фигнера, Ермолов. – А впрочем, почему же не в здравом? Не отчаянный ли скорее фанатик, гонимый непреодолимую душевную потребностью? Да и не он один. Лунин тоже предлагал отправить его парламентаром к Наполеону и вызывался, подавая ему бумагу, заколоть его кинжалом».

Ермолов поднялся со скамьи.

– Так вы действительно на это решились? – спросил он, все еще недоумевая, что за человек стоял перед ним в эту минуту.

– Решился и не отступлю, – ответил Фигнер.

– Как же вы полагаете исполнить ваше намерение? Одно дело – задумать, а другое – исполнить задуманное.

– Что бог даст: либо выручит, либо выучит! Я снова переоденусь, смотря по надобности, нищим или мужиком, проберусь в Кремль или в другое место, где будет злодей, и глаз на глаз лично нанесу ему удар. Пособники мне будут нужны только для предварительных

разведок и приготовлений.

– Вы говорите, у вас семья? – спросил Ермолов.

– Жена и пятеро детей, мал мала меньше.

– Где они?

– Решась проникнуть в Москву, оставил их в Моршанске.

– Как вы проникли в Москву?

– С французским паспортом; они сами мне его дали, назвав меня cultivateur, помещиком.

– Что вы делали там?

– Следил за выходом оттуда неприятельских фуражиров, разбивал их под Москвой с охотниками и отнимал их подводы... в делах штаба должны быть обо мне упоминания.

– Да, о вас доносили. И вы готовы на такой шаг, не боитесь?

– На всякую беду страха не напасешься – бог не выдаст, боров не съест! – ответил Фигнер. – Брут убил своего друга Цезаря, мне же корсиканский кровопийца не друг... Я день и ночь молился, клялся.

«Рисуется немчура, – подумал Ермолов, – а впрочем, посмотрим».

– Что же вы желаете получить в случае

удачи? – спросил он. – Говорите прямо.

Фигнер слегка покраснел. Его глаза глядели холодно и спокойно.

– Ничего, – ответил он. – Я приношу себя в жертву отечеству. Россия вскормила меня; душою я русский.

– А родом?

– Остзеец.

– Есть с вами бумаги?

– Вот они...

XXXVIII

«Чудеса! – раздумывал, просмотрев бумаги, Ермолов, – ферфлюхтер, а говорит с пафосом и русскими пословицами, даже слова как-то особенно старательно отчеканивает».

Он задал еще несколько вопросов Фигнеру. Тот на все отвечал здраво и обдуманно. «Как быть? – терялся в догадках Ермолов. – Умолчать об этом гусе перед светлейшим невозможно... Что бы ни вышло впоследствии, ответственность падает на меня первого... ну, да его с этою затеей, вероятно, без уважения сплавит сам князь».

Ермолов кликнул адъютанта, сдал ему на

руки Фигнера и, снова надев мокрую фуражку, пошел по лужам и скользкой грязи к главнокомандующему. Адъютант было предложил оседлать для него коня; Ермолов, с досадой махнув рукой, отправился опять пешком.

У ворот квартиры Кутузова провожатый вестовой наткнулся на княжеского денщика, шедшего притворять ставни.

– Все спят-с! – сказал денщик, разглядев при свете фонаря фигуру Ермолова, вынырнувшего из темноты.

– А сам светлейший? – спросил Ермолов.

– Тоже в постели, хотя свечи у них еще горят.

– Доложи.

Денщик через сени вошел в темную приемную, оттуда в спальню Кутузова. Ермолов был приглашен в комнату, из которой вышел всего полчаса назад.

Кутузов, в одной рубашке, сидел на постели, спустив на коврик босые ноги, прикрытые бухарским халатом. Перед ним на круглом столике лежала карта России, утыканная булавами, с головками из красного и черного сургуча, изображавшими русские и французские

войска. Он перед приходом Ермолова рассматривал эту карту. Комната, по обычаю старика князя, любившего теплоту, была жарко натоплена.

– Что, голубчик? – спросил он, устремив навстречу входившему Ермолову не совсем довольный, утомленный взгляд. – Все ли у вас благополучно?

– Слава богу, ничего нового; но вот что случилось...

Ермолов неторопливо и в подробностях передал светлейшему о прибытии и предложении Фигнера.

– Я счел священным долгом, – заключил он, – не мешкая обо всем доложить... Что прикажете? Фигнер у меня, ждет решения.

– Так вот что, – произнес Кутузов, натягивая себе на плечи сползавший с него халат, – штука казусная... все ли ты терпеливо выслушал и расспросил?

– До точности, ваша светлость.

– А как полагаешь, он не насчет перпетуум-мобиле, не из желтого дома? заметил ты, в порядке ли его мозги?

– Мне этот вопрос прежде всего пришел в

голову, – ответил Ермолов, – я его так и этак, на все стороны допрашивал; говорит толково, в глазах змейки не бегают, нет ничего подозрительного... Осуществимо ли его предприятие – дело другое. Отважен же он и смел, кажется, действительно без меры, и его решимость, по-видимому, искренняя и прямая.

Старчески обрюзглое лицо Кутузова поникло. Он задумался. На гладко выбритом, жирном и белом его подбородке, от тепла комнаты или от душевного волнения, выступила испарина. Он нервным движением пухлой руки тронул себя за подбородок и, задумавшись, устремил свой единственный зрячий глаз куда-то в сторону, мимо этой комнаты и Ермолова, мимо этой ночи и всего того, что ей предшествовало и так доньше подавляло дряхлого телом, но бодрого духом старого вождя.

– Ведь вот, шельма, придумал! – разведя руками и опять хватаясь за увлажненное лицо, сказал князь, – а дело, надо признаться, из ряда вон и во всяком случае необычное. Но на чем основаться?

Князь медленно повернулся на подостлан-

ной под него перине.

– Разумеется, бывали примеры в древности, и именно в Риме, во время войны Пирра и Фабриция, – продолжал он, – только там, сколько припомню, разыгралось все иначе. Ну, как это было? пришли и говорят Фабрицию, что некий врач из греков – это в Риме было то же, что в России наши немцы, – с целью разом прекратить войну вызвался, без колебания, отравить Пирра. Ну, Фабриций, как помнишь, выслушал, как и ты, этого немца, да и отослал врага-предателя в распоряжение самого Пирра. Остроумного лекаришку Пирр, разумеется, вздернул на первую осину или там, по-ихнему, смоковницу, что ли... тем дело и кончилось... Ты что на это скажешь?

Ермолов, нахмурясь, молчал. Догоравшие свечи уныло мигали на столе. Кутузов взглянул в ближайшее к кровати окно, из которого в эту ночь опять виднелось зарево над Москвою.

– Мое мнение, – произнес он, – убей этот чухонец и в самом деле Бонапарта, все скажут – не он, а я да ты, Алексей Петрович, предательски его ухлопали. Ведь правда?

– Положим, ваша светлость, то было давно и в Риме, – ответил Ермолов, еще не угадывавший, куда клонит князь, – и прошлое не всегда урок для настоящего. Но я позволю себе, однако, только спросить, чем этот новый, вторгшийся к нам Атилла лучше какого-нибудь Стеньки Разина или Пугачева? Те изверги шли из-за Волги, этот из Парижа – в том вся и разница; сходства же в разрушителях много... Владеть отуманенною ими, раболепною толпой, двигать, при всяческих обманах, полчищами жадных до наживы, одичалых бандитов, вторгаться, для удовлетворения собственного самолюбия, в мирную страну, предавая в ней все грабежу, огню и мечу... Чем же это не отверженец людского общества, чем не Разин или не Пугачев?

Кутузов отодвинул стол, нашел босыми ногами и надел туфли, медленно поднялся с постели и, оставя халат, в одном белье начал, заложив руки за спину, вперевалку, прохаживаться по комнате.

– Именно, отверженец нового сорта! – сказал он, помолчав. – Ты выразился верно!.. Но как разрешить вопрос? подумай... Если бы я и

ты, лично напав на Наполеона, начали с ним драться явно, один на один... дело другое... А тут, выходит, точно камнем из-за угла.

– Как угодно вашей светлости, – почти-тельно-сухо проговорил Ермолов, как бы собираясь уйти.

– Да нет, погоди! – остановил его Кутузов. – Мы с тобою полководцы девятнадцатого века, вот что я хочу сказать. А наши противники достойны ли этого имени? Я предсказывал, что они будут есть конину – едят... говорил, что Москва для их идола и их армий станет могилой – стала... их силы с каждым днем тают... – Князь опять прошелся по комнате. – Прогоним их, увидишь, – сказал он, – я не доживу, ты дождешься... Те же французы свергнут своего кумира и так же бешено и легкомысленно проклянут его и весь его род, как свергли, казнили и прокляли своего истинного короля... Жалкая нация...

Кутузов, опершись руками о подоконник, глядел на небо, окрашенное заревом.

– Опять огонь... догорает, страдалица! Вспомнят они этот пожар, – сказал он, – заплатят за эту сожженную Москву!

– Так что же прикажете, ваша светлость, относительно предложения Фигнера? – спросил Ермолов. – Всякие шатаются теперь, и чистые, и темные люди.

Кутузов обернулся к нему и развел руками.

– Дело, не подходящее ни под какие артикулы! – сказал он, – а впрочем, Христос с ним! Знаешь поговорку – смелого ищи в тюрьме, труса в полах... Дай ему, голубчик, по положению о партизанах восемь казаков, бог с ним. Глас народа – глас божий; пусть творит, что хочет, если на то воля свыше, а приказа убивать... я ему не даю!

Партизаны Сеславин и Фигнер, по условию, съехали у деревни князя Вяземского, Астафьева. Фигнер объявил, что ему на время разрешено действовать самостоятельно, и просил наставлений и советов у более опытного товарища. Сеславин уступил ему из своего отряда двух кавалеристов, в том числе молоденького юнкера, который особенно просился к Фигнеру. Невысокий, черноволосый и сухощавый, этот юнкер, в казачьей одежде, казался робким мальчиком, но лихо ездил верхом. Купленный им у казаков донской

конь Зорька был сильно худ, но не знал усталости. Фигнер в ту же ночь с этим юнкером ускакал по направлению к Москве.

XXXIX

Французы окончательно покинули Москву 11 октября. Известие об этом, напечатанное лишь через девять дней в Петербурге, в «Северной почте» от 19 октября, достигло Паншина, где в это время проживала с семьей княгиня, лишь в конце октября. Газетные ре-ляции, впрочем, были уже предупреждены словесной молвой. Все терялись в догадках, куда скрылась Аврора. Известий от нее, после письма из Серпухова, не приходило. Княгиня была в неописанном горе. Ксения и ее муж не знали, как ее утешить.

Прогревели сражения под Тарутином, где был убит ядром Багговут, под Малоярославцем и Красным, где французы потеряли почти всех своих шедших с ними пленных. Не допущенный русскими к Калуге, Наполеон поневоле бросился на опустошенную им же самим дорогу к Смоленску.

Французская армия, гонимая отдохнувшими и окрепшими русскими войсками, шед-

шими за нею по пятам, вдвинулась в пространство между верховьями Днепра и Двины. Озлобленный неудачами, Наполеон повел эту армию к Березине, теряя от трех, открытых им в России, стихийных сил – невылазной грязи, страшного мороза и казаков – тысячи солдат и лошадей. Не менее того на этом пути вредили неприятелю и отважные партизаны.

Пронеслись вести о подвигах полковника-поэта Давыдова, Орлова-Денисова, князей Кудашева и Вадбольского, Сеславина, Фигнера и других отчаянных смельчаков. Называли и другие, менее известные имена, в том числе дьякона Савву Скворцова, мстившего за похищенную у него жену. Он в какой-то вылазке, подкравшись из леса, размозжил дубиною голову французскому артиллеристу, готовившемуся выпалить картечь в русский отряд, и небольшая французская батарея стала добычей русских без боя. О партизанах рассказывали целые легенды. Фигнер, по слухам, не застав Наполеона в Москве, усилил свой отряд новыми охотниками и бросился по Можайской дороге. Здесь он отбил обширный непри-

ательский обоз, захватил более сотни пленных и, на глазах французского арьергарда, взорвал целый вражеский артиллерийский парк. В толках о партизанах стали упоминаться и женские имена. В обществе говорили об отваге и храбрости девицы Дуровой, принявшей имя кавалериста Александрова, и о других двух героинях, не оставивших потомству своих имен.

Предводительствуя небольшими летучими отрядами из гусаров, казаков и dobroхотных разночинцев, смелые партизаны неожиданно появлялись то здесь, то там и день и ночь тревожили остатки великой французской армии, отбивая у нее подводы с припасами и московскую добычей, артиллерию и целые транспорты больных и отсталых. При обозах отбивали и отряды пленных, которых враги гнали с собою в качестве носильщиков и прислуги.

Победы русских под Красным окончательно расстроили французскую армию. В этих сражениях, с 3 по 6 ноября, французы потеряли более двадцати шести тысяч пленными, в том числе семь генералов, триста офицеров и

более двухсот орудий. Началось сплошное бегство разбитых и изнуренных бездорожьем, голодом и болезнями остатков наполеоновых полчищ.

Поля давно покрылись снегом. Начались сильные морозы, сопровождаемые ветром и метелями. Но вдруг снова потеплело. Стужа сменилась туманами. Начало таять. По дорогам образовались выбоины и невылазная грязь. Кутузов, сопровождая свои ободренные победой отряды, ехал то в крытых санях, то в коляске и даже, смотря по пути, на дрожках.

На дневке, 6 ноября, князь, осматривая верхом биваки, часу в пятом дня приблизился к лагерю гвардейского Семеновского полка. Его сопровождали несколько генералов и адъютантов. Все были в духе, оживленно и весело толковали об окончательном поражении корпуса Нея, причем в одном из захваченных русскими обозов был даже взят маршальский жезл грозного герцога Даву.

Вечерело. Густой туман с утра плавал над полями, среди него кое-где, как острова, виднелись опустелые деревеньки и чернели вер-

шины леса. Светлейший подъехал к палатке командира гвардейцев, генерала Лаврова, невдали от которой молоденький офицер в артиллерийской форме снимал карандашом портрет с тяжелораненого, тут же сидевшего своего товарища. Князь и его свита сошли с лошадей. Князю у палатки поставили скамью, на которую он, кряхтя и разминая усталые члены, опустился с удовольствием, поглядывая на смешавшегося рисовальщика.

– Как ваша фамилия? – спросил Кутузов, подозвав его к себе.

– Квашнин, ваша светлость, – ответил, краснея, офицер, – я это так-с, карандашом для его отца.

– Что же, и отлично. Я вас где-то видел?

– После моего плена в Москве, и ваша светлость еще тогда удивлялись, как я вынес, – заторопился, еще более краснея, офицер, – я был тогда ординарцем Михаила Андреича...

– А с кого рисовали?

– Тюнтин, товарищ... оба мы под Красным...

Кутузов более не слушал офицера. Сопровождавшие князя гвардейские солдаты-кира-

сиры, сойдя в это время с лошадей, стали вокруг него с отбитыми неприятельскими знаменами, составив из них для защиты от ветра нечто вроде шатра. Кутузов смотрел на эти знамена. Туман вправо над полем разошелся, и заходящее солнце из-за холма ярко осветило ряды палаток, пушки, ружья в козлах и оживленные кучки солдат, бродивших по лагерю и сидевших у разведенных костров. Денщики полкового командира разносили чай. Кто-то стал читать вслух надписи над знаменами.

– Что там? – спросил, опять глянув на эти знамена, Кутузов. – Написано «Австерлиц»? да, правда, жарко было под Австерлицем; но теперь мы отомщены. Укоряют, что я за Бородино выпросил гвардейским капитанам бриллиантовые кресты... какие же навесить теперь за Красное? Да осыпь я не только офицеров – каждого солдата алмазами, все будет мало.

Князь помолчал. Он улыбался. Все в тихом удовольствии смотрели на старого князя, который теперь был в духе, а за последние дни даже будто помолодел.

– Помню я, господа, лучшую мою награду, – сказал Кутузов, – награду за Мачин; я получил тогда георгиевскую звезду. В то время эта звезда была в особой чести, я же был помоложе и полон надежд... Есть ли еще здесь кто-нибудь между вами, кто бы помнил тогдашнего, молодого Кутузова? нет? еще бы... ну, да все равно... Вот и получил я заветную звезду. Матушка же царица, блаженной памяти Екатерина, потребовала меня в Царское Село. Еду я; при-ехал. Вижу, прием заготовлен парадный. Вхожу в раззолоченные залы, полные пышными, раззолоченными сановниками и придворными. Все с уважением, как и подобало, смотрят на храброго и статного измайловского героя, скажу даже – красавца, да, именно красавца! потому что я тогда, в сорок шесть лет, еще не был, как теперь, старою вороной, я же... ни на кого! Иду и думаю об одном – у меня на груди преславная георгиевская звезда! Дошел до кабинета, смело отворяю дверь... «Что же со мной и где я?» – вдруг спросил я себя. Забыл я, господа, и «Георгия», и Измаил, и то, что я Кутузов. И ничего как есть перед собою не взвидел, кроме небесных

голубых глаз, кроме величавого, царского взора Екатерины... Да, вот была награда!

Кутузов с трудом достал из кармана платок, отер им глаза и лицо и задумался. Все почтительно молчали.

– А где-то он, собачий сын, сегодня ночует? – вдруг сказал князь, громко рассмеявшись. – Где-то наш Бонапарт? пошел по шерсть – сам стриженный воротился! не везет ему, особенно в ночлегах. Сеславин сегодня обещал не давать ему ни на волос передышки, а уж Александр Никитич постоит за себя. Молодцы партизаны, спасибо им!.. Бежит от нас теперь пресловутый победитель, как школьник от березовой каши.

Дружный хохот присутствовавших покрыл слова князя.

Все заговорили о партизанах. Одни хвалили Сеславина и Вадбольского, другие – Давыдова, Чернозубова и Фигнера. Кто-то заметил, что в партии Сеславина снова отличилась кавалерист-девица Дурова. На это красневший при каждом слове Квашнин заметил, что и в отряде Фигнера, как он наверное слышал, в одежде казака скрывается другая таинствен-

ная героиня. Квашнина стали расспрашивать, что это за особа.

Он, робко взглядывая то на князя, то на хмурые лица огромных кирасирских солдат, стал по-французски объяснять, что, по слухам, это какая-то московская барышня, которой, впрочем, ему не удалось еще видеть.

– Кто, кто? – спросил рассказчика светлейший, прихлебывая из поданного ему стакана горячий чай. – Еще амазонка?

– Так точно-с, ваша светлость! – ответил совсем ставший багровым Квашнин. – Московская девица Крамалина. Она, как говорят, являлась еще в Леташёвке; ее привез из Серпухова Александр Никитич Сеславин.

– Зачем приезжала?

– Кого-то разыскивала в приказах и в реляциях... я тогда только что вырвался из плена и не был еще...

– Ну и что же она? нашла? – спросил князь, отдавая денщику стакан.

– Никак нет-с; а не найдя, упросилась к Фигнеру и с той поры состоит неотлучно при нем... Изумительная решимость: служит, как простой солдат... вынослива, покорна... и по-

дает пример... потому что...

Окончательно смешавшийся Квашнин не договорил.

– Вчера, господа, этот Фигнер, – перебил его, обращаясь к офицерам, генерал Лавров, – чуть не нарезался на самого Наполеона, прямо было из-за холма налетел на его стоянку, но, к сожалению, спутали проводники... уж вот была бы штука... поймали бы красного зверя...

– Да именно красный, матерой! – приятно проговорил, разминаясь на скамье, Кутузов. – Сегодня, кстати, в числе разных и в прозе и пиитических, не заслуженных мною посланий я получил из Петербурга от нашего уважаемого писателя, Ивана Андреевича Крылова, его новую, собственноручную басню «Волк на псарне». Вот так подарок!

Кутузов, заложа руку за спину, вынул из мундирного кармана скомканный лист синеватой почтовой бумаги, расправил его и, будучи с молодых лет отличным чтецом и даже, как говорили о нем, хорошим актером, отчетливо и несколько нараспев начал:

Волк, ночью думая попасть в ов-

*чарню,
Попал на псарню...*

Он с одушевлением, то понижая, то повышая голос, картинно прочел, как «чуя серого, псы залились в хлевах, вся псарня стала адом» и как волк, забившись в угол, стал всех уверять, что он «старинный сват и кум» и пришел не биться, а мириться, – словом, «уоставить общий лад...»

При словах басни:

*Тут ловчий перервал в ответ:
«Ты сер, а я, приятель, сед!» —*

Кутузов приподнял белую, с красным околышем, гвардейскую фуражку и, указав на свою седую, с редкими, зачесанными назад волосами голову, громко и с чувством продекламировал заключительные слова ловчего:

*«А потому обычай мой —
С волками иначе не делать миро-
вой,
Как снявши шкуру с них долой...»*

—
И тут же выпустил на волка гончих стаю!

Окружавшие князя восторженно крикнули «ура», подхваченное всем лагерем.

– Ура спасителю отечества! – крикнул, отирая слезы и с восторгом смотря на князя, Квашнин.

– Не мне – русскому солдату честь! – закричал Кутузов, взобравшись, при помощи подскочивших офицеров, на лавку и размахивая фуражкой. – Он, он сломил и гонит теперь подстреленного насмерть, голодного зверя...

XI

Снова настала стужа, подул ветер и затрепещал сильный мороз.

Голодный, раненый зверь, роняя клочками вырывааемую шерсть и истекая кровью, скакал между тем по снова замерзшей грязи, по сугробам и занесенным вьюгою пустынным равнинам и лесам. Он добежал до Березины, остановился, замер в виду настигавших его озлобленных гонцов, готовых добить его и растерзать, отчаянным взмахом ослабевших ног бросил по снегу, для отвода глаз, две-три хитрых следовых петли, сбил гонцов с пути и, напрягая последние усилия, переплыл за Березину. Что ему было до его гибнувших спо-

движников, которых, догоняя, враги рубили и топили в обледенелой реке? Он убежал сам; ему было довольно и этого.

Французы, теряя свои последние обозы, переправились по наскоро устроенным, ломавшимся мостам через Березину, у Студянки, 14 ноября. Озадаченные их неожиданною переправою и уходом, русские вожди растерялись и, взваливая друг на друга вину этого промаха, с новою силой бросились по пятам вражеских легионов, бежавших обратно за русскую границу. Партизаны и казаки, обгоняя беглецов по литовским болотам и лесам, преследовали их, по выражению Наполеона, как орды новых аравитян. Сеславин гнался за французами слева, Фигнер справа. Оба втайне стремились исправить ошибку Березины, схватить в плен самого Наполеона. Сеславину едва не удалось достигнуть этого у села Ляды. Он подкрался ночью, проник в село и даже перерезал пикет, охранявший путь императора. Но вспыхнувший пожар предупредил Наполеона, и он со свитой объехал Ляды сбоку. Фигнер со своим отрядом бросился окольными лесами, в перерез французам, на городок Ош-

мяны. Туда же, с другой стороны, направился и Сеславин. Каждый из них составил свой собственный план и мечтал о его успешном исполнении.

Измученный и возмущенный рядом неудач, Наполеон в местечке Сморгони неожиданно призвал Мюрата и других бывших с ним маршалов и объявил им, что пожар Москвы, стужа и ошибки его подчиненных заставляют его сдать войско Мюрату и что он едет обратно в Париж – готовить к весне новую, трехсоттысячную армию и новый поход против России.

Из Вильны, к которой направлялся Наполеон, была заранее, с фельдъегерем, тайно вытребована для охраны его пути целая кавалерийская дивизия Луазона. Этот отряд, не зная цели нового движения, спешил навстречу бегущему императору, занимая по пути занесенные снегом деревни, мызы и постоянные дворы. Слух о причине похода из Вильны дошел наконец до передового полка этой дивизии, наполовину состоявшего из итальянцев и саксенвеймарцев. Южные солдаты, невольные соратники великой армии, с

отмороженными лицами, руками и ногами, в серых и дымных литовских лачугах чуть не вслух роптали за скудную овсяною похлебкой, проклиная главного виновника их бедствий.

– Он снова позорно бежит, предавая нас гибели, как бежал из Египта! – толковали солдаты и офицеры этого отряда. – Недостает, чтобы казаки схватили и посадили его, как редкого зверя, в железную клетку.

Было 23 ноября.

После двухдневной непрерывной бури и метели настала тихая, ясная погода. День стоял солнечный; мороз был свыше двадцати градусов. По белому, ярко блестящему полю столбовой, обставленной вербами дорогой неся на полозьях с обитыми потертым волчьим мехом стеклами жидовско-шляхетский возок, в каком тогда ездили зажиточные помещики, арендаторы и помещики средней руки. За ним следовала рогожная кибитка, с полостью в виде зонтика. Оба экипажа охраняло конное прикрытие из нескольких сот сменявшихся по пути польских уланов. Снег визжал под полозьями. Красивые султаны, мель-

кавшие на шапках прикрытия, издали казались цветками мака на снежной равнине.

В возке, в медвежьей шубе и в такой же шапке, сидел Наполеон. С ним рядом, в лисьем тулупе, – Коленкур, напротив них, в бурке, – генерал Рапп. На козлах в мужичьих, бараньих шубах, обмотав чем попало головы, сидели мамелюк Рустан и, в качестве переводчика, польский шляхтич Вонсович. В кибитке следовали обер-гофмаршал Дюрок и генерал-адъютант Мутон. Наполеон ехал под именем «герцога Виченцкого», то есть Коленкура.

– Да где же их проклятые села, города? – твердил Наполеон, то и дело высовывая из медвежьего меха иззябший, покрасневший нос и с нетерпением приглядываясь в оледенелое окно. – Пустыня, снег и снег... ни человеческой души! Скоро ли стоянка, перемена лошадей?

Рапп вынул из-под бурки серебряную луковичу часов и, едва держа их в окостенелой руке, взглянул на них.

– Перемена, ваше величество, скоро, – сказал он, – а стоянка, по расписанию, еще за

Ошмянами, не ближе как через четыре часа.

– Есть с нами провизия? – спросил Наполеон.

– Утром, ваше величество, за завтраком, – отозвался Коленкур, – вы все изволили кончить – фаршированную индейку и страсбургский пирог.

– А ветчина?

– Остались кости, вы велели отдать проводнику.

– Сыр?

– Есть кусок старого.

– Благодарю: горький и сухой, как щепка. Ну хоть белый хлеб?

– Ни куска; Рустан подал за десертом последний ломоть.

Верст через пять путники на белой поляне завидели новый конный пикет, гревшийся у костра близ пустой, раскрытой корчмы, и новую, ожидавшую их смену лошадей. Наполеон, сердито поглядывая на перепряжку, не выходил из экипажа. Возок и кибитка помчались далее. Наполеон дремал, но на толчках просыпался и заговаривал с своими спутниками.

– Да, господа, – сказал он, как бы отвечая на занимавшие его мысли, – ко всем нашим бедствиям здесь еще и явственная измена. Шварценберг, вопреки условию, отклонился от пути действий великой армии; мы брошены на произвол собственной участи... И как сражаться при таких условиях?

Возок въехал на сугроб и быстро с него скатился.

– А стужа? а эти казаки, партизаны? – продолжал Наполеон. – Они вконец добивают наши обессиленные, разрозненные легионы. Подумаешь, эта дикая, негодная конница, способная производить только нестройный шум и гам... она бессильна против горсти метких стрелков, а стала грозною в этой непонятной, бессмысленной стране... Наша превосходная кавалерия истреблена бескормидцей; пехоту интендантство оставило без шуб и без сапог... все, наконец, голодают.

На лице нового Цезаря его спутники в эту минуту прочли, что голод – действительно скверная вещь. Проехали еще с десятков верст. Вечерело. Наполеон, чувствуя, как мучительно ноют иззябшие пальцы его ног, опять за-

дремал.

– Нет, не в силах, не могу! – решительно сказал он, хватаясь за кисть окна. – У первого жилья мы остановимся. Найдем же там хоть кусок мяса или тарелку горячего.

– Но, ваше величество, – сказал Рапп, – не беспокойтесь, до назначенной по маршруту стоянки не более двух часов. Это замок богатого и преданного вам здешнего помещика... Вонсович ручается, что все у него найдем...

– Черт с вашим маршрутом и замком; я голоден, шутка ли, еще два часа! не могу...

– Но нам до ночи надо проехать Ошмяны.

Наполеон не вытерпел. Он с сердцем дернул кисть, опустил стекло и высунулся из окна. Верстах в трех впереди, вправо от дороги, виднелось какое-то жилье.

– Мыза! – сказал император. – Очевидно, зажиточный дом и церковь. Мы здесь остановимся.

– Простите, ваше величество, – произнес Коленкур, – это против расписания, и вас здесь не ожидают...

– При этом возможно и нападение, засада, – прибавил Рапп.

– Что вы толкуете! Поселок среди открытой, ровной поляны, – сказал Наполеон, – ни леса, ни холма! а наш эскорт? Велите, герцог, захватить.

Коленкур остановил поезд и для разведки послал вперед часть конвоя. Возвратившиеся уланы сообщили, что на мызе, по-видимому, все спокойно и благополучно. Возок и кибитка направились в сторону, к небольшому, под черепицей, домику, рядом с которым были конюшня, амбар и людская изба. За домом, в занесенном снегом саду, виднелась деревянная церковь, за церковью – небольшой, пустой поселок.

Обогнув дом, возок подкатил к крыльцу. Во дворе и возле него не было видно никого. Стоявшая на привязи у амбара лошадь в сайках показывала, однако, что мыза не совсем пуста.

ХЛІ

В сенях дома путников встретил толстый и лысый, невысокого роста, ксендз. За ним у стены жался какой-то подросток. Одежда, вид и конвой путников смутили ксендза. Он, бледный, растерянно последовал за ними.

Войдя в комнату, Наполеон сбросил на подставленные руки Руста и Вонсовича шубу и шапку и, оставшись в бархатной на вате зеленой куртке, надетой сверх синего егерского мундира, присел на стул и строго взглянул на Вонсовича.

– Кушать государю! – почтительно согнувшись, шепнул Вонсович священнику.

Пораженный вестью, что перед ним император французов, ксендз в молчаливом изумлении глядел на Наполеона, с которого Рустан стягивал высокие, на волчьем меху, сапоги.

– Чего-нибудь, – продолжал Вонсович, – ну, супу, борщу, стакан гретого молока. Только скорей...

– Нет ничего! – жалостно проговорил ксендз, сложив на груди крестом руки.

– Так белого хлеба, сметаны, творогу.

– Ничего, ничего! – в отчаянии твердил помертвелыми губами священник. – Где же я возьму? Все ограбили сегодня прохожие солдаты.

– Что он говорит? – спросил Наполеон. Вонсович перевел слова священника.

– Они отбили кладовую, – продолжал ксендз, – угнали последнюю мою корову и порезали всех птиц... я остался, как видите, в одной рясе и сам с утра ничего не ел.

– Но можно послать на фольварк, – заметил Вонсович.

– О, пан капитан, все крестьяне и мои домочадцы разбежались, и, если бы не мой племянник, только что подъехавший за мной из местечка, я, вероятно, погиб бы с голоду, хотя не ропщу... О, его цезарское величество, я в том убежден, со временем все вознаградит...

Вонсович перевел ответ и заключение ксендза. Наполеон при словах о грабеже и о том, что нечего есть, нахмурился. Но он сообразил, что делать нечего и что таковы следствия войны для всех, в том числе и для него, и решил показать себя великодушным и выше встреченных невзгод. Милостиво потрепав ксендза по плечу, он сказал ему, через переводчика, что рад случаю видеть его, так как в жизни встречает первого священника, который так покорен обстоятельствам и не корыстолюбив.

– Да, – вдруг обратился он по-латыни непо-

средственно к ксендзу, – у нас есть общий нам, родственный язык; будем говорить по-католически, по-римски.

Священник в восхищении преклонился.

– Я никогда не расставался с Саллюстием, – сказал Наполеон, – носил его в кармане и с удовольствием прочитывал войну против Югурты. А Цезарь? его галльская война? мы тоже, святой отец, воюем с новейшими дикими варварами, с галлами Востока... Но надо покоряться лишениям.

Говоря это, Наполеон прохаживался по комнате. Радостно изумленный ксендз и свита благоговейно внимали бойким, хотя и не вполне правильным римским цитатам нового Цезаря. В уютной комнате кстати было так тепло. Вечернее же солнце так домовито и весело освещало скромную мебель в белых чехлах, гравюры по стенам и уцелевшие от грабителей горшки цветов на окнах, что всем было приятно.

Наполеон еще что-то говорил. Вдруг он, нагнувшись к окну, остановился. Он увидел на дворе нечто, удивившее и обрадовавшее его. В слуховое окно конюшни выглянула пестрая

хохлатая курица. Уйдя днем от грабителей на сенник, она озадаченно теперь оттуда по-сматривала на новых нахлынувших посети-телей и, очевидно, не решалась в обычный час пробраться в разоренный птичник на свой намест, как бы раздумывая: а что как поймают здесь и зарежут?

– Reverendissime, ессе pulla! (Почтенней-ший, вот курица!) – сказал Наполеон, обраца-ясь к священнику.

Ксендз и прочие бросились к окну. Они действительно увидели курицу и выбежали во двор. Уланы справа и слева оцепили ко-нюшню и полезли на сенник. Курица с кри-ком вылетела оттуда через их головы в сад. Офицеры, мамелюк Рустан и Мутон пусти-лись ее догонять. Им помогал, командуя и расставляя полы шубы, даже важный и тол-стый Дюрок. Наполеон с улыбкой следил из окна за этою охотой. Курица была поймана и торжественно внесена в дом.

– Si item...[59] Если ты такой же умелый по-вар, – сказал Наполеон ксендзу, – как священ-ник, сделай мне хорошую похлебку.

– С великим удовольствием, государь!

(Magna cum voluptate, Caesar!) – нерешительно ответил ксендз. – Боюсь только, может не удался.

Подросток – племянник священника растопил в кухне печь, Рустан изыбшими руками ощипал и выпотрошил зарезанную хохлатку.

– Но, ваше величество, – заметил, взглянув на свою луковицу, Рапп, – мы опоздаем; какую тревогу забьют в замке того помещика, где ожидают вас, и в Ошмянах!

– А вот погоди, уже пахнет оттуда! – ответил Наполеон, обращая нос к кухне. – Успеем, еще светло... Расставлена ли цепь?

– Расставлена...

Похлебку приготовили. К дивану, на котором сидел Наполеон, придвинули стол. Ввиду того, что вся посуда у ксендза была ограблена, кушанье принесли в простом глиняном горшке; у солдат достали походную деревянную ложку.

– Дивно, прелесть! (Optime, superrime!) – твердил Наполеон, жадно глотая и смакуя жирный, душистый навар.

Мамелюк прислуживал. Он вынул куриное мясо, разрезал его на части своим складным

ножом и подал на опрокинутой крышке горшка часть грудинки с крылом. Наполеон потянул к себе всю курицу, кончил ее и, весь в поту от вкусной еды, оглянулся на руки Рустана, державшего походную флягу с остатком бордо.

– Да это, друзья мои, не бивачная закуска, а целый пир! – восторженно сказал Наполеон, допив в несколько приемов флягу. – Я так не ел и в Тюильри.

– Пора, ваше величество, осмелюсь сказать, – произнес Коленкур, – смеркается, мы здесь целый час.

Наполеон улыбнулся счастливою, блаженною улыбкой, протянул ноги на подставленный ему стул, безнадежно махнул рукой и, как сидел на диване, оперся головой о стену, закрыл глаза и в теплой, уютной, полуосвященной комнате почти мгновенно заснул. Лица свиты вытянулись. Коленкур делал нетерпеливые знаки Раппу, Рапп – Дюроку, но все раболепно-почтительно замерли и, не смея пикнуть, молча ожидали пробуждения усталого Цезаря.

В тот же день, перед вечером, верстах в пяти от большой Виленской дороги, в густом лесу, подходившем к городку Ошмянам, показался отряд всадников. То была партия Фигнера. Усиленно проскакав сплошными труппами и болотами, она стала биваком в лесной чаще и, не разводя огней, решила до ночи собрать сведения, кто и в каком количестве занимает Ошмяны.

В городе, в крестьянском зипунишке и войлочной капелюхе, на дровнях лесника прежде всех побывал сам Фигнер. Он, к изумлению, узнал, что здесь стоит пришедший накануне из Вильны отряд французской кавалерии. Ломая голову, зачем сюда пришли французы, он поспешил обратно к биваку, где, посоветовавшись с офицерами, разделил свою партию надвое и одну ее часть послал, также стороной и лесом, далее, к селению Медянке, а другой велел остаться при себе на месте. В Ошмяны же, для разведки, как велик французский отряд, он разрешил послать собственного ординарца Крама и стоявшего долгое время в Литве, а потому знающего местный язык старого казацкого урядника Мосеи-

ча.

Путники уже в сумерки, вслед за каким-то обозом, на тех же дровнях въехали в город. Улицы были почти пусты, лавки и кабаки закрыты. Изредка только встречались прохожие и проезжие. Окна светились лишь в немногих домах.

У крайнего, с кретушами и длинными сараями, постоянного двора, при въезде в город, оказался большой конный французский пикет. Солдаты, как бы отдыхая, полулежали у забора, держа под уздцы наготове лошадей. Они разговаривали и, очевидно, чего-то ожидали. Завидев их еще издали и плетясь пешком у санок, одетый дровосеком урядник Моσειч шепнул ординарцу, лежавшему в санях на куче дров:

– Ваше благородие, видите, сколько их? не вернуться ли?

– Ступай, – ответил также шепотом ординарец, – авось пропустят... зайду на постоянный двор, еще кое-что узнаем.

– Да мне не велено вас бросать.

– Ну, как знаешь, заезжай и сам; только не разом, попозже.

Ординарец, миновав стражу, встал и направился на постоянный двор к смежной, с чистыми светлицами рабочей избе. Урядник для отвода глаз направился с дровами окольными улицами на базарную площадь, а оттуда к мосту и, вывалив там дрова, также потом завернул с санями в ворота постоянного двора. Не распрягая лошади, он поставил ее к яслям, под навес, взял у дворника сена и овса, высыпал овес в торбу, а сам прилег в сани, прислушиваясь к возне и говору на замолкавшем дворе. Окончательно стемнело.

XLII

Одетый мелким хуторянином, в бешмете на заячьем меху и в черной барашковой литовской шапке, ординарец Фигнера был – Аврора Крамалина.

Сперва скитание в оставленной французами Москве, потом почти четырехнедельное пребывание в партизанском отряде сильно изменили Аврору. С коротко остриженными волосами и обветренным лицом, в казацком чекмене или в артиллерийском шпенцере, с пистолетом за поясом и в высоких сапогах, она походила на молоденького, только что

выпущенного в армию кадета. Фигнер, щадя и оберегая вверенную ему Сеславиным Аврору, тщательно скрывал ее известные ему происхождение и пол и, ссылаясь на молодость и слабые силы принятого им юнкера, почти не отпускал ее от себя. Офицеры сперва звали новобранца – Крамалин, а потом, со слов казачков, просто – Крам. Иные из них, в начале знакомства, стали было трунить над новым товарищем, говоря о нем: «Какой это воин? красная девочка!» Но Фигнер, намекнув на высокое родство и связи новобранца, так осадил насмешников, что все их остроты прекратились, и на юнкера никто уже не обращал особого внимания.

Состоя в ординарцах у Фигнера, Аврора почти не сходила с коня. Все удивлялись ее неутомимому усердию к службе. Голодная, иззябшая, являясь с разведками и почти не отдохнув, она в постоянном, непонятном ей самой лихорадочном возбуждении всегда была готова скакать с новым поручением. Одно ее смущало: холодная, почти зверская жестокость ее командира с попавшими в его руки пленными. Тихий с виду и, казалось, добрый,

Фигнер на ее глазах, любезно-мягко шутя и даже угощая голодных, достававшихся ему в добычу пленных, внимательно расспрашивал их о том, что ему было нужно, пересыпая шутками, записывал их показания и затем беспощадно их расстреливал. Однажды, Аврора в особенности не могла этого забыть, он собственноручно после такого допроса пристрелил из пистолета одного за другим пятерых моливших его о пощаде пленных.

– Зачем такая жестокость? – решила тогда, не стерпев, спросить своего командира Аврора.

– Слушайте, Крам, – ответил он, ероша космы своих волос, – зачем же я буду их оставлять? ни богу свечка, ни черту кочерга! все равно перемерзли бы... не таскать же за собой...

Авроре у ошмянского постоялого двора при виде жалобно жавшихся друг к другу с обернутыми тряпьем лицами и ногами итальянских солдат вспомнилась другая сцена. За два дня перед тем Фигнер, с частью своей партии, также отлучился для особой разведки к местечку Сморгони. Возвратясь к осталь-

ным, он рассказал, что и как им сделано.

– Представь, – обратился он к гусарскому ротмистру, бывшему в его отряде, – только что мы выглянули из-за кустов, видим, у мельницы французская подвода с больными и ранеными, – очевидно, обломалась, отстала от своего обоза, и при ней такой солидный и важный, в густых эполетах, французский штаб-офицер... Мы вторые сутки брели лесом, без дорог, измучились, проголодались и вдруг – что же увидели? собачьи дети преспокойно развели костер и варят рисовую кашу. Ну, я их, разумеется, и потревожил; смял с налета, всех перевязал и начал укорять; такие вы, сякие, говорю, пришли к нам и еще хвалитесь просвещением, такие, мол, у вас писатели – Бомарше, Вольтер... а сами что наделали у нас? Их командир, в эполетах, вмешался и так заносчиво и гордо стал возражать. Ну, я не вытерпел и был принужден, разложив на снегу попонку, предварительно предать его телесному наказанию.

– Предварительно? – спросил ротмистр. – А после? что ты с ними сделал и куда их сбывл?

Фигнер на это молча сделал рукой такой знак, что Аврора вздрогнула и тогда же решила, при первом удобном случае, опять проситься обратно к Сеслаvinу. Как она ни была возбуждена и вследствие того постоянно точно приподнята над всем, что видела и слышала, она не могла вынести жестоких выходок Фигнера.

Более же всего Авроре остался памятен один случай в окрестностях Рославля. Фигнеру от начальства было приказано, ввиду начавшейся тогда оттепели, собрать и сжечь валавшиеся у этого города трупы лошадей и убитых и замерзших французов. Он, дав отдых своей команде, поручил это дело находившимся в его отряде калмыкам и киргизам. Те стащили трупы в кучи, переложили их соломой и стали поджигать. Ряд страшных костров задымился и запылал по сторонам дороги. В это время из деревушки, близ Рославля, ехала в Смоленск проведать о своем томившемся там в плену муже помещица Микешина. Ее возок поравнялся с одною из приготовленных куч. Калмыки уже поджигали солому. Путница видела, как огонь быстро по-

бежал кверху по соломе. Вдруг послышался голос кучера: «Матушка, Анна Дмитриевна! гляньте... жгут живых людей!» Микешина выглянула из возка и увидела, что солома наверху кучи приподнялась и сквозь нее сперва просунулась, судорожно двигаясь, живая рука, потом обезумевшее от ужаса живое лицо. Подозвав калмыков, поджигавших кучи, Микешина со слезами стала молить их спасти несчастного француза и за червонец купила его у них. Они вытащили несчастного из кучи и положили к ней в ноги. Возок поехал обратно, в деревушку Микешиных Платоново. Фигнер узнал о сердоболии калмыков. Он подозревал своего ординарца.

– Скачите, Крам, за возком, – сказал он Авроре, – остановите его и предложите этой почтенной госпоже возвратить спасенного ею мертвеца.

– Но, господин штаб-ротмистр, – ответила Аврора, – этот мертвый ожил.

– Не рассуждайте, юнкер! – строго объявил Фигнер. – Великодушие хорошо, но не здесь; я вам приказываю.

Аврора видела, каким блеском сверкнули

серые глаза Фигнера, и более не возражала. «Я его брошу, брошу этого жестокосердого», – думала она, догоняя возок. Настигнув его, она окликнула кучера. Возок остановился.

– Сударыня, – сказала Аврора, нагнувшись к окну возка, – начальник здешних партизанов Фигнер просит вас возвратить взятого вами пленного.

Из-под полости, со дна возка приподнялась страшно исхудалая, с отмороженным лицом, жалкая фигура. Мертвенно-тусклые, впалые глаза с мольбой устремились на Аврору.

– О господин, господин... во имя бога, пощадите! – прохрипел француз. – Мне не жить... но не мучьте, дайте мне умереть спокойно, дайте молиться за русских, моих спасителей.

Эти глаза и этот голос поразили Аврору. Она едва усидела на коне. Пленный не узнал ее. Она его узнала: то был ее недавний поклонник, взятый соотечественниками в плен, эмигрант Жерамб. Аврора молча повернула коня, хлестнула его и поскакала обратно к биваку. «Ну, что же? где выкупленный мертвец?» – спросил ее, улыбаясь, Фигнер. «Он вто-

рично умер», – ответила, не глядя на него, Аврора.

Об этом Аврора вспомнила, пробираясь под лай цепного пса к рабочей избе постоянного двора. Она остановилась под сараем, в глубине двора. Здесь, впотьмах, она услышала разговор двух французских офицеров кавалерийского пикета, наблюдавших за своими солдатами, которые среди двора поили у колодца лошадей.

– Ну, страна, отверженная богом, – сказал один из них, – не верилось прежде; Россия – это нечеловеческий холод, бури и всякое горе... И несчастные зовут еще это отечеством!.. (Et les malheureux appellent cela une patrie!)

– Терпение, терпение! – ответил другой, с итальянским акцентом.

К ним подошел третий французский офицер. Солдаты в это время повели лошадей за ворота. Свет фонаря от крыльца избы осветил лицо подошедшего.

– Это вы, Лапи? – спросил один из офицеров.

– Да, это я, – ответил подошедший.

То был статный, смуглый и рослый уроже-

нец Марселя, майор Лапи. Он, как о нем впоследствии говорили, стоял во главе недовольных сто тринадцатого полка и давно тайно предлагал расправиться с обманувшим их вождем французов.

– Что вы скажете? Ведь он действительно бросил армию и скачет... припоздал, по пути, в замке здешнего магната; ему тепло и сыто, а нам...

– Я скажу, что теперь настало время!.. Мы бросимся, переколем прикрытие...

Аврора далее не слышала. Сторожевой пес, рвавшийся с цепи на Мосеича и других двух путников, которые в это время въехали во двор, заглушил голос майора. Аврора, сказав несколько слов уряднику, пробралась в черную избу. Полуосвещенные ночником нары, лавки и печь были наполнены спящими рабочими и путниками. Сняв шапку и в недоумении озираясь по избе, Аврора думала: «От кого доведаться и кого расспросить? неужели ждут Наполеона? Боже! что я дала бы за час сна в этом тихом теплом углу!»

– Обогреться, па́ночку, соснуть? – отозвался выглянувший с печи бородатый, лет пяти-

десяти, но еще крепкий белорус-мужик.

– Да, – ответила Аврора, – мне бы до зари, пока рассветет.

– С фольварка?

– Да...

– Можя, за рыбкой альбо мучицы?

– За рыбой...

– Ложись тута... тесно, а место есть! – сказал, отодвигаясь от стены, мужик.

Он с печи протянул Авроре мозолистую, жесткую руку. Она влезла на нары, оттуда на верхнюю лежанку и протянулась рядом с мужиком, от зипуна которого приятно пахло льняною куделью и сенною трухой.

– Мы мельники, а тоже и куделью торгуем, – сказал, зевая, мужик.

Примостив голову на свою барашковую шапку и прислушиваясь, все ли остальные спят, Аврора молчала; смолк и, как ей показалось, тут же заснул и мужик. В избе настала полная тишина. Только внизу, под лавками, где-то звенел сверчок да тараканы, тихо шурша, ползали вверх и вниз по стенам и печке. Долго так лежала Аврора, поджидая условного зова Мосеича, чтобы до начала зари вы-

браться из города. Она забылась и также задремала. Очнувшись от нервного сотрясения, она долго не могла понять, что с нею и где она. Понемногу она разглядела на лавке, у стола, худого и бледного итальянского солдата, которому другой солдат перевязывал посиневшую, отмороженную ногу. Они тихо разговаривали. Раненый, слушая товарища, злобно повторял: «Diavolo... vieni»[60]. В дверь вошел рослый, бородатый рабочий. Он растолкал спавших на нарах и на печи других рабочих. Все встали, крестясь и поглядывая на солдат, обулись и вышли. Итальянцы также оставили избу. Из сеней пахло свежим холодом. За окном заскрипел ночевавший во дворе с какой-то кладью обоз.

– Усё им, поганцам, по наряду вязуць! – тихо проговорил, точно про себя, лежавший возле Авроры мужик.

– Откуда везут?

– З Вильны.

– Куда?

– На сучречь их войску. Кажуть, – продолжал, оглядываясь, мужик, – ихнего Бонапарта доконали, и он чуть пятки унес, ув свои зем-

ли удрав.

– Не убежал еще, – произнесла Аврора, – его следят.

– Убязжить! яны, ироды, усьи струсили: як огня, боятся казаков, а особь Сеславина, да есть еще такой Фигнер. Принес бы их господь!

– А ты, дедушка, за русских?

– Мы, паёчку, исстари русские, православные тут; мельники, куделью торгуем.

Мужик опять замолчал. Еще какие-то мужики и баба встали, крестясь, из угла и, подбрав на спину котомки, вышли. В избе остались только Аврора, спавшее на печи чье-то дитя и мельник-мужик. Прошло более часа.

Аврора не спала. Рой мыслей, одна тяжелее другой, преследовал и томил ее. Она перебирала в уме свой первый, неудачный шаг в партизанском отряде Фигнера, когда она поступила к нему в Астафьеве и, в крестьянской одежде, проникла в Москву. Фигнер был полон надеждою – пробраться в Кремль и убить Наполеона. Она надеялась получить аудиенцию у Даву и, если Перовский еще жив, вымолить у грозного маршала помилование ему, а себе дозволение – разделить с ним бедствия

плена. Авроре живо припомнилась ночь, когда она и Фигнер, с телегой, как бы для продажи нагруженной мукой, пробрались через Крымский брод и Орлов луг в Москву и до утра скрывались в ее развалинах. С рассветом их поразила мертвая пустыньность сгоревших улиц. Они с телегой направились в провиантское депо, к Кремлю. На Каменном мосту, как она помнила, их оглушил неожиданный громовой взрыв; за ним раздались другой и третий. Громадные столбы дыма и всяких осколков поднялись над кремлевскими стенами, осыпав мост пылью и песком. По набережной, выплевывая изо рта мусор, в ужасе бежали немногие из обитателей уцелевших окрестных домов. От них странники узнали, что Наполеон с главными французскими силами в то утро оставил Москву, уводя с собою громадный обоз и пленных и приказав оставшемуся отряду взорвать Кремль.

XLIII

Аврора посетила в погорелой Бронной пелище бабки, была и на Девичьем поле. Монахини Новодевичьего монастыря показали ей опустелую квартиру Даву и близ огоро-

дов – у берега Москвы-реки – место его страшных казней. Здесь-то, в слезах и отчаянии, Аврора поклялась до последней капли крови преследовать извергов, отнявших и убивших ее жениха. Она было оставила Фигнера и, приютившись у знакомой, пощаженной французами старушки, кастелянши Воспитательного дома, около двух недель оставалась в Москве, разыскивая Перовского между русскими и французскими больными и пленными. Не найдя его, она решила, что он погиб, опять пробралась в отряд Фигнера, рыскавшего в то время у путей отступления французов к Смоленску, и уже не покидала его.

«Но, может быть, он жив? – думалось иногда Авроре о Перовском. – Что, если в последнюю минуту его пощадили и теперь, измученного, по этой стуже, голодного и без теплой одежды, ведут, как тысячи других пленных?» Аврора на походе с трепетом прислушивалась к известиям из других отрядов и, едва до нее доносился слух об отбитых у неприятеля русских пленных, спешила искать среди них вестей о Перовском. Никто из тех, кого она спрашивала, не слышал о нем и

не видел его ни в Москве, ни на пути.

Исполняя поручения неутомимого и почти не спавшего Фигнера, Аврора часто не понимала, зачем именно она здесь, среди этих лишений и в этой обстановке, если ее жениха нет более на свете? Для чего, бросив теплый родной кров и любящих ее бабуку и сестру и забыв свой пол и свое, не особенно сильное, здоровье, она сегодня весь день не сходит с Зорьки, завтра мерзнет в ночной засаде, среди болот или в лесной глуши? На походе, у переправ через реки и ручьи, в дождь и холод, у костра, и в бессонные ночи, где-нибудь в овине или в полуобгорелой, раскрытой избе, ее преследовала одна заветная мечта – отплаты за любимого человека... В минуты такого раздумья, тайком от других Аврора вынимала с груди крошечный медальон с акварельным, на слоновой кости, портретом Перовского и, покрывая его поцелуями, долго вглядывалась в него. «Милый, милый, где ты? – шептала она. – Видишь ли ты свою, любящую тебя Аврору?» В эти мгновения ее облегченными думам становилось понятно и ясно, зачем она здесь, в лесу, или на распутье заметенных

снегом дорог Литвы, а не у бабки в Ярцеве или в Паншине и зачем на ней грубый казацкий чекмень или бараний полушубок, а не шелковое, убранное кружевами и лентами платье.

Картины недавнего прошлого счастья дразнили и мучили Аврору. Мысленно видя их и наслаждаясь ими, она не могла понять, что же именно ей, наконец, нужно и чего ей недостает? Мучительным сравнениям и сопоставлениям не было конца. «Как мне ни тяжело, – рассуждала она, – но все же у меня есть и защищающая меня от стужи одежда, и сносная пища, и свобода... А он, он, если и вправду жив, ежечасно мучится... Боже! каждый миг ждать гибели от разбитого, озлобленного, бегущего врага!..»

Аврора дремала на печи. Вдруг ей показалось, что ее зовут. Она приподняла голову, стала слушать.

– Это я, – раздался у ее изголовья тихий голос мужика, лежавшего на печи.

В избе несколько как бы посветлело. У плеча Авроры яснее обрисовалась широкая, окладистая борода белоруса, его худое, благообраз-

ное лицо и добрые глаза, ласково смотревшие на нее. Посторонних, кроме ребенка, спавшего на печи, не было в избе.

– Па́ночку, а па́ночку, – обратился к Авроре, опершись на локоть, мужик. – Что я тебе скажу?

Аврора, присев, приготовилась его слушать.

– Ответь ты мне, – спросил мужик, – грешно убивать?

– Кого?

– Человека... ен ведь хоть и враг, тоже чувствует, с душой.

– Во время войны, в бою, не грешно, – ответила Аврора, вспоминая церковную службу в Чеплыгине и воззвание святого синода, – надо защищать родину, ее веру и честь.

– Убивают же и не в бою, – со вздохом проговорил мужик.

– Как? – спросила Аврора.

– А вот как. Мы исстари мельники, – произнес мужик, – перешли сюда из Себежа, – земля там скудна. Жили здесь тихо; только усё отняли эти ироды – хлебушко, усякую живность, свою и чужую муку: оставили, в чем

были. Одной кудели, оголтелые, не тронули, им на что? не слопаешь! И как прожили мы это с Успенья, не сказать... Отпустили они нас маленько, а тут с Кузьмы и Демьяма опять и пошли; видимо-невидимо, это як бросили Москву. Есть у нас тоже мельник и мне сват, Пётра. Добыл он детям у соседа-жидка дойную козу: пусть, мол, хоть молочка попьют: и поехал это на днях сюда в город, к куму, за мучицей. Возвращается, полна хата гостей... Французы сидят вокруг стола; в печи огонь, а на столе горшки з усяким варевом. Жена, сама не своя, мечется, служит им. Ну, думает Пётра, порешили козу. А они завидели его, смеются и его же давай угощать; сами, примечает, пьянешеньки. Что же тут делать? а у него никакого оружия.

Аврора при этом вспомнила о своем пистолете и ощупала его на поясе, под бешметом.

– Посидел он с ними, – продолжал мужик, – и вызвал хозяйку в сени. Спрашивает: «Коза?» Она так и залилась слезами. «А дети?» – спрашивает и сам плачет. Она указала на кудель в сенях и говорит: «Я тута их спрятала». Вытащил он ребят из-под кудели, посадил их и же-

ну в санки, а сам припер поленом дверь, говорит хозяйке: «Погоняй к куму», – да тут же запалил кудель и стал с дубиной у окна. Полохнули сени, повалил дым. Французы загалдели, ломаются в дверь, да не одолеют и полезли в окна. Какой просунет голову, Пётра его и долбанет... И недолго возились... Это вдруг все затрещало, и стал, о господи, один как есть огненный столб... Это скажи, грешно? накажут Пётру на том свете?

– Бог его, дедушка, видно, простит, – ответила Аврора.

Опять настало молчание. Сверчок над лавкой также затих. Не было слышно ни собачьего лая на дворе, ни шуршанья и возни тараканов. Аврора прилегла и, закрыв глаза, думала, скоро ли позовет Мосеич.

– Паёчку, а паёчку, – вдруг опять услышался голос, – что я тебе скажу?

– Говори, дедушка.

– За насильников бог, може, простит, а как ён тебя не трогал?

Аврора слушала.

– Было, ох, и со мною, – продолжал мужик, – встрел я ноне, идучи сюда, глаз на глаз,

одного ихнего окаянника-солдата; шел он по-
лем, пеш, вижу, отстал от своих, ну и хромал;
мы пошли с ним рядом. Он все что-то лопоче
по-своему и показывав на рот, голодный, мол;
а при боку сабля и в руках мушкет. Думаю,
сколько ты, скурвин сын, загубил душ!

Мужик замолчал.

– Сели мы, – продолжал он, – я ему дал су-
харь, смотрю на него, а он ест. И надумал я, –
вырвал у него, будто в шутку, мушкет; вижу,
помертвел, а сам смеется... хочет смехом раз-
жалобить... Ну, думаю, бог тебе судья! показал
ему этак-то рукою в поле, будто кто идет; он
обернулся, а я ему тут, о господи, в спину и
стрельнул...

Мужик смолк. Молчала и Аврора.

– Грешно это? – спросил мужик.

Аврора не отвечала. Ей вспомнилось пепе-
лице Москвы, Девичье поле и место казней
Даву. «И что ему нужно от меня? – думала
она. – Не все ли равно? Теперь все погибло и
все кончено... пусть же гибнут и они». В избе
стало еще светлее; за окнами во дворе слы-
шался говор и двигались люди.

– А я, панок, потому в Ошмяны, – начал бы-

ло, не слыша Авроры, мужик, – сюда, сказывают, идет генерал Платов с казаками... и я...

Он не договорил. Дверь из сеней отворилась. В избу вошел Мосеич. Осмотревшись и разглядев Аврору, а возле нее мужика, он остановился.

– Не бойся, это наш, – сказала Аврора, спустясь с печи и идя за Мосеичем в сени. – Что нового?

– Едем: они ждут своего Бонапарта.

– Где?

– Здесь.

– Ты почему знаешь?

– Все толкуют «анперёр!» и указывают на дорогу...

– Вывози санки; еще успеем доскакать к нашим.

Мосеич пошел за лошадью. Аврора вышла за ворота. Бледное утро едва начиналось; улица у постоянного двора была уже, однако, полна народа. Все в некотором смущении ждали Наполеона, опоздавшего, по расписанию, более чем на три часа.

Бургомистр и другие, назначенные от французов, начальники города стояли впереди и, не спуская глаз с дороги на городском выгоне, сдержанно разговаривали. Народ, евреи и уличные мальчишки напирали сзади или, взобравшись на заборы и крыши соседних дворов, глядели оттуда на выстроившийся конный отряд.

«Да, теперь уже, несомненно, ждут самого Наполеона, – подумала Аврора, – гонят его наши!»

Ей вспомнился этот Наполеон, на картине, убивающий оленя.

Она, пробравшись ближе к конвою, узнала по голосу сидевшего впереди других, на серой лошади, итальянского майора, которого вечером близ нее называли Лапи и который, как она убедилась из его слов, был готов посягнуть на жизнь Наполеона. Статный и смуглый, с густыми черными бакенами, майор мрачно с седла смотрел в ту сторону, куда были направлены взоры остальных. Его глаза, как ей показалось, горели ненавистью и злобой; нижняя часть лица, стянутого перевязью каски, судорожно вздрагивала.

– Так это – герцог Виченцкий, а не император? – спросил его стоявший с ним рядом другой французский офицер.

– Терпение! может быть, и он, – сухо ответил Лапи.

«О, если бы это был Наполеон! – подумала Аврора, отыскивая глазами Мосеича. – Не струсь этот офицер, бросься он в это мгновение на ожидаемого злодея, и общим бедствиям конец, мир был бы спасен...»

Толпа, стоявшая у постоянного двора, мешала Мосеичу выехать из ворот. Он, показывая это знаками Авроре, выжидал, пока народ отодвинется. Аврора протиснулась еще далее и впереди кавалеристов увидела заготовленные для ожидаемых путников две четверни лошадей с разряженными в перья и в ленты почтарями.

– Я узнал, что не император, а Коленкур, он едет курьером в Париж, – сказал кто-то из конвоя вблизи Авроры, – стоило из-за того мерзнуть!

Вдруг толпа заволновалась и двинулась вперед. Теснимая напиравшими от забора, Аврора оглянулась на Мосеича. Того уже не

было у ворот. С мыслью: «Где же он? надо ехать, дать знать нашим!» – Аврора взглянула вдоль улицы. В красноватом отблеске зари, на белой снеговой поляне выгона показались две черные двигавшиеся точки. Ближе и ближе. Впереди скакал верховой. Стал виден ныривший по ухабам круглый, со стеклами возок, за ним – крытые сани. Форейторы, прилегая к шеям измучившихся, взмыленных лошадей, махали бичами. Послышалась труба скакавшего впереди вестового.

Тысячи мыслей с невероятной быстротою пролетали в голове Авроры. Ей припомнились слова старосты Клима о французах, засыпанных в колодце, признания мужика-белоруса о подожженной избе и убитом голодном французском солдате. Авроре казалось, что она сама в эти мгновения вынуждена и должна что-то сделать, немедленно и бесповоротно предпринять, а что именно – она не могла дать себе отчета. «Насильник, насильник, – шептала она, – надругался над всем, что дорого и свято нам... ответишь!» Чувствуя непонятную, ужасающую торжественность минуты, она видела, как в толпе народа, еще

недавно встречавшего Наполеона восторженными криками, все смотрели на него молча, с испуганно-смущенными лицами. При этом она с удивлением заметила, что и статный, за мгновение мрачный и грозный, майор вдруг как-то преобразился и, вытянувшись с почтительною преданностью на лице, салютовал шпагою подъезжавшему возку. «Струсил!» – подумала с горькою усмешкой Аврора. Она разглядела в толпе благообразное и печально-недоумевающее лицо мужика, говорившего ей за несколько минут на печи: – «Па́ночку, а па́ночку, а что я тебе скажу?»

Посеребренный инеем, с потертым волчьим мехом на окнах возок в этот миг подкатил к постоялому двору и остановился у заготовленной смены лошадей. «Герцог Виченцкий или сам император?» – с дрожью вглядываясь в возок, подумала Аврора. Прямо перед нею в окне возка обрисовалось оливковое, с покрасневшим носом и гневными красивыми глазами лицо Наполеона. Аврора тотчас узнала его. «Так вот он, плебей-цезарь, коронованный солдат!» – сказала она себе, видя, как важный и толстый, с шарфом через плечо

и с совершенно растерянными глазами бургомистр, подойдя к карете, стал с низкими поклонами ломаным французским языком говорить что-то просительное и жалобное, а ближайšie к нему горожане даже опустились рядом с ним на колени. Почтари иззябшими, дрожащими руками наскоро отпрягли прежних и впрягли новых лошадей. Новый конвой, с майором Лапи во главе, молодецки строился впереди и сзади экипажа.

– Eh bien, pourquoi ne partons nous pas? (Что же мы не едем?) – громко спросил Наполеон, с досадой высунувшись из колымажки и не обращая внимания ни на бургомистра, ни на его речь. Толпа, разглядев ближе императора, стояла в том же мрачном безмолвии. Офицеры метались, почтари торопливо садились на козлы и на лошадей.

Авроре мгновенно вспомнилось ее детство, деревня дяди, бегущая собака и крики: «Бешеная! спасите!» «Да, вот что мне нужно! вот где выход! – с непонятною для себя и радостною решимостью вдруг сказала себе Аврора. – И неужели не казнят злодея? Базиль! храни тебя господь... а я...»

Она, перекрестясь, опустила руку под бешмет, рванулась из-за тех, кто теснился к экипажам, выхватила из-под полы пистолет и взвела курок. Бургомистр в это мгновение крикнул: «Виват!» Толпа, кинувшись за отъезжавшим возком, также закричала. Наполеон небрежно-рассеянно посмотрел к стороне толпы. Его по-прежнему недовольные глаза на мгновение встретились с глазами Авроры. «А! видишь меня? знай же...» – подумала она и выстрелила.

Клуб дыма поднялся перед нею и мешал ей видеть, удачен ли был ее выстрел. Она судорожно бросилась вперед, обгоняя толпу. Ей мучительно хотелось узнать, чем кончилось дело. Но отъезжавший конвой, по команде майора, полуоборотясь, направил дула карабинов в ту сторону, где, заглушенный криками толпы, слышался пистолетный выстрел и где бежал в бешмете невысокий и худенький шляхтич. Раздался громкий залп других выстрелов. В толпе повалилось несколько человек, в том числе выстреливший в императора шляхтич. Он, точно споткнувшись о что-нибудь и распластав руки, упал ничком и не

двигался.

– Фанатик? – спросил, зевнув, Наполеон, усаживаясь глубже в подушки возка.

– Какой-нибудь сумасшедший! – ответил Коленкур, поднимая окно возка.

Толпа, увидев трупы, в безумном страхе бросилась по улицам. Одни запирались в своих домах, другие спешили уйти из города. Урядник Мосеич, оттертый толпой, успел в общем переполохе доехать переулком до выгона, подождал юнкера, подумал, что тот, по неосторожности, попал в плен, и, прячась за мельницами и огородами, поскакал к лесу.

Оставшийся за сменой итальянский конвой оцепил постоянный двор и улицу. Из толпы было схвачено несколько человек; арестовали и хозяина постоянного двора. Им стали делать допрос. Тела убитых внесли под навес сарая. Между ними был и мельник-литвин. Полуоборотясь к мертвой Авроре, он лежал с открытыми глазами и, как недавно, будто шептал ей:

– Паёчку, а паёчку!.. что я тебе скажу?

Мосеич достиг леса, куда незадолго перед тем явился с своим отрядом и Сеславин. Оба

партизана бросились с двух сторон на Ошмянны. Итальянский конвой был захвачен. Фигнер узнал о смерти Крама. Ругаясь, кусая себе руки и проклиная неудачу, он решил тут же перестрелять арестованных. Сеславин воспротивился, говоря, что выгоднее всех взять в плен и от них доведаться о дальнейших намерениях неприятеля.

– Ну и возись с ними, пока на тебя же не наскочат другие, – сказал Фигнер. – Ох, уж эти неженки, идеологи!

– Да чем же идеологи? – спросил, вспыхнув, Сеславин. – Вам бы все крови.

– А вам сидеть бы только в кабинете да составлять сладкие и чувствительные законы, – кричал Фигнер, – а эти законы первый ловкий разбойник бросит после вас в печь!

Сеславин стал было снова возражать, но раздосадованный Фигнер, не слушая его, крикнул своей команде строиться, сел на коня и поскакал за город, впереиз по Виленской дороге.

Сеславин освободил корчмаря, разыскал помощника бургомистра и, пока его команда, развьючив лошадей, кормила их и наскоро

сама закусывала, распорядился похоронами убитых.

– Слышал? – спросил адъютант Сеславина, пожилой, с седыми усами, гусарский рот-мистр, выйдя из постоялого, где закусывали остальные офицеры.

– Что такое?

– Убитый-то ординарец Фигнера, ну, этот юнкер Крам, как его звали, ведь оказался женщиной!

– Что ты? – удивился адъютант.

– Ей-богу. Синтянину первому сказали, а он – Александру Никитичу.

Адъютант Сеславина, Квашнин, месяц тому назад, под Красным, поступивший в партизаны, обомлел при этих словах.

«Крам, Крамалина! Ясно как день! – сказал себе Квашнин. – И я не догадался ранее!»

Ему вспомнилось, как он, в вечер вступления французов в Москву, обещал Перовскому отыскать дом его невесты, Крамалиной, как он его нашел и получил от дворника записку этой девушки и, с целью отдать ее при первой встрече Перовскому, не расставался с нею. Пораженный услышанною вестью, он

без памяти бросился в избу, куда между тем, в ожидании погребения, перенесли убитых.

– Да-с, господа, женщина, и притом такая героиня! – произнес, стоя у тела Авроры, Сеславин. – Теперь она покойница, тайны нет. Ее жизнь, как говорят, роман... когда-нибудь он раскроется. А пока на ней найден вот этот, с портретом, медальон. Вероятно, изображение ее милого.

Офицеры стали рассматривать портрет.

– Боже! так и есть... это Василий Перовский! – вскрикнул, вглядываясь в портрет, Квашнин.

– Какой Перовский? – спросил Сеславин.

– Бывший, как и я вначале, адъютант Милорадовича; мы с ним от Бородина шли вплоть до Москвы... он на прощанье поведал мне о своей страсти.

– Так вы его знаете?

– Как не знать!

– Где же он?

– Попал, очевидно, как и я в то время, в плен, а жив ли и где именно – неизвестно.

– Ну, так как вы его знаете, – сказал Сеславин, – вот вам этот медальон, сохраните его.

Если Перовский жив и вы когда-нибудь увидите его, отдайте ему... А теперь, господа, на коней и в путь.

Партизанский отряд Сеславина двинулся также по Виленской дороге. Квашнин при отъезде отрезал у Авроры прядь волос и, отирая слезы, спрятал их с медальоном за лацкан мундира.

«Какое совпадение! Так вот где ей пришлось кончить жизнь! – мыслил он, миновав Ошмяны и снова с отрядом въезжая в придорожный лес. – Думал ли Перовский, думал ли я, что его невесте, этой московской милой барышне, танцевавшей прошлого весной на тамошних балах, любимице семьи, придется погибнуть в литовской тущобе?.. Никто ее здесь не знает, никто не пожалеет, и родная рука не бросит ей на безвестную могилу и горсти мерзлой земли».

Слезы катились из глаз Квашнина, и он не помнил, как сидел на коне и как двигался среди товарищей по бесконечному дремучему лесу, охватившему его со всех сторон. Всадники ехали молча. Косматые ели и сосны, усыпанные снегом, казались Квашнину мрачны-

ми факельщиками, а партизанский отряд, с каркающими и перелетающими над ним воронами, – без конца двигающуюся траурною процессией.

XLV

Наполеон проехал Вильну в Екатерининский день, 24 ноября, а русскую границу – 26 ноября, в день святого Георгия. Эту границу император французов проехал в том жидовско-шляхетском возке, в котором по нем был сделан неудачный выстрел в Ошмянах.

Подпрыгивая на ухабах в этом возке, Наполеон с досадой вспоминал торжественную прокламацию, изданную им несколько месяцев назад, при вступлении в неведомую для него в то время Россию.

«Мои народы, мои союзники, мои друзья! – вещал тогда миру новый могучий Цезарь. – Россия увлечена роком. Потомки Чингисхана зовут нас на бой – тем лучше; разве мы уже не воины Аустерлица? Вперед! покажем силу Франции, перейдем Неман, внесем оружие в пределы России; отбросим эту новую дикую орду в прежнее ее отечество, в Азию».

Теперь Наполеон, вспоминая эти выраже-

ния, только подергивал плечами и молча хмурился. Его мыслей не покидал образ сожженной Москвы и его вынужденный позорный выход из ее грозных развалин.

«Зато будет меня помнить этот дикий, надолго истребленный город!» – рассуждал Наполеон, убеждая себя, что он и никто другой сжег Москву.

Его путь у границы лежал по кочковатому, замерзшему болоту. На одном из толчков возок вдруг так подбросило, что император стукнулся шапкой о верх кузова и, если бы не ухватился за сидевшего рядом с ним Коленкура, его выбросило бы в распахнувшуюся дверку.

– От великого до смешного один шаг! – с горькою улыбкой сказал при этом Наполеон слова, повторенные им потом в Варшаве и ставшие с тех пор историческими. – Знаете, Коленкур, что мы такое теперь?

– Вы – тот же великий император, а я – ваш верный министр, – поспешил ответить ловкий придворный.

– Нет, мой друг, мы в эту минуту – жалкие, вытолкнутые за порог фортуной, проиграв-

шиеся до нового счастья авантюристы!

А в то время как, не поспевая за убегавшим Наполеоном и падая от голода и страшной стужи, шли остатки его еще недавно бодрых и грозных легионов, в русских отрядах, которые без устали преследовали их и добивали, все ликовало и радовалось.

В пограничных городах и местечках, куда, по пятам французов, вступали русские полки и батареи, шло непрерывное веселье и кутежи. Полковые хоры пели: «Гром победы раздавайся!» Жиды-факторы, еще на днях уверявшие французов, что все предметы продовольствия у них истощены, доставляли к услугам тех, кто теперь оказывался победителем, все что угодно. Точно из-под земли, в городских трактирах, кавярнях и даже в местечковых корчмах появлялись в изобилии не только всякие съестные припасы, но даже редкие и тонкие вина. Стали хлопать пробки клико; полился где-то добытый и родной «шипунец» – донское-цимлянское. Офицеры-стихотворцы, вспоминая петербургские пирушки в ресторации Тардива, слагали распеваемые потом во всех полках и ротах сатирические

куплеты на французов:

*Пускай Тардив
В компот из слив
Мадеру подливает,
А Бонапарт,
С колодой карт,
Один в пасьянс играет...*

Ободренные удачей солдаты не отставали в деле сочинительства от начальников. – «Все кузни исходил, не кован воротился!» – трунили пехотинцы над гибнущими французами. – «Ай, донцы-молодцы!» – гремели на походе пляшущие, с бубнами и терелками, солдатские хоры. У границы вся русская армия весело пела на морозе общую, где-то и кем-то сложенную песню:

*За горами, за долами
Бонапарте с плясунами
Вздумал равен стать...*

Сожженная в нашествие французов Москва стала понемногу оживать.

Первый удар колокола, после пятинедельного молчания, вслед за выходом французов из города, раздался на церкви Петра и Павла,

в Замоскворечье. Его сперва робкий, потом торжественно-громкий звон слышали другие уцелевшие, ближние и дальние, колокольни и стали ему вторить. Народ с радостным умилением бросился к церкви. Преосвященный Августин, войдя в очищенный от вражеского святотатства Архангельский собор, воскликнул: «Да воскреснет бог!» – и запел с причтом: «Христос воскрес!»

Молва об освобождении Москвы быстро облетела окрестности. В город хлынули всякого рода рабочие, плотники, каменщики, столяры, штукатуры и маляры; за ними явились мелкие, а потом и крупные торговцы. Толковали, что в первую неделю пожаров в Москве сгорело, по счету полиции, до восьми тысяч домов; всего же за пять недель сгорело около тридцати тысяч зданий и осталось в целости не более тысячи домов. Из подгородних деревень стали подвозить лес для построек, припрятанные съестные припасы и всякий, из Москвы же увезенный, товар. Хозяева сожженных, разрушенных и ограбленных домов занялись возобновлением и поправкой истребленных и попорченных зданий. Засту-

чал среди пустынных еще улиц топор, зазвенела пила. Цены на вновь подвезенные жизненные припасы сильно вздорожали.

– За этот-то хлебушко – и полтину? – шамкая, говорила продавцу столько времени голодавшая в каком-то подвале старушонка. – Да где же это видано? Христопродавцы вы, что ли?

– А тебя за язык нешто канатом тянут? – презрительно отвечал, постукивая на холоде ногой о ногу, кулак-продавец. – Хочь – бери, хочь – нет... не придушили французы, и за то, бабушка, богу благодарствуй!

Княгиня Шелешпанская с правнуком на зиму осталась в Паншине. Ксению с мужем она отпустила в Москву, поручив им осмотреть ее пепелище у Патриарших прудов и озаботиться возведением на нем нового дома. Снабженные деньгами из доходов княгини, Тропинины прибыли в Москву в конце декабря и с трудом добыли себе помещение из двух комнат у кого-то из знакомых в уцелевшем от пожара домишке на Плющихе. Илья Борисович вскоре нашел подрядчиков, заключил с ними условие и, хотя деньги сильно упали в

цене – рубль ходил за червертак, – занялся постройкой. Служба в сенате еще не начиналась. Съехавшиеся чиновники приводили в порядок дела, выброшенные французами из сенатских зданий и уцелевшие от костров. Стали снова выходить в свет восстановленные из-под пепла «Московские ведомости»; возвратились в Москву граф Растопчин и патриот-журналист Сергей Глинка, и снова появились среди москвичей разные жуиры, карточные игроки, аферисты, трактирные кутилы и покровители клубов и цыганок.

На письма Тропининых к знакомым, служившим в армии и в штабе Кутузова, благополучна ли и где находится Аврора, ответов не получалось, так как русские войска вскоре миновали границу и, вслед за французами, вступили в Германию. Государь, по слухам, выехал в Вильну, день в день через полгода после своего выезда из нее при занятии ее французами.

О Перовском долго не было никаких положительных сведений. Возвратившийся Растопчин утешил наконец Илью известием, что министр народного просвещения, граф Алек-

сей Кириллович Разумовский, каким-то путем, через Англию, вошел в переписку с Талейраном и надеялся вскоре получить точные справки о задержанном в плену адъютанте Милорадовича, Василии Перовском. Растопчин отрекался тогда, в виду свежего пепелища, от сожжения Москвы, затевая статью: «*Правда о Московском пожаре*», которую остряки называли потом «*Неправдою...*», и пр.

В начале весны 1813 года Тропинин получил от одного из смоленских знакомых письмо, в котором тот извещал его, что недавно был в Рославле и узнал, что в окрестностях этого города, у помещицы Микешиной, проживает спасенный ею от партизанского костра пленный, Шарль Богез, известный москвичам под фамилией эмигранта Жерамба. В благодарность своей спасительнице он, когда-то учившийся в Италии живописи, хотя и с отмороженными ногами и в чахотке, нарисовал масляными красками портрет ее мужа, бежавшего из плена в Смоленске незадолго до вторичного вступления туда Наполеона. По словам Жерамба, он видел Перовского в Москве, в день вступления туда французов,

но о дальнейшей его судьбе ничего не знал.

Тропинин в три месяца на обгорелом каменном фундаменте успел выстроить новый деревянный, поместительный дом и хлопотал о возведении к весне временных служб. Ездя ежедневно на постройку с Плющихи на Патриаршие пруды, он направлялся напрямик, снеговыми дорожками, через сожженные и еще не огороженные дворы Бронной и других смежных улиц, стараясь угадать и представить себе очертания недавно еще стоявших тут и бесследно исчезнувших зданий. Извозчичьи санки мчались теперь в сумерки по местам, где каких-нибудь полгода назад, в стоявших здесь уютных и красивых домах, в званые вечера весело гремела музыка, пары танцующих носились в вальсе и котильоне и где все жило беспечно и мирно. Теперь тут, на обнаженных, покрытых снежными сугробами пустырях раздавался у церквей и лавок лишь стук ночных сторожей да бегали стаями и выли голодные бродячие собаки.

Разоренное семисотлетнее гнездо мало-помалу, собирая своих разлетевшихся обитателей, опять ладилось, чистилось, прибиралось

и оживало к новой долголетней, беспечной, мирной жизни. И стали здесь опять щеголихи рядиться и выезжать; мужчины посещать обновленный клуб и цыганок; молодежь влюбляться и свататься; девицы выходить замуж. Лекаря, купцы, модистки и акушерки стали опять зарабатывать, как и прежде.

Наступил 1814 год.

Отторгнутый так долго от родины и близких, Базиль Перовский все еще находился в числе пленных, уведенных французами из России и Германии. Пленных и в первое время содержали очень строго. Когда же пронеслась весть о наступлении на Францию шедших за русскою армией с криками: «А Paris! а Paris!»[61] – союзников императора Александра Павловича, их подвергали всяческим лишениям и, в предупреждение сношений с иностранцами, постоянно переводили с места на место.

Было начало февраля. Отряд пленных, в котором находился Базиль, вышел под охраной местного гарнизона из Орлеана в Блуа и далее, в Тур. Пленных вели на запад от Парижа, к которому стремительно близились со-

юзники.

Отряд шел берегом Луары. Погода стояла теплая и тихая. Солнце светило приветливо. На южных береговых откосах пробивалась молодая трава. С разлившимися озер и заводей Луары взлетали стаи уток и куликов. Берега реки начинали пестреть первыми вешними цветами. Кудрявые, белые облачка весело бежали по празднично-синему небу.

Пленные подошли к городку Божанси. Здесь стало вдруг известно, что близ Орлеана, который они только что оставили и от которого отошли не более двух переходов, показались русские, что Орлеан в тот же день заняли казаки и что русских вскоре ждут и в Божанси. Перовский пришел в неописанное волнение. Пленных торопливо повели далее. По выходе из Божанси Базиль открыл свои мысли другому русскому пленному, добродушному и болезненному штаб-ротмистру Сомову, все тосковавшему о двухлетней почти разлуке с женой и детьми. После долгих переговоров он условился с ним, выждал, пока отряд на первом вечернем привале заснул, и оба они бежали обратно в Орлеан.

Беглецы по пути встретили подростка-пастуха и, уверив его, что они – отсталые из партии новобранцев, упростили его быть их проводником до города. Наполеоновских конскриптов все тогда жалели. «Отсталые или беглые? как им не помочь?» – подумал подросток и повел их виноградниками и лесами. Голодные, измученные беглецы к рассвету следующего дня снова приблизились к Орлеану и в утренних сумерках, с холма, радостно увидели городские фонари, догоравшие на каменном мосту через Луару.

– А далее видите? – указал им за город проводник. – То биваки русских! остерегайтесь!

Едва пленники двинулись, их заметил стоявший по сю сторону города французский пикет. Они бросились в реку, переплыли ее и скрылись в смежном лесу. Стража, для очищения совести, дала по ним в полумгле залп из ружей.

Император Александр Павлович достиг заветной цели. Он с своими союзниками, пруссаками и австрийцами, разбив у ворот Парижа последних защитников Наполеона, вступил в сдающуюся ему на капитуляцию столицу.

цу Франции. Непрошенный визит Наполеона в Москву был отплачен визитом Александра в Париж.

Русский император 19 марта 1814 года въехал в Париж через Пантенские ворота и Сен-Жерменское предместье верхом на светло-сером коне по имени Эклипс. Этот конь был ему подарен Коленкуром в бытность последнего послом в Петербурге. Александр, в противоположность Наполеону, нес с собою мир.

Французы восторженно сыпали белые розы и лилии под ноги русского царя, ехавшего по бульварам в сопровождении прусского короля и пышной, дотоле здесь не виданной свиты из тысячи офицеров и генералов разных чинов и народностей. Зрители махали платками и кричали:

– Vive Alexandre! vivent les Russes![62]

«Да неужели же это те самые дикари, потомки полчищ Чингисхана, о которых нам твердили такие ужасы? – удивленно спрашивали себя парижане и парижанки, разглядывая нарядные и молодцеватые русские полки, шедшие по бульварам к Елисейским полям. – Нет! Это не татары пустыни! это наши спаси-

тели! vivent les Russes! vive Alexandre! abas le tyran!»[63]

Весело зажили русские в Париже. Начальство и офицеры посещали театры, кофейни, клубы и танцевальные вечера. У дома Талейрана, где поместился император Александр, по целым дням стояли толпы народа, встречавшие и провожавшие русского царя радостными восклицаниями. У подъезда этого дома и на Елисейских полях, где расположилась биваком русская гвардия, по ночам раздавались русские и немецкие оклики: «Кто идет?» и «Wer da?»[64]. В немецком лагере, опорожня бочками плохое парижское пиво, восторженно кричали: «Vater Blucher, lebe!» («Да здравствует отец Блюхер!»)

Французы изумлялись великодушию своих победителей. В оперном театре готовили аллегорическую пьесу «Торжество Траяна». Русскому губернатору Парижа, генералу Сакену, на каждом шагу делали шумные овации. Сенат голосовал лишение престола Наполеона и его династии. Все русское входило в большую моду.

Стоял теплый, ясный вечер. В небольшом Парижском ресторане, в улице Сент-Оноре, после дружеского, с возлиянием, обеда засиделись вокруг стола несколько русских офицеров. Все были довольны хорошими винами, вкусным обедом и собственным отличным настроением духа. Говорили, не переставая, об испытанных треволнениях похода, о сражениях в Германии и Франции и о предстоявшем окончании войны. Собеседники угощали товарища, которому хотели этим оказать особенное внимание. Это был очень худой, курчавый и сильно загорелый средних лет полковник в казацком кафтане, с трубкою в руке, нагайкою через плечо и в гусарской фуражке.

Особого хмеля в присутствовавших не замечалось. Они были просто счастливы и веселы. Между ними более других говорил и, размахивая руками, то и дело смеялся черноволосый молодой офицер в адъютантской форме. Заговорили о женщинах и о любви. Черноволосый офицер стал излагать свое мнение и доказывал, что любовь – единственное истинное и прочное блаженство на земле.

– А знаете, Квашнин, – обратился к нему

человек с нагайкой, которого присутствовавшие угощали, – я вас давно слушаю... Вы так милы, но, извините, увлекаетесь. По-моему, на свете нет ничего прочно-существенного и положительного.

– Как так? – удивился раздумавшийся и взъерошенный от волнения и собственных речей Квашнин. – Я от души скажу – вы замечательный и храбрый офицер... кто теперь не знает знаменитого партизана Сеславина? Но вы уж очень мрачно смотрите на жизнь, а женщин, извините и меня, вы совсем, по-видимому, не знаете...

Сеславин улыбнулся.

– Ничуть, – сказал он, – все в мире – одни грезы... По искреннему моему убеждению, – и это подтверждают многие умные люди, – все на свете, как бы это яснее выразить? – есть, собственно... ничто.

«Гм! – подумал на это Квашнин. – Твоему другу Фигнеру не удалось убить Наполеона, а тебе взять этого Наполеона в плен живьем, вот ты и злобствуешь, хандришь».

– Позвольте, однако, а герой наших дней? – произнес он, подливая себе и товарищам ви-

на. – Я говорю о созданном могучею здешнею революцией величайшем, хотя теперь и несчастном, военном гении... И он тоже мечта? Этот человек был причиной Бородинской битвы, боя гигантов, а Бородино вызвало появление русских с Дона, Оки и Невы – где же? в столице мира, в Париже...

– Эх вы, юноша, юноша, – сказал Сеславин, – вы с похвалой упомянули о здешней революции. А знаете ли, что она такое?

Сказав это, Сеславин, как бы раздумав продолжать, молча стал набивать табаком свою пожелтелую, прокуренную пенковую трубку, которую он, в честь прославленного прусского генерала, назвал «Блюхером».

– Говорите, говорите! – воскликнули прочие собеседники, сдвигаясь ближе к Сеслави-ну.

– Ничего в жизни я так не презирал и ненавидел, как спекулянтов на счет человеческого блага, – произнес Сеславин, – а главные спекулянты пока на этот счет – французы... Не прыгайте и не машите руками, Квашнин: не стыжусь я этого мнения, как и того, что обо мне и о покойном Фигнере плели

столько небылиц.

– Ах, боже мой, что вы! – ответил Квашнин, – я ничего ни о вас, ни о нем и не говорил дурного.

– Разберите здешних излюбленных мудрецов, – продолжал Сеславин, потягивая дым из своего «Блюхера». – Сентиментальные с виду сегодня, хотя вчера кровожадные в душе, как тигры, эти прославленные герои революции, с мадригалами на устах, с посошком в руке и с полевыми ландышами на шляпе, недавно еще звали своих соотечественников, а за нами и весь мир, то есть и вас, Квашнин, да и меня, – в новую Аркадию, пасти овечек и мирно наслаждаться сельским воздухом, у ручейка, питаюсь медом и молоком. А чем тогда же кончили? Маратом и Робеспьером, всеобщей гильотиной, казнью родного короля и коронованием ловкого и грубого, разгадавшего их солдата, да притом еще и не француза, а корсиканца.

– В чем же, по-вашему, истинное счастье на земле? – спросил пожилой и высокий подполковник из штабных, Синтянин, о котором товарищи говорили, что он во время войны

почувствовал призывание к поэзии и стал, как партизан Давыдов, писать стихи. – В чем прочные радости на земле?

– В любви! – не выдержав, опять вскрикнул Квашнин. – Что может быть выше истинной чистой страсти?..

– Счастья нет на свете, – повторил Сеславин. – Вы лучше спросите меня, в чем главные муки в жизни?

– Говорите, мы слушаем, – отозвались голоса.

– Я объясню примером, – сказал Сеславин. – Граф Растопчин знал в молодости одну, ныне уже старую и, вероятно, покойную, московскую барыню. Он однажды при мне о ней выразился, что Данте в своем «Аде» забыл отвести для подобных лиц особое, весьма важное отделение.

Сеславин рассказал уже известную остроту графа о грешницах, которые мучатся сознанием того, что пропустили в жизни случай безнаказанно согрешить по оплошности, трусости или простоте.

Дружный хохот слушателей покрыл слова рассказчика.

– Не смейтесь, однако, господа, – заключил Сеславин, – боль тайных душевных мук ближе всего понятна тому, кто испытал особенно жестокую насмешку судьбы... кто, как бедный, утонувший в Эльбе наш товарищ Фигнер, вызывался лично, глаз на глаз, избавить мир от всесветного изверга, имел к тому случай и этого не достиг...

Сеславин смолк. Замолчали и остальные собеседники.

– А могу ли я, Александр Никитич, узнать, кто эта растопчинская барыня? – спросил, подмигивая другим, Квашнин.

– Дело было давно, – ответил Сеславин, – когда я, в один из отпусков, гостил в Москве, у родных, где бывал Растопчин... Повторяю, этой особы, по-видимому, уже нет на свете, и ее здесь, вероятно, не знают. Это княгиня Шелешпанская.

– Как? она? – удивился Квашнин. – Да ведь это бабка покойного партизана вашего отряда, девицы Крамалиной. В ее доме у Патриарших прудов я был в день занятия французами Москвы, помните, когда я было попал в плен? А Крамалина, господа, вы, разумеется, слыша-

ли, неудачно стреляла по Наполеону в Ошмянах и при этом убита.

Тем, кто не знал подробностей об этом событии, Квашнин рассказал об Авроре и о Перовском.

– Перовский? – спросил в свой черед подполковник Синтянин. – Постойте, да ведь он жив!.. именно жив!

– Жив Василий Перовский? – вскрикнул, бледнея, Квашнин.

– Да, я видел нашего Сомова, – ответил Синтянин, – он с ним, здесь уже, бежал из Орлеана, и оба вчера явились в Париж, измученные, полуживые.

– Вы не ошибаетесь? – спросил, не веря своим ушам, Квашнин.

– Нисколько... Да вот что... вы знаете, где бивак нашего полка?

– Знаю, знаю.

– Ну и отлично... спросите там штаб-ротмистра Сомова; он тоже, повторяю, был в плену, и его теперь у нас приютили... он вас проведет к Перовскому. Как же, и я знаю этого Перовского; мне и ему наш доктор Миртов, накануне Бородинского боя, как теперь пом-

ню, доказывал, что лучше умереть сразу, в битве, чем мучиться и потом умереть в госпитале.

– А сам Миртов, кстати, жив? – спросил кто-то.

– Жив, но полтора года валялся в разных больницах; все просил отрезать ему ноги, однако выздоровел, догнал армию уже на Рейне, и опять у него своя отличная палатка с походною перинкой, чайник и к услугам всех пунш... Одно горе: такой красавец, жуир, а ходит на костылях.

Квашнин, дослушав Синтянина, бросился в слезах ему на шею, на радости обнял и прочих, в том числе и Сеславина, смотревшего на него теперь с ласковою, снисходительною улыбкой, выскочил на улицу и стремглав пустился к биваку русской гвардии, на Елисейские поля.

«Боже мой, – думал он, – я увижу наконец его... Но как ему сообщить печальную, тяжкую весть? как передать? У меня неразлучно на груди ее записочка, волосы и портрет ее жениха... Бедный! А сколько времени он ожидал этой свободы и своего возврата, мечтал

увидеть ее, обнять! Говорить ли? убить ли страшную истинной человека, который теперь счастлив своею любовью и надеждами, счастлив всем тем, чему, как сейчас беспощадно уверяли меня, имя – ничто? Нет, пусть он узнает! Пусть образ погибшей любимой и его любившей женщины светит ему в остальной жизни тихую, хотя и недосыгаемую, путеводною звездой».

Квашнин отыскал Сомова и, по его указанию, отправился в переулок у Елисейских полей. Здесь он вошел в небольшой двор, окруженный развесистыми каштанами. Сквозь деревья виднелся невысокий, под черепицей, уютный павильон, где было отведено помещение трем больным русским офицерам. Двое из них, по словам привратника, ушли перед вечером прогуляться в город; третий, особенно, по-видимому, недомогавший, был дома.

Квашнин, мимо хозяйских покоев, робко приблизился к двери из сеней налево и постучал. Ему ответили: «Entrez!.. Войдите!..» Он отворил дверь в небольшую, опрятно прибранную комнату.

Заходившее солнце приветливо освещало в этой комнате стол с разбросанными газетами, два простых стула и кровать под белым, чистым одеялом. На кровати виднелся в штатском платье, очевидно с чужого плеча, худой и бледный, с густо отросшею черною бородою, незнакомый человек. Он полулежал, опершись на подушки и глядя в раскрытую перед ним газету. Увидев гостя, незнакомец медленно поднялся, шагнул к двери и замер. В его строгих, сухо-удивленных глазах Квашнину вдруг блеснуло нечто близкое, где-то и когда-то им виденное.

– Неужели Квашнин? – тихо спросил, боясь обознаться и внутренне радуясь, незнакомец.

– А вы... неужели Перовский? – спросил едва помня себя Квашнин.

Гость и хозяин бросились в объятия друг друга.

– Голубчик, ах, голубчик! – твердил, глотая слезы и удивляя ими растерянного Перовского, Квашнин. – Не верьте! жизнь – радость! Она выше всего, выше всякого горя!

Он передал Перовскому о судьбе Авроры.

.....

Прошло много времени, прошло сорок лет.
П Был 1853 год.

Русский отряд направлялся в третий, со времени Петра Великого, решительный поход в Среднюю Азию. Во главе отряда шел военный генерал-губернатор Оренбургского края, шестидесятилетний, еще бодрый на вид, но уже с слабым здоровьем, страдавший одышкой, генерал-адъютант, вскоре затем граф, Василий Алексеевич Перовский. В его отряде находился молоденький, белокурый и еще безусый офицер в адъютантской форме, как говорили, крестник генерал-губернатора. Последний, доверяя ему часть своей переписки, оказывал ему особое расположение. Это был внук Ксении, Павел Николаевич Тропинин. Недавно из кадетского корпуса, он был тайно влюблен где-то в Москве и, состоя при начальнике отряда, с нетерпением ждал конца экспедиции, чтобы ехать и жениться на любимой девушке.

Среди невзгод и тяжестей походов командир отряда, покончив с текущими приемами и распоряжениями, любил беседовать с юно-

шей-крестником о судьбах дикой пустыни, по которой они в это время шли и в глубине которой, сто двадцать пять лет назад, разбитым и покоренным хивинским ханом был так предательски перерезан весь русский отряд князя Бековича-Черкасского.

Под войлочной кибиткой, у спасительного самовара, старым командиром отряда нередко делались поминки о более близкой поре – великой эпопее двенадцатого года, когда рассказчику пришлось вынести тяжелый плен. В седоусом, суровом, а иногда даже депотически-желчном генерал-адъютанте, всегда сосредоточенном, сдержанном и большею частью молчаливом, в эти мгновения пробуждался образ всеми забытого, некогда молодого, говорливого и юношески-откровенного Базиля Перовского. Оставшийся по смерти холостым, он любил вспоминать немногих уцелевших своих сослуживцев и приятелей двенадцатого года и диктовал крестнику задушевные письма к ним в Россию.

– Неисчерпаемая, великая эпопея, – говорил, вспоминая двенадцатый год, Перовский, – станет на много лет и на много расска-

зов. И как подумаешь, голубчик Павлик, все это некогда было и жило: весь этот мир двигался, радовался, любил, наслаждался, пел, танцевал и плакал. Все эти незнакомые новому времени, но когда-то близкие нам весельчаки и печальники, счастливые и несчастные, имели свое утро, свой полдень и вечер. Теперь они, в большинстве, поглощены смертью... И нам, старым караульщикам, отрадно заглянуть в эту ночь и помянуть добрым словом почивших под ее завесой... Дорогие, далекие покойники.

Но не всех былых приятелей одинаково поминал в душе Перовский. Никому незримая и неведомая, глубокая сердечная рана жгла его и сушила вечною, несмолкаемую болью. Эту рану и эти страдания знали только немногие, ближайшие его друзья, в том числе старый его сослуживец, «певец в стане русских воинов» – Жуковский. Последний посвятил когда-то Василию Алексеевичу Перовскому трогательное послание.

*Я вижу – молодость твоя
В прекрасном цвете умирает,
И страсть, убийца бытия,*

Тебя безмолвно убивает...

*Я часто на лице твоём
Ловлю души твоей движенья;
Болезнь любви – без утоленья —
Изображается на нём.*

Перовский часто вспоминал ту, которую он полюбил в лучшие жизненные годы и которая из-за любви к нему погибла. Укоры совести он нередко срывал на крутом, а подчас и жестоком исполнении долга; был беспощаден к измене и расстреливал предателей так же спокойно, как когда-то его самого хотел расстрелять Даву.

Двадцать восьмого июля 1853 года после невероятных усилий была взята штурмом кокандская крепость Акмечеть, названная впоследствии фортом «Перовский». Путь в Туркестан, Хиву, Бухару и позже к Мерву был проложен.

Однажды вечером Павел Тропинин, в кибитке главнокомандующего, перед этою крепостью, сказал своему крестному, что в минувшую зиму, едучи на курьерских, по его вызову, оренбургскою степью, он едва не за-

мерз и спасся от смерти только благодаря сибирскому оленьему тулупу и русским валенкам.

– Валенкам? – спросил Перовский. – Дело знакомое... И меня в двенадцатом году также спасли валенки... И представь мою радость – товарищ по плену, великодушно ссудивший меня эту обувь, жив и здравствует доньне.

– Кто же это? – спросил Павлик.

– Бывший крепостной одной графини. Он тогда ранее меня бежал из плена и прямо на Волгу, в плавни; назвался другим именем, остался там и торгует рыбой в Самаре.

– В Самаре? Вот бы повидать, как поеду назад.

– Что же, отыщи его. Имя ему Семен Никодимыч. Год назад он узнал о моем назначении в Оренбург и являлся с предложением подряда. Седая борода – по пояс; женат, имеет внуков, стал раскольником, начетчик и усердный богомолец; но подчас тот же, каким я его знал, живой, подвижной Сенька Кудиныч и даже не забыл одной своей песни про сову, которою потешал измученных французами пленных. Он тогда был сосватан

и, с горя, смело-отчаянно бежал к невесте.

– Сосватан? – спросил, залившись румянцем и меняясь в лице, Павлик.

– Да, а что? разве?..

Павлик собрался с духом. Заикаясь, он объявил графу, что и он жених, и просил у него благословения и отпуска.

Перовский откинулся на спинку складного стула, на котором сидел, и долго, ласково смотрел на юношу.

– Что же, Павлуша, с богом! – проговорил он. – Хотя я остался всю жизнь холостым – понимаю тебя... с богом! завтра же можешь ехать. А благословение я тебе дам особое!

Он обнял крестника.

– Ты не помнишь, разумеется, своей бабки, Ксении Валерьяновны? – сказал он.

– Она умерла, когда мой отец еще не был женат, – ответил Павлуша.

– Была еще у тебя прабабка, княгиня Шелешпанская; все боялась грозы, а умерла мирно, незаметно уснув в кресле, за пасьянсом, в своей деревне, когда наши входили в Париж.

– О ней что-то рассказывали.

– Ну да... а слышал ты, что у нее была еще

другая, незамужняя внучка... красавица Аврора? Знаешь ли, твой отец был похож на нее, и ты ее слегка напоминаешь.

– Что-то, помнится, говорили и о ней, – ответил Павлуша, – кажется, она была в партизанах... и чем-то отличилась...

«Кажется! – подумал со вздохом Перовский. – Вот они, наши предания и наша история...»

– Иди же, голубчик, с богом! – произнес он. – Готовься, уедешь, а я кое-что тебе поищу...

Отпустив крестника, Перовский наглухо запахнул полы своей кибитки, зажег свечу, достал из чемодана небольшую, окованную серебром походную шкатулку, раскрыл ее и задумался. В отдельном, потайном ящичке шкатулки, между особенно дорогими для него вещами, было несколько засохших цветков сирени, пожелтевших писем, в бумажке – прядь черных женских волос, образок в серебре и оброненный на последнем свидании платок Авроры. Перовскому как живая вспомнилась Аврора, Москва, дом и сад у Патриарших прудов и последняя встреча с невестой. Он

долго сидел над раскрытою шкатулкой, роняя на эти цветы, волосы и письма горячие и искренние слезы. «Владычица моя, владычица!» – шептал он, покрывая поцелуями бранные остатки дорогой старины. Взяв образок, он запер шкатулку и, оправясь, вышел из кибитки. Павлик, дремля на циновке, полулежал у входа.

– Ты еще здесь? – сказал, увидя его, Перовский. – Пойдем, прогуляемся.

Они миновали охранный пикет и мимо лагеря, вдоль серых, глиняных стен только что разгромленной крепости, направились по плоскому берегу Сырдарьи.

Душный, знойный вечер тяжело висел над пустынною равниной. В сумерках кое-где желтели наметы бродячего песка. Вокруг зеленых, отражавших звезды, горько-соленых луж, как воспаленные глазные веки, краснели болотные лишайи, тощий камыш и полынь. Высоко в воздухе что-то шуршало и двигалось. То, шелестя сухими крыльями, неслись на жалкие остатки трав и камышей бесчисленные, прожорливые полчища саранчи. Перовскому припомнилось нашествие На-

полеона.

– Вот тебе мое благословение, – сказал он, надевая на шею крестника образок покрова божьей матери, – я этому образу усердно когда-то молился в походе... молись и ты.

Перовский и Павел Тропинин прошли еще несколько шагов. Целый мир мучительных и сладких воспоминаний наполнял мысли Василия Алексеевича.

– Ты счастлив, ты спешишь к невесте, – сказал Перовский, снова остановясь и слушая над головою пролет шуршавших крыльями воздушных армий, – а мне, по поводу твоего счастья, припомнилось одно сердечное горе; некоторых из прикосновенных к нему лиц давно уже нет на свете, но мне эта история особенно памятна и близка...

И Перовский, бродя по песку, не называя имен, рассказал крестнику повесть любви своей и Авроры.

1885

Примечания

1

Сударыни, сударыни! позвольте-с пригласить
(франц.).

[^^^]

2

«Картофель и домашние туфли» (нем.).

[^^^]

Милейший (*нем.*).

[^^^]

4

Завтра, завтра, не сегодня... так ленивцы говорят (*нем.*).

[^^^]

5

Моя собственная земля (*нем.*).

[^^^]

6

Похоронный марш (*фр.*).

[^^^]

Осел (нем.).

[^^^]

8

Почему смотрите? почему (*искажен. франц.*).

[^^^]

Простите! (*франц.*)

[^^^]

Полковник (*фр.*).

[^^^]

От фр. buveur – пьющий, любитель выпить.

[^^^]

Немного (*нем.*).

[^^^]

От фр. manger – есть.

[^^^]

Ваше здравье! (*фр.*)

[^^^]

Признаться (*фр.*).

[^^^]

Честное слово! (*фр.*)

[^^^]

Слушайте, мой милый (*фр.*)

[^^^]

Немного денег.

[^^^]

Моя служанка, господа (*франц.*).

[^^^]

Возможно ли это? (нем.)

[^^^]

Боже мой, боже мой! (нем.)

[^^^]

На берегу моря, господа (*франц.*).

[^^^]

Вертоград – сад (старослав.).

[^^^]

Плохо! (нем.)

[^^^]

Риваль (от фр. rivall) – соперник.

[^^^]

Мой ангел (*франц.*).

[^^^]

Великий боже! (*итал.*)

[^^^]

Да здравствует! (*итал.*)

[^^^]

Вот отъявленная негодяйка! (*франц.*)

[^^^]

Где истина? (франц.)

[^^^]

Дьявол! (*итал.*).

[^^^]

Но это же убийца в душе! У него это стало скверной привычкой! (*франц.*)

[^^^]

«Проповеди» (франц.).

[^^^]

Да, да, как вам угодно! (*франц.*)

[^^^]

Княгиня Елисавета... (франц.)

[^^^]

Мой дорогой, великий боже... (*итал.*).

[^^^]

О, бог мой! (*итал.*)

[^^^]

«Князь Каламбур» (*франц.*).

[^^^]

Аврора (*франц.*).

[^^^]

Дорогая (*франц.*).

[^^^]

До белизны снега (*франц.*).

[^^^]

В три локона (*франц.*).

[^^^]

Светло-розового цвета (*франц.*).

[^^^]

Цвета майского жука (*франц.*).

[^^^]

Игра в почту (*франц.*).

[^^^]

Глупец (от *лат.* stultus).

[^^^]

«Юный трубадур» (франц.).

[^^^]

«Если верно, что быть счастливым...» (*франц.*)

[^^^]

Бабушка (*франц.*).

[^^^]

Мой дорогой (*франц.*).

[^^^]

«Судьба – отъявленная куртизанка...» (франц
.).

[^^^]

Боже милостивый! Проклятый парень Бона-
парт! (нем.)

[^^^]

Коллеж (франц.).

[^^^]

Мой дорогой (*франц.*).

[^^^]

Граф Шереметев (*франц.*).

[^^^]

«Лейтенант Перосский» (*франц.*).

[^^^]

«Бежавший в Смоленске» (*франц.*).

[^^^]

«Мартен и Фронтен», «Шалости любви», «Открытая война» (*франц.*).

[^^^]

Если также... (*лат.*).

[^^^]

Дьявол... подойди (*итал.*).

[^^^]

В Париж! в Париж! (*франц.*)

[^^^]

Да здравствует Александр! да здравствуют
русские! (*франц.*)

[^^^]

Да здравствуют русские! да здравствует Александр!
сандр! долой тирана! (*франц.*)

[^^^]

Кто там? (нем.)

[^^^]